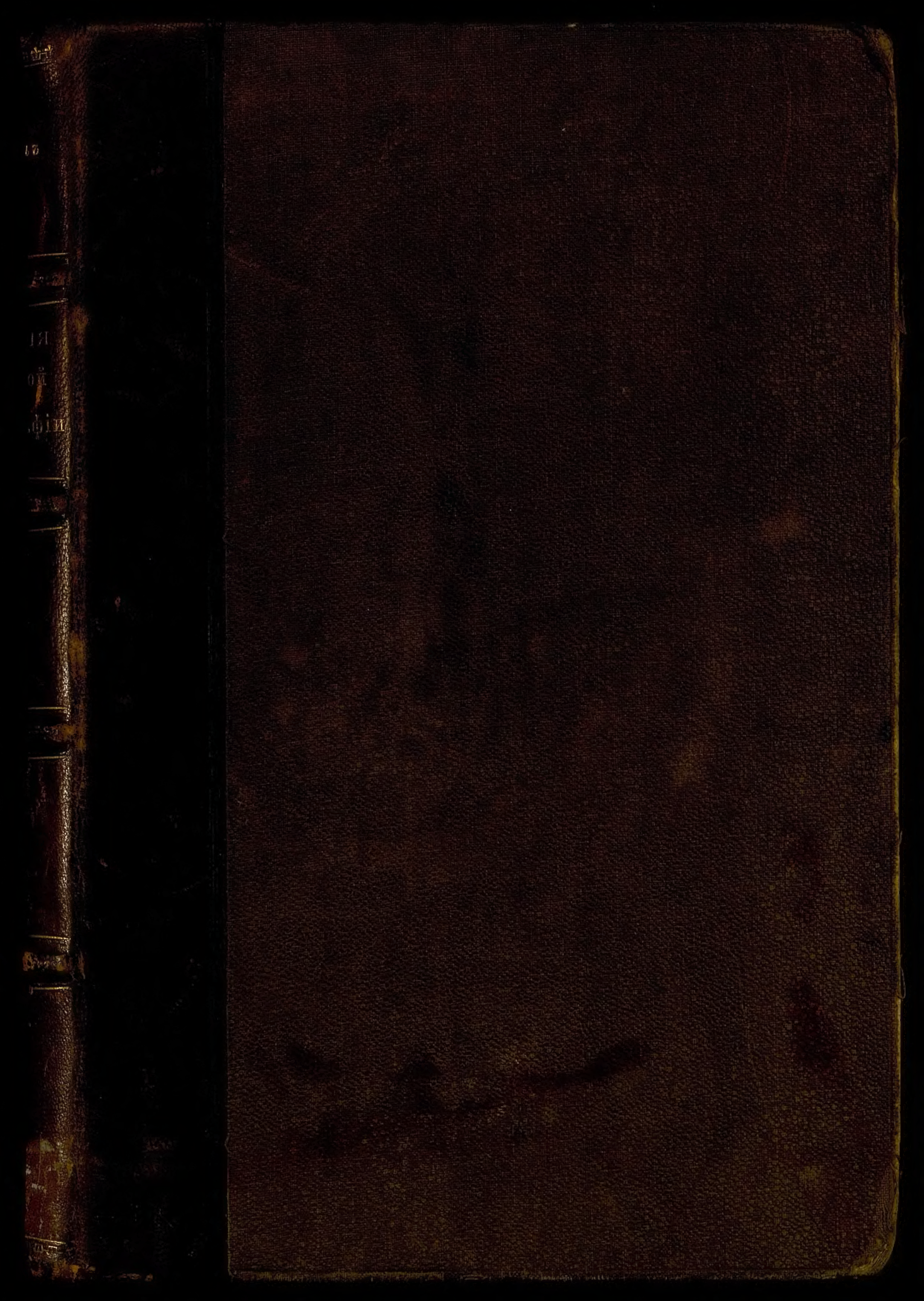
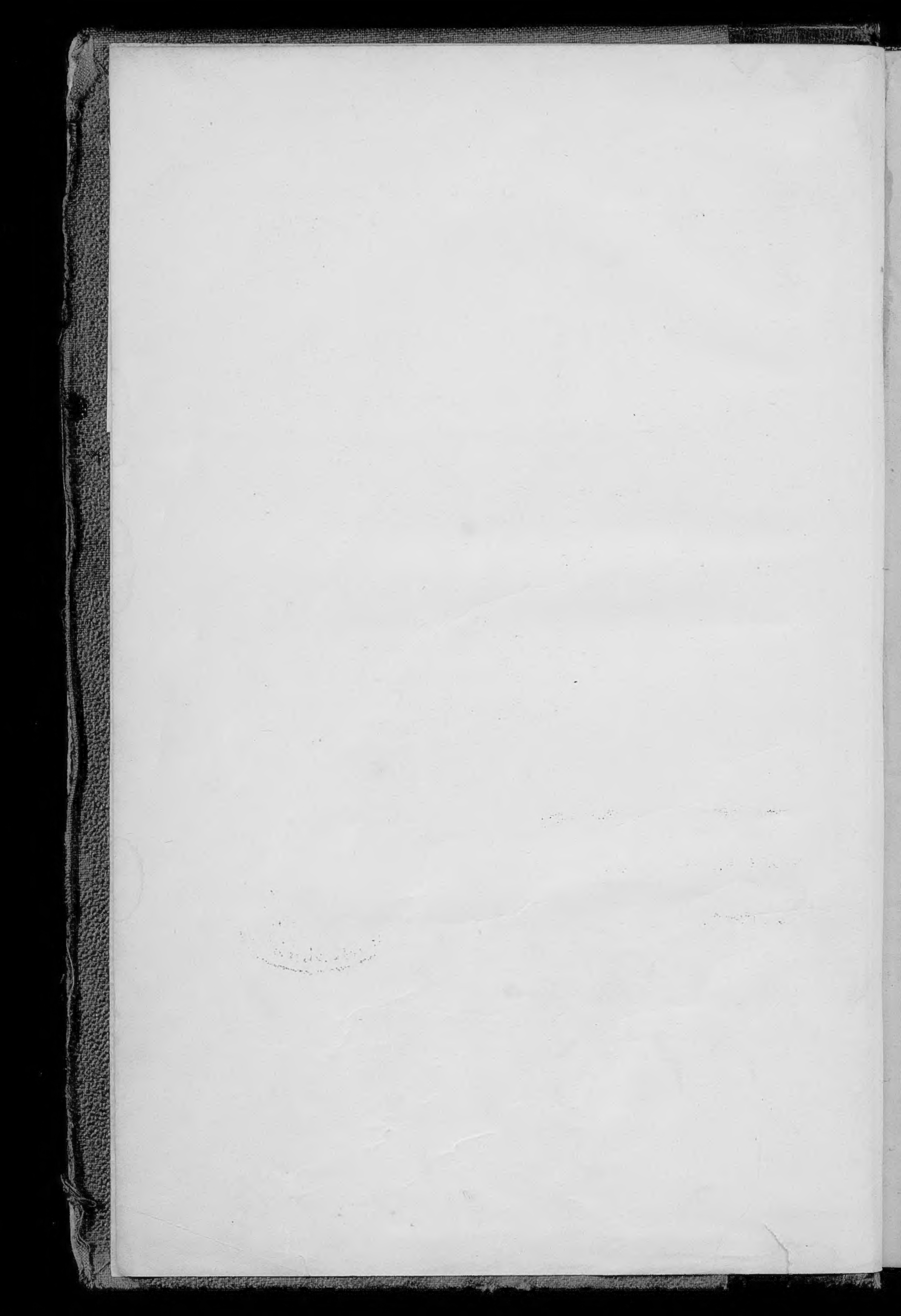




ИСТОРІЯ

РУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ

ТОМЪ II.

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНІЙ НАРОДНОСТИ
И
ЭТНОГРАФІЯ ВЕЛИКОРУССКАЯ

А. Н. Пыпина



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., № 28
1891.



(1754)

Въ настоящемъ томѣ прежнее изложеніе предмета значительно дополнено цѣлыми эпизодами исторіи русской этнографіи и также рядомъ біографическихъ и библіографическихъ свѣдѣній. Главное вниманіе обращено было на тѣ данныя, въ которыхъ совершалось развитіе какъ общаго интереса къ изученію народности вообще, такъ и научныхъ пріемовъ изслѣдованія. Мы указывали неоднократно, что границы этнографіи вообще трудно опредѣлимы, и особенно трудно опредѣлимы относительно нашего матеріала и въ нашемъ состояніи науки: бытовыя явленія, представляющія свою спеціальную область и въ дѣйствительной жизни, и въ научномъ изслѣдованіи, тѣмъ не менѣе извѣстными сторонами тѣсно соприкасаются съ этнографіей, такъ что, входя въ свою особую науку, не могутъ быть забыты и въ изученіи этнографическомъ. Таково, напримѣръ, обычное право: оно становится теперь предметомъ внимательнаго юридическаго изслѣдованія, какъ важный элементъ исторіи права и также современнаго народнаго юридическаго быта, гдѣ оно требуетъ законодательнаго опредѣленія и санкціи, и въ той или другой степени получаетъ ее; но съ другой стороны это—фактъ народнаго обычая, подлежащаго этнографическому изученію, народная бытовая особенность, идущая съ древнѣйшихъ временъ и многоразлично связанная съ другими явленіями народной жизни и поэтическаго творчества (въ пословицахъ, преданіяхъ и т. п.). Другой примѣръ подобнаго рода представляетъ расколъ: ближайшая наука, которой принадлежитъ его изслѣдованіе, есть исторія церкви и полемическое богословіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обнимаетъ такую громадную часть русскаго народа и такъ долго въ ней

господствуетъ, что создалъ особую складку цѣлаго быта, особые нравы, обычаи, пѣсни, преданія и пр., которые не могутъ не быть предметомъ этнографіи. Еще примѣръ подобнаго рода представляетъ языкъ: изученіе его есть предметъ опять особой широко разростающейся науки; только съ помощію сложныхъ изученій исторіи и современнаго состоянія языка, съ физіологическими условіями его звуковой системы, съ его различными развѣтвленіями и варіантами въ живой рѣчи, филологія стремится постигнуть его развитіе и строеніе, создавая самостоятельный научный интересъ; но опять вопросъ языка не остается чуждымъ для этнографіи, какъ орудіе народно-поэтическаго творчества, какъ выраженіе умственныхъ, нравственныхъ и бытовыхъ особенностей народа. Мы вышли бы изъ предѣловъ своей задачи, еслибы съ тою же подробностью, какъ вообще на вопросахъ чистой этнографіи, остановились на изложеніи этихъ спеціальныхъ изученій, но такъ какъ онѣ все-таки необходимы въ полномъ обзорѣ матеріала, служащаго къ этнографическому изслѣдованію русской народности, мы даемъ ихъ библіографическое изложеніе въ особомъ трудѣ—систематическомъ обозрѣніи русской этнографической литературы: здѣсь собраны будутъ вообще указанія на тѣ многочисленныя детальныя изслѣдованія и фактическія данныя, масса которыхъ не можетъ имѣть мѣста въ исторіи науки, но свѣдѣнія о которыхъ должны быть какъ vademecum подъ руками спеціалиста и особливо начинающаго этнографа.

А. Пыпинъ.

Октябрь, 1890.

СОДЕРЖАНІЕ.

Предисловіе.

Глава I.—Сороковые года.—Переломъ въ наукѣ исторической и въ этнографіи. Стр. 1—47.

Сороковые года. Стр. 1.

Вліянія западной науки, 4.

Русскіе ученые за границей, 8.

С. М. Соловьевъ, 10.

К. Д. Кавелинъ. Его труды по этнографіи, 19.

Н. В. Калачовъ. Исторія права и этнографія, 30.

И. Е. Забѣлинъ. Археологія и этнографія, 32.

Вліянія германской филологіи: Буслаевъ и Аѳанасьевъ, 36.

Общественныя понятія, 40.

Канунъ крестьянской реформы, 46.

Глава II.—Пятидесятые года. Стр. 48—74.

Конецъ стараго и начало новаго царствованія: различіе двухъ эпохъ; общественное оживленіе. Стр. 48.

Расширеніе этнографическихъ изслѣдованій, 50.

Ученыя общества, 50.

Работы II отдѣленія Академіи наукъ: Срезневскій; открытіе пѣсенъ Ричарда Джемса; первыя новѣйшія записи былинъ, 51.

Дѣятельность Географическаго Общества, 52.

Московское Общество исторіи и древностей, 53.

«Архивъ» Калачова, 54.

Литературная экспедиція, снаряженная по мысли в. кн. Константина Николаевича: Потѣхинъ, Писемскій, Островскій, Максимовъ и др., 55.

П. Н. Рыбниковъ и его открытія, 61.

П. И. Якушкинъ, 65.

П. В. Шейнъ, 68.

С. В. Максимовъ, 70.

Глава III.—Ѳ. И. Буслаевъ: труды по этнографіи. Стр. 75—109.

Глава IV. — А. Н. Аѳанасьевъ: труды по этнографіи. Стр. 110—132.

Глава V.—Новая ступень этнографическихъ изысканій. Стр. 133—158.

Поворотъ въ историко-литературныхъ изученіяхъ послѣ Бѣлинскаго, 133.

Поиски народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности, 134.

Изданія и изслѣдованія Н. С. Тихонравова, 137.

А. А. Котляревскій, 143.

Изслѣдованія по языку и миѳологіи А. А. Потебни, 147.

Археолого-этнографическія и художественно-бытовыя разысканія В. В. Стасова, 154.

П. А. Лавровскій, 157.

Глава VI.—Новая историческая литература по отношенію къ изученію народности. Стр. 159—189.

Глава VII. — Константинъ Аксаковъ: труды по русской исторіи и этнографіи. Стр. 190—219.

Глава VIII.—Новыя изслѣдованія. — Спорные вопросы о русскомъ народномъ эпосѣ. Стр. 220—251.

Изданія памятниковъ народной поэзіи. Стр. 220.

Пѣсни, П. В. Кирѣевскаго, 221.

«Онежскія былины», Гильфердинга, 221.

Е. В. Барсовъ, 222.

Новыя изслѣдованія о старой письменности, 226.

Труды Л. Н. Майкова, 228.

О. Ѳ. Миллеръ, 231.

П. А. Безсоновъ, 239.

«О происхожденіи русскихъ былинъ», В. В. Стасова, 246.

Глава IX.—А. Н. Веселовскій.—И. В. Ягичъ.—Новѣйшая школа. Стр. 252—296.

Ходъ изученій. Стр. 252.

Новыя направленія въ западной наукѣ, 255.

А. Н. Веселовскій, 257.

И. В. Ягичъ, 282.

Новѣйшая школа: труды А. И. Кирпичникова, Н. П. Дашкевича, И. Н. Жданова, Н. Ѳ. Сумцова, Л. З. Колмачевскаго, В. Мочульскаго, М. Халанскаго, Н. А. Янчука, В. Каллаша, И. Созоновича, 292.

Труды ученыхъ иностранныхъ: Рольстона, А. Рамбо, В.Волльнера, Гастера; славянскихъ ученыхъ: Крека, Поливки, Мурка и пр. 295.

Глава X.—Общій обзоръ изученій народной жизни за послѣднія десятилѣтія. Стр. 297—349.

Новое царствованіе. Стр. 297.

Общее обозрѣніе движенія этнографической литературы: статистическія цифры, 299.

Ученыя экспедиціи, 304.

Статистическія и описательныя работы, 306.

Мѣстныя изысканія, 310.

Ученыя учрежденія и общества, 312.

Археографія, 312.

Общество любителей древней письменности, 314.

Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, 317.

Вс. Θ. Миллеръ, 318.

Расширеніе изслѣдованій: въ области исторіи, 321;

Исторіи литературы, 324;

Народной поэзіи, 325;

Народнаго быта, 327;

Обычнаго права, 335;

Быта экономическаго, 339;

Раскола, 341;

Исторіи нравовъ, 343.

Изслѣдованія языка, 344.

Этнографы-народники, 346.

П. С. Ефименко, 347.

Результаты, 348.

Глава XI.—Изображенія народа въ литературѣ. Стр. 350—374.

Отношеніе новѣйшихъ изученій къ жизни. Стр. 350.

Народные интересы у писателей сороковыхъ годовъ, 352.

Канунъ реформы, 335.

Взгляды старой эстетической критики на возможность художественнаго изображенія народнаго быта (Анненковъ), 358.

Новая повѣсть изъ народнаго быта, 361.

Взгляды Добролюбова, 363.

Новѣйшій реализмъ, доходящій до отрицанія требованій искусства, у Рѣшетникова, у гр. Л. Н. Толстого, 369.

Замѣчательные успѣхи въ самомъ изученіи быта и въ техникѣ стиля, 374.

Глава XII.—Народничество. Стр. 375—419.

Реакціонный поворотъ послѣ реформъ. Стр. 375.

Разладъ въ общественномъ мнѣніи и отраженіе его на литературѣ о народѣ, 379.

Вопросъ о «деревнѣ», 383.

«Основы народничества», 390.

Народническая беллетристика, недавняя (Мельниковъ-Печерскій, г-жа Кохановская и пр.) и новѣйшая (г. Гл. Успенскій, Златовратскій и др.), 400.

Дополненія. (Ѳ. И. Буслаевъ;—Н. С. Тихонравовъ;—Ор. Миллеръ;—А. Н. Веселовскій;—«Рус. историческая Библіографія»; — «Этнографическое Обозрѣніе» и «Живая Старина). Стр. 420—428.

ГЛАВА I.

Сороковые года.—Переломъ въ наукѣ исторической и въ этнографіи.

Сороковые года.—Вліянія западной науки.—Русскіе ученые за границей.—С. М. Соловьевъ.—К. Д. Кавелинъ. Его труды по этнографіи.—Н. В. Калачовъ. Исторія права и этнографія.—И. Е. Забѣлинъ. Археологія и этнографія.—Вліянія германской филологіи: Буслаевъ и Аѳанасьевъ.—Общественныя понятія.—Канунъ крестьянской реформы.

Сороковые года были въ литературѣ поэтической временемъ рѣшительнаго перелома: „художническая добросовѣстность" Пушкина положила основаніе тому реализму, который, выразившись геніально у Гоголя, сталъ постоянной чертой нашей литературы и, какъ ея, въ большой степени самобытное, пріобрѣтеніе, составилъ ея отличительную особенность до настоящаго времени. Такимъ же образомъ сороковые года были переломомъ въ научно-общественныхъ изученіяхъ народности: здѣсь онъ приведенъ былъ съ одной стороны усиленіемъ старыхъ, или даже основаніемъ новыхъ отраслей научно-критическаго изслѣдованія, и съ другой—вообще ростомъ общественнаго сознанія, которое воспитывалось разными вліяніями и самой жизни, и западно-европейской литературы. Въ обоихъ случаяхъ, новыя идеи выходили за предѣлы оффиціальной народности или даже шли прямо наперекоръ идеямъ, лежавшимъ въ ея подкладкѣ. Въ цѣломъ, во всемъ характерѣ научныхъ изученій исторіи и народности совершается настоящій переворотъ, основа котораго лежала именно въ пробужденіи общественныхъ силъ. Выше мы упомянули, какіе внѣшніе факты обозначили наглядно особое усиленіе научной дѣятельности въ сороковыхъ годахъ,—именно: изданія Археографической коммиссіи; основаніе въ университетахъ славянскихъ изученій; основаніе „профессорскаго института" и посылка за границу цѣлаго ряда

молодыхъ ученыхъ, произведшая сильный притокъ европейскихъ научныхъ средствъ. Труды Археографической коммиссіи произошли изъ частной инициативы и къ счастію нашли правительственную поддержку; славянскія изученія возникали еще ранѣе оффиціальнаго учрежденія славянскихъ каѳедръ въ университетахъ [1]); посылка ученыхъ за границу была также отвѣтомъ на потребность, которая давно чувствовалась въ просвѣщенныхъ кругахъ общества [2]) и составляла вообще потребность цѣлаго русскаго образованія,—для него общеніе съ западной наукой и литературой становилось жизненнымъ условіемъ, необходимой помощью въ своей домашней работѣ.

Въ вопросѣ народнаго изученія, дѣла было очень много.

Въ исторіографіи до сороковыхъ годовъ разработывалась карамзинская постановка предмета (Полевой не имѣлъ вліянія, по слишкомъ большой поспѣшности его труда); измѣнялись нѣкоторыя ея подробности, прибавлялись другія, шли новыя изслѣдованія частныхъ вопросовъ, но основная точка зрѣнія оставалась неизмѣнной: таковы были труды Погодина, Арцыбашева, Буткова, Кубарева, Устрялова, и проч. Исторія оставалась по прежнему исключительно исторіей государства: интересы ученыхъ были въ особенности сосредоточены на древнихъ временахъ, на варягахъ и подобныхъ предметахъ, довольно безразличныхъ для живого цѣльнаго пониманія исторіи.

Въ этнографіи, однимъ авторитетомъ былъ Снегиревъ, съ изслѣдованіями слишкомъ внѣшними, не весьма точными, иногда очень поверхностными; другимъ—Сахаровъ, съ матеріаломъ народныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п., весьма случайнаго, иногда сомнительнаго происхожденія, съ объясненіями, лишенными не только научнаго достоинства, но иногда здраваго смысла. Собраній народной поэзіи, кромѣ Сахарова и Снегирева, почти не было: слышно было только, что онѣ дѣлаются, что надъ ними работаетъ Петръ Кирѣевскій, Даль; изрѣдка появлялись небольшіе сборники въ журналахъ. Народная бытовая старина и обычаи были наблюдаемы мало, и главное сочиненіе этого рода, завѣщанное старой школой, была книга Терещенка: „Бытъ русскаго народа“, собранная довольно усердно, но безъ всякой научной критики.

Бытъ крестьянскій былъ совершенно закрытъ для изслѣдованія въ отношеніяхъ общественномъ и экономическомъ.

[1]) Не говоря о трудахъ Востокова и Кёппена, Шишкова (изданіе и переводъ Краледворской рукописи), Калайдовича (открытія въ древней болгарской литературѣ), книгѣ Броневскаго, сочиненіяхъ Венелина,—Срезневскій задолго до посылки за границу занимается славянствомъ и издаетъ словацкія пѣсни; Бодянскій пишетъ диссертацію о славянской народной поэзіи, и пр.

[2]) Путешествія за границу Ив. Кирѣевскаго, В. Боткина, Станкевича, Тургенева, порыванья за границу Пушкина и т. д.

Славянскій міръ былъ извѣстенъ чрезвычайно отрывочно и лишь немногимъ любителямъ,—что должно бы казаться изумительнымъ, если бы принимать буквально проповѣди о славянской миссіи русскаго народа. Въ ту пору этого еще не предвидѣлось, о славянствѣ думали немного, историко-этнографическія данныя славянской жизни ничѣмъ не входили въ объясненіе судебъ и характера русской народности, и пока только въ конфиденціальныхъ запискахъ Погодина говорилось о соединеніи славянства подъ главенствомъ Россіи.

Между тѣмъ въ литературѣ западно-европейской, особливо нѣмецкой, давно были созданы и къ сороковымъ годамъ были въ полномъ ходу развитія цѣлыя отрасли науки, которыя съ новыми, ранѣе неизвѣстными пріемами приступали къ изслѣдованію судьбы народовъ отъ ихъ до-исторической старины до современнаго быта, и уже вскорѣ достигли неожиданно-богатыхъ результатовъ. Это была новая историческая критика, сравнительное языкознаніе, миѳологія, этнографія.

Въ нѣмецкой литературѣ, которая потомъ особенно у насъ дѣйствовала въ этихъ изученіяхъ, нынѣшнее столѣтіе представляетъ чрезвычайно богатое и разностороннее развитіе исторической науки, со всѣми смежными областями знанія. Уже съ давнихъ временъ накопляла она громадные запасы эрудиціи, и новый методъ, новая научная идея нигдѣ такъ легко не пріобрѣтали себѣ всеоружія научнаго матеріала, какъ въ Германіи. Англійская и французская литература до очень недавняго времени развивались, вообще, особнякомъ, часто съ большою научною силой, но и съ нѣкоторой исключительностью и односторонностью; нѣмцы гораздо раньше вступили въ наукѣ на путь международнаго общенія—и это давало особенно ихъ наукѣ перспективу болѣе разносторонняго обладанія матеріаломъ, и болѣе широкаго обобщенія. Такимъ явленіемъ была знаменитая нѣмецкая „историческая школа“; это была столь могущественная научная сила, что не только наложила свою печать на ученое движеніе въ Германіи, но пріобрѣла обширное вліяніе и за предѣлами нѣмецкой литературы.

Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности ея развитія. Довольно сказать, что многоразличныя условія, ближайшимъ образомъ съ конца прошлаго вѣка, создали въ нѣмецкой наукѣ такое широкое плодотворное развитіе историческаго знанія, въ какомъ оно еще до тѣхъ поръ не являлось. Теоретическимъ основаніемъ его была философія Канта, которая сообщила и историческому изслѣдованію духъ критическаго анализа. Въ частности, новые историческіе взгляды подготовлялись сложнымъ рядомъ явленій литературныхъ, событій политическихъ и общественныхъ. Такъ, на развитіи новѣйшей исторіо-

графіи отразились вліянія Гердера. Самъ исходя изъ Руссо, онъ съ одушевленіемъ высказывалъ свои идеи „человѣчности", развитіе которой составляетъ внутренній смыслъ всей человѣческой исторіи, и изслѣдуя естественные начатки культуры и просвѣщенія, полагалъ основаніе народнымъ изученіямъ: въ противоположность отвлеченному раціонализму французской философіи прошлаго вѣка выдвигалась реальная народная личность, и космополитическое направленіе смѣнялось частнымъ національнымъ [1]). Отразились далѣе возвышенныя стремленія нѣмецкой поэзіи, которая въ произведеніяхъ Шиллера и Гёте, въ порывахъ романтической школы, расширяла область поэтическаго творчества и воспріимчивости,—рядомъ съ освободительными и человѣчными идеалами настоящаго реставрируя для новаго общества идеалы античнаго міра, мистическую поэзію среднихъ вѣковъ, первобытно-свѣжую поэзію народа. Французская революція нанесла тяжелый ударъ феодальному принципу, но затѣмъ событія Наполеоновской эпохи возбудили національное чувство и подняли національное сознаніе, съ другой стороны обративъ умы къ историческому изученію національнаго содержанія. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ умственныхъ и политическихъ возбужденій расширялись и общественные интересы, и горизонтъ историческаго наблюденія; подъ этими вліяніями образовалась и „историческая школа".

Первыя проявленія новой научной критики, развившейся потомъ въ цѣлое направленіе и въ цѣлый выработанный методъ, относятся еще къ концу прошлаго вѣка. Однимъ изъ фактовъ этого рода, произведшимъ сильное впечатлѣніе въ ученомъ мірѣ, были, послѣ первыхъ возбужденій Гердера, знаменитыя Prolegomena in Homerum, Фридриха-Августа Вольфа (1795), который въ гомеровскомъ эпосѣ указывалъ не случайное, единичное произведеніе одного автора, а произведеніе національное, и на мѣсто традиціоннаго слѣпца поставилъ создателемъ этого эпоса греческій народъ. Мысль Вольфа, воспринятая потомъ великими нѣмецкими классическими филологами, какъ Бёкъ, Готтфридъ Германнъ, Лахманнъ, имѣла то великое значеніе, что установляла понятіе органическаго развитія историческихъ явленій, въ частности—впервые угадывала то представленіе о народномъ эпосѣ, которое господствуетъ въ наукѣ въ настоящее время. Эта мысль органическаго развитія развивалась все болѣе, и съ начала столѣтія въ историко-филологическихъ наукахъ совершался цѣлый переворотъ; новый критическій анализъ распространялся на различныя области историческаго знанія. Таковы были изслѣдованія

---

[1]) Объясненію этой стороны дѣятельности Гердера посвящены мои статьи объ этомъ писателѣ въ „Вѣстн. Евр." 1890, мартъ—апрѣль.

Фихте, Шеллинга, Шлейермахера въ области религіозной; Якова Гримма, Боппа, Лассена въ области языкознанія; Эйхгорна, Савиньи, Рудорфа — въ правѣ; Нибура, Отфрида Мюллера, Шлоссера — въ исторіи.

Изученія филологическія и историко-юридическія имѣли у насъ особое вліяніе, и это вполнѣ объясняется ихъ новостью и многообъемлющимъ интересомъ. Съ Боппомъ и Як. Гриммомъ выростала совершенно новая наука—сравнительное и историческое языкознаніе, которое развѣтвилось потомъ на цѣлыя группы изслѣдованій. Языкъ народа впервые представился, какъ исторически, по извѣстному закону развившійся организмъ, который въ своихъ современныхъ формахъ и матеріалѣ сохранилъ отраженные на немъ слѣды давнихъ, изъ глубочайшей старины, ступеней развитія, понятій, быта и миѳологіи. Почти безъ предшественниковъ, которые подготовили бы его открытія, Боппъ сразу создалъ науку сравнительнаго языкознанія, которая впервые и съ неоспоримой очевидностью открыла по матеріалу и образованію языка единство происхожденія громадной семьи индо-европейскихъ народовъ [1]). Яковъ Гриммъ одновременно съ Боппомъ усмотрѣлъ возможность историческаго изслѣдованія языка съ другой стороны, въ предѣлахъ одного языка, и примѣнилъ это изслѣдованіе въ своей „Нѣмецкой грамматикѣ" (1819); богатымъ историческихъ запасомъ данныхъ языка онъ воспользовался въ „Древностяхъ нѣмецкаго права" (1822), въ „Миѳологіи" (1835), въ „Исторіи нѣмецкаго языка" (1848); первыя изученія древне-нѣмецкой литературы восходятъ къ 1812 году. На изученіи языка впервые основано было изслѣдованіе отдаленныхъ временъ, до которыхъ не достигали документальныя свѣдѣнія, эпохъ самаго образованія племенъ, первоначальной народности—ея общественно-бытового характера, ея поэтическаго творчества. Если было въ обществѣ стремленіе къ національной реставраціи и исключительности, оно могло найти здѣсь богатый матеріалъ самыхъ подлинныхъ фактовъ народности; но трудъ Гримма заключалъ въ себѣ средства и для болѣе широкихъ умственныхъ возбужденій, а именно для болѣе безкорыстной любви къ народу, для оцѣнки и защиты его нравственнаго достоинства и общественнаго права...

Отчасти сходнымъ образомъ дѣйствовала историческая школа въ правѣ. Первая классическая книга въ этой области, исторія нѣмецкаго права и государственныхъ учрежденій Эйхгорна, изданная во

---

[1]) Его первая работа по сравнительному языкознанію, основавшая новую науку, относится еще къ 1816 году; затѣмъ главный и знаменитѣйшій трудъ есть: „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, *Altslavischen*, Gotischen und Deutschen", 1833—52.

времена наполеоновскаго гнета надъ Германіей, вся построена на мысли, что государство съ его учрежденіями и законами не есть дѣло человѣческаго произвола, а результатъ естественнаго органическаго развитія. На томъ же главномъ положеніи основаны труды знаменитаго Савиньи, который въ исторіи права указывалъ органическое созданіе національности: законы и государственныя формы являются только утвержденіемъ естественно-развившихся отношеній и не могутъ быть дѣломъ случая; первое возникновеніе этихъ отношеній теряется въ глубинѣ древности, какъ возникновеніе обычаевъ и языка; право можетъ быть только народное; право всеобщее такъ же невозможно какъ всеобщій языкъ и т. д. Въ этой постановкѣ вопроса были ясные задатки консерватизма: преувеличеніе значенія права, исходящаго изъ „естественныхъ отношеній", вело къ возвеличенію существующаго порядка, каковъ бы онъ ни былъ; и это была притомъ научная ошибка, потому что исторія, образованность, самое право,—развивающіяся наконецъ, въ теченіе вѣковъ, далеко за предѣлы содержанія первоначальнаго народнаго духа,—измѣняютъ законодательство и общественныя формы и сами становятся органическимъ прецедентомъ. Ученіе Савиньи дѣйствительно въ своихъ примѣненіяхъ было сильно консервативное и требовало исправленія болѣе правильной оцѣнкой другихъ историческихъ факторовъ; но общая мысль была научно плодотворна и вела къ болѣе точному пониманію внутренней юридической жизни народовъ, какого не давала прежняя исторіографія.

Въ чисто исторической области подобный переворотъ произвели труды въ особенности Нибура. Знаменитый историкъ Рима произвелъ на первый разъ сильное недоумѣніе своей мыслью, что въ такъ называемой древней исторіи Рима, извѣстной особенно по Ливію, мы имѣемъ вовсе не исторію, а остатки народнаго эпоса; что первые герои ея не были дѣйствительныя лица, а поэтическія олицетворенія цѣлыхъ періодовъ; что Римъ не могъ быть основанъ шайкой бѣглецовъ, а былъ созданіемъ наиболѣе энергическаго изъ италійскихъ племенъ. Вмѣсто обычнаго повторенія легендъ, Нибуръ ищетъ объясненія римской исторіи въ политическихъ и экономическихъ условіяхъ жизни римскаго народа; въ его толкованіи римская исторія не есть уже рядъ анекдотическихъ и частію вполнѣ сказочныхъ событій, а картина развитія самыхъ реальныхъ отношеній. Въ подобномъ смыслѣ, греческой исторіи посвятилъ свои труды Карлъ Отфридъ Миллеръ. Третьимъ знаменитымъ писателемъ, котораго ставятъ въ ряду основателей исторической школы, былъ достаточно извѣстный и у насъ Шлоссеръ. Результатомъ было богатое развитіе нѣмецкой

исторіографіи, которая, какъ увидимъ, имѣла самое прямое вліяніе на успѣхи русской науки.

Рядомъ съ нѣмецкими историками, хотя гораздо слабѣе, оказывали у насъ вліяніе новые французскіе историки,—Гизо и группа историковъ-повѣствователей. Гизо получилъ у насъ славу еще во времена Полевого; онъ производилъ сильное впечатлѣніе точнымъ, чрезвычайно послѣдовательнымъ построеніемъ своего историческаго плана; это былъ опять по преимуществу историкъ внутренняго государственнаго быта и учрежденій, которые онъ разъясняетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ и проницательностью, историкъ совершенно въ духѣ нѣмецкой исторической школы, и не безъ ея вліянія. Давно извѣстны были у насъ и тѣ знаменитые писатели, которые, подъ вліяніемъ романтическаго обращенія къ среднимъ вѣкамъ, создавали исторіографію живописную, какъ Форіэль, Барантъ, оба Тьерри; давно былъ знакомъ Мишле, первые труды котораго (о началахъ французскаго права) были примѣненіемъ взглядовъ Гримма; наконецъ историки новѣйшихъ временъ—Тьеръ, Луи-Бланъ.

Вліянія европейской исторической литературы приходили сами собой; въ университетскомъ преподаваніи,—какъ ни бывало оно слабо въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ,—авторитеты европейской литературы оказывали уже нѣкоторое дѣйствіе; въ литературу переводную и журнальную проникала слава главнѣйшихъ представителей науки. Въ самой русской исторіографіи становилась очевидна потребность въ новыхъ пріемахъ изученія, въ болѣе полномъ пересмотрѣ источниковъ, и наша Археографическая экспедиція и коммиссія возникала параллельно съ подобными предпріятіями на западѣ, — съ изданіемъ источниковъ французской исторіи, предпринятымъ по мысли Гизо, съ нѣмецкимъ изданіемъ „Памятниковъ“ Перца. Въ книгѣ Эверса о древнемъ русскомъ правѣ, нѣмецкая историческая критика коснулась и русской древности. Такъ называемая скептическая школа набрасывала сомнѣніе на достовѣрность традиціонной исторіи древняго періода, указывала на необходимость принять въ соображеніе бытовыя условія древности,—хотя вообще не съумѣла ни ясно формулировать своихъ мнѣній, ни поставить вмѣсто отрицаемой традиціи собственныя положенія. Полевой посвящалъ свою книгу Нибуру, „первому историку нашего вѣка“, и усиливался примѣнить къ фактамъ русской исторіи пріемы нѣмецкихъ и французскихъ изслѣдователей. Все это были признаки созрѣвавшей потребности новаго критическаго толкованія русской исторіи.

Выполненіемъ этой потребности явились съ сороковыхъ и особенно съ пятидесятыхъ годовъ труды цѣлаго ряда новыхъ историковъ и филологовъ, которые уже не какъ дилеттанты, а самостоя-

тельной работой восприняли методы европейской исторической и филологической науки и примѣнили ихъ къ матеріалу русской исторіи и народности.

У насъ всего болѣе вліяла именно нѣмецкая наука. Главной причиной этого была та ея разносторонность, о которой мы говорили. Если французская литература пріобрѣтала обширное вліяніе по историческому значенію французской образованности, то въ данномъ случаѣ нѣмецкая брала верхъ по бо̀льшей глубинѣ историческаго труда и бо̀льшей обширности горизонта изученій, наконецъ, по многосторонней постановкѣ новыхъ наукъ въ университетскомъ преподаваніи, къ которому должны были обратиться наши молодые ученые. Относительно вліяній нѣмецкой науки, у насъ было сильно и историческое преданіе. Нѣмцы были ближайшіе сосѣди, у которыхъ могли быть заимствованы знанія научныя, художественныя, техническія. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ въ Москвѣ начались западныя вліянія и вызовы иноземныхъ ученыхъ и техниковъ, это были по преимуществу, если не исключительно, нѣмцы. Это велось еще съ XV—XVI вѣка; къ концу XVII-го столѣтія въ Москвѣ уже населилась цѣлая нѣмецкая слобода. Съ основанія петербургской Академіи, въ нее вызывались нѣмцы; эти и другіе нѣмцы, вызванные при Петрѣ, находили въ Россіи множество земляковъ, за собой тянули и другихъ; съ присоединеніемъ остзейскаго края являлся большой притокъ *своихъ* нѣмцевъ. Первые русскіе ученые, какъ Ломоносовъ, прошли нѣмецкую школу. Въ московскій университетъ, со второй половины прошлаго вѣка, нѣмецкіе профессора (при обиліи университетовъ, гелертеровъ дома было множество) приглашались десятками. Тоже повторилось въ новыхъ университетахъ, основанныхъ при Александрѣ I, въ Казани, Харьковѣ, Петербургѣ, гдѣ вызванные профессора дѣйствовали еще въ пятидесятыхъ годахъ. Въ Академіи наукъ, ученые нѣмецкіе вызывались и до нашихъ дней. Замѣтимъ, что между этими нѣмецкими академиками и профессорами бывали люди европейской знаменитости, какъ, напр., Эйлеръ или Шлёцеръ, или люди съ почетной извѣстностью и дѣйствительными знаніями въ своемъ дѣлѣ. Когда правительство поняло, наконецъ, старую мысль Петра В., что слѣдуетъ скорѣе образовать своихъ людей, чтобы не зависѣть отъ чужеземцевъ,—и стало посылать русскихъ молодыхъ ученыхъ за границу для довершенія ихъ занятій (безъ этого обойтись все-таки было невозможно, да невозможно и донынѣ), то страной, куда они были направляемы съ этою цѣлью, была опять по преимуществу Германія.

Основаніе „профессорскаго института" въ Дерптѣ и посылка подготовлявшихся тамъ будущихъ профессоровъ за границу—съ конца

двадцатыхъ и до сороковыхъ годовъ—произвели небывалый прежде въ такомъ размѣрѣ приливъ свѣжихъ научныхъ силъ, и самымъ благотворнымъ образомъ подѣйствовали на преобразованіе нашей исторической и съ нею этнографической науки. Наши молодые ученые, обыкновенно уже достаточно подготовленные и между которыми нерѣдки были люди положительнаго таланта, застали въ Германіи въ полномъ дѣйствіи „историческую школу", бывали слушателями самихъ ея основателей и въ состояніи были освоиться съ ея развѣтвленіями и оттѣнками, сознательно воспринять ея методъ [1]). Въ то же время новые научные пріемы бросали корень въ новыхъ университетскихъ поколѣніяхъ путемъ литературы; оживленная пора московскаго университета въ тридцатыхъ годахъ воспитала рядъ замѣчательныхъ дѣятелей, которые уже скоро внесли въ литературу богатый запасъ новыхъ научныхъ интересовъ.

Свою долю вліянія на развитіе историческихъ изученій оказало и гегеліанство, увлекавшее умы молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ. Оно имѣло исходный пунктъ и способъ наблюденія не совсѣмъ

---

[1]) Вотъ, для примѣра, нѣсколько именъ изъ тогдашней профессуры по исторіи, праву и филологіи. Въ московскомъ университетѣ:

— Рѣдкинъ: 1828—30 въ профессорскомъ институтѣ; 1831—34, въ Берлинѣ, слушатель Савиньи, Бёка, Гегеля.

— Крыловъ, Никита: 1831—34, въ Берлинѣ, занимается „подъ личнымъ руководствомъ Савиньи", школа котораго „образовала господствующее направленіе его профессорской дѣятельности" (Словарь моск. проф.).

— Крюковъ, извѣстный филологъ: 1833—35 за границей; въ Берлинѣ былъ слушателемъ Бёка.

— Чивилевъ, политико-экономъ: 1833—35 за границей.

— Грановскій: 1836—39 за границей, большею частію въ Берлинѣ, подъ руководствомъ Ранке.

— Кудрявцевъ: 1843—47 за границей.

Нѣкоторые изъ будущихъ профессоровъ были за границей не по оффиціальной посылкѣ:

— Катковъ: 1841—43, слушалъ въ Берлинѣ особенно Шеллинга (диссертація филологическая: Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго яз., 1845).

— Буслаевъ: 1839—41 за границей.

— Соловьевъ: 1842—44 за границей.

Въ петербургскомъ университетѣ:

— Калмыковъ, юристъ: 1828—34 въ Дерптѣ и за границей; въ Берлинѣ слушатель Эйхгорна, Савиньи, Гегеля, Ганса.

— Неволинъ: 1829—32 за границей, образовался въ особенности по Савиньи.

— Ивановскій: 1832—35 въ Дерптѣ и за границей; въ Берлинѣ слушатель Савиньи, Ганса, Карла Риттера.

— Куторга, М.: въ Дерптѣ, потомъ 1833—35 за границей.

— Порошинъ, политико-экономъ: 1833—35 за границей.

Въ казанскомъ университетѣ:

— Мейеръ, Д. И.: кажется 1842—44, за границей, и друг.

согласные, иногда противоположные съ требованіями „исторической школы“; но были точки соприкосновенія, гдѣ то и другое содѣйствовало преобразованію исторической науки,—и въ самой Германіи, и въ отраженіяхъ гегеліанства у насъ. Представленіе о естественномъ, совершающемся съ внутренней логической необходимостью, процессѣ развитія духа,—процессѣ, создающемъ самую исторію человѣчества, —совпадало съ основной мыслью исторической школы, съ тою разницею, что послѣдняя избѣгала рискованныхъ отвлеченныхъ построеній „философіи исторіи“ и останавливалась на генетическомъ объясненіи фактовъ.

Всѣ эти явленія, въ видѣ общихъ теоретическихъ положеній и въ видѣ спеціальныхъ историческихъ, юридическихъ и литературныхъ изученій, соединялись и перекрещивались въ молодыхъ кружкахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и создали небывалое прежде движеніе научно-критической мысли, въ духѣ которой и былъ произведенъ рядъ трудовъ, совершенно измѣнившихъ весь характеръ русской исторіографіи и изслѣдованій народности. Значительный научный матеріалъ былъ уже собираемъ ранѣе; философскіе вкусы, тогда распространенные, требовали теоретическаго освѣщенія фактовъ и приготовляли почву для новыхъ выводовъ и обобщеній; теперь, количество матеріала еще умножилось и къ нему приложены были новые пріемы критики. Въ ходѣ русской науки наступилъ новый періодъ.

Въ области исторіографіи на первомъ планѣ стоятъ многочисленные труды неутомимаго Соловьева (1820—1879) [1]. Его первая знаменитая диссертація: „Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ“ (1845) и вторая: „Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова дома“ (1847), наконецъ первый томъ „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“ (1851) были фактомъ, что называется, составляющимъ эпоху. Труды Соловьева были приняты съ великимъ сочувствіемъ и уваженіемъ его сверстниками, потому что отвѣчали ихъ собственнымъ исканіямъ и требованіямъ отъ историческаго изслѣдованія. Эти сверстники съ перваго раза вѣрно оцѣнили всю важность новаго пріема и его отношеніе къ карамзинскому преданію. Съ другой стороны, труды Соловьева встрѣчены были весьма недружелюбно хранителями этого преданія, именно Погодинымъ,—это было странно во всякомъ случаѣ, происходило-ли отъ

[1]) Оцѣнка этихъ трудовъ дѣлалась множество разъ при ихъ появленіи; общее опредѣленіе ихъ укажемъ въ статьѣ г. Герье: „С. М. Соловьевъ“, въ „Историч. Вѣстникѣ“, 1880; подробное перечисленіе ихъ—въ „Спискѣ сочиненій, 1842—1879“, составленномъ Н. А. Поповымъ.

непониманія, или отъ непреодолимаго личнаго нерасположенія къ молодому сопернику.

Критическій пріемъ Соловьева былъ именно пріемъ „исторической школы“. Первые образцы новой критики указали наглядно всю недостаточность прежнихъ изслѣдованій и необходимость искать объясненія внутреннихъ основаній историческаго процесса. Трудъ Соловьева былъ привѣтствованъ его сверстниками именно потому, что, говоря словами одного изъ нихъ, представлялъ—„*первую* серьезную попытку понять и объяснить *постепенное развитіе* древней русской жизни. Этого до Соловьева *никто* еще не дѣлалъ, по крайней мѣрѣ печатно, не исключая самого Карамзина. „Исторія“ Карамзина принадлежитъ болѣе къ изящной, чѣмъ къ исторической литературѣ (кромѣ примѣчаній, которыя представляютъ богатое собраніе матеріаловъ и источниковъ). Карамзинъ обращалъ болѣе вниманія на внѣшнія событія, чѣмъ на внутреннія. Онъ мало понималъ послѣдовательное, внутреннее развитіе русской жизни... Конечно, въ „Исторіи“ Карамзина встрѣчаются намеки на мысль, которую развилъ г. Соловьевъ въ своей диссертаціи, но имъ едва-ли можно придавать какую-нибудь важность... Дѣло состоитъ въ томъ, что Карамзинъ не искалъ въ фактахъ *мысли*, не останавливался надъ ними, не прослѣдилъ ихъ развитія въ исторіи, какъ г. Соловьевъ, а передавалъ ихъ отрывочно, безсвязно, какъ онѣ высказывались въ фактахъ. Конечно, время было другое. Но нельзя же опять не сказать, что это было такъ... Карамзинъ не глубоко смотрѣлъ на исторію. Это и даетъ намъ право назвать взглядъ г. Соловьева вполнѣ новымъ, оригинальнымъ и самостоятельнымъ, хотя на него и есть намеки въ „Исторіи“ Карамзина“.

Критикъ, — слова котораго мы приводимъ, — вообще находилъ очень мало удовлетворительной и историческую и историко-юридическую литературу нашу послѣ Карамзина. Единственная полезная часть и въ той, и въ другой—собираніе и обнародованіе источниковъ, но изслѣдованій очень мало, и направлены онѣ на предметы несущественные; общіе взгляды составляются изъ чистаго произвола, а „необходимый *законъ*, по которому совершалась древняя русская исторія“, даже не привлекаетъ вниманія.

Критикъ называлъ это состояніе науки *романтизмомъ* и находилъ, что „такой романтизмъ, господствующій въ современныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ, и лозунгами котораго почти всегда—мысли самыя не-дѣйствительныя, не-историческія, преимущество Руси передъ Россіею (т.-е. древней Россіи передъ новою) и словенскаго міра передъ романо-германскимъ—такой романтизмъ свидѣтельствуетъ

только, что до истинной дѣйствительной исторической науки намъ еще очень, очень далеко".

Книга Соловьева радовала критика именно совершеннымъ удаленіемъ этого романтическаго произвола, и введеніемъ строгаго научнаго изслѣдованія историческихъ законовъ и движущихъ началъ. „Что мы особенно цѣнимъ въ авторѣ книги,—говорилъ критикъ,—это безусловную *вѣру въ историческое развитіе*, и потому совершенное отсутствіе всякихъ любимыхъ заднихъ мыслей, насилующихъ факты, простой взглядъ на историческія событія и большой историческій смыслъ. Для г. Соловьева всѣ эпохи нашей древней исторіи равно интересны и важны; во всѣхъ онъ ищетъ внутренняго значенія, необходимой связи и разумной постепенности, не вводя постороннихъ дѣятелей отъ своего лица". „Мы не усомнимся сказать,—заключалъ критикъ,—что трудъ г. Соловьева самъ по себѣ *составляетъ эпоху* въ области изслѣдованій о русскихъ древностяхъ и подаетъ радостныя надежды въ будущемъ".

Отзывъ, сущность котораго мы привели, принадлежалъ Кавелину [1]). Теперь, спустя почти полъ-вѣка, когда и дѣятель и привѣтствовавшій его критикъ отошли въ исторію, особенно любопытенъ этотъ первый отзывъ, такъ оправданный монументальнымъ трудомъ Соловьева. Кавелинъ съ тѣмъ же вниманіемъ и сочувствіемъ останавливался на послѣдующихъ сочиненіяхъ Соловьева, и его „Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикова дома" (1847) посвятилъ рядъ статей, въ которыхъ внимательно прослѣдилъ и провѣрилъ главную мысль Соловьева и ея историческія подробности,—такъ какъ на этотъ разъ шла рѣчь объ одномъ изъ основныхъ *началъ* всей старой русской исторіи [2]). Интересъ вполнѣ понятенъ: это были именно ученые *одной школы*, едва раздѣленные спеціальностью,—одинъ былъ собственно историкъ, другой юристъ,—но видѣвшіе одно требованіе для историческаго изслѣдованія и естественно сходившіеся въ вопросѣ объ историческихъ началахъ, которыя были вмѣстѣ и началами юридическими.

Понятіе о народѣ, какъ организмѣ, и объ исторіи народа, какъ органическомъ развитіи его исконныхъ бытовыхъ началъ, въ обстановкѣ природныхъ условій и внѣшнихъ условій и сосѣдства, составляетъ основную историческую идею Соловьева, и приложеніе этой идеи есть его великая научная заслуга. Съ первыхъ своихъ изслѣдованій Соловьевъ исходилъ изъ этой точки зрѣнія, и потомъ нѣсколько разъ возвращался къ объясненію понятія органическаго раз-

---

[1]) „Отеч. Записки", 1845, дек., библ. хроника; и Сочин. Кавелина, М. 1859, т. II, стр. 30, 31, 33, 38.

[2]) „Современникъ", 1847, кн. 8 и 12; 1847, кн. 5, и Сочиненія, II, стр. 454—612.

витія: естественно, что исторія, построенная на этомъ основаніи, была совсѣмъ не похожа на старую карамзинскую. Свой главный историческій трудъ Соловьевъ открываетъ изслѣдованіемъ географической области, въ которой предстояло развиваться дѣятельности русскаго народа. Это была система знаменитаго Риттера, который, въ параллель исторической школѣ, создавалъ тогда впервые географическую науку, связанную съ исторіей и этнографіей и объяснявшую взаимодѣйствіе природы и человѣка. Взглядъ Риттера былъ опять привлекателенъ для Соловьева именно тѣмъ, что удалялъ изъ исторіи случайность и произволъ, и давалъ естественный и постоянный *законъ* для объясненія фактовъ. Отдѣльныя замѣчанія о вліяніи „климата" есть еще у Карамзина; но до Соловьева нигдѣ не было съ такой подробностью разработано вліяніе географическихъ условій въ русской исторіи вообще,—быть можетъ, даже съ преувеличеніемъ апріорическихъ выводовъ post facto. Съ точки зрѣнія органическаго развитія, новый историкъ отнесся отрицательно къ обычному дѣленію русской исторіи на періоды: по его взгляду, никакого рѣзкаго дѣленія не могло быть тамъ, гдѣ идетъ *непрерывная* дѣятельность развитія, гдѣ каждое явленіе подготовляется предъидущимъ, и если иногда крупное событіе имѣетъ видъ внезапнаго переворота, это значитъ только, что его причинъ надо искать глубже въ условіяхъ и потребностяхъ жизни и дальше въ предшествующихъ вѣкахъ. Еще въ 1847, при защитѣ второй диссертаціи, Соловьевъ въ рѣчи на диспутѣ высказывалъ свою точку зрѣнія: до сихъ поръ заботились особенно о томъ, какъ *раздѣлить* русскую исторію; теперь надо стараться, напротивъ, *соединить* ея части въ одно цѣлое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное, надо возсоздать органическій ходъ исторіи, а онъ самъ отмѣтитъ дѣленія естественныя и необходимыя [1]). Позднѣе Соловьевъ развилъ эту самую мысль и въ печати. Въ связи съ этимъ представленіемъ, Соловьевъ объяснялъ родовыми отношеніями „систему удѣльную", которая прежде представлялась безсмысленнымъ дѣломъ произвола. Онъ отвергалъ также вліяніе монгольскаго ига въ томъ размѣрѣ, какое ему часто приписывали: монгольское иго было непричастно тому повороту въ русской исторіи, который съ нимъ совпадаетъ хронологически, или по крайней мѣрѣ было въ этомъ поворотѣ только одной изъ многихъ дѣйствующихъ причинъ. Далѣе, въ связи съ этимъ, былъ взглядъ Соловьева на Ивана III, на Ивана Грознаго, которыхъ дѣятельность внушена была не личными характерами, хитрой осторожностью одного, или жестокостью другого, а принудительными обстоятельствами, ко-

[1]) Сочин. Кавелина, II, 459—460.

торыя впередъ предписывали извѣстное направленіе ихъ политикѣ. Наконецъ, въ самомъ переходѣ отъ древней Россіи къ новой, въ дѣятельности Петра, которая характеризуется обыкновенно какъ реформа, даже революція, Соловьевъ не видитъ никакого внезапнаго перерыва, никакого произвольнаго нарушенія „исконныхъ русскихъ началъ", на которое плакались поклонники древней Руси; напротивъ, Соловьевъ указывалъ тѣснѣйшую практическую связь древней Россіи съ новой, и связь нравственную, потому что самый способъ дѣйствія реформы складывался по тѣмъ нуждамъ, какія были почувствованы ранѣе Петра, и по тѣмъ пріемамъ мысли, какіе были воспитаны старымъ русскимъ обществомъ. Петръ былъ только выполнитель требованія, которое вѣками созрѣвало въ древней Россіи, и средство, употребленное новой Россіей для удовлетворенія этого требованія, было совершенно законно—оно употреблялось и самою древней Россіей. Тѣ угловатости, которыхъ не лишена реформа, были слѣдствіемъ той малой развитости сознанія, какая опять была унаслѣдована отъ старой Россіи. „Эта страсть къ кореннымъ переворотамъ, къ полному отрицанію стараго и созданію новаго, есть плодъ неразвитости сознанія. Одна крайность—безсознательное подчиненіе старому, ведетъ необходимо къ другой крайности—безсознательному стремленію къ новому".

Развивая далѣе мысль объ органическомъ ростѣ русскаго народа, Соловьевъ устраняетъ и ту черту, какою многіе желаютъ еще донынѣ отдѣлять русскій народъ отъ европейскаго Запада, какъ нѣчто совсѣмъ на него не похожее и особенное, къ чему не прилагаются идеи и историческія явленія Запада. Это мнѣніе о несходствѣ, или даже противоположности Россіи и Запада,—въ которомъ не изгладилось или, вѣрнѣе, усердно подогрѣвалось преданіе старой московской исключительности,—поддерживалось у насъ людьми двоякаго сорта: съ одной стороны людьми, вообще не весьма расположенными къ просвѣщенію („ученье — вотъ чума"), бюрократическими обскурантами, а съ другой подхвачено было новѣйшими доктринерами, которымъ казалось, что этимъ противопоставленіемъ Россіи и европейской образованности возвышается достоинство русскаго народа. Думаемъ, что Соловьеву это мнѣніе было противно въ обѣихъ его формахъ. Въ тѣ годы, когда шла его молодая дѣятельность, на этой противоположности Россіи и Запада особенно настаивали: Западъ явился тогда очагомъ революціоннаго буйства, противъ него принимались строжайшія карантинныя мѣры, его просвѣщеніе считалось зараженнымъ и ядовитымъ, — и славянофилы страннымъ образомъ этому вторили; Соловьевъ, который (какъ и многіе другіе дѣятели „исторической школы" въ Германіи и у насъ) въ результатѣ своихъ историческихъ изученій былъ большимъ консерваторомъ, не только

не былъ однако приверженцемъ этого дѣленія и удаленія отъ Запада, но напротивъ думалъ, что послѣднюю стадію историческаго развитія русскаго народа, послѣдній результатъ его исторической работы, составляетъ его пріобщеніе къ развитію обще-человѣческому: въ концѣ своей многотрудной задачи—внѣшняго построенія государства и внутренней работы образованія, — русскій народъ долженъ примкнуть къ европейской семьѣ, ему родственной, и къ ея просвѣщенію. Требованіе просвѣщенія именно отличало Соловьева отъ всякихъ прежнихъ и новѣйшихъ консерваторовъ, и прибавка этого условія, конечно, измѣняла всю обычную консервативную формулу.



Дѣло въ томъ, что Соловьевъ, по своему образованію, не былъ только тѣснымъ спеціалистомъ, но примыкалъ къ тому гуманному направленію, которое укрѣплялось у насъ съ вліяніями европейской литературы и ростомъ своей. Онъ вообще стоялъ особнякомъ, не вмѣшивался въ горячую публицистическую дѣятельность кружка Бѣлинскаго, но во всякомъ случаѣ принадлежалъ къ „западникамъ", и Грановскій, наиболѣе мягкій и симпатичный представитель у насъ гуманнаго направленія, былъ для него высоко цѣнимымъ товарищемъ.

„Въ тѣ дни,—говоритъ біографъ Соловьева, г. Герье,—когда нашъ молодой историкъ готовился къ своему призванію, вниманіе русскаго общества занималъ вопросъ объ отношеніяхъ русскаго народа къ другимъ европейцамъ, національнаго духа къ обще-человѣческому просвѣщенію, и различные взгляды на этотъ предметъ выразились въ литературныхъ направленіяхъ и партіяхъ. Приверженцы европейскаго, общечеловѣческаго, были названы *западниками*; названіе одностороннее, неправильное, потому что указывало на внѣшній признакъ явленія, упуская изъ вида его сущность; названіе несправедливое, потому что заключало въ себѣ укоръ, а укоръ могъ только относиться къ увлеченію, къ злоупотребленію новымъ принципомъ, которыя вовсе не вытекали изъ самаго принципа въ самомъ себѣ вѣрнаго. Западники 30—50 годовъ имѣли право на совершенно иное названіе. Это были *русскіе гуманисты*. Нѣтъ основанія пріурочивать этотъ терминъ исключительно къ эпохѣ ренесанса, къ людямъ, проводившимъ тогда въ европейскомъ обществѣ греко-римскую образованность... Высшій цвѣтъ этой цивилизаціи былъ раскрытъ только въ XVIII в., когда основаніе новой эпохи гуманизма было положено Винкельманомъ. На этомъ гуманизмѣ воспитались классическіе поэты Германіи: Лессингъ, Гердеръ, Шиллеръ и Гёте, которые внесли гуманическій элементъ въ нѣмецкую литературу и этимъ подняли культуру нѣмецкую, дали ей міровое значеніе. Здѣсь гуманизмъ получилъ иной, болѣе широкій смыслъ, что выразилось уже въ самомъ измѣненіи значенія слова *гуманный*; классическій гуманизмъ сдѣлался лишь однимъ изъ составныхъ элементовъ *европейскаго гуманизма*, т.-е. гуманнаго, общечеловѣческаго начала. Въ этотъ европейскій гуманизмъ стали тогда входить двѣ новыя живительныя струи—идеалистическая философія, которая внесла въ духовный міръ человѣка пониманіе исторіи, идею законнаго, мирнаго, органическаго развитія, идею прогресса и политическій либерализмъ, которому положилъ прочное основаніе переворотъ 1789 года. Этотъ обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX вѣка гуманизмъ — продуктъ евро-

пейской общечеловѣческой цивилизаціи,—вотъ что пытались провести въ наше общество русскіе гуманисты, такъ называемые западники сороковыхъ годовъ! Не замѣну національнаго западнымъ ставили они себѣ цѣлью, а воспитаніе русскаго общества на европейской универсальной культурѣ, чтобы поднять національное развитіе на степень общечеловѣческаго, дать ему міровое значеніе.

„Гуманизмъ XVI в. былъ отрицаніемъ исторіи“...

Напротивъ,—

„Гуманизмъ XIX вѣка благопріятствовалъ успѣхамъ наукъ историческихъ. Историческое направленіе, генетическое объясненіе явленій, сдѣлалось господствующимъ во всѣхъ наукахъ. Сама же исторія была выдвинута на степень общественной науки, руководительницы въ современныхъ вопросахъ. Это высокое призваніе ея обусловливалось тѣмъ, что ей указанъ былъ строго научный путь. Въ основаніе ея явленій была положена идея закономѣрнаго развитія. но вмѣстѣ съ тѣмъ не было забыто гуманное сочувствіе къ человѣку, какъ къ отдѣльному лицу, такъ и къ массѣ. Вотъ какъ выразился объ этомъ С. М. Соловьевъ въ теплыхъ словахъ, посвященныхъ имъ памяти главнаго и самаго блестящаго представителя русскаго гуманизма въ то время, Т. Н. Грановскаго:

„Грановскій началъ свою профессорскую дѣятельность, когда умы молодаго поколѣнія были сильно возбуждены великимъ стремленіемъ, господствовавшимъ въ исторической наукѣ, стремленіемъ уяснить законы, которымъ подчинены судьбы человѣчества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремленія, и здѣсь, какъ во всякомъ дѣлѣ, во всякомъ стремленіи человѣческомъ, можно было дойти до вредной односторонности, которая дѣйствительно и обозначилась въ историческихъ сочиненіяхъ, важныхъ по своему достоинству и вліянію: имѣя въ виду общіе законы развитія человѣчества, разсматривая историческихъ дѣятелей, цѣлыя поколѣнія и народы только какъ орудія для достиженія извѣстныхъ цѣлей,—пріобрѣтали жесткость взгляда, теряли сочувствіе къ поколѣніямъ и народамъ, къ ихъ радостямъ и торжествамъ, къ ихъ страданіямъ и паденіямъ; мало того, пріобрѣтали равнодушіе, неразборчивость при оцѣнкѣ средствъ, которыми достигались извѣстныя цѣли: что нужды, если употреблялись средства не нравственныя, лишь бы это было во имя благодѣтельныхъ для человѣчества идей! „Идеи не суть индѣйскія божества, которыхъ возятъ въ торжественныхъ процессіяхъ и которыя давятъ поклонниковъ своихъ, суевѣрно бросающихся подъ ихъ колесницы“, вотъ слова, раздавшіяся въ аудиторіяхъ нашего университета съ появленіемъ въ нихъ Грановскаго“.

„Общественное значеніе русскаго гуманизма представляется такимъ образомъ съ двоякой стороны: ставя современному обществу высокіе общечеловѣческіе идеалы, побуждая его во имя идеи прогресса идти впередъ по пути общечеловѣческой культуры, вселяя ему сочувствіе съ гуманнымъ началамъ,—онъ въ то же время содѣйствовалъ разумѣнію прошедшаго научной обработкой исторіи.

„Къ этому направленію, къ *западникамъ*, къ русскимъ гуманистамъ, примкнулъ и Соловьевъ. Его привлекалъ къ нимъ прежде всего его научный интересъ, а затѣмъ сознаніе, что научное ихъ направленіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе національное. Научно-европейское образованіе поставило его высоко надъ тѣми робкими умами, которые изъ страха перестать быть русскими боялись сдѣлаться европейцами“.

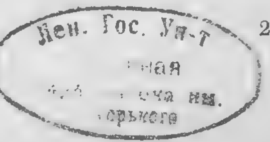
Соловьевъ не любилъ полемики, — слишкомъ часто безплодной, потому что большинство полемистовъ не умѣютъ вести спора о дѣлѣ, увлекаясь мелочностью личныхъ раздраженій; неутомимая работа давала ему возможность вести постоянно дальнѣйшее разъясненіе и доказательство своего взгляда. Очень рѣдко онъ измѣнялъ своему обычаю, и разъ вмѣшался въ споръ противъ славянофильства. Оно было ему антипатично именно тѣмъ, что на мѣсто органическаго развитія реальныхъ данныхъ народной жизни ставило въ исторіи отвлеченныя апріорическія положенія и къ нимъ подгоняло факты. Эти статьи Соловьева [1]) особенно любопытны для объясненія его собственнаго пріема и коренныхъ разнорѣчій съ славянофильствомъ. Это послѣднее направленіе онъ считалъ просто анти-историческимъ, и дѣйствительно, славянофильство не дало, въ смыслѣ своей теоріи, никакого послѣдовательнаго изложенія русской исторіи или исторіи русской литературы.

Однимъ изъ основныхъ пунктовъ разнорѣчія въ опредѣленіи хода русской исторіи была естественно Петровская реформа. Соловьевъ, осматривая ее съ разныхъ сторонъ, не скрывалъ отъ себя ея недостатковъ и не былъ ея безусловнымъ панегиристомъ,—но самымъ рѣшительнымъ образомъ защищалъ ее отъ ея новѣйшихъ противниковъ, именно какъ глубоко естественный, органически необходимый фактъ развитія русскаго народа, какъ условіе и ручательство его достоинства въ средѣ европейскихъ народовъ и въ области общечеловѣческаго просвѣщенія. Это былъ только болѣе опредѣленный исторически, но тотъ же взглядъ на Петра, какой выставляла поэзія (не дворянская теорія) Пушкина; тотъ же взглядъ „западнической" партіи, которая въ реформѣ Петра защищала право просвѣщенія, еще слишкомъ мало обезпеченное въ русской жизни; по мнѣнію Бѣлинскаго, которое дѣлилось несомнѣнно и его друзьями, Пушкинъ нигдѣ не былъ такъ высокъ и именно такъ *національнымъ*, какъ въ поэтическомъ возвеличеніи „творца Россіи".

Обозрѣніе научнаго и общественнаго значенія дѣятельности Соловьева привело г. Герье къ слѣдующему выводу, который приводимъ какъ первый уже *историческій* выводъ объ этой дѣятельности. „Въ исторіи,—говоритъ г. Герье,—выражается народное самопознаніе и исторіографія служитъ средствомъ для его выясненія. Въ лицѣ Соловьева русская исторіографія довершала задачу, которую она такъ давно стремилась выполнить. Въ немъ соединились всѣ условія, необходимыя для національнаго историка въ полномъ и

---

[1]) „А. Л. Шлёцеръ", въ „Русск. Вѣстникѣ" 1856, № 8, и „Шлецеръ и антиисторическое направленіе", тамъ-же, 1857, № 8.



истинномъ смыслѣ этого слова... Ему было суждено поставить созидающееся зданіе русской исторіографіи на прочномъ основаніи, потому что этимъ основаніемъ была современная европейская наука. Но историческая наука не должна представлять только зеркало для прошедшаго; она имѣетъ культурное общественное призваніе, и такъ понималъ свою задачу Соловьевъ. Для русской науки, какъ и для всякой другой, эта задача выполнима только въ союзѣ съ обще-европейскимъ просвѣщеніемъ, и въ этомъ отношеніи Соловьевъ направилъ русскую исторіографію на вѣрный путь; ни его патріотизмъ, ни его преданность православной церкви не мѣшали ему считать себя европейцемъ и требовать отъ русскаго общества, чтобы *европейское* ему не было чуждо. Онъ сдѣлалъ болѣе; онъ доказалъ своей исторіей, что стремленіе къ европейской наукѣ и обще-человѣческому просвѣщенію есть исконное стремленіе въ Россіи, есть *національное* стремленіе. Историческіе труды Соловьева раскрыли постепенное, но непрерывное развитіе этого стремленія отъ первыхъ зародышей его въ „ревнителяхъ просвѣщенія“ въ древней Руси, отъ болѣе яснаго проявленія его въ „русскихъ исповѣдникахъ просвѣщенія“ [1]) въ XVII вѣкѣ, до сознательнаго упроченія его въ преобразованіяхъ великаго царя. Въ рядахъ этихъ русскихъ ревнителей просвѣщенія одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ принадлежитъ русскому національному историку, основателю историческаго направленія въ русской исторіи, такъ высоко понимавшему какъ научный характеръ, такъ и просвѣтительное признаніе русской исторіографіи [2]).

Не входя здѣсь въ разборъ историческихъ взглядовъ Соловьева, которые въ иныхъ, и важныхъ, отношеніяхъ остаются спорными и о которыхъ будемъ имѣть случай говорить дальше, здѣсь мы хотѣли только указать его главную заслугу, состоящую въ пріемѣ изслѣдованія, дѣйствительно впервые открывавшемъ путь къ правильному пониманію русской исторіи. Это не была внѣшне-историческая, живописательная и морализирующая манера Карамзина, которая оцѣнивала событія по ихъ внѣшней яркости, анекдотической занимательности, историческихъ дѣятелей—по ихъ добродѣтелямъ и порокамъ; здѣсь открывалась критика внутренняго смысла этихъ событій, разыскивались физіологическія основанія быта, событіямъ и лицамъ опредѣлялось ихъ мѣсто и значеніе по ихъ связи съ органическимъ движеніемъ исторіи. Изслѣдованія, веденныя въ этомъ направленіи, могли продолжаться уже только въ этомъ направленіи:—можно было оспаривать указанные историкомъ законы явленій, но его точка зрѣнія

---

[1]) Статья Соловьева въ „Русск. Вѣстн.“ 1857, № 17, стр. 65—76.
[2]) „С. М. Соловьевъ“, стр. 38.

могла быть опровергнута только открытіемъ и доказательствомъ другихъ *законовъ*.

Въ одно время съ Соловьевымъ, или даже раньше его, на этотъ самый путь изслѣдованія вступилъ Кавелинъ.

К. Д. Кавелинъ (1818—1885) былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ ученыхъ, начавшихъ свою дѣятельность въ сороковыхъ годахъ и однимъ изъ самыхъ характерныхъ представителей той эпохи [1]). Окончивъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическому факультету (1839), Кавелинъ выдержалъ магистерскій экзаменъ въ 1841, въ 1842 поступилъ-было на службу по министерству юстиціи, въ слѣдующемъ году вернулся въ Москву для защиты диссертаціи, а со второй половины 1844 года началъ свои лекціи по исторіи русскаго законодательства и по другимъ юридическимъ предметамъ, которые также были поручены.

Кавелинъ росъ въ строго-консервативной обстановкѣ стараго дворянскаго круга (отецъ его былъ извѣстнымъ директоромъ петербургскаго университета во времена Магницкаго); но въ числѣ его учителей до университета былъ между прочимъ Бѣлинскій, съ которымъ онъ встрѣтился потомъ въ Петербургѣ, и съ этой поры у Кавелина завязались самыя тѣсныя, дружескія связи съ прежнимъ учителемъ и всѣмъ его кругомъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Бѣлинскій остался для него на всегда предметомъ великаго уваженія. Научная школа Кавелина была та „историческая школа“, о которой мы выше говорили, но сухія положенія науки, подъ вліяніемъ его собственной кипучей природы и подъ вліяніемъ одушевленія, какимъ наполненъ былъ кружокъ Бѣлинскаго, стали вмѣстѣ глубокимъ общественнымъ и народолюбивымъ стремленіемъ. Положенія науки тотчасъ были примѣнены къ условіямъ нашего общественно-политическаго быта и перешли въ нравственное требованіе. Этимъ убѣжденіямъ сороковыхъ годовъ Кавелинъ остался вѣренъ во всю свою жизнь.

Его внѣшняя біографія прошла потомъ къ сожалѣнію гораздо

---

[1]) Біографическія свѣдѣнія о Кавелинѣ:

— Некрологъ и воспоминанія о немъ разныхъ лицъ въ „Вѣстникѣ Европы“, 1885, собранныя въ книжкѣ: „Конст. Дм. Кавелинъ. Изъ первыхъ воспоминаній о покойномъ“. Спб. 1885; здѣсь между прочимъ списокъ сочиненій К., составленный Д. Языковымъ.

— „К. Д. Кавелинъ. Матеріалы для біографіи, изъ семейной переписки и воспоминаній“, Д. А. Корсакова, въ „Вѣстн. Евр.“ 1886—87.

— „Памяти К. Д. Кавелина“—рѣчи въ Московскомъ Юридическомъ Обществѣ въ „Юрид. Вѣстникѣ“, 1885.

— Записка Кавелина объ освобожденіи крестьянъ, 1855 г., въ „Р. Старинѣ“, 1886, январь, февр., май; Три неизданныя монографіи по крестьянскому вопросу, 1857—1864 г., съ предисловіемъ Д. Корсакова, въ „Р. Стар.“, 1887, февраль, и др.

меньше въ области науки и университета, чѣмъ въ трудахъ болѣе или менѣе чуждыхъ его настоящему призванію.

Въ 1848 году Кавелинъ покинулъ московскій университетъ и поступилъ на службу въ Петербургѣ, сначала въ хозяйственномъ департаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, потомъ въ штабѣ военно-учебныхъ заведеній, затѣмъ въ канцеляріи комитета министровъ. Въ 1857 году Кавелинъ снова вступилъ на каѳедру русскаго гражданскаго права въ петербургскомъ университетѣ, на которой оставался только четыре года, до 1861. Въ то же время, опять не на долго, на одинъ годъ, онъ сдѣлался преподавателемъ покойнаго цесаревича Николая. Впослѣдствіи, въ 1864, онъ поступилъ на службу въ министерство финансовъ, а съ 1878 сталъ профессоромъ въ военно-юридической академіи, тогда только-что основанной. Въ 1885 онъ умеръ.

Мы сказали, что научное положеніе становилось для Кавелина вмѣстѣ и нравственнымъ требованіемъ. Его мысль, съ первыхъ годовъ его ученой литературной дѣятельности, обращалась на общіе вопросы русской исторіи, которые въ то же время становились для него и вопросами живой современности, вопросами общественными, гражданскими. Свои основные взгляды того времени онъ высказалъ въ знаменитой статьѣ о „Юридическомъ бытѣ древней Россіи". Исторія Россіи сразу становилась для него нераздѣльной съ исторіей народа, который былъ послѣдней цѣлью всего труда, положеннаго на созданіе государства. По смерти Кавелина, лица, бывшія его слушателями въ московскомъ университѣ [1]), вспоминали объ его одушевленныхъ лекціяхъ и о частныхъ бесѣдахъ съ профессоромъ въ опредѣленные дни. Въ этихъ бесѣдахъ досказывались тѣ нравственные и практическіе выводы, которые не находили мѣста въ университетскихъ лекціяхъ. „Преобладающее мѣсто въ воскресныхъ бесѣдахъ занималъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Составъ студентовъ былъ тогда другой: большинство ихъ принадлежало къ помѣщикамъ, къ рабовладѣльцамъ, какъ не стѣсняясь заявлялъ имъ въ глаза Константинъ Дмитріевичъ. Его рѣзкій, безпощадный протестъ противъ крѣпостного права имѣлъ громадное значеніе. Въ умѣ всякаго шевельнулось сомнѣніе; болѣе или менѣе, но невольно, протестъ этотъ переходилъ въ слушателей. Какъ-то совѣстно становилось обращаться къ этому явленію такъ спокойно и безразлично, какъ это дѣлалось до знакомства съ Константиномъ Дмитріевичемъ. И эта дѣятельность не прошла безслѣдно. Не мало его слушателей явилось впослѣдствіи и

---

[1]) Въ числѣ ихъ были К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Ѳ. М. Дмитріевъ, Н. П. Колюпановъ, А. М. Унковскій, Б. Н. Чичеринъ, покойный Аѳанасьевъ.

въ числѣ меньшинства губернскихъ комитетовъ, и въ рядахъ мировыхъ посредниковъ перваго призыва. Такимъ образомъ, дѣло, которому К. Д. посвятилъ цѣлую свою жизнь,—онъ началъ еще въ молодости, съ первыхъ шаговъ своей профессорской дѣятельности, въ то время, когда для большинства крѣпостное право представлялось незыблемымъ устоемъ русской жизни" [1]).

Понятно, что онъ съ величайшимъ энтузіазмомъ встрѣтилъ первыя заявленія о постановкѣ крестьянскаго вопроса. Цѣлый рядъ его трудовъ посвященъ объясненію крестьянскаго вопроса и въ то время, когда рѣшеніе его еще готовилось въ правительстренныхъ кругахъ, и до послѣдняго времени, когда послѣ реформы представлялись новые трудные вопросы устройства народнаго быта. Этотъ народный интересъ былъ господствующимъ въ его общественныхъ взглядахъ. Воспринятый еще въ сороковыхъ годахъ, онъ, какъ мы замѣтили, сохранился у Кавелина неизмѣнно, все больше опредѣляясь съ теченіемъ времени. Нѣкогда, въ сороковыхъ годахъ, Кавелинъ, какъ и Грановскій, принялъ участіе въ полу-славянофильскомъ, такъ называемомъ Валуевскомъ сборникѣ [2]), но уже вскорѣ различіе взглядовъ выяснилось и въ возгорѣвшемся спорѣ славянофиловъ и западниковъ Кавелинъ рѣшительно сталъ на сторонѣ послѣднихъ. Впослѣдствіи въ крестьянскомъ вопросѣ идеи Кавелина сошлись съ мнѣніями лучшихъ славянофиловъ, какъ Ю. Самаринъ; но извѣстно, что освобожденіе съ необходимостью надѣла было также мыслью людей, совершенно далекихъ отъ всякаго славянофильства. Это была просто мысль всѣхъ разумныхъ друзей народа... Кавелинъ приблизился къ славянофильству въ другой разъ, когда поднятъ былъ—правда, очень страннымъ образомъ—вопросъ о „деревнѣ". Ему была сочувственна та мысль, которую онъ самъ не однажды высказывалъ, что весь складъ русской жизни не похожъ на жизнь европейскую, что въ то время, какъ европейскій Западъ создавалъ общественный строй и цивилизацію, основанные на феодализмѣ, на буржуазіи, и проникнутые ихъ духомъ, а теперь выдвигаетъ—не земледѣльческій народъ, а городского рабочаго,—русская жизнь заявляетъ совершенно новый принципъ, народное право на землю и общинное начало. Идея была не нова; ранѣе ее высказывали славянофилы, также и Герценъ; затѣмъ ее повторялъ авторъ книги о „Россіи и Европѣ"; мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землей, т.-е. практическую сторону этого самаго вопроса въ русской жизни, давно защищали либералы 20-хъ годовъ, особливо Н. И. Тургеневъ... У Кавелина сходство съ славяно-

[1]) Воспоминанія Колюпанова, „Русскія Вѣдомости", 1885, № 123.

[2]) Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ. М. 1845.

филами шло въ этомъ пунктѣ также очень не далеко; ему былъ совершенно чуждъ славянофильскій мистицизмъ; точно также онъ ни мало не желалъ скорѣйшей погибели европейскаго просвѣщенія, но имъ овладѣла мысль о томъ, что соціальная европейская борьба вслѣдствіе исконныхъ историческихъ условій безъисходна, что она представляетъ только смѣну тиранній, между тѣмъ какъ русскій народъ представляетъ неизвѣстное Европѣ зрѣлище громаднаго общинно-земледѣльческаго населенія, составляющаго огромный процентъ всей народной массы и долженствующаго въ концѣ концовъ создать новый типъ общественно-политическаго строя, который разрѣшитъ сфинксову задачу современной борьбы. Въ этомъ состояло зерно его теоріи о „мужицкомъ царствѣ", о которомъ онъ любилъ говорить и спорить въ послѣдніе годы жизни, находя въ этой теоріи отвѣтъ своему идеалистическому представленію о разумномъ общественномъ строѣ русскаго народа въ условіяхъ его характера, его природы и территоріи. Защита теоріи, конечно, очень осложнялась всякими неудобными сосѣдствами—какъ старинная проповѣдь о гніеніи запада, или какъ новѣйшая проповѣдь о вредѣ „западной" науки и о пользѣ восточнаго невѣжества... Но право науки никогда не подлежало для Кавелина сомнѣнію, и въ томъ идеальномъ, точно сказочномъ „мужицкомъ царствѣ" эта наука была бы только ближе къ массамъ и не служила только роскошью избранныхъ классовъ... Историческій интересъ Кавелина былъ по преимуществу направленъ на это развитіе государственности, изъ всѣхъ славянъ созданной однимъ только русскимъ племенемъ; понятно, что его не удовлетворялъ Карамзинъ,—но его не удовлетворялъ также Соловьевъ; Костомарову онъ сочувствовалъ еще менѣе. Но признавая заслуги московской Россіи въ окончательномъ утвержденіи государства, Кавелинъ считалъ прошедшее прошедшимъ... По мнѣнію Кавелина, отечество его должно было идти впередъ, а не назадъ; въ образованіи онъ видѣлъ его насущную потребность; въ возрастающихъ поколѣніяхъ онъ видѣлъ дѣтей своего народа и жаждалъ, чтобы образованные люди своимъ знаніемъ шли на помощь народу, который, проживши тяжелые вѣка рабства, нуждается въ этой помощи, — но къ знанію должно было присоединиться нравственное чувство, честное отношеніе къ жизни. Этотъ народъ, благу котораго онъ былъ такъ преданъ и такъ много служилъ, не былъ въ его глазахъ ни фетишемъ, требующимъ поклоненія, ни идеаломъ, которымъ можно обманываться и — обманывать другихъ: какъ человѣкъ, знавшій народъ не только изъ кабинета, Кавелинъ не скрывалъ отъ себя недостатковъ этого народа, особенно недостатковъ культуры,—но изъ-за нихъ видѣлъ, однако, лучшія стороны русской народной природы, и этимъ-то сторонамъ онъ желалъ

разумнаго и счастливаго развитія, не во враждѣ, а въ союзѣ съ просвѣщеніемъ.

Знаменитая статья Кавелина: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи“ [1]) составляетъ сжатый очеркъ того взгляда, который былъ положенъ въ основаніе курса по исторіи русскаго законодательства, читаннаго имъ въ московскомъ университетѣ съ 1844 года. Уже съ этого времени, Кавелинъ въ своихъ лекціяхъ объяснялъ „преимущественно родовыя начала русскаго быта въ ихъ историческомъ развитіи“; въ 1847—48, онъ „большую часть лекцій посвятилъ весьма подробному обозрѣнію первоначальнаго быта славянъ и изслѣдованію происхожденія древнѣйшихъ славянскихъ учрежденій, причемъ пользовался данными изъ теперешняго быта славянскихъ племенъ и историческими письменными памятниками ихъ древнѣйшей исторіи“ [2]).

Во „Взглядѣ“ весьма послѣдовательно и ясно изложено развитіе началъ родовыхъ, оказывавшихъ вліяніе на самое политическое устройство государства, и указано ихъ позднѣйшее разложеніе и перерожденіе. Съ этой точки зрѣнія основныхъ движущихъ элементовъ исторіи, выводы Кавелина о главнѣйшихъ историческихъ лицахъ, о значеніи историческихъ эпохъ нерѣдко совершенно расходились съ общепринятыми представленіями и складывались именно въ томъ смыслѣ, какъ мы видѣли у Соловьева.

Какъ пришли эти новые изслѣдователи къ своему методу? Нѣтъ сомнѣнія, что они прямо и косвенно испытали на себѣ вліяніе тогдашней европейской науки, особливо нѣмецкой исторической школы; но къ этому подготовляли и факты собственно русской исторіографіи. Въ нашей исторіографіи, послѣ Карамзина дальнѣйшей ступенью развитія былъ Эверсъ, скептическая школа, а затѣмъ прямо труды Кавелина и Соловьева. Такъ называемая скептическая школа вызывала вообще гораздо больше осужденій, чѣмъ признанія того, чтó все-таки было ею сдѣлано,—и это понятно: она не оставила ни одного цѣльнаго законченнаго труда, разбилась на подробности,—но любопытно отмѣтить, что компетентные люди, видѣвшіе близко ея дѣятельность, придаютъ ей больше значенія, чѣмъ обыкновенно за ней предполагается и чѣмъ можно было бы предположить безъ этихъ удостовѣреній.

Кавелинъ, сопоставляя Каченовскаго (главу скептической школы) и Венелина, не рѣшался утверждать, ясно ли они понимали „великій подвигъ“, который имъ предстоялъ, но котораго они не могли совершить по встрѣченнымъ трудностямъ, но „то несомнѣнно,—гово-

[1]) „Современникъ“, 1847 г., январь; Сочиненія, М. 1859, т. I, стр. 305—380. Статья помѣчена февралемъ 1846 г.

[2]) Біограф. Словарь проф. моск. университета. М. 1855, т. I, стр. 365—366.

ритъ онъ,—что оба далеко не были поняты". „Ихъ невысказанная мысль осталась прекраснымъ, глубокомысленнымъ завѣщаніемъ для грядущихъ поколѣній; но современники, ихъ собратья по дѣлу, видѣли одни писанныя слова... Кого увѣрите теперь, что предѣломъ ихъ историческихъ убѣжденій была подложность Несторовой лѣтописи или славянство варяговъ? Въ глаза бросается, что ихъ навели на эти мысли другія, *болѣе глубокія* и въ своемъ основаніи *вѣрныя требованія* отъ науки русской исторіи... Очень понятно, что удары, которые посыпались на Каченовскаго и Венелина, должны были оглушить ихъ и отклонить ихъ дѣятельность и вниманіе въ другую сторону. Такъ и прошли они, не высказавшись [1]).

Соловьевъ, въ обширной біографіи Каченовскаго, написанной для юбилейнаго „Словаря профессоровъ моск. университета" (1855), относится къ Каченовскому съ такимъ же признаніемъ его заслугъ въ развитіи исторической критики. Не менѣе ихъ цѣнитъ эту заслугу ученый болѣе стараго поколѣнія: г. Рѣдкинъ замѣчаетъ въ автобіографіи, писанной для того же „Словаря", что онъ слушалъ въ Москвѣ лекціи русской исторіи „у перваго по мнѣнію Рѣдкина критика отечественной исторіи, Каченовскаго", и что „болѣе всѣхъ онъ обязанъ лекціямъ по русской исторіи Каченовскаго, въ отношеніи не столько самого содержанія, сколько *ученыхъ пріемовъ*" [2]).

Въ этихъ пріемахъ и былъ вопросъ. „Скептицизмъ" Каченовскаго основанъ былъ на требованіи, чтобы бытовыя явленія и отдѣльныя событія, изображаемыя историками, отвѣчали общему характеру вѣка, т.-е. чтобы не подлежала сомнѣнію ихъ органическая связь съ основными историческими данными мѣста, времени и быта. И это требованіе, поставленное категорически какъ первое правило, было дѣйствительно ново въ русской исторіографіи. Подобное понятіе о внутреннемъ физіологическомъ развитіи народовъ Кавелинъ указываетъ и у Венелина. То и другое было несомнѣннымъ, хотя на первый разъ еще мало сознаваемымъ, отраженіемъ тогдашняго поворота въ европейской исторіографіи. Но въ тридцатыхъ годахъ въ нашихъ университетахъ, и въ Москвѣ особенно, являются уже непосредственные ученики и послѣдователи нѣмецкой исторической школы: ея ученія передаются уже не въ случайныхъ, отрывочныхъ отголоскахъ, а въ ихъ полномъ составѣ и въ систематическомъ порядкѣ фактовъ и доказательствъ. Соловьевъ и Кавелинъ, еще будучи слушателями

---

[1]) Сочин. Кавелина, II, 408—409. Писано въ 1847 году. Прибавимъ, что Венелину, кромѣ того, очень повредили такіе послѣдователи, какъ Савельевъ-Ростиславичъ и Морошкинъ, о которыхъ мы прежде говорили.

[2]) Біогр. Словарь проф. моск. унив. II, стр. 380.

университета, воспринимали эти влiянiя [1]), и въ результатѣ было сознательное примѣненiе метода къ новому матерiалу, къ русской исторiи.

Общiй планъ теоретическаго объясненiя русской исторiи внутренними началами быта сложился одновременно и весьма похоже у Соловьева и у Кавелина, но въ нѣкоторыхъ отношенiяхъ Кавелинъ даже раньше указалъ новую точку зрѣнiя.

Но затѣмъ мысль объ органическомъ ходѣ исторiи привела Кавелина еще къ другому любопытному роду изслѣдованiй, по которому онъ долженъ занять видное мѣсто въ исторiи русской этнографiи. Это—изслѣдованiя этнографическiя, въ своемъ родѣ первыя въ нашей литературѣ.

Мы видѣли раньше, въ какомъ положенiи была наша этнографическая наука, главными представителями которой были тогда Сахаровъ, Снегиревъ и Терещенко. Географическое Общество тогда только-что основывалось.

Народный бытъ не могъ не привлечь *нашей* исторической школы. Если внутреннiй ходъ русской исторiи истолковывался изъ основныхъ формъ быта, на которыхъ опиралось развитiе народной жизни и созданiе государства, то былъ совершенно естественъ интересъ къ народному быту современному, въ которомъ такъ явно хранилась старина. Изученiе его требовалось и для объясненiя современной жизни, и для пониманiя старой исторiи. Въ настоящее время изслѣдованiе народнаго быта владѣетъ обширнымъ запасомъ научныхъ средствъ: не говоря о богатыхъ указанiяхъ въ наукѣ европейской, у насъ этому изслѣдованiю содѣйствуютъ уже сильно развившаяся археологiя, сравнительное языкознанiе, сравнительная миѳологiя, большой матерiалъ современныхъ наблюденiй быта и произведенiй народной поэзiи и т. д. Въ сороковыхъ годахъ, собиранiе народнаго матерiала было еще весьма скудно; другiя научныя средства этнографiи, какъ увидимъ далѣе, едва появлялись. Такимъ образомъ, обращаясь къ вопросу о народномъ бытѣ, Кавелинъ былъ ограниченъ лишь тѣми средствами, какiя давалъ общiй методъ исторической школы; но, не смотря на этотъ недостатокъ научной разработки предмета, внимательная критика народно-бытовыхъ фактовъ сдѣлала то, что его изслѣдованiя въ этой области остаются донынѣ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ трудовъ въ нашей этнографической литературѣ.

Первымъ поводомъ къ этой работѣ послужила для Кавелина упомянутая книга Терещенка, не сама по себѣ, потому что лишена была всякаго научнаго значенiя, но какъ новый, хотя и плохо со-

[1]) Первая научная работа Кавелина: „О теорiяхъ владѣнiя“ (Сочин. I, 3—37).

бранный, запасъ матеріала о народномъ бытѣ. Кавелинъ посвятилъ этому предмету рядъ статей [1]), гдѣ впервые научнымъ образомъ освѣтилъ историческое значеніе русскаго народнаго быта. Исходный пунктъ изслѣдованія высказанъ слѣдующими словами:

„Наши простонародные обряды, примѣты и обычаи, въ томъ видѣ, какъ мы ихъ теперь знаемъ, очевидно сложились изъ *разнородныхъ элементовъ* и въ продолженіе *многихъ вѣковъ*. Все, что имѣло на Россію болѣе или менѣе продолжительное *вліяніе извнѣ*, всѣ эпохи ея *внутренняго историческаго возрастанія* проводили какую-нибудь черту въ обрядахъ и обычаяхъ, прибавляя къ нимъ новое, измѣняя, уничтожая или переиначивая старое. Вслѣдствіе этой безпрестанной, хотя и медленной, перестройки, наши обычаи и обряды представляютъ самый нестройный хаосъ, самое пестрое, повидимому, безсвязное, сочетаніе разнороднѣйшихъ началъ. Развалины эпохъ, отдѣленныхъ вѣками, памятники понятій и вѣрованій самыхъ разнородныхъ и противоположныхъ другъ другу въ нихъ какъ бы набросаны въ одну груду въ величайшемъ безпорядкѣ. Подвести ихъ подъ систему, объяснить изъ одного общаго начала невозможно, потому что они составились не по одному общему плану, не суть порожденіе единой творческой мысли. Чтобъ внести сколько-нибудь свѣта въ эту массу отрывочныхъ, отчасти искаженныхъ и обезсмысленныхъ фактовъ, остается одно средство: *разобрать ихъ по эпохамъ*, къ которымъ они относятся; по элементамъ, подъ вліяніемъ которыхъ они образовались, и потомъ, съ помощью способовъ, на которые указываетъ историческая критика, *возстановить*, сколько возможно, *внутреннюю связь* этихъ эпохъ и послѣдовательность преемственнаго вліянія этихъ элементовъ. По примѣру геологіи, критика должна найти ключъ къ этимъ ископаемымъ исчезнувшаго историческаго міра“ [2]).

Но какъ найти этотъ ключъ? Кавелинъ замѣчаетъ, что это вовсе не такъ легко, какъ можетъ казаться съ перваго взгляда, и указываетъ, какими разнообразными трудностями окружено правильное пониманіе обычая. Во-первыхъ, въ безчисленномъ множествѣ фактовъ, изъ которыхъ слагаются обычаи, обряды и повѣрья, очень немногіе сохранились въ первоначальномъ видѣ, а большая часть является искаженной всякими позднѣйшими наростами и вліяніями. Есть факты, древность которыхъ несомнѣнна, но они такъ сглажены временемъ, что ихъ смыслъ открыть невозможно. Во-вторыхъ, многіе обряды и повѣрья имѣютъ въ современномъ употребленіи свое опредѣленное значеніе и толкуются самимъ народомъ: повидимому, научное объясненіе готово, но на дѣлѣ народное толкованіе очень часто бываетъ совершенно ошибочно. По привычкѣ, по консервативному нраву массы, обрядъ держится дольше, чѣмъ помнится его первоначальный смыслъ, и народъ, забывая съ теченіемъ вѣковъ старое значеніе обряда, толкуетъ его по своимъ новымъ сообра-же-

---

[1]) Современникъ, 1848; Сочин. Кавелина, IV, стр. 3—201.

[2]) Сочин., IV, стр. 36.

ніямъ; новое толкованіе бываетъ обыкновенно раціоналистическое, старается отыскать въ обрядовомъ дѣйствіи какой-нибудь, вновь придуманный, символизмъ, какія-нибудь соотношенія съ практической пользой и т. п., и подъ вліяніемъ его можетъ видоизмѣняться самая форма обряда. Прежніе наблюдатели народнаго быта обыкновенно обращали мало вниманія на эту разницу между фактомъ и его народнымъ толкованіемъ.

Но какъ найтись въ этомъ лабиринтѣ фактовъ, въ этомъ сборномъ мѣстѣ всѣхъ вѣковъ, періодовъ понятій русскаго народа? — Указавъ нелѣпость нѣкоторыхъ объясненій обычая у прежнихъ нашихъ этнографовъ, Кавелинъ дѣлаетъ общее замѣчаніе объ измѣнчивости быта и понятій и, слѣд., объ измѣнчивости самой народности,—чего не могутъ уразумѣть иные партизаны народности, похожіе на ея враговъ.

„...Чего не должно терять изъ виду при изученіи народныхъ повѣрій, обычаевъ и обрядовъ, это—постепенность, внутренняя послѣдовательность, съ которою происходятъ различныя измѣненія въ народной жизни, на какой ступени мы ее ни возьмемъ... Народъ на все смотритъ съ точки зрѣнія, обусловленной его характеромъ, исторіей, особенностями, историческимъ возрастомъ въ данную минуту. Всего, чтò внѣ этого опредѣленнаго круга его понятій внѣ окружающей его нравственной атмосферы, онъ не видитъ и не понимаетъ. Внесетъ ли исторія новый элементъ, условіе въ народную жизнь,—случай ли броситъ въ нее данное, выросшее на другой исторической почвѣ, плодъ другого порядка вещей и понятій—они или передѣлываются, или остаются тѣ же, но народъ соединяетъ съ ними другое понятіе, присущее ему; слѣдовательно, внѣшній образъ или смыслъ ихъ—все равно—становятся другими, и принимая чужое, вводя въ себя посторонніе элементы, народъ остается собой и себѣ вѣренъ. Такъ сначала, и это иногда долго продолжается; потомъ начинается обратное дѣйствіе воспринятыхъ элементовъ и данныхъ на народный организмъ. Увеличивъ собою число фактовъ, изъ которыхъ слагается и около которыхъ вращается народная жизнь, умноживъ свѣденія народа, они въ свою очередь измѣняютъ народный организмъ; но это измѣненіе, обновленіе, перерожденіе его является естественнымъ, какъ будто совершающимся изъ собственныхъ, внутреннихъ силъ народа, ибо дѣйствительно, все это, чтó его обогатило, увеличило его содержаніе, сначала было имъ усвоено, введено въ кругъ его понятій“ [1]).

Разъяснивъ сложное содержаніе вопроса, отстранивъ старые ошибочные взгляды на предметъ, Кавелинъ переходитъ, наконецъ, къ положительнымъ основаніямъ, на которыхъ должно строиться объясненіе стараго обычая. Онъ дѣлаетъ при этомъ важное замѣчаніе, которое можетъ теперь считаться научно-доказаннымъ, такъ какъ подтверждается множествомъ антропологическихъ наблюденій:

[1]) Тамъ же, стр. 50—51.

„Мы знаемъ изъ исторіи,—говоритъ онъ,—что теперешнія наши понятія, убѣжденія,—словомъ, та нравственная духовная атмосфера, въ которой живетъ современный человѣкъ, образовалась и сложилась постепенно и есть результатъ прошедшаго. Чѣмъ жилъ человѣкъ, какимъ вліяніемъ опредѣлялась жизнь цѣлыхъ народовъ, когда этой нравственной атмосферы еще не было, а была только одна темная, неразвитая и несознаваемая способность создать ее? Очевидно, они жили, ихъ жизнь могла опредѣлиться только внѣшней, ихъ окружавшей природой. Общественныя отношенія—если они на этой степени развитія могутъ быть названы общественными—были совершенно не опредѣлены, не устроены, а потому, во сколько они зависятъ отъ воли человѣка, совершенно случайно или исключительно опредѣлялись непосредственными требованіями внѣшней природы.

„Итакъ, прежде понятій, прежде обычаевъ — первой формы правильныхъ общественныхъ и житейскихъ отношеній,—нераздѣльно и исключительно преобладалъ непосредственный, грубый *фактъ*, во всей случайности или внѣшней необходимости: за нимъ ничего не было. Слѣпо покорялся ему первобытный человѣкъ. Онъ не научился еще обладать природой, приспособляя ея непреложные законы и отправленія къ своимъ нуждамъ и требованіямъ; онъ еще не пытался подчинить случайность отношеній съ подобными себѣ постояннымъ, опредѣленнымъ, общимъ правиламъ. Онъ еще не имѣлъ мысли, сознанія. Таковъ младенецъ.

„Первымъ актомъ сознанія, первымъ шагомъ къ возобладанію надъ случайностью и непосредственнымъ дѣйствіемъ внѣшнихъ законовъ, было явленіе, повидимому, совершенно противоположное тому и другому, а именно обобщеніе и случайности, и слѣпой внѣшней необходимости, признаніе ихъ дѣйствій за вѣчный, непреложный законъ. Казалось бы, этимъ ихъ господство было увѣковѣчено. Но, вглядываясь пристальнѣе, мы увидимъ въ этомъ обобщеніи, въ этомъ признаніи дѣйствительнаго факта первое выраженіе потребности существовать подъ владычествомъ разумнаго закона, первую попытку высвободиться изъ-подъ власти слѣпого случая.

„Здѣсь зародышъ убѣжденій и обычаевъ. Ихъ содержаніе — не отвлеченная мысль, не психологическая или отвлеченная истина, а непосредственныя отправленія и дѣйствія внѣшней природы или грубыя, случайныя явленія еще хаотической, первоначальной общественности“ (стр. 58—59).

На основаніи этого взгляда Кавелинъ выводитъ, что одна изъ главныхъ путеводныхъ нитей въ объясненіи стараго повѣрья и обычая есть ихъ *прямой, буквальный смыслъ*. Когда передъ историкомъ одна нестройная масса разновременныхъ и разнохарактерныхъ фактовъ, безъ всякихъ извѣстій и данныхъ объ ихъ возникновеніи, простое буквальное толкованіе часто даетъ важныя указанія на явленія древнѣйшаго быта и ихъ послѣдовательное развитіе. „Цѣлый отжившій и давно исчезнувшій міръ, съ его понятіями и историческимъ значеніемъ иногда вдругъ оживаетъ въ яркихъ краскахъ отъ одного устраненія переноснаго значенія двухъ-трехъ старинныхъ обычаевъ, которое вкладывали въ нихъ изслѣдователи, и отъ возвращенія имъ ихъ буквальнаго, непосредственнаго, прямого смысла“. Авторъ приводитъ примѣры изъ древнѣйшаго римскаго права. Такъ, кредиторъ

имѣлъ право „изрубить въ куски“ неоплатнаго должника. Долго понимали это въ переносномъ смыслѣ, какъ полную волю кредитора надъ должникомъ; но потомъ ученые должны были признать, что здѣсь выраженъ просто фактъ древнѣйшей дѣйствительности. По тому же праву, тяжущіеся на судѣ о какой-нибудь вещи вступали передъ судьей въ борьбу между собой — „одинъ отнималъ вещь у другого“; но этотъ символъ опять былъ нѣкогда настоящей борьбой [1]). Перенося этотъ выводъ въ русскую старину, Кавелинъ находитъ реальное объясненіе нѣкоторыхъ нашихъ обычаевъ.

„Приходятъ ли, по нашимъ свадебнымъ обрядамъ, сваты съ посохомъ и ведутъ рѣчь съ родителями невѣсты какъ будто чужіе, никогда не слыхавшіе о нихъ—хоть и живутъ дворъ-объ-дворъ—вѣрьте, что эти теперь символическія дѣйствія были когда-то, въ отдаленной древности, событіями, живыми фактами ежедневной жизни. Плачетъ ли невѣста по волѣ, выражаетъ ли свадебная пѣснь ея неохоту, страхъ ѣхать въ чужую, незнакомую сторону — эти символы были тоже въ старину живой дѣйствительностью и въ этомъ значеніи являются однимъ изъ самыхъ богатыхъ историческихъ источниковъ. Думаетъ ли народъ, что на распутіяхъ водится лихой человѣкъ—вѣрно когда-нибудь это было въ самомъ дѣлѣ такъ. Какая драгоцѣнная черта для древнѣйшей общественности! Словомъ, ищите въ основаніи обрядовъ, повѣрій, обычаевъ—былей, когда-то живыхъ фактовъ, ежедневныхъ, нормальныхъ, естественныхъ условій быта, и вы откроете цѣлый историческій міръ, котораго тщетно будемъ искать въ лѣтописяхъ, даже въ самыхъ преданіяхъ, ибо народъ иногда и не помнитъ, какъ онъ жилъ въ отдаленной старинѣ, и не понимаетъ слѣдовъ этой жизни въ настоящемъ“.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ примѣняетъ свои общія положенія къ объясненію русской бытовой древности, — языческихъ вѣрованій, древняго общественнаго устройства, народныхъ праздниковъ, особенно подробно останавливается на бытѣ семейномъ и связанныхъ съ нимъ и доселѣ существующихъ обычаяхъ, на древнемъ бракѣ и т. д.

Трактатъ Кавелина есть важный фактъ въ развитіи нашей этнографіи—какъ едва ли не первый опытъ приложенія истинно-научнаго метода къ объясненію явленій народнаго быта. Позднѣе, методъ исторической школы утвердился въ изслѣдованіи бытовыхъ формъ, политическихъ учрежденій русской старины; но, къ сожалѣнію, онъ почти не имѣлъ дальнѣйшаго примѣненія въ области древнѣйшихъ народныхъ представленій, обрядовъ и повѣрій [2]). Въ этой послѣдней

---

[1]) Что первоначальное значеніе символа было именно таково, много примѣровъ приведено въ книгѣ г. Кулишера: „Очерки сравнительной этнографіи и культуры“. Спб. 1887 (статьи: Символика въ жизни, исторіи и правѣ). Напомнимъ здѣсь еще, основанныя на подобномъ взглядѣ, любопытныя изслѣдованія г. Воеводскаго (о каннибализмѣ и проч.).

[2]) Въ этомъ направленіи, кромѣ книги г. Кулишера, мы упомянемъ далѣе изслѣдованія г. Сумцова.

области, около того же времени, сталъ обильно примѣняться другой пріемъ — объясненіе миѳологическое, о которомъ подробнѣе скажемъ далѣе. Это было опять наслѣдіе отъ нѣмецкой науки, наслѣдіе полезное и которое необходимо было усвоить и переработать, такъ какъ въ немъ была большая доля научной истины; но не установившееся прочно въ самой нѣмецкой наукѣ, миѳологическое толкованіе примѣнялось у насъ съ преувеличеніями, которыя тогда же и бросились въ глаза Кавелину, такъ какъ слишкомъ противорѣчили его, гораздо болѣе реальному археологическому взгляду. На этомъ основаніи Кавелинъ высказался противъ Аѳанасьева, который тогда только-что началъ свои миѳологическія изысканія и дѣйствительно впадалъ при этомъ въ крайности, теперь едва ли уже не всѣми признанныя за ошибку [1]).

Ближайшимъ современникомъ, даже ровесникомъ Соловьева и Кавелина былъ еще историкъ права, труды котораго также тѣсно примыкаютъ къ этнографіи. Это былъ Н. В. Калачовъ (1819—1885). По словамъ некролога, онъ велъ свое происхожденіе отъ Посошка Калачова, бывшаго въ концѣ XVI и началѣ XVII в. дьякомъ земскаго приказа, дворцовымъ ключникомъ и московскимъ объѣзжимъ головой; какъ будто не случайно таковъ былъ предокъ ученаго юриста нашего времени, который положилъ много труда именно на изученіе стараго русскаго права, стараго юридическаго быта и обычая. Окончивъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическому факультету, въ 1840, Калачовъ поступилъ-было на службу въ Археографическую коммиссію и въ 1843 сдалъ магистерскій экзаменъ, но по смерти отца въ послѣднемъ году оставилъ службу, чтобы заняться своимъ имѣніемъ, и затѣмъ снова вступилъ на службу въ 1846, занявъ мѣсто библіотекаря въ московскомъ Главномъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Въ томъ же году онъ защищалъ магистерскую диссертацію: „Предварительныя юридическія свѣдѣнія для полнаго объясненія Русской Правды“ (М. 1846), за которой шло изслѣдованіе: „О значеніи Кормчей въ системѣ древняго русскаго права“, явившееся сначала въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1847, а потомъ отдѣльной книгой, 1850. Еще раньше, бывши студентомъ, онъ написалъ изслѣдованіе о судебникахъ Ивана III и Ивана IV, напечатанное въ „Юридическихъ Запискахъ“ Рѣдкина. Въ 1848 году онъ занялъ въ московскомъ университетѣ каѳедру, оставленную тогда Кавелинымъ, но занималъ ее не долго: въ 1852 г. Калачовъ переселился въ Петербургъ и работалъ здѣсь во второмъ

[1]) См. статью Кавелина: „О вѣдунѣ и вѣдьмѣ“ (противъ статьи Аѳанасьева подъ этимъ же заглавіемъ въ альманахѣ „Комета“, 1851) въ Отеч. Зап. 1851, т. 76; Сочин. Кавел. IV, стр. 231—246, особенно стр. 235—236.

отдѣленіи собственной Е. В. канцеляріи и въ Археографической коммиссіи, гдѣ ему принадлежалъ рядъ изданій юридическихъ актовъ стараго времени.

Работы Калачова складывались въ направленіи той же исторической школы, вліяніе которой опредѣлило характеръ трудовъ Соловьева и Кавелина. Право являлось для него органическимъ созданіемъ народной жизни, и изслѣдованіе его исторіи сливалось съ исторіей внутренней жизни народа. Въ такомъ смыслѣ было имъ предпринято въ 1850 году изданіе „Архива историко-юридическихъ свѣдѣній о Россіи", гдѣ, какъ дальше скажемъ, приняли участіе историки права, археологи и этнографы, соединявшіеся на объясненіи древняго русскаго быта съ его отраженіями въ современномъ народномъ бытѣ и преданіи. Позднѣе, въ 1858 году, онъ началъ изданіе „Архива историческихъ и практическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи", гдѣ опять особенное вниманіе было посвящено вопросамъ народнаго быта и этнографіи. Въ тѣ же годы Калачовъ работалъ въ Географическомъ Обществѣ, и въ „Этнографическомъ сборникѣ" издававшемся Обществомъ (т. VI), имъ напечатано было изслѣдованіе: „Артели въ древней и нынѣшней Россіи"; далѣе къ той же области древняго русскаго быта относится его изслѣдованіе о волостныхъ и сельскихъ судахъ въ древней и нынѣшней Россіи [1]). Историческая мысль не покидала его и въ занятіяхъ практическими вопросами русскаго права и суда: онъ работалъ въ коммиссіи, составлявшей проектъ судебныхъ уставовъ, и, какъ говорятъ, личной иниціативѣ Калачова наше новое судебное законодательство обязано однимъ изъ лучшихъ своихъ постановленій, узаконившимъ на судѣ примѣненіе обычнаго права. Позднѣе, въ Москвѣ, онъ принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ перваго Юридическаго Общества, гдѣ нѣсколько лѣтъ былъ предсѣдателемъ, и положилъ начало изданію „Юридическаго Вѣстника".

Въ 1865 году Калачовъ назначенъ былъ сенаторомъ и вмѣстѣ начальникомъ московскаго Архива министерства юстиціи. Съ этихъ поръ онъ съ величайшей ревностью работалъ для устройства нашего архивнаго дѣла. Замѣчательнымъ образцомъ въ этомъ дѣлѣ представлялась ему знаменитая Ecole des Chartes въ Парижѣ, давно привлекавшая вниманіе нашихъ ученыхъ путешественниковъ. При Архивѣ министерства юстиціи возникла его заботами особая коммиссія для разработки документовъ этого хранилища. Впослѣдствіи, въ 1873, онъ сталъ во главѣ оффиціальной коммиссіи объ устройствѣ архивовъ, а въ 1878 онъ основалъ въ видѣ частнаго учрежденія Археологи-

[1]) Сборникъ государственныхъ знаній, т. VIII.

ческій Институтъ въ Петербургѣ, который долженъ былъ приготовлять будущихъ изслѣдователей и организаторовъ столичныхъ и провинціальныхъ архивовъ; преподаваніе нѣскольких археологическихъ предметовъ было здѣсь примѣнено въ особенности къ изученію архивнаго дѣла. Въ нѣсколькихъ провинціальныхъ городахъ, по мысли и настояніямъ Калачова основались такъ называемыя архивныя коммиссіи, которыя ему хотѣлось распространить по всѣмъ главнымъ городамъ имперіи. Свои научно-практическіе интересы онъ, какъ всегда, желалъ перенести въ литературу и въ результатѣ вышло подъ его редакціей нѣсколько томовъ „Сборника Археологическаго Института", а въ послѣдніе дни своей жизни онъ приготовлялъ послѣдніе выпуски „Вѣстника Археологіи и Исторіи" (Спб. 1885, четыре выпуска съ атласомъ археологическихъ рисунковъ).

Такимъ образомъ Калачовъ еще съ новой стороны содѣйствовалъ историческимъ изученіямъ русскаго народнаго быта, именно со стороны архивныхъ юридическихъ источниковъ и современнаго обычая; такъ ему въ особенности принадлежала не малая доля заслуги въ возбужденіи научнаго и практическаго интереса къ обычному праву, какъ вообще рядомъ съ исторіей быта онъ не мало работалъ для изученія быта современнаго, вступая въ непосредственную область этнографіи. Такъ рядъ этнографическихъ статей и матеріаловъ нашелъ мѣсто и въ его послѣднемъ изданіи—„Сборникѣ Археологическаго Института" [1]).

Когда такимъ образомъ вопросы этнографическаго изученія современнаго народнаго быта разъяснялись общими историческими соображеніями о ходѣ бытового развитія, какъ въ трудахъ Соловьева и Кавелина, а также примѣненіемъ историческаго изученія права, какъ въ трудахъ Калачова, этнографія разъяснялась еще съ другой стороны—изученіями археологическими. Здѣсь одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ принадлежитъ еще одному ровеснику названныхъ писателей, И. Е. Забѣлину [2]). Рано потерявъ отца, небольшого чиновника въ Твери, потомъ въ Москвѣ, и оставшись съ матерью въ крайне стѣсненныхъ обстоятельствахъ, Забѣлинъ 12-ти лѣтъ поступилъ въ элементарное училище въ Преображенскомъ богадѣленномъ домѣ, извѣстномъ въ просторѣчіи подъ именемъ Матросской бога-

---

[1]) Біографическія свѣдѣнія см. въ „Вѣстникѣ Археологіи и Исторіи, издаваемомъ Археологическимъ Институтомъ". Спб. 1886, вып. V, гдѣ, между прочимъ, собраны некрологи, появившіеся тогда въ газетахъ и журналахъ.

О послѣдующей дѣятельности Археологическаго Института, поступившаго въ завѣдованіе И. Е. Андреевскаго, см. въ „Русской Старинѣ", 1888, февраль, и д.

[2]) Род. въ 1820. Біографическія свѣдѣнія о немъ см. у А. С. Пругавина, „Московскій иллюстр. календарь-альманахъ на 1887 г." М. 1887, стр. 228—235.

дѣльни. Училище было стариннаго склада и не весьма благоустроенное; курсъ его былъ очень скудный; черезъ нѣсколько лѣтъ этого ученія, Забѣлинъ, благодаря ходатайству попечителя этой школы Львова, былъ помѣщенъ въ 1837 году на службу въ Оружейную Палату, канцелярскимъ служителемъ второго разряда. Эта счастливая случайность опредѣлила всю будущую судьбу и научную дѣятельность нашего заслуженнаго археолога. Помѣщеніе въ Оружейную Палату совпадало съ собственными, какъ будто врожденными наклонностями самого юноши: съ перваго чтенія, какое попадало ему въ руки, какъ Плутарховы біографіи въ переводѣ Дестуниса, „Исторія" Карамзина, Вальтеръ Скоттъ, археологическіе романы Вельтмана, у него развивался вкусъ и любознательность къ исторической древности вообще, и здѣсь, въ Оружейной Палатѣ, передъ нимъ открывалось богатое хранилище древнихъ памятниковъ царскаго быта, и кромѣ того никому тогда неизвѣстный и совсѣмъ забытый архивъ старыхъ расходныхъ книгъ царскаго двора и другихъ подобныхъ памятниковъ, которые впослѣдствіи послужили основными матеріалами для знаменитыхъ трудовъ г. Забѣлина о домашнемъ бытѣ русскихъ царей и царицъ стараго времени. Правда, еще долго возможность изученія этихъ матеріаловъ была закрыта для скромнаго писца, который могъ знакомиться съ ними только урывками; но онъ усердно пересматривалъ и перечитывалъ этотъ архивный матеріалъ, выписывалъ изъ него массу частныхъ свѣдѣній, такъ что, наконецъ, составились цѣлые отдѣлы фактическихъ свидѣтельствъ о древнемъ бытѣ, какихъ собиратель не находилъ ни у Карамзина, ни у другихъ историковъ. Такимъ образомъ уже къ концу 1840-го года у г. Забѣлина написалась небольшая статья о богомольныхъ путешествіяхъ русскихъ царей въ Троицкую лавру, что̀ называлось тогда Троицкими походами; но молодой авторъ боялся печати и трудъ его появился уже нѣсколько времени спустя, когда, между прочимъ, завязались первыя отношенія къ ученo-литературному кругу. Около этого времени Оружейную Палату стали посѣщать извѣстный археографъ Строевъ, собиравшій акты и лѣтописи для изданій Археографической коммиссіи, и извѣстный археологъ и этнографъ Снегиревъ. Знаніе архива дало возможность г. Забѣлину помочь ими выписками и указаніями на рукописи, что̀ скрѣпило его дальнѣйшее знакомство съ учеными, которое было полезно и самому начинающему работнику. На вопросъ Строева, нѣтъ ли въ архивѣ лѣтописей, г. Забѣлинъ могъ указать ему такъ называемыя Выходныя книги, которыя потомъ и явились въ составѣ изданій Археографической коммиссіи; подобнымъ образомъ онъ помогалъ Снегиреву, который занятъ былъ тогда описаніемъ памятниковъ московской древности. Къ нему и обратился

Забѣлинъ за совѣтомъ о своей статьѣ, но Снегиревъ отнесся къ дѣлу безучастно и, только случайно познакомившись съ Вадимомъ Пассекомъ, онъ встрѣтилъ у него ободреніе своимъ трудамъ, и краткій очеркъ статьи помѣщенъ былъ въ издававшихся тогда Пассекомъ „Московскихъ губернскихъ Вѣдомостяхъ“ (1842, № 17, 25 апрѣля). Это былъ первый печатный трудъ нашего археолога. Строевъ съумѣлъ лучше Снегирева оцѣнить достоинства молодого изыскателя; онъ задумывалъ привлечь его къ дѣятельности Археографической коммиссіи и полагалъ даже устроить въ Москвѣ отдѣленіе коммиссіи, въ которомъ разсчитывалъ на труды г. Забѣлина, но дѣло не состоялось: г. Забѣлинъ въ теченіе одиннадцати лѣтъ все оставался на службѣ въ Оружейной Палатѣ съ жалованьемъ 119 рублей въ годъ и квартирой. Послѣ нѣсколькихъ небольшихъ работъ по московской старинѣ, литературная дѣятельность г. Забѣлина оживляется особенно съ 1846 года, когда, между прочимъ, обстоятельства заставляли его искать литературнаго заработка. Въ 1846 году статья „Троицкіе походы“ была, наконецъ, напечатана въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (редакторомъ ихъ былъ тогда Е. Ѳ. Коршъ) и вскорѣ съ нѣкоторыми дополненіями перепечатана въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, при Бодянскомъ. Тогда же начатъ былъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ рядъ статей подъ названіемъ: „Нѣкоторые придворные обряды и обычаи царей московскихъ“, а затѣмъ въ 1847 году появилась статья подъ заглавіемъ: „Домашній бытъ московскихъ царей въ XVII столѣтіи“. Это было начало обширной, продолжительной работы, которая завершилась впослѣдствіи отдѣльнымъ изданіемъ въ двухъ большихъ томахъ [1]). Въ пятидесятыхъ годахъ имя г. Забѣлина пользовалось уже большой извѣстностью въ учено-литературныхъ кругахъ; его статьи бывали желанными для лучшихъ періодическихъ изданій [2]). Въ тѣ же годы г. Забѣлинъ обращается къ вопросамъ чистой археологіи, какъ напримѣръ, въ изслѣдованіяхъ о металлическомъ, финифтяномъ производствѣ въ древней Россіи, на темы, заданныя Археологическимъ Обществомъ, а потомъ на службѣ въ имп. Археологической коммиссіи, когда онъ въ теченіе многихъ лѣтъ, во время лѣтнихъ поѣздокъ, производилъ раскопки скиѳскихъ и греческихъ кургановъ въ Новороссійскихъ степяхъ и на Таманскомъ полуостровѣ. Здѣсь, между прочимъ, въ извѣстномъ Чертомлыцкомъ курганѣ открыта имъ цѣлая масса греческо-

---

[1]) „Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI и XVII ст.“ М. 1862.
— „Домашній бытъ русскихъ царицъ въ XVI и въ XVII ст.“ М. 1869.
Въ 1872 году оба сочиненія вышли во 2-мъ изданіи съ новыми дополненіями.

[2]) „Отеч. Записки“, 1850—1860; „Современникъ“, 1852; „Р. Вѣстникъ“, 1857; „Атеней“, 1858; „Вѣстникъ Европы“, 1867.

скиѳскихъ древностей, золотыхъ, серебряныхъ, бронзовыхъ вещей и между прочимъ знаменитая серебряная ваза съ изображеніемъ скиѳовъ; другая достопримѣчательная находка была сдѣлана на Таманскомъ полуостровѣ, съ вещами, драгоцѣнными въ художественномъ и археологическомъ отношеніяхъ [1]). Съ 1870 годовъ г. Забѣлинъ работалъ въ коммиссіи объ основаніи и устройствѣ имп. Историческаго Музея въ Москвѣ, и съ 1883 состоитъ товарищемъ предсѣдателя этого Музея. Съ 1879 года, по смерти Соловьева, онъ сталъ предсѣдателемъ московскаго Общества исторіи и древностей. Въ 1870 годахъ предпринятъ былъ г. Забѣлинымъ обширный трудъ: „Исторія русской жизни", довершеніе котораго было, къ сожалѣнію, прервано другими работами автора [2]).

Значеніе археологическихъ трудовъ г. Забѣлина давно высоко оцѣнено; вмѣстѣ съ тѣмъ они имѣютъ великую важность въ области собственной этнографіи. Изысканія г. Забѣлина направлялись въ особенности на исторію быта и въ этомъ отношеніи имѣютъ важное значеніе для этнографіи въ широкомъ и тѣсномъ смыслѣ. Созданіе самого государства представляется г. Забѣлину дѣломъ, именно связаннымъ съ бытовымъ характеромъ народа, т.-е. съ его этнографическими особенностями. Въ формахъ государственныхъ выразился хозяйственный складъ русской семьи и ея нравственный распорядокъ, съ властью главы семейства; старинный царскій бытъ выработался въ направленіи народныхъ представленій. Книги о домашнемъ бытѣ царей и царицъ становятся въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ этнографическими трактатами. „Исторія русской жизни" должна была стать русской бытовой исторіей, исторіей нравовъ въ широкомъ смыслѣ

[1]) Свѣдѣнія объ этихъ раскопкахъ въ „Древностяхъ Геродотовой Скиѳіи", 1872, и въ „Отчетахъ" имп. Археологической коммиссіи, 1859—1876.

[2]) Не перечисляя другихъ трудовъ г. Забѣлина, частью не относящихся къ нашему предмету, укажемъ:

— Опыты изученія русскихъ древностей и исторіи. Изслѣдованія, описанія и критическія статьи. Двѣ части, М. 1872—1873, гдѣ собраны важнѣйшія журнальныя статьи съ 1850-хъ до 1870-хъ годовъ.

— Кунцово и древній Сѣтунскій станъ. Историческія воспоминанія. М. 1873.

—召нинъ и Пожарскій. Прямые и кривые въ Смутное время. М. 1883.

— Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы, по опредѣленію московской городской думы собранные и изданные руководствомъ и трудами Ивана Забѣлина. Часть первая. Изданіе московской городской думы. М. 1884. Большой томъ 4°. Въ предисловіи обзоръ прежнихъ описаній Москвы и указаніе архивныхъ матеріаловъ для настоящей книги; въ текстѣ матеріалы для исторіи, археологіи и статистики московскихъ церквей; далѣе свѣдѣнія о домѣ святѣйшаго патріарха и матеріалы для исторіи и археологіи государева дворца.

слова и если не всегда можно соглашаться съ мнѣніями автора [1]), особливо въ толкованіи древнѣйшихъ эпохъ, то во всякомъ случаѣ является чрезвычайно цѣннымъ его стремленіе отыскать органическій процессъ, соединяющій развитіе государства и общества съ особенностями народнаго быта и характера. Въ этой постановкѣ вопроса, внутренняя исторія народа является только результатомъ этнографической особенности, которая становится факторомъ цѣлаго національнаго бытія. Изслѣдованія г. Забѣлина остаются напоминаніемъ о необходимости историческаго обобщенія, которая слишкомъ забывается въ новѣйшемъ стремленіи къ исключительно детальной разработкѣ вопросовъ народнаго быта и обычая. Забѣлину на ряду съ Калачовымъ принадлежитъ и другая заслуга—указанія на новый источникъ изслѣдованія народнаго быта въ старомъ, архивномъ матеріалѣ. Мы упоминули о томъ, какъ начались его первыя работы по бытовой археологіи: тѣ данныя, изъ которыхъ составилась его исторія домашняго быта царей, были собраны имъ буквально по крохамъ въ массѣ старыхъ расходныхъ и иныхъ книгъ, гдѣ надо было выискивать подробности стариннаго житейскаго обихода. До г. Забѣлина никто не предпринималъ подобной работы и до сихъ поръ никто еще не совершалъ ее съ такимъ успѣхомъ. Его опредѣленія древняго и средняго быта, его указанія о положеніи женщины въ старомъ русскомъ обществѣ [2]), замѣчанія о чувствѣ природы у старинныхъ русскихъ [3]), данныя изъ актовъ о ворожеяхъ и колдунахъ [4]), разсказы объ общественной жизни въ Москвѣ съ половины XVIII вѣка [5]), и множество частныхъ замѣтокъ, разсѣянныхъ въ сочиненіяхъ г. Забѣлина, доставляютъ много важныхъ матеріаловъ и объясненій для исторіи русскихъ нравовъ и этнографіи. Вообще г. Забѣлинъ является у насъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ бытовой археологіи, разработывавшимъ для этой цѣли старые дѣловые архивы, и съ этой стороны труды его много послужили къ обогащенію этнографіи.

Такой же притокъ вліяній нѣмецкой науки, какой представляетъ историческая школа у Соловьева и Кавелина, совершился въ области

[1]) Ср. разборъ этой книги, Котляревскаго, въ кіевскихъ „Университетскихъ Извѣстіяхъ“ 1880, и отдѣльно, Кіевъ, 1881. Также „Вѣстн. Европы“, 1881.

[2]) Вводная глава книги о „Домашнемъ бытѣ русскихъ царицъ“; „Женщина по понятіямъ старинныхъ книжниковъ“, въ „Опытахъ“, I, стр. 129—179.

[3]) Очеркъ исторіи чувства природы въ древне-русскомъ обществѣ, въ книгѣ „Кунцово“, стр. 1—61.

[4]) Въ альманахѣ „Комета“.

[5]) Въ „Опытахъ“, II, стр. 351—506.

филологіи. И здѣсь, какъ тамъ, уже ранѣе подготовлялась почва для этихъ вліяній: чѣмъ въ исторіографіи былъ Каченовскій и „скептическая школа“, тѣмъ въ филологіи были труды Востокова, Калайдовича, Кёппена, первое ознакомленіе съ славянскими языками. Но, и здѣсь, послѣ этой предварительной подготовки, притокъ новыхъ научныхъ взглядовъ открылъ для филологіи еще другую, прежде совсѣмъ неизвѣстную, почву, гдѣ она и стала сильнымъ двигателемъ этнографіи.

Съ начала нынѣшняго столѣтія въ области языкознанія совершался, по преимуществу въ Германіи, такой же переломъ, какой наступилъ въ исторіографіи съ исторической школой. Движеніе обѣихъ отраслей науки во многихъ случаяхъ было параллельно: въ теоретической основѣ была та же мысль объ органическомъ развитіи; въ нравственно-общественной — та же реакція противъ отвлеченнаго раціонализма XVIII вѣка и стремленіе къ раскрытію національныхъ особенностей, наклонность къ народному архаизму. Наконецъ, какъ развитіе исторической школы сопровождалось изданіемъ огромныхъ „монументовъ“, собраній историческихъ источниковъ, такъ изученіе филологическое вызвало многочисленныя изданія памятниковъ народнаго языка и старой литературы, и ихъ обширную детальную разработку.

Нѣмецкое языкознаніе развивалось тогда въ трехъ главныхъ направленіяхъ: сравнительномъ, основателемъ котораго былъ Боппъ; историческомъ, во главѣ котораго стоялъ Яковъ Гриммъ, и общемъ философскомъ, котораго начинателемъ былъ Вильгельмъ Гумбольдтъ. Сравнительное языкознаніе, путемъ изученія цѣлой группы языковъ, установило впервые фактъ происхожденія изъ одного источника, и потому тѣснаго родства такъ-называемыхъ индо-европейскихъ (индогерманскихъ, арійскихъ) языковъ, открыло перспективу ихъ послѣдовательнаго развитія, что̀ стало послѣ предметомъ ревностныхъ разысканій для послѣдующаго поколѣнія ученыхъ (особливо нѣмецкихъ). Трудъ Боппа (многотомная „Сравнительная грамматика“ главнѣйшихъ индо-европейскихъ языковъ, въ томъ числѣ старо-славянскаго) былъ торжествомъ нѣмецкой науки, настоящимъ открытіемъ. Въ томъ же смыслѣ, Гриммъ предпринялъ свое историческое изслѣдованіе органическихъ измѣненій (нѣмецкаго) языка въ разныя эпохи его жизни: въ первый разъ возстановлялась картина развитія языка отъ тѣхъ старѣйшихъ формъ, какія могла услѣдить исторія, до его новѣйшихъ образованій. Наконецъ, общій вопросъ о человѣческомъ языкѣ, о дѣленіи языковъ на ихъ (три) основныя группы, о внутренней организаціи языка и т. д. Съ установленіемъ этихъ изученій открылось новое, ранѣе даже не подозрѣваемое, поле для научныхъ

изслѣдованій, которыя уже вскорѣ измѣнили абсолютно или основали вновь цѣлыя отрасли историческаго, литературнаго и этнографическаго знанія: миѳологія, исторія культуры, древности права, этнографія становились часто только прикладнымъ языкознаніемъ. Сравнительное языкознаніе, въ соединеніи съ исторіей языка, давало возможность проникнуть въ тѣ до-историческія эпохи, которыя считались недостижимыми для науки и вызывали только произвольныя догадки; давало возможность открывать въ древнѣйшей эпохѣ народа состояніе понятій и быта, возстановлять его миѳологію и учрежденія, находить слѣды культурныхъ связей племенъ, взаимныя вліянія и заимствованія, объяснило впервые истинное свойство и достоинство народной поэзіи. Знаменитые труды Якова Гримма указывали и путь изслѣдованія, и въ высокой степени любопытные результаты, имъ достигаемые. Народный бытъ и старина, поэзія и языкъ стали предметомъ небывалаго прилежнаго изученія. Наконецъ, народное стало средоточіемъ историческаго языкознанія; его присутствіе — мѣркой поэтическаго достоинства; средніе вѣка, когда въ непосредственности народнаго быта хранилось больше нетронутыхъ остатковъ старины, —любимой эпохой... По сущности это не былъ однако романтизмъ; основнымъ мотивомъ этихъ изученій былъ не рыцарскій и католическій мистицизмъ, и изъ нихъ не слѣдовалъ, какъ близкій выводъ, политическій консерватизмъ, какъ бывало у чистыхъ романтиковъ: здѣсь, напротивъ, прежде всего дѣйствовали мотивы научные, къ которымъ не легко приставала мелкая политическая тенденціозность или произволъ фантазіи, и идеалы складывались иные. Гримма въ среднихъ вѣкахъ влекли къ себѣ не рыцарство и монашескій мистицизмъ, а народъ и его простодушное міросозерцаніе—все равно, что оно было немного языческое, отъ этого оно было только болѣе полно поэзіи и непосредственнаго нравственнаго чувства. По своимъ политическимъ и религіознымъ мнѣніямъ, Гриммъ, при всей архаической страсти, остался человѣкомъ свободомыслящимъ. Тѣмъ не менѣе, это новое научное обращеніе къ старинѣ имѣло точки соприкосновенія съ романтизмомъ, и само порождало сходныя явленія, когда научно-поэтическое народолюбіе слишкомъ устремлялось въ старину, видя въ ней одну патріархальную идиллію и забывая патріархальный „мракъ временъ“—что̀ было на руку обскурантамъ. Нѣчто подобное повторилось и у насъ...

Вліянія новой науки оказали свое дѣйствіе въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ. Какъ мы замѣтили, поворотъ и здѣсь различнымъ образомъ подготовлялся: расширялись изданія памятниковъ старой литературы (труды Востокова, Калайдовича, Погодина, Строева, Археографической коммиссіи, московскаго Общества исторіи и древностей);

возбужденъ дѣятельный интересъ къ народной поэзіи и изученію народнаго быта; начиналось знакомство съ родственными нарѣчіями славянскими и ихъ народно-поэтическими памятниками; сдѣланъ былъ Востоковымъ (еще въ 1820-мъ году) самостоятельный опытъ историческаго объясненія старо-славянскаго языка въ связи съ новѣйшими нарѣчіями. Наконецъ, имена Боппа, Гримма, Вильгельма Гумбольдта, Беккера появились—по крайней мѣрѣ были названы, въ университетскомъ преподаваніи [1]). Нѣкоторые изъ молодыхъ ученыхъ познакомились съ новымъ языкознаніемъ въ непосредственномъ источникѣ, въ нѣмецкихъ университетахъ и литературѣ.

Главнымъ дѣятелемъ въ этомъ направленіи въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій былъ Ѳ. И. Буслаевъ, имя котораго принадлежитъ къ числу заслуженнѣйшихъ именъ въ русской этнографіи и вообще въ изученіи народности. Первый трудъ, гдѣ онъ вступилъ на этотъ путь изслѣдованій, относится къ 1844 году, и затѣмъ наиболѣе оживленной порой его дѣятельности на этомъ поприщѣ были пятидесятые и шестидесятые года; позднѣе, онъ обратился по преимуществу къ изслѣдованію вопросовъ древняго русскаго искусства. Нѣсколько позднѣе появляются этнографическіе труды А. Н. Аѳанасьева. —На тѣхъ и другихъ мы остановимся подробно далѣе.

Въ цѣломъ, это научное движеніе создавало цѣлый переворотъ какъ въ способахъ изслѣдованія народной жизни, такъ и въ самомъ взглядѣ на историческое развитіе. Прежняя школа, послѣднимъ могиканомъ которой въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ являлся Погодинъ, относилась, какъ выше замѣчено, къ новому направленію недружелюбно, но нападая на „общіе взгляды“ новой школы, могла противопоставить имъ только реторическія тирады, а когда Погодинъ выдвигалъ противъ теорій новой школы такъ названный имъ „математическій методъ“, то противники нашли въ немъ только методъ компиляторскій, грубый, элементарный счетъ фактовъ [2]). Дѣятели, выступавшіе на поприще исторіографіи послѣ Соловьева и Кавелина, являлись уже готовыми послѣдователями новаго метода; назовемъ

---

[1]) Кажется, еще въ тридцатыхъ годахъ. Ср. Біогр. Словарь моск. проф. I, стр. 283. Буслаевъ, О препод. I, стр. V.

[2]) Ср. объ этомъ Кавелина, Сочин. II, стр. 110—299, разборы „Историко-критическихъ отрывковъ“ и „Изслѣдованій, замѣчаній и лекцій“, Погодина; и Забѣлина, „Опыты изученія русскихъ древн. и исторіи“, 1872. I, 355—394. За Погодинымъ признавали заслугу многихъ важныхъ частныхъ изслѣдованій, исполненныхъ съ большой внимательностью; но онъ остался совсѣмъ безъ вліянія на развитіе метода и на объясненіе общихъ началъ русской исторіи; какъ говорилъ Кавелинъ еще въ 1846, „Погодинъ, принадлежа къ школѣ толкователей, экзегетиковъ, а не историковъ въ настоящемъ смыслѣ слова, никогда не могъ подняться до высшаго историческаго воззрѣнія“.

Дмитрія Валуева, Пл. Павлова, Аѳанасьева (въ его первыхъ трудахъ), Забѣлина. Писатели, которые нѣсколько позднѣе являлись во многихъ и существенныхъ пунктахъ противниками историческихъ выводовъ Соловьева,—Конст. Аксаковъ съ одной стороны, Костомаровъ съ другой,—шли однако по тому же пути органическаго изслѣдованія. Совершенно измѣнился и способъ, и предметы изысканія: внѣшняя исторія, внѣшняя археологія и этнографія продолжаютъ разрабатываться съ многосторонностью, прежде неизвѣстной, но надъ ними ставится руководящій вопросъ объ органическихъ элементахъ исторіи, о свойствахъ народнаго характера и быта, опредѣлившихъ складъ общества и государства, о послѣдовательномъ развитіи, осложненіи и измѣненіи этихъ элементовъ. Все это сливается въ изученіи народности: науки, шедшія до сихъ поръ раздѣльно, безъ ясно сознаваемой связи между ними, объединяются, и цѣлью исторіи стало окончательно не одно государство, а именно національный организмъ, государство, народъ и общество,—въ ихъ тѣсной физіологической и исторической связи.

Если сопоставить это научное движеніе съ тѣмъ, какое шло въ литературѣ поэтической [1], нельзя не видѣть, что эти двѣ разнородныя области литературы, по источникамъ и свойствамъ своего направленія были совершенно параллельны. Внутренній смыслъ новаго, возникавшаго отношенія къ народу и новаго способа изученій высказывался наконецъ съ третьей стороны, чисто общественной и публицистической, насколько она могла находить мѣсто въ литературѣ сороковыхъ и первой половины пятидесятыхъ годовъ. Мы разумѣемъ то настроеніе, которымъ проникнута была критическая дѣятельность Бѣлинскаго, научная и публицистическая дѣятельность Герцена, Грановскаго и цѣлаго круга людей того же и болѣе молодого поколѣнія, дѣлившихъ тѣ же взгляды. Литература вынуждалась говорить полусловами, читатели научались понимать ее на полу-словахъ, и въ концѣ концовъ новое направленіе имѣло за себя цѣлую общественную группу и, прибавимъ, наиболѣе образованную группу.

Въ чемъ состояло міровоззрѣніе людей „сороковыхъ годовъ“, объ этомъ говорилось уже много разъ. Старая бытовая традиція переставала удовлетворять; въ ней становилось тѣсно: она видимымъ, нагляднымъ образомъ угнетала и потребность въ просвѣщеніи, которая становилась все шире и сознательнѣе въ образованномъ классѣ, угнетала реальный бытъ и самые существенные интересы народной массы, опутанной безправіемъ и во имя которой хотѣла, однако, говорить

---

[1]) См. выше, томъ I, въ послѣдней главѣ.

оффиціальная народность. Отрицаніе крѣпостного права было, въ умахъ новыхъ поколѣній, истиной давно рѣшенной и не требующей доказательствъ. Для литературы вопросъ былъ закрытъ, — съ тѣхъ поръ, какъ были о немъ заведены и вскорѣ же прерваны первыя рѣчи при Александрѣ I, и до конца 1850-хъ годовъ,—но онъ молча былъ уже порѣшенъ въ средѣ просвѣщеннѣйшихъ людей, потому что крѣпостное право было теоретически и нравственно несовмѣстимо съ тѣмъ складомъ понятій, который успѣлъ сложиться.

Но отрицаемое и осужденное теоретически, крѣпостное право было еще цѣло и невредимо въ практической дѣйствительности; оно имѣло за себя всѣ законы, всѣ привычки помѣщичьяго большинства, и нашло бы въ послѣднемъ упрямыхъ защитниковъ. Практическое рѣшеніе вопроса казалось, и было на дѣлѣ, самымъ настоятельнымъ интересомъ общества. Прежде, чѣмъ онъ не былъ бы рѣшенъ, не могло быть рѣчи о какомъ-либо расширеніи свободы для самого общества, не могло быть рѣчи о какомъ-либо по истинѣ національномъ просвѣщеніи, о національной поэзіи, литературѣ. Если не было возможности прямо говорить о предметѣ, литература ставила вопросы историческіе, общественные, художественные, изъ которыхъ значеніе народа и народности опредѣлялось совсѣмъ иначе, чѣмъ это слѣдовало по консервативной теоріи оффиціальной народности, а наконецъ съумѣла близко подойти и къ самому вопросу о крѣпостномъ правѣ.

Само правительство, во времена императора Николая I, помышляло о необходимости заняться крестьянскимъ вопросомъ,—но, исполненное во всемъ прочемъ автократическаго духа, видимо боялось приступать къ этому дѣлу [1]). Цензура не допускала малѣйшихъ намековъ, гдѣ предполагала осужденіе крѣпостного права, и тѣмъ не менѣе въ печать проникали новыя идеи. Заблоцкій напечаталъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (1845) знаменитую статью „О колебаніи цѣнъ на хлѣбъ въ Россіи“,—гдѣ техническимъ языкомъ политической экономіи (тогда, науки у насъ еще мало распространенной) указывалъ причину колебанія въ „принудительной рентѣ“, другими словами въ крѣпостномъ порядкѣ хозяйства. Въ 1847 вышла въ Парижѣ извѣстная книга Н. Тургенева: „La Russie et les Russes“. Строго запрещенная въ Россіи, она была, однако, въ обращеніи и тѣмъ болѣе внимательно читалась. Тургеневъ былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ проповѣдниковъ освобожденія крестьянъ при Александрѣ I, и теперь его книга переносила живую традицію въ соро-

---

[1]) Подробное изложеніе правительственныхъ мнѣній того времени объ этомъ вопросѣ въ книгѣ В. Семевскаго.

ковые года. Выше мы указывали, что скрытая борьба противъ крѣпостного права велась наконецъ и въ литературѣ художественной, гдѣ въ рукахъ лучшихъ писателей картины деревенской жизни не оставляли иного впечатлѣнія.

Молодая профессура, довершавшая свое образованіе и научную подготовку подъ непосредственнымъ вліяніемъ лучшихъ силъ европейскаго знанія, вносила въ преподаваніе, кромѣ точнаго знакомства съ положеніемъ своей юридической и исторической спеціальности, цѣлую атмосферу понятій, выработанныхъ въ обществахъ, пережившихъ болѣе долгую и глубокую умственную жизнь, болѣе развитыхъ въ общественно-политическомъ и гуманномъ смыслѣ. Многіе изъ этихъ университетскихъ преподавателей, воспитавшихся въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, имѣли на каѳедрѣ самое благотворное вліяніе и въ научномъ, и въ общественно-нравственномъ отношеніи. Пусть припомнитъ читатель извѣстные факты изъ жизни московскаго университета въ сороковыхъ годахъ, и прочтетъ даже въ холодно и казенно написанной „Исторіи петербургскаго университета“ (1869) подробности о характерѣ преподаванія въ рукахъ старыхъ профессоровъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и въ рукахъ новаго профессорскаго поколѣнія въ сороковыхъ годахъ. Имена Рѣдкина, Грановскаго, Крюкова, Кудрявцева, М. Куторги, Лунина, Д. Мейера (ограничиваясь историко-юридическою областью) и другихъ — въ Москвѣ, Петербургѣ, Харьковѣ, Казани, пользовались обширной популярностью и авторитетомъ, источникъ которыхъ былъ именно въ томъ, что наука являлась у нихъ не въ формѣ сухого (и часто крайне скуднаго) склада внѣшнихъ знаній, какъ бывало прежде, а живою силой, отвѣчающей на умственныя потребности и лучшіе нравственные инстинкты общества.

Извѣстно, какимъ широкимъ вліяніемъ пользовался въ этомъ смыслѣ Грановскій, имя котораго сохраняетъ до сихъ поръ популярность, рѣдкую у насъ для имени профессора. Прибавимъ, изъ менѣе извѣстныхъ фактовъ, нѣсколько подробностей о профессорѣ Мейерѣ въ Казани. Мейеръ былъ профессоромъ гражданскаго права. Это былъ также ученикъ нѣмецкой исторической школы: у себя дома эта школа нерѣдко впадала въ преувеличеніе исторической стороны права, — если исторія необходимо создала извѣстныя формы и содержаніе, то крайніе послѣдователи школы принимали, что эти формы и содержаніе освящены и впредь, чуть не навсегда; результатомъ былъ консерватизмъ, котораго представителемъ дѣйствительно и былъ глава школы, Савиньи. Мейеръ не далъ увлечь себя въ эту крайность. У насъ, этотъ характеръ исторической школы отразился всего сильнѣе на Неволинѣ, а въ худшемъ видѣ на тѣхъ людяхъ, которые просто

желали консервативнымъ флагомъ науки прикрывать существующія безобразія. Мейеръ признавалъ научныя заслуги Неволина, но въ общемъ взглядѣ его видѣлъ крайнюю односторонность. „Историческій элементъ,—говоритъ Мейеръ,—есть конекъ людей, съ которыми я расхожусь во взглядѣ и стремленіи... Неволинъ оказалъ наукѣ услуги незабвенныя; но все-таки исторія права — не вся наука, *а сторона ея*, средство, долженствующее вести къ высокой цѣли, и я вооружаюсь не противъ исторіи, а противъ усилій присвоить ей *софистически* исключительное господство въ наукѣ". Тѣмъ болѣе возставалъ Мейеръ противъ людей, которые „хотятъ науки, безусловно скромной и уживчивой, чуждающейся жизни"; которые „хотятъ образовать людей приличныхъ, которые бы не иначе стали брать взятки какъ съ достоинствомъ". „Моя наука,—замѣчаетъ онъ (когда еще не было рѣчи объ освобожденіи крестьянъ и не возникало поднятаго освобожденіемъ интереса къ крестьянскому быту), — *жадно изучаетъ жизнь* и для этого прислушивается и къ сходкѣ крестьянъ, вчитывается въ конторскія книги помѣщика, перебираетъ переписку купцовъ, шныряетъ по толкучему рынку, якшается съ артелью рабочихъ, взбирается на судно къ бурлакамъ, усаживается, какъ дома, въ архивѣ суда и въ самомъ судѣ (т.-е. *старомъ* судѣ), стараясь не замѣчать, что здѣсь смотрятъ на нее не совсѣмъ благосклонно. Но моя наука за то и сама *требуетъ уступокъ отъ дѣйствительности*"... Излагая такую науку, Мейеръ знакомилъ слушателей не съ одними техническими вопросами права, но съ явленіями общественной и политической жизни. Изложеніе предмета прерывалось объяснительными эпизодами, которые слушались съ увлеченіемъ... „Въ гражданскомъ правѣ,—разсказываетъ слушатель Мейера,—доходя до отдѣла объ объектахъ имущественныхъ правъ, Мейеръ всегда высказывалъ мысль о несостоятельности учрежденій, въ силу которыхъ допускалось, что человѣкъ, лицо, могъ быть, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, объектомъ права собственности. Лекціи объ этомъ важномъ предметѣ были самыми замѣчательными, потому что затрогивали множество постановленій и обычаевъ, имѣвшихъ за собою право давности, но тѣмъ не менѣе вредившихъ дальнѣйшему прогрессу въ жизни цѣлаго государства. Мейеръ старался при всякомъ удобномъ случаѣ, и на лекціяхъ, и въ бесѣдахъ съ своими студентами, возвращаться къ основной идеѣ, руководившей его въ сужденіяхъ объ этомъ предметѣ, и каждый разъ онъ употреблялъ всю силу доводовъ и убѣжденій въ пользу своего задушевнаго принципа". Слушателей, между которыми много было баричей, сначала озадачивали его мнѣнія: „имъ не приходила даже въ голову дурная сторона учрежденія, потому что увѣренность въ нормальности и непрелож-

ности его подкрѣплялась обыкновенно ложными и патріархально-сантиментальными сентенціями, всосанными, такъ-сказать, съ молокомъ". Но вліяніе профессора оказывало свое дѣйствіе, и черезъ два года по вступленіи Мейера на каѳедру (что было въ 1845) однимъ изъ его слушателей была представлена замѣчательная кандидатская диссертація „о крѣпостномъ состояніи" [1]).

Мейеръ былъ убѣжденъ, что недалекъ конецъ крѣпостного права и что его уничтоженіе, по духу времени, должно совершиться путемъ законодательнымъ, и онъ считалъ своей обязанностью подготовлять молодое поколѣніе къ великому событію. Ему самому не суждено было дожить до совершенія этого событія,—но тѣмъ больше заслуга его научной проницательности и высокаго общественнаго чувства.

Дѣятельность профессоровъ, какъ Грановскій, Мейеръ и другіе, была прекраснымъ выраженіемъ тѣхъ научныхъ и нравственныхъ вліяній, какія приносилъ новый приливъ просвѣщенія—среди внѣшнихъ условій, крайне неблагопріятныхъ. Жизнь общества, повсюду окруженнаго бюрократической опекой, не давала исхода для возникавшихъ стремленій; напротивъ, съ 1848 года, по насмѣшкѣ судьбы, начались, подъ впечатлѣніями европейскихъ волненій, реакціонныя стѣсненія и въ томъ небольшомъ кругѣ дѣятельности, какой доставляли литература и университетъ. У людей, въ которыхъ было пробуждено живое общественное чувство, такой складъ жизни создаетъ обыкновенно наклонность къ крайнему идеализму; общественнымъ стремленіямъ нѣтъ мѣста въ настоящемъ, оно ихъ гнететъ и отталкиваетъ, и мысль бросается въ идеалистическую область, въ прошедшее или въ будущее: такъ возникало стремленіе въ теоретически подкрашенную и поэтизированную старину (у славянофиловъ); возвеличеніе народа и его „идеи", отъ которой ждется въ будущемъ соціальное исцѣленіе; жадный интересъ къ общественно-политической жизни другихъ народовъ, въ борьбу которой переносятся сочувствія, не находящія примѣненія дома; страстное увлеченіе отвлеченными, но существенными вопросами о человѣческой личности, ея внутреннемъ развитіи, ея нравственномъ правѣ. Противорѣчіе идеалистическихъ порывовъ съ дѣйствительностью создаетъ въ литературѣ типъ отчаявшихся, „разочарованныхъ", „лишнихъ" людей... Вліяніе европейской литературы возростаетъ, и именно вліяніе тѣхъ ея сторонъ и тѣхъ писателей, въ которыхъ сказывалось отрицаніе гнетущихъ общественныхъ явленій и заявлялось стремленіе къ иному, лучшему

---

[1]) Братчина. Спб. 1859. „Студенческія воспоминанія о Д. И. Мейерѣ, профессорѣ казан. унив.", Пекарскаго, стр. 224—232 и др.

общественному порядку. Таковъ былъ полу-романтическій скептицизмъ Гейне, возвышенный реализмъ и филантропическій юморъ Диккенса, романъ и деревенская повѣсть Жоржъ-Занда, историческія книги Луи-Блана, наконецъ, французскій соціализмъ въ сочиненіяхъ Сенъ-Симона, Кабе и особенно въ теоріяхъ Фурье, вліяніе котораго —одно время у насъ весьма распространенное—въ настоящее время едва понятно. Имя Фурье показываетъ уже, что это былъ соціализмъ особаго рода, чистая теорія, почти чистая фантазія, до крайности далекая отъ дѣйствительности и относившаяся къ какому-то темному будущему,—но въ основѣ увлеченія имъ у нашихъ молодыхъ поколѣній лежало тѣмъ не менѣе глубокое отрицаніе порядковъ аракчеевскаго типа, и мечты о справедливомъ устройствѣ общественныхъ отношеній. Увлекались не одни мечтатели, но и люди болѣе серьезные, которые видѣли силу соціализма въ его критикѣ буржуазнаго и бюрократическаго государства... Этотъ „соціализмъ", смѣшанный изъ Фурье и Сенъ-Симона, и изъ интереса къ политическому движенію тогдашней Европы, особенно Франціи передъ 1848 годомъ (а затѣмъ и послѣ него), начался у насъ очень давно. Другъ Бѣлинскаго, Василій Боткинъ, считалъ себя соціалистомъ еще въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; въ тѣ же годы увлекались соціализмомъ Герценъ и Огаревъ. Въ сороковыхъ годахъ, „соціализмъ"—въ которомъ выражалось неясное, но все-таки сильное стремленіе къ иному порядку вещей, чѣмъ насущная дѣйствительность — былъ очень распространенъ, и именно въ своихъ фантастическихъ теоріяхъ: по закону реакціи, онѣ были привлекательны именно какъ крайній контрастъ съ дѣйствительностью. Наиболѣе вѣрующими его партизанами были члены извѣстнаго кружка Петрашевскаго.

Въ примѣръ того, какъ далеко распространялся этотъ вкусъ къ соціализму, приведемъ фактъ, разсказываемый въ біографіи извѣстнаго археолога и оріенталиста, П. С. Савельева. Это былъ человѣкъ, кромѣ своей ученой спеціальности разносторонне образованный, самыхъ умѣренныхъ мнѣній, много работавшій въ литературѣ, но стоявшій въ сторонѣ отъ литературныхъ партій, — по оффиціальному положенію, одно время секретарь комитета иностранной цензуры; но по своимъ теоретическимъ взглядамъ, и это былъ — соціалистъ. „Въ сферѣ политико-экономическихъ идей,—говоритъ біографъ Савельева (о сороковыхъ годахъ),—благородное сочувствіе къ массамъ ставило его инстинктивно въ ряды противниковъ ученія laissez faire, laissez aller, имѣющаго практическимъ послѣдствіемъ тиранство капитала и обездоленіе труда;—инстинктивно потому, что пристально политическою экономіею Савельевъ никогда не занимался... Несостоятельность экономическаго ученія либеральной (т.-е. буржуазной) школы выясни-

лась ему нѣсколько позже, когда началось знакомство Петербурга съ критикою и теоріями новыхъ соціалистовъ" (это было въ концѣ сороковыхъ годовъ). „Соціализмъ, какъ направленіе, пришелся ему несравненно болѣе по сердцу, нежели либерализмъ"... Самъ біографъ, Григорьевъ (извѣстный оріенталистъ, біографъ Грановскаго и недавній начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати), который былъ другомъ Савельева, замѣчаетъ, что „вполнѣ раздѣлялъ его симпатію къ соціализму" [1]).

Обозначенное нами движеніе было, какъ видимъ, одушевлено тѣмъ же основнымъ настроеніемъ, какое проникало поэтическую литературу. То и другое было результатомъ собственнаго роста литературы и общественной мысли, который подкрѣплялся сильными вліяніями европейской науки и поэзіи. Движеніе совершалось еще въ эпоху полнаго господства оффиціальной народности и, при всѣхъ вмѣшнихъ стѣсненіяхъ, еще тогда раскрыло несостоятельность ея теоріи. Подкладкой этой теоріи былъ фальшиво сантиментальный взглядъ въ исторіи, плодившій лицемѣрную реторику „благонамѣреннаго" обскурантизма; крѣпостничество, прикрывавшееся фразами о „добромъ" и патріархальномъ русскомъ народѣ, желающемъ только отеческаго управленія помѣщиковъ и исправниковъ; бюрократическій гнетъ, стремившійся подавить всѣ малѣйшія самостоятельныя проявленія общественной самодѣятельной мысли. Новая точка зрѣнія не вела съ этой теоріей правильнаго спора,—онъ былъ немыслимъ,— но самымъ своимъ содержаніемъ совершенно упраздняла эту теорію. Новый взглядъ вносилъ сознательное изслѣдованіе народной исторической жизни, и указывалъ законъ органическаго развитія, объяснявшій прошедшее и желавшій устраненія явленій пережитыхъ; въ современной жизни народа онъ отвергалъ крѣпостное право, не только по нравственнымъ, но также и по чисто-экономическимъ соображеніямъ, какъ учрежденіе, вредное для самого государства; въ дѣлѣ просвѣщенія, онъ проникнутъ былъ убѣжденіемъ въ необходи-

---

[1]) Жизнь и труды П. С. Савельева, В. В. Григорьева. Изданіе Импер. Археолог. общества. Спб. 1861, стр. 83—84; о мнѣніяхъ Савельева см. также стр. 140—141, 161—164. Около 1881 г., нѣкто Султанъ Пираліевъ разыскивалъ происхожденіе нашего новѣйшаго соціализма, перевирая при этомъ факты и взводя небылицы на людей, которыхъ видимо и не зналъ; между прочимъ, на извѣстнаго педагога и переводчика, Ир. Введенскаго. Но Пираліеву слѣдовало бы вспомнить книгу В. В. Григорьева: онъ увидѣлъ бы, что соціалистами бывали тогда люди какъ Савельевъ, секретарь цензурнаго комитета, и Григорьевъ, чиновникъ министерства внутреннихъ дѣлъ, оба ученые оріенталисты.

димости свободы изслѣдованія для науки, и возможно-широкаго распространенія образованія въ обществѣ и народной массѣ.

Въ собственно этнографической наукѣ произошла полная перемѣна. Какъ въ исторіи, такъ и здѣсь, приложена была теперь точка зрѣнія органическаго развитія, и къ объясненію народной старины впервые примѣнены научныя средства: намѣчены были элементы народности, и можно сказать, впервые понятъ смыслъ народнаго быта и сознательно воспринята народная старина и поэзія какъ въ литературѣ поэтической, такъ и въ этнографическомъ изученіи; народъ возстановлялся въ его человѣческомъ достоинствѣ и правѣ.

Произошелъ поворотъ коренной и глубокій. „Народъ" переставалъ быть anima vilis, грубой служебной силой, которая величалась въ реторикѣ и презиралась на дѣлѣ. Напротивъ, въ понятіяхъ просвѣщенныхъ людей, онъ являлся исторической основой всей національной жизни; въ глазахъ энтузіастовъ онъ вставалъ въ видѣ отвлеченнаго, — и правда, еще далеко не вездѣ яснаго, — но возвышеннаго идеальнаго цѣлаго, скрывавшаго въ себѣ богатые задатки будущаго, широкія начала идеальнаго общественнаго порядка, которые остается только раскрыть и внести въ жизнь (на такомъ пунктѣ сходились нѣкогда одинаково и „соціалистъ" Герценъ и славянофилы).

Таковы были научныя и нравственно-общественныя пріобрѣтенія литературы сороковыхъ годовъ въ пониманіи и объясненіи народности. Понятно само собою, что это было только начало; предстояло еще множество труда по всѣмъ отраслямъ вопроса; поставленныя рѣшенія далеко не всегда оказались полными и вѣрными,—но великая заслуга была уже въ томъ, что цѣлый вопросъ выведенъ былъ на почву научнаго изслѣдованія и поставленъ въ ряду первостепенныхъ интересовъ самого общества.

Эпоха освобожденія крестьянъ имѣла здѣсь свое предисловіе.

ГЛАВА II.

Пятидесятые года.

Конецъ стараго и начало новаго царствованія: различіе двухъ эпохъ; общественное оживленіе. — Расширеніе этнографическихъ изслѣдованій. — Ученыя общества.—Работы II отдѣленія Академіи наукъ: Срезневскій; пѣсни Ричарда Джемса; былины.—Дѣятельность Географическаго Общества.—Московское Общество исторіи и древностей. — „Архивъ" Калачова.—Литературная экспедиція, снаряженная по мысли в. кн. Константина Николаевича: Потѣхинъ, Писемскій, Островскій, Максимовъ и др. — П. Н. Рыбниковъ и его открытія.— П. И. Якушкинъ.—П. В. Шейнъ.—С. В. Максимовъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ окончилось одно царствованіе и началось другое. Разница двухъ періодовъ почувствовалась сразу: суровая и, какъ мы видѣли, крайне притѣснительная для самыхъ безобидныхъ стремленій науки опека смѣнилась нѣкоторымъ просторомъ, который былъ столь непривыченъ, что литература и общественная жизнь наполнились невиданнымъ прежде оживленіемъ. Внѣшнія и внутреннія политическія событія давали этому оживленію обильную пищу. Только-что законченная война отрезвила всю массу общества и самую власть отъ высокомѣрныхъ притязаній прежней исключительности и оффиціальной народности; была очевидна для всѣхъ необходимость просвѣщенія, необходимость внутреннихъ преобразованій, и прежде всего крестьянской реформы. По извѣстному тогда изреченію, Россія должна была углубиться въ себя, собраться съ своими мыслями и своими силами: послѣ трудныхъ испытаній это и былъ единственный разумный и цѣлебный путь, и достигнуть этого можно было только однимъ средствомъ — поставивъ вопросъ о внутренней реформѣ, открывъ возможность нѣкоторой самодѣятельности для столь долго подавленнаго общества. Въ самомъ дѣлѣ тотчасъ по заключеніи мира, правительство, хотя на первый разъ неувѣренно, поставило вопросъ объ одномъ изъ величайшихъ преобразованій, какія

бывали въ русской жизни плодомъ здравой государственной мысли и просвѣщенія. Общество приняло съ великимъ одушевленіемъ этотъ первый намекъ и въ немъ все сильнѣе стали сказываться давно таимыя стремленія: то, что̀ еще такъ недавно считалось преступнымъ и навлекало суровыя кары, какъ мысль объ искорененіи массы бюрократическихъ злоупотребленій, опутавшихъ русскую жизнь, объ освобожденіи крѣпостного народа, о необходимости школы и т. д., — то стало теперь обычной темой публицистики и общественнаго мнѣнія. Если прежде искренняя рѣчь о высокомъ значеніи народнаго начала для всей жизни государства и общества была невозможна (въ смыслѣ оффиціальной народности она была только канцелярской формулой) или по крайней мѣрѣ должна была закутываться въ туманныя фразы, то теперь она отъ частаго повторенія становилась наконецъ общимъ мѣстомъ. Но народное дѣло все-таки дѣлалось. Эпоха объявленія объ освобожденіи крестьянъ была высшимъ пунктомъ нашего общественнаго оживленія въ прошлое царствованіе.

Естественно, что это должно было отразиться и на оживленіи этнографической науки. Пятидесятые года не внесли въ этой области никакого новаго ученія; во главѣ научнаго движенія стояли тѣ же люди, которые въ сороковыхъ годахъ заявили, какъ выше указано, новыя критическія требованія, но та новая атмосфера, которая наступила со второй половины пятидесятыхъ годовъ, не могла не отразиться на самомъ тонѣ настроенія, должна была расширить цѣлый горизонтъ, доступный наблюденію, сдѣлать возможными болѣе серьезные пріемы изслѣдованія и критики. Съ этой поры можно дѣйствительно начать новый періодъ развитія нашей этнографіи въ смыслѣ небывалаго прежде расширенія ея наблюденій. Въ самомъ дѣлѣ должна бросаться въ глаза разница двухъ эпохъ. Въ тридцатыхъ годахъ и послѣ, несмотря на оффиціально заявленную народность, изслѣдованіе народности было обставлено величайшими затрудненіями: недовѣрчивая и нерѣдко просто малообразованная цензурная опека не допускала ничего, что̀ казалось ей нарушающимъ формулу оффиціальной народности. Вспомнимъ, какъ Сахаровъ, отчасти по собственному невѣжеству, отчасти, безъ сомнѣнія, чтобы угодить подозрительной цензурѣ, усиливался устранить отъ нашихъ древнихъ предковъ обвиненіе въ „позорной язвѣ многобожія“; какъ Кирѣевскій, ссылаясь для Уварова на ученую Германію, хлопоталъ о томъ, чтобы напечатать свои пѣсни, которыя и остались непапечатанными (кромѣ „духовныхъ стиховъ“); какой суровый пріемъ встрѣтили отъ добровольцевъ-опекуновъ, въ высшемъ ученомъ учрежденіи имперіи, „Пословицы“ Даля; какимъ погромомъ прервалось изданіе „Чтеній“ подъ редакціей Бодянскаго; какъ истреблялась диссертація Косто-

марова объ уніи по разбору Устрялова; какъ однимъ изъ очень просвѣщенныхъ безъ сомнѣнія людей того времери, охранявшимъ почтеніе къ Карамзину, писались доносы на самого Устрялова; какъ цензурными распоряженіями запрещалось говорить о цѣлыхъ эпохахъ русской исторіи и т. д. Изслѣдоваaіе дѣлалось совсѣмъ невозможнымъ. Уже одно то, что со второй половины пятидесятыхъ годовъ были сняты съ литературы эти невозможныя условія, было великимъ пріобрѣтеніемъ для науки. Явилась, наконецъ, возможность говорить о народѣ болѣе или менѣе полную истину, возможность этнографическихъ изслѣдованій въ такомъ объемѣ, какой въ прежнее время былъ немыслимъ. Мы скажемъ далѣе, какъ съ этой поры расширились изслѣдованія историческія, и именно со стороны исторіи народа, и укажемъ то, что̀ дѣлалось съ пятидесятыхъ годовъ въ области этнографіи.

Какъ мы замѣтили, въ это время дѣйствовали тѣ же ученыя силы, которыя съ сороковыхъ годовъ вносили новыя идеи въ изученіе исторіи и этнографіи. Съ теченіемъ ихъ работы выяснялось новое направленіе, а затѣмъ продолжателями ихъ являются новые дѣятели, трудъ которыхъ принесъ уже вскорѣ неожиданно богатые матеріалы для русской этнографіи.

Въ то время только три ученыя общества имѣли въ своихъ трудахъ отношеніе къ этнографичоскимъ изслѣдованіямъ: одно—оффиціальное, Академія наукъ, другое—частное, Географическое Общество въ Петербургѣ, и полу-оффиціальное Общество исторіи и древностей при московскомъ университетѣ [1]).

Въ Академіи наукъ, въ пятидесятыхъ годахъ обнаружило усиленную дѣятельность по русской филологіи и этнографіи Второе отдѣленіе ея, русскаго языка и словесности, преобразованное, какъ раньше упомянуто, изъ бывшей Россійской академіи, по смерти Шишкова (1841). Если Россійская академія уже въ началѣ столѣтія была литературнымъ анахронизмомъ, то впослѣдствіи онъ становился еще уродливѣе: въ наукѣ возникали замѣчательные труды, въ первый разъ ставившіе вопросъ о русскомъ языкѣ на почву строгаго критическаго изслѣдованія, въ литературѣ прошли Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь,—Академія оставалась глуха и безучастна ко всему этому дви-

---

[1]) Впослѣдствіи къ нимъ присоединяются нѣсколько новыхъ мѣстныхъ отдѣловъ Географическаго Общества; Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, и вновь предпринявшее работы Общество любителей россійской словесности, оба въ Москвѣ; Общество исторіи, археологіи и этнографіи въ Казани, Историческое общество лѣтописца Нестора въ Кіевѣ, филологическія общества при петербургскомъ университетѣ, Археологическій Институтъ въ Петербургѣ и нѣсколько архивныхъ коммиссій въ провинціи

женію; самъ Шишковъ былъ ветхимъ старцемъ; его сотоварищи, подобранные по важности ихъ сана и любви къ „старому слогу“, состояли изъ людей, совсѣмъ неспособныхъ къ какому-либо участію въ научномъ движеніи. Россійскую академію не трогали, пока былъ живъ „старецъ, дорогой священною памятью двѣнадцаго года“; по его смерти Россійская академія теряла всякій смыслъ и была закрыта подъ видомъ преобразованія въ Второе отдѣленіе Академіи наукъ. Многіе члены ея остались за штатомъ; въ „Отдѣленіе“ вошли болѣе почетныя лица и нѣсколько новыхъ. Первые годы новаго учрежденія прошли весьма блѣдно—до тѣхъ поръ когда въ Отдѣленіе вступило новое лицо, которое возбудило оживленную дѣятельность и долго было въ сущности единственной истинно-научной силой Отдѣленія. Это былъ Срезневскій (1812—1880). Живая и чрезвычайно дѣятельная натура, съ сильнымъ умомъ и богатыми свѣдѣніями въ области филологіи, этнографіи и археологіи, въ то время по преимуществу славистъ, Срезневскій былъ въ Отдѣленіи единственнымъ настоящимъ спеціалистомъ въ этихъ областяхъ науки: естественно, что онъ не могъ удовлетвориться тягучимъ бездѣйствіемъ Отдѣленія, и уже вскорѣ, по его иниціативѣ и при его главной работѣ, Отдѣленіе предприняло изданіе, къ которому онъ привлекъ и постороннія силы и которое имѣло тогда не малое возбуждающее вліяніе. Это были „Извѣстія“ Отдѣленія русскаго языка и словесности, существовавшія десять лѣтъ (съ 1852 года). Передъ тѣмъ большое впечатлѣніе произвела книга Срезневскаго: „Мысли объ исторіи русскаго языка“—рѣчь на университетскомъ актѣ, гдѣ въ живомъ одушевленномъ изложеніи поставлены были вопросы „русской науки“ и намѣчены задачи по изученію русскаго языка. Въ „Извѣстіяхъ“ появлялись также литературныя упражненія другихъ сочленовъ (какъ напр. писанія И. Давыдова, предсѣдательствовавшаго тогда въ Отдѣленіи и др.), но главное содержаніе изданія составляли труды самаго Срезневскаго и вызванныя имъ работы, которые были новостью въ нашей литературѣ и болѣе или менѣе важнымъ вкладомъ въ изученіе русскаго языка и письменной и народно-поэтической старины. Сюда направлялись все больше работы самого Срезневскаго: рядъ замѣчательныхъ изслѣдованій о древнихъ памятникахъ русской литературы, гдѣ многое объяснено было съ новой оригинальной точки зрѣнія (въ „Извѣстіяхъ“ и тогда же начатыхъ „Ученыхъ Запискахъ“ Второго отдѣленія); поставленные вопросы объ изученіи древняго и современнаго народнаго языка; живая любознательность къ произведеніямъ народной словесности; весьма внимательно веденная библіографія славянскихъ трудовъ по языку, исторіи, археологіи и народной поэзіи славянскихъ племенъ,—все это было совершенно ново и

исполнено интереса для тѣхъ, кому были близки вопросы изученія русской народности. Уже вскорѣ труды Второго отдѣленія, то-есть въ особенности именно Срезневскаго, дали богатый и иногда чрезвычайно важный и любопытный результатъ. Поиски въ древней литературѣ открыли существованіе многихъ, ранѣе неизвѣстныхъ, памятниковъ и установили точнѣе, чѣмъ было до тѣхъ поръ, первые начатки древней русской письменности. Работы по языку повели къ изданію „Опыта Областного великорусскаго словаря" (1852, съ дополненіемъ), къ собранію обширныхъ матеріаловъ для словаря древне-русскаго языка, для объясненія восточныхъ словъ въ русскомъ языкѣ, для выработки плана будущаго словаря русскаго языка и т. д. Поиски въ народной словесности вознаградились на первый же разъ замѣчательными пріобрѣтеніями: таковы были знаменитыя пѣсни, записанныя въ началѣ XVII вѣка въ Москвѣ англійскимъ баккалавромъ Ричардомъ Джемсомъ; таковы были новыя былины о богатыряхъ Владимира, былины и пѣсни о событіяхъ XVI и XVII вѣка, о Петрѣ Великомъ и пр.,—памятники, почти не появлявшіеся вновь въ литературѣ со временъ Кирши Данилова и которые были предшественниками сдѣланныхъ уже вскорѣ блистательныхъ открытій въ области русскаго народнаго эпоса [1]). „Извѣстія" доставили вообще много новыхъ данныхъ по исторіи русскаго языка и народной словесности и ставили вопросы на почву точнаго изслѣдованія.

Другое ученое учрежденіе, между прочимъ спеціально посвящавшее свои труды этнографическимъ изслѣдованіямъ, было Географическое Общество. Мы говорили объ его основаніи. Къ пятидесятымъ годамъ его дѣятельность начинаетъ выясняться. Разосланныя имъ во множествѣ экземпляровъ программы вызвали отъ мѣстныхъ любителей въ провинціи большое количество сообщеній на поставленные вопросы, и Общество уже вскорѣ воспользовалось ими для своихъ изданій. Въ тѣ годы Географическое Общество было весьма популярно; отсутствіе другихъ общественныхъ интересовъ привлекало сюда людей просвѣщенныхъ и любознательныхъ и изданія Общества принимались съ большимъ сочувствіемъ. Въ трудахъ этнографическаго отдѣленія принимали оживленное участіе Надеждинъ, Бэръ, Срезневскій, Кавелинъ, Калачовъ, А. Н. Аѳанасьевъ, В. В. Стасовъ, Гильфердингъ, Ламанскій, Л. Майковъ; нѣкоторыя изъ названныхъ лицъ бывали предсѣдателями этого отдѣленія. Матеріалъ, доставленный въ Общество въ видѣ отвѣтовъ на вопросы программы, издаваемъ былъ въ „Этнографическомъ Сборникѣ" (шесть томовъ, 1853—

[1]) Эти новыя произведенія народной поэзіи, которыя печатались въ первыхъ годахъ „Извѣстій", собраны были потомъ въ отдѣльную книжку: „Памятники великорусскаго нарѣчія". Спб. 1855.

1864) и въ другихъ изданіяхъ Общества. Матеріалы Общества, сообщенные Аѳанасьеву, послужили для его извѣстнаго изданія русскихъ сказокъ, до сихъ поръ единственнаго въ своемъ родѣ. Существованіе этнографическаго центра чрезвычайно способствовало развитію интереса къ наблюденію народной жизни на мѣстахъ въ провинціи, откуда съ тѣхъ поръ и донынѣ въ Географическое Общество шлются массы сообщеній, которыхъ, наконецъ, оно не въ состояніи вмѣстить въ свои изданія. Мы будемъ имѣть случай говорить о массѣ ученыхъ предпріятій, географическихъ и этнографическихъ экспедицій, какія были снаряжены Обществомъ въ разные края Россіи съ пятидесятыхъ годовъ и до нашего времени. Здѣсь укажемъ лишь, какимъ великимъ пріобрѣтеніемъ для этнографической науки была дѣятельность Общества въ томъ новомъ критическомъ направленіи, какое установляется впервые въ сороковыхъ годахъ. Разница съ прежнимъ временемъ была громадная. Давно ли этнографическое знаніе питалось скудными данными, какія доставлялись единичными, частью совершенно неподготовленными научно, собирателями, какъ Снегиревъ и особливо Сахаровъ и Терещенко; теперь на мѣсто ихъ случайныхъ и нерѣдко весьма странно освѣщенныхъ собраній является цѣлая масса свѣжихъ данныхъ, собранныхъ въ разныхъ концахъ Россіи, и съ тѣмъ новымъ качествомъ, что, во-первыхъ, народный бытъ, здѣсь описываемый, изображается съ бо́льшею подробностію по разнымъ его сторонамъ, и во-вторыхъ, обязательнымъ условіемъ ихъ становится фактическая точность, которой прежде слишкомъ недоставало. Благодаря опредѣленнымъ и по возможности всестороннимъ вопросамъ этнографическихъ программъ, въ нашей литературѣ является съ пятидесятыхъ годовъ, въ изданіяхъ Общества и внѣ его, громадная масса мѣстныхъ описаній, гдѣ народный бытъ рисуется въ цѣлой картинѣ его внѣшней обстановки, съ его историческимъ прошлымъ, нравами и обычаями, преданіями и народной поэзіей. Это было нѣчто прежде небывалое въ литературѣ и новый матеріалъ доставлялъ основу для новыхъ изслѣдованій, о которыхъ едва помышляла прежняя этнографія.

Московское Общество исторіи и древностей имѣло свои спеціальныя задачи, но также не осталось чуждо движенію, и какъ дальше будемъ имѣть случай упоминать, дало въ своемъ изданіи мѣсто многимъ важнымъ матеріаламъ и изслѣдованіямъ по этнографіи.

Такимъ образомъ существенный переворотъ произошелъ въ самомъ способѣ собиранія этнографическихъ данныхъ. На мѣсто собиранія единичнаго и потому случайнаго, часто произвольнаго, даже совсѣмъ не научнаго, ставится собираніе массовое, въ центрахъ ученыхъ обществъ, подъ контролемъ научно-подготовленныхъ специали-

стовъ, по опредѣленному плану. Вмѣстѣ съ тѣмъ на мѣсто прежняго столь же случайнаго и не научнаго толкованія этнографическихъ фактовъ, выступаетъ научный методъ, у однихъ воспитанный исторической школой, у другихъ школою филологической. Прежнихъ изслѣдователей, какъ Сахаровъ и пр., и новыхъ, какъ Кавелинъ, Срезневскій, Буслаевъ, Аѳанасьевъ и пр., раздѣляетъ цѣлая пропасть. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что эта потребность новаго пріема въ изученіи народной жизни сказалась еще въ сороковыхъ годахъ при первыхъ начаткахъ двухъ школъ того времени, западной и славянофильской, когда въ этомъ стремленіи соединялись одинаково представители обоихъ уже вскорѣ такъ далеко разошедшихся направленій. Такъ они соединились въ изданіи Валуевскаго сборника (1845). Впослѣдствіи работа повелась въ обѣихъ школахъ. Та группа изыскателей, которая воспиталась на исторической школѣ или въ направленіи новой нѣмецкой филологіи, предпринимаетъ въ пятидесятыхъ годахъ цѣлый рядъ изслѣдованій, которыя находили мѣсто и въ „Извѣстіяхъ" Академіи, и въ изданіяхъ Географическаго Общества и въ отдѣльныхъ работахъ. Съ цѣлью служить органомъ этой группы, основанъ былъ Калачовымъ (въ то время профессоромъ московскаго университета) въ 1850 г. извѣстный „Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи", гдѣ должны были, по предположенію издателя, являться не только труды чисто историческіе и юридическіе, но также „статьи и матеріалы по части русской филологіи и археологіи въ пространномъ смыслѣ"; главное вниманіе направлено было на „внутренній бытъ нашего отечества и *народа*, имѣя въ виду ту тѣсную *неразрывную связь*, которою во всѣхъ отношеніяхъ соединяется Русь древняя съ новой". Программа изданія составлена была весьма разумно, въ видахъ новой исторической и филологической школы и для объединенія ихъ трудовъ. Издатель предложилъ свой планъ на обсужденіе ученымъ любителямъ русской исторіи; они приняли планъ съ живымъ сочувствіемъ, которое и заявили своимъ участіемъ въ сборникѣ Калачова. Главными участниками „Архива", кромѣ самого издателя, были: Соловьевъ (доставившій статью: „Очеркъ нравовъ, обычаевъ и религіи Славянъ, преимущественно восточныхъ, во времена языческія",—по даннымъ историческимъ, съ объясненіями по Гриммову методу), г. Буслаевъ, Грановскій, Аѳанасьевъ, Кавелинъ, Забѣлинъ, М. Капустинъ, Бѣляевъ, А. Н. Поповъ, В. И. Григоровичъ и др.

Труды отдѣльныхъ изслѣдователей за это время оживляются въ особенности съ началомъ новаго царствованія. Чрезвычайная перемѣна во внутренней политикѣ, обѣщавшая цѣлый рядъ основныхъ

реформъ, сопровождалась необычайнымъ оживленіемъ общественной жизни, а также и научныхъ изысканій.

Еще многимъ изъ нынѣшнихъ дѣятелей памятно это время.

Однимъ изъ первыхъ признаковъ наступавшаго поворота и первымъ фактомъ, которымъ обозначилось новое ревностное движеніе въ изученіи народа и народности, было замѣчательное предпріятіе, выполненное въ первые же годы прошлаго царствованія по мысли вел. кн. Константина Николаевича—рядъ экспедицій въ различные края Россіи, порученныхъ болѣе или менѣе извѣстнымъ молодымъ писателямъ, которые уже заявили себя интересомъ къ народной жизни и въ числѣ которыхъ были между прочимъ писатели такой силы, какъ Островскій и Писемскій. Первые слухи объ этомъ предпріятіи произвели въ литературномъ кругу и въ средѣ образованныхъ людей самое отрадное впечатлѣніе: чувствовалась первая струя свѣжаго воздуха; первое обращеніе высшихъ сферъ къ общественнымъ силамъ внушало самыя свѣтлыя надежды на будущее, и результаты показали впослѣдствіи, что это дѣло, при всѣхъ неровностяхъ исполненія, оказалось несомнѣнно благотворнымъ и въ общественномъ смыслѣ и въ области науки.

„Осенью 1855 года,—разсказываетъ С. В. Максимовъ, въ то время также приглашенный къ участію въ этомъ предпріятіи,—въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ, тогда не столь разнообразныхъ и многочисленныхъ, какъ теперь, но гораздо болѣе сплоченныхъ, распространился слухъ о небываломъ событіи, казавшемся всѣмъ неожиданнымъ и почти невѣроятнымъ. Правительство понуждалось [1]) въ содѣйствіи тѣхъ общественныхъ дѣятелей, которымъ уже давно присвоено было обществомъ непризнанное и неутвержденное правительствомъ званіе литераторовъ, находившихся до той поры въ сильномъ подозрѣніи. Неожиданно, но опредѣлительно и ясно выражено было намѣреніе употребить въ дѣло силы, съ которыми до той поры боролись или которыхъ только гнали. У всѣхъ на глазахъ производились еще, невѣроятныя до забавнаго, цензорскія придирки и живо памятны были тѣ, почти вчерашніе случаи, когда попечитель учебнаго округа, Мусинъ-Пушкинъ, вѣдавшій высшую цензуру, съ кулаками наскакивалъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій и крикливо угрожалъ ходатайствовать о высылкѣ въ мѣста весьма отдаленныя... Крутой переходъ ко вниманію, поощренію и исканію помощи въ литературныхъ дѣятеляхъ былъ и достаточно

---

[1]) Стало нуждаться.

неожиданнымъ, и казался знаменательнымъ послѣ того, какъ по дѣлу Петрашевскаго поплатились ссылкою нѣсколько человѣкъ, заявившихъ свои имена въ печати; послѣ того, какъ И. С. Тургеневъ успѣлъ посидѣть въ Москвѣ въ арестантской Пречистенской части [1]), почтенный профессоръ и извѣстный ученый А. В. Никитенко отправленъ былъ подъ арестъ за пропускъ противъ военныхъ щеголей невинныхъ строкъ, не понравившихся Клейнмихелю. Цензура пришла въ какое-то оцѣпенѣніе, не зная, какого направленія держаться; цензора боялись погибнуть за самую ничтожную строчку. Цензурный комитетъ остановилъ не только новое изданіе Гоголя, но и напечатанный уже романъ Даля; министръ просвѣщенія Уваровъ говорилъ, что онъ хочетъ, чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась и т. п. [2]).

„Починъ въ описываемомъ нами дѣлѣ,—продолжаетъ г. Максимовъ,—принадлежалъ молодому тогда генералъ-адмиралу, предсѣдателю ученаго русскаго Географическаго Общества, великому князю Константину Николаевичу, состоявшему во главѣ коренныхъ преобразованій послѣ севастопольскаго погрома, успѣвшему провести важныя перемѣны во ввѣренномъ ему вѣдомствѣ и флотѣ и готовившемуся къ участію въ великомъ актѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Здѣсь онъ показалъ извѣстную исторіи энергическую дѣятельность и высокопросвѣщенное участіе. „Морской Сборникъ“—органъ министерства, находившійся подъ особеннымъ ближайшимъ наблюденіемъ и просвѣщеннымъ покровительствомъ великаго князя, изъ сухого спеціальнаго журнала успѣлъ уже превратиться въ живой органъ, въ которомъ разработывались самые существенные и жгучіе общественные вопросы. Памятно это время процвѣтанія *Морского Сборника*“...

Первая мысль этого предпріятія, гдѣ, какъ и въ другихъ дѣлахъ, ближайшимъ сотрудникомъ великаго князя былъ А. В. Головнинъ, впослѣдствіи министръ народнаго просвѣщенія, выражена была въ приказѣ по министерству отъ 11 августа 1855 года, черезъ князя Д. А. Оболенскаго (тогда директора коммисаріатскаго департамента). Великій князь желалъ, чтобы между молодыми даровитыми литераторами были пріисканы лица, которыхъ можно было бы командировать на время въ Архангельскъ, Астрахань, Оренбургъ, на Волгу и главныя озера наши для изслѣдованія быта жителей, занимающихся морскимъ дѣломъ и рыболовствомъ, и составленія статей въ „Морской

---

[1]) Это не точно: Тургеневъ сидѣлъ въ частномъ домѣ въ Офицерской улицѣ въ Петербургѣ.

[2]) „Литературная экспедиція (по архивнымъ документамъ и личнымъ воспоминаніямъ)“, С. В. Максимова, „Р. Мысль“, 1890, февр., стр. 17—50.

Сборникъ" [1]). Въ письмѣ великаго князя уже названы были Писемскій и Потѣхинъ, лично извѣстные вел. кн. Константину, который имѣлъ случай слышать ихъ мастерское чтеніе своихъ произведеній. Поиски лицъ, которыя могли быть исполнителями дѣла, заняли нѣсколько мѣсяцевъ. Писемскій и Потѣхинъ приняли предложеніе; затѣмъ самъ предложилъ свои услуги А. Н. Островскій, далѣе приглашены были С. В. Максимовъ, А. С. Аѳанасьевъ-Чужбинскій, М. Л. Михайловъ, Н. Н. Филипповъ. Мѣстности, описаніе которыхъ представлялось нужнымъ, распредѣлены были слѣдующимъ образомъ: Островскому предоставлено было описаніе верхней Волги; Потѣхинъ взялъ на себя изученіе средней Волги отъ устьевъ Оки до Саратова; Писемскій отправился на нижнюю Волгу въ астраханскую губернію; С. В. Максимовъ поѣхалъ на сѣверъ; А. С. Аѳанасьевъ-Чужбинскій на югъ, на Днѣпръ и Днѣстръ; М. Л. Михайловъ на Уралъ, и Филипповъ на Донъ. „Въ числѣ основаній,—говоритъ дальше г. Максимовъ,—на которыхъ покоилась мысль генералъ-адмирала, по поводу командировки „молодыхъ" литераторовъ, помимо поддержанія созданнаго и упроченнаго съ 1855 года успѣха „Морского Сборника", находилось и то, чтобы изслѣдовать и описать подробности быта, нравы и обычаи того населенія, которое занимается промыслами на водѣ и изъ котораго, слѣдовательно, всего бы полезнѣе и натуральнѣе было „брать матросовъ". Въ преобразовательныхъ предначертаніяхъ морского министерства вырабатывался проектъ рекрутированія флота, по образцу французской записи, именно тѣми людьми, которые съ малыхъ лѣтъ привыкаютъ къ жизни и занятіямъ на водѣ. Впослѣдствіи эта мысль была оставлена въ виду тѣхъ соображеній, что Россія, счастливо орошенная громадною цѣпью рѣкъ и усыпанная озерами, всегда въ состояніи представить громадное число людей, обвыкшихъ въ плаваніи на судахъ и приготовленныхъ къ морскому дѣлу въ большей или меньшей степени,—особенно въ сѣверной лѣсной половинѣ страны, по Волгѣ съ притоками и даже по южнымъ главнымъ рыболовнымъ рѣкамъ и по тремъ морямъ (Черному, Азовскому и Каспійскому, по Дону и Днѣпру)... По этимъ-то и другимъ причинамъ первоначально намѣченныя мѣстности для изслѣдованій подверглись измѣненіямъ и районы наблюденій были расширены въ другомъ направленіи".

Вскорѣ послѣ того какъ начаты были путешествія, стали прихо-

---

[1]) Нѣкоторымъ антецедентомъ къ этому служило кругосвѣтное путешествіе И. А. Гончарова, командированнаго въ званіи секретаря къ адмиралу Путятину, плававшему въ 1853—1854 году для заключенія торговыхъ трактатовъ съ Японіей. Какъ извѣстно, статьи г. Гончарова, писанныя съ пути, помѣщались въ „Морскомъ Сборникѣ" и составили потомъ столь популярную книгу: „Фрегатъ Паллада".

дить извѣстія о ходѣ дѣла и статьи для „Морского Сборника". Присланныя статьи печатались въ журналѣ съ 1857 года; тамъ были помѣщаемы труды всѣхъ названныхъ путешественниковъ, но далеко не все, что̀ было ими предлагаемо. Дѣло въ томъ, что оцѣнщикомъ присылаемыхъ трудовъ явился морской ученый комитетъ съ предсѣдателемъ его, адмираломъ Рейнеке; оказалось, что комитетъ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній о назначеніи названныхъ писателей и объ условіяхъ, на которыхъ они были приглашены; когда свѣдѣнія эти были получены, морской комитетъ или его предсѣдатель оказались не весьма гостепріимны, многіе изъ присланныхъ трудовъ были признаны неудобными для журнала или вообще не имѣющими литературныхъ достоинствъ [1]). Поэтому многое изъ того, что̀ было наработано экспедиціей, появилось внѣ „Морского Сборника" въ другихъ журналахъ. Такъ кромѣ статьи Потѣхина: „Рѣка Керженецъ", помѣщенной въ „Современникѣ", другая статья его: „Съ Ветлуги", явилась въ журналѣ „Вѣкъ"; С. В. Максимовъ печаталъ очерки, вошедшіе потомъ въ его книгу „Годъ на сѣверѣ", въ „Библіотекѣ для чтенія" и пр.; Аѳанасьевъ-Чужбинскій печаталъ въ „Русскомъ Словѣ"; очерки быта волжскихъ татаръ, астраханскихъ калмыковъ и армянъ, Писемскаго, печатались въ „Библіотекѣ для чтенія" и пр.

Приводимъ еще нѣсколько замѣчаній г. Максимова, какъ близкаго свидѣтеля, о томъ благотворномъ вліяніи, какое имѣла эта экспедиція на дальнѣйшую дѣятельность нѣкоторыхъ изъ ея участниковъ. Онъ говоритъ напр., объ Островскомъ. Въ его бумагахъ осталось мно-

---

[1]) „Изъ статей Островскаго исключаются тѣ мѣста, гдѣ авторъ дѣлится личными впечатлѣніями съ читателемъ подъ вліяніемъ навѣянныхъ на художественную душу красотами природы или вызванныхъ какими-либо рѣзкими характерными чертами быта, представшими на глаза наблюдателя въ неприкрашенномъ видѣ. Отдается предпочтеніе лишь тѣмъ фактамъ, которые имѣютъ непосредственное отношеніе къ водѣ и далеко стоять отъ живой жизни, между тѣмъ какъ именно на нее сдѣланы прямыя указанія въ программѣ, предоставлявшей просторъ для свободнаго избранія и формы изложенія, и тѣхъ размѣровъ, которые каждому окажутся наиболѣе подходящими. Браковка производилась по военному, съ изумительною самоувѣренностію, безъ справокъ съ желаніями авторовъ и властною рукой, не признававшею обычныхъ правъ сочинителей. Литературные обычаи, установленные въ частныхъ журналахъ на правилахъ истинной деликатности и уваженія къ самостоятельнымъ авторскимъ вкусамъ и пріемамъ, не входили въ соображеніе при расцѣнкѣ трудовъ даже тѣхъ писателей, которые пріобрѣли почетное имя и заслужили извѣстность, какъ Островскій, Писемскій и Потѣхинъ. Статья А. Потѣхина „Рѣка Керженецъ" была возвращена автору, какъ не подходящая, хотя она въ прелестной литературной формѣ излагала данныя о лѣсномъ торгѣ на одномъ изъ притоковъ Волги, прославленномъ знаменитыми раскольничьими скитами. Статья должна была искать другого мѣста для обнародованія, и нашла его себѣ въ строгомъ на выборъ статей Современникѣ".

жество любопытнѣйшаго матеріала по изученію Волги [1]); но путешествіе несомнѣнно отразилось и на его художественномъ творчествѣ. „Сильный талантомъ художникъ не въ состояніи былъ упустить благопріятный случай при разнообразныхъ дорожныхъ встрѣчахъ исполнить то, что̀ составляло призваніе и основную цѣль жизни. Онъ продолжалъ наблюденія надъ характерами и міросозерцаніемъ коренныхъ русскихъ людей, сотнями выходившихъ къ нему на встрѣчу и поддававшихся его изученію. Это предвидѣлось и тѣмъ, отъ кого полученъ былъ заказъ на изслѣдованія иного рода. Дѣйствительно, въ полную мѣру доставлена была возможность довершить свое развитіе нашему драматическому писателю, бравшему художественные типы прямо изъ жизни и вырабатывавшему цѣльныя картины по непосредственнымъ личнымъ впечатлѣніямъ. Онъ почерпнулъ здѣсь и живые образы, и заручился новыми матеріалами для послѣдующихъ литературныхъ произведеній. Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новыя темы для драмъ и комедій и вдохновила его на тѣ изъ нихъ, которыя составляютъ честь и гордость отечественной литературы“. Волгой вдохновленъ „Сонъ на Волгѣ“, „Дмитрій Самозванецъ“, „Гроза“, „На бойкомъ мѣстѣ“. „Родная автору Волга, во всякомъ случаѣ, подслужилась достаточнымъ количествомъ свѣжихъ и живыхъ впечатлѣній, сдѣлалась ему родною и своею и въ этомъ отношеніи вліяла на его творчество“...

Подобнымъ образомъ, въ иныхъ размѣрахъ и примѣненіяхъ, экспедиція послужила и другимъ ея участникамъ. Новый запасъ знанія народнаго быта, обычая и языка вынесли отсюда Писемскій, Потѣхинъ, Максимовъ; у послѣдняго она еще надолго направила этнографическіе вкусы и работы, о которыхъ скажемъ далѣе. Была и иная сторона вліянія мысли, создавшей эту экспедицію.

„Какъ бы количественно ни были малы вклады очерковъ изъ поѣздокъ по отдаленнымъ захолустьямъ русскаго царства въ „Морскомъ Сборникѣ“,—продолжаетъ г. Максимовъ,—начинаніе покровителя ихъ не прошло безслѣдно, но принесло, очевидно, обильные благіе плоды. Сверхъ указанныхъ косвенныхъ, не замедлили обнаружиться и такія послѣдствія, починъ которыхъ принадлежитъ на бранномъ полѣ застрѣльщикамъ, а на мирныхъ пажитяхъ засѣвальщикамъ, съ легкою и наметанною рукой. Не замедлили явиться подражатели и послѣдователи съ готовымъ запасомъ свѣдѣній, пріобрѣ-

[1]) Въ газетахъ (февраль, 1890) читаемъ извѣстіе о предполагаемомъ изданіи обширной переписки Островскаго, а „рядомъ съ этою перепискою предполагается напечатать неопубликованныя еще многочисленныя записки А. Н. Островскаго изъ его путешествія по Волгѣ, которое онъ совершилъ въ свое время одновременно съ А. Ѳ. Писемскимъ и С. В. Максимовымъ по порученію морского министерства“.

тенными ранѣе, именно въ тѣхъ мѣстахъ, которыми интересовался августѣйшій генералъ-адмиралъ и которыя изслѣдовались командированными имъ лицами. Конечно, наибольшее вниманіе возбуждало разнообразно-живое сѣверное поморье, гдѣ, дѣйствительно, море было тѣмъ полемъ, на которомъ пріобрѣтались жителями всѣ свойства и блестящія качества, необходимыя и приличныя кореннымъ и образцовымъ мореходамъ". Слѣдомъ за статьями г. Максимова печатались въ „Морскомъ Сборникѣ" очерки сѣвера Б. В. Яновскаго, изучавшаго край во время продолжительнаго пребыванія въ средѣ промышленниковъ и притомъ въ самыхъ далекихъ, едва доступныхъ захолустьяхъ. Первое ознакомленіе съ матеріаломъ, находившимся въ литературѣ и мѣстныхъ изданіяхъ, указывало интересныя мѣстности. „Въ глухой и безпредѣльной степи объявились вѣхи, подъ указаніемъ коихъ можно было смѣло отправляться въ путь, втянуться въ дѣло, увлечься до того, чтобы, войдя въ самую глубь, съ прямого пути свертывать на любопытные проселки, забывать програмные пункты и ставить свои новые, далекіе отъ интересовъ морского дѣла, но цѣнные въ интересахъ этнографической науки. Конечно при этихъ торопливыхъ попыткахъ и скороспѣлыхъ наблюденіяхъ ускользало отъ вниманія очень многое; въ работѣ оказывались значительные и очень важные пробѣлы. Для заполненія ихъ требовались новыя силы: онѣ-то и явились на страницахъ „Сборника", гостепріимно и широко открытыхъ именно для постороннихъ сотрудниковъ-добровольцевъ, представившихъ свои труды изъ благороднаго соревнованія и честнаго соперничества" [1]).

„Морской Сборникъ,—говоритъ г. Максимовъ въ заключеніе своихъ воспоминаній,—въ исторіи нашей литературы успѣлъ уже занять почетное мѣсто именно въ эти годы, когда руководился указаніями

---

[1]) Таковы были напр., „Очерки Финляндіи", А. Милюкова (М. Сб., 1856) и др. Косвенное отношеніе къ экспедиціи имѣлъ Г. П. Данилевскій; но его очеркъ „Чумаки", не принятый морскимъ комитетомъ, напечатанъ былъ въ „Библ. для Чтенія" 1857, апрѣль—іюль.

„Просторнѣе и свободнѣе", по выраженію г. Максимова, стали отношенія писателей къ „М. Сборнику", когда въ 1860 г. редакторомъ его назначенъ былъ В. П. Мельницкій (ум. въ сентябрѣ 1866 г.).

Въ тоже время появляется въ нашей морской литературѣ множество описаній изъ заграничныхъ плаваній. Въ одно изъ таковыхъ, послѣ примѣра г. Гончарова, приглашенъ былъ Д. И. Григоровичъ („Корабль Ретвизанъ"). Изъ прежнихъ кругосвѣтныхъ плаваній, нѣкоторыя прошли совершенно безвѣстно. „Такова была, между прочимъ, долговременная кругосвѣтная экспедиція адмирала Васильева, *строго воспрещавшаго* своимъ офицерамъ что-либо сообщать въ печати о самомъ пути и испытанныхъ во время его впечатлѣніяхъ. Всѣ усилія редакціи „Морского Сборника" найти въ архивѣ какіе-либо матеріалы объ этомъ загадочномъ странствованіи не увѣнчались никакимъ успѣхомъ". Таковы были времена и нравы.

А. В. Головнина и состоялъ подъ особымъ ближайшимъ покровительствомъ и подъ высокою защитой просвѣщеннѣйшаго генералъ-адмирала. То было вообще незабвенное время свѣтлыхъ упованій, свободныхъ и веселыхъ работъ, требовавшихъ неустанной энергіи молодыхъ силъ на всѣхъ путяхъ и разнообразныхъ поприщахъ, обезпечивающихъ свободу отъ крѣпостного труда". Извѣстно, что тотъ же „Морской Сборникъ" далъ мѣсто знаменитымъ „Вопросамъ жизни" Пирогова (1856), которыя произвели въ то время такое сильное впечатлѣніе на умы общества...

Такова была эта замѣчательная и единственная въ своемъ родѣ экспедиція, любопытная тѣмъ, что отражала въ себѣ созрѣвавшее давно общественное стремленіе къ изученію народной жизни. Починъ нашелъ продолжателей въ цѣломъ рядѣ дѣятелей, направившихъ свой трудъ съ одной стороны на собираніе фактовъ народнаго быта и поэзіи, съ другой—на ихъ научное объясненіе. Эти труды вознаграждены были богатыми результатами, совершенно измѣнившими видъ русской этнографіи, открывавшими неподозрѣваемое обиліе народной поэзіи. Мы остановимся сначала на этихъ этнографахъ-собирателяхъ.

Первое мѣсто въ ряду ихъ принадлежитъ несомнѣнно Рыбникову. Біографія его къ сожалѣнію не была достаточно изложена людьми, его знавшими [1]). Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ (род. въ 1832 г.) происходилъ изъ московской купеческой семьи и, по словамъ г. Модестова, еще въ свои молодые годы „былъ человѣкъ высокаго образованія, какое рѣдко было и въ то время между молодыми людьми, а теперь еще рѣже. Образованіе это онъ частію получилъ въ московскомъ университетѣ на историко-филологическомъ факультетѣ, въ блестящую еще пору послѣдняго, частію въ заграничномъ путешествіи, предпринятомъ имъ еще до университетскихъ студій, частію въ кругу образованнѣйшихъ въ то время въ Москвѣ людей, между прочимъ, въ кружкѣ Хомякова, частію—и это главное—посредствомъ чтенія, широкаго и плодотворнаго. Онъ былъ знакомъ съ исторіей философіи и ближайшимъ образомъ съ Гегелемъ, ему была хорошо извѣстна экономическая литература Франціи и Германіи, особенно направленія, такъ сказать, лѣвой стороны... Независимо отъ этого онъ былъ хорошій знатокъ богословской литературы (вліяніе Хомя-

---

[1]) Можемъ указать только статью В. Модестова: „Два слова о П. Н. Рыбниковѣ", въ „Новостяхъ" 1885, 24 дек. № 354, и краткія свѣдѣнія въ „Обзорѣ" Д. Языкова за 1885 г. (Историч. Вѣстн. 1888, декабрь).

кова), особенно русской сектантской, зналъ хорошо бытъ раскольниковъ, усердно занимался статистикой и изучалъ народную жизнь во всевозможныхъ направленіяхъ".

Это было именно то оживленное время нашей литературы и общественной жизни, когда, въ параллель съ планами правительственныхъ реформъ, въ обществѣ и особливо молодомъ поколѣніи развивалось стремленіе къ изученію народной жизни и къ служенію самому народу. У Рыбникова увлеченіе западными передовыми писателями очевидно соединялось съ тѣмъ, что послѣ стали называть народничествомъ. Его университетскій курсъ шелъ какъ-то неправильно; еще до окончанія его онъ дѣлалъ путешествіе за границу, и окончилъ курсъ только въ 1858 году. Затѣмъ, по тому же разсказу г. Модестова, „Рыбниковъ отправился собирать народныя пѣсни и сказанія въ черниговскую губернію и тамъ своими связями съ старообрядческимъ купечествомъ возбудилъ противъ себя неудовольствіе духовныхъ властей, а затѣмъ и полиціи. Быть можетъ, у него и вырвалось тамъ и сямъ при случаѣ какое-нибудь неосторожное слово (покойный сообщалъ мнѣ о своемъ неумѣстномъ спорѣ съ тогдашнимъ черниговскимъ архіереемъ), но что онъ не могъ вызвать противъ себя заслуженнаго полицейскаго преслѣдованія, это для меня не подлежало и теперь не подлежитъ никакому сомнѣнію. Онъ былъ, во-первыхъ, слишкомъ хорошо образованный, а во-вторыхъ, слишкомъ осторожный человѣкъ, чтобы позволить себѣ какія-нибудь дѣянія, за которыя могъ рисковать тюремнымъ заключеніемъ или ссылкою. Что касается связей его съ раскольниками, то эти связи у него отчасти были семейныя. Онъ происходилъ изъ московской купеческой семьи, въ которой въ старшихъ поколѣніяхъ были люди, придерживавшіеся оппозиціи противъ Никоновской церковной реформы. У него хранился, какъ нѣкая святыня, портретъ казненнаго при Петрѣ князя Мышецкаго, котораго онъ считалъ тоже какъ-то себѣ родственникомъ. Рыбниковъ былъ горячій любитель народнаго быта, исповѣдывалъ въ философіи и въ политической экономіи (я говорю о петрозаводскомъ времени) довольно передовыя ученія, но революціонеромъ въ какомъ бы то ни было смыслѣ онъ не былъ никогда и, повторяю, не могъ быть ни въ какомъ случаѣ... Поэтому нельзя не пожалѣть, что обстоятельства, вытекшія изъ какого-то страннаго недоразумѣнія, легли такимъ тяжелымъ гнетомъ на всю жизнь даровитаго и образованнаго человѣка, казалось, предназначеннаго къ очень видной роли въ обществѣ".

Рыбниковъ сосланъ былъ административно въ Петрозаводскъ въ 1859 году. Здѣсь встрѣтился съ нимъ въ 1860 году, г. Модестовъ, назначенный туда учителемъ гимназіи. „Цѣлые вечера, иногда даже

цѣлыя ночи мы проводили съ нимъ въ разговорахъ, которые заставляли забывать, что живешь въ отдаленномъ городѣ сѣверной Россіи, едва насчитывавшемъ тогда 8.000 жителей вмѣстѣ съ заводскими рабочими, которые составляли половину его населенія, въ городѣ, гдѣ имена Гегеля, Фейербаха, Макса Штирнера, Вико, Монтескьё, Луи Блана и Прудона едва ли не въ первый разъ раздавались въ человѣческихъ жилищахъ, по крайней мѣрѣ, такъ часто и съ такимъ увлеченіемъ со стороны спорящихъ". Но пребываніе Рыбникова въ Петрозаводскѣ памятно для русской науки тѣми замѣчательными открытіями, какія были имъ сдѣланы въ области народной поэзіи. Интересъ, вынесенный еще съ дѣтства, былъ награжденъ здѣсь богатыми находками. Рыбниковъ сталъ собирать пѣсни и однажды, отправившись по служебному порученію на востокъ Олонецкой губерніи, встрѣтился съ людьми, знавшими былины, и вскорѣ разыскалъ цѣлый рядъ пѣвцовъ, знавшихъ множество эпическихъ сказаній (Леонтій Богдановъ, Козьма Романовъ, Рябининъ, Щеголенковъ, Никифоръ Прохоровъ и др.). Онъ началъ записывать былины и уже вскорѣ въ его рукахъ собралась такая масса этого рода произведеній, что уже въ 1861 году онъ началъ ихъ изданіе, составившее четыре большихъ тома [1]). Передъ тѣмъ русская этнографія знала, въ отдѣлѣ былинъ, только Киршу Данилова, немногія пьесы въ „Памятникахъ великорусскаго нарѣчія"; думали, что былинъ должно искать гдѣнибудь въ Сибири,—и когда цѣлый огромный запасъ ихъ найденъ былъ въ недалекомъ сосѣдствѣ Петербурга, то первымъ впечатлѣніемъ ученаго міра было изумленіе, а потомъ у иныхъ недоумѣніе и даже недовѣріе. Казалось невѣроятнымъ такое богатство, являвшееся внезапно, когда никто его не ожидалъ и даже не считалъ возможнымъ. Это недоумѣніе и недовѣріе отразилось въ рецензіи Срезневскаго на первый томъ собранія Рыбникова.

„Сборникъ П. Н. Рыбникова,—писалъ Срезневскій,—достоинъ вниманія *даже* по своей громадности: еслибы и нельзя было надѣяться на изданіе еще двухъ такихъ томовъ, какъ первый уже изданный, еслибы весь сборникъ г. Рыбникова состоялъ только изъ того, что̀ вошло въ изданный томъ, то и тогда бы нельзя было не считать этого сборника явленіемъ, поразительнымъ

---

[1]) Пѣсни, собранныя П. Н. Рыбниковымъ. Часть I. Народныя былины, старины и побывальщины. Москва, 1861.

— Часть II. Москва, 1862, съ огромной „Замѣткой" г. Безсонова, стр. XIX—CCCXLIV.

— Часть III. Народныя былины, старины, побывальщины и пѣсни. Изданіе Олонецкаго губ. статистическаго Комитета. Петрозаводскъ, 1864.

— Часть IV. Народныя былины, старины, побывальщины, пѣсни, сказки, повѣрья, суевѣрья, заговоры, и т. п. Изд. Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1867.

по внѣшнему объему. Не менѣе достоинъ вниманія этотъ сборникъ и по своему содержанію: онъ свидѣтельствуетъ, что въ памяти народа нашего еще уцѣлѣло много остатковъ старинной народной поэзіи, и между прочимъ такихъ остатковъ, которые доселѣ не были вовсе извѣстны или по крайней мѣрѣ не предполагались существующими въ народѣ. Замѣчателенъ сборникъ г. Рыбникова еще и тѣмъ, что почти весь какъ есть составленъ въ одномъ сравнительно небольшомъ краѣ русскомъ, въ Олонецкой губерніи.

„Тѣмъ легче могъ онъ произвести на нѣкоторые умы впечатлѣніе тяжелое въ родѣ того, какое когда-то произведено было ирландскими пѣснями въ переводѣ Макферсона, или Словомъ о полку Игоревѣ и какое до сихъ поръ на кое-кого производятъ пѣсни Краледворской рукописи, впечатлѣніе, ведущее за собою перѣшимость простодушно довѣрять, что собранныя пѣсни суть дѣйствительныя произведенія народныя, а не подражанія имъ. Сомнѣніе зарождается и укореняется тѣмъ естественнѣе, чѣмъ менѣе противопоставлено ему преградъ; а при изданіи сборника г. Рыбникова не сдѣлано въ этомъ отношеніи почти ничего: нѣтъ ни отъ г. Рыбникова, ни отъ издателей никакихъ поясненій, которыми читатель могъ бы руководиться при обозрѣніи сборника, при оцѣнкѣ его достоинства. Еще было бы можно обойтись и безъ нихъ, если бы этотъ сборникъ былъ только сравнительно небольшимъ дополненіемъ къ прежде извѣстному; а тутъ явилась разомъ такая масса пѣснопѣній, что скорѣе какъ на часть ея самой можно было смотрѣть на все другое, дотолѣ изданное и собранное въ разныхъ краяхъ Руси. У г. Рыбникова готова или приготовляется объяснительная записка; но ея напечатаніе отложено до второго тома — зачѣмъ? Мнѣ кажется, ею бы и надобно было начать первый томъ“.

Это было совершенно справедливо. Пѣсни Рыбникова являлись на первый разъ безъ всякаго объясненія того, какъ онѣ были найдены и какъ записываемы: Рыбниковъ объяснилъ это только позднѣе. Но Срезневскій въ этотъ разъ сдѣлалъ собственныя справки относительно составителя и его работы: онъ могъ получить свѣдѣнія отъ Д. В. Полѣнова и г. Модестова, знавшихъ Рыбникова на мѣстѣ; къ своей замѣткѣ Срезневскій присоединилъ письма того и другого въ отвѣтъ на его вопросы, и изъ письма одного изъ его корреспондентовъ [1]) видно, что слово „подражаніе“, употребленное Срезневскимъ, означало именно подделку [2]). Во второмъ томѣ были помѣщены выдержки изъ писемъ Рыбникова о его работахъ, а въ третьемъ томѣ онъ далъ, наконецъ, подробный разсказъ о своихъ странствіяхъ по Олонецкому краю, о томъ, какъ былъ открытъ имъ былинный эпосъ, какъ онъ разыскивалъ пѣвцовъ, которыхъ перечисляетъ поименно съ

[1]) ...„Я считаю долгомъ свидѣтельствовать, какъ человѣкъ, имѣвшій случай повѣрить собственными глазами, убѣдиться изъ факта, что бо́льшая добросовѣстность, чѣмъ та, съ какой относился къ дѣлу Рыбниковъ, едва ли можетъ существовать. Но прежде спрошу васъ: былины, возбуждавшія ваше недоумѣніе, относятся ли къ тѣмъ, запись которыхъ принадлежитъ самому Рыбникову“, и пр.

[2]) „Извѣстія“ второго отдѣленія Академіи, т. X, 1861—1863, стр. 248—254.

указаніемъ ихъ мѣстопребыванія и пр. Дальше скажемъ, что несмотря на всѣ подтвержденія подлинности собранія Рыбникова, которое размножилось вскорѣ на цѣлые четыре тома, повидимому оставалось еще тѣнь сомнѣнія до тѣхъ поръ, пока въ Олонецкій край не сдѣлалъ свои поѣздки Гильфердингъ, пріобрѣтенія котораго въ этой области были, быть можетъ, еще поразительнѣе чѣмъ коллекція Рыбникова. Въ тоже время (съ 1860) началось печатаніе сборника Кирѣевскаго и съ тѣхъ поръ русская этнографія пріобрѣла драгоцѣнный матеріалъ, который вскорѣ потомъ отразился замѣчательнымъ расширеніемъ самыхъ изслѣдованій.

Со времени изданія своего сборника, Рыбниковъ уже не обращался болѣе къ вопросамъ этнографіи; въ шестидесятыхъ годахъ онъ покинулъ Олонецкій край, былъ вице-губернаторомъ въ Калишѣ и умеръ тамъ въ 1885 г.

Въ пятидесятыхъ годахъ выступилъ въ этнографической области другой собиратель, болѣе старшаго поколѣнія и совсѣмъ особаго типа, Павелъ Ив. Якушкинъ (1820—1872).

Въ шестидесятыхъ годахъ, въ литературныхъ кругахъ въ Петербургѣ и Москвѣ развѣ немногіе только не знали Якушкина, добродушнаго чудака, извѣстнаго своими „хожденіями въ народъ", собираніемъ пѣсенъ, разсказами изъ народнаго быта. Онъ бросался въ глаза уже своей внѣшностью—носилъ какой-то полународный костюмъ, непохожій на „нѣмецкое" платье, въ видахъ сближенія съ народомъ; съ Якушкинымъ бывали случаи, что его принимали за „ряженаго", тѣмъ больше что онъ носилъ очки. Но костюмъ во всякомъ случаѣ былъ не общепринятый и могъ сойти за народный. Въ наружности и пріемахъ Якушкина—отъ природы, или отъ сношеній съ простонародной средой—была извѣстная мужицкая складка; выраженіе лица казалось на первый взглядъ какъ-будто рѣзкимъ, но подъ этой внѣшностью скрывалось большое добродушіе или простодушіе. Внѣшняя грубоватость манеры и мнимо-народный костюмъ не разъ дѣлали его „подозрительнымъ": онъ былъ „polizeiwidrig"—во Псковѣ его арестовали; въ послѣдніе годы жизни выслали изъ Петербурга. Біографы Якушкина сообщаютъ забавное свѣдѣніе, что фотографическія карточки Якушкина продавались, и покупались, за портреты Пугачева. Къ сожалѣнію, отъ „общенія съ народомъ" онъ пріобрѣлъ прискорбный народный недостатокъ; онъ сильно испивалъ.

Якушкинъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода; въ близкой роднѣ его былъ Якушкинъ, извѣстный декабристъ. Отецъ его былъ помѣщикъ въ Орловской губерніи и женатъ былъ на своей крѣпостной дѣвушкѣ, умной и характерной. Въ 1840 году Якушкинъ поступилъ въ Московскій университетъ по математическому факультету,

но курса не кончилъ; онъ былъ уже па четвертомъ курсѣ, когда знакомство съ П. В. Кирѣевскимъ, которому онъ доставилъ нѣсколько пѣсенъ, увело его совсѣмъ на другую дорогу; онъ сталъ этнографомъ и народникомъ. Кирѣевскій отправилъ его для собиранія пѣсенъ въ сѣверныя поволжскія губерніи. Якушкинъ взвалилъ на плечи лубочный коробъ, наполнилъ его офенскими товарами, разсчитанными на слабое дѣвичье сердце, и отправился для записыванія пѣсенъ—въ обмѣнъ па свой товаръ. Много пришлось ему встрѣтить и перенести испытаній—и труднаго пути, и опасной болѣзни, и риска имѣть на глухой дорогѣ дѣло съ волками, и не меньшаго риска имѣть дѣло съ подозрительнымъ начальствомъ.

„Выходъ Якушкина (въ сороковыхъ годахъ), надо помнить, былъ новый,—говоритъ его біографъ,—никто до него таковыхъ путей не прокладывалъ. Пріемамъ учиться было негдѣ, никто еще не дерзалъ на такіе смѣлые шаги, систематически разсчитанные, и на дерзостные поступки—встрѣчу глазъ на глазъ съ народомъ. По духу того времени, затѣю Якушкина можно считать положительнымъ безуміемъ, которое, по меньшей мѣрѣ, находило себѣ оправданіе лишь въ увлеченіяхъ молодости“.

Первое странствіе сошло благополучно, и Якушкинъ уже смѣло отправляется въ дальнѣйшія. Не обходилось конечно безъ приключеній: онъ встрѣчалъ добродушное гостепріимство бабъ, не хотѣвшихъ брать съ него денегъ за отдыхъ и пищу, предупредительность мужиковъ, выпроваживавшихъ его заблаговременно отъ захвата начальствомъ; его зазывали въ барскія помѣщичьи хоромы, гдѣ по неосторожности его разговора угадывали въ немъ не простого коробейника. Разъ въ глухой деревнѣ ему случилось заболѣть оспой и остаться безъ помощи врача. „Коробейникъ поправился,—разсказываетъ біографъ,—но на всю жизнь сохранилъ на лицѣ слѣды довольно тяжелой оспы. Лицо было серьезно изуродовано, и Якушкину не разъ приходилось потомъ платиться за это случайное несчастіе отъ тѣхъ людей, которые по лицу привыкли составлять впечатлѣніе. Опушенное длинной бородой, при длинныхъ волосахъ, лицо его изуродованное неожиданной посѣтительницей, дѣйствительно оттѣняло его изъ ряду обыкновенныхъ людей... Онъ признавался, что первыми непріятными столкновеніями онъ обязанъ былъ именно подозрительности своей физіономіи, усиленной сверхъ того крестьянскимъ костюмомъ при очкахъ, при лоскуткахъ бумаги и карандашѣ... О псковскомъ полиціймейстерѣ, имя котораго тѣсно связалось, благодаря журнальнымъ статьямъ, съ именемъ Якушкина, Павелъ Ивановичъ всегда отзывался съ кротостью, не памятуя зла и не ставя его въ вину и осужденіе“. Эта исторія съ полиціймейстеромъ, аре-

стовавшимъ Якушкина во Псковѣ, послужила нѣкогда (въ концѣ 50-хъ годовъ), особливо на страницахъ „Русской Бесѣды", однимъ изъ первыхъ сюжетовъ для обличительной публицистики на тему о полицейскомъ самоуправствѣ. Послѣ, когда исторія кончилась, Якушкинъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ этимъ Гемпелемъ.— Языкъ его, по долгой привычкѣ, пріобрѣлъ дѣйствительно народную складку и тогда, безнамѣренно, выходилъ забавнымъ и типичнымъ. Когда въ Петербургѣ его потребовали къ генералъ-губернатору, онъ говорилъ пріятелямъ что „городничій освѣдомляется" объ немъ; къ сожалѣнію, „городничій" выслалъ его изъ Петербурга.

Якушкинъ прибылъ въ Петербургъ въ 1858 году, въ разгаръ тогдашняго возбужденія, въ которомъ такую большую роль занимало ожидаемое освобожденіе крестьянъ. Якушкинъ, какъ извѣстный уже народолюбецъ и этнографъ, былъ радушно встрѣченъ въ литературныхъ кружкахъ: его тогдашніе друзья отозвались впослѣдствіи своими воспоминаніями объ немъ [1]). Это былъ народолюбецъ практическій, какихъ было еще не много; добродушный, хотя часто нелѣпый, чудакъ, къ которому трудно было не быть снисходительнымъ; въ благополучныя минуты, его разсказы о своихъ похожденіяхъ и о народныхъ правахъ не были лишены характерной новизны. Не великъ былъ и его литературный талантъ, но онъ могъ разсказать только то, что̀ видѣлъ и слышалъ. Затѣй теоретическихъ у него не было и не могло быть.

Литературные труды Якушкина всѣ относятся къ этнографіи; прямо или косвенно. Это—или „путевыя письма", или разсказы изъ народнаго быта, или пѣсенные сборники: „Путевыя письма", изъ губерній новгородской, псковской, орловской, черниговской, курской, астраханской, печатались въ „Русской Бесѣдѣ" 1859 г., въ „Современникѣ", „Отеч. Запискахъ", „Основѣ" и др. въ шестидесятыхъ годахъ, и одна часть ихъ вошла потомъ въ отдѣльное изданіе [2]); разсказы печатались съ шестидесятыхъ годовъ въ разныхъ журналахъ и почти сполна собраны были въ отдѣльномъ изданіи [3]).

Собираніемъ пѣсенъ Якушкинъ сталъ заниматься, какъ замѣчено, съ сороковыхъ годовъ подъ руководствомъ П. В. Кирѣевскаго; по его

[1]) См. „Сочиненія П. И. Якушкина. Съ портретомъ автора, его біографіей С. В. Максимова и товарищескими о немъ воспоминаніями: П. Д. Боборыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф (Ѳ.) Горбунова, А. Ф. Иванова, Н. С. Курочкина, Н. А. Лейкина, Н. С. Лѣскова, Д. Д. Минаева, В. Н. Никитина, В. О. Португалова и С. И. Турбина". Изданіе Вл. Михневича. Спб. 1884. (Мой отчетъ объ этой книгѣ въ „В. Евр." 1884, январь, стр. 415—420).

[2]) „Путевыя письма изъ новгородской и псковской губерній". Изд. Кожанчикова. Спб. 1860.

[3]) „Бывалое и небывальщина". Спб. 1865.

собственнымъ словамъ [1]) онъ „занимался у Петра Васильевича болѣе двадцати лѣтъ по части собиранія пѣсенъ". Записанныя пѣсни поступали, повидимому, въ собраніе Кирѣевскаго. Якушкинъ упоминаетъ, что онъ собиралъ также и сказки, которыя были переданы въ тоже собраніе; по словамъ его [2]), Кирѣевскій предлагалъ ему издать сказки, а впослѣдствіи, когда это изданіе не состоялось, Якушкинъ, выбравъ изъ бумагъ Кирѣевскаго записанныя имъ сказки, сообщилъ ихъ черезъ В. Елагина Аѳанасьеву, который по ошибкѣ обозначалъ ихъ, какъ записанныя Кирѣевскимъ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Якушкинъ самъ началъ печатать пѣсни, имъ записанныя и сообщенныя ему другими. Такимъ образомъ 25 пѣсенъ было имъ сообщено въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности" г. Тихонравова, 1859; 6 пѣсенъ напечатано было въ сборникѣ Погодина „Утро", 1859; и наконецъ въ „Отеч. Запискахъ", 1860, и отдѣльно [3]).

Къ тому же времени и подъ тѣми же возбужденіями началась этнографическая дѣятельность весьма извѣстнаго теперь собирателя П. В. Шейна (род. 1826). Родомъ изъ достаточной еврейской семьи въ Могилевѣ на Днѣпрѣ, онъ получилъ сначала нѣкоторое образованіе въ еврейской средѣ у раввина, не чуждаго европейскому просвѣщенію, и попалъ затѣмъ въ Москву (въ сент. 1843) по слѣдующей случайности: отецъ его велъ въ Москвѣ дѣла и когда затѣмъ вышелъ новый законъ, стѣснявшій пребываніе евреевъ въ столицѣ, онъ помѣстилъ въ Москвѣ въ больницу своего сына, потерявшаго вслѣдствіе болѣзни способность ходить, и для попеченія о немъ самъ получилъ право оставаться въ Москвѣ. Въ больницѣ Шейнъ пробылъ три года и это время имѣло вліяніе на всю его дальнѣйшую жизнь. Воспитанный въ упорныхъ еврейскихъ антипатіяхъ противъ христіанъ, мальчикъ увидѣлъ здѣсь совершенно иныя нравственныя понятія и отношенія; переработавъ свой жаргонъ на литературно-нѣмецкій языкъ, онъ познакомился съ нѣмецкими поэтами; выучившись по-русски, увлекался Жуковскимъ и Пушкинымъ, и вообще такъ сроднился съ новой средой, что когда леченіе въ больницѣ нѣсколько

---

[1]) Сочиненія, 1884, стр. 463.

[2]) Тамъ же, стр. 465.

[3]) „Русскія пѣсни, собранныя П. Якушкинымъ", Спб. 1860, 106 страницъ, и затѣмъ болѣе обширное собраніе: „Народныя русскія пѣсни изъ собранія П. Якушкина". Спб. 1865, 288 страницъ. Кромѣ того, что̀ помѣщено было въ „Отечественныхъ Запискахъ", сюда вошли пѣсни изъ „Лѣтописей" Тихонравова, но не вошли пѣсни изъ сборника „Утро".

Относительно переряживанья Рыбниковъ („Пѣсни", т. 3, стр. X—XI) полагалъ, что оно совсѣмъ не нужно для сближенія съ народомъ и записыванья пѣсенъ. Едва ли также было нужно и исканіе пѣсенъ въ кабакахъ, какъ думалъ Якушкинъ: для него самого оно кончилось алкоголизмомъ.

облегчило его положеніе и онъ долженъ былъ выписываться, передъ нимъ сталъ вопросъ—или возвратиться въ прежнюю среду, которая стала для него уже чужда, или выдти на новый путь. Подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ докторовъ больницы и другихъ лицъ, лютеранъ по вѣроисповѣданію, Шейнъ принялъ лютеранство: такимъ образомъ старыя отношенія были порваны и начата новая жизнь. Онъ принятъ былъ въ сиротское отдѣленіе лютеранской школы въ Москвѣ, гдѣ однимъ изъ его преподавателей былъ извѣстный въ свое время литераторъ и поэтъ-переводчикъ Ѳ. Б. Миллеръ. Шейнъ нашелъ доступъ въ литературно-художественный кружокъ, къ которому Миллеръ принадлежалъ, и этотъ кружокъ оказалъ ему помощь въ пріисканіи средствъ къ жизни. Онъ сдѣлался сначала домашнимъ учителемъ, жилъ нѣсколько лѣтъ въ разныхъ помѣщичьихъ семействахъ въ провинціи, временами жилъ въ Москвѣ, гдѣ между прочимъ встрѣчалъ радушный пріемъ въ семьѣ Шевыревыхъ и Аксаковыхъ. Въ концѣ 1850-хъ годовъ онъ увлекается „Русской Бесѣдой" и, получивъ опять мѣсто домашняго учителя въ симбирскую губернію, рѣшилъ посвятить себя изученію народной поэзіи: составивъ небольшое собраніе историческихъ пѣсенъ и былинъ Корсунскаго уѣзда, онъ привезъ свой сборникъ въ Москву, въ кружокъ Хомякова и Аксаковыхъ. Этотъ первый сборникъ напечатанъ былъ Бодянскимъ въ „Чтеніяхъ" московскаго общества исторіи и древностей (1859, книга III, стр. 121—170). Съ тѣхъ поръ Шейну приходилось жить въ разныхъ краяхъ Россіи въ качествѣ уѣзднаго учителя, смотрителя уѣздныхъ училищъ, учителя гимназіи—въ Тулѣ, Епифани, Витебскѣ; въ вакаціонное время онъ ѣздилъ въ губерніи рязанскую, псковскую, новгородскую. Начатое собираніе продолжалось и мало-по-малу у г. Шейна собрался весьма обширный матеріалъ, первая часть котораго, законченная въ Витебскѣ въ 1867 году, помѣщена была въ тѣхъ же „Чтеніяхъ", 1868—1870, и вышла затѣмъ отдѣльной книгой [1]). Вторая часть остается до сихъ поръ не изданной. Со времени службы въ западномъ краѣ г. Шейнъ занялся собираніемъ пѣсенъ бѣлорусскихъ, о чемъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ [2]).

Не перечисляя другихъ трудовъ того времени по собиранію на-

---

[1]) „Русскія народныя пѣсни, собранныя П. В. Шейномъ". Ч. I, изд. Имп. Общ. исторіи и древностей росс. при Московскомъ университетѣ. Москва, 1870, 568 страницъ; XXIX стр. подробнаго оглавленія.

[2]) Біографическія свѣдѣнія см. въ статьѣ Всев. Ѳ. Миллера въ „Р. Вѣдомостяхъ" 1884, № 290, и отдѣльно: „Павелъ Васильевичъ Шейнъ, собиратель памятниковъ народнаго творчества. По поводу исполнившагося двадцатипятилѣтія его дѣятельности". М. 1884. Ссылка здѣсь (стр. 12) на „знаменитую книгу Добровскаго" заключаетъ въ себѣ ошибку.

мятниковъ народной словесности, о чемъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, остановимся на собирателѣ иного рода, принимавшемъ участіе въ описанной выше литературной экспедиціи пятидесятыхъ годовъ и съ тѣхъ поръ посвятившемъ свои работы многоразличному изслѣдованію и описанію народнаго быта. Это—Сергѣй Вас. Максимовъ. Сынъ уѣзднаго почмейстера, Максимовъ родился (въ 1831 г.) въ посадѣ Парфентьевѣ, Костромской губерніи, кологривскаго уѣзда. Первоначальное обученіе онъ получилъ въ посадскомъ народномъ училищѣ, а впослѣдствіи поступилъ сначала въ московскій университетъ, потомъ въ медико-хирургическую академію въ Петербургѣ, и началъ писать съ первыхъ пятидесятыхъ годовъ, прежде всего для того, чтобы имѣть средства къ существованію. Эти первые труды заключались въ этнографическихъ очеркахъ изъ быта мѣщанъ и крестьянъ, къ которому молодой писатель присмотрѣлся еще съ дѣтства. Очерки его обратили на себя вниманіе и ободренный Тургеневымъ, который всегда съ добрымъ чувствомъ слѣдилъ за молодыми возникающими дарованіями, г. Максимовъ предпринялъ въ 1855 году на свой страхъ литературно-этнографическую экскурсію, а именно, пѣшеходное странствіе по Владимирской губерніи, былъ потомъ въ Нижнемъ во время ярмарки и въ глухихъ мѣстахъ Вятской губерніи. Это былъ одинъ изъ первыхъ опытовъ прямого изученія народнаго быта въ молодомъ поколѣніи того времени. Мы помнимъ впечатлѣніе, какое производили тогда эти разсказы „изъ народнаго быта“ (и въ числѣ ихъ разсказы г. Максимова), которые были привѣтствованы какъ новая полоса литературныхъ интересовъ, становившихся тогда все болѣе и живыми общественными интересами: изученіе народнаго быта было на очереди, когда въ обществѣ начались оживленные толки о приближающемся освобожденіи крестьянъ. Достаточно пересмотрѣть темы, на которыхъ останавливался г. Максимовъ, чтобы составить себѣ представленіе о кругѣ народнаго быта, привлекавшемъ его наблюденія. Въ этихъ первыхъ очеркахъ, которые являлись съ пятидесятыхъ годовъ въ „Библіотекѣ для чтенія“ и впослѣдствіи вошли въ отдѣльную книгу подъ названіемъ: „Лѣсная Глушь“ (Спб. 1871, два тома), передъ нами проходятъ: крестьянскія посидѣлки Костромской губерніи, извощики, швецы (т.-е. портные), сергачъ (вожакъ медвѣдя), вотяки, булыня (скупщикъ льна), Нижегородская ярмарка, маляръ, колдунъ, сотскій, повитуха, знахарка, дружка, питерщикъ, пастухъ и т. д. Эти очерки изъ народнаго быта отличались отъ тѣхъ, какихъ являлось съ тѣхъ поръ и донынѣ безконечное множество, очерковъ, разсчитанныхъ на чисто литературный интересъ, на мимолетную картинку, не имѣющую этнографическаго значенія; въ этомъ послѣднемъ отношеніи разсказы г. Максимова ближе подходили къ подобнымъ очер-

камъ Даля, но и здѣсь была та ощутимая разница, что въ то время какъ у Даля при всемъ его народолюбіи картинка изъ народнаго быта все-таки рисовалась съ высока какъ нѣчто не столько любопытное или важное, сколько курьезное, иной разъ съ оцѣнкой народнаго смысла, а другой разъ съ великимъ пренебреженіемъ къ народной глупости, которую надо безъ церемоніи учить вразумительными для нея способами,—у г. Максимова господствуетъ иное настроеніе, а именно желаніе понять народный бытъ какъ онъ есть, съ создававшими его условіями, понять равноправно и человѣчно, иной разъ, какъ бывало у позднѣйшихъ народниковъ, съ особеннымъ удареніемъ на мудрости и мудрености народнаго быта, которыхъ нелегко уразумѣть не-народному человѣку; наконецъ въ описаніяхъ бывала такая точность, что разсказы пріобрѣтали и значеніе этнографическое.

Имя г. Максимова было уже достаточно извѣстно, когда набирались исполнители для упомянутой экспедиціи, задуманной по мысли вел. кн. Константина Николаевича. Поприщемъ для его изученія выбранъ былъ сѣверъ. Исполняя порученіе, г. Максимовъ отправился къ Бѣлому Морю и уже по собственному желанію добрался до Ледовитаго океана и до Печоры; результатомъ былъ рядъ статей, которыя помѣщались въ „Морскомъ Сборникѣ“ и другихъ журналахъ, а затѣмъ вышли отдѣльной книгой: „Годъ на сѣверѣ“ (первое изданіе въ 1859; 3-е изданіе, 1871, двѣ части: Бѣлое Море и его прибрежья; поѣздка по сѣвернымъ рѣкамъ и по Печорѣ).

Работы г. Максимова на сѣверѣ имѣли большой успѣхъ въ литературѣ и, повидимому, произвели столь же пріятное впечатлѣніе въ морскомъ вѣдомствѣ, такъ что тотчасъ по окончаніи сѣверной поѣздки ему предложена была поѣздка на дальній востокъ. Это было то самое время, когда только-что пріобрѣтенная Амурская область была предметомъ оживленной, даже рѣзкой полемики, которую вели въ особенности г. Романовъ съ одной стороны и Д. Завалишинъ, защитникъ и противникъ новопріобрѣтеннаго края и способовъ его колонизаціи. Путешествіе г. Максимова было предметомъ новаго ряда статей въ „Морскомъ Сборникѣ“, вышедшихъ потомъ отдѣльной книгой [1]). Когда предстояло возвращеніе въ Россію, г. Максимому дано было еще на годъ новое порученіе— сдѣлать поѣздку по Сибири для обозрѣнія тюремъ и быта ссыльныхъ; книга объ этомъ предметѣ не была разрѣшена къ опубликованію предсѣдателемъ сибирскаго и кавказскаго комитетовъ Бутковымъ и она издана была только въ ограниченнонъ числѣ экземпляровъ (500), „секретно“, подъ названіемъ:

[1]) „На Востокѣ, поѣздка на Амуръ (въ 1860 — 1861 г.), дорожныя замѣтки и воспоминанія“. Спб. 1864; 2-е изд. 1871.

„Тюрьма и ссыльные". Впослѣдствіи отдѣльныя статьи являлись въ журналахъ („Вѣстникъ Европы", „Отеч. Записки") и въ цѣломъ, значительно дополненная противъ прежняго, книга явилась въ 1871 г. [1]). Послѣ сѣвера и востока, въ 1862—1863 годахъ г. Максимовъ сдѣлалъ еще третью поѣздку на юго-востокъ, именно на прибрежья Каспійскаго моря, а также на Уралъ. Изъ этой поѣздки только двѣ статьи (Съ дороги на Уралъ; Изъ Уральска) помѣщены были въ „Морскомъ Сборникѣ"; дѣло въ томъ, что въ это время программа этого журнала измѣнилась, она стала строго спеціальной, литературный отдѣлъ упраздненъ и г. Максимовъ долженъ былъ направить свои труды въ другія изданія. Такимъ образомъ рядъ изслѣдованій о названномъ краѣ, особливо о разныхъ формахъ мѣстнаго раскола: „Иргизскіе старцы"; „Ленкорань"; „Секта общихъ"; „Молокане — Уклеины"; „Духоборы"; „Субботники" и пр. былъ помѣщенъ въ „Отеч. Запискахъ", „Дѣлѣ", „Семьѣ и Школѣ" и пр. [2]).

Въ 1865 году, по приглашенію издательской фирмы „Общественная Польза", а потомъ въ коммиссіяхъ, по устройству народныхъ чтеній въ Соляномъ городкѣ и въ министерствѣ просвѣщенія, г. Максимовъ редактировалъ книжки для народнаго чтенія и между прочимъ составилъ самъ до 18 такихъ книжекъ, особливо по описанію различныхъ краевъ Россіи въ общедоступной формѣ: „Мерзлая пустыня"; „Дремучіе лѣса"; „Степи"; „Мертвая страна"; „Соловецкій Монастырь" и пр.

Въ 1868 году, когда въ Географическомъ Обществѣ обсуждалась этнографическая экспедиція въ западный край, именно въ губерніи сѣверо- и юго-западныя, бѣлорусскія и малорусскія, относительно послѣднихъ задачу экспедиціи взялъ на себя извѣстный Чубинскій, исполнившій ее вскорѣ въ извѣстныхъ замѣчательныхъ „Трудахъ", о которыхъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а обозрѣніе сѣверо-западнаго края бралъ на себя г. Максимовъ. Онъ посѣтилъ семь губерній этого края и хотя задача Географическаго Общества осталась невыполненной, г. Максимовъ воспользовался своей поѣздкой для нѣкоторыхъ работъ о Бѣлоруссіи (о нихъ упомянемъ далѣе). Укажемъ далѣе книгу: „Куль хлѣба и его похожденія" (Спб. 1873; 2-е изд. 1875); книгу о нищихъ и бродягахъ [3]).

---

[1]) „Сибирь и каторга". Спб. 1871, въ трехъ томахъ: I) несчастные; II) преступленія и несчастія; III) политическіе и государственные преступники.

[2]) Еще раньше была издана имъ небольшая книжка: „Разсказы изъ исторіи старообрядства, по раскольничьимъ рукописямъ, переданные С. Максимовымъ". Съ портретомъ инока Корнилія. Изд. Кожанчикова. Спб. 1861.

[3]) Бродячая Русь Христа-ради: прошаки, запрощики, кубраки, лабори, нищая братья, побирушки, погорѣльцы, нищеброды, калуны, калики перехожіе (слѣпцы), богомольцы, скрытники и христолюбцы. Спб. 1877.

Далѣе, остается не собраннымъ цѣлый рядъ статей г. Максимова о различныхъ сторонахъ народнаго быта въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Въ своихъ путешествіяхъ онъ собралъ матеріалъ для географическихъ характеристикъ въ мѣстномъ бытѣ, преданіяхъ и т. п. Напримѣръ, статьи о казакахъ на Дону, на Уралѣ и въ Черноморьѣ, о русскихъ инородцахъ въ Сибири, въ Бѣлоруссіи; о „чудесахъ и диковинкахъ“ на русской землѣ, какъ подземныя озера, плавающіе острова, чу́дныя и чудны́я озера, падающія колокольни, подземные города и подводныя церкви. Остается не собраннымъ рядъ статей, затерянныхъ въ газетахъ, о народныхъ праздникахъ: Христовъ день; Великодни (въ Бѣлоруссіи); Новолѣтіе встарь; Красная горка; Петровка; Купала; Вознесеньевъ день; Ильинская пятница и пр. Наконецъ одинъ изъ самыхъ любопытныхъ трудовъ г. Максимова составляетъ рядъ статей, также разсѣянныхъ по газетамъ и заключающихъ бытовое объясненіе различныхъ словъ и оборотовъ, первоначальный смыслъ которыхъ для большинства совершенно затерянъ: „Не спуста слово молвится“ и „Крылатыя слова“ [1]).

Труды Географическаго Общества и литературная экспедиція (изъ которой въ особенности г. Максимовъ вышелъ ревностнымъ дѣятелемъ въ изученіи народнаго быта) много содѣйствовали распространенію въ нашей литературѣ мѣстныхъ описаній, бытовыхъ разсказовъ и т. п. Къ чистой этнографіи присоединяется особая литературная разновидность—разсказа или очерка „изъ народнаго быта“, которые распространились у насъ до цѣлаго обширнаго отдѣла новѣйшей беллетристики. Ожиданіе крестьянской реформы въ 50-хъ годахъ дало новый толчекъ къ размноженію разсказовъ изъ народнаго быта, которые послѣ первыхъ опытовъ, указанныхъ нами у Даля, и извѣстныхъ произведеній Тургенева и Григоровича привлекаютъ силы беллетристовъ пятидесятыхъ годовъ, какъ Потѣхинъ, Писемскій, Мельниковъ (Андрей Печерскій), Т. Кокоревъ, потомъ шестидесятыхъ, какъ Глѣбъ Успенскій, Левитовъ, Слѣпцовъ, Рѣшетниковъ, Златовратскій, Наумовъ, и т. д. до самого гр. Льва Толстого. Понятно, что эта беллетристика не давала непосредственныхъ результатовъ для этнографіи, но несомнѣнно имѣла для нея немалое косвенное значеніе — распространяя интересъ къ народному быту, раскрывая иныя его стороны, именно нравственно-бытовое настроеніе народа, такъ, какъ этого еще не сдѣлала этнографическая наука. Повѣсть, очеркъ изъ народнаго быта стали обыкновеннѣйшей формой нашей беллетристики; для нихъ окончательно завоевано лите-

[1]) Статьи, печатавшіяся подъ этими заглавіями въ „Новомъ Времени“ и „Новостяхъ“ за послѣдніе годы, должны теперь выдти въ отдѣльномъ изданіи.

ратурное право, какъ, сравнительно съ прежнимъ, чрезвычайно расширена область народной стихіи въ литературномъ языкѣ. Съ другой стороны обильно размножается масса народно-бытовыхъ описаній, предпринимаемыхъ съ чисто этнографическими цѣлями; огромное количество ихъ начинаетъ появляться особливо въ изданіяхъ провинціальныхъ, какъ признакъ развивающагося мѣстнаго интереса,—что́ важно въ томъ отношеніи, что только на мѣстахъ можетъ быть собранъ съ достаточною полнотой матеріалъ, необходимый для этнографическихъ выводовъ и обобщеній. Съ бытовыми описаніями идетъ рядомъ усердное собираніе устныхъ памятниковъ народной словесности: былинъ, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, заговоровъ, причитаній, повѣрій, мѣстныхъ легендъ и преданій и т. д. Наличный составъ народной поэзіи и обычая является въ изобиліи, которое еще недавно было немыслимо: въ шестидесятыхъ годахъ мы уже окончательно находимся въ иномъ періодѣ русской этнографіи.

Параллельно съ этимъ, въ пятидесятыхъ годахъ впервые устанавливается научное изслѣдованіе этнографическихъ данныхъ, гдѣ одна изъ главнѣйшихъ заслугъ принадлежитъ трудамъ Ѳ. И. Буслаева.

ГЛАВА III.

Ѳ. И. Буслаевъ: труды по этнографіи.

Главнымъ представителемъ новаго движенія въ нашихъ этнографическихъ изслѣдованіяхъ и первымъ начинателемъ у насъ того направленія науки, которое было создано въ Германіи въ особенности трудамъ Гримма, былъ съ пятидесятыхъ годовъ или даже раньше Ѳ. И. Буслаевъ. Въ 1888 году (18-го августа) вспомянутъ былъ пятидесятилѣтній юбилей педагогической дѣятельности г. Буслаева, который почти совпадаетъ съ пятидесятилѣтіемъ его ученой дѣятельности въ области русской этнографіи. Имя г. Буслаева уже теперь становится почетнымъ историческимъ именемъ. Въ привѣтствіяхъ, какія были вручены и высказаны ему по поводу этого юбилея отъ ученыхъ учрежденій, какъ Московскій и Петербургскій университеты и Академія наукъ, отозвалось то представленіе объ его ученой заслугѣ, какое внушается обзоромъ его многочисленныхъ работъ по изученію русскаго языка, старой русской письменности, народной поэзіи и наконецъ стараго русскаго искусства. Рѣдко дѣятельность ученаго бываетъ въ такой степени вся проникнута однимъ общимъ настроеніемъ, и рѣдко это настроеніе бываетъ въ такой степени одушевлено возвышеннымъ идеализмомъ, въ которомъ народолюбіе подкрѣпляется благородными внушеніями науки.

По поводу юбилея была пересказана и несложная внѣшняя біографія г. Буслаева. Онъ родился въ 1818 году въ г. Керенскѣ, пензенской губерніи, гдѣ отецъ его служилъ небольшимъ чиновникомъ. Рано потерявъ отца, онъ провелъ дѣтскіе и отроческіе годы въ Пензѣ и учился въ тамошней гимназіи, гдѣ между прочимъ одно время его учителемъ по русской словесности былъ Бѣлинскій. Кончивъ здѣсь курсъ, г. Буслаевъ поступилъ въ 1834 году въ Московскій университетъ по историко-филологическому (тогда словесному) факультету.

Уже въ это время онъ своею талантливостію и трудолюбіемъ обратилъ на себя вниманіе графа С. Г. Строгонова, въ то время попечителя Московскаго университета. Окончивъ курсъ въ 1838, г. Буслаевъ назначенъ былъ въ августѣ этого года сверхштатнымъ учителемъ во вторую московскую гимназію, но уже въ половинѣ слѣдующаго года получилъ возможность отправиться за границу, въ качествѣ домашняго учителя въ семействѣ гр. Строгонова. Зависимое положеніе имѣло свои неудобства, которыя однако вознаграждались внимательнымъ отношеніемъ къ нему самаго попечителя и особливо возможностью изученія тѣхъ сокровищъ науки и искусства, какія представляла Италія, гдѣ главнымъ образомъ проведено было это время. Г. Буслаевъ пробылъ за границей два года и по возвращеніи занялъ (въ 1841 году) мѣсто учителя въ 3-й московской гимназіи, а вскорѣ вступилъ и на ученое литературное поприще. Въ 1844 году онъ издалъ книгу „О преподаваніи отечественнаго языка", которая произвела въ свое время большое впечатлѣніе. Съ января 1847 года онъ сталъ читать въ московскомъ университетѣ въ качествѣ сторонняго преподавателя сравнительную грамматику и исторію русскаго языка, а въ 1848 защищалъ диссертацію на степень магистра: „О вліяніи христіанства на славянскій языкъ" и назначенъ адъюнктомъ по каѳедрѣ русскаго языка въ Московскомъ университетѣ. Въ 1852 году уже въ качествѣ авторитетнаго спеціалиста, онъ приглашенъ былъ (вмѣстѣ съ г. Галаховымъ) управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для преобразованія преподаванія русскаго языка и словесности въ этихъ заведеніяхъ, составилъ съ этой цѣлью конспектъ, а затѣмъ и руководящія книги: „Историческую грамматику русскаго языка" и „Историческую христоматію церковно-славянскаго и древне-русскаго языка [1]). Въ 1859 году онъ приглашенъ былъ преподавать русскій

---

[1]) На книгѣ „О преподаваніи" мы остановимся дальше.

— „Опытъ истор. грамматики русскаго языка", М., 1858, 2 части; со 2-го изданія, 1863, и далѣе, подъ заглавіемъ: „Историческая грамматика русскаго языка", но безъ предисловія, гдѣ въ первомъ изданіи былъ библіографическій обзоръ пособій. Книга вызвала много разборовъ; болѣе важны: К. Аксакова, въ „Р. Бесѣдѣ" 1859, и въ Собраніи сочин., т. II, 1875, стр. 439 — 650; П. Лавровскаго, по поводу 2-го изданія, въ „Запискахъ" Акад. Наукъ, т. VIII, 1865; Майкова, въ „Библ. для чтенія", 1859, № 10—12; чешскаго филолога Гатталы, въ „Часописѣ" чешскаго Музея, 1862 и 1864; Колосова, въ „Замѣткахъ о звукахъ русскаго и старославянскаго языковъ", Воронежъ, 1872; наконецъ въ разныхъ филологическихъ трудахъ А. А. Потебни, указываемыхъ далѣе.

— „Историческая христоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ", М. 1861, гдѣ памятники напечатаны съ сохраненіемъ стараго правописанія и между прочимъ помѣщены памятники неизданные,—но въ хронологическомъ порядкѣ рукописей. Другая книга: „Русская христоматія. Памятники древне-русской литера-

языкъ и литературу покойному наслѣднику цесаревичу Николаю Александровичу (съ сентября 1859 по декабрь 1860). Въ 1861 г. Буслаевъ издалъ въ двухъ большихъ томахъ собраніе своихъ прежнихъ и новыхъ трудовъ по русской старинѣ и народности: „Историческіе очерки русской народной словесности и искусства", одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ трудовъ въ русской этнографіи и главнѣйшее произведеніе тогдашняго періода нашей науки [1]). Съ шестидесятыхъ годовъ г. Буслаевъ продолжаетъ въ особенности свои работы по древнему русскому искусству, начатые въ „Историческихъ Очеркахъ". Таковы „Общія понятія о русской иконописи [2]); таковы изданные имъ, въ Обществѣ любителей древней письменности въ Петербургѣ, образцы письма и украшеній изъ Псалтыри XV вѣка (1881), и особливо громадный трудъ по изученію лицевого, т.-е. снабженнаго картинами, стараго русскаго Апокалипсиса [3]). Въ 1881, г. Буслаевъ оставилъ службу въ Московскомъ университетѣ, не прекращая, какъ сейчасъ указано, своихъ трудовъ по русской старинѣ, и въ послѣдніе годы издалъ также новыя собранія своихъ трудовъ, разсѣянныхъ по журналамъ и посвященныхъ какъ этнографіи, такъ и общимъ вопросамъ литературы и современной жизни: „Мои досуги" (2 тома, М. 1886) и „Народная поэзія. Историческіе очерки" (Спб. 1887).

Первая книга Ѳ. И. Буслаева [4]) была первымъ русскимъ научнымъ трудомъ, построеннымъ на основаніи новѣйшаго языкознанія, и началомъ многолѣтняго поприща, о которомъ мы сейчасъ говорили. Первая часть книги посвящена дидактическимъ вопросамъ преподаванія, гдѣ авторъ желалъ освѣжить и расширить гимназическій курсъ русскаго языка указаніями филологической науки [5]). Бо-

---

туры и народной словесности", М. 1870, и др. изданія, какъ и „Учебникъ русской грамматики, сближенной съ церковно-славянскою" и пр., М. 1869, разсчитаны для цѣлей преподаванія.

[1]) Дальше упомянемъ о послѣдующихъ трудахъ его въ этой области. Московскій университетъ далъ тогда г. Буслаеву степень доктора русской словесности.

[2]) Въ „Сборникѣ Общества древне-русскаго искусства", 1866, — гдѣ онъ былъ секретаремъ.

[3]) Русскій лицевой Апокалипсисъ. Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ съ XVI вѣка по XIX, 1884, съ атласомъ изъ 308 таблицъ. Другія крупныя и мелкія работы по археологіи искусства въ „Современной Лѣтописи", „Критическомъ Обозрѣніи" и пр.

[4]) „О преподаваніи отечественнаго языка. Сочиненіе Ѳедора Буслаева, старшаго учителя 3-й московской реальной гимназіи". М. 1844, 2 части. Второе изданіе, съ измѣненіями, М. 1867.

[5]) Новѣйшіе критики находили крупные недостатки въ этой дидактической сторонѣ книги (ст. Полевого, въ „Историч. Вѣстн.", 1888, окт., стр. 202—204); но ошибки не такъ велики, и сущность дѣла была не въ этомъ.

лѣе любопытна и важна для исторіи нашей науки вторая часть книги, гдѣ авторъ переходитъ на филологическую почву и въ видѣ матеріаловъ для русской грамматики предлагаетъ цѣлый рядъ изслѣдованій и замѣчаній о свойствахъ, содержаніи и исторической судьбѣ русскаго языка. Сравнительное языкознаніе и историческій методъ въ первый разъ примѣнены здѣсь къ русскому языку, и этимъ сдѣланъ былъ въ его изученіи шагъ впередъ, столько же важный, какъ то, что сдѣлано было въ исторіографіи трудами Кавелина и Соловьева. Въ эти годы вѐрхомъ филологическаго знанія считалась книга Павскаго („Филологическія наблюденія надъ составомъ русскаго языка", 1841—42),—книга, дѣйствительно замѣчательная по большой наблюдательности и остроумію соображеній, но составленная по старымъ схоластико-грамматическимъ способамъ, безъ того историческаго элемента, который послѣ Гримма сталъ неизбѣжнымъ научнымъ условіемъ въ изслѣдованіи языка. Съ появленіемъ книги г. Буслаева, „Наблюденія" Павскаго, не говоря о другомъ грамотѣйствѣ, сразу теряли свое значеніе [1]).

Г. Буслаевъ взялъ себѣ руководителемъ Гримма, и какъ замѣчаетъ онъ въ предисловіи, взялъ именно потому, что „почитаетъ его начала самыми основательными и самыми плодотворными и для науки, и *для жизни*". Онъ примѣняетъ сравнительный и историческій методъ Гримма къ объясненію русскаго языка, его звуковъ и формъ, изучаетъ народную реторику и стилистику, впервые дѣлаетъ попытку „исторіи народнаго языка" [2]), извлекаетъ изъ стараго и народнаго языка матеріалы для исторіи быта—военнаго, юридическаго, религіознаго, семейнаго, для опредѣленія языческаго и христіанскаго взгляда на природу; разсматриваетъ грецизмы и варваризмы въ старомъ языкѣ, наконецъ—провинціализмы или областной языкъ различныхъ краевъ Россіи.

Вторымъ замѣчательнымъ трудомъ г. Буслаева была его диссертація: „О вліяніи христіанства на славянскій языкъ" (М. 1848). Онъ опредѣляетъ вопросъ по древнему переводу св. писанія на славянскій языкъ и по тѣмъ средствамъ, какія въ немъ употреблены для передачи неизвѣстныхъ прежде языку христіанскихъ понятій, отвлеченныхъ (религіозныхъ и нравственныхъ) и реальныхъ. Это было новое примѣненіе общихъ положеній и критическаго метода нѣмецкой науки; уже въ первомъ своемъ трудѣ авторъ показалъ близкое

---

[1]) Ср. „О препод.", 1-е изд. II, стр. 9.

[2]) „Чтобы узаконить необходимость изученія народнаго языка, слѣдуетъ показать тѣсную связь нашей народной поэзіи съ древнѣйшими памятниками какъ русской литературы, такъ и прочихъ славянскихъ племенъ, и съ произведеніями новѣйшихъ писателей". О преподаваніи, II, стр. 209—210.

знакомство съ ея литературой,—тѣмъ болѣе теперь. По сущности вопроса книга раздѣлена на двѣ части: характеристика, по языку, періода миѳологическаго, до-христіанскаго, и періода христіанскаго. Въ этомъ послѣднемъ авторъ ставитъ слѣдующіе вопросы: возведеніе исторіи славянскаго языка къ IV вѣку (слѣды его отыскиваются въ готскомъ переводѣ евангелія этого вѣка); отвлеченныя понятія, выраженныя славянскимъ переводомъ писанія; древнѣйшія славянскія слова, значенія чисто христіанскаго (авторъ убѣждаетъ, что еще до IX вѣка славянскій языкъ бывалъ уже органомъ понятій христіанскихъ); слова, составляющія переходъ отъ древнѣйшаго періода къ христіанскому; начало славянской грамотности, опредѣляемое готскимъ переводомъ библіи, IV вѣка; исторія понятій семейныхъ въ языкѣ; языкъ въ періодъ развитія общественныхъ отношеній изъ семейныхъ; расширеніе домашняго круга воззрѣній въ языкѣ; грецизмы. Сравнивая славянскій и готскій переводы писанія, г. Буслаевъ приходитъ къ выводу, что славянскій языкъ задолго до Кирилла и Меѳодія подвергся вліянію христіанскихъ идей; что въ то время, какъ готскій переводъ Ульфилы сохраняетъ языческія преданія для выраженія христіанскихъ идей, переводъ славянскій отличается бо̀льшею чистотою этого выраженія вслѣдствіе отстраненія намековъ на языческій, до-христіанскій бытъ; что когда въ языкѣ готскаго перевода замѣчается бо̀льшее развитіе государственныхъ понятій, переводъ славянскій относится къ той порѣ народной жизни, когда въ языкѣ господствовало еще во всей силѣ понятіе о семейныхъ отношеніяхъ и проч. („Положенія"). „Трудъ г. Буслаева,—писалъ послѣ Котляревскій,—имѣетъ болѣе археологически-бытовой или культурный характеръ, чѣмъ строго формально лингвистическій; нѣкоторыя стороны и вопросы его позднѣе съ бо̀льшею точностью и опредѣлительностью разсмотрѣны Миклошичемъ (Christliche Terminologie), открылось много новыхъ матеріаловъ для дополненій; но въ цѣломъ изслѣдованіе г. Буслаева доселѣ не замѣнено ничѣмъ лучшимъ и остается однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ „опытовъ исторіи языка", понимаемой не внѣшнимъ образомъ, а въ связи съ движеніемъ жизни и исторіи [1]).

Общія положенія диссертаціи, что исторія языка стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ преданіями и вѣрованіями народа, что въ періодъ своего образованія языкъ носитъ на себѣ слѣды народной миѳологіи, что древнѣйшія формы эпической поэзіи ведутъ начало отъ образованія самаго языка, что родство индо-европейскихъ народовъ сопро-

[1]) Котляревскаго, „Библіологическій опытъ о древней русской письменности" (Изъ Филолог. Записокъ 1879—80). Воронежъ, 1881, стр. 120—124.

вождается согласіемъ ихъ повѣрій и преданій, что миѳологическія преданія славянъ должны быть изучаемы въ связи съ преданіями другихъ средневѣковыхъ племенъ, особливо нѣмецкихъ, — эти положенія прямо принадлежатъ ученіямъ Гримма [1]).

Диссертація г. Буслаева была въ нашей литературѣ совершенной новостью: это былъ первый опытъ примѣнить сравнительное и историческое языкознаніе къ древностямъ славянскаго языка, откуда извлекалась бытовая картина такой далекой поры, на изслѣдованіе которой подобнымъ путемъ еще никогда не покушалась русская наука.

Впослѣдствіи, ученая дѣятельность г. Буслаева состояла въ дальнѣйшемъ примѣненіи этого метода къ старой русской народной словесности, быту и миѳологіи. Таковы были: „Дополненія и прибавленія" къ „Сказаніямъ" Сахарова съ объясненіями стараго языка и народно-миѳологическихъ представленій [2]); таковъ обширный трактатъ: „Русскія пословицы и поговорки" [3]), „Русская поэзія XVII вѣка" [4]), наконецъ, цѣлый рядъ изслѣдованій въ области русской старины, впослѣдствіи собранныхъ въ извѣстномъ изданіи [5]). Вмѣстѣ съ научнымъ методомъ, выработаннымъ по Гримму, г. Буслаевъ, по свойству своего дарованія соединилъ и другую черту, отличавшую знаменитаго нѣмецкаго ученаго: Гриммъ не только критически, но фантазіей и поэтическимъ чувствомъ возстановлялъ любимую старину; подобная черта давала привлекательность и трудамъ г. Буслаева. Онъ съ любовью раскрывалъ преданія старины, вникалъ въ ея затаенный смыслъ, собиралъ ея поэзію въ тѣхъ membra disjecta, въ которыхъ она по бо̀льшей части у насъ сохранилась, и объяснялъ ее современному читателю.

Въ этнографическихъ изученіяхъ, совершавшихся въ послѣднія десятилѣтія, есть одна любопытная область, по которой въ особен-

---

[1]) Въ частности, образцомъ изслѣдованія послужило (по предположенію Котляревскаго) сочиненіе Рудольфа Раумера: Die Einwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache. Stuttg. 1845, — на которое г. Буслаевъ, между прочимъ, ссылается въ своей книгѣ (стр. 124).

[2]) „Архивъ", Калачова. М. 1850, кн. I, отд. IV, стр. 1—48.

[3]) „Архивъ", II, половина вторая. М. 1854, отд. IV, стр. 1—176. Сборникъ пословицъ, здѣсь напечатанный, не былъ потомъ, къ сожалѣнію, повторенъ въ изданіи трудовъ г. Буслаева, 1861 г.

[4]) „Моск. Вѣдомости" 1852, № 52—57, и отдѣльно. М. 1852.

[5]) „Историческіе очерки русской народной словесности и искусства". Спб. 1861, 2 большихъ тома.

Отмѣтимъ еще изъ той поры критическую статью по поводу „Филолог. наблюденій" прот. Павскаго, въ „Отеч. Зап." 1852, т. LXXXI—LXXXII, двѣ статьи; объ „Извѣстіяхъ" II Отд. Акад. и объ „Опытѣ областного великорусскаго словаря", тамъ же, т. LXXXIII, XXXXV.

ности можно судить объ успѣхѣ научнаго объясненія старины и народности, гдѣ сошлись у одной цѣли разнообразныя изслѣдованія, приведшія къ неожиданнымъ и любопытнымъ результатамъ. Это— изученіе народнаго эпоса, въ его различныхъ вѣтвяхъ и ступеняхъ.

Предметъ изученія было народное творчество, въ созданіяхъ котораго ожидали найти отголосокъ отдаленнѣйшей старины, сбереженной народною памятью до нашего времени, услѣдить формацію народнаго характера, выраженіе народнаго идеала, воплощеннаго въ образахъ эпическихъ богатырей. При нынѣшнемъ состояніи историко-филологическаго знанія, вопросъ пересталъ уже казаться столь простымъ, какъ считали прежде; его нельзя было обойти реторикой. Чтобы объяснить созданія народнаго творчества, требовались всѣ средства историко-филологической науки: нужно было исторически возстановить періодъ, въ который должно быть помѣщено содержаніе народнаго эпоса, опредѣлить источники и способы народнаго поэтическаго творчества, складъ миѳическихъ и бытовыхъ представленій, судьбу эпической пѣсни отъ ея зарожденія до позднѣйшей эпохи народной жизни. Такимъ образомъ начался пересмотръ старыхъ источниковъ, и еще болѣе раскрытіе новыхъ, указавшихъ цѣлую, прежде едва подозрѣваемую литературу нашихъ среднихъ вѣковъ; начались изслѣдованія сравнительно-филологическія, которыя впервые научно проникали въ древнѣйшія эпохи языка и быта, и давали богатыя указанія о свойствахъ первобытныхъ поэтическихъ представленій; предприняты были изысканія миѳологическія; археологія должна была разъяснить черты матеріальнаго быта, формы котораго являются въ древней поэзіи; наконецъ, явилась новая теорія народнаго эпоса.

Мы видѣли выше, какъ неумѣло приступала наша старая „наука“, даже у лучшихъ ея представителей двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, къ вопросу древней народной поэзіи; какъ даже въ сороковыхъ годахъ „наука“ еще не въ силахъ была справиться съ этимъ вопросомъ и довольствовалась однимъ литературнымъ впечатлѣніемъ, не умѣя понять ни историческаго склада древняго эпоса, ни смысла его фантастическихъ созданій, ни особенностей формы. Теперь возникала для объясненія этой области цѣлая сложная наука, направленная на объясненіе древнѣйшаго періода народныхъ представленій—въ бытѣ, религіи (миѳологіи), поэзіи.

Наконецъ, давнишнее стремленіе къ уразумѣнію вопроса о народной старинѣ нашло первую прочную опору въ нѣмецкой наукѣ. Это было въ пятидесятыхъ годахъ. Съ тѣхъ поръ новое изученіе чрезвычайно расширилось и повело къ разнообразнымъ выводамъ литературнымъ, этнографическимъ и даже національно-историческимъ:

вмѣстѣ съ массой вновь открытыхъ памятниковъ народной поэзіи, явился рядъ изслѣдованій, раскрывавшихъ различныя стороны предмета и постепенно выяснявшихъ его прежде недоступныя трудности. Образовалась цѣлая литература о народномъ эпосѣ: мнѣнія распадались, и возникала горячая полемика. Таковы были болѣе или менѣе извѣстные, даже въ большой публикѣ, труды: по собиранію памятниковъ народной поэзіи—Рыбникова, Гильфердинга, Якушкина, Варенцова, Безсонова, Шейна; по ея объясненію, вслѣдъ за Буслаевымъ и Аѳанасьевымъ, труды Ореста Миллера, Л. Майкова, Квашнина-Самарина, Стасова,—въ новѣйшее время Александра Веселовскаго, Ягича, Кирпичникова, Жданова, Колмачевскаго; наконецъ, иностранныхъ ученыхъ—Рамбо, Рольстона, Волльнера, Вестфаля и проч. Вопросъ научный не преминулъ получить тенденціозную окраску. Онъ еще далеко не былъ выясненъ, однако на немъ уже строились національно-археологическія теоріи и примѣнялись къ настоящему: нашъ народный характеръ, національное предназначеніе, современныя политическія дѣла, наши общественныя направленія опредѣлялись и судились по былинамъ объ Ильѣ Муромцѣ и Добрынѣ Никитичѣ,—все это не безъ большихъ странностей. Наконецъ, въ популярную литературу и учебники, подъ видомъ научно несомнѣнныхъ истинъ, входили подобныя мало достовѣрныя представленія древности, окрашенныя въ національно-мистическій колоритъ.

Но въ теченіе двухъ или трехъ послѣднихъ десятилѣтій въ самой наукѣ произошли однако весьма важныя перемѣны и новыя пріобрѣтенія. То, чтó недавно принималось еще съ полной вѣрой, было значительно измѣнено, а иногда совсѣмъ подорвано новыми изслѣдованіями, — такъ что старыя положенія не могутъ быть повторены теперь или совсѣмъ, или, по крайней мѣрѣ, безъ значительныхъ оговорокъ и исправленій. Въ этой переработкѣ прежнихъ взглядовъ наша наука сдѣлала многое самостоятельно, но не менѣе и при помощи уже не только нѣмецкой, но обще-европейской науки. Нѣмецкая школа сравнительнаго языкознанія и миѳологіи, на которой воспитались первые изслѣдователи нашего народнаго эпоса, въ самой Германіи развилась въ новую ступень и, въ связи съ изысканіями въ другихъ областяхъ науки, становится на иную точку зрѣнія: вопросъ о первобытныхъ временахъ изъ круга археологическаго романтизма и изъ вѣдѣнія чистой филологіи переходитъ въ область болѣе сложныхъ, нерѣдко и болѣе реальныхъ изученій, какъ антропологія, исторія культурныхъ и историко-литературныхъ взаимодѣйствій. Этотъ научный переворотъ отразился и у насъ.

Въ планъ нашего труда не входитъ изложеніе частныхъ вопросовъ; мы постараемся только указать главныя направленія, въ кото-

рыхъ она двигалась, ихъ источники и параллели въ европейской наукѣ, въ которую наши изслѣдователи вносили наконецъ и свой самостоятельный вкладъ—вновь открываемаго народно-поэтическаго матеріала и историко-филологической критики.

Мы говорили выше, что еще съ половины сороковыхъ годовъ г. Буслаевъ принималъ ученіе Гримма, какъ руководство не только въ наукѣ, но и *въ жизни* [1]). Это было чрезвычайно характерно, потому что Гриммовскій пріемъ заключалъ въ себѣ не только научную теорію, но и нравственно-общественное направленіе. Замѣчаніе г. Буслаева показывало, что онъ именно понялъ или почувствовалъ это;

[1]) Послѣ „Историческихъ очерковъ русской народной словесности и искусства" слѣдовалъ рядъ новыхъ статей г. Буслаева по объясненію русской народной поэзіи и по общему вопросу:

— „Русскіе духовные стихи", по поводу сборника духовныхъ стиховъ Варенцова и „Каликъ перехожихъ" Безсонова, въ „Русской Рѣчи", 1861, и отдѣльной брошюрой.

— „Русскій богатырскій эпосъ" (по поводу изданія пѣсенъ Рыбникова, ч. 1—2, и пѣсенъ Кирѣевскаго, вып. 1—4) въ „Русск. Вѣстникѣ", 1862, № 3, 9, 10.

— „Слѣды русскаго богатырскаго эпоса въ миѳическихъ представленіяхъ индоевропейскихъ племенъ", въ Филологическихъ Запискахъ, 1862—63, вып. 2—3.

— „Сравнительное изученіе народнаго быта и поэзіи", въ „Русск. Вѣстникѣ", 1872, № 10; 1873, № 1, 4.

— „Догадки и мечтанія о первобытномъ человѣчествѣ",—по поводу книги Каспари, Die Urgeschichte der Menschheit, 1873, въ „Русск. Вѣстникѣ", 1873, № 10.

— „Клинообразныя надписи Ахеменидовъ, въ изданіи проф. К. А. Коссовича" (1872), тамъ же, 1873, № 12.

— „Странствующія повѣсти и разсказы", тамъ же, 1874, № 4—5.

— Разборъ сочиненія Стасова: „Происхожденіе русскихъ былинъ", въ Отчетѣ о 12-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, 1870.

— Разборъ книги Ор. Миллера объ Ильѣ-Муромцѣ въ „Журн. Мин. Просв". 1871, апрѣль, и въ Отчетѣ о 14-мъ присужденіи Увар. наградъ, 1872.

— Разборъ сочиненія А. Веселовскаго, въ Отчетѣ о 16-мъ присужденіи, 1874.

— „О значеніи современнаго романа и его задачахъ". Москва, 1877. (Изъ Газеты А. Гатцука,—брошюра).

— Разборъ книги Віолле-ле-Дюка о русскомъ искусствѣ (переведенной Н. Султановымъ, М. 1879), въ „Критическомъ Обозрѣніи", 1879, № 2, 5.

— Изъ новѣйшихъ изданій г. Буслаева, „Мои досуги. Собранныя изъ періодическихъ изданій мелкія сочиненія" (М. 1886, двѣ части) представляютъ собраніе статей изъ путешествій на западѣ и очерковъ изъ исторіи литературы и искусства. Въ книгѣ „Народная поэзія. Историческіе очерки" (Спб. 1887) собраны статьи, писанныя въ 1861—1871 годахъ, а именно: „Русскій богатырскій эпосъ", 1862; „Слѣды славянскихъ эпическихъ преданій въ нѣмецкой миѳологіи", 1862; „Бытовые слои русскаго эпоса", 1871; „Пѣсня о Роландѣ", 1864; „Испанскій народный эпосъ о Сидѣ", 1864; „Русскіе духовные стихи", 1861. Статьи повторены здѣсь лишь съ небольшими измѣненіями.

и дѣйствительно, не нужно большихъ сличеній, чтобы въ томъ и другомъ увидѣть близкое согласіе обоихъ писателей. Но скажемъ впередъ, что это вовсе не было только подражаніе, повтореніе мнѣній учителя. Нашъ ученый принялъ, правда, готовыми многія изъ положеній нѣмецкаго авторитета—считая ихъ научно установленными; но часто тѣсное совпаденіе нашего изслѣдователя съ знаменитымъ дѣятелемъ германской науки имѣло болѣе глубокую причину. А именно—для нашего общественнаго образованія пришла пора переживать то настроеніе, которое выразилось въ дѣятельности научно-романтической школы Гримма и его спутниковъ. Чисто литературныя вліянія нѣмецкаго романтизма дошли до насъ гораздо раньше—со временъ Жуковскаго; но собственно этнографическая наука наша съ двадцатыхъ по сороковые года едва подозрѣвала о существованіи Гриммовой школы, — уже десятками лѣтъ дѣйствовавшей въ Германіи [1]); наша этнографія и народная археологія въ ту пору все еще были въ рукахъ самоучекъ, какъ Сахаровъ или Даль, и даже люди ученые, какъ Надеждинъ, Максимовичъ и пр., не проходили правильной филологической школы. Наконецъ, къ намъ стали проникать и эти изученія: школа Гримма занимала столь господствующее положеніе въ наукѣ, что миновать ее было невозможно; она должна была оказать свое дѣйствіе и у насъ. Нашей этнографической археологіи именно не доставало научнаго смысла (вспомнимъ грубыя нелѣпости Сахарова, и даже гораздо болѣе разумное эмпирическое собираніе Снегирева); а затѣмъ недоставало историческаго, а также *нравственнаго* освѣщенія тѣхъ сочувствій къ народному преданію, которыя успѣли уже развиться въ обществѣ до сильно распространеннаго интереса къ этнографіи и археологіи. За неимѣніемъ научной и гуманитарной подкладки, это стремленіе къ народности принимало, какъ мы видѣли, самыя фальшивыя выраженія и примѣненія, начиная отъ карамзинской чувствительности, соединявшей идиллію съ защитой крѣпостного права, до оффиціальной народности, видѣвшей существо народнаго духа, между прочимъ, въ томъ же крѣпостномъ рабствѣ, до Сахаровской ненависти ко всему чужеземному, до фантазій Морошкина и Савельева-Ростиславича, до мнимо-народнаго прибауточнаго стиля въ литературѣ, до вражды къ образованію—потому что оно европейское... Писатели прогрессивнаго направленія (Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, Тургеневъ и пр.) отвергали это извращеніе „народности“, которое было имъ слишкомъ очевидно; но прогрессивная школа всѣ свои силы полагала на вопросы современной

---

[1]) Труды Якова Гримма начинаются еще въ первомъ десятилѣтіи нашего вѣка. Въ двадцатыхъ годахъ онъ былъ уже знаменитый ученый.

общественности и просвѣщенія: народный вопросъ былъ близокъ и дорогъ ея чувству и убѣжденію какъ вопросъ нравственно-соціальный, но къ народной старинѣ она относилась равнодушно, какъ къ пережитому прошедшему; въ современной жизни народа видѣла бѣдствія несвободы и невѣжества и искала для нея освобожденія и школы; народъ былъ для нея богатая, много обѣщающая, но стихійная сила, ждущая сознанія,—далекое прошедшее едва ли имѣло не одну отрицательную назидательность. Съ другой стороны, славянофильство было перетоненной, полу-мистической отвлеченностью, которая бывала далека отъ непосредственной дѣйствительности и могла быть даже эксплуатируема обскурантами. Таковы были условія. Естественно было логически искать исхода изъ этихъ различно неудовлетворяющихъ точекъ зрѣнія на народность, и когда въ противоположность всѣмъ этимъ крайностямъ или недоразумѣніямъ являлась Гриммовская теорія — вооруженная научной силой, глубокимъ проникновеніемъ въ недоступныя ранѣе области старины и народной жизни, сознательнымъ возвеличеніемъ народно-поэтическаго содержанія, теплымъ отношеніемъ къ народу какъ носителю этого содержанія,—эта теорія нашла отголосокъ и въ нашей литературѣ. Она была нужна здѣсь, какъ научная основа для истолкованія народности и не могла не встрѣтить сочувствія въ людяхъ, у которыхъ научная приготовленность къ ея усвоенію соединялась съ такимъ же любящимъ отношеніемъ къ народу, съ умѣньемъ понимать и одушевленно воспроизводить поэтическія стороны народнаго преданія, часто скрытыя отъ обыкновеннаго глаза. Такой отвѣтъ съ русской стороны на ученіе Гримма и поданъ былъ всего болѣе г. Буслаевымъ.

Это была такимъ образомъ своеобразная точка зрѣнія, отличавшаяся отъ обычныхъ тогдашнихъ направленій, и въ особенности совсѣмъ не похожая на мнимо-народныя тенденціи во вкусѣ „Маяка" и оффиціальной народности. Нечего говорить, что для ученаго, хорошо подготовленнаго, какъ г. Буслаевъ, съ чувствомъ поэтическаго достоинства и изящества, не могли быть сочувственны тѣ уродливыя проявленія, какими выражалось всего чаще тогдашнее народничество,—они должны были представляться ему просто грубо фальшивыми. Но г. Буслаевъ остался чуждъ и обоимъ господствовавшимъ тогда лагерямъ. Прогрессивная школа, какъ мы сказали, видѣла народный вопросъ только съ его соціальной стороны; г. Буслаевъ, напротивъ, совсѣмъ не касавшійся этой стороны, негодовалъ на отсутствіе пониманія того нравственно-поэтическаго содержанія, какимъ по его взгляду исполнена была народная старина и поэзія. По всей видимости, г. Буслаеву была и вообще чужда литературная школа

сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, главнымъ представителемъ которой былъ Тургеневъ, школа, посвящавшая свой трудъ изображенію различныхъ отношеній культурнаго „общества“ и оказавшая самому дѣлу пониманія народности несомнѣнную и великую услугу—но въ глазахъ нашего поэта-археолога виновная отсутствіемъ того идеалистическаго отношенія къ народу, какое внушала новая теорія. Это былъ цѣлый взглядъ, цѣлое направленіе вкуса, которые не ограничивались конечно одной русской литературой. Это теоретическое нерасположеніе простиралось у г. Буслаева вообще на ту новую литературу, которая съ эпохи Возрожденія порвала средневѣковую традицію, потеряла связь съ народными элементами поэзіи и, связавъ себя классическимъ преданіемъ, развивалась въ искусственныхъ формахъ: съ Петровской реформы сюда же примкнула и русская литература, черезъ край напитанная чужими вліяніями и забывшая свою старину. Столько же или, можетъ быть, еще болѣе несочувственно было г. Буслаеву другое изъ тогдашнихъ направленій: славянофильство не разъ вызывало его жесткій отпоръ; при всемъ увлеченіи народностью, онъ не дѣлилъ славянофильскихъ теорій, потому вѣроятно, что видѣлъ въ нихъ доктринерство, воспитанное опять на чужой почвѣ и навязывающее народности несвойственныя ей качества. Собственный взглядъ г. Буслаева—по спорнымъ вопросамъ подобнаго рода, волновавшимъ тогда литературу — обыкновенно высказывался только эпизодически, при случаѣ; и иной разъ бывало даже нѣсколько неясно, куда же простираются его несогласія съ направленіемъ прогрессивнымъ и гдѣ отличіе его возвеличеній народности отъ славянофильскихъ. Впослѣдствіи, эта особенность его особой точки зрѣнія стала виднѣе: г. Буслаевъ, какъ человѣкъ науки, не былъ врагомъ свободной критики и не былъ полу-слѣпымъ приверженцемъ московскихъ преданій; его идеаломъ была свободная жизнь народности, согрѣтая возвышеннымъ поэтическимъ преданіемъ старины.

Такимъ образомъ, ученіе, которое излагалъ у насъ г. Буслаевъ, вступало въ литературу совсѣмъ особеннымъ и исторически необходимымъ элементомъ. Для того, чтобы новѣйшія народныя стремленія пріобрѣли свою логическую и нравственную полноту, нужно было, чтобы къ точкѣ зрѣнія прогрессистскаго круга, ставившей по преимуществу вопросъ только о соціальномъ положеніи народа, присоединилось стремленіе проникнуть въ его внутреннюю жизнь и исторію, въ смыслъ его преданій, въ задушевныя тайны его поэзіи. Для этого послѣдняго нужны были не только средства новѣйшаго научнаго анализа, но и любящее отношеніе къ простымъ созданіямъ народа, способность поэтическаго воспроизведенія далекихъ временъ и наивнаго міросозерцанія, продолжающееся присутствіе котораго въ совре-

менномъ складѣ народныхъ понятій и есть одна изъ преградъ, дѣлящихъ народъ отъ „общества". Въ сочиненіяхъ г. Буслаева и сказались эти черты — обладаніе пріемами нѣмецкой филологической науки, помогавшими дешифрировать затемнившійся и забытый смыслъ народнаго преданія, и то, совсѣмъ новое у насъ отношеніе къ народности, гдѣ не только не допускалась мысль о „снисхожденіи" къ грубости народныхъ понятій и поэзіи, но требовалось къ нимъ высокое уваженіе, гдѣ произведенія народной поэзіи излагались и комментировались съ такимъ же признаніемъ ихъ достоинства, какое привыкли отдавать лучшимъ произведеніямъ искусственной литературы, и съ неменьшимъ, если еще не бо̀льшимъ сочувствіемъ указывались высокія нравственныя начала, лежащія въ ихъ основѣ, и особенности ихъ поэтическаго стиля, съ живой образностью котораго искусственная поэзія не можетъ и равняться. Г. Буслаевъ умѣлъ дѣйствительно раскрывать привлекательныя стороны народно-поэтическихъ созданій, какъ до того времени не было еще дѣлано въ нашей литературѣ. Установленіе этого новаго отношенія къ народной старинѣ и поэзіи—кромѣ многихъ, въ спеціально-научномъ отношеніи важныхъ изслѣдованій, — составляетъ капитальную заслугу г. Буслаева, которая должна быть высоко оцѣнена въ исторіи изученій русской народности.

Въ чемъ же состояла сущность его взглядовъ на народную старину и ея отношеніе къ развитію литературы? Мы можемъ только немногими выдержками указать, или напомнить, читателю основныя мысли, внесенныя г. Буслаевымъ въ наше историко-литературное достояніе и открывавшія новый періодъ въ истолкованіи народнаго преданія.

„Въ самую раннюю эпоху своего бытія народъ имѣетъ уже *всѣ* главнѣйшія основы своей національности въ языкѣ и миѳологіи, которыя состоятъ въ тѣснѣйшей связи съ поэзіею, правомъ, съ обычаями и нравами—такъ начинаетъ г. Буслаевъ свои „Историческіе Очерки".—Народъ не помнитъ, чтобъ когда-нибудь изобрѣлъ онъ свою миѳологію, свой языкъ, свои законы, обычаи и обряды. Всѣ эти національныя основы уже глубоко вошли въ его нравственное бытіе, какъ самая жизнь, пережитая имъ въ теченіе многихъ до-историческихъ вѣковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо покоится настоящій порядокъ вещей и все *будущее развитіе* жизни. Потому всѣ нравственныя идеи для народа эпохи первобытной составляютъ его священное преданіе, великую родную старину, святой завѣтъ предковъ потомкамъ.

„*Слово* есть главное и самое естественное орудіе преданія. Къ нему, какъ къ средоточію, сходятся всѣ тончайшія нити родной старины, все великое и святое, все, чѣмъ крѣпится нравственная жизнь народа.

„Начало поэтическаго творчества теряется въ темной, до-исторической глубинѣ, когда созидается самый языкъ, и происхожденіе языка есть первая

самая рѣшительная и блистательная попытка человѣческаго творчества. Слово —не условный знакъ для выраженія мысли, но художественный образъ, вызванный живѣйшимъ ощущеніемъ, которое природа и жизнь въ человѣкѣ возбудили. Творчество народной фантазіи непосредственно переходитъ отъ языка къ поэзіи. Религія есть та господствующая сила, которая даетъ самый рѣшительный толчекъ этому творчеству, и древнѣйшіе миѳы, сопровождаемые обрядами, стоятъ на пути созиданія языка и поэзіи, объемлющей въ себѣ всѣ духовные интересы народа"... (Т. I, стр. 1—2).

„Въ образованіи и строеніи языка оказывается не личное мышленіе одного человѣка, а творчество цѣлаго народа. По мѣрѣ образованія народъ все болѣе и болѣе нарушаетъ нераздѣльное сочетаніе слова съ мыслью, становится выше слова, употребляетъ его только какъ орудіе для передачи мысли и часто придаетъ ему иное значеніе, не столько соотвѣтствующее грамматическому его корню, сколько степени умственнаго и нравственнаго образованія своего. Вся область мышленія нашихъ предковъ ограничивалась языкомъ. Онъ былъ не внѣшнимъ только выраженіемъ, а существенною составною частью той нераздѣльной нравственной дѣятельности цѣлаго народа, въ которой каждое лицо хотя и принимаетъ живое участіе, но не выступаетъ еще изъ сплошной массы цѣлаго народа. Тою же силою, какою творился языкъ, образовались и миѳы народа, и его поэзія. Собственное имя города или какого-нибудь урочища приводило на память цѣлую сказку, сказка основывалась на преданіи, частью историческомъ, частью миѳическомъ; миѳъ одѣвался въ поэтическую форму пѣсни... Все шло своимъ чередомъ, какъ заведено было испоконъ вѣку; та же разсказывалась сказка, та же пѣлась пѣсня и тѣми же словами, потому что изъ пѣсни слова не выкинешь; даже минутныя движенія сердца, радость и горе выражались не столько личнымъ порывомъ страсти, сколько обычными изліяніями чувствъ — на свадьбѣ въ пѣсняхъ свадебныхъ, на похоронахъ въ причитаньяхъ, однажды навсегда сложенныхъ въ старину незапамятную и всегда повторявшихся почти безъ перемѣнъ. Отдѣльной личности не было исхода изъ такого замкнутаго круга.

„Языкъ такъ сильно проникнутъ стариною, что даже отдѣльное реченіе могло возбуждать въ фантазіи народа цѣлый рядъ представленій, въ которыя онъ облекалъ свои понятія. Потому внѣшняя форма была существенной частью эпической мысли, съ которой стояла она въ такомъ нераздѣльномъ единствѣ, что даже возникала и образовывалась въ одно и тоже время. Составленіе отдѣльнаго слова зависѣло отъ повѣрья, и повѣрье, въ свою очередь, поддерживалось словомъ, которому оно давало первоначальное происхожденіе. Столь очевидной совершеннѣйшей гармоніи идеи съ формою исторія литературы нигдѣ болѣе указать не можетъ..." (Тамъ же, стр. 6—7).

Эта старина и привлекала автора интересомъ первобытнаго умственнаго и поэтическаго творчества, цѣльностью быта и общенароднаго міровоззрѣнія, выражавшейся въ той *поэзіи*, которая одна была дѣйствительно *народной*, создавалась всѣми и каждымъ, заключала общія, всѣми испытанныя и провѣренныя мысли, чувства и поэтическія представленія. Позднѣйшая письменная литература составляетъ явленіе совсѣмъ иного порядка: въ ней уже нѣтъ привлекательной цѣльности общенароднаго творчества; это уже дѣло личнаго знанія и таланта; она разнообразнѣе, но и произвольнѣе; движеніе ея слож-

нѣе,—но чтобы изучать ея развитіе и смыслъ, необходимо обращаться къ источникамъ и началамъ.

Основнымъ выраженіемъ старины было эпическое творчество. При его наблюденіи, бросалось въ глаза прежде всего совершенное различіе народнаго эпоса отъ той искусственной эпопеи, которая распространилась въ новѣйшихъ европейскихъ литературахъ вслѣдствіе псевдо-классическаго подражанія и считалась прежде настоящимъ эпосомъ: не было ничего общаго между этой искусственной формой, наполненной произволомъ личной фантазіи, и тѣмъ естественнымъ созданіемъ народа, гдѣ въ освящаемыхъ преданіемъ образахъ сложились миѳическія и героическія сказанія. Этотъ народный эпосъ былъ созданіемъ долгихъ вѣковъ, созданіемъ, которое хранилось и лелѣялось цѣлымъ народомъ; въ немъ нѣтъ мѣста произволу и вмѣстѣ чему-нибудь ложному и безнравственному, что̀ такъ легко проникаетъ въ произведенія литературы искусственной,—потому что здѣсь, въ народной поэзіи, все личное и ложное отбрасывается общенароднымъ инстинктомъ добра и правды; самое зло является въ эпосѣ какъ порожденіе темныхъ силъ. Авторъ приводитъ замѣчаніе братьевъ Гриммовъ—первыхъ знатоковъ народной эпической поэзіи, —что имъ не случилось въ ни одной народной пѣснѣ найти ничего ложнаго, никакого обмана [1]).

Это эпическое міровоззрѣніе, и особенности эпической поэзіи по содержанію и формѣ, составляли одинъ изъ любимыхъ предметовъ объясненій автора. Смыслъ этого особеннаго интереса заключался именно въ высокой оцѣнкѣ творчества всенароднаго по содержанію, всѣмъ понятнаго и близкаго, наивнаго, но нравственно чистаго и возвышеннаго, хранящаго исконное народное міровоззрѣніе и поэтическій характеръ, по формѣ богатаго непосредственными красотами народной рѣчи, образностью выраженія: это было общенародное достояніе, въ которомъ былъ залогъ народной личности и единства.

По убѣжденію автора,—совершенно справедливому,—этотъ міръ народнаго творчества, до тѣхъ поръ мало или совсѣмъ не сознаваемый или грубо объясняемый, долженъ былъ наконецъ войти въ кругъ понятій общества и занять въ литературныхъ идеяхъ подобающее мѣсто. Мы приведемъ еще, изъ числа многихъ, одинъ образчикъ взглядовъ автора.

„Теоретическое изученіе литературы и искусствъ состоитъ въ тѣснѣйшей связи и во взаимномъ вліяніи не только съ практическою художественною дѣятельностію своей эпохи, но и вообще съ *господствующими идеями*, со всѣмъ *умственнымъ и нравственнымъ, общественнымъ и политическимъ направленіемъ*

---

[1]) Истор. Очерки, I, стр. 55 и далѣе.

и, конечно, никогда не чувствовалась эта связь такъ живо, какъ въ настоящее время. При благотворномъ вліяніи христіанскаго просвѣщенія, въ теченіе вѣковъ выработалось наконецъ то всеобъемлющее, безпредѣльное *чувство человѣколюбія*, которое всѣмъ и каждому внушаетъ *уваженіе и любовь къ массамъ народнымъ* и на пользу этихъ послѣднихъ вызываетъ къ множеству геніальныхъ открытій и великодушныхъ предпріятій, которыми становится знаменито наше время. Этому господствующему направленію вполнѣ соотвѣтствуетъ, въ теоретическомъ изученіи литературы и искусствъ, блистательная разработка народныхъ поэтическихъ элементовъ. Лучше всего убѣждаетъ насъ въ этомъ Германія, эта классическая страна учености. Какъ лѣтъ за двадцать пять тому назадъ теорія словесности и искусства была загромождена кучами всевозможныхъ нѣмецкихъ учебниковъ и изслѣдованій эстетическихъ, піитическихъ, стилистическихъ; такъ въ настоящее время непрестанно издаются тамъ сборники народныхъ пѣсень, сказокъ, повѣствованій, а также памятники средневѣковой литературы, съ комментаріями и словарями, разработывается народная миѳологія, исторія нравовъ, обычаевъ и вообще всего народнаго быта.

„Каковы бы ни были теоретическія погрѣшности курсовъ словесности, процвѣтавшихъ въ нашихъ университетахъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ [1]) и основанныхъ на Шлегелѣ, Вильменѣ, Сисмонди и на нѣкоторыхъ скудныхъ результатахъ философіи искусства,—главнѣйшій и существеннѣйшій недостатокъ этихъ курсовъ состоитъ въ томъ, что они отвлекали здоровыя и свѣжія силы учащихся отъ благотворнаго изслѣдованія фактовъ; вмѣсто самостоятельнаго изученія предметовъ науки, давали безжизненныя формулы философскія и, полагая философскими воззрѣніями расширять свободный кругъ мышленія, только сковывали мысль, насильственно налагая на нее готовыя формулы какой-нибудь эстетической теоріи. Но самое злое и вредное въ этихъ эстетическихъ руководствахъ было, такъ сказать *аристократическое* ихъ направленіе. Не только съ точки зрѣнія эстетической, но и исторической, изслѣдователь обращался только къ свѣтиламъ литературы и искусства, и именно къ свѣтиламъ первой величины: выставлялъ великія достоинства Данта и Шекспира, Ломоносова и Державина, и съ высоты своего эстетическаго трибунала,—вооруженный мнимо безпристрастною критикою,—величаво раздавалъ мелкія награды прочимъ писателямъ, которыхъ удостоивалъ своей эстетической оцѣнки. Что за дѣло было такому выспреннему критику до нашихъ народныхъ пѣсенъ, оскорблявшихъ его утонченный вкусъ, воспитанный въ аристократической обстановкѣ такъ-называемыхъ образцовыхъ академическихъ произведеній? Что за дѣло было ему до нашихъ старинныхъ сборниковъ XV, XVI и XVII в., наполненныхъ поученіями и повѣствованіями на ломаномъ болгаро-русскомъ и польско-русскомъ языкѣ, наполненныхъ сочиненіями, которыя, можетъ быть, вполнѣ удовлетворяли нашихъ грубыхъ предковъ, но къ которымъ нельзя было приложить формулы объ отношеніи художественной идеи къ формѣ, опредѣляемой законами его эстетики? — И такіе теоретики-критики не только не хотѣли знать нашей письменной старины и народности, но и на самомъ дѣлѣ не знали ни той, ни другой, и своими выспренними взглядами, становясь будто-бы выше нашей старины и народности, только возбуждали къ той и другой презрѣніе, приведшее къ вредному предразсудку, довольно распространенному еще и теперь, будто можно составить себѣ вѣрное понятіе объ исторіи русской литературы на изученіи позднѣйшихъ писателей, начиная отъ Кантемира или

---

[1]) Разумѣются тридцатые и сороковые года.

Ломоносова, безъ основательнаго знанія нашей древней литературы и безъ живѣйшаго сочувствія къ народной словесности.

„Между тѣмъ, изученіе собственно народной словесности, т.-е. пѣсенъ, сказокъ, народныхъ преданій и повѣстей, и другихъ такъ-называемыхъ *народныхъ книгъ*, это благотворное изученіе, которымъ современная наука преимущественно обязана энергической геніальной дѣятельности Я. Гримма и его многочисленныхъ послѣдователей, дало новое направленіе изслѣдователямъ исторіи литературы и расширило ихъ воззрѣніе...

„Хотя на западѣ уже много сдѣлано для изученія старины и народности, несравненно больше чѣмъ у насъ; но постоянно открываемые и издаваемые памятники литературы и искусства въ Германіи, Франціи и другихъ европейскихъ странахъ, эта энергическая и дружно стремящаяся впередъ литературная и ученая дѣятельность къ изслѣдованію сокровенныхъ основъ національности,—пріуготовляетъ блистательную будущность историческому изученію...

„Подъ кажущеюся сухою положительностью этихъ непрестанныхъ изданій старинныхъ и народныхъ памятниковъ литературы и искусства, болѣе внимательный взглядъ не можетъ не замѣтить ихъ высокаго значенія для успѣховъ просвѣщенія, не можетъ не открыть зародышей для правильнаго развитія философской, эстетической мысли на твердыхъ основахъ.

„Литература и искусство служатъ только внѣшнимъ выраженіемъ духовныхъ отправленій жизни народной. Въ прежнее время, останавливаясь только на геніальныхъ личностяхъ въ исторіи художественнаго и литературнаго развитія, думали въ этихъ личностяхъ, такъ сказать, подслушать отвѣты на задушевные вопросы той эпохи, къ которой каждая изъ геніальныхъ личностей принадлежитъ. Теперь не довольствуются такимъ привилегированнымъ положеніемъ генія, отвѣтствующаго на вопросы своей эпохи; думаютъ, что трудно и даже невозможно бываетъ понять этого геніальнаго отвѣта безъ всесторонняго, подробнѣйшаго изученія самыхъ вопросовъ, которые предложены были ему эпохою. И вотъ — около прославленнаго геніальнаго имени изучаемой эпохи скопляется цѣлый рядъ произведеній, правда—не столько знаменитыхъ, не столь превознесенныхъ эстетическою критикою, но столько же исполненныхъ жизненнаго интереса, чаяній и ожиданій, вполнѣ характеризующихъ господствующее настроеніе цѣлыхъ народныхъ массъ... Аристократизмъ геніальной личности уступаетъ мѣсто, въ своемъ нравственномъ значеніи, высокому, гуманному достоинству духовныхъ стремленій цѣлой эпохи; нечувствительно вносится онъ въ широкій потокъ духовной жизни *цѣлаго народа*; онъ низводится, такимъ образомъ, до своихъ коренныхъ, *народныхъ основъ* и, слѣдовательно, сглаживаетъ съ себя феодальный характеръ исключительнаго превосходства.

„Едва-ли нужно доказывать, какъ много обязанъ своимъ происхожденіемъ такой широкій, безпристрастный взглядъ на литературу—разработкѣ собственно такъ-называемой *народной безъискусственной словесности*, живущей въ устахъ простого народа. Именно, эта словесность стоитъ внѣ всякой личной исключительности, есть по преимуществу слово цѣлаго народа, *гласъ народа*—какъ выражается извѣстная пословица, есть *эпосъ* (то-есть, слово)—какъ она называется въ эстетикахъ, хотя и не умѣвшихъ оцѣнить великаго ея значенія“... (Т. I, стр. 401—405).

Эти народныя изученія вносили въ науку новый элементъ, новую область, которой по незнанію не давала мѣста прежняя исторія литературы и эстетика; между тѣмъ значеніе этой новой области —

столь обширное и основное, что исторія литературы и теорія поэзіи и искусства теряли безъ нея научный смыслъ,—и имъ такимъ образомъ предстояло полное преобразованіе...

Съ такимъ широкимъ взглядомъ на предметъ г. Буслаевъ приступалъ къ объясненію народной словесности русской, и довольно припомнить характеръ нашихъ историко-литературныхъ изученій къ концу сороковыхъ и началу пятидесятыхъ годовъ, чтобы видѣть, что этотъ взглядъ теперь впервые высказывался въ нашей литературѣ. Читатель замѣтилъ безъ сомнѣнія, что̀ въ словахъ г. Буслаева относилось и къ русской исторіи литературы и эстетикѣ того времени: это было осужденіе философскихъ эстетиковъ 30-хъ годовъ и критики Бѣлинскаго. Какъ *историческая* оцѣнка, это осужденіе не было вполнѣ справедливо. И философія 30-хъ годовъ и въ особенности критика Бѣлинскаго были необходимымъ и благотворнымъ шагомъ впередъ въ ходѣ нашихъ общественно-литературныхъ понятій. *До* нихъ, въ нашей литературѣ и *совсѣмъ не было* никакихъ прочныхъ теоретическихъ понятій о значеніи поэзіи, никакого сознательнаго отношенія къ общественному смыслу литературы или (въ огромномъ большинствѣ) достаточно развитого вкуса къ ея художественнымъ достоинствамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что безъ школы Бѣлинскаго самые взгляды г. Буслаева не имѣли бы почвы въ нашей литературѣ: въ положеніяхъ этой школы могъ быть пробѣлъ, но въ нихъ была твердая теоретическая подкладка. Новые результаты историко-филологической критики были возможны только при посредствѣ этихъ предшествовавшихъ ступеней: самая мысль о необходимости народнаго элемента въ нашей литературѣ всего больше подготовлена была внутреннимъ смысломъ критики Бѣлинскаго. Но затѣмъ взглядъ, проводимый г. Буслаевымъ, открывалъ новыя стороны вопроса и долженъ былъ многое исправить, или указать вновь въ нашей старинѣ и въ пониманіи современной народности.

Мы видѣли выше, что, начиная съ прошлаго вѣка, изученія народности съ каждымъ поколѣніемъ все возрастали въ объемѣ и важности,—такъ что новое возвеличеніе народности являлось послѣдовательнымъ завершеніемъ давнихъ стремленій. Но въ то же время это было опять однимъ изъ самыхъ яркихъ проявленій вліянія европейской, и тогда особливо нѣмецкой, науки. Въ сущности, возвеличеніе русской народной поэзіи было, въ его научной сторонѣ, примѣненіемъ открытій германской учености. Дѣйствительно, при первомъ сличеніи не трудно увидѣть, что какъ ни глубоко былъ проникнутъ г. Буслаевъ любовью къ народному міру, сколько ни положилъ онъ внимательнаго и самостоятельнаго труда, остроумія и по-

этической отгадки на изученіе русской старины, руководящая основа его изысканій лежала въ „геніальныхъ открытіяхъ“ Гримма.

Главные труды Гримма были совершены задолго до того, когда они стали этой оживляющей силой для русскихъ изученій [1]). Взгляды Гримма на народность и старину коренились въ нѣмецкомъ національномъ движеніи начала столѣтія, приготовлявшемся давно и тогда особливо возбужденномъ бѣдствіями Германіи въ Наполеоновскія войны. Это была пора процвѣтанія романтизма; но въ то время какъ литературный романтизмъ, бросаясь въ средніе вѣка—„назадъ“, „домой“—превращался въ туманную мистику или даже въ узкую, крайне непривлекательную реакціонную тенденцію, Гриммъ остался вѣренъ лучшимъ стремленіямъ національной идеи. Взглядъ его былъ въ сущности романтическій, — но, поддержанный научнымъ знаніемъ, личнымъ характеромъ и дарованіемъ, выросъ въ возвышенное поэтическое возсозданіе древности, которая представилась ему какъ пора неиспорченнаго дѣтства и отрочества народовъ, исполненная чувства природы, нравственной чистоты и непосредственности, богатаго творчества фантазіи, оживленная и выраженная общенародною поэзіей. Громадная начитанность въ средневѣковыхъ памятникахъ нѣмецкаго и всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ, историческое и сравнительно-филологическое изученіе языка дали Гримму возможность произвести грандіозную реставрацію средневѣковой старины—въ языкѣ, юридическомъ бытѣ, религіи (миѳологіи), поэзіи. Средневѣковый міръ предсталъ въ его трудахъ въ яркой поэтически-окрашенной картинѣ, своеобразнымъ и величавымъ,—и это изображеніе среднихъ вѣковъ и ихъ отраженія въ бережно хранимыхъ преданіяхъ современнаго народа произвело сильное впечатлѣніе, которое отозвалось и у насъ.

---

[1]) Именно: Kinder- und Haus-Märchen вышли въ 1812 — 15, Deutsche Grammatik—1819, Deutsche Rechtsalterthümer—1828, Reinhart Fuchs—1834, Deutsche Mythologie — 1835 (2-е изданіе 1844), Geschichte der deutschen Sprache — 1848, Deutsches Wörterbuch (начало) — 1852. Его частныя изслѣдованія, разсѣянныя въ журналахъ и разныхъ изданіяхъ почти съ начала столѣтія (1807), собраны въ Kleinere Schriften, 1864 и слѣд.

О жизни и трудахъ Гримма: — его собственныя автобіографическія статьи: Selbstbiographie, Ueber meine Entlassung, Rede auf Wilhelm Grimm, Rede über das Alter (въ Kleinere Schriften, т. I); далѣе:—Die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, ihr Leben und Wirken. Ein Vortrag, gehalten von Oberlehrer, Dr. B. Denhard. Hanau, 1860;—Zum Gedächtniss an Jacob Grimm. Von Georg Waitz. Göttingen, 1863;—Les Frères Grimm, leur vie et leurs travaux, par Fréd. Baudry. Paris, 1864;—Die Brüder Grimm, von Julian Schmidt (въ Deutsche Rundschau, 1881, Januar); — въ исторіяхъ нѣмецкой новой литературы Юл. Шмидта и Геттнера; но особенно въ Geschichte der Germanischen Philologie, Рудольфа Раумера, Münch. 1870 (стр. 378—452, 495—540, 632—658) и въ книжкѣ: Jacob Grimm, von Wilh. Scherer. Berl. 1865.

Уже при самомъ началѣ его трудовъ, при первыхъ приступахъ къ изученію народной древности и ея уцѣлѣвшихъ донынѣ остатковъ, у Гримма составилось высокое представленіе о достоинствѣ народнаго преданія. Онъ пріобрѣлъ убѣжденіе о несравненномъ превосходствѣ первобытной народной поэзіи, превосходствѣ, которое могло быть ограничено только отрывочностью преданія [1]. Уже въ то время онъ выяснилъ себѣ понятіе о народномъ эпосѣ [2], вѣрно указывалъ его сущность и заложилъ прочное основаніе дальнѣйшихъ изслѣдованій, которыя были сдѣланы послѣ имъ самимъ и его школой. Гриммъ былъ увѣренъ, что народное сказаніе всегда истинно, всегда въ основѣ его лежитъ поэтическая и нравственная правда: эпосъ не есть ни чистый миѳъ, ни чистая исторія, сущность его состоитъ въ ихъ взаимномъ проникновеніи. Для возникновенія эпоса необходимъ историческій фактъ, которымъ народъ долженъ быть охваченъ такъ живо, что къ нему могъ бы пристать миѳъ. Такимъ образомъ эпосъ носитъ въ себѣ божественную и человѣческую долю: одна возвышаетъ его надъ исторіей, другая снова приближаетъ къ ней. Боги превращаются въ людей, и перерожденія сказаній подходятъ къ намъ все ближе и ближе. Если выдѣлить эти составныя части эпоса, то изъ него можно извлечь не мало данныхъ для миѳологіи.

У Гримма мы найдемъ уже въ полномъ развитіи возвеличеніе древняго міровоззрѣнія, когда весь бытъ отличался полной цѣльностью и единствомъ, когда была одна, обще-народная поэзія, сливавшая думы и чувства всѣхъ и каждаго, и когда всѣ проявленія жизни, бытовой и нравственной, освѣщались возвышенными и нравственно чистыми созданіями эпоса, соединявшаго божественное и человѣческое, религію и исторію.—Средина дѣятельности Гримма,—именно давшая ему славу и обширное вліяніе въ наукѣ, — занята была изслѣдованіемъ языка, который, по его представленію, самъ былъ поэтическое созданіе народа, и изслѣдованіемъ древняго права и миѳологіи.

На „Древностяхъ нѣмецкаго права“ и „Миѳологіи“ одинаково отразились и высокія достоинства теоріи Гримма, какія мы встрѣтимъ и въ ученіяхъ г. Буслаева, и недостатки, которые также отразились въ этихъ послѣднихъ. Мы упоминали прежде, что Гриммъ, въ своемъ отношеніи къ среднимъ вѣкамъ, стоитъ въ тѣсной связи съ нѣмецкой романтической школой. Въ изученіи средневѣковой поэзіи онъ имѣлъ прямыми предшественниками Шлегеля и Тика, даже Арнима и Но-

[1] Scherer, J. Grimm, стр. 59.

[2] Gedanken über Mythos, Epos und Geschichte, 1813,—Kleinere Schriften, IV, стр. 74—85.

валиса; но онъ уберегся отъ тѣхъ реакціонныхъ общественно-политическихъ выводовъ, какіе дѣлали многіе романтическіе приверженцы средневѣковой старины, и изъ ея идеализаціи усвоилъ только ея гуманныя и поэтическія стороны. Но это все-таки была романтическая идеализація: германская древность и средніе вѣка почти казались ему простодушной, но невинной и поэтической Аркадіей, у которой во всякомъ случаѣ многому могли учиться позднѣйшія времена. Его личная натура, увлеченіе ученаго и пристрастіе идеалиста выискивали въ этомъ мірѣ все, что было въ немъ поэтическаго, человѣчески истиннаго и достойнаго; и народный обычай и преданье, въ которыхъ онъ находилъ это, получали въ его глазахъ ореолъ высокаго достоинства.

Въ „Древностяхъ права" Гриммъ имѣлъ много предшественниковъ, собиравшихъ факты, памятники и юридическія толкованія, но его трудъ представилъ нѣчто небывалое. Гриммъ оставилъ прежній путь объясненія оффиціальныхъ юридическихъ источниковъ, изслѣдованія учрежденій: онъ ставитъ своей задачей раскрытіе собственно народной идеи права—въ тѣхъ формахъ, въ какія облекало ее народное преданіе и поэзія, въ тѣхъ символическихъ дѣйствіяхъ, на которыя дотолѣ обращали мало вниманія и которыя именно остались слѣдомъ первобытнаго права; въ тѣхъ юридическихъ обычаяхъ, изреченіяхъ, пословицахъ, которыя сбережены въ старыхъ памятникахъ (Weisthümer) и народномъ воспоминаніи; наконецъ, въ сравненіяхъ съ подобными явленіями юридической древности у другихъ народовъ—словомъ, во всѣхъ тѣхъ проявленіяхъ, которыя несли на себѣ печать древне-народнаго міровоззрѣнія. Такого труда еще не представляла собственно-юридическая литература; онъ и не шелъ въ эту литературу, но онъ давалъ замѣчательное изображеніе древнѣйшаго юридическаго быта и первый опытъ новой науки—сравнительнаго изученія права.

„Гриммъ прочно устроился въ романтическомъ туманѣ древнихъ живописныхъ учрежденій,—говоритъ одинъ изъ лучшихъ его критиковъ,—и удивительно ли, что изъ-за нихъ настоящее иной разъ его не удовлетворяло? Онъ мало понималъ необходимости жизни, которыя принуждаютъ къ сухому и суровому ходу дѣлъ, и почти жалѣлъ о медлительныхъ подробностяхъ старыхъ символическихъ дѣйствій права. Здѣсь эстетическая сторона слишкомъ легко брала верхъ надъ нимъ. Онъ жалѣлъ о томъ, что развитіе своего домашняго изъ самого себя было прервано. Еслибы христіанство и римское право не вмѣшались и не нарушили этого развитія, думаетъ онъ, то только тогда мы могли бы судить о настоящемъ достоинствѣ этой образной и нравственной основы нѣмецкаго права. Даже благородная демо-

кратическая черта сочувствія къ низшимъ народнымъ классамъ, проходящая черезъ все произведеніе, могла, въ свою очередь, усиливать въ немъ эти наклонности. Въ виду положенія нынѣшнихъ фабричныхъ рабочихъ, старая крѣпостная зависимость и рабство получаютъ отъ него извѣстную похвалу. Въ виду нашихъ тюремъ старыя наказанія, соединенныя съ калѣченіемъ, кажутся ему почти мягкими. Тотъ недостатокъ новѣйшаго правового сознанія, который историческая школа унаслѣдовала отъ Мёзера, выступаетъ здѣсь снова" и т. д. [1]).

Въ ученомъ изслѣдователѣ, очевидно, сказывался романтикъ; свои богатыя свѣдѣнія онъ окрашивалъ поэтической идеализаціей старины.

Тѣмъ же настроеніемъ отличается знаменитая „Миѳологія".

Съ первыхъ страницъ предисловія Гриммъ съ любовью говоритъ о національной древности и съ негодованіемъ о тѣхъ, кто не хочетъ или не умѣетъ цѣнить памятниковъ прошлой народной жизни, или видитъ въ ней одно варварство [2]). Книга начинается картиной распространенія въ Европѣ христіанства, передъ которымъ мало-помалу падаетъ и исчезаетъ язычество. „Христіанство не было народно. Оно пришло изъ-чужа и хотѣло вытѣснить старыхъ домашнихъ боговъ, которыхъ земля уважала и любила. Эти боги и служеніе имъ связаны были съ преданіями, учрежденіями и обычаями народа; ихъ имена возникли на родномъ языкѣ и освящены стариной; короли и князья вели свой родъ отъ различныхъ боговъ; лѣса, горы, озера получали отъ ихъ близости живое освященіе. Отъ всего этого народъ долженъ былъ отказаться, и то, что́ вообще восхваляется какъ вѣрность и приверженность, представлялось и преслѣдовалось возвѣстителями новой вѣры, какъ грѣхъ и преступленіе. Происхожденіе и мѣсто святого ученія было навсегда отодвинуто въ далекія

---

[1]) Scherer, стр. 139.

[2]) „Мнѣ отвратителенъ тотъ спѣсивый взглядъ, что будто жизнь цѣлыхъ вѣковъ была проникнута тупымъ, безрадостнымъ варварствомъ; этому противорѣчила бы уже любвеобильная благость Бога, который свѣтитъ всѣмъ временамъ своимъ солнцемъ и людямъ, которыхъ онъ снабдилъ дарами тѣла и души, влилъ сознаніе высшаго руководящаго промысла: всѣмъ, даже самымъ обезславленнымъ вѣкамъ дано благословеніе счастія и блага, которое у благородно развившихся народовъ оберегало ихъ обычай и ихъ право"...

„Къ народному преданью надо прикасаться и читать его цѣломудренно; кто берется за него грубо, передъ тѣмъ оно свернетъ свои листки и задержитъ наполняющее его благоуханіе. Въ немъ кроется такой кладъ богатаго развитія и разцвѣтанія, что онъ въ своемъ неполномъ видѣ удовлетворяетъ своей естественной красотой, но былъ бы нарушенъ и поврежденъ чужой прибавкой. Кто рѣшился бы на такую прибавку, тотъ долженъ бы быть посвященъ въ невинную природу всей народной поэзіи", и т. д. D. Mythologie, 2-е изд., стр. VII, XII.

страны, и на родныя мѣста могла быть перенесена только производная, болѣе слабая честь.—Новая вѣра являлась въ сопровожденіи чужого языка. Обратители язычниковъ, строго благочестивые, умѣренные, убивавшіе плоть, нерѣдко мелочные, безпокойные и въ рабской зависимости отъ далекаго Рима, должны были безпрестанно оскорблять національное чувство. Имъ были ужасны не только грубыя, кровавыя жертвоприношенія, но и образная, жизненно-радостная сторона язычества. Но чего не достигали ихъ слово и ихъ чудотворство, то новообращенные христіане часто совершали огнемъ и мечомъ противъ упорныхъ язычниковъ. Побѣда христіанства была побѣда кроткаго, простого, духовнаго ученія надъ чувственнымъ, свирѣпымъ, одичающимъ язычествомъ. За обрѣтенное спокойствіе души, за обѣщанное небо человѣкъ отдавалъ свои земныя радости и память о своихъ предкахъ. Многіе слѣдовали внутреннему внушенію сердца, другіе примѣру толпы, а многіе и впечатлѣнію неизбѣжнаго насилія.—Хотя погибающее язычество намѣренно оставляется лѣтописцами въ тѣни, однако иногда вырывается трогательная жалоба на потерю старыхъ боговъ или честное сопротивленіе насильно навязанной новизнѣ“...

Ученый не остается равнодушенъ, напротивъ, онъ принимаетъ къ сердцу эту жалобу: язычество многіе вѣка было внутренней жизнью народа, въ немъ сложились не только черты первобытной грубости, но и лучшія нравственныя движенія народа, составившія его религію; изслѣдователь разбираетъ, что было уничтожено и что спаслось, и черезъ послѣднее реставрируетъ этотъ первобытный божественный міръ язычества. На первомъ планѣ — главныя правящія божества, богослуженіе, затѣмъ второстепенные боги и богини, низшія миѳическія существа, исполины и т. д.; далѣе преданія о твореніи, о стихіяхъ и силахъ природы, о началѣ и концѣ міра; жизнь природы, съ ея миѳическими вліяніями и отношеніями къ человѣку — деревья и животныя, небо и звѣзды, ночь и день, солнце и зима; понятія о судьбѣ; средневѣковыя представленія о чортѣ, волшебство и т. д., заговоры и заклятья. Словомъ, это широко задуманная и широко исполненная картина народной религіи, не только первобытнаго язычества, но и его позднѣйшихъ видоизмѣненій въ средневѣковую народно-христіанскую миѳологію. На исполненіе этой картины употребленъ былъ громадный запасъ фактическаго матеріала, никогда прежде не собранный въ такомъ обиліи изъ древнихъ поэтическихъ сказаній, своихъ и чужихъ историковъ и лѣтописцевъ, изъ разнообразныхъ отголосковъ старины у новѣйшихъ писателей, изъ народныхъ обычаевъ, изъ сравненія съ миѳологіей другихъ народовъ,—объясненный съ новыми средствами филологической науки.

Книга Гримма (доступная, конечно, только приготовленнымъ читателямъ) произвела сильное впечатлѣніе въ ученомъ мірѣ: она была принята какъ „геніальное открытіе“. На многіе годы авторитетъ Гримма былъ непререкаемый; цѣлыя группы ученыхъ направились на поиски по указанному имъ пути,—эта пора его вліянія именно и отразилась на его русскихъ продолжателяхъ,—но, наконецъ, теорія встрѣтила и серьезныя возраженія и ограниченія. Развитіе науки, такъ сильно имъ возбужденной, открыло новыя стороны предмета,—изслѣдованіе пошло дальше, что́, не умаляя исторической заслуги Гримма, свидѣтельствовало о плодотворности его первой основной мысли.

Слѣдующее поколѣніе ученыхъ, которые воспользовались уже новыми пріобрѣтеніями науки, находило, что съ одной стороны Гриммъ мало воспользовался миѳологическимъ матеріаломъ національнаго эпоса, а съ другой ввелъ въ миѳологію больше, чѣмъ могла допустить строгая критика,—при которой, правда, и не могла бы явиться такая одушевленная и поэтическая книга. Что же останавливало новыхъ изыскателей въ пріемахъ и точкѣ зрѣнія Гримма? Шереръ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ эту неудовлетворяющую сторону его труда:

„...Здѣсь принятъ и употребленъ въ дѣло въ качествѣ миѳологическаго матеріала рядъ такихъ источниковъ, права которыхъ на это по меньшей мѣрѣ очень сомнительны. Относительно сказокъ, ихъ годность для миѳологіи отпадаетъ уже вслѣдствіе открытія чужого происхожденія. Безъ сомнѣнія, много иноземнаго проскользнуло и въ эпическія сказанія (саги), и прочныя пріобрѣтенія могутъ быть извлечены изъ нихъ только при величайшей осмотрительности. Поэзія XIII вѣка также откажетъ будущему изслѣдованію въ той миѳической добычѣ, которую она какъ будто доставляла Якову Гримму, и олицетворенія идеала или поэзіи нельзя будетъ больше считать за отголоски Водана или сѣверной саги. Наконецъ, какъ много изъ того, что́ Яковъ Гриммъ считалъ и бралъ за нѣмецкое и языческое, должно быть отдано христіанской миѳологіи, это уже не разъ оказалось при новѣйшихъ изслѣдованіяхъ и, быть можетъ, окажется еще во многихъ случаяхъ.—Очень рѣдко случается, чтобы у великихъ людей являлись товарищи или ученики, которые исправляли бы ихъ труды именно тамъ, гдѣ они настоятельно нуждаются въ поправкѣ, и продолжали именно тамъ, гдѣ оставленъ конецъ, къ которому можно привязать продолженіе. Гораздо чаще бываетъ наоборотъ, и примѣръ этому—судьба нѣмецкой миѳологіи. Именно слабыя стороны книги оказались производительными и возбуждающими къ соревнованію. Сказки и саги вдругъ показались теперь чрезвычайно

важными, не просто какъ проявленія народнаго духа и какъ истинная поэзія, но какъ слѣды убѣгающихъ боговъ, которыхъ форму надо осторожно срисовывать и изслѣдовать съ крайней заботливостью. Начались безконечныя собранія сагъ и сказокъ. При этомъ сдѣланы были дѣйствительно цѣнныя находки старыхъ уцѣлѣвшихъ обрядовъ. Но большею частью являлось здѣсь слишкомъ много лишняго. Неутомимо записывались и все снова издавались безчисленныя варіаціи одной и той же исторіи. И этого мало: сказки и саги должны были помогать недостатку живыхъ миѳовъ, который чувствовали очень вѣрно. Когда охотникъ для защиты своей всунетъ кулакъ въ пасть льва, вспоминали сѣвернаго бога войны Тора, который въ видѣ залога вкладываетъ свою руку въ пасть волка Фенрира. Когда похищаются строго оберегаемыя женщины, не могло быть сомнѣнія, что за похитителемъ скрывается богъ Фрейръ, а за похищенной — прекрасная великанша Герда. Когда убиваются какіе-нибудь великаны, то видѣли здѣсь божество грома. Что только есть краснаго на свѣтѣ, то тотчасъ сильно заподозрѣвалось въ таинственной связи съ рыжебородымъ громовникомъ. И оселъ, который двоякимъ способомъ выпускаетъ золото, естественно долженъ былъ происходить отъ раздавателя богатства Водана, хотя первоначально онъ есть скромная фигура изъ итальянской новеллы.—Въ послѣдніе годы усердіе смѣлыхъ открывателей нѣсколько охладѣло, и торопливая радость уступила мѣсто нѣкоторому отрезвленію. Что нѣмецкая миѳологія попала на ложную дорогу, это можно утверждать теперь безъ опасенія. И остается только пожалѣть, что надобно прибавить: эту дорогу указалъ Яковъ Гриммъ“... [1]).

Изложенныя мнѣнія о трудѣ Гримма не были только личнымъ взглядомъ отдѣльнаго ученаго: наука все расширяла горизонтъ наблюденій, усиливала требованія критическія, и, наконецъ, отвлекала отъ точки зрѣнія Гримма лучшихъ и преданнѣйшихъ учениковъ.

---

[1]) Scherer, стр. 148—150. Далѣе слѣдуютъ подобныя замѣчанія о Гриммовомъ Reinchart Fuchs.—Котляревскій, въ разборѣ книги Аѳанасьева (Отчетъ о десятомъ присужденіи наградъ гр. Уварова. Спб. 1868), осуждаетъ этотъ отзывъ Шерера: „чтобы такой приговоръ получилъ оправданіе,—замѣчаетъ онъ,—необходимо *сначала* самымъ дѣломъ доказать, что миѳологическая наука на другомъ пути можетъ принести по крайней мѣрѣ такіе удовлетворяющіе и обильные результаты, какіе принесла она въ школѣ Гримма и его преемниковъ“ (стр. 43). Но въ томъ и дѣло, что результаты перестали казаться удовлетворяющими. Шереръ не отвергаетъ совсѣмъ значенія труда Гримма, а только указываетъ ошибку нѣкоторыхъ его пріемовъ,—ошибка не подлежитъ сомнѣнію и критика не только въ правѣ, но и должна указать замѣченный ошибочный путь, хотя бы даже не нашла еще другого. Въ разборѣ книги Аѳанасьева, Котляревскій дѣлаетъ самъ противъ нея нѣсколько важныхъ замѣчаній, *именно* въ томъ смыслѣ, какъ Шереръ противъ Гримма.

Таковъ былъ Вильгельмъ Маннгардтъ, одинъ изъ ревностнѣйшихъ изслѣдователей въ области нѣмецкой миѳологіи. Приводимъ его критическія замѣчанія, чтобы выяснить положеніе вопроса въ самой нѣмецкой наукѣ, которое у насъ было или мало извѣстно, или мало оцѣнивалось. Нѣкогда вѣрный послѣдователь Гримма, этотъ замѣчательный ученый въ послѣдніе годы своей дѣятельности измѣнилъ направленіе своихъ трудовъ въ виду новыхъ пріобрѣтеній науки, и въ предисловіи къ своему послѣднему большому труду, излагая исторію своихъ взглядовъ наряду съ движеніемъ миѳологической науки, такъ опредѣляетъ значеніе Гриммовой „Миѳологіи".

„Мастерское, фундаментальное произведеніе Гримма, какъ всѣ подобныя историческія созданія, явилось не безъ предшественниковъ. Уже со временъ реформаціи, частью для объясненія запрещенія идолопоклонства въ катехизисѣ, частью изъ гуманистическихъ или національно-антикварскихъ стремленій, люди какъ Мелеціусъ Агрикола, Портанъ, Арнкиль, Дёдерлейнъ, К. Шюцъ, Моне и Финнъ Магнусенъ признали и изучали въ отдѣльности суевѣрія, обычаи и народныя сказанія, какъ остатки языческой миѳологіи.

„Геній Як. Гримма, вооруженный удивительнымъ даромъ комбинаціи, умѣвшій въ то же время дѣтски наивно чувствовать духъ древности, въ первый разъ собралъ въ самомъ грандіозномъ объемѣ подобные источники въ одно цѣлое, связалъ ихъ съ уцѣлѣвшими въ скудномъ количествѣ непосредственными свидѣтельствами о нѣмецкомъ язычествѣ и поставилъ ихъ въ связь съ языкомъ, который былъ имъ приведенъ къ историческому пониманію, съ обычаями и міровоззрѣніемъ нашей древности и съ миѳологіей родственнаго сѣвера. Тогда впервые найдено было яйцо Колумба и народамъ указанъ путь, который, казалось, могъ провести ихъ черезъ обширное *Mare incognitum* въ золотую страну ихъ собственнаго дѣтства и, распространяя ихъ воспоминаніе о самихъ себѣ на далекій періодъ назадъ, могъ многое прибавить къ ихъ жизни и ихъ личности. Передъ глазами удивленныхъ современниковъ возстала картина древне-германской религіи, въ главномъ столь схожая, что она останется образцомъ, который надо будетъ развивать и совершенствовать дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ, и вмѣстѣ такъ необычайно богатая, что она теперь почти полъ-столѣтія господствуетъ надъ наукой [1]). Мало-помалу она начинаетъ превращаться въ свободную духовную собственность изслѣдователей и подпадаетъ столь необходимой критической оцѣнкѣ для того, чтобы по удаленіи ея недостатковъ, выйти изъ нея въ очищенномъ и помолодѣвшемъ видѣ. Рѣдко книга пріобрѣтала

[1]) Писано въ 1877. Первое изданіе „Миѳологіи"—1835.

такое грандіозное вліяніе, какъ эта. Стало національнымъ дѣломъ—собирать и объяснять обычаи, сказанія, сказки, суевѣрія, пѣсни, словомъ—устныя преданія всякаго рода, какъ памятники отечественной древности. Этому стремленію мы обязаны множествомъ отчасти прекрасныхъ сборниковъ. За нами стали дѣлать это другія племена Европы, и всего ревностнѣе тѣ, которыя не имѣли почти никакихъ свѣдѣній о религіи своихъ предковъ и этимъ путемъ надѣялись выяснить, какъ выражался духъ ихъ народа въ своихъ идеальнѣйшихъ представленіяхъ въ эпоху нетронутой національной жизни до введенія христіанства (напр. славяне, мадьяры). Равнодушнѣе остались другіе народы (напр. скандинавы, романскія племена), которые, обладая богатыми извѣстіями о своихъ предкахъ, не чувствовали никакого влеченія умножать это сокровище, было ли оно велико или мало, изъ новыхъ, дотолѣ столь презираемыхъ рудниковъ".

Авторъ замѣчаетъ, что вслѣдствіе этого тогдашняго преобладанія чисто національной тенденціи и его собственные первые труды преимущественно были посвящены живому народному преданію, „какъ мнимому главному источнику собственно нѣмецкой миѳологіи",—даже тогда, когда онъ увидѣлъ необходимость цѣльнаго историко-критическаго изслѣдованія сѣверной миѳологіи; онъ надѣется, что „тѣнь дорогого учителя" не будетъ гнѣваться, — „если тѣ, кто стоитъ на его плечахъ, вмѣстѣ съ благодарнымъ признаніемъ полученнаго отъ него прочнаго достоянія, дадутъ теперь мѣсто и сознанію, что его величественный трудъ во многихъ отношеніяхъ остается еще неполонъ и неудовлетворителенъ, что зданіе, которое онъ возводилъ, часто имѣло въ самыхъ основаніяхъ кривое направленіе и давало поводъ къ дальнѣйшей непригодной стройкѣ". „Критика, исключающая все ошибочное и недоказанное, — продолжаетъ Маннгардтъ, — уменьшила бы объемъ книги Гримма, быть можетъ, не менѣе чѣмъ на половину. Здѣсь не мѣсто объяснять это подробнѣе [1]); я укажу только немногое. Яковъ Гриммъ сдѣлалъ великій шагъ впередъ, когда взглянулъ на миѳологію не какъ на произведеніе сознательнаго умозрѣнія, но какъ на созданіе безсознательно поэтически творящаго народнаго духа, аналогичное съ языкомъ. *Этимъ онъ положилъ основаніе научному разумѣнію не только германской, но также греческой и римской и всякой другой миѳологіи.* Но въ исполненіи онъ не дѣлалъ никакого строгаго различія между дѣйствительными образами народнаго миѳа, и часто почти до тождественности похожими на нихъ метафорами и олицетвореніями субъективныхъ поэтовъ. Онъ остался также чуждъ тому взгляду, къ которому пролагалъ путь уже

---

[1]) Онъ ссылается здѣсь и на указанныя выше замѣчанія Шерера.

Гейне [1]), но еще больше Давидъ Штраусъ, что миѳъ утверждается на какомъ-нибудь опредѣленномъ міровоззрѣніи или способѣ мышленія, которыми всякій народъ долженъ по необходимости отличаться на извѣстныхъ ступеняхъ развитія. Этотъ способъ мышленія, при успѣхахъ образованія, остается достояніемъ отстающихъ низшихъ слоевъ народа и частію поддерживаетъ между ними, какъ убѣжденіе, умственные продукты прошедшаго, опереженнаго болѣе развитыми классами, частію низводитъ къ своему уровню идеи и созданія преобразованной или извнѣ заимствованной высшей религіи (христіанство, исламъ, буддизмъ и т. д.) и передѣлываетъ ихъ по своимъ категоріямъ, частію продолжаетъ обнаруживаться въ нѣкоторыхъ новыхъ миѳическихъ представленіяхъ различнаго матеріала. Ставя эти различія на второй планъ, Я. Гриммъ долженъ былъ быть склоненъ — все миѳическое въ народныхъ массахъ нашего времени принимать за осадокъ, за новую одежду, за ослабленную или болѣе грубую форму первобытной языческой миѳологіи и притомъ за продолжающійся по прямой линіи отголосокъ миѳологіи именно того народа, у котораго найдено данное преданіе. Потому что онъ упустилъ изъ виду и то, что въ теченіе исторіи непрерывное движеніе населеній и сословій и въ низшихъ классахъ народа благопріятствовало обширному обмѣну идей и преданій даже съ чужими странами. Наконецъ, онъ слишкомъ преувеличивалъ вліяніе миѳа на языкъ. Вслѣдствіе этихъ ошибокъ, Гриммъ во многихъ случаяхъ принималъ за свидѣтельства о розыскиваемой имъ нѣмецко-языческой миѳологіи какъ чисто поэтическія олицетворенія средневѣковыхъ поэтовъ [2]), такъ и преданія, возникшія изъ христіанской символики или изъ случайныхъ тенденціозныхъ фантазій церковниковъ, также и разнообразныя общечеловѣческія или чужеземныя суевѣрія, заимствованныя въ трудно опредѣлимое время. Но въ особенности... онъ слишкомъ преувеличивалъ сходство сѣверной и нѣмецкой саги, когда, по способу старой теологіи, считалъ миѳы Эдды за цѣльное соединеніе однородныхъ воззрѣній, отпечатлѣвающихъ исконную народную религію сѣверныхъ германцевъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности въ этихъ миѳахъ надо видѣть послѣдній результатъ историческаго развитія, въ которомъ главная доля принадлежитъ послѣднимъ вѣкамъ до введенія христіанства, слѣд. послѣ отдѣленія отъ южныхъ германцевъ, и въ этомъ періодѣ — преимущественно сознательному труду поэтовъ *искусственной* литературы, все дальше развивавшихъ мысли и картины своихъ предшественниковъ. Запасъ подлинныхъ

---

[1]) Т.-е. знаменитый филологъ.

[2]) Frou Zuht, Frou Ere, diu Triuwe, Wunsch и т. д.

старыхъ народныхъ миθовъ въ Эддѣ очень незначителенъ; но часто еще можно указать ступени, которыя проходила обработка отдѣльныхъ миθовъ подъ рукой поэтовъ. Эта миθологія въ гораздо большей степени, чѣмъ принимаютъ обыкновенно послѣ Гримма, была своеобразнымъ произведеніемъ скандинавскаго сѣвера, обусловленнымъ природой и исторіей ея родины".

Такимъ образомъ, продолжаетъ Маннгардтъ, приходится исключить изъ нѣмецкой миθологіи цѣлый рядъ божествъ, внесенныхъ въ нее Гриммомъ по ошибкѣ метода. Его ученики въ нѣмецкой литературѣ повторяли и часто доводили до послѣдней крайности ошибки учителя. „Прочную прибыль обѣщало только такое продолженіе начатого гигантскаго труда, которое прежде всего разобралось бы въ самомъ матеріалѣ и, не обращая вниманія на прежде выставленный результатъ, съ одной стороны сравнило бы народныя преданія между собою, съ другой—съ ближайшими родственными явленіями" и т. д. [1]).

Мы съ намѣреніемъ остановились на этихъ отзывахъ, такъ какъ у насъ не довольно извѣстна дальнѣйшая судьба трудовъ Гримма въ миθологической наукѣ, и мы предпочли кромѣ того привести слова компетентныхъ ученыхъ, изъ которыхъ Маннгардтъ былъ именно одинъ изъ ревностнѣйшихъ учениковъ Гримма; наконецъ, эти отзывы исторически любопытны потому, что русская школа послѣдователей Гримма, во главѣ которой стоитъ г. Буслаевъ, раздѣлила и достоинства и ошибки первообраза. Мы указывали выше эти достоинства —въ первой научной постановкѣ самаго вопроса, въ соединеніи массы матеріала для объясненія народной старины и поэзіи, въ любящемъ отношеніи къ предмету, хотя иногда неясномъ въ своихъ послѣднихъ историческихъ выводахъ и въ приложеніяхъ къ современной народности, но проникнутомъ несомнѣнно искренностью, наконецъ въ остроуміи многихъ объясненій и умѣньѣ воспроизводить поэтическія черты старины, какъ до тѣхъ поръ этого еще никому не удавалось. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако, слабыя стороны ученія повторились и у русскихъ послѣдователей Гримма. Если мы читаемъ у нѣмецкихъ его критиковъ замѣчанія, что онъ употреблялъ въ качествѣ миθологическаго матеріала такіе источники, которыхъ права на это сомнительны; что онъ находилъ прямую преемственность миθологическаго преданія отъ первобытной старины до современнаго сказанья и повѣрья, когда на дѣлѣ эти эпохи раздѣлены множествомъ инородныхъ вліяній и случайностей; что при этомъ, напримѣръ, онъ сводилъ къ языческому

[1]) W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte. Zweiter Teil. Berlin, 1877. Vorwort, стр. VIII — XIV.

миѳу то, что̀ было произведеніемъ средневѣкового христіанскаго преданья и церковной символики, и т. д., то всѣ эти замѣчанія приложимы и къ трудамъ нашихъ послѣдователей школы, — какъ далѣе будемъ имѣть случай видѣть.

Первое примѣненіе новаго метода къ изслѣдованію русской миѳологической старины произвело у насъ впечатлѣніе, подобное тому, какое въ Германіи надолго оставила Гриммова „Миѳологія". Передъ тѣмъ о нашей миѳологической древности знали только по скуднымъ сообщеніямъ лѣтописи, — церковные составители которой гнушались сказаніями язычества и упоминали о нихъ только при случаѣ, — и по современнымъ народнымъ повѣрьямъ, которыя сопоставлялись чисто внѣшнимъ образомъ. Теперь, подъ перомъ новыхъ ученыхъ, открывался цѣлый связный міръ преданій, которыя шли отъ древнѣйшихъ арійскихъ наслѣдій языка до современнаго народнаго преданья; въ народномъ суевѣрьѣ оказывались слѣды первобытной языческой религіи; въ сказкѣ, богатырской былинѣ продолжала жить первобытная космогонія и т. д. Когда найденъ былъ впервые ключъ къ этой темной старинѣ, изслѣдователи предприняли усердное собираніе ея остатковъ и, по примѣру Гримма, находили множество ихъ и въ нынѣ извѣстной народной поэзіи, и въ старой письменности. Но при этомъ же совершена была та ошибка, къ которой увлекалъ примѣръ знаменитаго нѣмецкаго учителя. Состояніе источниковъ было далеко не таково, чтобы ихъ можно было употреблять прямо въ качествѣ миѳологическаго матеріала. Они не были такъ обильны, какъ были источники нѣмецкіе, но часто были не менѣе сложнаго характера, такъ что нужно было выяснить ихъ раньше, чѣмъ строить на нихъ миѳологическіе выводы. Письменные памятники старины были еще мало разработаны; многіе изъ нихъ именно въ эти годы впервые привлекали къ себѣ вниманіе историковъ литературы (напр. разнообразные старинные сборники, палеи, хронографы, прологи, литература повѣствовательная, апокрифическая, травники, азбуковники и т. п.); нерѣдко отрывки изъ неизданныхъ рукописей являлись впервые въ само̀мъ миѳологическомъ изслѣдованіи, т.-е. раньше, чѣмъ самые памятники были изданы, подвергнуты предварительной критикѣ, объяснено ихъ происхожденіе, установлены тексты и т. д. Изъ этихъ памятниковъ, еще требовавшихъ первоначальнаго комментарія, прямо брались цитаты о русской *народной* древности — между тѣмъ какъ уже вскорѣ стало оказываться ихъ *книжное*, притомъ *иноземное* происхожденіе, т.-е. они оказывались источникомъ совсѣмъ иной категоріи, чѣмъ ихъ здѣсь принимали, и вели къ инымъ заключеніямъ и объ иной эпохѣ древности [1]). Въ подобномъ же положеніи нахо-

[1]) Примѣры укажемъ далѣе, гл. IV.

дились источники народно-поэтическіе. Они были довольно богаты; въ первыхъ шестидесятыхъ годахъ ихъ извѣстный прежній запасъ умножился новыми замѣчательными собраніями (Кирѣевскаго, Рыбникова, Якушкина, Варенцова, Безсонова и т. д.). Главнѣйшее вниманіе было обращено на эпосъ: онъ представлялся единымъ, цѣльнымъ и самороднымъ созданіемъ народнаго творчества и однимъ изъ основныхъ источниковъ для системы древней языческой миѳологіи. Въ эпосѣ былинъ предположено было три ступени: религіозно-миѳическая, героическая (богатырская) и историческая, связанныя крѣпкой нитью непосредственнаго развитія. Былина богатырская есть только новая метаморфоза миѳическаго эпоса; за богатырями мы можемъ еще усмотрѣть тѣнь языческаго божества, и т. д. Между тѣмъ на дѣлѣ эпосъ былинъ былъ еще сырой матеріалъ, требовавшій обработки, и когда таковая началась (позднѣе), то въ немъ оказались прежде никакъ не ожиданныя черты новой формаціи, и именно книжныя вліянія средневѣковой христіанской легенды. Такимъ образомъ и здѣсь ближайшее изученіе давало фактамъ иное хронологическое опредѣленіе, и народное преданіе получало иное историческое значеніе.

Словомъ, нужно было еще много предварительной разработки письменныхъ и народно-поэтическихъ памятниковъ, прежде чѣмъ сдѣлать изъ нихъ миѳологическій источникъ; но примѣръ Гримма былъ поражающій, объясненіе видѣлось близко, общій характеръ эпической старины казался разъ навсегда угаданнымъ,—оставалось широко пользоваться представлявшеюся массою фактовъ. Если Гримму помогалъ рѣдкій даръ комбинаціи, чтобъ возсоздавать черты древности, то этимъ даромъ замѣчательно отличаются и построенія г. Буслаева, который раздѣлялъ съ главой школы и поэтическую вѣру въ идеалъ, скрывавшійся въ начаткахъ народной жизни. Если Гриммъ, по словамъ нѣмецкаго критика, прочно устроился въ романтическомъ туманѣ древняго быта, то этотъ романтическій туманъ и подъ перомъ нашего изслѣдователя придавалъ поэтическія очертанія нашей собственной старинѣ. Изученіе исходило изъ романтической привязанности къ старинѣ, и само питало эту привязанность: при томъ настроеніи, какимъ проникался Гриммъ и его школа, древность являлась со всѣми ея привлекательными чертами. Гриммъ почти сожалѣлъ о среднихъ вѣкахъ, объ исчезновеніи многихъ обычаевъ, хотя жесткихъ и грубыхъ, но поэтически окруженныхъ. Похожее настроеніе не трудно видѣть и въ археологическихъ взглядахъ г. Буслаева: неясно высказываемые, они давали иногда поводъ къ недоразумѣніямъ, къ смѣшенію его взглядовъ съ славянофильскими стремленіями въ „мракъ временъ". Какъ недовѣрчиво, даже недружелюбно г. Бус-

лаевъ относился къ прежней литературѣ, не знавшей этого романтическаго отношенія къ народности,—хотя эта литература имѣла несомнѣнную заслугу въ возвышеніи понятія народности,—такъ, по той же причинѣ, онъ былъ не весьма дружелюбенъ и къ новѣйшему движенію, въ которомъ интересъ народа занималъ такую большую роль и возбуждалъ такія несомнѣнно искреннія сочувствія. Въ этомъ движеніи романтическій элементъ дѣйствительно часто отсутствовалъ, поглощаемый практическими стремленіями и заботами объ общественномъ, экономическомъ подъемѣ народной массы, о народной школѣ и т. д.; и тдно отрицательное отношеніе къ этой сторонѣ литературы и общественной жизни могло стать односторонностью.

Спустя четверть столѣтія г. Буслаевъ, переиздавая свои труды шестидесятыхъ годовъ по предложенію русскаго отдѣленія Академіи, писалъ: „Съ тѣхъ поръ изученія народности значительно расширилось въ объемѣ и содержаніи, и соотвѣтственно съ новыми открытіями установились иныя точки зрѣнія, которыя привели ученыхъ къ новому методу въ разработкѣ матеріаловъ. Такъ-называемая Гриммовская школа съ ея ученіемъ о самобытности народныхъ основъ миѳологіи, обычаевъ и сказаній, которое я проводилъ въ своихъ изслѣдованіяхъ, должна была уступить мѣсто теоріи взаимнаго между народами общенія въ устныхъ и письменныхъ преданіяхъ. Многое, что признавалось тогда за наслѣдственную собственность того или другого народа, оказалось теперь случайнымъ заимствованіемъ, взятымъ извнѣ вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе объясняемыхъ историческими путями, по которымъ направлялись эти культурныя вліянія“ [1]).

Рѣшаясь по упомянутому вызову напомнить о своихъ старыхъ работахъ новому поколѣнію ученыхъ, г. Буслаевъ представлялъ эти работы только въ видѣ „матеріаловъ для исторіи науки по изученію старины и народности“. Но въ данномъ случаѣ историческое значеніе есть великая историческая заслуга. Если установились новыя точки зрѣнія, которыя повели къ новому методу изслѣдованія, то остается въ высокой степени важенъ первый толчекъ и первые опыты изслѣдованія, до тѣхъ поръ въ нашей литературѣ невиданные и неизвѣстные. Въ этомъ научномъ отношеніи заслуга г. Буслаева наглядно обнаруживается чрезвычайнымъ расширеніемъ изслѣдованій по русской старинѣ и народности частію въ томъ самомъ направленіи, частію въ направленіяхъ сосѣднихъ, гдѣ опять вліяніе его указаній

[1]) „Народная поэзія“. Спб. 1887, предисловіе.

и примѣра было несомнѣнно. На первый разъ существенно важно было то, что изслѣдованіе народно-поэтической старины поставлено было какъ цѣльная научная теорія: каковы бы ни были потомъ новые взгляды, изслѣдованіе уже не сходило и не могло сойти съ научнаго пути; тотъ произволъ и случайность, которые въ прежнее время играли такую большую роль въ объясненіяхъ старины, уже не могли имѣть мѣста; они были осуждены впередъ. Но кромѣ научной стороны была въ трудѣ г. Буслаева другая сторона, общественно-нравственная.

Взгляды г. Буслаева въ этомъ отношеніи были нѣсколько сложны и въ нашей литературѣ были во всякомъ случаѣ оригинальною новостью. Къ нашему археологу перешла та преданная, ревнивая любовь къ народности и ея созданіямъ, какая отличала благороднаго основателя школы, то же глубокое убѣжденіе въ высокомъ нравственномъ достоинствѣ народной поэзіи; отъ него не скрываются печальныя и мрачныя стороны прошедшаго, скудость умственной жизни, грубая жестокость нравовъ; приглядываясь къ старинѣ, онъ вспоминаетъ стихъ знаменитаго поэта—Quanto si mostra men, tanto è piu bella [1]), но въ то же время она кажется ему, какъ нѣмецкая старина Гримму, наивной, но возвышенной и поэтической Аркадіей, за которую онъ ломаетъ копья противъ тѣхъ, кто осмѣлится отозваться о ней неуважительно. Онъ относится враждебно къ литературѣ прогрессивной школы сороковыхъ годовъ—какъ любой славянофилъ; но находитъ и мѣткія, суровыя слова осужденія противъ славянофильскихъ пристрастій—какъ истый западникъ... Новѣйшій интересъ литературы и общества къ народу издавна не удовлетворялъ г. Буслаева [2]); ему всегда была несочувственна въ новой литературѣ ея подражательность, ея заимствованія изъ Европы и вмѣстѣ забывчивость о народныхъ элементахъ; теперь ему казалось, что даже интересы къ народности брались съ чужого примѣра, „на обумъ" и т. д. Можно было бы многое сказать на эти осужденія, напр., что наши заимствованія европейскихъ идей представляютъ (въ особыхъ нашихъ условіяхъ) явленіе *той самой* „взаимности умственныхъ интересовъ", какую авторъ находитъ законной и разумной въ отношеніяхъ европейскихъ литературъ [3]); что новое направленіе литературы отозвалось у насъ небывалою прежде массою цѣнныхъ трудовъ по всестороннему изученію народной жизни. Далѣе, авторъ не однажды вооружается противъ писателей (напр., не однажды противъ Костома-

[1]) Историч. Очерки, II, 90.

[2]) См., напр., вводныя страницы къ ст. о „Русскомъ богатырскомъ эпосѣ", въ Р. Вѣстн. 1862, № 3, стр. 14 и далѣе; и др.

[3]) Тамъ же, стр. 6—7.

рова), находившихъ въ народно-поэтической старинѣ проявленія мало нравственной грубости. „Хвалить свое смѣшно,—говоритъ онъ,—потому что и безъ того извѣстно, что всякому свое мило, и такая похвальба всегда можетъ быть заподозрѣна въ пристрастіи; поносить же свою старину и народность значило бы унижать самого себя въ собственныхъ своихъ глазахъ, и въ добавокъ—быть очень невѣжливымъ къ своимъ соотечественникамъ. Очень понятно презрѣніе къ какому-нибудь современному злу родной земли, потому что преслѣдованіемъ существующаго зла можно его устранить; но смѣшно ратовать и донкихотствовать противъ пороковъ и недостатковъ, уже отжившихъ". Авторъ, впрочемъ, и не закрываетъ старины отъ критики. „Любить родную старину и народность—не значитъ все видѣть въ радужномъ свѣтѣ своихъ идиллическихъ мечтаній; и наоборотъ—съ интересомъ останавливаться на темныхъ сторонахъ древне-русской жизни и въ подробности изучать ихъ, столь же безпристрастно какъ и все свѣтлое и прекрасное, завѣщанное намъ стариною—вовсе не значитъ быть чужду народныхъ симпатій, не любить своего, русскаго" [1]. Но опредѣлять разницу „изученія темныхъ сторонъ жизни" и ея „поношенія" можетъ иногда и очень капризный вкусъ, который можетъ отыскать послѣднее тамъ, гдѣ есть только первое, и при этомъ забыть, что у насъ осужденія старины всего чаще бывали только отвѣтомъ на ея прикрашиванье въ противномъ лагерѣ, гдѣ восхваленія старины слишкомъ часто бывали оружіемъ для защиты застоя. Оставаясь въ области теоріи и идеала, г. Буслаевъ не всегда ясно высказывалъ свои понятія о томъ, какой практическій выводъ въ современной жизни должно имѣть уваженіе къ народности: не мудрено, что его взгляды подавали поводъ къ недоумѣніямъ [2]).

Впрочемъ оставимъ эту полемическую сторону взглядовъ г. Буслаева: она занимаетъ второстепенное мѣсто въ его трудахъ. Источникъ этого полемическаго настроенія понятенъ. Долго изучая старину, ея мрачныя и свѣтлыя явленія, г. Буслаевъ вынесъ убѣжденіе въ существованіи въ этой жизни возвышенныхъ нравственныхъ идеаловъ, и онъ ревниво бережетъ это убѣжденіе, пріобрѣтенное цѣной неустанныхъ изысканій; онъ не хочетъ, чтобы къ этому идеалу касалась рука непосвященныхъ... Но вопросъ народности существуетъ не только въ романтической или ученой идеализаціи, но и въ жизни. Нужна защита народности, т.-е. основныхъ интересовъ народа, среди общества еще слишкомъ грубаго, и не только въ области поэтической археологіи, но и въ насущныхъ вопросахъ народной жизни,

[1]) Истор. Очерки, II, 102.

[2]) Объ этомъ см., напримѣръ, въ статьѣ г. Стасова, „Вѣстн. Евр." 1870, февраль, стр. 919—920, 934—935 и др.

общественной, экономической и нравственной... Какъ бы отрицательно ни относился г. Буслаевъ къ извѣстнымъ направленіямъ новѣйшей литературы, начиная съ критики Бѣлинскаго, исторія скажетъ, что онъ, проповѣдуя уваженіе къ народному преданію и народной мысли, дѣлалъ, въ существѣ своихъ трудовъ, то же самое дѣло, какъ и эта литература—защищалъ, съ своей точки зрѣнія и въ своей области, интересы народа въ канунъ освобожденія крестьянъ и послѣ реформы.

Для того, чтобы привязанность къ народному преданію не осталась одной романтической мечтательностью, она должна дать мѣсто и историческому движенію народности. Народныя массы обыкновенно хранятъ усердно старину, но эпическія времена прошли или проходятъ. „Прогрессъ совершается благодаря разуму, — читали мы недавно (1883) въ рѣчи Ренана.—Одинъ лишь образованный умъ способенъ созидать... Образованіе *личности* стало настоятельной необходимостью. То, чтó въ прежнія времена дѣлалось съ помощью наслѣдственности, вѣкового обычая, преданій семейныхъ и народныхъ, теперь можетъ быть достигаемо только съ помощью образованія“. Нужно, чтобы любовь къ народности не забывала этихъ новыхъ условій народной жизни и дала ей здѣсь такую же поддержку науки, какую направляла на ея старыя преданія.

ГЛАВА IV.

А. Н. Аѳанасьевъ: труды по этнографіи.

Имя Аѳанасьева принадлежитъ къ числу наиболѣе симпатичныхъ именъ въ исторіи русской науки, посвященной изслѣдованію русской народности и старины. Въ наше время еще многіе помнятъ этого ученаго изслѣдователя, въ которомъ глубокая любовь къ наукѣ связывалась съ живымъ интересомъ къ народной жизни, и мягкое, человѣчное чувство къ своему народному освѣщалось трудолюбивымъ изученіемъ. Александръ Николаевичъ Аѳанасьевъ (род. 1826 г.) былъ уроженцемъ воронежской губерніи, гдѣ сливаются двѣ великія отрасли русскаго племени: его трудъ направился впослѣдствіи преимущественно на изученія великорусскія, когда трудъ его старшаго земляка, Костомарова, былъ въ особенности посвященъ Малороссіи. Аѳанасьевъ учился въ воронежской гимназіи и, окончивъ тамъ курсъ въ 1844 году, поступилъ въ московскій университетъ по юридическому факультету. Въ то время юристы слушали вмѣстѣ съ „словесниками" лекціи по литературѣ и всеобщей исторіи, такъ что Аѳанасьевъ на своемъ факультетѣ былъ ученикомъ Крылова, Рѣдкина, Баршева и др. въ лучшую пору ихъ дѣятельности и Кавелина, тогда только-что вступавшаго на учено-литературное поприще, а также былъ слушателемъ Шевырева и Грановскаго. „Сороковые года" оставили на немъ печать идеализма, нравственныхъ требованій, твердой вѣры въ просвѣщеніе, которыя составляютъ столь привлекательную черту лучшихъ людей той эпохи.

Университетское образованіе Аѳанасьева было такимъ образомъ собственно юридическое и его первыя литературныя работы, начатыя еще во время пребыванія въ университетѣ, носили слѣдъ этой спеціальности, но по преимуществу или исключительно въ историческомъ примѣненіи. Выше мы говорили, что въ то время подъ влія-

ніемъ западной науки у насъ совершался сильный поворотъ въ исторіографіи, отличительной особенностью котораго было стремленіе изслѣдовать самый генезисъ историческихъ явленій, осмыслить факты прошедшаго указаніемъ ихъ развитія изъ первыхъ зачатковъ до позднѣйшихъ сложныхъ формъ общественнаго быта. Къ исторической школѣ Соловьева и Кавелина достойнымъ образомъ примыкаетъ Аѳанасьевъ въ своихъ первыхъ работахъ по исторіи нашего юридическаго быта [1]), въ рядѣ историческихъ рецензій; наконецъ въ своихъ позднѣйшихъ работахъ по миѳологіи, этнографіи и археологіи Аѳанасьевъ вступилъ на дорогу, открытую передъ тѣмъ г. Буслаевымъ.

По окончаніи университетскаго курса въ 1848, Аѳанасьевъ въ слѣдующемъ году поступилъ на службу въ московскій Главный Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, въ 1855 назначенъ былъ начальникомъ отдѣленія, а затѣмъ правителемъ дѣлъ состоящей при этомъ Архивѣ Коммиссіи печатанія государственныхъ грамотъ и договоровъ и въ этой должности оставался до 1862 года. Въ этомъ году его постигла бѣда: онъ, одновременно съ А. А. Котляревскимъ, былъ привлеченъ къ слѣдствію по „политическому“ дѣлу. Все дѣло состояло въ свиданіи съ состоявшимъ тогда въ эмигрантахъ, извѣстнымъ В. Кельсіевымъ, пріѣхавшимъ въ Москву по подложному иностранному паспорту; никакихъ практическихъ результатовъ это свиданіе не имѣло и Аѳанасьевъ былъ освобожденъ отъ слѣдствія, но тѣмъ не менѣе потерялъ службу, которая такъ отвѣчала направленію его ученыхъ работъ, а со службой и средства существованія. Начались заботы о кускѣ хлѣба для себя и для семьи; только послѣ усиленныхъ хлопотъ онъ получилъ въ Москвѣ мѣсто секретаря въ думѣ, а потомъ секретаря мирового съѣзда: существованіе его было этимъ нѣсколько обезпечено, но за то служебныя обязанности почти не оставляли досуга для тѣхъ работъ, которыя были настоящимъ дѣломъ его жизни. Въ прежнее время у него собралась замѣчательная, драгоцѣнная библіотека книгъ рукописей: она не помѣщалась въ тѣсной квартирѣ, была сложена въ сарай, а затѣмъ при домашнихъ недостаткахъ продана — по обыкновенію за безцѣнокъ. Надо удивляться, какъ въ этихъ тяжкихъ условіяхъ Аѳанасьевъ могъ совершить свой замѣчательный трудъ, изданный въ эти самые годы

[1]) Напр. „Государственное устройство при Петрѣ Великомъ“, въ „Современникѣ“, 1847, № 6—7; о „Вотчинахъ и помѣстьяхъ“, въ „Отеч. Запискахъ“, 1848, № 6—7; рядъ критическихъ разборовъ книгъ по русской исторіи, какъ напр. „Исторіи финансовыхъ учрежденій“ гр. Д. Толстого, „Исторія русской церкви“ епископа Филарета, „Дневника Гордона“ и мног. др.

и требовавшій сложныхъ поисковъ и упорнаго вниманія: это могла сдѣлать только преданная любовь къ наукѣ и къ изучаемому народу.

Какъ мы замѣтили, Аѳанасьевъ еще юношей, въ концѣ сороковыхъ годовъ, выступилъ съ серьезными работами по исторіи, потомъ по исторіи литературы, особливо XVIII вѣка: въ этой послѣдней области ему принадлежитъ нѣсколько интересныхъ трудовъ [1]). Уже вскорѣ однако главный научный интересъ Аѳанасьева обратился на другую область народной старины—на объясненіе народнаго миѳа, преданій, поэзіи и слѣдовъ древности въ современномъ бытѣ и обычаѣ. Первая инициатива этого направленія дана была, какъ объяснено выше, въ трудахъ г. Буслаева и частію Срезневскаго; наряду съ ними Аѳанасьевъ явился самымъ ревностнымъ работникомъ па этомъ поприщѣ, въ то время еще совершенно новомъ въ нашей литературѣ. Переходъ отъ прежнихъ историческихъ занятій къ этой древности былъ впрочемъ естественный: археолого-этнографическія изысканія исходили изъ того же общаго историческаго интереса—стремленія объяснять генезисъ развитія. Казалось, что въ этихъ новыхъ изслѣдованіяхъ наука подойдетъ къ самымъ первымъ зачаткамъ народной жизни и мысли — миѳологической и бытовой, къ исходному пункту дальнѣйшей сложной исторіи. Родоначальникомъ новой науки для нашихъ изслѣдователей былъ Яковъ Гриммъ, и какъ у него „Нѣмецкой Миѳологіи“ предшествовали „Древности нѣмецкаго права“, такъ и у насъ старая народная миѳологія привлекла вниманіе новыхъ изслѣдователей наряду съ древностями бытовыми. Дальнѣйшая дѣятельность Аѳанасьева на этомъ пути совершалась послѣ Гримма, подъ вліяніемъ Куна и Шварца, затѣмъ Макса Мюллера и Пиктѐ.

Новыми поисками были заинтересованы и тѣ историки, которые, какъ замѣчено, около того же времени обновляли и расширяли русскую исторію, ставя вопросъ о внутреннемъ ходѣ историческаго развитія, какъ Соловьевъ и Кавелинъ; послѣдній даже ранѣе, и независимо отъ филологовъ-этнографовъ, приходилъ къ подобному генетическому объясненію народнаго обычая. Съ первыхъ 1850-хъ годовъ идетъ длинный рядъ трудовъ Аѳанасьева въ этомъ направленіи [2]).

[1]) „Русскіе сатирическіе журналы. Эпизодъ изъ исторіи прошлаго столѣтія“. М. 1859, и нѣсколько статей по тому же предмету. „Библіографическія Записки“, 1858—59, гдѣ между прочимъ помѣщено нѣсколько его собственныхъ любопытныхъ статей о малоизвѣстныхъ явленіяхъ нашей литературы XVIII и XIX столѣтій,—были замѣчательнымъ предпріятіемъ для своего времени, не потерявшимъ цѣны и понынѣ.

[2]) Въ „Архивѣ историко-юридич. свѣдѣній“ Калачова, въ „Извѣстіяхъ“ II отд. Академіи, „Отеч. Запискахъ“, „Современникѣ“, „Библ. для чтенія“, въ альманахѣ „Комета“, „Филологическихъ Запискахъ“ г. Хованскаго и др.

Кромѣ общихъ вопросовъ о началѣ и развитіи миѳа здѣсь объясняемы были отдѣльныя частности древняго преданія съ его отголосками въ живомъ народномъ обычаѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Аѳанасьевъ предпринялъ изданіе самыхъ памятниковъ народнаго преданія и поэзіи. Таковы были извѣстныя „Русскія народныя сказки“ [1]), первый научно исполненный сборникъ этого рода въ нашей литературѣ, составленный въ значительной мѣрѣ по матеріаламъ Географическаго Общества: въ предисловіи Аѳанасьевъ указывалъ значеніе сказки какъ остатка до-историческаго преданія, откуда объясняется замѣчательное сходство сказокъ у разныхъ народовъ, отмѣтилъ немногія прежнія изданія сказокъ, въ примѣчаніяхъ приводилъ параллели изъ сказокъ другихъ народовъ и изъ лубочныхъ изданій. Вторымъ замѣчательнымъ изданіемъ Аѳанасьева было собраніе легендъ [2]), къ сожалѣнію потомъ, и не для пользы науки, по цензурнымъ причинамъ не повторенное и ставшее библіографическою рѣдкостью.

Главнѣйшимъ трудомъ Аѳанасьева была книга: „Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу“, о которыхъ подробно скажемъ далѣе. Это—громадная работа, гдѣ Аѳанасьевъ, изложивъ теорію миѳа, насколько онъ выработалъ ее на основаніи изысканій, авторитетныхъ тогда въ западной наукѣ, далъ систематическій обзоръ русскихъ и славянскихъ миѳическихъ преданій; для этого онъ сопоставилъ разнообразный матеріалъ славянскій и русскій, воспользовавшись обширными, хотя отрывочными, данными въ литературѣ и особливо въ мало извѣстныхъ и мало доступныхъ провинціальныхъ изданіяхъ. Исходя изъ теорій Гримма, Шварца, Макса Мюллера и пр., Аѳанасьевъ и въ свое время понималъ ихъ съ нѣкоторыми преувеличеніями, увѣренный въ непогрѣшимости своихъ авторитетовъ; не мудрено, что впослѣдствіи, и даже скоро, когда въ изслѣдованіе предмета вошли новыя точки зрѣнія, какъ теорія заимствованій Бенфея и т. п., излишества прежняго пріема становились тѣмъ ощутительнѣе,—но книга Аѳанасьева несмотря на то остается и вѣроятно еще долго останется драгоцѣннымъ сборникомъ приведенныхъ въ порядокъ данныхъ, какъ опытъ цѣльнаго изложенія, какіе у насъ къ сожалѣнію слишкомъ рѣдки. Трудъ Аѳанасьева остался недовершеннымъ: за изложеніемъ „поэтическихъ воззрѣній“ должно было слѣдовать изложеніе древностей бытовыхъ.

---

[1]) Восемь выпусковъ. М. 1855—1863. Нѣкоторые выпуски были переизданы. Изд. 2-е, 1873. Кромѣ того изданы были имъ „Русскія дѣтскія сказки“, съ картинами. 2 части. М. 1870.

[2]) Народныя русскія легенды, собранныя А. Н. Аѳанасьевымъ. М. 1859. XXXII и 203 стр. Всего 33 нумера; со стр. 115 помѣщены объяснительныя примѣчанія и варіанты.

Труды Аѳанасьева имѣютъ также большую цѣну для русской археологіи. Онъ изучалъ миѳъ и преданіе не въ одной области народной поэзіи: предполагая въ первобытныя времена повсюдное господство миѳа, какъ состоянія мысли, наполнявшаго и бытъ, Аѳанасьевъ слѣдилъ отраженіе и примѣненіе миѳа также во внѣшнемъ обычаѣ и обрядѣ. Въ его первыхъ работахъ уже намѣчены вопросы археологіи быта, когда онъ старался объяснить археологическое значеніе „избы славянина“ или нашего „Домостроя“, или объяснялъ смыслъ извѣстнаго обряда, символическаго дѣйствія и пр.; множество замѣтокъ подобнаго рода разсѣяно въ его главномъ трудѣ. Эта бытовая археологія, затронутая Аѳанасьевымъ — хотя и съ слишкомъ исключительной точки зрѣнія, до сихъ поръ еще мало разработана въ нашей наукѣ.

Такимъ образомъ дѣятельность Аѳанасьева касалась весьма различныхъ областей нашей старины: начавъ съ историко-юридическихъ изслѣдованій о нашемъ XVIII вѣкѣ, онъ работалъ надъ исторіей литературы и нравовъ прошлаго и нынѣшняго вѣка, далъ замѣчательныя для своего времени и до сихъ поръ незамѣненныя другими изданія русскихъ народныхъ сказокъ и легендъ, далѣе, сосредоточилъ свои труды на изслѣдованіи миѳологическихъ преданій русскихъ и славянскихъ, наконецъ, на археологіи быта.

Онъ умеръ 23 сентября 1871 года. Какъ личный характеръ, Аѳанасьевъ оставилъ по себѣ память безупречнаго человѣка, горячо преданнаго интересамъ науки, работавшаго для нея съ рѣдкимъ трудолюбіемъ, доходившимъ до самоотверженія, и вмѣстѣ принимавшаго къ сердцу живые вопросы общественной жизни. Воспитавшись въ просвѣщенномъ кругѣ сороковыхъ годовъ, Аѳанасьевъ сохранялъ выработавшійся въ то время складъ понятій объ общественныхъ предметахъ: труды по археологіи и этнографіи не сдѣлали его ни консерваторомъ, ни національнымъ мистикомъ; его одушевляла мысль о просвѣщеніи и общественномъ благѣ народа, и кромѣ научнаго интереса, его изученія старины проникались стремленіемъ разъяснить внутреннюю жизнь народа, внушить къ ней любовь и уваженіе. То гуманно-поэтическое настроеніе, которое мы указывали у Гримма, какъ нравственное сопровожденіе научной теоріи, встрѣтилось и совпало у русскаго изслѣдователя съ его собственнымъ нравственнымъ содержаніемъ, воспитавшимся на лучшихъ стремленіяхъ нашихъ сороковыхъ годовъ [1]).

---

[1]) Біографическія свѣдѣнія объ Аѳанасьевѣ и оцѣнка его трудовъ:

— Отрывокъ изъ воспоминаній Аѳ., въ „Р. Архивѣ“ 1872, № 3 — 4 (о гимназическомъ ученьѣ).

Итакъ, въ своихъ трудахъ, посвященныхъ этнографіи, Аѳанасьевъ остановился въ особенности на вопросахъ миѳологіи. Книга, въ которой онъ собралъ свои изслѣдованія, представляетъ цѣлое систематическое изложеніе предмета, охватываетъ весь горизонтъ древней миѳологіи. Она давала большой запасъ миѳологическихъ фактовъ и объясненій и стала кодексомъ, по которому тѣ же взгляды распространялись далѣе, въ новыя изслѣдованія, въ популярныя изложенія и въ учебники [1]).

Основной взглядъ Аѳанасьева—тотъ же, основанный на трудахъ Гримма и его продолжателей, а именно Куна, Шварца, Маннгардта, наконецъ, Макса Мюллера.

Могущественное вліяніе Гриммовой „Миѳологіи" оказалось въ появленіи многочисленной школы изыскателей, которые съ одной стороны ревностно принялись за собираніе сказокъ, преданій и т. п., —подъ руками Гримма доставлявшихъ такой благодарный матеріалъ для раскрытія миѳологической древности,—съ другой развивали самый методъ изслѣдованія. Особенно важныя новыя изысканія сдѣланы были учеными, имена которыхъ мы назвали.

Гриммъ въ своей картинѣ древняго нѣмецкаго язычества и средневѣковой популярной религіи задавался научно-патріотической цѣлью: онъ хотѣлъ защитить старину, возсоздавая то міровоззрѣніе, въ какомъ жили отдаленнѣйшіе предки его народа, отыскать въ остаткахъ его возвышенныя и поэтическія черты, которыхъ такъ долго не замѣчали въ этой древности, указать въ нихъ то нравственное достоин-

— „Московскій университетъ въ воспоминаніяхъ А. Н. Аѳ., 1843—1849". Сообщ. Е. А. Аммонъ, въ „Р. Старинѣ", 1886, августъ.

— Перечень трудовъ Аѳ., имъ самимъ составленный, въ „Р. Архивѣ", 1871, ст. 1948—55.

— Некрологъ Аѳ., К. Бестужева-Рюмина, въ Журн. Мин. Просв. 1871, № 10, стр. 319—321.

— „Памяти Аѳанасьева", М. Де-Пуле, Спб. Вѣдомости, 1871, № 298.

— Краткая біографія, П. Ефремова, въ „Р. Старинѣ" 1872, V, стр. 787—790.

— Справочный словарь, Геннади, Берлинъ, 1876, I, стр. 54—55.

— Критико-біографическій словарь, Венгерова, Спб. 1889, I, стр. 860—870, ст. А. Кирпичникова.

Разборъ „Поэтическихъ Воззрѣній", А. Котляревскаго, въ X-мъ и XIII-мъ присужденіяхъ Уваровскихъ премій, 1867 и 1872 г. (Сочиненія А. А. Котляревскаго, т. II, Спб. 1889, стр. 256—359); о „Сказкахъ": „Извѣстія" II отд. Акад., т. IV, вып. 7; т. V, вып. 6; статья г. Буслаева въ „Р. Вѣстникѣ" 1856, № 2, стр. 85—94; ст. А. Котляревскаго, „Спб. Вѣдомости" 1864, № 94, 100, 108, и въ „Сочиненіяхъ", т. II, стр. 27—60.

[1]) Поэтическія воззрѣнія Славянъ на природу. Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ преданій и вѣрованій, въ связи съ миѳическими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Три большихъ тома. Москва, 1865, 1868, 1869.

ство, съ которымъ выступилъ народъ съ первыхъ шаговъ своихъ въ исторію... Наукѣ предстояли затѣмъ другія задачи: съ одной стороны ученые старались умножить миѳологическій матеріалъ, спѣша собирать его изъ устъ народа; съ другой являлась необходимость опредѣлить вопросы, не вполнѣ выясненные Гриммомъ,—установить путь изслѣдованія, и, наконецъ, выяснить самый процессъ созданія миѳологіи, образованіе миѳа, его возростаніе, его значеніе, какъ поэзіи и какъ религіи, его превращенія и упадокъ, и т. д. Особенно важныя изслѣдованія сдѣланы были учеными, имена которыхъ мы назвали. Большое вліяніе пріобрѣли уже вскорѣ труды Адальберта Куна, одного изъ главнѣйшихъ авторитетовъ въ области сравнительнаго языкознанія [1]). Кунъ распространилъ методъ Гримма на область индо-европейскую, и съ одной стороны прослѣдилъ въ памятникахъ санскрита развитіе миѳа, отъ старѣйшихъ представленій до цѣлой развитой системы, съ другой, указалъ возможность раскрытія того первобытнаго начала, которое лежало въ основѣ этого развитія и послужило источникомъ для образованія миѳологіи греческой и римской. Съ этими результатами было подорвано старое представленіе о миѳологіи народа какъ готовой системѣ, и задачей науки становился вопросъ объ ея *развитіи*. Изслѣдованіе нѣмецкой и вообще иной ново-европейской миѳологіи неразрывно связывалось съ объясненіемъ миѳологіи классическихъ, и вообще арійскихъ племенъ. На этой новой ступени наука охватывала все болѣе и болѣе обширный горизонтъ. Исключительно національная точка зрѣнія расширялась до изслѣдованія всей индо-европейской семьи народовъ; изслѣдованія Макса Мюллера направились на изученіе самой сущности миѳа; основаніе „народной психологіи" ставило вопросъ объ общихъ законахъ религіознаго мышленія, на общечеловѣческой почвѣ. Это широкое развитіе научныхъ изысканій о миѳѣ и религіи Маннгардтъ приписываетъ именно возбужденіямъ Куна [2]).

Въ собираніи нѣмецкихъ народныхъ преданій, еще съ начала сороковыхъ годовъ, сотрудникомъ Куна былъ другой ученый, получившій потомъ также авторитетное имя въ миѳологической наукѣ— В. Шварцъ [3]). Во время своихъ собирательскихъ работъ эти ученые

---

[1]) Кунъ съ 1852 издавалъ „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung", гдѣ помѣщено много его миѳологическихъ трудовъ; вмѣстѣ съ знаменитымъ языковѣдомъ Шлейхеромъ—Beiträge zur vergl. Sprachforschung. Извѣстнѣйшій трудъ Куна есть: Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Berl. 1859; Entwickelungsstufen des Mythus, въ Abhandlungen берлинской академіи, 1873.

[2]) Wald- und Feldkulte, II, стр. XVI.

[3]) Главнѣйшіе труды его по этому предмету:—Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum, mit Bezug auf Norddeutschland. Berl. 1849, 2-е изд. 1862;—

обратили вниманіе на совпаденіе нѣкоторыхъ преданій съ живымъ народнымъ взглядомъ на природу: это привело Куна къ наблюденію аналогическихъ явленій въ индійскихъ Ведахъ; Шварцъ пришелъ къ выводу, что въ сказаніяхъ, живущихъ донынѣ въ народѣ, заключается такъ-называемая имъ „низшая миѳологія", которая до настоящаго времени сохраняетъ прежнее состояніе, зачаточную форму позднѣйшихъ божествъ,—хотя бы эти послѣднія были извѣстны теперь изъ очень древнихъ историческихъ свидѣтельствъ. Такимъ образомъ, въ современномъ преданьѣ мы имѣемъ не ослабленные отголоски болѣе развитой первобытной миѳологіи (предполагавшейся, напр., въ Эддѣ), какъ думалъ Гриммъ, но именно древнѣйшіе мотивы, изъ которыхъ она сама нѣкогда развилась. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сдѣлалъ важное наблюденіе тѣхъ перемѣнъ, какія испытываетъ преданіе, переходя изъ устъ въ уста. Своими изслѣдованіями подобныхъ остатковъ первобытнаго, болѣе грубаго міровоззрѣнія въ миѳологіи и другихъ народовъ, Шварцъ способствовалъ дальнѣйшему развитію науки. Но въ предѣлахъ спеціально миѳологическихъ толкованій онъ не сохранилъ, однако, своихъ первыхъ болѣе широкихъ взглядовъ. Позднѣе, и именно въ главныхъ трудахъ своихъ, онъ, вмѣстѣ съ Куномъ, слишкомъ тѣсно объяснялъ самый источникъ народнаго миѳологическаго творчества. Вся миѳологія, по этимъ толкованіямъ, состояла только въ перенесеніи на землю образовъ явленій природы и, у Шварца, спеціально явленія бури и грозы,—теорія, которая особенно понравилась нашимъ изслѣдователямъ, внесла много фантастическаго произвола въ изложеніе славяно-русской миѳологіи и много повредила замѣчательному труду Аѳанасьева [1]).

Книга Куна о „Низведеніи огня" вышла въ 1859; а незадолго передъ тѣмъ, въ 1856, вышли „Оксфордскія статьи", которыми открылась плодовитая, оригинальная и вліятельная дѣятельность Макса Мюллера, знаменитаго санскритиста, сравнительнаго языковѣда и миѳолога [2]).

Der Ursprung der Mythologie, dargelegt an griechischer und deutscher Sage, 1860; —Sonne, Mond und Sterne. Ein Beitrag sur Mythologie und Culturgeschichte der Urzeit. 1864.

[1]) Хотя уже у Гримма (Mythol., 2-е изд., стр. XLVII) можно было найти предостереженіе противъ такой односторонности: „heidnische Götter darf man ausschliesslich weder auf Astrologie und Calender noch auf Elementarkräfte, noch auf sittliche Gedanken, vielmehr nur auf ein beständiges unablässiges Wechselwirken dieser aller zurückbringen"—что̀ онъ самъ и дѣлалъ.

[2]) Максъ Мюллеръ уже съ 1840-хъ годовъ былъ извѣстенъ своими трудами въ области санскритской литературы. Прошедши ученую школу нѣмецкую, онъ дѣйствовалъ большую часть своей жизни въ Англіи; по-англійски являлись и его ученые труды:—Oxford Essays, 1856, гдѣ явилась его „Сравнительная миѳологія", переведен-

М. Мюллеръ выступилъ съ широкой, своеобразной теоріей. Онъ принялъ въ древнѣйшей, до-исторической жизни народовъ четыре періода развитія: въ первый, „рематическій", періодъ совершалось образованіе корней и первоначальныхъ грамматическихъ формъ; во второй, періодъ „діалектовъ", произошло обособленіе трехъ основныхъ семействъ языковъ—семитическаго, арійскаго и туранскаго; въ третій, періодъ „миѳологическій", происходило образованіе тѣхъ странныхъ, иногда нелѣпыхъ народныхъ разсказовъ, которые извѣстны подъ названіемъ миѳовъ, и такъ какъ въ этомъ періодѣ арійское, или индо-европейское, семейство еще не разбилось на отдѣльные народы, то отсюда произошло чрезвычайное сходство, почти тождество миѳовъ у народовъ этого семейства. Наконецъ, въ четвертомъ періодѣ, періодѣ „народовъ", являются первые слѣды народныхъ языковъ и національныхъ литературъ въ Индіи, Греціи, Италіи, Германіи. Въ періодъ созданія миѳовъ, языкъ отличался чувственнымъ, нагляднымъ характеромъ, называлъ только предметы и ихъ доступныя чувствамъ состоянія; понятій и словъ отвлеченныхъ,—требующихъ сознательной работы мысли,—еще не было, и вслѣдствіе того явленія природы, годовыя и суточныя перемѣны, гроза и буря были олицетворяемы. Созданіе миѳовъ объясняется этимъ свойствомъ первобытнаго языка и тѣми явленіями его, которыя М. Мюллеръ называетъ полинимизмомъ и синонимизмомъ (многоименностью и соименностью). Такъ какъ предметы назывались по внѣшнимъ признакамъ, а этихъ признаковъ могло быть много, то одинъ и тотъ же предметъ могъ получать много различныхъ названій, которыя въ этомъ случаѣ бывали синонимическими. Но въ то же время одинъ признакъ могъ принадлежать многимъ предметамъ, и они по этому общему признаку могли получать одно названіе. Многія изъ этихъ названій бывали метафорическими, и когда метафоры, съ теченіемъ времени, затемнялись и измѣнялось первоначальное значеніе словъ, то въ результатѣ нарицательныя слова дѣлались собственными, наприм., слово, означавшее

ная по-русски въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности" Тихонравова, т. V, 1863 (французскій переводъ съ болѣе полнаго изданія: Essais sur la mythologie comparée, les traditions et les coutumes. Paris, 1874);—Lectures on the science of language, двѣ серіи, 1862—64, явились также въ нѣмецкомъ переводѣ (Vorlesungen etc.) и по-русски: „Чтенія по наукѣ о языкѣ", Спб. 1865, 1-я серія, а 2-я серія, позднѣе, въ „Филологич. Запискахъ"; — Ships from a German workshop, 4 vol., Lond. 1867—75;—далѣе книга о сравнительной наукѣ религіи (нѣмецкій переводъ: Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft, nebst zwei Essais „über falsche Analogien" und „über Philosophie der Mythologie". Strassburg 1873) и проч.

Разборъ его теоріи въ статьѣ г. В. Плотникова: „Замѣтки о сравнительной миѳологіи Макса Мюллера", въ Филол. Записк. 1879, вып. 2 и 6.

„небо“, превращалось въ имя небеснаго божества. Съ этимъ начинался миѳъ. Такимъ образомъ, „чтобы стать миѳологическими, извѣстныя слова должны были потерять свое коренное значеніе“, и слѣдовательно миѳологія происходитъ отъ ненормальнаго состоянія языка. М. Мюллеръ прямо высказываетъ свое знаменитое мнѣніе, что „миѳологія есть *болѣзнь* языка“.—Для анализа миѳа необходимо предварительно „очистить“ его, т.-е. выдѣлить его сущность отъ позднѣйшихъ приставокъ, поэтическихъ украшеній и т. п.; и затѣмъ сущность миѳа выясняется или прямо изъ самаго языка того народа, которому онъ принадлежитъ (объясненіе собственнаго имени божества его нарицательнымъ значеніемъ), или, если въ самомъ языкѣ это слово затемнилось, сравненіемъ съ языками родственными. Отсюда —„сравнительная миѳологія“.

Что касается объективнаго содержанія миѳовъ, то М. Мюллеръ изъ своего изученія арійскихъ миѳовъ пришелъ къ выводу, что въ основѣ почти всѣхъ миѳовъ лежитъ представленіе о *солнцѣ*, — въ противоположность взглядамъ Куна, который, по его мнѣнію, слишкомъ исключительно привязывалъ миѳы къ мимолетнымъ явленіямъ облаковъ, бури и грома.

Наконецъ, должно назвать Вильгельма Маннгардта въ числѣ миѳологовъ, которыхъ часто цитировалъ Аѳанасьевъ. Маннгардтъ былъ однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и трудолюбивыхъ дѣятелей въ этой области. Его первые труды [1],—одни извѣстные Аѳанасьеву,—были вѣрнымъ повтореніемъ идей Гримма и примѣненіемъ его метода къ массѣ новыхъ собранныхъ фактовъ. Впослѣдствіи Маннгардтъ, какъ выше упомянуто, убѣдился въ ошибкахъ метода и въ послѣднихъ трудахъ [2]) становился на новый путь изслѣдованія.

Аѳанасьевъ начинаетъ свои изысканія съ вопроса о происхожденіи миѳа, методѣ и средствахъ его изученія.

„Богатый и можно сказать—*единственный* источникъ разнообразныхъ миѳическихъ представленій есть *живое слово* человѣческое, съ его метафорическими и созвучными выраженіями.. Въ жизни языка, относительно его организма, наука различаетъ два различныхъ періода: періодъ его образованія, постепеннаго сложенія (развитія формъ) и періодъ упадка и расчлененія (превращеній). Первый періодъ задолго предшествуетъ такъ-называемой исторической жизни народа, и единственнымъ памятникомъ отъ этой глубочайшей старины остается *слово*, запечатлѣвающее въ своихъ первозданныхъ выраженіяхъ весь внутренній міръ человѣка. Во второй періодъ прежняя стройность языка нарушается...; этому времени по преимуществу соотвѣтствуетъ забвеніе ко-

[1]) Germanische Mythen. Forschungen. Berlin, 1858; Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker. I. Berlin, 1860; далѣе: „Korndämonen“, „Baumkultus“ и пр.

[2]) Wald- und Feldkulte. Mythologische Untersuchungen. 2 Teile. Berlin, 1875—77.

реннаго значенія словъ. Оба періода оказываютъ весьма значительное вліяніе на созданіе баснословныхъ представленій.

„Всякій языкъ начинается съ образованія корней...; такіе корни, представляющіе собою безразличное начало и для имени и для глагола, выражали не болѣе какъ *признаки, качества, общіе* для многихъ предметовъ и потому удобноприлагаемые для обозначенія каждаго изъ нихъ. Возникавшее понятіе пластически обрисовывалось словомъ, какъ вѣрнымъ и мѣткимъ *эпитетомъ*... По разнообразію признаковъ, одному и тому же предмету или явленію придавалось по нѣскольку различныхъ названій. Предметъ обрисовывался съ разныхъ сторонъ, и только во множествѣ *синонимическихъ* выраженій получалъ свое полное опредѣленіе. Но... каждый изъ этихъ синонимовъ, обозначая извѣстное качество одного предмета, *въ то же самое время* могъ служить и для обозначенія подобнаго же качества многихъ другихъ предметовъ, и такимъ образомъ связывать ихъ между собою. Здѣсь-то именно кроется тотъ богатый родникъ *метафорическихъ* выраженій, чувствительныхъ къ самымъ тонкимъ оттѣнкамъ физическихъ явленій, который поражаетъ насъ своею силою и обиліемъ въ языкахъ древнѣйшаго образованія... (Съ теченіемъ вѣковъ первоначальное живое значеніе корней забывается; народъ стремится обратить языкъ въ простое орудіе для передачи своихъ мыслей; метафоры теряли свой поэтическій смыслъ и стали обращаться въ простыя не переносныя выраженія). Вслѣдствіе такихъ вѣковыхъ утратъ языка, превращенія звуковъ и подновленія понятій, лежавшихъ въ словахъ, исходный смыслъ древнихъ реченій становился все темнѣе и загадочнѣе и начинался неизбѣжный процессъ *миѳическихъ обольщеній*, которыя тѣмъ крѣпче опутывали умъ человѣка, что дѣйствовали на него неотразимыми убѣжденіями родного слова. Стоило только забыться, затеряться первоначальной связи понятій, чтобы метафорическое уподобленіе получило для народа все значеніе дѣйствительнаго факта и послужило поводомъ къ созданію цѣлаго ряда баснословныхъ сказаній. Свѣтила небесныя уже не только въ переносномъ, поэтическомъ смыслѣ именуются „очами неба“, но въ самомъ дѣлѣ представляются народному уму подъ этимъ живымъ образомъ, и отсюда возникаютъ миѳы о тысячеглазомъ, неусыпномъ ночномъ стражѣ—Аргусѣ и одноглазомъ божествѣ солнца; извилистая молнія является огненнымъ змѣемъ, быстролетные вѣтры надѣляются крыльями, владыка лѣтнихъ грозъ—огненными стрѣлами. Въ началѣ народъ еще удерживалъ сознаніе о тождествѣ созданныхъ имъ поэтическихъ образовъ съ явленіями природы, но съ теченіемъ времени это сознаніе болѣе и болѣе ослабѣвало и, наконецъ, совершенно терялось; миѳическія представленія отдѣлялись отъ своихъ стихійныхъ основъ и принимались какъ нѣчто особое, независимо отъ нихъ существующее... Тамъ, гдѣ для одного естественнаго явленія существовали два, три и болѣе названій,—каждое изъ этихъ именъ давало обыкновенно поводъ къ созданію особеннаго, отдѣльнаго миѳическаго лица, и обо всѣхъ этихъ лицахъ повторялись совершенно тождественныя исторіи; такъ, напримѣръ, у грековъ рядомъ съ Фебомъ находимъ Геліоса. Нерѣдко случалось, что постоянные эпитеты, соединяемые съ какимъ-нибудь словомъ, вмѣстѣ съ нимъ прилагались и къ тому предмету, для котораго означенное слово служило метафорой: солнце, будучи разъ названо *львомъ*, получало и его когти, и гриву, и удерживало эти особенности даже тогда, когда забывалось самое животненное уподобленіе. Подъ такимъ чарующимъ воздѣйствіемъ звуковъ языка слагались и религіозныя, и нравственныя убѣжденія человѣка... Если переложить простыя, общепринятыя нами выраженія о различныхъ проявленіяхъ силъ природы на языкъ

глубочайшей древности, то мы увидѣли бы себя отовсюду окруженными миѳами, исполненными яркихъ противорѣчій и несообразностей: одна и та же стихійная сила представлялась существомъ и безсмертнымъ, и умирающимъ, и въ мужскомъ, и въ женскомъ полѣ, и супругомъ извѣстной богини и ея сыномъ, и такъ далѣе, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія посмотрѣлъ на нее человѣкъ и какія поэтическія краски придалъ таинственной игрѣ природы... Миѳъ есть древнѣйшая поэзія, и какъ свободны и разнообразны могутъ быть поэтическія воззрѣнія народа на міръ, также свободны и разнообразны и созданія его фантазіи, живописующей жизнь природы въ ея ежедневныхъ и годичныхъ превращеніяхъ“ (Поэт. воззрѣнія Слав. I, стр. 5—12).

Таково основное понятіе о происхожденіи миѳа. Въ его дальнѣйшемъ историческомъ развитіи Аѳанасьевъ отмѣчаетъ слѣдующія главныя явленія: a) раздробленіе миѳическихъ сказаній, — по разнымъ отраслямъ племени, по разнымъ вѣкамъ; b) низведеніе миѳовъ на землю и прикрѣпленіе ихъ къ извѣстной мѣстности и историческимъ событіямъ; наконецъ, c) нравственное (этическое) мотивированіе миѳическихъ сказаній.

И такъ какъ „зерно, изъ котораго выростаетъ миѳическое сказаніе, кроется въ первозданномъ словѣ“, то для изслѣдованія его необходимо содѣйствіе сравнительной филологіи. Указавъ, какъ современная наука проникаетъ уже въ глубочайшую старину арійскихъ языковъ (цитируется Пиктѐ, les Origines indo-européennes ou les Aryas primitifs, и Максъ Мюллеръ), Аѳанасьевъ повторяетъ свое заключеніе: „Изъ всего сказаннаго очевидно, что главнѣйшій источникъ для объясненія миѳическихъ представленій заключается въ *языкѣ*. Воспользоваться его указаніями — задача широкая и нелегкая; къ допросу должны быть призваны и литературные памятники прежнихъ вѣковъ, и современное слово, во всемъ разнобразіи его мѣстныхъ, областныхъ отличій... Просвѣщеніе, подвинутое христіанствомъ, могло одухотворить матеріальный смыслъ тѣхъ или другихъ словъ, поднять ихъ до высоты отвлеченной мысли, но не могло измѣнить ихъ внѣшняго состава; звуки остались тѣ же, и съ помощью ученаго анализа позднѣйшая мысль, наложенная на слово, можетъ быть снята и первоначальное его значеніе возстановлено. Особенною силою и свѣжестью дышетъ языкъ эпическихъ сказаній и другихъ памятниковъ устной словесности: памятники эти крѣпкими узами связаны съ умственными и нравственными интересами народа, въ нихъ запечатлѣны результаты его духовнаго развитія и заблужденій, а потому, вмѣстѣ съ живущими въ народѣ преданіями, повѣрьями и обрядами, они составляютъ самый обильный матеріалъ для миѳологическихъ изслѣдованій“. Поэтому Аѳанасьевъ останавливается на предварительномъ объясненіи этихъ источниковъ миѳологіи, какъ 1) загадки; 2) пословицы, поговорки,

присловья, прибаутки, примѣты; 3) заговоры; 4) пѣсни, напр. обрядовыя, а особливо богатырскія; 5) сказки [1]).

Изъ этихъ общихъ положеній видно, что Аѳанасьевъ понималъ сущность и происхожденіе миѳа именно въ томъ смыслѣ, какъ они объяснялись въ нѣмецкой школѣ сравнительной миѳологіи у Гримма, а затѣмъ особенно у Куна, Шварца и Макса Мюллера. Правда, Аѳанасьевъ самъ изучалъ внимательно предметъ; нѣкоторые его взгляды сложились раньше знакомства съ теоріями Шварца или Макса Мюллера; онъ умѣлъ обойти крайности Мюллера относительно „болѣзни языка" [2]), и Маннгардтъ называлъ его „самымъ разсудительнымъ" изъ учениковъ Шварца [3]); но недостатки самаго существа системы отразились и на его трудѣ.

Приводимъ опять слова Маннгардта.

„Мы охотно признаемъ, что Куну удалось рѣшить много загадокъ, во многихъ случаяхъ выяснить связь явленій. Но я не воздержусь отъ признанія, что по моему мнѣнію сравнительная индоевропейская миѳологія еще не принесла тѣхъ плодовъ, которыхъ съ такими большими надеждами отъ нея ожидали. *Вѣрное* пріобрѣтеніе ограничивается нѣсколькими отдѣльными фактами... Именно сравненія божествъ (у Куна), кажущіяся на первый взглядъ самыми правдоподобными, и большая доля параллелей, сдѣланныхъ въ знаменитой книгѣ о „Низведеніи огня", по моему убѣжденію не выдерживаютъ болѣе внимательной критики; я опасаюсь, что исторія науки нѣкогда увидитъ въ нихъ скорѣе блестящую игру остроумія,

---

[1]) Книга Аѳанасьева обнимаетъ весь кругъ древнихъ русско-славянскихъ взглядовъ на природу, или цѣлую миѳологію.

Т. I, главы I—XIV: Происхожденіе миѳа, методъ и средства его изученія.— Свѣтъ и тьма.—Небо и земля.—Стихія свѣта въ ея поэтическихъ представленіяхъ.— Солнце и богиня весеннихъ грозъ.—Гроза, вѣтры и радуга.—Живая вода и вѣщее слово.—Ярило.—Илья-громовникъ и огненная Марія.—Баснословныя сказанія о птицахъ.—Облако.—Баснословныя сказанія о звѣряхъ.—Небесныя стада.—Собака, волкъ и свинья.

Т. II, гл. XV—XXI: Огонь.—Вода.—Древо жизни и лѣсные духи.—Облачныя скалы и Перуновъ цвѣтъ.—Преданія о сотвореніи міра и человѣка.—Змѣй.—Великаны и карлики.

Т. III, гл. XXII—XXVIII: Нечистая сила.—Облачныя жены и дѣвы.—Души усопшихъ.—Дѣвы судьбы.—Вѣдуны, вѣдьмы, упыри и оборотни.—Процессы о колдунахъ и вѣдьмахъ.—Народные праздники.

Аѳанасьевъ намѣревался закончить сочиненіе XXIX-й главой: „Очеркъ стародавняго быта славянъ, ихъ свадебные и похоронные обряды", затѣмъ думалъ составить изъ нея особую монографію,—но планъ остался неисполненнымъ.

[2]) Ср. замѣчаніе Котляревскаго, въ разборѣ книги Аѳанасьева, Отчетъ о 10-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова. Спб. 1868, стр. 48.

[3]) Wald- und Feldkulte, II, XXV.

чѣмъ доказанные факты. Уже то обстоятельство, что они не обнаруживаютъ той *прочно* плодотворной силы, какая принадлежала филологическимъ открытіямъ Гримма и Боппа, должно возбуждать недовѣріе къ ихъ истинности и внушать осторожность даже при обсужденіи очень вѣроятныхъ отождествленій... Нѣтъ сомнѣнія, что въ первобытной арійской родинѣ кромѣ языка была также и общая основа религіозныхъ представленій, и Веды сохраняютъ ихъ старѣйшіе, достигшіе до насъ, отголоски; но чтобы оттуда сохранились въ европейскихъ миѳологіяхъ и болѣе выработанные сложные миѳы, еще остается пока открытымъ вопросомъ. Что мы еще не двинулись далѣе, въ томъ виноватъ не принципъ, но примѣненный методъ, основная ошибка котораго заключается въ недостаткѣ *историческаго* пониманія. Упущено было изъ виду, что миѳологіи представляютъ гораздо болѣе запутанное и гораздо менѣе подчиненное правилу состояніе многоразличныхъ сложныхъ образованій, чѣмъ относительно простыя явленія языка; еще не было достаточно ясно понято, что духовная жизнь культурныхъ народовъ никогда не проходила по прямой линіи ничѣмъ не нарушаемаго развитія изъ національнаго зерна, что она получала много возбужденій отъ притока чужеземныхъ идей; и изслѣдователи, ставя въ непосредственную связь конечные пункты двухъ развитій, выходящихъ на значительномъ разстояніи отъ предполагаемой исходной точки, забывали прослѣдить эти развитія назадъ шагъ за шагомъ, по ихъ промежуточнымъ, и могущимъ быть открытыми, ступенямъ, до ихъ дѣйствительно достижимой, и часто недалеко за ними лежащей, основной формы. Изслѣдователи, не различая старыхъ и новѣйшихъ преданій, простыхъ подражаній, поэтическихъ изобрѣтеній, этіологическихъ толкованій и не пользуясь ими по ихъ настоящей цѣнности, растягивали европейскіе миѳы на Прокрустовомъ ложѣ шаблона, составленнаго, правда, по старымъ, но уже національно-индѣйскимъ воззрѣніямъ, и за этимъ забывали ихъ ближайшія историческія причины, ихъ зависимость отъ круга понятій извѣстнаго времени или писателей, ихъ нравственное содержаніе и ихъ связь съ мѣстными формами естественныхъ отношеній. При этомъ, сравненіе часто основывали на отрывкахъ, вырванныхъ изъ ихъ естественной связи, или полагали въ основаніе такія ведическія воззрѣнія, значеніе которыхъ еще неясно и составляетъ предметъ разногласныхъ объясненій. Европейскіе миѳы должны были быть, по выводу изслѣдователей, почти исключительно земной локализаціей образнаго представленія небесныхъ явленій; а совпаденіе въ именахъ и вещахъ, между индѣйскими и греческими или германскими преданіями, приводимое въ доказательство происхожденія изъ первобытнаго арійскаго періода,

очень часто бываетъ обманчиво въ этимологіи или въ содержаніи, или и въ томъ, и другомъ, а вмѣстѣ съ этимъ падаетъ цѣлое".

Относительно Макса Мюллера тотъ же критикъ высказывается еще болѣе отрицательно: если выставленный имъ принципъ (къ которому Кунъ очень приблизился въ своихъ позднѣйшихъ работахъ) имѣетъ вообще какую-нибудь цѣну, то весьма ограниченную. Не менѣе чѣмъ у Куна и М. Мюллера, миѳологія была сведена на ошибочный путь у Шварца. „Надо очень пожалѣть, — говоритъ Маннгардтъ,—что въ своихъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Шварцъ не пошелъ разсудительно по тому пути, который пролагала его первая работа, но запутался въ смутный фантастическій міръ, большею частію имъ самимъ созданный. А именно, обобщивъ слишкомъ поспѣшно выводы изъ одного круга миѳовъ, который онъ сначала наблюдалъ вообще правильно, Шварцъ пришелъ къ слѣдующему основному взгляду: „Исходнымъ пунктомъ и средоточіемъ всей миѳологіи оказался возникшій въ самыхъ различныхъ кругахъ и вѣкахъ хаосъ вѣрующихъ представленій о существахъ и вещахъ, проявляющихъ себя въ удивительныхъ небесныхъ явленіяхъ и *именно въ грозѣ*, представленій о нихъ, какъ о волшебномъ мірѣ, который, казалось, достигалъ въ этотъ земной міръ только своими симптомами, но который народъ или скорѣе люди съ вѣрой объясняли себѣ по аналогіи этого земного міра и котораго измѣненія стали поэтому для нихъ исторіей, аналогичной съ земными отношеніями". Доказательство для его теоріи доставилъ Шварцу методъ, объ отношеніи котораго къ требованіямъ исторической критики надо сказать то же, что о методѣ Куна. Онъ даже еще болѣе сомнителенъ... Но съ другой стороны можно замѣтить существенную разницу въ пріемѣ обоихъ ученыхъ. Шварцъ не сопоставляетъ другъ съ другомъ двухъ сказаній въ ихъ цѣлости, причемъ ради соблюденія гармоніи часть одного нерѣдко подвергается насильственнымъ искалѣченіямъ, но вездѣ восходитъ къ первобытнымъ элементамъ. Но эти элементы онъ отыскиваетъ не историческимъ анализомъ, а тѣмъ, что извлекаетъ какую-нибудь отдѣльную оригинальную черту, одну нитку изъ связной ткани сказанія и затѣмъ, не задумываясь, комбинируетъ ее съ какой-нибудь нѣсколько сходной картиной природы. Правда, ему принадлежитъ заслуга, что при этомъ онъ дѣйствительно указалъ многія народныя представленія о природѣ и ихъ согласіе съ метафорами поэтовъ; но очень многія представленія о природѣ, принятыя имъ за исходный пунктъ миѳовъ, существуютъ только или въ чрезвычайно плодовитомъ воображеніи автора или въ личномъ пониманіи отдѣльныхъ поэтовъ; и точно также онъ не обращаетъ вниманія на то, что не всякое образное воспринятіе явленій природы есть уже миѳъ или вездѣ потомъ

преобразуется въ миѳъ, и потому его существованіе еще вовсе не даетъ повода думать, что оно отыщется въ миѳическихъ сказаніяхъ" [1]).

Система примѣнена у Аѳанасьева столь послѣдовательно, что замѣчанія Маннгардта вполнѣ прилагаются и къ его миѳологическимъ объясненіямъ: въ области русско-славянскаго миѳа онъ пользуется тѣми самыми пріемами, какіе у названныхъ ученыхъ примѣняются къ миѳу индѣйскому, греческому, нѣмецкому. Кто знакомъ съ книгой Аѳанасьева, можетъ легко вспомнить въ его изложеніи множество примѣровъ того же недостатка исторической критики, гдѣ въ толкованіи миѳа минуются всѣ промежуточныя ступени его развитія, тысячелѣтія исторической жизни, все отдаленіе врозь развивавшихся племенъ: кусокъ древняго индѣйскаго, греческаго, скандинавскаго сказанія, отрывочная подробность, упомянутая у древняго писателя о славянахъ, прямо ставится рядомъ съ новѣйшимъ русскимъ повѣрьемъ, хотя притомъ послѣднее бывало иногда даже и не народное, а просто вычитанное изъ книги. У русскаго изслѣдователя также повторяется эта исключительная наклонность объяснять миѳъ превращеніями языка, а его объективную основу находить въ небесныхъ явленіяхъ, и особенно отыскивать происхожденіе боговъ и корень ихъ миѳологическихъ исторій въ бурѣ и грозѣ, какъ у Шварца и Куна; далѣе — та же наклонность во всякомъ народномъ представленіи о природѣ видѣть готовый миѳъ, когда здѣсь бывало иногда только одно реальное наблюденіе или догадка.

Корень этой ошибки метода, отразившейся на всей постройкѣ миѳологическаго зданія, у Аѳанасьева, какъ и у нѣмецкихъ ученыхъ этой школы, лежалъ въ ученіи Гримма. Подъ увлекающимъ впечатлѣніемъ его книги, новому ученому поколѣнію представлялась въ высшей степени заманчивая перспектива—проникнуть въ глубочайшую старину, которая до тѣхъ поръ такъ упорно скрывала свои тайны и оставалась такъ безотвѣтна на запросы ученыхъ изыскателей и національныхъ патріотовъ; перспектива—понять и задушевную мысль современнаго народа въ его преданіяхъ и поэзіи. Ко всему этому нашлось, наконецъ, средство—сравнительное языкознаніе и миѳологія, сопоставленіе старыхъ и новыхъ преданій, раскрытіе ихъ внутренняго миѳическаго смысла и связи. Примѣръ Гримма увлекалъ его школу тѣмъ больше, что, какъ мы видѣли, въ трудѣ его къ поражающему богатству учености присоединялось великое искусство поэтической реставраціи и любящее отношеніе къ народу. Аѳанасьевъ, въ русской старинѣ, собралъ также обширную массу мате-

---

[1]) Wald- und Feldkulte, II, стр. XVII—XVIII, XXIII—XXIV.

ріала, былъ одушевленъ такимъ же поэтическимъ и народолюбивымъ чувствомъ, и въ методѣ воспользовался еще трудами учениковъ и продолжателей Гримма. Это отношеніе къ старинѣ, внушаемое съ одной стороны преданностью ученаго своей задачѣ, съ другой—новѣйшими національно-общественными стремленіями, придали труду Аѳанасьева большую привлекательность, которою немало объясняется его вліяніе,—какъ подобнымъ образомъ объясняется и вліяніе г. Буслаева внѣ его чисто научной заслуги. Къ сожалѣнію, у дальнѣйшихъ послѣдователей школы недостатки метода становились еще болѣе вопіющими: „туча", „гроза" становились чуть не единственнымъ объясненіемъ миѳологіи, грубо прилагаемымъ и къ народному натуралистическому повѣрью, и къ герою былины, такъ, что, наконецъ, вся миѳологія какъ будто создавалась мономаномъ.

Какъ въ нѣмецкой литературѣ теорія Гримма, такъ и русскія ея примѣненія вызвали, наконецъ, и у насъ отчасти весьма самостоятельную критику. Первыя работы Аѳанасьева по русской миѳологіи уже встрѣтили отпоръ въ возраженіяхъ Кавелина; впослѣдствіи его книга дала поводъ къ весьма замѣчательной критическимъ статьямъ Котляревскаго, гдѣ вѣрно опредѣлено отношеніе Аѳанасьева къ своей темѣ, неправильности въ употребленіи матеріала, чрезмѣрная довѣрчивость и поспѣшность въ филологическихъ сравненіяхъ, недостатокъ вниманія къ историческому движенію миѳа вообще и въ частности. Миѳологическая теорія одного изъ авторитетовъ Аѳанасьева, Макса Мюллера, вызвала довольно обстоятельный разборъ въ упомянутой выше статьѣ „Филологическихъ Записокъ" [1]). Позднѣе, какъ увидимъ, изученія народной поэзіи и миѳологіи освободились отъ недостатка прежней школы и приняли другое направленіе, уже вознагражденное замѣчательными научными открытіями.

Въ общемъ выводѣ, г. Буслаевъ и Аѳанасьевъ оказали изученіямъ русской народности великую услугу введеніемъ научнаго пріема въ изслѣдованіе ея старины и современныхъ преданій и поэзіи. Ихъ заслуга тѣмъ выше, что въ спеціальной области ихъ изысканій они совершенно не имѣли предшественниковъ—кромѣ собирателей матеріала. Г. Буслаевъ далъ въ первый разъ примѣры примѣненія сравнительнаго языкознанія къ славяно-русскому матеріалу, твердо поставилъ вопросъ о художественныхъ свойствахъ и историческомъ значеніи народной поэзіи, въ особенности эпоса, и вопросъ о древнемъ

[1]) Гдѣ, между прочимъ упомянуто и объ отношеніи къ нему Аѳанасьева. „Фил. Записки", 1879, вып. 6, стр. 35.

русскомъ искусствѣ въ связи съ народнымъ религіозно-поэтическимъ міровоззрѣніемъ. Аѳанасьевъ сдѣлалъ первое научное изданіе нашихъ народныхъ сказокъ, и въ „Поэтическихъ воззрѣніяхъ Славянъ на природу“ далъ первое систематическое собраніе обильнаго миѳологическаго матеріала и предпринялъ его цѣльную разработку.

Но тою же новостью дѣла, которая возвышаетъ заслугу этихъ ученыхъ, объясняются въ большой степени и недостатки ихъ работъ, особливо значительные у Аѳанасьева. Не входя въ спеціальныя подробности, сдѣлаемъ нѣсколько указаній, которыхъ будетъ достаточно для нашей цѣли.

Главнѣйшій критическій пробѣлъ въ изслѣдованіяхъ г. Буслаева, переходящій иногда въ положительную ошибку, заключается, какъ у Гримма, въ обычномъ пріемѣ непосредственнаго сравненія и отождествленія иногда самыхъ отдаленныхъ одинъ отъ другого фактовъ миѳологіи, забывая необходимость ихъ предварительнаго историческаго разслѣдованія, опуская изъ виду промежуточные пункты и ступени,—между тѣмъ какъ подобная провѣрка могла иногда указать невозможность самаго сравненія. Возьмемъ примѣръ.

Въ числѣ памятниковъ старой русской письменности существуетъ очень популярная у народныхъ книжниковъ „Бесѣда трехъ святителей“, которая принадлежитъ къ разряду такъ-называемыхъ въ старину „отреченныхъ“, апокрифическихъ, книгъ, *чужого* происхожденія, и заключаетъ въ себѣ вопросы и отвѣты о разныхъ предметахъ вѣры, тайнахъ созданія и пр., въ духѣ наивнаго народнаго мистицизма и суевѣрія. „Бесѣда“ очень обжилась въ народѣ и мало-по-малу пріобрѣла въ изложеніи народную складку. Г. Буслаевъ нашелъ въ рукописяхъ новый *варіантъ* того же сюжета — „Повѣсть града Іерусалима“, которая отличается еще больше этимъ народнымъ складомъ и замѣчательна именно тѣмъ, что служитъ переходомъ отъ книжной „Бесѣды“ къ извѣстному стиху о „Голубиной книгѣ“, первой (т.-е. насколько пока извѣстно) ступенью въ передѣлкѣ книжнаго сказанія въ поэтическое произведеніе, знаменитое и сильно распространенное въ народѣ.—Итакъ, „Повѣсть“ очень интересна какъ документальный фактъ, на которомъ мы можемъ слѣдить процессъ усвоенія народною поэзіею чужой темы и переработки ея въ „стихъ“, вполнѣ народный. И что же при этомъ оказывается? Въ стихѣ о Голубиной книгѣ бесѣдующія лица, какъ извѣстно,—князь Владиміръ и царь Давидъ; одинъ спрашиваетъ, другой отвѣчаетъ. Но въ „Повѣсти“,—которую г. Буслаевъ считаетъ именно первообразомъ стиха,—князь Владиміръ замѣненъ какимъ-то фантастическимъ лицомъ, которое названо „Волотомъ Волотовичемъ“. Это—исходный пунктъ миѳологическаго разсужденія г. Буслаева.

„Мѣсто Владимира заступаетъ лицо чисто миѳическое, Волотъ Волотовичъ, новый герой русскаго миѳологическаго эпоса (?). Онъ является здѣсь первообразомъ или предшественникомъ герою историческому, Владимиру Красну-Солнышку: замѣчательный фактъ въ исторіи русской народной поэзіи, подтверждающій ту правдоподобную догадку, что именемъ князя Владимира во многихъ богатырскихъ пѣсняхъ была замѣнена и подновлена какая-нибудь древнѣйшая героическая, миѳическая личность. По крайней мѣрѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ Владимиру предшествовалъ *Волотъ*. Каково бы ни было филологическое и историческое отношеніе *Волота* къ *Велетамъ*, Вильцамъ или Волчкамъ, и къ сѣвернымъ *Вилькинамъ*, прославленнымъ въ Вилькина-сагѣ, но во всякомъ случаѣ слово *Волотъ*, и въ древнемъ и народномъ русскомъ языкѣ, означаетъ *великана*; слѣдовательно, уже по самому значенію своему, Волотъ принимался народомъ въ смыслѣ героя, полу-бога, существа сверхъестественнаго, какими обыкновенно въ миѳологіи разумѣются великаны. Прозванъ онъ Волотовичемъ по той же причинѣ, почему эпическіе герои очень часто называются по имени своихъ отцовъ; такъ въ польскихъ преданіяхъ и отецъ и сынъ назывался Кракомъ. Это самое обыкновенное раздвоеніе эпическаго идеала на двѣ личности. Герою хотятъ вымыслить отца: удобнѣе и легче всего этому послѣднему дать то же имя, какое имѣетъ и самъ герой. Такъ получилъ свое имя и Волотъ Волотовичъ“.

Автору тотчасъ припоминается въ древней Эддѣ пѣсня о Вафтруднирѣ, представляющая по основнымъ мотивамъ поразительное сходство съ нашею повѣстью,— и хотя авторъ (завѣдомо?) имѣетъ дѣло съ варіантомъ апокрифа *чужеземнаго* (византійскаго) происхожденія, онъ не усумнился заключить, что это „замѣчательное сходство (пѣсни Эдды и нашей „Повѣсти“) объясняется не позднѣйшимъ литературнымъ вліяніемъ, а *первобытнымъ сродствомъ* миѳологическаго эпоса *славянскаго* съ *нѣмецкимъ*“ [1]).

Въ другомъ мѣстѣ г. Буслаевъ замѣтилъ совершенно справедливо, что „собственныя имена въ народныхъ преданіяхъ часто не имѣютъ *никакого смысла*, будучи позднѣйшею *наддачей*“ [2]); здѣсь онъ, очень было кстати, припоминалъ баснословныя сказанія о Соломонѣ и, остановившись на историко-литературномъ изслѣдованіи „миѳа“, могъ бы подойти къ истинѣ, — но первое впечатлѣніе преодолѣло, и авторъ радуется открытію „новаго героя русскаго миѳологическаго эпоса“, и у героя отыскивается самая архаическая генеалогія.

---

[1]) Историч. Очерки, I, стр. 417, 455—461.
[2]) Тамъ же, II, стр. 8.

Послѣдующія изысканія указали, внѣ всякаго сомнѣнія, что имя „Волота Волотовича“ есть не болѣе, какъ одинъ изъ множества примѣровъ искаженія собственныхъ именъ въ нашихъ старыхъ книжныхъ повѣстяхъ и въ народномъ эпосѣ, что происхожденіе этого героя не миѳическое, а очень позднее, и что подъ нимъ скрывается испорченное книжное имя Птолемея,—вслѣдствіе чего все миѳологическое построеніе падаетъ.

Относительно эпоса принималась вообще, какъ несомнѣнность, смѣна первобытнаго эпоса ѳеогоническаго болѣе позднимъ, героическимъ. На этомъ основаніи за личностью князя Владимира „Краснаго Солнышка“ предполагался миѳическій первообразъ, и съ открытіемъ былинъ о такъ-называемыхъ „старшихъ“ богатыряхъ явилась увѣренность, что передъ нами открывается именно часть этого древнѣйшаго эпоса, предшествующаго циклу князя Владимира; это—сказанія о „миѳическомъ пахарѣ Микулѣ“, о богатырѣ Святогорѣ, „въ колоссальномъ типѣ котораго русскій эпосъ сохранилъ во всей ясности остатокъ великановъ горной породы“ [1]) и пр. Новѣйшія, болѣе пристальныя изслѣдованія находятъ Святогору болѣе близкое, именно книжное происхожденіе.

У Аѳанасьева преувеличенія идутъ обыкновенно еще далѣе. По теоріи Куна и Шварца, онъ всюду, кстати и некстати, объяснялъ миѳы небесными явленіями, и особенно грозовою тучей и молніей. Какое множество сближеній сдѣлано на эту тему Аѳанасьевымъ, читатель можетъ видѣть по указателю (въ концѣ 3-го тома), гдѣ самая большая масса миѳологическихъ сравненій сводится къ словамъ „туча“, „гроза“, „молнія“, „громъ“, „вѣтеръ“ [2]). Не мудрено, что миѳологическій элементъ въ богатырской былинѣ сводится опять къ грозовой тучѣ и грому. Илья-Муромецъ, популярнѣйшее имя въ русскомъ народномъ эпосѣ, сохраняетъ въ немъ „древнія черты, принадлежащія къ области миѳическихъ представленій о богѣ громовникѣ“. Въ эпоху христіанскую, „вѣрованіе въ Перуна, его воинственные аттрибуты и сказанія о его битвахъ съ демонами [3]) были перенесены на Илью-пророка; Илья-Муромецъ, сходный съ Ильею-пророкомъ по имени и также славный святостью своей жизни (а можетъ быть—и военными доблестями) слился съ нимъ въ народныхъ сказаніяхъ въ одинъ образъ... Похожденія Ильи-Муромца съ богатыремъ Святогоромъ *цѣликомъ* принадлежатъ къ области *древнѣйшихъ* миѳовъ о Перунѣ... Несмотря на легендарный тонъ, приданный раз-

[1]) „Р. богатырскій эпосъ“, въ Р. Вѣстн. 1862, № 3, стр. 48.

[2]) До того, что наконецъ условная формула заговоровъ: „на морѣ на окіанѣ на островѣ Буянѣ“ по Аѳанасьеву значитъ: „на тучѣ“. I, стр. 418.

[3]) Проблематически доказанныя въ гл. VI.

сказу о приходѣ къ Ильѣ каликъ перехожихъ, здѣсь слишкомъ очевидна миѳическая основа. Пиво, которое пьетъ Илья-Муромецъ,—старинная метафора дождя. Окованный зимнею стужею, богатырь-громовникъ сидитъ сиднемъ, безъ движенія (т.-е. не заявляя себя въ грозѣ), пока не напьется живой воды, т.-е. пока весенняя теплота не разобьетъ ледяныхъ оковъ и не претворитъ снѣжныя тучи въ дождевыя; только тогда зарождается въ немъ сила поднять молніеносный мечъ"... Прежніе враги Перуна, „демоны", смѣняются дикими кочевниками. „Въ образѣ Соловья-разбойника народная фантазія олицетворила демона бурной, грозовой тучи. Имя Соловья дано на основаніи древнѣйшаго уподобленія свиста бури громозвучному пѣнію этой птицы... Эпитетъ „разбойника" объясняется разрушительными свойствами бури" и т. д. [1]). Все это очень связно и искусно построено, но изъ непрочнаго матеріала [2]). Начать съ того, что аттрибуты Перуна и его борьба съ „демонами" выведены вовсе не на основаніи какихъ-нибудь точныхъ данныхъ, — которыхъ нѣтъ, — а только по догадкамъ, аналогіямъ и по обильнымъ предположеніямъ; въ описаніе Соловья-разбойника привлекаются книжныя повѣсти и такія мнимо-народныя пѣсни, поддѣльность которыхъ была уже раньше доказана, и т. п. Но еще страннѣе общее представленіе объ отношеніи богатырской былины къ ея предполагаемому ѳеогоническому прототипу: Аѳанасьевъ находитъ возможнымъ каждый шагъ богатыря, каждую подробность пріурочивать къ первобытному миѳу, какъ будто переходъ отъ одной формы эпоса къ другой, т.-е. изъ одного историческаго періода въ новый періодъ, состоялъ только въ перемѣнѣ именъ, причемъ сохранились бы всѣ мелкія частности. Собственно говоря, мы ничего не знаемъ о способѣ этого перехода; но если основаться на аналогіяхъ, то видимъ, что народная варіація поэтическихъ сюжетовъ, даже книжныхъ, преобразуетъ эти сюжеты иногда почти до неузнаваемости. Тѣмъ бóльшія измѣненія нужно предположить здѣсь, гдѣ „варіантъ" эпоса богатырскаго сравнительно съ ѳеогоническимъ заключался ни болѣе ни менѣе какъ въ *цѣломъ перево-*

---

[1]) Поэтич. Воззрѣнія, I, стр. 302—309.

[2]) Котляревскій, въ упомянутомъ разборѣ, стр. 68, находитъ, что Аѳанасьевъ— „отдѣляя древніе мотивы былины и ихъ значеніе путемъ сличенія съ родственными памятниками и преданіями другихъ народовъ, въ общемъ получаетъ *весьма твердые результаты*". Но твердость ихъ становится сомнительной послѣ немаловажнаго замѣчанія, которое Котляревскій дѣлаетъ вслѣдъ затѣмъ: „Аѳанасьевъ,—говоритъ онъ,— какъ кажется, даетъ уже слишкомъ много силы и крѣпости народному преданію и памяти. Онъ, повидимому, не допускаетъ въ ней почти никакихъ уклоненій въ область фантазіи и не признаетъ въ былинѣ никакихъ другихъ измѣненій, кромѣ внѣшняго историческаго наслоенія" и пр. Развивъ больше это замѣчаніе, Котляревскій полнѣе указалъ бы ошибку метода, которая была очень крупная.



ротъ народнаго міровоззрѣнія. Если Перуна замѣнялъ Илья-пророкъ, а этого библейскаго героя—Илья-Муромецъ, то вотъ уже двѣ большія ступени превращенія, и мы скорѣе могли бы ожидать, что въ послѣднемъ гораздо виднѣе отразится ближайшая предъидущая ступень, чѣмъ самый ѳеогоническій подлинникъ, т.-е. что въ Ильѣ-Муромцѣ виднѣе будетъ Илья-пророкъ, нежели Перунъ,—между тѣмъ Аѳанасьевъ сличаетъ былину прямо съ тучами и молніями. Далѣе, если эпическое творчество было несомнѣнно еще очень дѣятельно въ наши средніе вѣка и простиралось тогда не только на свои народныя темы, но охватывало и пересоздавало (какъ далѣе увидимъ) даже сравнительно позднія чужеземныя темы—напр., въ обработкѣ апокрифическихъ сюжетовъ и книжныхъ повѣстей,—то тѣмъ больше въ немъ надо предположить дѣятельной силы въ ту давнюю эпоху, которая была несравненно ближе къ періоду полной свѣжести эпоса. Между тѣмъ въ теоріи Аѳанасьева богатырскій эпосъ ограничивается только однимъ символическимъ копированіемъ и переименованіемъ.—Правда, богатырскій эпосъ сохраняетъ много миѳическихъ *частностей*; но рядомъ съ этимъ намъ указываютъ въ немъ цѣлую бытовую картину древней княжеской Руси, и кромѣ Ильи-Муромца (предполагаемаго Перуна) цѣлый рядъ весьма реальныхъ сословныхъ лицъ и т. п.,—значитъ, эпическое творчество работало съ полной силой и не забыло притомъ новой исторической обстановки. Котляревскій очень вѣрно замѣчалъ, что въ *стрѣлахъ* Ильи-Муромца (которыя, по Аѳанасьеву, составляютъ уцѣлѣвшій остатокъ миѳическаго представленія молніи) можно просто видѣть обыкновенное оружіе догнестрѣльнаго періода, а въ *золотой казнѣ* Соловья-разбойника (по Аѳанасьеву, метафора небесныхъ свѣтилъ, закрываемыхъ тучами)—прибавку фантазіи къ понятію о разбойникѣ, который могъ награбить и денегъ. Критика, не увлекаемая предвзятой теоріей, должна принять эти мнимые символы за простыя реальныя вещи, а съ отсутствіемъ символовъ рушится и объясненіе Аѳанасьева. Очевидно, процессъ образованія былины былъ другой, хотя бы мы продолжали признавать происшедшую здѣсь смѣну ѳеогоническаго эпоса героическимъ.

Новѣйшія изслѣдованія, какъ дальше увидимъ, нашли еще иные пути развитія народныхъ миѳологическихъ преданій, и между прочимъ для былиннаго эпоса (пока для нѣкоторыхъ его частей) не подозрѣваемые прежде источники книжные,—такъ что уже теперь процессъ эпическаго творчества представляется очень несходнымъ съ тѣмъ, какой выводился по способу Гримма и его ближайшей школы. Но пока эти новыя открытія были сдѣланы, теорія перехода ѳеогоническаго эпоса въ героическій путемъ символическаго копиро-

ванія, объясненіе большинства миѳовъ, и въ томъ числѣ главнѣйшаго героя былинъ, какъ метафорическихъ изображеній и олицетвореній тучи и грозы, получили большую популярность въ нашей литературѣ; учебники и иные высшіе курсы приняли ихъ какъ непреложную истину, и понынѣ ихъ повторяютъ — по обыкновенію учебниковъ оставаться позади науки [1]).

---

[1]) Говоря о той эпохѣ, надо упомянуть еще нѣсколько именъ писателей, труды которыхъ имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ русской этнографіи и— различное научное значеніе. Таковы книги по славянской миѳологіи М. Касторскаго, 1841, и Костомарова, 1846, о которыхъ мы говоримъ въ другомъ мѣстѣ („Исторія русскаго славяновѣдѣнія").

Въ сороковыхъ годахъ появляются труды Д. О. Шеппинга, посвященные славянской и русской миѳологіи: „Миѳы славянскаго язычества", М. 1849 (разборъ этой книги въ Отеч. Зап. 1850, № 3, отд. V, стр. 17—28); статьи: объ Иванѣ Царевичѣ (въ сказкахъ и былинахъ); „Купала и Коляда"; „Опытъ первоначальной исторіи земледѣлія и отношеніе его къ быту и языку русскаго народа" (въ „Чтеніяхъ" Моск. Общ. исторіи и древностей, 1861, кн. IV); „О древнихъ навязяхъ и вліяніи ихъ на языкъ, жизнь и отвлеченныя понятія человѣка" (въ „Архивѣ историко-юрид. свѣдѣній" Калачова, 1861); „Русская народность въ ея повѣрьяхъ, обрядахъ и сказкахъ" М. 1862, и мн. др. Труды Шеппинга были въ числѣ первыхъ пробъ новаго миѳологическаго изслѣдованія; это была какъ бы ступень между старой этнографической школой и новыми изслѣдованіями Буслаева и Аѳанасьева; они не были лишены своей полезности, вызывая вопросы, но недостатки метода не дали имъ большого значенія въ развитіи науки. Ср. Котляревскаго, „Старина и народность за 1861 годъ" (Сочиненія, т. I, стр. 546—548).

Книга Д. М. Щепкина: „Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія", М. 1859—1861 (2 выпуска), была чрезвычайно страннымъ примѣненіемъ той системы миѳологическихъ объясненій, по которой миѳологія объяснялась какъ слѣдствіе „болѣзни языка". Не смотря на значительныя знанія, какія обнаруживаетъ первая часть книги, самыя объясненія, наполняющія вторую часть, невозможны до каррикатурности (Ср. Котляревскаго, тамъ же, стр. 531—535).

ГЛАВА V.

Новая ступень этнографическихъ изысканій.

Поворотъ въ историко-литературныхъ изученіяхъ послѣ Бѣлинскаго.—Поиски народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности.—Изданія и изслѣдованія Н. С. Тихонравова.—А. А. Котляревскій.—Изслѣдованія по языку и миѳологіи А. А. Потебни. — Археолого-этнографическія и художественно-бытовыя разысканія В. В. Стасова.—П. А. Лавровскій.

Дѣятельность первыхъ начинателей научной этнографіи была еще въ полномъ разгарѣ, когда съ половины пятидесятыхъ годовъ появляются первые опыты новаго поколѣнія изслѣдователей, съ которыми теоріи Буслаева и Аѳанасьева пріобрѣтаютъ извѣстныя видоизмѣненія и дополненія; затѣмъ, еще съ новымъ рядомъ изысканій, прежняя точка зрѣнія сильно преобразуется, доставивъ совершенно новыя данныя для рѣшенія вопроса, хотя новѣйшая его постановка и донынѣ еще не выработала цѣльной уравновѣшенной системы.

Новое поколѣніе, начинавшее дѣйствовать съ половины пятидесятыхъ годовъ, можно сказать, училось по Буслаеву, частью слѣдовало и за Аѳанасьевымъ; но, какъ всегда бываетъ въ дѣйствительномъ развитіи науки, эти послѣдователи не повторяли только, но и вели дальше поставленные вопросы. Новые поиски пошли въ разныхъ направленіяхъ, которыя сложились частію подъ новыми вліяніями западной этнографической науки, частію образовались въ собственныхъ условіяхъ русской литературы. Одни углубляли этнографическое знаніе изслѣдованіями въ письменной старинѣ; другіе направляли свое вниманіе на бытовую археологію; третьи ближе усвоивали новѣйшіе пріемы и результаты сравнительнаго языкознанія и миѳологіи; наконецъ, народное русское содержаніе вводилось въ громадное цѣлое европейскаго и восточнаго преданія, и здѣсь откры-

валась новая крайне любопытная связь международнаго сродства и заимствованія.

Поиски въ письменной старинѣ представлялись сами собою. По взгляду Якова Гримма, народный миѳъ и сказаніе до того проникали нѣкогда жизнь и литературу, что ихъ отголоски можно было слѣдить въ самыхъ разнообразныхъ произведеніяхъ слова; наши последователи школы точно также стали искать и, конечно, находили проявленія миѳа и народной поэзіи не только именно въ поэтической области, но и въ случайныхъ выраженіяхъ лѣтописи или древняго поученія, въ мотивахъ церковнаго житія и т. п. Г. Буслаевъ въ своихъ очеркахъ старой русской поэзіи представилъ уже нѣсколько любопытнѣйшихъ образцовъ этого присутствія народной поэзіи въ памятникахъ письменности, гдѣ до того времени ихъ совсѣмъ не подозрѣвали [1]). Очевидно, что въ этомъ направленіи нужно было идти дальше. Въ тоже время это болѣе пристальное изученіе старой письменности исходило изъ чисто-литературныхъ мотивовъ.

Въ концѣ 1840-хъ годовъ завершилась критическая дѣятельность Бѣлинскаго: наступившая удушливая атмосфера послѣднихъ сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годовъ сдѣлала невозможнымъ дальнѣйшее продолженіе этого направленія съ его отвлеченно-художественной и отвлеченно-соціальной теоріей,—вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, чувствовалось, что критика „сороковыхъ годовъ" сдѣлала свое дѣло и что ищутъ отвѣта новые вопросы и литературные, и общественные. Съ одной стороны возникаетъ потребность болѣе опредѣленно поставить вопросъ общественный,—и въ этомъ направленіи еще при Бѣлинскомъ начали свою дѣятельность Валеріанъ Майковъ, соціалистическій кружокъ конца сороковыхъ годовъ, нѣсколько позднѣе критика „Современника"; съ другой стороны потребность историческаго выясненія литературы не удовлетворялась болѣе той исторіей литературы, какую давалъ Бѣлинскій съ чисто-художественной точки зрѣнія, притомъ совершенно не касаясь цѣлаго періода старой, до-Петровской письменности. Художественная критика сороковыхъ годовъ совсѣмъ не интересовалась этой письменностью и этимъ періодомъ, какъ эпохой грубой безсознательности; тотъ литературный кругъ совсѣмъ и не зналъ этой письменности,—хотя въ объясненіе должно сказать, что ея живого историческаго и поэтическаго интереса не знали сами тогдашніе спеціалисты, извлекавшіе изъ нея почти только церковную археологію, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще не были установлены изученія народной поэзіи и преданія. Затѣмъ

[1]) Его разборы и толкованія смоленской легенды о св. Меркуріи, муромскаго преданія о Маѳѣ и Маріи, житій тверскихъ, новгородскихъ, и пр.

относительно самого XVIII и XIX вѣка нельзя было не видѣть, что кромѣ эстетической мѣрки къ ней можетъ, и должна, быть приложена также другая, чисто историческая мѣрка: не всѣ движенія общественной жизни достигали художественнаго выраженія, и тѣмъ не менѣе они имѣли свое жизненное, историческое значеніе; масса произведеній литературы, мимо которыхъ съ пренебреженіемъ проходитъ эстетическій критикъ, представляла, однако, животрепещущій интересъ для исторіи образованія, общественной жизни, нравовъ, самыхъ интимныхъ движеній развитія, и могла наконецъ выяснять самый процессъ возрастанія художественнаго чувства и пониманія. Если историкъ ищетъ въ литературѣ не только развитія художественнаго стиля, но и исторіи *сознанія*, онъ необходимо долженъ расширить объемъ своихъ изученій, обратиться къ литературѣ вообще, собрать и изслѣдовать ея детали. Очевидно также, что нѣсколько внимательное изслѣдованіе должно было разыскать и раскрыть этотъ интересъ и въ старой до-Петровской письменности и что историческое наблюденіе не могло миновать, какъ лишенные будто бы содержанія, цѣлые вѣка народной жизни, въ которые очевидно вкладывался національный характеръ. Новая школа приходила, напротивъ, къ совсѣмъ иному впечатлѣнію: литература послѣ-Петровская, развившаяся подъ европейскими вліяніями, казалась даже совсѣмъ лишенною интереса, какъ чистое подражаніе, не выросшее изъ самобытнаго народнаго источника, и, напротивъ, исполненной интереса казалась та литература, скудная по объему, не выработанная по формѣ, наивная и первобытная, но запечатлѣнная чисто народнымъ творчествомъ, принадлежавшая всей народной массѣ, высказывавшая ея чувства и идеалы. Это была народная поэзія и народная письменность: на нихъ смотрѣли съ пренебреженіемъ приверженцы новой литературы, но до пониманія народной словесности нужно было не снизойти, а возвыситься [1]). Въ старой письменности были отголоски этого народно-поэтическаго духа: ихъ надо было разыскать и объяснить.

Въ такомъ сложномъ видѣ складывались тѣ новые историко-литературные и этнографическіе интересы, въ средѣ которыхъ воспитывалось новое поколѣніе изслѣдователей, воспринявшее трудъ своихъ ближайшихъ предшественниковъ и учителей сороковыхъ годовъ. Разъ задача поставлена была такимъ образомъ, работы открывалось множество. Еслибы кто захотѣлъ наглядно представить себѣ ту громадную перемѣну, какая совершилась въ постановкѣ историко-литературнаго изслѣдованія, тотъ увидитъ ее, поставивъ рядомъ книги

---

[1]) Выше указано, что именно такъ говорилъ г. Буслаевъ.

по исторіи русской литературы, какія были еще въ ходу въ пятидесятыхъ годахъ непосредственно послѣ Бѣлинскаго [1]) и какія являлись въ послѣдніе годы. Въ промежуткѣ совершены были обширныя работы, направленныя съ одной стороны на то изученіе деталей новой литературы, о которомъ мы выше говорили, съ другой, на изученіе старой письменности и народной поэзіи. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи предстояло сдѣлать разысканія, которыя въ прежнее время были едва начаты: необходимо было отдать себѣ отчетъ въ цѣломъ составѣ старой письменности, опредѣлить ея инвентарь, и особенно съ той стороны, которая до тѣхъ поръ была совершенно пренебрежена—со стороны ея поэтическихъ элементовъ. До сихъ поръ изслѣдованіе старой письменности ограничивалось почти исключительно лѣтописью и церковною исторіею; не многія изъ рукописныхъ собраній были описаны и то лишь въ видѣ краткаго реестра, по которому трудно или совсѣмъ невозможно было судить о содержаніи памятниковъ: одно знаменитое „Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцовскаго Музеума", Востокова (1842), впервые дало болѣе подробный раціональный каталогъ, съ краткими, но весьма цѣнными замѣтками о составѣ содержанія и извлеченіями изъ рукописей, между прочимъ изъ такихъ произведеній, на которыя прежде обращалось мало вниманія. Здѣсь были уже не маловажные намеки на то, чего слѣдовало, между прочимъ, искать въ старой письменности. Въ первыхъ трудахъ г. Буслаева, какъ выше замѣчено, сдѣланы были интересные опыты разработки письменнаго матеріала съ цѣлью объясненія старой русской поэзіи. Поиски въ рукописномъ матеріалѣ были дѣйствительно вознаграждены замѣчательными открытіями, которыя въ концѣ концовъ совершенно измѣнили представленіе о содержаніи старой русской письменности: въ ней именно была открыта цѣлая обильная струя народно-поэтическаго содержанія, цѣлый рядъ памятниковъ книжныхъ, которые были или вполнѣ народными, или стояли въ болѣе или менѣе тѣсномъ соотношеніи съ мотивами народной поэзіи. Если прибавить, что въ тѣхъ же пятидесятыхъ годахъ подготовлялись новые богатые сборники живой народной поэзіи, какіе вскорѣ появились въ изданіяхъ Рыбникова, Кирѣевскаго, Шейна, Якушкина, Варенцова и т. д., гдѣ замѣчательно расширилась вся область народной поэзіи, открывавшаяся изслѣдованію; если прибавить, что въ то же время наши изслѣдованія воспользовались богатымъ сравнительнымъ матеріаломъ, который въ особенномъ изобиліи сталъ собираться тогда въ изданіяхъ и изслѣдованіяхъ западныхъ, особливо нѣмецкихъ, то понятна будетъ та масса новыхъ объясненій,

[1]) Укажемъ, для примѣра, „Очеркъ исторіи русской поэзіи", А. Милюкова, 1847.

какія являлись теперь для народно-поэтической письменной старины и для современной этнографіи. Между стариной и современной народной поэзіей и преданіемъ возстановлялась наглядно историческая связь, какъ возстановлялась историческая связь до-Петровской письменности и новой литературы, между которыми предполагалась прежде глубокая пропасть.

Не входя опять въ подробности новаго движенія, остановимся на его замѣчательнѣйшихъ пріобрѣтеніяхъ. Назовемъ здѣсь прежде всего труды Н. С. Тихонравова.

Николай Сав. Тихонравовъ (род. въ началѣ 1830-хъ г. въ Москвѣ) кончилъ курсъ въ одной изъ московскихъ гимназій въ томъ году, когда вслѣдствіе политическихъ волненій въ Западной Европѣ сочтено было нужнымъ, для обезпеченія политическаго спокойствія Россіи, принять строгія мѣры относительно русскихъ университетовъ и, между прочимъ, опредѣлить для каждаго университета комплектъ въ 300 человѣкъ,—такъ что г. Тихонравовъ поступилъ сначала въ Педагогическій институтъ въ Петербургѣ (въ 1849, во время директорства И. И. Давыдова), а черезъ годъ ему удалось перейти въ московскій университетъ, гдѣ онъ и кончилъ курсъ (въ 1853 году). Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ получилъ каѳедру въ московскомъ университетѣ, гдѣ съ тѣхъ поръ и работалъ какъ профессоръ и, одно время, ректоръ.

Его первыя работы являются въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ небольшими изслѣдованіями по исторіи литературы прошлаго и частію нынѣшняго вѣка въ томъ новомъ (какъ тогда выражались, „библіографическомъ") направленіи, о которомъ мы сейчасъ говорили. Изслѣдованія относились къ подробностямъ, но тѣмъ не менѣе оказывались исторически весьма характерными для объясненія писателей и самой эпохи. Эти работы тогда же обратили на себя вниманіе замѣчательнымъ изученіемъ литературной старины. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ г. Тихонравовъ предпринялъ изданіе историко-литературнаго сборника по тѣмъ предметамъ, которые, какъ сейчасъ указано, стали привлекать новыхъ изыскателей и на которые направлялись его собственныя изученія[1]). Вопросы исторіи литературы поставлены были въ томъ широкомъ объемѣ, въ какомъ стала понимать ихъ новая школа. Здѣсь нашли мѣсто и старая и новая литература: послѣдняя—особливо со стороны ея значенія для исторіи образованности, нравовъ, общественнаго развитія; первая—по тѣмъ же отношеніямъ ея въ древности, или по ея связямъ съ вопросами этно-

[1]) „Лѣтописи русской литературы и древности", три тома въ шести книгахъ, М. 1859 — 1860; т. IV, 1862; т. V, 1863.

графіи, древняго быта и народной поэзіи. Таковы были изданія памятниковъ, относящихся къ судьбамъ древней народной жизни, какъ поученія противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ, какъ матеріалы для исторіи Стоглава, для исторіи раскола, историческія свѣдѣнія о Сильвестрѣ Медвѣдевѣ; въ ближайшемъ отношеніи къ этнографіи стояли памятники древней легендарной литературы, оригинальные заговоры, собранія народныхъ пѣсенъ современныхъ; затѣмъ произведенія старинной повѣсти, болѣе или менѣе связанной съ народно-поэтическими сюжетами; нѣсколько изслѣдованій, посвященныхъ народно-поэтическимъ преданіямъ стараго времени; наконецъ, и переводъ сравнительной миѳологіи Макса Мюллера. Въ изданіи г. Тихонравова соединились труды старшаго и новаго поколѣнія изслѣдователей: мы находимъ здѣсь труды и сообщенія Ѳ. И. Буслаева, Аѳанасьева, Соловьева, Костомарова, И. Е. Забѣлина, А. Е. Викторова, А. С. Павлова, Н. И. Субботина, К. П. Побѣдоносцева; наконецъ цѣлый рядъ работъ самого издателя.

Не касаясь статей историко-литературныхъ по XVIII и XIX вѣкамъ, укажемъ этнографическій матеріалъ, помѣщенный въ этомъ замѣчательномъ для своего времени изданіи.

Томъ I (книжки первая и вторая): Русская поэзія XI и начала XII вѣка, г. Буслаева; Русскія народныя пѣсни, собранныя П. И. Якушкинымъ, съ предисловіемъ г. Буслаева; О новгородскихъ Макарьевскихъ Четіихъ-Минеяхъ, замѣтки Макарія, еп. тамбовскаго и шацкаго; статья о Zeitschrift für deutsches Alterthum Морица Гаупта, А. Н. Веселовскаго; статья о книгѣ Бергмана Les Scythes, А. А. Котляревскаго; Николай угодникъ и Касьянъ угодникъ, народная сказка, сообщ. П. И. Якушкинымъ; статья о Jahrbuch für romanische und englische Literatur Эберта, г. Буслаева; Замѣтки о старинѣ и народности, г. Буслаева.

Томъ II (книжки третья и четвертая): Смоленская легенда о св. Меркуріи, г. Буслаева; Сказаніе о созданіи великія Божія церкви св. Софіи въ Константинополѣ, съ пред. К. Герца и г. Буслаева; Повѣсть града Іерусалима, г. Буслаева; статья о Zeitschrift für Völkerpsychologie Лацаруса и Штейнталя, А. Дювернуа; Сказка о милосердомъ купцѣ (запис. въ Московской губерніи); разборъ книги Щапова о расколѣ, И. С. Некрасова.

Томъ III (книжки пятая и шестая): Муромское преданіе о Марѳѣ и Маріи, г. Буслаева; Лекціи изъ курса исторіи русской литературы, его же; Слово и откровеніе святыхъ апостолъ, съ предисловіемъ его же; Народные стихи объ Адамѣ, о преданіи Христа Іудою, о пятницѣ, сообщ. И. Т. Глѣбовымъ; Разборъ нѣкоторыхъ филологическихъ объясненій г. Костомарова въ статьѣ: „Происхожденіе Руси", А. Дювернуа; Запорожская пѣсня, сообщ. Н. Костомаровымъ.

Томъ IV. Мѣстныя сказанія владимірскія, московскія и новгородскія. Двѣ лекціи изъ курса исторіи русской литературы, г. Буслаева; Русскія нар. пѣсни, собранныя въ Саратовской губерніи А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровымъ; Нѣкоторыя черты объ обществѣ духоборцевъ (1805 г.); О народахъ на страшномъ судѣ, по одному лицевому сборнику XVII вѣка Новгор. Софійской

библіотеки, г. Буслаева; Исторія о бѣгствующемъ священствѣ, соч. Ивана Алексѣева (1755); Нѣсколько народныхъ заговоровъ, сообщены А. Н. Аѳанасьевымъ.

Томъ V. Сравнительная миѳологія Макса Мюллера, пер. съ англ. И. М. Живаго; Духовные стихи раскольниковъ, сообщ. А. С. Павловымъ; Для опредѣленія иностранныхъ источниковъ повѣсти о мутьянскомъ воеводѣ Дракулѣ, г. Буслаева; Повѣсти о мудрыхъ женахъ, сообщ. А. Н. Аѳанасьевымъ; Повѣсть о скверномъ бѣсѣ, сообщ. А. С. Павловымъ; Заговоръ отъ укушенія змѣи, сообщ. П. П. Барсовымъ; Два раскольничьи стиха, сообщ. Н. И. С-нымъ.

Самому издателю принадлежатъ слѣдующіе тексты и изслѣдованія:

— Повѣсть объ Аполлонѣ Тирскомъ, съ предисловіемъ (I, кн. 1, стр. 1—33).

— Луцидаріусъ. Часть первая. Съ предисловіемъ (тамъ же, стр. 33—68).

— Повѣсть, какъ приходилъ греческій царь Василій подъ Вавилонъ градъ (кн. 2, стр. 161—165). Варіантъ сказки о Вавилонскомъ царствѣ.

— Повѣсть о преніи живота съ смертію (тамъ же, стр. 183—193). Текстъ и историко-литературныя сличенія.

— Стихъ о книгѣ Голубиной (II, кн. 3, стр. 64—69), по рукописи гр. Уварова (Царскаго, № 490).

— Повѣсть о Ѳедорѣ жидовинѣ (тамъ же, стр. 69—71), по рукописи г. Тихонравова.

— Разговоръ о Адамовыхъ дѣтяхъ, какъ жили (тамъ же, стр. 72), по рукописи его же.

— Повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ (кн. 4, стр. 61—80), по рукописи Е. Д. Филимонова.

— Сказка объ Урусланѣ Залазаревичѣ (тамъ же, стр. 100—128), по рукописи Ундольскаго.

— Повѣсть о чюдеси пречистыя Богородицы, о градѣ Муромѣ и епископѣ его, како пріиде на Резань (тамъ же, стр. 97—99), по рукописи конца XVII в.

— Русская легенда XVII вѣка объ образѣ Богородицы (тамъ же, стр. 99—100), по рукописи гр. Уварова (Царскаго, № 440).

— Сказаніе о Индѣйскомъ царствѣ (тамъ же, стр. 100—103), по рукописи конца XVII вѣка.

— Заговоры на оружіе (тамъ же, стр. 103—105), по рукописи Е. Д. Филимонова, писанной въ 1769—74 г. въ Харьковѣ.

— Слово о вѣрѣ христіанской и жидовской (т. III, кн. 5, стр. 66—78), текстъ и предисловіе.

— Интермедія на три персоны: смерть, воинъ и хлопецъ (тамъ же, стр. 78—80), изъ южнаго сборника 1788 г.

— Сказка объ Иванѣ Бѣломъ (тамъ же, стр. 8—15), изъ рукописи Е. Д. Филимонова.

— Стихъ объ Антихристѣ (тамъ же, 15—16), по рукописи новаго письма.

— Повѣсти о Вавилонскомъ царствѣ (тамъ же, стр. 20—33), еще три редакціи этого сказанія.

— Шемякинъ судъ (тамъ же, стр. 34—38), историко-литературныя сличенія.

— Пѣсня объ осадѣ Соловецкаго монастыря (кн. 6, стр. 90—91), по раскольничьей рукописи начала настоящаго столѣтія.

— Любовное заклинаніе изъ слѣдственнаго дѣла 1769 года (тамъ же, стр. 92—93).

— Новый списокъ слова о Даніилѣ Заточникѣ (тамъ же, стр. 93—94).

— Повѣсти о царѣ Соломонѣ. Съ приложеніемъ шести снимковъ, по рукописямъ г. Филимонова, Забѣлина и С. Б. (т. IV, стр. 112—153).

— Слова и поученія, направленныя противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ. Съ предисловіемъ (тамъ же, стр. 83—112).

— Исторія о вѣрѣ и челобитная о стрѣльцахъ Саввы Романова (т. V, стр. 111—148).

— Раскольничья сатира прошлаго вѣка (тамъ же, стр. 42—43).

— Пять древне-русскихъ поученій (тамъ же, стр. 90—103).

— Нѣсколько народныхъ заговоровъ (изъ раскольничьей тетрадки новаго письма, тамъ же, стр. 111—112).

— Замѣтка для исторіи Стоглава (тамъ же, стр. 137—144.

— Слово о злыхъ женахъ (тамъ же, стр. 145—147).

Сборникъ г. Тихонравова болѣе чѣмъ какое-либо другое изданіе того времени можетъ служить образчикомъ тѣхъ широкихъ историко-литературныхъ интересовъ, какіе опредѣлились въ пятидесятыхъ годахъ, съ одной стороны какъ дополненіе прежней исторіи литературы, причемъ интересъ чисто художественный восполнялся изученіемъ культурно-историческимъ, съ другой, какъ опытъ расширенія изслѣдованій народной поэзіи путемъ изученія старой письменности. Каждая книжка „Лѣтописей“ приносила новыя любопытнѣйшія данныя для исторіи народнаго или полу-народнаго поэтическаго творчества, особливо извлеченныя изъ памятниковъ старой письменности.

Въ тѣ же годы былъ изданъ г. Тихонравовымъ важный трудъ по изученію этой письменности, посвященный такъ-называемымъ „отреченнымъ“ книгамъ [1]). Извѣстно значеніе этихъ книгъ: это были, во-первыхъ, болѣе или менѣе древніе переводы апокрифическихъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, житія и легенды, непризнанныя церковью, книги гадательныя, астрологическія, особыя молитвы, заговоры и т. п., наконецъ, произведенія поэтическаго характера, такъ или иначе возбуждавшія недовѣріе старинныхъ церковныхъ учителей и потому осужденныя въ качествѣ „ложныхъ“. Множество произведеній этой литературы донынѣ сохранились отчасти въ спискахъ, принадлежавшихъ къ первымъ вѣкамъ нашей письменности, но въ особенности въ рукописяхъ позднѣйшаго времени, очевидно составлявшихъ весьма распространенное популярное чтеніе. Въ очень старыхъ спискахъ извѣстна также весьма распространенная въ старой письменности особая статья, заключавшая въ себѣ вмѣстѣ съ указаніемъ книгъ, одобренныхъ церковью, и церковное запрещеніе книгъ ложныхъ: статья „О книгахъ истинныхъ и ложныхъ“, заимствованная первоначально изъ источника византійскаго, а потомъ обильно до-

[1]) Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Николаемъ Тихонравовымъ (Приложеніе къ сочиненію: „Отреченныя книги древней Россіи“). Два тома. Спб. и Москва, 1863. Обѣщанное сочиненіе осталось неизданнымъ.

полненная по наличному составу этихъ книгъ въ литературѣ старославянской и впослѣдствіи старой русской. Не смотря на запрещенія, ложныя книги были, однако, чрезвычайно распространены въ старой письменности и послѣдними отголосками доходятъ даже до нашего времени въ простонародномъ чтеніи (какъ „Бесѣда трехъ Святителей“, „Сонъ Богородицы“, „Сказаніе о добрыхъ и злыхъ дняхъ“ и т. п.). Ихъ интересъ для старинныхъ читателей заключался въ поэтическихъ добавленіяхъ къ библейской и евангельской исторіи, въ разсказѣ о событіяхъ, возбуждавшихъ любопытство и о которыхъ однакоже ничего не говорили каноническія книги, вообще въ чудесномъ и легендарномъ, къ которому было особенно склонно и жадно народное воображеніе, а также и суевѣріе. Многое изъ этихъ книгъ крѣпко запечатлѣлось въ народной памяти и фантазіи и затѣмъ отразилось въ народной поэзіи и предразсудкѣ. Понятно, что изученіе этой отреченной литературы было необходимо для объясненія извѣстныхъ явленій народной поэзіи и оно дало новыя доказательства органической связи, соединявшей старую письменность и народно-поэтическое творчество. Изданіе г. Тихонравова было самымъ обширнымъ собраніемъ памятниковъ отреченной литературы и уже не мало послужило какъ для объясненія общихъ отношеній нашей старой письменности, такъ и для объясненія многихъ явленій старой народной поэзіи.

Не перечисляя трудовъ г. Тихонравова по исторіи литературы, не имѣющихъ ближайшаго отношенія къ этнографіи, упомянемъ еще его большую работу, посвященную старой исторіи русскаго театра [1]). Въ этой книгѣ впервые были собраны многочисленные тексты старинной драмы и кромѣ своего историко-литературнаго значенія книга представляетъ важный матеріалъ для исторіи книжнаго языка и для исторіи нравовъ. Въ томъ же отношеніи важны другія историко-литературныя изслѣдованія г. Тихонравова, начиная съ упомянутаго изданія древнихъ поученій противъ язычества, исторіи различныхъ эпизодовъ еретическаго движенія въ старой Россіи, и кончая важными разысканіями о писателяхъ новѣйшей литературы, какъ въ послѣднее время о Пушкинѣ и Гоголѣ. Въ изслѣдованіи памятни-

[1]) „Русскія драматическія произведенія 1672—1725 годовъ. Къ 200-лѣтнему юбилею русскаго театра собраны и объяснены Ник. Тихонравовымъ, проф. Московскаго Университета“. Два тома, Спб. 1874. Изд. Д. Е. Кожанчикова. Извѣстна судьба этой книги, въ свое время недопечатанной и не вышедшей въ свѣтъ вслѣдствіе банкротства издателя и явившейся въ продажѣ много лѣтъ спустя безъ участія автора. Не вошедшее въ отпечатанную книгу и имѣвшееся только въ корректурныхъ оттискахъ обширное изслѣдованіе г. Тихонравова о началѣ русскаго театра между прочимъ было утилизировано г. Морозовымъ въ его книгѣ о томъ же предметѣ, какъ о томъ было писано въ свое время.

ковъ старой письменности, имѣющихъ отношеніе къ народно-поэтическому содержанію, г. Тихонравовъ далъ любопытные образчики сравнительнаго историко-литературнаго изученія, указывая иноземные прототипы старой повѣсти и ея видоизмѣненія на русской почвѣ.

Наконецъ, въ изученіи старой письменности особый трудъ положенъ былъ г. Тихонравовымъ на самое собираніе ея памятниковъ. Съ первыхъ лѣтъ своей научной дѣятельности онъ сталъ усерднымъ собирателемъ и въ концѣ концовъ составилъ замѣчательную историко-литературную библіотеку книгъ и рукописей: собранная неутомимыми усиліями знатока эта коллекція заключаетъ, во-первыхъ, множество книжныхъ рѣдкостей прошлаго и нынѣшняго вѣка, не однихъ рѣдкостей анекдотическихъ, но важныхъ въ историко-литературномъ отношеніи, и во-вторыхъ, замѣчательное собраніе рукописей древнихъ и болѣе позднихъ самаго разнообразнаго содержанія, а также старыхъ лубочныхъ картинокъ, составляющихъ теперь большую рѣдкость [1]). Собраніе рукописей уже въ многомъ послужило и самому г. Тихонравову и другимъ изслѣдователямъ русской письменной старины и, напримѣръ, въ послѣднее время ему удалось встрѣтить замѣчательную народную редакцію рѣдкаго памятника старой русской повѣсти, извѣстнаго подъ названіемъ „Девгеніева Дѣянія", которое до сихъ поръ было извѣстно только въ одномъ спискѣ.

Къ этому времени относятся также нѣкоторыя мои работы, касающіяся этнографіи. Это были сначала отдѣльные очерки изъ исторіи древней письменности, именно изъ исторіи книжно-народной повѣсти и апокрифическихъ сказаній въ связи ихъ съ современной народной поэзіей и преданіями:—Сказка изъ Тысячи и одной ночи, въ старомъ русскомъ переводѣ; Хожденіе Богородицы по мукамъ; Сказка о Вавилонскомъ царствѣ; Шемякинъ судъ; Рафли; Народныя пѣсни и стихи изъ старыхъ рукописей и проч.—въ „Извѣстіяхъ" Академіи и „Отеч. Запискахъ" 1854—1856, позднѣе въ „Архивѣ историко-практическихъ свѣдѣній о Россіи", Калачова, и въ трудахъ Московскаго Археологическаго Общества.

Той же области старой письменности посвящена была книга, составившая магистерскую диссертацію: „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ". Спб. 1857 (также въ „Ученыхъ Запискахъ" русскаго отдѣленія Академіи, т. IV). Здѣсь указана была исторія старой русской повѣсти отъ древнѣйшихъ ея произведеній, заимствованныхъ изъ византійскаго и южнославянскаго источника, до повѣстей XVI — XVII вѣка, пришедшихъ большею частью изъ литературы западной черезъ польско-бѣлорусскіе переводы, и до опытовъ русской бытовой повѣсти XVII вѣка. Въ числѣ первыхъ были напр. сказанія Троянскія, Александрія, сказанія о царѣ Соломонѣ, Стефанитъ и Ихнилатъ, житіе Варлаама и Іосафата, сказаніе о премудромъ Акирѣ и пр.. Между прочимъ въ одной изъ Погодинскихъ рукописей отыскалась замѣчательная византій-

---

[1]) Эта послѣдняя коллекція упомянута Д. А. Ровинскимъ: „Русскія народныя картинки". Спб. 1881 I, предисловіе.

ская поэма, въ нашихъ рукописяхъ подъ названіемъ „Девгеніева Дѣянія" (сказаніе о Дигенисѣ), которая находилась въ томъ погибшемъ въ 1812 году сборникѣ, гдѣ открыто было нѣкогда Слово о Полку Игоревѣ, и которая съ тѣхъ поръ не была находима въ рукописяхъ [1]). Въ приложеніяхъ издано нѣсколько текстовъ этой литературы, какъ Троянскія сказанія, Девгеніево Дѣяніе, повѣсть о Дракулѣ и пр. Этнографическій интересъ памятниковъ состоялъ въ томъ, что во многихъ случаяхъ открывалась несомнѣнная связь этой старой народной повѣсти съ уцѣлѣвшими донынѣ памятниками народной поэзіи, и для послѣднихъ можно было во многихъ случаяхъ предположить книжное происхожденіе. Тексты изучены были здѣсь главнымъ образомъ по рукописямъ Публичной библіотеки и въ томъ числѣ Погодинскаго древлехранилища, не задолго передъ тѣмъ пріобрѣтеннаго въ Библіотеку и для котораго не имѣлось еще настоящаго каталога, а также по рукописямъ Румянцовскаго Музея, въ то время еще находившагося въ Петербургѣ; рукописи другихъ библіотекъ, для которыхъ существовали печатные каталоги, указаны библіографически.

Въ одномъ изъ Погодинскихъ сборниковъ XVII—XVIII вѣка найдено было мною рѣдкое произведеніе старой народной поэзіи въ письменной формѣ: „Повѣсть о горѣ-злочастіи, какъ горе-злочастіе довело молодца во иноческій чинъ". Изданіе этого памятника было тогда предоставлено мною Н. И. Костомарову, который, занимаясь тогда же въ Публичной Библіотекѣ, пришелъ въ величайшій восторгъ отъ вновь открытаго памятника русской поэтической старины. „Повѣсть" напечатана была тогда же съ историческими объясненіями Костомарова („Современникъ", 1857, апрѣль); вскорѣ другое изданіе сдѣлано было Срезневскимъ въ „Извѣстіяхъ", 1857; обширный комментарій къ этому памятнику данъ былъ г. Буслаевымъ.

Въ 1861 году сдѣлано было мною изданіе „Ложныхъ и отреченныхъ книгъ русской старины" въ сборникѣ Костомарова: „Памятники старинной Русской литературы", гдѣ онѣ составили III томъ [2]). Выше, по поводу другого изданія памятниковъ этой литературы, сдѣланнаго г. Тихонравовымъ, указано значеніе этого рода произведеній для этнографіи, такъ какъ здѣсь былъ источникъ многихъ народныхъ суевѣрно-поэтическихъ представленій, повѣрій и даже эпическихъ мотивовъ въ былинѣ и такъ называемомъ духовномъ стихѣ.

Въ нѣкоторомъ отношеніи къ этнографіи находится также „Исторія славянскихъ литературъ" (Спб. 1865, 2-е размноженное изданіе 1879—1881, 2 тома), далѣе: „Старообрядческій Синодикъ" и „Изъ исторіи народной повѣсти (исторія о шляхтичѣ Долторнѣ)", изданные Обществомъ любителей древней письменности, въ Петербургѣ, и „Для любителей книжной старины" (Библіографическій списокъ рукописныхъ романовъ, повѣстей, сказокъ и пр., преимущественно изъ первой половины XVIII вѣка), изд. Обществомъ любителей россійской словесности, въ Москвѣ.

Въ тѣ же годы, лишь немного позднѣе, началась ученая дѣятельность А. А. Котляревскаго (1837—1881). Уроженецъ юга, онъ

---

[1]) Въ 1890 году, какъ выше упомянуто, найденъ былъ г. Тихонравовымъ второй списокъ этого сказанія, новѣйшаго простонароднаго письма, но со стараго подлинника, съ любопытными архаическими варіантами. Этотъ новый списокъ долженъ появиться въ изданіяхъ Второго отдѣленія Академіи.

[2]) Объяснительная статья къ этимъ произведеніямъ въ „Русскомъ Словѣ", 1862. Сводное изданіе и древнѣйшій текстъ „Статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ" были мною помѣщены въ „Лѣтописи занятій Археографической коммиссіи", 1863.

учился въ полтавской гимназіи, потомъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1857. Занявшись потомъ преподаваніемъ русскаго языка и словесности въ Москвѣ, въ 1862 году онъ имѣлъ несчастіе быть привлеченнымъ къ той же исторіи, которая разстроила матеріальную жизнь и ученую дѣятельность Аѳанасьева; на Котляревскомъ, къ сожалѣнію, это „политическое“ дѣло отразилось еще болѣе печально, такъ какъ заключеніе въ крѣпости положило начало болѣзни, сломившей впослѣдствіи его отъ природы крѣпкую натуру. Только въ 1867 году Котляревскому вновь было разрѣшено поступить на службу по учебному вѣдомству (это право было у него отнято въ 1862 году) и именно въ дерптскомъ округѣ. Въ 1868, онъ защищалъ свою магистерскую диссертацію: „О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ“ и назначенъ былъ профессоромъ русскаго языка и славянскаго языковѣдѣнія въ дерптскомъ университетѣ. Онъ пробылъ здѣсь до 1872, когда разстроенное здоровье потребовало леченья за границей, гдѣ онъ и пробылъ до 1874, продолжая усиленно работать. Въ этомъ году онъ представилъ въ петербургскій университетъ свои труды, выработанные за границей и напечатанные въ Прагѣ: „Древности юридическаго быта Балтійскихъ славянъ“ и „Сказанія объ Оттонѣ Бамбергскомъ въ отношеніи славянской исторіи и древности“ для полученія степени доктора славянской филологіи, и въ концѣ того же года приглашенъ былъ на славянскую каѳедру въ Кіевѣ. Онъ началъ лекціи уже только во второмъ семестрѣ 1875—1876 академическаго года и впослѣдствіи его чтенія не разъ были прерываемы болѣзнью. Въ маѣ 1881 года онъ снова долженъ былъ отправиться, по требованію докторовъ, за границу и въ концѣ сентября этого года умеръ въ Пизѣ [1]).

По своей дальнѣйшей дѣятельности и профессурѣ Котляревскій былъ преимущественно славистъ и археологъ, но съ самаго начала и до конца этнографія въ ея различныхъ областяхъ была его живѣйшимъ интересомъ. Его литературные труды начинаются въ ту самую пору (начало прошлаго царствованія), которую онъ называлъ нашей эпохой „возрожденія наукъ и искусствъ“: въ ту пору ему были одинаково близки и тѣ новые общественные интересы, когда ожи-

---

[1]) Біографическія свѣдѣнія см. въ „Поминкѣ по А. А. Котляревскомъ“. Кіевъ, 1881, повторенной въ третьей книгѣ „Чтеній въ историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца“, подъ редакціею Н. П. Дашкевича. Кіевъ 1889. Въ концѣ помѣщенъ подробный библіографическій списокъ сочиненій.

— Біографическій Словарь профессоровъ и преподавателей императорскаго университета св. Владиміра“ (1834—1884). Кіевъ, 1884, стр. 303—325.

— Воспоминанія объ А. А. Котляревскомъ. Алексѣя Веселовскаго. Кіевъ, 1888 (изъ „Кіевской Старины“).

— А. А. Котляревскій, А. В. Стороженка, въ „Вѣстн. Евр.“, 1890, іюль.

далась реформа, долженствовавшая произвести знаменательный переломъ въ жизни народа, и интересы новой, только-что воспринимаемой у насъ науки, посвященной изслѣдованію старыхъ преданій и современнаго поэтическаго содержанія народной жизни. Первые труды его были посвящены съ одной стороны общимъ вопросамъ о постановкѣ нашихъ изученій народной старины и исторіи литературы [1]), отчасти спеціальнымъ предметамъ бытовой археологіи и этнографіи [2]), отчасти общему вопросу сравнительнаго языкознанія [3]). Изученія его отличались съ самаго начала большою разносторонностью, которая была характерна по положенію самаго вопроса: какъ въ нашей общественности того времени сказались вдругъ давно таившіяся требованія общественнаго и нравственнаго быта, такъ въ изученіяхъ народности, въ новомъ поколѣніи изслѣдователей, возникалъ цѣлый рядъ вопросовъ по разнымъ отраслямъ народной археологіи, этнографіи, языкознанія, сравнительной миѳологіи, къ которымъ проложенъ былъ путь предыдущимъ поколѣніемъ ученыхъ, но которыя требовали настоятельныхъ исканій, тѣмъ болѣе, что наука университетская не имѣла тогда достаточныхъ органовъ въ этомъ направленіи [4]). Не легко было овладѣть тѣмъ матеріаломъ самой русской народной старины, который долженъ былъ быть введенъ въ изслѣдованіе, и тѣмъ обширнымъ матеріаломъ богато развивавшейся тогда западной науки, который заключалъ въ себѣ существенно важныя пріобрѣтенія по сравнительному языкознанію и миѳологіи, нерѣдко прямо относившіяся и къ нашему содержанію, и не менѣе важныя указанія о методѣ изслѣдованія. Такимъ образомъ обширная начитанность Котляревскаго была особливой потребностью данной минуты. Основой его научныхъ понятій было ученіе Гримма; онъ внимательно изучалъ „Миѳологію" и „Древности Права", вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдилъ за новѣйшей западной литературой по изученію на-

[1]) Критическія статьи о книгахъ архіеп. Филарета, Милюкова, Ор. Миллера, Шевырева, Галахова и др.; „Старина и народность", 1862.

[2]) „Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли, или пришли изъ-за Карпатъ въ XIV вѣкѣ"? 1862; Изображеніе калики перехожаго въ латинской рукописи XIV вѣка, 1862; Русская народная сказка, 1864; Для исторіи русскаго народнаго театра,—Аника воинъ и смерть, 1864; Основной элементъ русской богатырской былины,—по поводу книги Л. Майкова, 1864; Металлы у племенъ индоевропейскихъ; Скандинавскій корабль на Руси, 1865; Славяне и Русь древнѣйшихъ арабскихъ писателей, 1868; Archäologische Späne, 1871, и др.

[3]) Статьи въ воронежскихъ „Филолог. Запискахъ": „Сравнительное языкоученіе", 1862—63 и др.

[4]) О состояніи университетовъ того времени ср. замѣчанія В. И. Модестова, въ книжкѣ: „Русская наука въ послѣднія двадцать пять лѣтъ", Одесса, 1890, стр. 11. То время, до министерства Головнина, авторъ прямо считаетъ временемъ упадка университетовъ.

родной древности, не говоря о литературѣ славянской и русской. Такимъ образомъ онъ, какъ немногіе изъ тогдашняго ученаго молодого поколѣнія, знакомъ былъ съ положеніемъ вопроса въ литературѣ, и это давало ему возможность вѣрно оцѣнивать совершавшуюся тогда научную работу. Его небольшая книжка: „Старина и народность“ (за 1861), представляющая обзоръ тогдашнихъ работъ по изученію народнаго быта и поэзіи, археологіи, исторіи старой и народной литературы, и которая можетъ послужить теперь любопытнымъ историческимъ очеркомъ тогдашняго состоянія этнографической науки, эта книжка заключала въ себѣ много мѣткихъ и полезныхъ замѣчаній по поводу различныхъ тогдашнихъ трудовъ въ этой области; указывая ошибки, намѣчала правильный путь изслѣдованія и цитировалась поэтому долго послѣ своего появленія. Нѣсколько позднѣе, Котляревскій далъ любопытный разборъ „Поэтическихъ Воззрѣній“ Аѳанасьева, гдѣ оспаривалъ уже преувеличенія миѳологическаго метода; еще позднѣе—разборъ „Исторіи русской жизни“ г. Забѣлина, и пр. Благодаря литературному опыту, Котляревскій больше чѣмъ нѣкоторые другіе изъ тогдашнихъ изслѣдователей остался свободенъ отъ филологическихъ и миѳологическихъ крайностей и былъ вообще весьма остороженъ въ своихъ выводахъ, указывая необходимость всесторонняго наблюденій и критики. Его первая обширная работа: „О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ“, есть въ одно и тоже время работа археологическая и этнографическая, какъ и вообще онъ не однажды соединялъ изученіе старины съ этнографической точкой зрѣнія. Послѣдующіе труды его были посвящены славянскимъ предметамъ; въ „Библіологическомъ опытѣ о древней русской письменности“ онъ далъ исторію русской филологіи, за которою должна была послѣдовать подобная исторія изученія русской народности, оставшаяся неисполненною. Въ параллель къ тому, чтó замѣчено выше о разносторонней начитанности Котляревскаго, можно прибавить, что онъ былъ также ревностный книжный собиратель, библіоманъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Библіотека его представляла замѣчательно полное, систематически подобранное собраніе книгъ по русской старинѣ—исторіи, археологіи, филологіи и этнографіи. Къ великому сожалѣнію, тяжелая болѣзнь, угнетавшая его въ послѣдніе годы жизни, не дала ему воспользоваться тѣмъ обильнымъ матеріаломъ знанія, которымъ онъ обладалъ; но рядомъ съ его изданными трудами остаются весьма характерны для той научной эпохи его коллекторскія работы и его библіотека, въ которой онъ хотѣлъ собрать наличный матеріалъ нашей археологической и этнографической науки, какъ результатъ ея прежнихъ пріобрѣтеній и путь къ новымъ разысканіямъ.

Около того же времени, съ шестидесятыхъ годовъ, появляются первые труды г. Потебни, занимающаго теперь одно изъ первыхъ мѣстъ, если не первое, въ ряду русскихъ филологовъ. Александръ Аѳан. Потебня былъ питомцемъ харьковскаго университета. Послѣ перваго своего труда: „О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзіи", который былъ его магистерской диссертаціей, онъ, уже въ качествѣ адъюнкта харьковскаго университета, продолжалъ свои ученыя занятія за границей (съ конца 1862 года), направивъ свои изученія на филологію и миѳологію; въ Берлинѣ онъ слушалъ санскритъ у Вебера, и посѣтилъ потомъ славянскія земли [1]). Съ тѣхъ поръ былъ имъ изданъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ трудовъ, посвященныхъ частью чисто филологическому изслѣдованію русскаго языка, частью изысканіямъ по народной миѳологіи на основаніи данныхъ языка. Его филологическія работы были высоко оцѣнены спеціалистами; двѣ книги „Изъ записокъ по русской грамматикѣ", въ половинѣ семидесятыхъ годовъ, были вознаграждены Ломоносовской преміей и онъ избранъ былъ членомъ-корреспондентомъ въ Академію наукъ [2]).

Какъ замѣчалъ академическій критикъ, г. Потебня имѣлъ въ своемъ трудѣ не мало предшественниковъ, тѣмъ не менѣе задача изученія русскаго языка оставалась весьма сложной. „Кромѣ старыхъ трудовъ Востокова, Греча и другихъ,—говорилъ Срезневскій,—онъ могъ имѣть и имѣлъ подъ руками важные труды Павскаго, Буслаева и еще нѣкоторыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ труды Миклошича, Гатталы, Даничича и нѣкоторыхъ другихъ западныхъ славистовъ. Онъ нашелъ сдѣланнымъ многое, но многое и едва начатымъ и недодѣланнымъ... Ни одинъ изъ славянскихъ языковъ, ни даже старо-славянскій языкъ, котораго родина и первичный строй доселѣ еще не опредѣлены окончательно, не давалъ поводовъ къ такимъ различнымъ соображеніямъ и домысламъ, какъ языкъ русскій. Изъ всего того, что̀ есть въ виду о русскомъ языкѣ, надобно выдѣлить цѣнное, отстранивъ не подходящее подъ уровень требованій строгой науки, хотя бы и не съ разу, не безъ колебаній, хотя бы отчасти и языкознательнымъ чутьемъ. При этомъ ограничить кругозоръ своихъ наблюденій и изслѣдованій однимъ книжнымъ новымъ язы-

[1]) Извлеченія изъ отчетовъ лицъ, отправленныхъ министерствомъ нар. просвѣщенія за границу, для приготовленія къ профессорскому званію. Спб. 1863—1867. I, стр. 282—283; II, стр. 356.

[2]) „Записка о трудахъ профессора А. А. Потебни, представленная во II-е отдѣленіе Академіи наукъ", Срезневскаго. См. „Сборникъ" второго отдѣленія Академіи. Спб. 1878, т. XVIII, стр. LXXXIX—CXVII, и тамъ же отчетъ о присужденіи Ломоносовской преміи, стр. LXXIV—LXXXVIII.

комъ, даже и съ прибавленіемъ того, что̀ хотя и не принято въ печатной рѣчи, но принято или осталось въ устной рѣчи образованнаго общества, было бы невозможно. Какъ ни любопытно уясненіе всѣхъ явленій строя литературнаго языка сопоставленіями ихъ самихъ взаимно, оно ни на сколько не можетъ удовлетворить ищущаго его, если только не захочетъ онъ идти покойно самодовольнымъ ходомъ оправдательнаго осмысленія всѣхъ навыковъ, въ силу котораго все, что̀ принято большинствомъ, должно считаться соотвѣтствующимъ законамъ строя языка—пока остается принятымъ. Для уясненія строя даже и этой доли русскаго языка наблюдатель-изслѣдователь долженъ раздвинуть свой кругозоръ и въ ширь—въ область языка народнаго, и въ глубь—въ область языка временъ прошедшихъ, тамъ и тамъ при помощи языковъ иностранныхъ. Но разъ вошедши въ эти области, не можетъ уже онъ (если только не по неволѣ стѣснилъ кругъ своихъ наблюденій, или не могъ побѣдить своего пристрастія къ современному литературному языку, какъ къ единственно важному въ какомъ бы то ни было отношеніи) не перемѣнить срединной точки своихъ наблюденій. Середину его кругозора, если не какъ ясно понимаемая дѣйствительность, то по крайней мѣрѣ какъ искомый образъ бывшаго и минувшаго, займетъ тотъ древній языкъ, отъ котораго какъ вѣтви пошли всѣ мѣстные нарѣчія и говоры, и который во всѣхъ вѣтвяхъ своихъ перемѣнялся и самъ по себѣ и по дѣйствію разныхъ обстоятельствъ. Книжный общественный языкъ имъ будетъ уваженъ какъ самая важная изъ вѣтвей языка, какъ главная связь всѣхъ частей народа, какъ главный проводникъ и хранитель образованности народа; но все-таки какъ одна изъ вѣтвей, даже какъ вѣтвь отъ вѣтви, только берущая соки не отъ одной вѣтви, а отъ разныхъ, отъ самаго корня языка“.

Этими словами Срезневскій опредѣлялъ задачу изслѣдованія, какъ понималъ ее г. Потебня. Такова дѣйствительно была точка зрѣнія и пріемъ нашего изслѣдователя. Говоря о строѣ современнаго синтаксиса русскаго языка, г. Потебня дѣлаетъ замѣчаніе, которое такимъ же образомъ прилагается къ его звукамъ и формамъ. Языкъ является намъ теперь какъ сложная, пестрая масса образованій, созданныхъ въ самые различные періоды его развитія и связанныхъ употребленіемъ въ одно цѣлое, которое кажется однороднымъ, хотя на дѣлѣ идетъ изъ разныхъ историческихъ эпохъ и составилось по различнымъ требованіямъ.

„Прежде созданное въ языкѣ,—говоритъ г. Потебня,—двояко служитъ основаніемъ новому: частью оно перестраивается за-ново при другихъ условіяхъ и по другому началу, частью же измѣняетъ свой видъ и значеніе въ цѣломъ единственно отъ присутствія новаго.

Согласно съ этимъ поверхность языка всегда болѣе или менѣе пестрѣетъ оставшимися наружу образцами разнохарактерныхъ пластовъ. Признавая эту пестроту поверхности языка (напр., то, что обороты „онъ былъ купецъ“ и „онъ былъ купцомъ“, стоящіе рядомъ въ нынѣшнемъ языкѣ, не одновременны по происхожденію и не однородны, но построены по различнымъ планамъ), стараясь сколько-нибудь опредѣлить пропорціи, въ какихъ на обращенной къ намъ поверхности языка смѣшаны разнохарактерныя явленія, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приходимъ къ необходимости выяснить характеръ ихъ, поставивши ихъ въ ряды другихъ, съ ними однородныхъ. Явленія, представляемыя составными членами предложенія, принадлежатъ къ двумъ разновременнымъ и разнохарактернымъ наслоеніямъ. Древнее наслоеніе оказывается, за немногими исключеніями, общимъ славянскому языку съ другими индоевропейскими“.

Изслѣдуя такимъ образомъ явленія языка, звуковыя, формальныя и синтактическія, г. Потебня употребляетъ въ дѣло обширную массу фактовъ, какіе доставляло сравненіе съ языками индоевропейской семьи (особливо сравненія изъ санскрита и литовскаго языка, ближайшаго къ славянскимъ), славянскія нарѣчія, наконецъ различные историческіе періоды самого русскаго языка и его нарѣчій. Авторъ останавливается на различныхъ вопросахъ въ опредѣленіи русскаго языка: на его основныхъ особенностяхъ, на историческомъ происхожденіи и соотношеніяхъ его нарѣчій, главныхъ и второстепенныхъ, на особенностяхъ нарѣчія малорусскаго, наконецъ всего болѣе на строеніи русскаго синтаксиса, гдѣ, быть можетъ, никто изъ прежнихъ филологовъ не сдѣлалъ столько важныхъ замѣчаній и настоящихъ открытій.

Относительно историческаго развитія русскаго языка г. Потебня принимаетъ его основное дѣленіе на два нарѣчія: великорусское и малорусское. „Возводя теперешнія русскія нарѣчія къ древнѣйшимъ признакамъ,—говоритъ онъ,—находимъ, что въ основаніи этихъ нарѣчій лежитъ одинъ конкретный нераздробленный языкъ, уже отличный отъ другихъ славянскихъ“. Затѣмъ, „раздробленіе этого языка на нарѣчія началось многимъ раньше XII вѣка, потому что въ началѣ XIII в. находимъ уже несомнѣнные слѣды раздѣленія самого великорусскаго нарѣчія на сѣверное и южное, а такое раздѣленіе необходимо предполагаетъ уже и существованіе малорусскаго, которое болѣе отличается отъ каждаго изъ великорусскихъ, чѣмъ эти другъ отъ друга“. Предполагаемое обще-великорусское нарѣчіе выдѣлилось отъ древняго языка нѣкоторыми звуковыми особенностями уже въ X столѣтіи или раньше. По раздѣленіи великорусскаго нарѣчія на

сѣверное и южное, изъ послѣдняго, какъ особая вѣтвь, отдѣлилось нарѣчіе бѣлорусское.

Съ тѣхъ поръ какъ были высоко оцѣнены первые филологическіе труды г. Потебни, онъ издалъ, какъ дальше укажемъ, новый рядъ филологическихъ изслѣдованій и повторилъ въ дополненномъ видѣ изданіе своихъ „Записокъ по русской грамматикѣ". Въ общемъ выводѣ о свойствахъ этихъ изслѣдованій можно опять привести слова Срезневскаго. „Предметомъ изслѣдованій взялъ онъ весь русскій языкъ, на сколько онъ извѣстенъ съ древнѣйшаго времени до нынѣшняго и во всѣхъ главныхъ мѣстныхъ его видоизмѣненіяхъ. Ни одинъ, сколько-нибудь важный памятникъ русскаго языка, древняго, стариннаго, новаго, сѣвернаго, южнаго, западнаго, не могъ онъ слѣдовательно оставить, какъ ненужный; ни одно явленіе строя языка какого бы ни было времени и края не должно было быть имъ опущено; ни одинъ изъ научно добытыхъ выводовъ о каждомъ изъ нихъ, сдѣланныхъ до него изслѣдователями, не могъ быть имъ оставленъ безъ вниманія... Это—шагъ новый въ наукѣ русскаго языка и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелый, потому что, рѣшаясь на него, изслѣдователь рѣшается на трудъ внимательнаго разсмотрѣнія огромной массы памятниковъ и ихъ объясненій, трудъ новый и тяжелый, но тѣмъ не менѣе необходимый, требуемый ходомъ науки". Срезневскій цѣнитъ въ особенности въ трудахъ г. Потебни „выполненіе желанія по возможности цѣльно и критически представить всѣ общія явленія грамматическаго строя языка вообще, примѣнительно къ строю русскаго языка. Такого цѣльнаго филологическаго разбора строя языка у насъ еще не было". Опредѣляя манеру нашего изслѣдователя Срезневскій говоритъ: „Нѣтъ ни суетливой поспѣшности въ пріисканіи исхода, ни позывовъ упорства стоять на своемъ наперекоръ даннымъ, ни щеголянья новизною. Видимъ простой, покойный трудъ ученаго, у котораго нѣтъ никакихъ заднихъ мыслей и побужденій, кромѣ желанія узнать узнаваемое какъ можно вѣрнѣе" [1]).

Прежде, чѣмъ г. Потебня отдался этимъ изслѣдованіямъ языка, его первые труды были направлены на русскую миѳологію, ту, которая проникаетъ народную поэзію и преданія и истолковывается сравненіемъ народно-поэтическего матеріала съ преданіями другихъ родственныхъ племенъ, славянскихъ и не-славянскихъ, и изслѣдованіемъ сравнительно-филологическимъ. Это было еще время полнаго господства Гримма и его школы. Гриммъ, Кунъ, Маннгардтъ, Вольфъ были авторитетами для нашихъ изыскателей, вступавшихъ

---

[1]) Сборникъ, стр. LXXXII, CII, CVI. Прибавимъ еще въ изложеніи сжатость языка, въ новѣйшихъ трудахъ пріобрѣтающую, кажется, все бо́льшій лаконизмъ.

въ область народнаго преданія, и мы видѣли уже, что иногда они слишкомъ подчинялись или довѣрялись тѣмъ положеніямъ, которыя считали тогда прочно установленными. Положеніе было однако таково, что примѣненіе однихъ и тѣхъ же пріемовъ въ германской и русской миѳологіи было бы затруднено самымъ качествомъ матеріала, подлежавшаго объясненію. Начать съ того, что древность оставила тамъ и здѣсь весьма различныя ступени миѳологическаго развитія: въ то время какъ германскій міръ владѣлъ цѣлымъ пантеономъ языческихъ божествъ съ опредѣленными чертами и отъ нихъ можно было вести генеалогію позднѣйшихъ народныхъ представленій, міръ славяно-русскій не имѣлъ ничего подобнаго. Историки давно должны были придти къ выводу, что за нѣкоторыми исключеніями (напр. славянство балтійское), къ эпохѣ введенія христіанства, славянскія племена не успѣли выработать опредѣленной миѳологической системы; даже тѣ языческія божества, какія пазваны русскою лѣтописью, сохранились почти только голыми именами, истолкованіе которыхъ до послѣдняго времени оставалось слишкомъ гадательнымъ или произвольнымъ. Въ большинствѣ случаевъ въ славянскомъ мірѣ сбереглась только такъ-называемая низшая миѳологія, сохранившаяся въ сказкѣ, пѣснѣ, повѣрьѣ, слѣдовательно только въ народной памяти, но далѣе не развившаяся и только рѣдко и лаконично закрѣпленная письменнымъ свидѣтельствомъ старины, которое, еслибы было полнѣе, было бы чрезвычайно важно тѣмъ, что дало бы понятіе о тѣхъ посредствующихъ ступеняхъ, какими древнее преданіе дошло до нашего времени. Объясненія Гриммовой школы были у насъ непосредственно примѣнены къ сравнительно скудному матеріалу нашего преданія: такимъ образомъ приравнивались явленія, принадлежавшія различнымъ ступенямъ историческаго развитія. Съ другой стороны то, что̀ сбережено донынѣ народною памятью, безъ сомнѣнія сбережено во-первыхъ не сполна, а во-вторыхъ, въ теченіе вѣковъ или цѣлаго тысячелѣтія, отдѣляющаго отъ насъ русскую до-христіанскую древность, къ первобытному преданію примѣшалось много новаго: въ первые вѣка нашего христіанства раздавались жалобы на *двоевѣріе*, которое, какъ можно думать даже a priori, должно было весьма существенно господствовать въ народномъ міровоззрѣніи, какъ бытовомъ, такъ и миѳологическомъ. У первыхъ нашихъ послѣдователей Гриммовой школы, рядомъ съ указаннымъ слишкомъ буквальнымъ примѣненіемъ къ русскому матеріалу метода, выработаннаго на матеріалѣ германскомъ, былъ также замѣтенъ и недостатокъ вниманія къ этому историческому элементу, который вошелъ въ народный миѳъ и сказаніе на ихъ пути отъ древнѣйшихъ временъ до настоящаго. Такъ было у Буслаева и Аѳанасьева; такъ въ значительной степени

повторилось и въ первоначальныхъ разысканіяхъ г. Потебни. Первая книжка его говоритъ собственно о символическомъ значеніи извѣстныхъ выраженій и оборотовъ народной поэзіи. Двѣ послѣдующія работы останавливаются опять отчасти на томъ же предметѣ, отчасти вообще на свойствахъ языка, какъ выраженія самыхъ тонкихъ движеній человѣческой мысли и воображенія, и какъ выраженія мышленія миѳологическаго [1]). Въ изслѣдованіи „О миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій“, отъ объясненій символизма г. Потебня переходитъ прямо въ область миѳологіи и съ одной стороны при помощи филологическаго толкованія словъ (названій существъ и предметовъ, прикосновенныхъ къ народному миѳу), съ другой посредствомъ сравненія русскихъ преданій съ ино-славянскими, а также съ преданіями нѣмцевъ и другихъ народовъ, старается возстановить народный миѳъ въ формѣ отдаленнѣйшихъ вѣковъ, предшествовавшихъ христіанству, до какихъ только полагаетъ достигать новѣйшее сравнительное языкознаніе и миѳологія. Это былъ отчасти тотъ самый путь, которымъ шелъ передъ тѣмъ и въ это самое время Аѳанасьевъ; новый ученый далеко превосходилъ Аѳанасьева своимъ филологическимъ вооруженіемъ, но какъ первый возбуждалъ недоумѣніе и сомнѣніе въ изслѣдователяхъ старыхъ и молодыхъ, не увлеченныхъ Гриммовой школой, такъ это повторилось отчасти и на миѳологическихъ трудахъ г. Потебни. Читатель, искавшій объясненія древнихъ миѳовъ, встрѣчалъ такую массу разнообразныхъ сближеній, миѳологическихъ истолкованій, простиравшихся между прочимъ на самыя мелкія подробности народнаго преданія или обряда; миѳы такъ переплетались одинъ съ другимъ; обширная начитанность автора накопляла такое обиліе данныхъ, что не легко было разобраться во множествѣ подробностей, особливо когда онѣ оставались не сведенными въ цѣлое, гдѣ выдѣлилось бы основное и второстепенное, и когда осталась почти незатронутой упомянутая историческая сторона миѳологическаго развитія. Въ этомъ смыслѣ названныя изслѣдованія г. Потебни вызвали обширный критическій разборъ П. Лавровскаго [2]), гдѣ высказано было не мало справедливыхъ указаній на необходимость большей строгости въ филологическихъ толкованіяхъ и бóльшаго вниманія къ историческому элементу преданія [3]). Послѣ новаго ряда замѣчательныхъ филологическихъ работъ, г. Потебня снова обра-

---

1) „Мысль и языкъ“, 1862.

2) Въ «Чтеніяхъ» московскаго Общества исторіи и древностей, 1866.

3) Отзывъ Срезневскаго, въ его нерѣдкой манерѣ уклончиваго, двухсторонняго языка, высказываетъ въ сущности такое же отрицательное отношеніе къ этимъ миѳологическимъ объясненіямъ. См. въ упомянутыхъ академическихъ отчетахъ, „Сборникъ“, т. XVIII, стр. XC—XCI.

тился къ народной поэзіи, поставивъ теперь цѣлью изслѣдованія „поэтическіе мотивы", въ которыхъ, конечно, сказываются и свойства языка, и мотивы миѳологическіе. Эти новые труды ученаго автора въ высокой степени цѣнны для спеціалистовъ громадною массой наблюденій надъ стилемъ народной пѣсни, ея метафорическими и символическими образами, миѳологическими намеками, психологической подкладкой: жаль, однако, что авторъ все время остается только изслѣдователемъ-комментаторомъ, собираетъ богатый матеріалъ любопытныхъ сопоставленій и уклоняется отъ общаго вывода о стилѣ и миѳологическомъ содержаніи изслѣдованныхъ имъ областей народной поэзіи,—вывода, который въ рукахъ многоопытнаго изыскателя, могъ бы быть особливо поучителенъ, между прочимъ какъ руководство для послѣдующихъ работниковъ на этомъ поприщѣ. И здѣсь, какъ прежде, историческій элементъ развитія затронутъ мало, и когда къ тому же предмету обращается изслѣдователь, выходящій изъ другой точки зрѣнія и съ другимъ пріемомъ анализа,—они какъ будто говорятъ о разныхъ предметахъ. Такъ, встрѣтились на вопросѣ о происхожденіи и содержаніи колядокъ г. Потебня и А. Н. Веселовскій [1]), и нужны новыя изслѣдованія, чтобы привести ихъ заключенія къ общему знаменателю, гдѣ бы онѣ взаимно себя ограничили и дополнили [2]).

---

[1]) Ср. статью г. Сумцова: „Научное изученіе колядокъ и щедривокъ", „Кіев. Старина", 1886, февраль, стр. 237—266.

[2]) Сочиненія А. А. Потебни:

— О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзіи. Харьковъ, 1860. (155 стр.).

— „Мысль и языкъ". Рядъ статей въ Журн. Мин. Просвѣщенія, 1862.

— О связи нѣкоторыхъ представленій въ языкѣ. Воронежъ, 1864.

— О миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій. I. Рождественскіе обряды. II. Баба-Яга (стр. 85). III. Змѣй. Волкъ. Вѣдьма (стр. 233—310). Въ „Чтеніяхъ" моск. Общества ист. и древн. 1865, кн. 2—3, (232 стр.).

— Два изслѣдованія о звукахъ русскаго языка: I, о полногласіи: II, о звуковыхъ особенностяхъ русскихъ нарѣчій. Воронежъ, 1866 (изъ „Филологич. Записокъ" 1864—1865 г.; 156 стр.).

— О долѣ и сродныхъ съ нею существахъ. М. 1867, изъ „Древностей" Моск. Археол. Общества, т. II; 44 стр.

— О купальскихъ огняхъ и сродныхъ съ ними представленіяхъ. М. 1867, изъ „Археолог. Вѣстника" Моск. Археолог. Общества, 19 стр.

— Переправа черезъ воду, какъ представленіе брака. 1867.

— Замѣтки о малорусскомъ нарѣчіи, въ „Филологич. Запискахъ", 1870, и отдѣльно, 1871.

— Изъ Записокъ по русской грамматикѣ. I. Введеніе. Воронежъ 1874. (Изъ „Филологич. Записокъ", 157 стр.).

— Изъ Записокъ по русской грамматикѣ. II. Составныя части предложенія и ихъ замѣны въ русскомъ языкѣ. (Изъ „Записокъ Харьковскаго университета"). Харьковъ, 1874. 538 стр.

Въ тѣ же годы появляются первые труды г. Стасова, имѣвшіе отношеніе къ этнографіи и бытовой археологіи. Владиміръ Вас. Стасовъ родился въ Петербургѣ въ 1824 году (2 января). Послѣ домашняго обученія онъ поступилъ въ 1836 году въ училище правовѣдѣнія и, окончивъ тамъ курсъ въ маѣ 1843, служилъ сначала въ департаментѣ герольдіи въ сенатѣ, а съ 1850 въ консультаціи при министерствѣ юстиціи. Вышедши въ 1851 году въ отставку, онъ уѣхалъ за границу, гдѣ прожилъ съ половины этого года и до марта 1854. Затѣмъ, въ концѣ 1856, онъ поступилъ на службу при баронѣ М. А. Корфѣ, въ коммиссію (дѣйствовавшую спеціально для имп. Александра II) по собиранію матеріаловъ для исторіи царствованія Николая I; съ того же времени г. Стасовъ работалъ для Публичной библіотеки, и окончательно перешелъ туда на службу въ 1872 году.

Такимъ образомъ школа г. Стасова была собственно юридическая съ тѣмъ общеобразовательнымъ характеромъ, какой имѣло названное учебное учрежденіе, но въ домашней средѣ онъ рано воспринялъ художественные интересы, которые заняли впослѣдствіи такъ много мѣста въ его литературной дѣятельности. Въ той же средѣ издавна

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. Воронежъ, 1876. 243 стр., съ двойной пагинаціей 113—126. (Прежде печаталось въ Журн. Мин. Просв. 1873—74, и въ „Филолог. Запискахъ" 1875).

— Малорусская народная пѣсня, по списку XVI вѣка. Текстъ и примѣчанія. Воронежъ, 1877. 53 стр. (Изъ „Филол. Записокъ").

— Слово о полку Игоревѣ. Текстъ и примѣчанія. Воронежъ, 1878. 158 стр. (Изъ „Филолог. Записокъ" 1877—78 г.).

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. Выпускъ II. Варшава, 1880. (Изъ „Р. Филологич. Вѣстника").

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. III. Этимологическія и другія замѣтки. Варшава, 1881. 142 стр. (Изъ „Р. Филологич. Вѣстника", 1880).

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. IV. Этимологическія и другія замѣтки. Варшава, 1883. (Изъ „Р. Филолог. Вѣстника" 1881—82 г.). 86 и IX стр.

— Объясненія малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ. (Изъ „Р. Филол. Вѣстника", 1882—83 г.). Варшава, 1883. 268 и VIII стр. (Веснянки).

— Объясненія малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ. II. Колядки и щедровки. (Изъ „Р. Филолог. Вѣстника" съ 1884: „Обзоръ поэтическихъ мотивовъ колядокъ и щедровокъ"). Варшава, 1887. 801 стр.

— Значеніе множественнаго числа въ русскомъ языкѣ. Воронежъ, 1888.

— Изъ записокъ по русской грамматикѣ. I. Введеніе II. Составные члены предложенія и ихъ замѣны. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Харьковъ, 1889. 535 и VI стр.

Отмѣтимъ еще:

— Разборъ „Нар. Пѣсенъ Галицкой и Угорской Руси", Головацкаго, въ 21-мъ отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, „Записки" Акад. Наукъ, т. XXXVII.

— Разборъ книги П. Житецкаго: „Обзоръ звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія", 1876,—въ отчетахъ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1878.

возникъ у него интересъ къ народной жизни, къ народному разсказу, преданію и т. п. Эти разнообразные вкусы были развиты впослѣдствіи обширной начитанностью, для которой продолжительная служба въ Публичной библіотекѣ, гдѣ г. Стасовъ завѣдуетъ отдѣломъ художествъ, давала пищу и новыя возбужденія. Не касаясь здѣсь многочисленныхъ трудовъ его, которые спеціально посвящены различнымъ отраслямъ русскаго искусства, въ сопоставленіи его съ искусствомъ западнымъ, замѣтимъ только, что давнимъ и упорнымъ стремленіемъ г. Стасова было здѣсь указывать то, въ чемъ русское искусство, будетъ ли то живопись, архитектура, музыка, можетъ найти и разработать русское содержаніе, передать его не въ подражательной, чужой, а въ самобытной національной манерѣ; столь же давно и настойчиво онъ указывалъ достоинства и дѣлался ревностнымъ защитникомъ тѣхъ произведеній нашего искусства, гдѣ съ бо̀льшимъ или меньшимъ успѣхомъ было усвоено это національное содержаніе и манера: отсюда, работы его имѣли въ особенности критическій и полемическій характеръ. Изученіе русскаго искусства привело г. Стасова и къ изученію художественныхъ элементовъ въ современномъ народномъ быту и въ области археологіи: такъ онъ дѣлался этнографомъ и бытовымъ археологомъ.

То расширеніе народныхъ изученій, которое отличаетъ 50-е года, первые годы прошлаго царствованія, завлекало г. Стасова къ новымъ работамъ въ этомъ направленіи: представлялись все новые вопросы, затрогивались новые предметы народнаго быта и творчества, къ которымъ впервые прилагались новѣйшіе пріемы изслѣдованія—народная картинка, старая гравюра, художественные предметы быта, орнаментъ, узоръ, археологическіе слѣды русской народности, наконецъ, народный эпосъ. Г. Стасовъ всѣмъ этимъ былъ заинтересованъ, сообщалъ свои замѣчанія, писалъ цѣлые трактаты, иногда парадоксальные, иногда даже ошибочные, но всегда оригинальные, всегда богатые новыми соображеніями и вызывающіе на новыя изслѣдованія и провѣрку.

Предметы, на которыхъ останавливался г. Стасовъ въ трудахъ, соприкасающихся съ этнографіей и археологіей, были такимъ образомъ весьма разнообразны. Первый трудъ этого рода относится къ русской гравюрѣ, между прочимъ народной, по поводу первыхъ изслѣдованій Д. А. Ровинскаго; впослѣдствіи г. Стасовъ возвратился къ этому предмету, когда вышло обширное изданіе народныхъ картинокъ г. Ровинскаго; далѣе, давнимъ интересомъ его былъ русскій народный орнаментъ, древняя русская одежда, русская деревянная архитектура; русскія древности, какъ онѣ раскрывались въ новѣйшихъ археологическихъ изслѣдованіяхъ; курганныя раскопки на югѣ Россіи, въ которыхъ искали слѣдовъ древнѣйшаго періода русской

народности; свидѣтельства о русскомъ народѣ у древнихъ восточныхъ писателей: русская этнографія, какъ она являлась на новѣйшихъ выставкахъ и т. д. О спеціальномъ трудѣ г. Стасова, прямо входящемъ въ область этнографіи, его изслѣдованіи о происхожденіи русскихъ былинъ, упомянемъ особо далѣе [1]).

---

[1]) Отмѣтимъ тѣ труды г. Стасова, которые имѣютъ прямое или косвенное отношеніе къ этнографіи или къ характеристикѣ русскихъ народныхъ художественныхъ элементовъ.

— 1858, въ Отчетѣ о 2-мъ присужденіи Уваровскихъ премій, о сочиненіи Д. А. Ровинскаго: „Обозрѣніе русскаго гравированія на металлѣ и на деревѣ съ 1564 до 1725 года" (здѣсь между прочимъ рѣчь о народныхъ картинкахъ „Баба-яга" и „Мыши кота погребаютъ").

— 1861, Извѣстія Археологическаго Общества, т. III, вып. 2-й: „Изображеніе преп. Ильи Муромца"; вып. 4-й: „Коньки на крестьянскихъ крышахъ"; вып. 5-й: „Лубочныя картинки—Баба-яга и Мыши кота погребаютъ"; вып. 6-й: „Арабскія цифры на гравюрѣ 1627 г.".

— 1864, Спб. Вѣдомости, № 193: „Московская картинка для народа".

— 1866, Вѣстн. Европы, мартъ: „Археологическая замѣтка о постановкѣ Рогнѣды".

— 1867, Спб. Вѣдом., № 179, 182: „Наша этнографическая выставка и ея критики".

— 1868, Извѣстія Археологич. Общества, т. VI: „Владимірскій кладъ".

— 1870, Спб. Вѣдом., № 138, 140, 143, 167: „Художественныя замѣтки о выставкѣ въ Соляномъ городкѣ".

— 1871, тамъ же, № 30—40: „По поводу новой постановки Руслана"; № 88: „Лекція гр. Соллогуба о русской народной орнаментикѣ".

— 1871 тамъ же, № 54: Новыя художественныя изданія: „Изданіе русской избы въ Парижѣ. Иллюстрир. изданіе всероссійской мануфактурной выставки. 1870 г.". (Рѣчь идетъ по поводу книги: L'architecture des nations étrangères... à l'exposition universelle de Paris en 1867. Par Alfred Normand. P. 1870.

— 1872, „Русскій народный орнаментъ", съ объяснительнымъ текстомъ на русскомъ и франц. языкахъ. Изд. Общества поощренія художниковъ.

— 1873, Спб. Вѣдом., № 222, 251, 259: „Художественныя замѣтки о Политехнической выставкѣ въ Москвѣ".

— 1877, Русская Старина, № 4: „Дуга и пряничный конекъ".

— 1878, Пчела, № 25: „Русскія постройки на всемірной выставкѣ".

— 1879, „Записка о попыткахъ ко введенію Грегоріанскаго календаря въ странахъ православнаго исповѣданія" (составленная для оффиціальнаго назначенія и не вышедшая въ свѣтъ).

— 1881, Журн. Мин. Просв., № 8: „Замѣтки о Русахъ Ибнъ-Фадлана и другихъ арабскихъ писателей" (авторъ отвергаетъ общепринятое мнѣніе, что извѣстныя свидѣтельства арабскаго писателя относятся къ руссамъ, и доказываетъ, что у него рѣчь идетъ объ обычаяхъ сѣверныхъ финно-тюрковъ).

— 1882, Журн. Мин. Просв., № 1: „Замѣтки о древне-русской одеждѣ и вооруженіи"; № 10: „Русскія народныя картинки, собранныя и описанныя Д. А. Ровинскимъ" (очень важное дополненіе къ историческому комментарію этой книги). Тоже, въ Отчетахъ о присужденіи Уваровскихъ премій.

— Голосъ, № 64: „Искусство Средней Азіи, Н. Е. Симакова, сборникъ средне-

Выше мы упоминали о возраженіяхъ, сдѣланныхъ Лавровскимъ противъ миѳологическихъ изслѣдованій г. Потебни. П. А. Лавровскій (1827—1886) былъ собственно славистъ и только немногими своими трудами касался собственно русской старины, языка, народнаго обычая и преданія. Его первая значительная работа: „О языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣтописей", 1852, была примѣненіемъ историческихъ взглядовъ Срезневскаго. За ней слѣдовало нѣсколько другихъ изслѣдованій въ томъ же направленіи [1]); дальнѣйшія работы его были

азіатской орнаментаціи, исполненный съ натуры. Изд. Общ. поощренія художниковъ, 1882"; № 79, 80: еще о книгѣ Ровинскаго.

— 1883, Художественныя Новости: объ изданіи Симакова „Искусство Средней Азіи", о „Русскомъ орнаментѣ"; о книгѣ: L'art des cuivres anciens au Cachemire et au Petit Thibet, par Ujfalvy.

— 1884, „Картинки и композиціи, скрытыя въ заглавныхъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей", въ изданіи Общества любителей древней письменности, въ Петербургѣ.

— Художественныя Новости, № 24: „Два иностранныя сочиненія о русскихъ костюмахъ" (по поводу двухъ сочиненій: „Le Costume Historique. 500 planches, 300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu. Recueil publié par M. A. Racinet, avec notices explicatives et une étude historique", Paris, безъ года, и: „Trachten, Haus-Feld- und Kriegsgeschäften der Völker alter und neuer Zeit. Gezeichnet und beschrieben von Friedr. Hottenroth". Stuttg. 1884).

— Славянскій и восточный орнаментъ по рукописямъ древняго и новаго времени. Изд. съ Высоч. соизволенія имп. Александра II. Спб. 1884—87. Два вып. (Объ этомъ статья г. Буслаева, въ Журн. Мин. Просв. 1884, № 5, стр. 54—104).

— 1885, Вѣстникъ изящныхъ искуствъ, II: „Новыя иностранныя книги о русскомъ искусствѣ" (Maskell, Russian art; Mourier, L'art au Caucase); VI: „Коптская и эѳіопская архитектура".

— 1886, въ Отчетѣ о присужденіи премій митр. Макарія: „Русское кружево", г-жи Давыдовой.

— Журн. Мин. Просв. № 7: Армянскія рукописи и ихъ орнаментація.

— Вѣстникъ изящныхъ искусствъ, IV: „Русская деревянная архитектура въ Галиціи"; VI: „Тронъ хивинскихъ хановъ".

— Художественныя Новости, № 4: „Узоры стариннаго шитья въ Россіи, собранные кн. Шаховской"; № 19: „Индѣйская художественная выставка"; № 22: „Русская орнаментика во французскомъ изданіи".

[1]) Напр. „Объ особенностяхъ словообразованія и значенія словъ въ древнемъ русскомъ языкѣ" („Извѣстія 2-го отдѣленія Академіи Наукъ". т. II, Спб. 1853).

— „Нѣсколько словъ о значеніи и происхожденіи слова кметъ" (Москвитянинъ, 1853, т. VI, № 24).

— Выборъ словъ изъ лѣтописей—новгородскихъ, псковскихъ, переяславской (въ „Извѣстіяхъ" Акад., т. IV, 1854).

— „Описаніе семи рукописей Имп. Спб. Публ. Библіотеки", въ „Чтеніяхъ" моск. Общ. ист. и древн., 1858, кн. IV,—съ замѣчаніями о старо-славянскомъ и старомъ русскомъ языкѣ, о словахъ, выражающихъ бытовыя и миѳологическія понятія.

— О русскомъ полногласіи (въ „Извѣстіяхъ", 1858, т. VII, и еще разъ тамъ же, 1860, т. VIII).

посвящены почти исключительно предметамъ славянскимъ, но нѣсколько статей относятся къ бытовой археологіи и этнографіи, гдѣ онъ пользовался также средствами сравнительнаго языкознанія [1]).

— Записка о второмъ изданіи первой части Историч. Грамматики Ѳ. И. Буслаева, въ „Запискахъ Ак. Наукъ", т. VIII, Спб. 1865.

[1]) Кромѣ упомянутой статьи по поводу изслѣдованій г. Потебни, здѣсь могутъ быть названы:

— Изслѣдованіе о миѳическихъ вѣрованіяхъ у славянъ въ „облако" и „дождь" въ связи съ другими подобными же вѣрованіями у другихъ родственныхъ народовъ (въ „Ученыхъ Запискахъ" 2-го Отд. Акад., кн. VII, вып. 2, 1863).

— Коренное значеніе въ названіяхъ родства у славянъ (въ „Запискахъ" Акад. Наукъ, т. XII, Спб. 1867, и въ „Сборникѣ" 2-го Отд., т. II).

— Памятники рус. народнаго творчества въ Олонецкомъ краѣ (по поводу Рыбникова, т. IV), въ Журн. Мин. Просв. 1868, мартъ.

— Старо-русское тайнописаніе (въ „Древностяхъ" Моск. Археологич. Общества т. III, вып. I).

ГЛАВА VI.

Новая историческая литература по отношенію къ изученіямъ народности.

Вообще говоря, исторіографія во всемъ ея объемѣ служитъ къ объясненію „народности". Давая матеріалъ и объясненіе фактовъ дѣятельной или пассивной жизни народа, создавшаго государство, она необходимо пріобрѣтаетъ обширное значеніе этнографическое,— но изъ громадной области этой науки особливо относятся къ этнографіи тѣ историческіе труды, которые ближайшимъ образомъ касаются вопросовъ о существѣ народности, ея историческихъ судьбахъ и ея пониманіи въ обществѣ новѣйшемъ. Таковы, во-первыхъ, вопросы—объ этнологическомъ происхожденіи народа, дающемъ ему племенной типъ, ту или другую способность къ культурному совершенствованію, языкъ и съ нимъ извѣстный кругъ понятій; о физической почвѣ и матеріальныхъ условіяхъ жизни народа; о древнихъ формахъ быта, налагавшихъ отпечатокъ на дальнѣйшее развитіе политическихъ учрежденій; о позднѣйшемъ распредѣленіи народныхъ классовъ, ихъ взаимномъ отношеніи; о судьбѣ образованности по разнымъ слоямъ народа и т. д. То или другое рѣшеніе этихъ и подобныхъ вопросовъ принадлежитъ исторической наукѣ, и наряду съ современнымъ изученіемъ собственно этнографическимъ и экономическимъ бросаетъ свѣтъ на образованіе и характеръ народности. Во-вторыхъ, таковы тѣ вопросы, которые такъ тревожно, и слишкомъ часто такъ превратно, ставятся въ наше время—о роли „народныхъ началъ" въ ходѣ національной исторіи, о степени самобытности историческаго развитія государства и народа, о положеніи народности относительно культурныхъ заимствованій у другихъ народовъ (особливо въ такъ-называемомъ „петербургскомъ періодѣ"), о томъ, что̀ въ настоящее время должно въ нашемъ общественно-политическомъ

бытѣ и образованности считаться народнымъ или ненароднымъ, какъ достигнуть „самобытности“ и т. п.

Всѣ эти вопросы уже ставились въ нашей исторіографіи и раньше разсматриваемаго періода,—но никогда не разыскивались такъ настоятельно, какъ въ послѣднее время; впрочемъ, вопросы о „самобытности“ всего меньше разсматривались съ научными пріемами, и всего больше газетно, со всѣми преувеличеніями, фантазіями и даже озлобленіемъ, внушаемыми враждою партій.

Сравнивъ ходъ нашей исторіографіи за послѣднія два-три десятилѣтія и за предшествовавшій тому періодъ (отъ Карамзина до Соловьева), мы найдемъ такой же огромный успѣхъ, какой сдѣланъ былъ за это время вообще въ изученіяхъ народа и его быта. Выше мы указывали чрезвычайное расширеніе и самыхъ источниковъ и предметовъ этнографическаго изслѣдованія, и гораздо бо́льшую разносторонность и глубину изысканій, сравнительно съ прежнимъ. Подобное представляетъ исторіографія. Съ первыхъ опытовъ, сдѣланныхъ Кавелинымъ, Соловьевымъ и старыми славянофилами, историки съ особеннымъ вниманіемъ останавливаются на изслѣдованіи общихъ началъ, руководившихъ событіями, и общаго генетическаго развитія явленій. Рѣдкій изъ нихъ стремился быть живописателемъ событій, какъ Карамзинъ (и дѣйствительно, ни одинъ, кромѣ Костомарова, не показалъ художественнаго дарованія), но рѣдкій не искалъ именно объясненія общихъ явленій, не искалъ логической группировки событій, установленія исторической теоріи, для которой событія должны были быть матеріаломъ и оправданіемъ. Таковы были труды Кавелина, Соловьева, К. Аксакова, Ю. Самарина, Забѣлина, Павлова, Костомарова, Щапова, Бестужева-Рюмина, Ключевскаго, Сергѣевича и пр. и пр. Взгляды историковъ сталкиваются не только на частностяхъ, а на самомъ существѣ историческаго движенія—ясно, что вопросъ представалъ передъ ними (если пока и не разрѣшался) въ его научной формѣ, въ тѣсной связи многоразличныхъ фактовъ прошедшаго и настоящаго. Этотъ историческій раціонализмъ, сказавшійся весьма опредѣленно еще въ предыдущемъ періодѣ, особливо подъ дѣйствіемъ нѣмецкой исторической школы, теперь развился еще болѣе подъ вліяніемъ великихъ событій, совершавшихся въ самой русской жизни и возбуждавшихъ вновь историческіе запросы, и въ связи съ этимъ, подъ вліяніемъ новѣйшихъ успѣховъ европейской науки.

Мы упоминали раньше, какой оживляющей нравственно и умственно силой была крестьянская реформа. Мысль о народѣ, какъ главнѣйшемъ предметѣ историческаго интереса,—прежде теоретическая, отвлеченная, иногда почти мистическая,—получала теперь плоть и

кровь, становилась наглядной, осязательной. Ближайшимъ предметомъ, потребовавшимъ вниманія, была исторія крестьянства и вообще судьба народа въ историческомъ движеніи: и въ самомъ дѣлѣ внутренній бытъ никогда прежде не вызывалъ столько изслѣдованій, и исторія государства была все больше сопоставляема съ исторіей народа. Это стремленіе нашло себѣ большую опору въ новой европейской наукѣ, гдѣ въ послѣднее время изслѣдованія отъ исторіи государства также направились на общія явленія цивилизаціи, на изслѣдованіе первыхъ начатковъ и хода человѣческой культуры и затѣмъ судьбы народныхъ массъ.

Старая „философія исторіи", строившая нѣкогда утонченныя теоріи на запасѣ фактовъ, въ сущности очень скудномъ, смѣнилась разнообразными работами по исторіи „культуры", имѣвшими то громадное превосходство, что онѣ опирались на огромной массѣ разнообразныхъ фактовъ, часто впервые теперь только собранныхъ и освѣщенныхъ. Какъ прежняя отвлеченная психологія пріобрѣтала теперь свою параллель или противовѣсъ въ изученіяхъ физіологическихъ, такъ исторія „культуры" направлялась на изученіе реальныхъ явленій жизни — находила ея первые слѣды въ палеонтологическихъ остаткахъ древнѣйшаго человѣка, въ орудіяхъ и постройкахъ озерного и каменнаго вѣка, въ правахъ и обычаяхъ современнаго быта дикарей; впервые открывала неподозрѣваемые ранѣе остатки древнихъ цивилизацій Египта, Ассиріи, Вавилона, изученіе которыхъ съ одной стороны бросало свѣтъ на древность библейскую, съ другой на первые начатки греческой цивилизаціи; при помощи сравнительнаго языкознанія, углублялась въ отдаленнѣйшую пору образованія языковъ, первыхъ зачатковъ миѳа, религіозныхъ и бытовыхъ представленій, первыхъ опытовъ образованія и общественности; при помощи антропологіи изучала типы племенъ, ихъ видоизмѣненія подъ различными вліяніями, ихъ смѣшеніе и т. д. Цѣлыя группы наукъ соединяли свои средства для разъясненія процессовъ развитія, проходимыхъ человѣческими обществами, и въ нѣсколько послѣднихъ десятилѣтій картина древности до-исторической совершенно преображается. Въ исторіи ближайшихъ вѣковъ и новаго времени изслѣдованіе больше чѣмъ когда-нибудь останавливалось на судьбѣ самого народа, котораго политическіе и экономическіе интересы начинаютъ все больше получать значеніе въ жизни современнаго государства.

Въ нашей литературѣ эти новыя направленія и пріобрѣтенія исторической науки возбудили видимый интересъ: книги этого рода не ограничились кругомъ спеціальныхъ читателей и, напротивъ, пріобрѣтали въ переводахъ большую популярность въ массѣ публики:

такой успѣхъ имѣли у насъ сочиненія Тэйлора, Бокля, Спенсера, Мэна, Фюстель-Куланжа, Топинара, Шрадера, Пешеля и проч.

Интересъ этотъ не былъ случайный — чувствовалось, что новыя пріобрѣтенія науки могутъ помочь въ объясненіи вопросовъ о народѣ, волновавшихъ общество въ эпоху реформъ.

Русская исторіографія и смежныя ей науки развились очень сильно и въ количественномъ отношеніи, и по объему содержанія. Не вдаваясь въ подробный обзоръ ея, не принадлежащій къ нашей задачѣ, ограничимся краткимъ указаніемъ вопросовъ, нерѣдко впервые ею затронутыхъ и которыхъ постановка вносила новыя данныя въ историческое объясненіе народности.

Такъ, впервые возникаютъ изслѣдованія о до-исторической древности той земли, на которой совершалась жизнь русскаго племени. Мы упоминали ранѣе объ археологическихъ раскопкахъ въ разныхъ концахъ Россіи, объ изслѣдованіяхъ каменнаго вѣка, о находкахъ въ скиѳскихъ могилахъ на югѣ Россіи: отысканное еще далеко не объяснено, и остатки каменнаго вѣка по всѣмъ вѣроятіямъ вовсе не принадлежали предкамъ велико-русскаго племени (какъ это показалось нѣкоторымъ геологамъ и антропологамъ), но здѣсь во всякомъ случаѣ кладется основаніе изслѣдованію, важному для общихъ цѣлей науки, а иногда и для раскрытія отдаленной славяно-русской древности,—какъ напр. изслѣдованія скиѳо-сарматскія и финскія.

Начало русскаго государства снова вызвало цѣлую литературу въ трудахъ Гедеонова, Иловайскаго, Забѣлина, Куника, Котляревскаго, Первольфа, Ламбина, Васильевскаго и др. Какъ бывало прежде, такъ и теперь вопросъ научный, къ которому нынѣшнія поколѣнія могли бы отнестись спокойно, возбуждалъ жаркую полемику, гдѣ одна сторона, отвергая норманское происхожденіе варяговъ, имѣла малодушіе выставлять свое собственное мнѣніе (въ очень спутанномъ, и въ сущности не очень важномъ вопросѣ) какъ патріотическую обязанность и заподозрѣвать въ неблагонадежности побужденія тѣхъ, кто продолжалъ считать варяговъ норманнами, а не славянами,—хотя бы послѣдніе могли въ защиту своей невинности сослаться на примѣры Карамзина, Соловьева и самого Погодина, заклятаго норманиста и несомнѣннѣйшаго патріота. Споръ остается нерѣшеннымъ, но и не былъ безполезенъ: по его поводу собранъ былъ новый матеріалъ извѣстій о древнѣйшей исторической порѣ русскаго народа. Съ одной стороны здѣсь продолжалось преданіе „Маяка“ и Савельева-Ростиславича; съ другой (какъ у г. Забѣлина) было и болѣе серьезное стремленіе установить логическую связность русскаго историческаго быта и самобытность его національныхъ основаній и развитія, которыя считались нарушенными теоріею призванія чужихъ людей

изъ-за моря. Но забота все-таки была преувеличена: національное достоинство не состоитъ въ полномъ отсутствіи чужеплеменныхъ элементовъ; въ европейскомъ мірѣ нѣтъ ни одного племени, „чистаго“ въ этомъ отношеніи, и напротивъ всѣ наиболѣе развитыя націи отличаются большой сложностью своего этнологическаго состава.

Въ изученіи политическаго строя древней Руси изслѣдованія сдѣлали новый шагъ послѣ теоріи родового быта. Теорія была дополнена и исправлена въ 50-хъ и 60-хъ годахъ сначала двумя новыми взглядами: во-первыхъ, Конст. Аксакова, который въ старомъ политическомъ бытѣ русскихъ княжествъ видѣлъ не родовой бытъ, а общинный,—основанный уже не на чисто первобытномъ кровномъ союзѣ, а на свободномъ соединеніи въ союзъ, опредѣленный сознательнымъ подчиненіемъ общему интересу и порядку. Другой взглядъ былъ въ особенности изложенъ и защищаемъ Костомаровымъ: въ системѣ удѣловъ онъ видѣлъ вовсе не случайное дѣленіе территоріи по родовымъ счетамъ князей, а естественное дѣленіе *земель*, племенныхъ отдѣловъ, которые съ самаго начала нашей исторіи были отмѣчены лѣтописцемъ и продолжали жить цѣлые вѣка, даже до нашего времени, особыми вѣтвями и оттѣнками русскаго народа. Распредѣленіе удѣльныхъ княжествъ отвѣчало дѣленію земель, и этотъ фактъ свидѣтельствовалъ о сохранявшейся мѣстной старинѣ и автономіи; власть князя не была исключительная власть личнаго правителя, но шла рядомъ съ властью народнаго вѣча, нѣкогда вездѣ обычнаго и иногда столько же сильнаго, какъ вообще бывало вѣче новгородское.—Эти первоначальныя политическія отношенія были потомъ еще болѣе разъяснены изслѣдованіями историковъ-юристовъ, сравненіемъ нашей старины съ древними обычаями славянскими. За послѣдніе годы новыя замѣчательныя объясненія были сдѣланы въ книгѣ г. Забѣлина, который разбиралъ древнія бытовыя русскія формы въ естественныхъ условіяхъ старой жизни и видѣлъ въ народныхъ союзахъ промысловыя общины, и не родовой бытъ (давно, задолго до исторіи отжитый), а скорѣе городской—какъ въ старомъ Новгородѣ онъ видѣлъ именно типъ могущественнаго промысловаго города, и въ Кіевѣ—городъ, выросшій изъ сборища вольныхъ промышленниковъ изъ всѣхъ окрестныхъ городовъ и земель. Съ большою опредѣленностью эти старыя внутренно-политическія отношенія изложены были въ особенности г. Сергѣевичемъ.

Народная самодѣятельность была указана и съ другой стороны. То громадное распространеніе русской территоріи еще въ древности, которое прежніе историки объясняли личной завоевательной предпріимчивостью князей, было дѣломъ самого народа, его энергической колонизаторской дѣятельности; именно она мало-по-малу, часто не-

видимо для исторіи, захватывала новыя области па югѣ, востокѣ и сѣверѣ, подчиняя инородческія племена или совсѣмъ ассимилируя ихъ. Историческія изслѣдованія (въ трудахъ Кавелина, Ешевскаго, Бѣляева, Щапова, Ѳирсова и др.; въ исторіяхъ частныхъ княжествъ), хотя еще далеко не выяснили этого процесса, указали однако важный фактъ народной самодѣятельности, до тѣхъ поръ мало оцѣняемый.

Историческое значеніе татарскаго ига еще требуетъ изслѣдованій. Послѣ Карамзина, нѣкоторые историки, и особенно Соловьевъ, отвергали мысль о большомъ его вліяніи; они видѣли въ татарскомъ нашествіи великое внѣшнее бѣдствіе, но утверждали, что „иго“ не имѣло вліянія на внутреннюю жизнь народа и ничѣмъ не нарушило хода русской исторіи; но болѣе внимательное наблюденіе указывало, что вѣковое тяготѣніе азіатской власти, передъ которою унижались самые правители, не могло не отразиться вредными слѣдствіями не только на жизни государства, которую оно угнетало, но и на характерѣ народа, въ которомъ—не говоря объ извращающихъ вліяніяхъ насилія—подавлялись стремленія и средства къ просвѣщенію. Татарское иго не преодолѣло народной живучести: народъ успѣлъ къ тому времени сознать свою особность и достоинство; христіанство прочно утвердило въ немъ представленіе о превосходствѣ его надъ „погаными“ и „невѣрными“; подъ игомъ государство успѣло сплотиться до того, что, наконецъ, свергнувъ иго, само подчинило татарскія царства,—но ужѣ тѣ пріемы, къ какимъ должны были прибѣгать „собиратели“, тѣ страшныя, и иногда (можно думать) ненужныя жертвы, какія были принесены единовластію, могли быть прискорбнымъ наслѣдіемъ ига и надолго оставили свой отпечатокъ на внутреннемъ бытѣ государства и общества, отпечатокъ, къ сожалѣнію слишкомъ часто подновляемый позднѣйшими событіями. Одной изъ такихъ жертвъ былъ Новгородъ; его уничтоженіе было насильственнымъ истребленіемъ цѣлой области чисто народной жизни, уничтоженіемъ одного изъ путей народной самодѣятельности, промысла и просвѣщенія.

Московское политическое объединеніе и характеръ московскаго царства уже съ сороковыхъ годовъ были предметомъ спора,—онъ продолжается и донынѣ. Для одниxъ (особливо славянофиловъ, въ послѣднее время и г. Забѣлина) московское царство было полнымъ воплощеніемъ русскаго народнаго духа; его исключительность казалась истиннымъ національнымъ достоинствомъ; отступленіе отъ его обычаевъ и преданій казалось измѣной народности. Болѣе спокойные изслѣдователи (въ ряду ихъ были Соловьевъ; Кавелинъ; Бестужевъ—по крайней мѣрѣ въ прежнее время) признавали великое національно-

историческое значеніе московскаго „собиранія“ и частію защищали необходимость жертвъ, но находили, что въ характерѣ московскаго царства XVI—XVII вѣка отразились какъ византійскія идеи власти, внушаемыя со времени принятія христіанства и закрѣпленныя послѣ паденія Константинополя, такъ и вліянія татарскія, со временъ ига, а потомъ покоренія татарскихъ царствъ. Слѣдовательно, складъ этого быта трудно было счесть исключительно и окончательно русскимъ, трудно было увидѣть въ немъ, во-первыхъ, чисто самобытное, во-вторыхъ, вполнѣ завершенное созданіе народнаго духа; и, напротивъ, надо было видѣть въ немъ только временную форму, сложившуюся подъ вліяніемъ вѣка, въ кругѣ его идей, въ предѣлахъ его условій, не совсѣмъ здоровыхъ, и потребностей, состоявшихъ прежде всего во внѣшней защитѣ и централизаціи государства. Выработанная форма была по преимуществу московская, отразившая времена „собиранія“, полу-ѳеократическая по теоріи, полу-восточная по практическимъ пріемамъ власти; сложившійся бытъ былъ крайне исключительный, не имѣвшій средствъ и простора для образованія, лишенный общественной жизни; историческое значеніе московскаго періода осуществлялось въ укрѣпленіи государства противъ обступавшихъ его тогда опасностей, и въ томъ, что его послѣднимъ развитіемъ была Петровская реформа.

Характеръ правительственной власти московскихъ временъ вызвалъ особенно теперь внимательныя изслѣдованія (въ трудахъ Соловьева, К. Аксакова, Бѣляева, Чичерина, Ключевскаго, Костомарова, Сергѣевича, Латкина и мн. др.). По славянофильскому представленію, московскій порядокъ вещей былъ совершеннымъ, единственнымъ въ своемъ родѣ выраженіемъ идей русскаго народа о государствѣ, и дѣйствительно заключалъ въ себѣ всѣ лучшія гарантіи политическаго благоденствія: царь и земскій соборъ были практическимъ олицетвореніемъ духовнаго единства и общенія между властью и народомъ, государствомъ и землей. По этой программѣ, земскіе соборы должны были представлять учрежденіе постоянное и правильное, и съ другой стороны, исключительно русскому народу свойственное. Съ другой точки зрѣнія дѣло представлялось иначе: во-первыхъ, находили, что значеніе соборовъ, въ смыслѣ голоса „земли“, было слишкомъ случайно—какъ случайно они и собирались,—что власть нимало не обязывалась принимать ихъ мнѣніе, т. е. голосъ „земли“ могъ быть оставляемъ безъ вниманія; во-вторыхъ, указывали, что это учрежденіе вовсе не было столь исключительно русскимъ, такъ какъ было параллельно съ тѣми западными (напр. англійскими и французскими) учрежденіями, которыя возникали въ средніе вѣка, какъ замѣна первобытныхъ народныхъ собраній—и являлись

тамъ и здѣсь въ одинаковыхъ условіяхъ, именно, когда утвержденіе государства упраздняло старыя народныя собранія (вѣча), уже не отвѣчавшія своей цѣли въ новыхъ, болѣе сложныхъ отношеніяхъ, и замѣняло ихъ теперь общимъ представительствомъ. Наши соборы именно отвѣчали этой второй ступени представительныхъ учрежденій, съ которыми раздѣляли и недостатокъ юридической опредѣленности; но дальше этой второй ступени наши старые соборы не пошли, тогда какъ западныя учрежденія развились въ извѣстныя конституціонныя формы.

Больше чѣмъ когда-нибудь была изучаема исторія южной Руси— также одинъ изъ мало выясненныхъ пунктовъ исторіи и современныхъ отношеній. Въ нашей литературѣ бывали уже многотомныя „исторіи Малороссіи", и притомъ написанныя малорусскими патріотами, но вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ двухъ обширныхъ отраслей русскаго племени оставался неяснымъ. Въ 40-хъ, и въ началѣ 50-хъ годовъ высказаны были двѣ весьма несходныя точки зрѣнія, представленныя въ извѣстномъ спорѣ Погодина и Максимовича. По мнѣнію перваго, южный край населяли кіевскіе великороссіяне, что малорусскій характеръ его есть явленіе позднѣйшее, послѣ того, какъ страна, опустошенная татарами, была вновь заселена выходцами изъ-за Карпатъ. Въ параллель этому явились заключенія Срезневскаго объ относительной новости малорусскаго нарѣчія. Максимовичъ, напротивъ, утверждалъ, что южная Русь искони носила на себѣ тѣ отличительныя черты быта, нравовъ, языка, поэзіи, которыя мы знаемъ теперь за малорусскія,—и приводилъ тому обильныя доказательства изъ древнихъ памятниковъ. Въ подкладкѣ спора лежали и отношенія современныя: рѣшеніемъ его въ ту или другую сторону подкрѣплялись или ослаблялись права того народническаго движенія, которое въ сороковыхъ годахъ выразилось особеннымъ размноженіемъ литературы на малорусскомъ языкѣ.

У „западниковъ" 40-хъ годовъ малорусская литература не встрѣчала къ себѣ сочувствія; съ тогдашней эстетической и соціальной точки зрѣнія заботы о ней казались напрасной тратой силъ. Малорусское движеніе видимо не было сочувственно и Соловьеву: для него малорусскій народъ былъ только областное видоизмѣненіе русскаго племени, не имѣющее никакихъ особыхъ историческихъ правъ и никакого будущаго, внѣ слиянія съ господствующимъ типомъ; козачество была только буйная, не дисциплинированная толпа.—Какъ противовѣсъ этой племенной нетерпимости являются труды Костомарова по исторіи Малороссіи. Свою основную точку зрѣнія на эти отношенія онъ изложилъ въ извѣстной статьѣ: „Двѣ русскія народности" и въ рядѣ историческихъ и этнографическихъ трудовъ. Со-

чиненія Костомарова обновили столкновеніе мнѣній; но, при всей вызванной ими враждѣ, много сдѣлали для научнаго опредѣленія вопроса. Исторически, южная Русь стала видимо отличаться отъ сѣверной еще съ XII вѣка; татарскій погромъ, а затѣмъ литовское завоеваніе окончательно дали различное теченіе ихъ исторіи; новое объединеніе началось не ранѣе второй половины XVII вѣка, продолжалось потомъ въ XVIII-мъ, а старыхъ предѣловъ русской земли въ эту сторону (въ Галиціи) не достигло и по настоящее время. Съ этимъ историческимъ различіемъ соединялось этнографическое дѣленіе „двухъ русскихъ народностей“, которое историки южно-русскіе не безъ основанія возводятъ къ первымъ вѣкамъ нашей исторіи. Какъ бы то ни было, но уже въ долгіе вѣка историческаго раздѣленія обѣ части русскаго народа пріобрѣли весьма различный складъ характера и быта, историческихъ преданій, народной поэзіи. Возбужденіе идеи „народности“ естественно выразилось въ Малороссіи оживленіемъ всѣхъ этихъ элементовъ, своеобразно отличавшихъ южно-русскую народность. Извѣстно, съ какою враждой встрѣчено было въ одной части нашей литерутуры это вновь оживившееся „украинофильство“; въ послѣднее время къ его врагамъ присоединились и тѣ, которые обыкновенно хвастаются своимъ исключительнымъ народничествомъ, но въ этомъ случаѣ являлись такими же бюрократическими притѣснителями народнаго начала (хотя первые, подлинные славянофилы относились къ малорусскому движенію очень сочувственно).

Новѣйшая вражда къ „украинофильству“ выросла всего скорѣе изъ новѣйшихъ чисто бюрократическихъ понятій о „единообразіи“, одноформенности, водворяемой хотя бы насильственными средствами... Противники малорусскаго движенія могли бы, пожалуй, сослаться и на старую Москву: она также недовѣрчиво и недружелюбно относилась къ соединившейся съ нею Малороссіи. Московскій абсолютизмъ не мирился съ тѣнью автономіи; іерархія съ подозрѣніемъ смотрѣла на мало понятную и непривычную ей кіевскую ученость, и только по крайней необходимости ею пользовалась,—но московскія преданія пережиты исторіей самого русскаго государства и общества.

Новѣйшіе историческіе труды о Малороссіи и XVII вѣкѣ успѣли отчасти выяснить роль старой Москвы, по обыкновенію, не стѣснявшейся средствами въ достиженіи своихъ политическихъ цѣлей; и если исторія отвергнетъ притязанія гетманщины, то должна съ другой стороны сказать слово въ защиту Малороссіи, которая съ первыхъ лѣтъ возсоединенія съ Великой Россіей оказала ей цѣнныя услуги своей кіевской школой, поставлявшей еще въ XVIII столѣтіи много замѣчательныхъ дѣятелей просвѣщенія, и потомъ дружно несла свою

службу государству, обществу и литературѣ, и въ защиту народа, который взамѣнъ своего стараго быта долженъ былъ испытать введеніе крѣпостного права. Наконецъ, исторія возможна только въ союзѣ съ этнографіей, а въ этой послѣдней вопросъ о степени особности двухъ русскихъ племенъ довольно ясенъ.

Наиболѣе рѣзко встрѣчаются два разные, даже противоположные взгляда на русскую исторію и судьбы русскаго народа, на эпохѣ Петра Великаго: къ ней сводятся споры о характерѣ московской старины и о тѣхъ путяхъ, которыми должна быть направлена современная жизнь народа и общества. „Назадъ, домой!“ — восклицали эпигоны славянофильства,—т.-е. прямо въ XVI—XVII вѣкъ, какъ будто исторія громаднаго народа можетъ пойти вспять, какъ будто реставраціи подобнаго рода не бываютъ лишь самообольщеніемъ, какъ будто археологическими поддѣлками можно обмануть исторію. Славянофильскія отрицанія Петровской реформы не выросли въ доказательности съ сороковыхъ годовъ и эта школа, съ тѣхъ поръ и донынѣ, не произвела ни одного цѣльнаго научнаго труда, ни одного послѣдовательнаго, доказательнаго изложенія своего взгляда. Съ другой стороны все, что̀ только появляется въ литературѣ объ этомъ періодѣ русской исторіи, лишь подтверждаетъ его рѣшающее значеніе въ судьбахъ русскаго народа. Изученіе Петровскаго періода все больше обогащается изданіемъ матеріаловъ и изслѣдованій; уже издана масса документовъ по разнымъ отраслямъ управленія, начато обширное изданіе писемъ Петра Великаго, которое составитъ первостепенный источникъ для его біографіи и исторіи; цѣлый рядъ капитальныхъ историческихъ трудовъ (Устрялова, Соловьева, Пекарскаго, Погодина, Костомарова) все больше раскрываетъ знаменательную эпоху. Обширное умноженіе фактическаго матеріала, болѣе многосторонняя и свободная критика очень расширили знаніе Петровскаго времени, устранивъ тотъ наивно панегирическій тонъ, который такъ долго господствовалъ въ описаніяхъ славнаго царствованія, и не укрывая той мрачной стороны, какую не разъ могла представить эпоха реформъ. Но отъ этого не умалилось однако высокое представленіе о значеніи Петровской реформы для всего послѣдующаго развитія; напротивъ, чѣмъ больше она выясняется не съ героической точки зрѣнія, какъ смотрѣли на нее прежде, а съ точки зрѣнія реальнаго быта націи, тѣмъ больше ея великое значеніе становится осязательнымъ. Такъ, болѣе и болѣе разъясняется существенный вопросъ въ оцѣнкѣ этого времени—историческая необходимость реформы: Петровское преобразованіе было правильнымъ, хотя рѣзко проведеннымъ результатомъ стремленій, заявленныхъ лучшими умами московскаго царства, съ тѣхъ самыхъ поръ, когда послѣ заботъ о внѣшнихъ дѣ-

лахъ являлась первая мысль о внутренней организацiи государственной силы и первые интересы къ научному и художественному образованiю. Заботы объ усвоенiи европейскихъ знанiй, искусствъ, промысловъ, даже изящныхъ искусствъ, возникаютъ явно еще съ XVI вѣка, какъ и заботы о лучшемъ устройствѣ, на европейскiй ладъ, военной силы. Счастливымъ случаемъ, какiе исторiя даетъ иногда въ критическiе моменты,— Петръ родился генiальнымъ умомъ и человѣкомъ страшной энергiи. Какъ подобаетъ истинному самодержцу, онъ отождествился съ глубочайшими потребностями и стремленiями нацiи и отдалъ имъ свои необычайныя силы, въ которыхъ какъ будто олицетворилъ нацiональную даровитость, и взялся за трудъ съ такою ревностью, достигъ такихъ результатовъ, что современники и потомство сочли новую Россiю его собственнымъ, личнымъ созданiемъ: въ его трудахъ долго не видѣли той самой задачи, къ которой задолго до Петра устремлялись усилiя лучшихъ умовъ московской старины и усилiя самой власти.

Въ глазахъ новѣйшихъ историковъ, дѣятельность Петра теряетъ такимъ образомъ характеръ переворота и получаетъ значенiе реформы. Внѣшнимъ образомъ дѣятельность Петра, правда, носила этотъ видъ переворота: массѣ бросалось въ глаза появленiе новыхъ армiй, флота, сооруженiй, школы, обычаевъ, одежды, печати; залежавшемуся на боку боярству и дворянству не нравилось требованiе школьнаго ученья и службы, требованiе настойчивое и строгое; московской iерархiи, которая было уже мечтала о ѳеократической диктатурѣ, и людямъ стараго вѣка, выросшимъ на внѣшней обрядности и религiозной нетерпимости, не нравилось устраненiе патрiаршества, общенiе съ иноземцами и иновѣрцами. Могло быть, что Петръ иной разъ терялъ мѣру, безъ надобности нарушалъ старину и раздражалъ ея приверженцевъ,—но Петръ былъ дѣтищемъ своего вѣка, и жестокаго вѣка, и новѣйшiе противники реформы, при всей ненависти къ ней, не разъ проговаривались, признавая въ Петрѣ „великаго русскаго человѣка“ и въ тѣхъ или другихъ его дѣянiяхъ—угаданную потребность государства и народа.

Чѣмъ болѣе изучается Петровская эпоха, тѣмъ болѣе самъ Петръ является, дѣйствительно, „великимъ русскимъ человѣкомъ“—и съ его достоинствами и съ недостатками,—и тѣмъ болѣе исторически характерной представляется его дѣятельность. Оставленiе Москвы давно объяснено тѣмъ, что тамъ его дѣятельность была стѣсняема оппозицiей приверженцевъ и охранителей старины, что Москва была слишкомъ далека отъ моря и европейскаго сосѣдства. Москва вообще была слишкомъ связана съ преданiями московскаго царства, и эти преданiя были тѣсны для широкихъ замысловъ „имперiи“.

Новые историки указали оборотную сторону реформы и характера самого реформатора,—крайности въ нововведеніяхъ, свирѣпость въ подавленіи сопротивленія, разнузданность въ нравахъ; нѣкоторые изъ этихъ историковъ (напр. Костомаровъ), быть можетъ, слишкомъ настаивали на этой оборотной сторонѣ. Само собою разумѣется, что нѣтъ ни надобности, ни возможности скрывать отъ себя мрачныя обстоятельства многихъ актовъ реформы; но исторія требуетъ объясненія этихъ явленій, и оно находится: крайности реформы были послѣдствіемъ крайностей прежняго застоя, и личныя излишества Петра въ осмѣяніи старины, конечно, не извинительныя въ главѣ государства, понятны какъ противовѣсъ ханжеству и лицемѣрію; жестокость Петра была вполнѣ наслѣдіемъ старины, и здѣсь всего меньше могли бы укорять его приверженцы московской старины, видавшей безумныя свирѣпства Грознаго.

Въ особое преступленіе Петру и „петербургскому періоду" ставили уничтоженіе стараго политическаго быта: съ нимъ кончились земскіе соборы. Но, какъ мы упоминали, это было учрежденіе столь мало крѣпкое, что оно и безъ того вѣроятно кончилось бы собственною смертью,—потому что громадное расширеніе государства и возроставшее усложненіе его внутреннихъ и внѣшнихъ задачъ дѣлали непримѣнимой *эту* форму представительства. Чтобы самое начало могло имѣть мѣсто въ новыхъ условіяхъ государства, нужна была уже бо́льшая степень политическаго сознанія въ общественной средѣ, и болѣе настоятельная потребность общества въ этого рода самодѣятельности,—между тѣмъ старая Москва развила въ такой степени безграничное самодержавіе и такое безправіе общества, что умаленіе соборнаго начала еще въ XVII вѣкѣ не было никѣмъ почувствовано. Весь распорядокъ внутренней жизни государства издавна считался „государевымъ дѣломъ"; это понятіе перешло въ XVIII-й вѣкъ совершенно опредѣлившимся и во всей силѣ; неудивительно, что мысль о какомъ-либо автономическомъ участіи общества въ правительственномъ дѣлѣ застыла, потому что уже давно застывала. Господство бюрократіи было только естественнымъ развитіемъ московскаго административнаго порядка.—Власть Петра не сдѣлала ущерба никакимъ старымъ свободамъ или, когда стѣсняла ихъ, то только примѣняла готовые пріемы прежняго порядка. Но едва ли когда-нибудь раньше былъ такъ высоко поставленъ принципъ и интересъ государства: трудъ, который несъ на службѣ ему самъ царь, трудъ неустанный, разумный и плодотворный, былъ и остался безпримѣрнымъ; и этотъ примѣръ личной дѣятельности Петра и такой постановки идеи государства имѣлъ большую долю вліянія на развитіе общественнаго сознанія. Старая московская Россія не представила

такихъ проявленій этого сознанія, какія въ Петровскую эпоху мы видимъ у Посошкова, а вскорѣ потомъ у Ломоносова [1]).

Славянофильская вражда къ Петровской реформѣ не истощилась, и при новѣйшемъ реакціонномъ настроеніи имѣетъ даже шансы нѣкотораго успѣха въ извѣстной долѣ общества; но то, что прежде было теоретическимъ исканіемъ идеальныхъ началъ русской жизни, теперь вырождается въ настоящій обскурантизмъ. Нельзя иначе понять того поношенія реформы, которое соединяется съ фанатическими, и все-таки не очень искренними, призывами: „назадъ, домой!" и съ воплями противъ „интеллигенціи", — т.-е. образованности, на дѣлѣ столь еще скудной, къ сожалѣнію, въ русскомъ обществѣ и столь ему нужной для массы всякаго рода настоятельныхъ работъ для государства и народа. Въ научномъ отношеніи эта вражда къ реформѣ осталась замѣчательно безплодна: какъ въ сороковыхъ годахъ, такъ и донынѣ *эта* отрицательная школа не въ состояніи была провести своего взгляда въ какомъ-либо цѣльномъ научномъ трудѣ, въ чемъ-либо кромѣ газетныхъ филиппикъ, считающихъ себя въ правѣ отдѣлываться фразами отъ дѣйствительно критическаго изслѣдованія.

Особенною заслугой новѣйшей исторіографіи было стремленіе раскрыть народную сторону исторіи,—роль народа, его силъ и характера, въ созданіи государства, и судьбу народа въ новѣйшемъ государствѣ. Это историческое вниманіе къ народу было параллельно съ тѣмъ интересомъ, который развивался въ тоже время въ общественныхъ понятіяхъ подъ вліяніемъ крестьянской реформы, и поддерживалось общимъ развитіемъ науки (успѣхи филологіи, бытовой исторіи, этнографіи и наукъ соціально-экономическихъ). Больше чѣмъ когда-нибудь историческая пытливость обращалась къ тѣмъ эпохамъ и явленіямъ исторіи, гдѣ выказывалась дѣятельная роль народа: таковы были эпохи древней исторіи, время вѣчевого устройства и народоправствъ, время народной колонизаціи; далѣе—время междуцарствія, когда народное сознаніе спасло государство отъ висѣвшей надъ нимъ опасности; время народныхъ волненій въ концѣ XVII вѣка, время раскола; наконецъ, новѣйшій бытъ народа подъ крѣпостнымъ правомъ, народныя волненія и бунты—результатъ народныхъ тягостей; народные нравы и обычаи. Прежніе историки, занятые всего болѣе политическою исторіей и судьбами верховной власти, мало или совсѣмъ не замѣчали этой стороны событій, или излагали ихъ чисто-

[1]) Изъ новыхъ трудовъ о той эпохѣ отмѣтимъ еще книгу А. Г. Брикнера: Die Europäisirung Russlands, 1889, гдѣ собраны указанія на переходные факты быта и образованія Россіи до Петра, при немъ и послѣ.

внѣшнимъ образомъ, какъ явленія уединенныя, анекдотическія, или наконецъ не имѣли возможности на нихъ останавливаться, подъ цензурными запрещеніями. Во время господства оффиціальной народности, особое запрещеніе легло на описаніе эпохъ народныхъ волненій,—въ томъ числѣ временъ междуцарствія: опекуны не догадывались, что именно эта историческая эпоха будетъ, немного времени спустя, считаться эпохой монархической и консервативной доблести русскаго народа, который, спасши государство отъ чужеземнаго нашествія и внутренняго раздора, отдалъ его судьбу въ руки династіи Романовыхъ.

Теперь эти запрещенія (по крайней мѣрѣ для старой исторіи) снялись сами собой, и новыя изслѣдованія восполняли недостатокъ цѣлой отсутствовавшей стороны исторіи. Мы называли выше труды Костомарова, Забѣлина, Бѣляева, К. Аксакова, Бестужева-Рюмина, Щапова, Аристова и мн. др., труды историковъ быта, историковъ крестьянства, историковъ-юристовъ, этнографовъ и проч. Въ ряду этихъ изслѣдованій особенно важное мѣсто заняли труды о расколѣ.

Мы упоминали прежде, какъ опредѣлялся расколъ у прежнихъ историковъ: было только двѣ точки зрѣнія, совершенно сходныя въ результатѣ—церковно-обличительная и полицейско-слѣдственная. Въ пятидесятыхъ годахъ впервые сказались чисто-историческіе пріемы въ изученіи раскола и вниманіе къ его современнымъ явленіямъ. Однимъ изъ первыхъ трудовъ, составленныхъ въ этомъ смыслѣ, была извѣстная книга Щапова (1859). Книга была не свободна отъ крупныхъ недостатковъ: составлявшаяся подъ вліяніемъ духовно-академическаго преподаванія и вмѣстѣ подъ вліяніемъ новаго духа времени, она была смѣшеніемъ двухъ взглядовъ, перемежавшихся въ понятіяхъ автора,—но несмотря на эту теоретическую неясность, авторъ былъ такъ искренно увлеченъ народной стороной раскола, заключавшимися въ немъ проявленіями свободной умственной дѣятельности и общинныхъ инстинктовъ народа, той долею правды, которая была въ протестахъ старообрядчества, что книга произвела большое впечатлѣніе и, при всей невыдержанности, имѣла немалое дѣйствіе на дальнѣйшую постановку вопроса. Съ тѣхъ поръ въ первый разъ выяснилось, что расколъ вовсе не былъ явленіемъ внезапнымъ, единственнымъ источникомъ котораго было одно грубое и упрямое непониманіе Никоновскаго исправленія церковныхъ книгъ; что, напротивъ, онъ находился въ тѣсной связи какъ съ ересями прежнихъ вѣковъ, такъ и съ современнымъ ему состояніемъ церковнаго быта; что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ могъ не безъ основанія ссылаться на „старую вѣру“, которую хотѣлъ сохранять и защищать противъ „новшествъ“,—потому что, дѣйствительно, оставался во мно-

гомъ вѣренъ старому обычаю, который былъ распространенъ въ народѣ гораздо шире предѣловъ позднѣйшаго старообрядчества, и отъ котораго только отступили другіе, испуганные крутыми мѣрами церкви и свѣтской власти. Если было видно, съ другой стороны, что многія изъ первоначальныхъ, а затѣмъ и позднѣйшихъ понятій раскола были слѣдствіемъ невѣжества, то это опять была вина не одного раскола, а всей старой жизни, гдѣ не только народъ, но и высшіе классы были лишены всякой правильной школы, гдѣ было чрезвычайно распространено внѣшне-обрядовое пониманіе религіи и была, слѣдовательно, готовая почва для обрядоваго фанатизма и суевѣрія „буквалистовъ". Неодолимое упорство раскола было именно дѣломъ фанатизма, отъ котораго несвободны были и самые обличители; суровыя полицейскія мѣры, принимавшіяся противъ раскола, только увеличивали разстояніе между двумя сторонами. Распространеніе раскола, совершавшееся наперекоръ всѣмъ гоненіямъ, объясняло, какъ онъ могъ и въ началѣ распространяться въ неудовлетворенныхъ церковью и смущенныхъ массахъ, и вмѣстѣ указывало, что и въ настоящую минуту умственная и нравственно-религіозная жизнь народа стоитъ въ очень неблагопріятныхъ условіяхъ: эти условія облегчали пропаганду и производили новыя секты, иногда крайне превратнаго свойства.

Во всякомъ случаѣ, расколъ былъ однимъ изъ наибольшихъ и печальныхъ недоразумѣній между народомъ, съ одной стороны, и государствомъ и церковью, съ другой. Къ послѣднимъ крайній расколъ относился съ полнымъ отрицаніемъ: въ нихъ онъ увидѣлъ господство антихриста. Инымъ показалось, что на этомъ основаніи расколъ не только въ XVII-XVIII-мъ вѣкахъ представлялъ собою бытовой и политическій протестъ, но и въ настоящее время есть извѣстная политическая сила, противная существующему порядку: такъ фантазировалъ въ особенности В. Кельсіевъ во время своего заграничнаго агитаторства [1]).

[1]) Недавно, въ „Кіевской Старинѣ" г. Лѣсковъ, сколько мы думаемъ, взвелъ совершенную небылицу на покойнаго Щапова, приписавши ему—въ его отсутствіе въ семъ мірѣ—едва ли существовавшія дѣянія, предусмотрѣнныя въ уголовномъ законодательствѣ. Упомянувъ о томъ, что въ прежнее, еще не очень давнее время „большинство людей, даже очень умныхъ, смотрѣли на этихъ наивныхъ буквоѣдовъ (старообрядцевъ), какъ на политическихъ злоумышленниковъ и во всякомъ случаѣ недруговъ царскихъ",—г. Лѣсковъ продолжаетъ: „этого не избѣгали наши старинные законовѣды и новѣйшіе тенденціозные фантазёры въ родѣ Щапова, который принесъ своими мечтательными изъясненіями существенный вредъ нѣжно любимому имъ расколу" („Кіевская Старина", 1883, февр., стр. 267). Далѣе, авторъ опять возвращается къ „пустымъ и вреднымъ мнѣніямъ Щапова", который будто бы „стоялъ горой" за „политическія задачи, которыя будто бы скрытно содержитъ нашъ рус-

Первое было до извѣстной степени справедливо: старый расколъ оказывалъ не одно сопротивленіе исправленію книгъ, но и церковно-административнымъ пріемамъ Никона и послѣдующихъ правителей церкви; послѣ присоединилось и недовольство правленіемъ гражданскимъ; расколъ не остался безучастенъ, въ народныхъ волненіяхъ, до Пугачевскаго бунта включительно; пассивное сопротивленіе политическому положенію вещей имѣло свою долю въ образованіи сектъ, въ родѣ бѣгуновъ. Но самостоятельной политической силы расколъ никогда не представлялъ, а въ новѣйшее время—менѣе, чѣмъ когда-нибудь.

При всѣхъ внѣшнихъ трудностяхъ изслѣдованія, новѣйшее изученіе раскола принесло уже теперь богатые результаты. Старая точка зрѣнія, обличительно-полицейская, имѣетъ еще многихъ представителей; но успѣла утвердиться и другая, внушенная тѣмъ духомъ общественной справедливости, который былъ сильно возбужденъ первыми годами прошлаго царствованія. Эта новая точка зрѣнія впервые сняла или уравновѣсила преувеличенныя обвиненія, и съ другой стороны обратила вниманіе на бытовыя явленія раскола, въ которыхъ обнаруживались иногда замѣчательныя черты самой подлинной русской народности. Какъ обыкновенно бываетъ, подобныя черты, открываемыя въ первый разъ, нерѣдко преувеличивались; расколу

скій расколъ", и будто бы „увѣрилъ въ томъ даже Герцена"; послѣ чего г. Лѣсковъ передаетъ какія-то темныя сплетни о „крайней лѣвой фракціи", объ успѣхѣ Щапова въ петербургскомъ литературномъ кругу, восхваляетъ глубокія познанія Павла Ивановича Мельникова и т. п. (тамъ же, мартъ, стр. 521—522). Справившись съ біографіей Щапова, написанной проф. Аристовымъ, близко его знавшимъ, мы убѣждаемся, что сказанное г. Лѣсковымъ о сношеніяхъ Щапова съ Герценомъ есть сплетня, опровергаемая фактами (см. книгу Аристова, стр. 74, и о доносахъ Ничипоренки, стр. 95),—г. Лѣсковъ поступаетъ здѣсь на подобіе того, какъ его авторитетъ, богатый познаніями Мельниковъ, поступалъ съ Орест. Новицкимъ (см. въ книгѣ послѣдняго о духоборцахъ, изд. 2-е). Успѣхъ Щапова въ литературномъ кругу былъ очень условный: въ Щаповѣ цѣнили, кромѣ большой начитанности въ русской исторической старинѣ, особенно его энтузіастическую преданность своему народному идеалу,—что̀ не часто встрѣчалось и тогда, а теперь, когда литература все больше наполняется обскурантизмомъ и ренегатствомъ, еще рѣже и должно цѣниться тѣмъ болѣе. Что касается до самаго содержанія взглядовъ Щапова, то они съ самаго начала встрѣтились съ критикой весьма требовательной, въ разныхъ литературныхъ лагеряхъ; укажемъ разборъ книги „Расколъ старообрядства" въ „Современникѣ" 1859, и разборъ книжки „Земство и расколъ", написанный Соловьевымъ, въ „Соврем. лѣтописи" 1863, № 5. Наконецъ, что касается „существеннаго вреда", принесеннаго расколу „мечтательными изъясненіями" Щапова, „стоявшаго горой" за политическія задачи раскола, это остается непостижимымъ, если, по словамъ самого Лѣскова, такого мнѣнія о расколѣ держались еще „старинные законовѣды" (да и не очень старинные, до и послѣ Щапова одинаково). Это замѣчаніе опять остается какой-то темной инсинуаціей.

приписывалось болѣе широкое содержаніе, чѣмъ онъ представлялъ въ дѣйствительности: такъ это бывало у Щапова, и у нынѣшнихъ нѣкоторыхъ писателей о расколѣ [1]. Новые историки находили, что при началѣ раскола его приверженцами становились въ народной средѣ именно люди болѣе характерные, стоявшіе за свои мнѣнія, готовые выносить за нихъ всѣ грозившія тяготы; наблюдатели современнаго раскола также приходили къ убѣжденію, что въ послѣдователяхъ раскола мы имѣемъ передъ собой особенно развитую часть простого народа. Одинъ изъ этихъ наблюдателей, указавъ въ послѣднія десятилѣтія особенное движеніе въ русскомъ сектантствѣ, говорилъ (въ „Отеч. Зап.“): „Въ этомъ движеніи проявилась умственная дѣятельность русскаго народа; въ немъ обнаружилась способность русскаго народа къ творчеству новыхъ формъ жизни; въ немъ проявилась успѣшная борьба народныхъ принциповъ съ вліяніемъ капитала. Въ сектантство идутъ лучшія силы народа; сектантство подвергаетъ критическому анализу всю многообъемлющую область человѣческой жизни и отвергаетъ все, не выдерживающее критики; въ сектантствѣ идетъ безпрерывная культурная работа, выражающаяся какъ въ выработкѣ новыхъ принциповъ личной жизни, такъ и въ созданіи новыхъ формъ семейнаго устройства и общественно-экономическихъ отношеній; сектантство создаетъ организацію, которая оказывается способною успѣшно вести борьбу съ все изглаживающимъ, все развращающимъ и все разлагающимъ вліяніемъ капитала; въ сектантствѣ мужикъ поднимается до пониманія явленій политической жизни, до сознанія братства всѣхъ народовъ и до уваженія въ человѣкѣ личности, къ какому бы племени онъ ни принадлежалъ и какую бы ступень въ соціальной лѣстницѣ онъ ни занималъ“. Позволительно усумниться въ критическихъ средствахъ современнаго русскаго сектантства для „анализа всей многообъемлющей области человѣческой жизни“ и еще больше усумниться во многихъ рѣшеніяхъ, къ которымъ оно здѣсь приходитъ, — но безспорно, что въ сектантствѣ является передъ нами сильно возбужденная народная мысль, которая внушаетъ къ себѣ живѣйшій интересъ и для которой нельзя не пожелать, во многихъ случаяхъ, бо́льшаго простора общественной дѣятельности,—и во всякомъ случаѣ—школы.

Такимъ образомъ открывалось въ расколѣ цѣлое явленіе, чрезвычайно характерное для исторіи до-Петровскаго быта, XVII—XVIII вѣка и современной народной жизни. Если гдѣ въ старину особенно рѣзко сказывалась разница или противоположность между

---

[1]) О послѣднихъ см. ст. Харламова: „Идеализаторы раскола“ („Дѣло“, 1882).

Петровской и московской Россіей, то именно въ этомъ контрастѣ реформы и раскола: здѣсь встрѣтились два опредѣленные быта, два *ученія.*

И внѣ раскола историки литературы указываютъ еще въ XVIII в. проявленія сочувствій, направленныхъ назадъ въ старину и почитаемыхъ за предшествіе новѣйшаго славянофильства. Но съ другой стороны выяснялось, что реформа была безповоротнымъ національнымъ дѣломъ: *не только* энергія преобразователя увлекала высшіе классы на служеніе новому государственному и общественному порядку, но самая сила вещей—очевидная необходимость этого новаго порядка въ виду тѣхъ новыхъ отношеній, какія все больше окружали и охватывали государство и требовали иныхъ матеріальныхъ силъ, иного характера образованія, чѣмъ тѣ, какими владѣла до-Петровская Россія. Еще въ московской Россіи, среди полнаго ея развитія высказались самыя очевидныя стремленія къ усвоенію западныхъ знаній, искусствъ и художественныхъ развлеченій. Подъячій Котошихинъ, этотъ отрицатель традиціоннаго застоя, выросъ въ старинной московской средѣ. Въ XVIII вѣкѣ, крестьянинъ Посошковъ, стоящій одною ногою въ той же старинѣ, является, однако, рѣшительнымъ приверженцемъ реформы и приноситъ свой взглядъ на защиту новаго просвѣщенія. Великимъ дѣятелемъ просвѣщенія въ духѣ реформы сталъ другой крестьянинъ, Ломоносовъ, противъ котораго не рѣшались возставать самые упорные враги „петербургскаго періода".

Восемнадцатый вѣкъ и первая половина девятнадцатаго, можно сказать, впервые стали доступны исторіи съ прошлаго царствованія. До тѣхъ поръ возможна была для нихъ только исторія оффиціальная, панегирическая, въ державинскомъ духѣ, съ громомъ побѣдъ, неизмѣнно мудрымъ, благодѣтельнымъ правленіемъ. Исторія говорила только о показныхъ фактахъ, умалчивала слишкомъ многое о дѣйствительной жизни, о положеніи народа, не касалась оборотной стороны медали, не подозрѣвала умственной жизни общества. Мы упоминали о томъ, какая перемѣна произошла въ исторической литературѣ, когда уменьшились цензурныя помѣхи къ изученію новыхъ вѣковъ: вслѣдъ за тѣмъ, какъ явилась возможность пользоваться источниками, литература наводнилась множествомъ архивныхъ документовъ и частнаго историческаго матеріала—записокъ, дневниковъ, переписки, воспоминаній, переводовъ иностранныхъ сочиненій и пр. и пр. Въ этихъ свѣдѣніяхъ раскрывались самыя разнообразныя стороны нашаго прошлаго: начиная съ исторіи дворцовой, которая передъ тѣмъ была совершенно недоступна для литературы, исторія дипломатическая, административная, исторія литературы, образованія, нравовъ и т. д. Правда, за исключеніемъ „Исторіи" Соловьева и книги

Костомарова („Жизнеописанія“), доведшій разсказъ лишь до половины XVIII вѣка, не появилось еще ни одного цѣльнаго труда о прошломъ столѣтіи; самое сочиненіе Соловьева, какъ извѣстно, въ послѣднихъ томахъ было больше хронологическимъ сопоставленіемъ мало обработаннаго матеріала, чѣмъ исторіей; собранныя свѣдѣнія остаются еще всего чаще въ состояніи сырого матеріала, немногихъ частныхъ изслѣдованій, разсказовъ анекдотическаго свойства,—тѣмъ не менѣе въ литературное обращеніе вошло множество фактическихъ данныхъ, которыя часто сами по себѣ были уже достаточно краснорѣчивы и вообще въ первый разъ давали о нашемъ XVIII и даже XIX вѣкѣ нѣсколько отчетливое понятіе.

Къ прежней показной исторіи прибавилась теперь интимная исторія дворцовыхъ переворотовъ и правительственнаго круга, послѣ Петра и до Александровскихъ временъ: воцареніе Анны Ивановны, исторія Ивана Антоновича и его семьи; вступленіе на престолъ Екатерины II, Павла, Александра; исторія княжны Таракановой, фаворитовъ импер. Екатерины (между прочимъ въ переводѣ книги Гельбига) и т. п.; біографическія исторіи выдающихся лицъ—графовъ Разумовскихъ, Орловыхъ, Воронцовыхъ, гр. Безбородка, Бецкаго, и позднѣе Румянцова, Мордвинова, Сперанскаго, Аракчеева и т. д. Масса вновь изданныхъ мемуаровъ, начиная съ Петровскихъ временъ, какъ Неплюева, священника Лукьянова, и позднѣе—какъ записки Добрынина, Храповицкаго, кн. Дашковой, Гарновскаго, Винскаго, Болотова, Толубѣева, и еще новѣе, какъ Саблукова, Котлубицкаго, Растопчина, Чичагова, А. М. Тургенева и т. д., давала любопытныя картины отчасти придворной жизни, но особенно жизни общественной, быта и нравовъ. Изслѣдованы были съ бо̀льшимъ чѣмъ прежде вниманіемъ многіе эпизоды умственной жизни общества, какъ дѣятельность Ломоносова, какъ первыя начала нашей журналистики и сатиры; въ монументальномъ изданіи „Державина“ г. Грота выяснилась дѣятельность „пѣвца Екатерины“ со множествомъ подробностей о современныхъ отношеніяхъ; впервые изучена обстоятельно дѣятельность Новикова, и по̀ ея поводу изслѣдована исторія русскихъ масонскихъ ложъ, мистическихъ сектъ и направленій конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія; всплыла послѣ многихъ десятковъ лѣтъ молчанія, исторія Радищева и его книги; выяснился характеръ собственной литературной дѣятельности импер. Екатерины II, предпринята, наконецъ, обширная исторія ея, г. Бильбасова, и въ результатѣ всего этого русская исторія прошлаго столѣтія явилась въ новыхъ чертахъ, не совсѣмъ отвѣчавшихъ старому панегирическому представленію...

Историческія работы по XVIII-му вѣку должны назваться еще только начатыми; изданный матеріалъ далеко недостаточенъ для

полной исторіи; литературныя условія все еще не даютъ мѣста вполнѣ свободной исторической критикѣ,—тѣмъ не менѣе, наличный матеріалъ даетъ возможность нѣкоторыхъ общихъ заключеній.

Эти историческія изысканія имѣютъ свой большой интересъ и для этнографіи: касаясь быта и нравовъ, онѣ разъясняютъ тотъ важный историческій моментъ, какой наступалъ для внутренняго содержанія народной жизни. Съ древнѣйшихъ временъ, русская народность испытала въ особенности два сильныхъ перелома, отразившихся на существѣ народныхъ представленій. Одинъ совершился въ эпоху двоевѣрія, когда на старую языческую подкладку легли понятія христіанскія: въ сущности, до сихъ поръ не опредѣлено такъ сказать процентное отношеніе двухъ стихій, но несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что съ той поры первобытное содержаніе народности—какъ запаса представленій миѳологическихъ (религіозно-поэтическихъ) и бытовыхъ—не существуетъ иначе какъ въ смѣшеніи стараго и новаго, разграниченіе которыхъ остается до сихъ поръ вопросомъ для изслѣдователей. Понятно, что затѣмъ народность подвергалась и множеству другихъ воздѣйствій—сношеній междуплеменныхъ, вліяній образовательныхъ и книжныхъ, опытовъ практическо-бытовыхъ, собственнаго развитія,—видоизмѣнявшихъ медленно и постоянно ея основу, но въ главномъ, до конца XVII-го вѣка (особливо до реформы), эта основа была тоже старое двоевѣріе. Теперь наступалъ другой переломъ. Съ реформой вступалъ въ жизнь не только государства, но общества, а въ концѣ концовъ и народа, новый порядокъ идей, вступалъ какъ *принципъ*, ранѣе не существовавшій въ такой силѣ, совершенно отличавшійся отъ традиціоннаго міровоззрѣнія и въ своихъ послѣднихъ вліяніяхъ долженствовавшій затронуть самое существо народной жизни, отразиться въ бытѣ и народныхъ представленіяхъ, что̀ и совершается—сначала слабо, но потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе. Новыя идеи дѣйствовали прежде всего черезъ государство, на высшій служилый классъ (на народъ не обращалось вниманія), затѣмъ самъ этотъ классъ начинаетъ воспринимать образованіе и „удаляться“ отъ народа. Здѣсь прежде всего совершилось то разлагающее дѣйствіе, какое имѣлъ новый историческій принципъ,—какъ нѣкогда разлагающимъ образомъ на старое язычество дѣйствовали понятія христіанскія; но мало-по-малу это дѣйствіе стало распространяться все дальше и глубже. Для класса образованнаго старое міровоззрѣніе въ области понятій и суевѣрій о природѣ и человѣкѣ становилось окончательно чуждымъ; но затѣмъ новыя представленія проникаютъ все сильнѣе въ массу, создавая новое смѣшеніе, какое можемъ наблюдать въ настоящую минуту: мы именно присутствуемъ при переработкѣ народнаго этнографическаго содержанія. Люди

стараго вѣка, и вмѣстѣ съ ними любители и спеціалисты этнографіи жалуются единогласно на упадокъ старины, на изчезновеніе (все болѣе сильное) обычаевъ, пѣсенъ, сказокъ и пр.: этотъ упадокъ не подлежитъ сомнѣнію, и наиболѣе сильный толчекъ къ производящему его измѣненію быта данъ былъ въ началѣ XVIII вѣка.

Историческое изученіе прошлаго и нынѣшняго столѣтія между прочимъ даетъ возможность наблюдать постепенное развитіе новыхъ общественныхъ формъ, приведшихъ, наконецъ, къ современному состоянію народнаго быта. Остановимся на нѣкоторыхъ явленіяхъ.

Противники реформы любятъ ссылаться на внѣшнее могущество русскаго государства, — но очевидно, что уже одно распространеніе территоріи, совершенное съ XVIII-го вѣка, могло быть достигнуто только путемъ лучшей организаціи государственныхъ силъ, что оно никакъ не могло быть пріобрѣтено тѣми средневѣковыми средствами, какія употребляла старая московская Россія. Эти противники, изображая напр. „славянскаго орла“, не отрицаются отъ завоеваній временъ Петра и Екатерины, отъ славы военныхъ подвиговъ, отъ Румянцовыхъ и Суворовыхъ, отъ славы писателей и поэтовъ, отъ Ломоносова, Державина, Новикова: но что̀ же были всѣ эти дѣятели, какъ не продолжатели и примѣнители дѣлъ и идей реформы? Или же начинаютъ иногда упрекать нынѣшнія поколѣнія примѣрами изъ XVIII-го вѣка, но вѣдь это и былъ „петербургскій періодъ“?

Высоко поставленное понятіе о службѣ всѣхъ государству—не противорѣчило старому преданію; политическія цѣли, поставленныя Петромъ и сохраняемыя его преемниками, даже у противниковъ реформы признаются отвѣчавшими интересамъ русскаго государства. Въ особенности осуждаются средства, принятыя Петромъ и продолжавшія господствовать въ „петербургскомъ періодѣ“: подражаніе иноземнымъ формамъ управленія, перениманіе чужихъ обычаевъ и т. д. Но, не защищая крайностей Петра, надо признать, что многое было неизбѣжно, какъ напр., иноземное устройство войска или флота —потому что свое было негодно, и Петру некогда было придумывать русскихъ формъ и именъ для принятыхъ нерусскихъ вещей; введеніе чужихъ обычаевъ приходило естественно какъ противовѣсъ тѣмъ старымъ обычаямъ, которыхъ онъ имѣлъ основаніе не любить, какъ спутниковъ стараго застоя. „Петербургскій періодъ“ въ этомъ отношеніи усердно слѣдовалъ поданному примѣру. Иноземные обычаи продолжали распространяться и послѣ Петра, и еще въ болѣе сильной степени напр. при Елизаветѣ, которой, однако, приписывается „русское“ направленіе, и особенно при Екатеринѣ, когда не только усиливались иностранныя моды въ свѣтской жизни, но когда сама императрица распространяла моду на французскія либеральныя

12*

идеи. Послѣ стало распространяться подражаніе нѣмецкому фрунтовому милитаризму и т. д. Подражаніе иностраннымъ обычаямъ въ высшемъ и среднемъ дворянскомъ классѣ, возводимое теперь не только въ легкомысленное заблужденіе, но въ настоящее преступленіе противъ народности, какъ извѣстно, еще съ прошлаго вѣка возбуждало строгія осужденія негодующихъ патріотовъ и вызвало цѣлую литературу „сатирическихъ“ обличеній; но старымъ и новымъ обличителямъ не приходило въ голову, что эта подражательность имѣла весьма основательную причину, а именно—отсутствіе въ старомъ быту формъ общественности: ихъ и должны были доставить ассамблеи, публичные праздники, театръ, газета и т. д., которые приходилось перенимать съ „запада“. Наше время не вправѣ осуждать старину „петербургскаго періода“, потому что продолжаетъ донынѣ брать съ запада подобныя формы общественности: новѣйшія формы театра, публичныхъ лекцій, телеграфовъ, телефоновъ, журналистики, до иллюминацій, флаговъ на домахъ и т. п. Если иностранные обычаи брали силу (какъ думаютъ, незаконную) надъ старымъ русскимъ обычаемъ, надо думать, что послѣдній самъ не имѣлъ достаточной внутренней силы и не могъ удовлетворить потребностямъ знанія и общественности, какія являлись съ ходомъ исторіи. Далѣе, если были темныя стороны въ заимствованномъ иноземномъ обычаѣ, то и обличеніе оставалось всего чаще недѣйствительнымъ, потому что или направляемо было невѣрно, не на дѣйствительную причину зла, или выставляло взамѣнъ обличаемаго что-нибудь еще болѣе слабое и странное. Такими недостатками, за немногими исключеніями, дѣйствительно отличалась нравоучительная сатира прошлаго вѣка; тамъ, гдѣ она покушалась сказать правду, указать дѣйствительное зло, ей зажимали ротъ,—какъ Новикову и Радищеву, а также и фонъ-Визину. Позднѣе полемика противъ „галломаніи“ сводилась бо́льшею частью на пустословіе, или на лицемѣріе.

Первые преемники Петра не въ силахъ были достойнымъ образомъ продолжать его дѣло; оно держалось только силой инерціи и еслибы, дѣйствительно, оно было такимъ нарушеніемъ національной сущности, какъ объ этомъ говорятъ, то при слабости преемниковъ неизбѣжна была бы реакція—національная старина, освободившись отъ гнета личности преобразователя, должна была бы воспрянуть, заявить свое историческое право, удалить чужеземщину, внесенную въ жизнь рукой „произвола“. Именно въ полустолѣтіе отъ смерти Петра до воцаренія Екатерины II могла бы совершиться старомосковская реставрація [1]; но она не совершилась. Во-первыхъ, слиш-

[1]) Любопытно, что на это, въ своихъ видахъ (именно ослабленія Россіи), разсчитывала европейская дипломатія при восшествіи на престолъ Елизаветы. Ср. Бильбасова, „Исторія Екатерины Второй“, Спб. 1890, стр. 102—104.

комъ ясно было, что все основное въ реформѣ было настоятельно нужно; во-вторыхъ, если было въ ней что-нибудь поспѣшное, излишнее или очень отзывавшееся иноземнымъ, то для переработки этого требовалось время и бо́льшая степень сознанія и въ обществѣ, и въ самой правительственной сферѣ; а вещи второстепенныя безъ особенныхъ заботъ отпадали. Вмѣсто реакціи мы наблюдаемъ въ тогдашней правительственной и общественной жизни совершенно обратное: она весьма легко воспринимала реформу; какъ правительственная власть считала долгомъ заявлять свое почтеніе къ дѣламъ Петра, такъ новые пріемы жизни крѣпко усвоивались въ служебной области и нравахъ. Правда, первая наука давалась туго; тяжелое на подъемъ дворянство жаловалось, когда однихъ требовали на службу, другихъ въ науку,—но такъ бывало и въ древнемъ Кіевѣ, когда князь приказывалъ брать въ ученье дѣтей „нарочитое чади". Но въ школѣ и службѣ временъ Петра, когда онъ самъ давалъ такой поражающій примѣръ неустаннаго труда, было столько серьезнаго дѣла, что въ умахъ осталось сильное впечатлѣніе нравственной обязанности частнаго лица къ обществу и государству. Этого настроенія нельзя не видѣть въ „слугахъ Петровыхъ", и довольно указать на Посошкова, чтобы убѣдиться, какъ оно овладѣвало и разумными людьми, стоявшими далеко отъ всякой власти, но понимавшими значеніе своего времени. Здѣсь возникали начатки того общественнаго мнѣнія, которое медленно, но постоянно растетъ съ тѣхъ поръ, внося въ пассивное общество все болѣе дѣятельное сознаніе. Просвѣтительные элементы принимались всѣми пробужденными умами съ такимъ участіемъ, что было бы ослѣпленіемъ не видѣть въ этомъ большого историческаго факта и доказательства именно *національнаго* успѣха реформы.

Главное, что́ реформа внесла новаго, совсѣмъ неизвѣстнаго старой русской жизни, было признаніе значенія науки, какъ перваго свѣтскаго и независимаго знанія. При великой трудности новаго дѣла, при недостаткѣ людей въ Петровское время, а затѣмъ и впослѣдствіи, вводимыя образовательныя средства отличались скорѣе скудостью, чѣмъ излишествомъ,—въ особенности для послѣдующаго времени. Правительственная власть XVIII-го вѣка принимала вообще весьма умѣренныя средства къ распространенію просвѣщенія: со времени основанія Академіи наукъ,—влачившей въ первое время весьма жалкое существованіе, когда уже не было человѣка, ее задумавшаго,—только въ 1755 году основанъ былъ московскій университетъ, единственный на цѣлое столѣтіе, и также долгіе годы не бывшій въ состояніи широко работать для русскаго просвѣщенія. Если прибавить

еще двѣ духовныя академіи, въ Кіевѣ и Москвѣ, то мы назовемъ всѣ высшія ученыя и учебныя заведенія имперіи прошлаго вѣка.

Если при всемъ томъ общественная образованность дѣлала, какъ это несомнѣнно, значительные успѣхи, они должны быть приписаны тому, что, хотя бы въ меньшинствѣ общества, интересы просвѣщенія стали жизненною потребностью. Выше мы указывали отличительную черту знанія, входившаго въ Петровскія времена: это было съ одной стороны стремленіе къ практической полезности, совершенно естественное по всему положенію вещей, съ другой раціоналистическія попытки, необходимое послѣдствіе первыхъ научныхъ понятій. Это были такимъ образомъ вполнѣ естественное начало и закваска, при которыхъ дальнѣйшее движеніе въ томъ же главномъ направленіи было правильнымъ развитіемъ,—хотя еще долго неровнымъ и неувѣреннымъ.

Исторія литературы прошлаго вѣка въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствуетъ о большой постепенности перехода отъ московской старины къ „петербургскому періоду".

Начатки литературы были, дѣйствительно, грубы, неловки, неровны; предшествующая эпоха передала XVIII вѣку только ученыхъ богослововъ, ученыхъ стариннаго духовно-академическаго типа, образованныхъ на западный клерикальный образецъ — да и ихъ очень немного; образованіе другого рода едва начиналось, — между тѣмъ новый періодъ національной жизни вызывалъ очевидно новую литературу, совершенно иного склада и содержанія.

При Петрѣ въ литературѣ появляется цѣлый рядъ переводныхъ сочиненій образовательнаго характера. Литература поэтическая еще отсутствуетъ, если не считать виршей во вкусѣ XVII вѣка; и когда она появляется вскорѣ (у Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова), она перенимаетъ на западѣ формы псевдо-классицизма и его условное содержаніе, перенимаетъ сначала грубо, не умѣя приладить русскаго содержанія, не умѣя справиться съ языкомъ, мѣшая русскую грамматику съ церковно-славянской. Содержаніе стихотворства, касаясь темъ общественныхъ, до самаго Карамзина есть только полу-оффиціальное, служебное: это—ода и панегирикъ высокимъ особамъ; но уже у Ломоносова является самостоятельная поэтическая мысль, и затѣмъ, къ концу вѣка, все больше развивается художественный инстинктъ и стремленіе выражать общественное содержаніе, насколько допускала это строгая и подозрительная опека.

Какъ взамѣнъ нѣкогда обще-народнаго міровоззрѣнія, архаическаго и полу-церковнаго, въ классѣ образованномъ стали распространяться новыя понятія, доставляемыя (въ той или другой мѣрѣ) наукой, такъ, параллельно этому, въ области поэзіи впервые — собственно

только съ начала XVIII вѣка—совершился переходъ отъ первобытно-народнаго творчества къ творчеству личному. Такой недавней въ сущности является у насъ эта эпоха перехода отъ поэзіи первобытно-народной къ поэзіи личной, эпоха, давно пережитая литературами европейскими, которыя уже въ средніе вѣка имѣли Данта и Боккачіо, затѣмъ Рабле, Шекспира и Мольера... Мы указывали выше, что у насъ начало этнографическаго интереса во второй половинѣ прошлаго столѣтія (какъ у Чулкова и Новикова) совпадаетъ просто съ продолжающимся живымъ преданіемъ народной поэзіи. Теперь, съ распространеніемъ европейскаго образованія въ верхнемъ слоѣ, съ началомъ личнаго поэтическаго творчества, съ болѣе сознательнымъ отношеніемъ къ жизни, начинаются и новыя формы общественности и новый складъ внѣшняго существованія литературы. Впервые выдѣлялся особый кругъ, не сословный, не служило-чиновническій—такъ-называемое *общество*: его силами и для его потребностей возникала литература въ томъ смыслѣ, въ какомъ она давно уже утвердилась въ жизни европейской. Эта литература не ограничивалась по прежнему особымъ классомъ книжниковъ, обученныхъ на полу-церковный ладъ, и обращалась ко всему кругу образованныхъ людей; ея содержаніе обнимало свѣтскую мысль, науку, поэзію, общественные интересы; она должна была говорить не на старомъ славяно-русскомъ языкѣ, который велся только въ книгахъ, а на живомъ языкѣ, на которомъ всѣ говорили. Этого рода литература предполагала потребность въ знакомствѣ съ произведеніями другихъ народовъ, съ ихъ научными знаніями, болѣе развитой общественной мыслью и поэзіей, и естественно подпала ихъ вліяніямъ. Съ тѣхъ поръ и долго послѣ, въ сущности и донынѣ, наша литература развивалась подъ сильнымъ образовательнымъ воздѣйствіемъ западно-европейскимъ, — испытывая (правда, всегда въ очень сглаженной формѣ и урѣзанномъ объемѣ) многоразличныя ступени, которыя переживала западная, преимущественно нѣмецкая и французская литература. Такъ проходили въ нашей литературѣ, слѣдомъ за силлабическими виршами XVII столѣтія, торжественная панегирическая ода, псевдо-классическая драма и всякія формы французскаго стихотворства половины прошлаго вѣка, потомъ мистическій піэтизмъ, сантиментальное направленіе, романтика разныхъ оттѣнковъ.

Новѣйшая исторіографія литературы, въ противоположность или, лучше сказать, въ дополненіе историко-эстетической критики Бѣлинскаго, обратила свои разслѣдованія именно на эти многоразличные источники литературныхъ идей, на общественно-культурную сторону ихъ содержанія, на ихъ вліяніе и отраженія во внутреннемъ складѣ

общества. Правильный исторический выводъ возможенъ только послѣ анализа фактовъ и направленій жизни, и новѣйшіе историки полагали свой трудъ именно на эту аналитическую работу и успѣли собрать и освѣтить много фактовъ литературы, которые были вмѣстѣ и фактами общественныхъ понятій, идеаловъ, выроставшаго въ тревожной борьбѣ сознанія. Оказывалось, разумѣется, что западныя вліянія, на которыя такъ любятъ теперь сваливать всякія бѣды русской жизни, были сильными двигателями, безъ которыхъ были бы немыслимы многія замѣчательнѣйшія пріобрѣтенія русской образованности; что эти вліянія не были случайностью, не были намъ „навязаны" западомъ, которому въ этомъ отношеніи не было до насъ никакого дѣла; не были наконецъ навлечены съ нашей стороны легкомысленнымъ произволомъ отдѣльныхъ лицъ, — но, напротивъ, были естественнымъ фактомъ нашего развитія, и призывались къ содѣйствію лучшими и просвѣщеннѣйшими умами нашего общества и самой предержащей властью. Недаромъ случилось, что Екатерина II оказывала особенное покровительство самымъ передовымъ представителямъ французскаго свободомыслія, покровительство, какого они не видѣли ни у себя дома, ни при какомъ-либо иномъ дворѣ. Правда, Екатерина была женщина чрезвычайно разсчетливаго, сухого ума, и имѣла при этомъ свои соображенія, но несомнѣнно, что идеи французскихъ свободныхъ мыслителей тѣмъ не менѣе производили на нее сильное впечатлѣніе въ ея первую свѣжую пору. Западъ былъ въ прошломъ вѣкѣ главнѣйшимъ источникомъ нашей научной образованности: онъ далъ нашей литературѣ тѣ формы, которыя были ей нужны въ ея новомъ періодѣ; онъ давалъ выработанныя философскія и общественныя понятія,—его отношеніе къ русскому движенію опредѣляется просто тѣмъ, что сама русская образованность искала себѣ въ немъ опоры, воспринимая изъ его разнообразнаго содержанія то, что́ указывалось потребностями русской мысли и общественности. Новыя изслѣдованія привели тому множество ясныхъ, наглядныхъ доказательствъ [1]).

Изданіе множества новыхъ матеріаловъ о XVIII вѣкѣ,—особливо всякихъ дневниковъ, переписокъ, и т. п., рисующихъ непосредственно простую домашнюю сторону жизни,—только подтверждаетъ то, что̀ извѣстно было и раньше по преданію о нашихъ прадѣдахъ, именно, что люди „петербургскаго періода", т.-е. тогдашній образованный болѣе или менѣе классъ, люди, будто бы „оторванные отъ почвы"

[1]) Факты о западныхъ литературныхъ вліяніяхъ съ конца XVII вѣка указаны въ большомъ количествѣ и часто весьма обстоятельно объяснены въ извѣстной книгѣ г. Галахова. Въ послѣднее время систематическій обзоръ исторіи „Западныхъ вліяній въ русской литературѣ" сдѣланъ Алексѣемъ Веселовскимъ (М., 1883).

западною цивилизацiей, были въ сущности самые русскiе люди, во всякомъ случаѣ не меньше, или даже больше русскiе, чѣмъ многiе изъ нынѣшнихъ газетныхъ „самобытниковъ“; ближе стояли къ старымъ преданьямъ, лучше, по своему времени, знали и понимали народъ и народный бытъ,—хотя и были дѣйствительно оторваны отъ него въ силу учрежденiй, именно въ силу крѣпостного права (утвердившагося вовсе не въ „петербургскiй перiодъ“). Прочтите напр. записки образованнаго помѣщика Болотова; записки или бiографiи дѣловыхъ людей, какъ Неплюевъ, Татищевъ; ученыхъ людей, какъ Ломоносовъ, какъ многiе профессоры тогдашняго единственнаго университета; прочтите даже разсказы объ иныхъ важныхъ барахъ того времени; припомните „Семейную Хронику“ и т. д., вездѣ разсыпаны черты русскаго характера, быта, обычая, даже народно-поэтическаго преданiя. Бывали конечно люди, офранцуженные воспитанiемъ и влiянiями высшаго круга,—но такiе люди (которыхъ и теперь немало) принадлежали своей особой сферѣ, и остались бы чужды народу, еслибы даже говорили на чистѣйшемъ русскомъ языкѣ и соблюдали русскiе обычаи: они, дѣйствительно, были оторваны отъ русской жизни извѣстными сторонами сословнаго быта, и появленiе этого типа должно быть отнесено къ его дѣйствительнымъ причинамъ, и никакъ не можетъ быть отождествлено съ просвѣщенiемъ XVIII-го вѣка и только ему поставлено на счетъ. Истинное дѣйствiе просвѣщенiя шло въ иныхъ кругахъ, и въ теченiе настоящаго нашего обзора можно было видѣть, что, напротивъ, оно именно вело къ нацiонально-общественному сознанiю и къ нравственному единенiю съ народомъ.

Когда новому порядку вещей, возникшему въ XVIII вѣкѣ, ставятъ въ вину его разныя темныя стороны, крупныя бѣдствiя и мелкiя уродливыя явленiя (гдѣ ихъ нѣтъ?), то обыкновенно не разбираютъ, гдѣ былъ главный корень того или другого темнаго факта, и не бывалъ ли онъ иногда плодомъ именно самой сохранявшейся старины, которая въ сущности продолжала сильно господствовать и въ общемъ внѣшнемъ складѣ жизни и множествѣ ея частныхъ отношенiй. Такъ, неизмѣннымъ остался общiй характеръ центральной власти и быта; таковъ привычный произволъ администрацiи, такова испорченность судейскихъ нравовъ. Господство крѣпостного права, обезпеченность и лѣнивый досугъ значительной части дворянства, скудное образованiе, отсутствiе интересовъ и дѣятельности общественной, достаточны были, чтобы произвести тотъ типъ людей, „оторванныхъ“ отъ русской почвы—пустыхъ франтовъ и „петиметровъ“, или даже и не пустыхъ людей, „беззаботныхъ“ на счетъ русской жизни и литературы, какихъ изображала наша „сатира“ про-

лаго вѣка и до недавняго еще времени рисовали наша повѣсть и романъ. Но возводить этихъ людей въ обычное явленіе нѣтъ никакой исторической возможности, а тѣмъ менѣе видѣть въ нихъ настоящихъ представителей образованности прошлаго вѣка. Напротивъ, и въ высшихъ областяхъ образованія, и въ среднемъ обиходѣ понятій сдѣланы были важныя пріобрѣтенія, которыя зарождаются именно въ томъ вѣкѣ, какъ слѣдствіе нѣкоторой образованности, и должны были возростать съ ея успѣхами. Должно помнить, что условія были очень мало благопріятны для его развитія: старые пріемы власти, нимало не ослабѣвшіе съ XVII вѣка и только окруженные новой внѣшней обстановкой, никакъ не допускали какой-либо самобытности мыслей и дѣйствій общества; строгая опека лежала на всемъ бытѣ, матеріальномъ и нравственномъ; самое просвѣщеніе, хотя распространяемое въ весьма умѣренномъ количествѣ, было подъ неизмѣннымъ надзоромъ,—тѣмъ не менѣе общественная мысль продолжала работать при всѣхъ стѣсненіяхъ, охватывала все новые предметы; образованіе будило инстинкты добра и справедливости, внушало возвышенные идеалы нравственнаго и общественнаго совершенствованія. Въ XVIII вѣкѣ были уже здоровые и крупные опыты русской науки, замѣчательные образчики новой поэзіи, начинается сознательная сатира и публицистика, которой невозможно отказать — по условіямъ времени—ни въ вѣрныхъ мысляхъ, ни въ гражданской смѣлости; возникаетъ интересъ къ изученію народной жизни, въ которомъ имѣетъ свой первый корень современное народничество.

Съ такимъ наслѣдіемъ отъ прошлаго вѣка начинается XIX столѣтіе

Стѣсненное положеніе нашей литературы и науки было таково, что только въ послѣднее двадцатипятилѣтіе началась первая дѣйствительная разработка русской новѣйшей исторіи. Должно было пройти сорокъ лѣтъ съ конца царствованія Александра I, чтобы въ нашей домашней литературѣ могли появляться на свѣтъ первые правдивые и безпристрастные разсказы и изслѣдованія о той эпохѣ, чтобы могъ быть услышанъ голосъ современника: столько событій, чрезвычайно любопытныхъ и характерныхъ, оставались закрыты отъ историческаго изслѣдованія, какъ государственная тайна. Царствованіе имп. Павла, воцареніе Александра I, первая либеральная эпоха его правленія, исторія Сперанскаго, записки Карамзина, реакція послѣ Наполеоновскихъ войнъ, личность и дѣянія Аракчеева, Библейское общество, масонскія ложи, тайныя политическія общества и т. д.,—все это было недоступно для разсказа или даже для простого упоминанія. Не вполнѣ стала доступна вторая четверть столѣтія, сплошная эпоха консервативнаго застоя и господства милитаризма, закончившаяся трагически крымскою войной,—времена были еще слишкомъ

близки, но именно вслѣдствіе крымской войны, смыслъ исхода которой былъ всѣмъ очевиденъ, стало разъясняться въ глазахъ общества значеніе цѣлой системы, цѣлаго историческаго періода. Это критическое отношеніе къ недавнему прошедшему высказалось въ самые первые годы прошлаго царствованія, а теперь наводняющіе литературу историческіе документы разнаго рода все больше разъясняютъ эпоху, за которой слѣдовалъ періодъ преобразованій и которая сдѣлала преобразованія особенно настоятельными. Время было характеристическое; николаевская система въ свое время въ огромной массѣ общества считалась наилучшей, почти идеальной государственной системой, далеко превосходящей всякія европейскія учрежденія; на „гніющую“ Европу смотрѣли съ пренебреженіемъ,—исторія послужила повѣркой этого идеала: теперь сполна разъяснилось истинное значеніе провозглашенной тогда оффиціальной народности. Съ новаго царствованія, съ половины пятидесятыхъ годовъ начинается небывалое прежде развитіе публицистики, поднятой въ особенности первыми заявленіями о крестьянской реформѣ; въ литературное обращеніе вошло множество разнообразныхъ и существенно важныхъ вопросовъ внутренней жизни, и въ этомъ періодѣ совершилось также наиболѣе плодотворное развитіе этнографической науки. Рядомъ съ успѣхами историческихъ изысканій вообще, никогда прежде не было посвящено столько вниманія разъясненію исторической судьбы собственно народа и описанію его современнаго состоянія. Правда, и до сихъ поръ народъ еще остается „сфинксомъ“, какъ сознавался однажды Тургеневу Ив. Аксаковъ, но наука уже начинаетъ отгадывать его загадки... Укрѣпленная больше чѣмъ когда-нибудь прежде изученіемъ прошлаго и настоящаго положенія народа, и вмѣстѣ ревностно слѣдя за открытіями европейскихъ изыскателей, наша этнографическая наука впервые пріобрѣтаетъ обширный запасъ разнообразныхъ данныхъ и становится на твердую почву метода.

Таковы были успѣхи нашего историческаго знанія за послѣднія двадцать-пять лѣтъ. Въ немъ еще слишкомъ много едва начатаго, недодѣланнаго; много фактовъ остается собирать, критикѣ много дѣла надъ ихъ правильнымъ анализомъ, — тѣмъ не менѣе, оно и теперь дало богатый запасъ свѣдѣній, особливо сравнительно съ прежнимъ. Многіе, и важные, періоды и явленія нашей исторіи положительно впервые вошли въ историческую книгу, т.-е. русская научная и общественная мысль впервые знакомилась нѣсколько полно съ прошедшимъ, могла отдавать себѣ отчетъ въ смыслѣ собственной исторической жизни. Правда, много остается еще труда впереди: общее поло-

женіе науки, полу-признаваемой, не обезпеченной отъ всякихъ случайностей, связано конечно съ непривычкой къ свободной критикѣ въ самомъ обществѣ, и поученія исторіи слишкомъ часто остаются безплодны.

Съ тѣмъ или другимъ пониманіемъ исторіи соединяются обыкновенно различные взгляды на современное положеніе вещей, и наоборотъ, на исторіографію распространяется дѣленіе общественныхъ партій. Реакціонное направленіе, которое по разнымъ причинамъ теперь особенно распространилось, изъ вражды къ просвѣщенію повторяетъ по своему старыя нападенія на западъ и на Петровскую реформу — предпочтеніе старины новымъ временамъ считается признакомъ „самобытнаго“ національнаго взгляда; инымъ защитой національнаго достоинства казалось даже отрицаніе норманскаго происхожденія варяговъ. Исканіе идеаловъ позади исторіи совпадаетъ всего чаще съ современнымъ обскурантизмомъ, но, какъ и естественно, подобная точка зрѣнія до сихъ поръ не могла создать ни одного цѣльнаго произведенія, чтобы научнымъ образомъ доказать свои положенія на цѣломъ пространствѣ русской исторіи.

Если мы будемъ искать основныхъ чертъ, отличающихъ исторіографію послѣднихъ десятилѣтій, то кромѣ общаго умноженія научныхъ средствъ предмета, можно указать двѣ особенности.

Это, во-первыхъ, распространеніе реальнаго историческаго метода. Продолжались, правда, и теперь отвлеченные, или просто фантастическіе, толки объ особенномъ „духѣ“ русскаго народа, объ его провиденціальномъ предназначеніи, и т. п., но въ научной сторонѣ дѣла все болѣе распространяется пріемъ реальной критики—отъ археологическихъ изысканій о древностяхъ русской территоріи, антропологическихъ соображеній о происхожденіи и свойствахъ племени, отъ опредѣленія вліяній почвы и климата, земледѣльческаго труда и промысла, до изслѣдованій объ условіяхъ историческихъ, окружавшихъ развитіе народа и государства, о складѣ экономической жизни, объ источникахъ народнаго міровоззрѣнія и поэзіи, и т. д. Во всѣхъ этихъ изслѣдованіяхъ все больше усиливается стремленіе къ прочному установленію жизненнаго факта, къ всестороннему объясненію его источниковъ и послѣдствій,—единственный способъ, которымъ можетъ быть достигаемъ правильный историческій выводъ.

Другую отличительную черту новѣйшей исторіографіи, по содержанію, составляетъ усиленный интересъ къ явленіямъ внутренней жизни общества, и особенно къ жизни народной. Какъ мы уже замѣчали, судьба „народа“—въ спеціальномъ смыслѣ народныхъ массъ, главной основы племени, трудового крестьянства—никогда прежде не бывала предметомъ такого вниманія, какъ именно теперь. Источ-

никъ этого вниманія былъ частію общественный, но также и чисто научный: не только въ общественномъ смыслѣ можно было желать разъясненія судьбы милліоновъ народа, впервые вступавшихъ въ среду гражданскаго общества, желать воспользоваться и знаніемъ прошлаго для лучшаго опредѣленія его современнаго положенія, идеаловъ и потребностей; но и въ смыслѣ научномъ было необходимо изучить, наконецъ, эту забытую сторону исторіи, эту этнологическую основу, силами которой совершалось историческое движеніе. Эти два мотива дѣйствовали несходно, какъ потребность нравственная и потребность научная: одинъ легко велъ къ идеализаціи, къ теоретическимъ преувеличеніямъ предполагаемаго отвлеченнаго содержанія народности и ея бытовыхъ формъ; другой заставлялъ искать строгихъ фактовъ и практическихъ данныхъ. Мотивы не всегда были разъединены, напротивъ, соединялись нерѣдко, въ разныхъ степеняхъ, въ одномъ писателѣ, и общественный идеализмъ производилъ тогда особенное дѣйствіе, и вызывалъ къ дальнѣйшему изслѣдованію человѣчныхъ и возвышенныхъ сторонъ народности (напр. Герценъ —въ сочиненіяхъ, имѣющихъ отношеніе къ этому вопросу; Конст. Аксаковъ; Костомаровъ; въ этнографіи особливо Буслаевъ и др.), —хотя бы эти труды иногда не вполнѣ отвѣчали требованіямъ исторической критики. Вообще, обѣ точки зрѣнія часто дѣйствовали параллельно, дополняя и поправляя другъ друга; но распространяющееся господство реальнаго критическаго метода все болѣе удаляетъ изъ исторіографіи идеалистическій произволъ. Историческое изученіе народа и народности все усложняется вступленіемъ въ него различныхъ частныхъ изслѣдованій—историко-юридическихъ, экономическихъ, соціально-бытовыхъ, этнографическихъ и пр.; вмѣстѣ съ тѣмъ, самая задача опредѣляется все строже.—Въ послѣдніе годы, среди общественной неурядицы средній уровень литературнаго пониманія положительно понизился; но трудно думать, чтобы научныя пріобрѣтенія послѣднихъ десятилѣтій остались надолго бездѣйственными и не внесли, наконецъ, болѣе разумнаго и высокаго пониманія исторіи и народа.

ГЛАВА VII.

Константинъ Аксаковъ: труды по русской исторіи и этнографіи.

Константинъ Аксаковъ не былъ этнографомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, но его имя не можетъ отсутствовать въ исторіи русской этнографіи, которая должна обнять и труды, предпринятые для объясненія народности, ея исторической судьбы и нравственно-бытоваго содержанія. Изъ всего славянофильскаго круга онъ особенно ставилъ эти вопросы и объяснялъ ихъ въ духѣ школы; кромѣ того онъ предпринималъ изслѣдованія русскаго языка и частію народной поэзіи. Послѣднее онъ совершалъ мимо Гриммовой теоріи, вводившейся у насъ г. Буслаевымъ, и ставилъ объясненіе древняго эпоса на почву нравственно-бытового и символическаго толкованія. Въ вопросахъ собственной исторіи заслуга его была немаловажна какъ настойчивое указаніе на особенности русскаго быта, возбуждавшее къ новымъ изслѣдованіямъ; толкованія этнографическія, исходившія изъ предвзятой мысли и недоказанныя, не имѣли научнаго значенія, но тѣмъ не менѣе имѣли довольно обширное вліяніе. Аксаковъ принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ лицъ въ нашей новѣйшей литературѣ, на долю которыхъ достаются не только горячія восхваленія въ своемъ лагерѣ, но и болѣе или менѣе теплое сочувствіе людей другихъ направленій. Причина этого заключается, однако, не столько въ содержаніи его идей, сколько въ личныхъ свойствахъ его дѣятельности: у насъ, къ сожалѣнію, не часто встрѣчается ни такая беззавѣтная убѣжденность, ни такая правдивость, которыя въ свое время умѣряли даже его крайнихъ литературныхъ противниковъ. Было и другое обстоятельство, которое закрѣпило за нимъ сочувственное отношеніе и друзей, и враговъ. Онъ умеръ сравнительно молодымъ, въ полномъ развитіи силъ—въ такое время, когда едва только выступалъ на сцену

тотъ новый порядокъ вещей, которому суждено было произвести столько добра, и столько смуты въ жизни общества и народа. Аксакову не привелось дѣйствовать въ тотъ послѣдующій періодъ времени, когда реформы, а потомъ реакція, вовлекали и людей его партіи въ явныя противорѣчія съ принципами школы, и съ самими собой: онъ остался представителемъ того, такъ сказать, юношескаго идеализма, какимъ жила русская литература въ прежнія времена, и которому еще не приходилось выступать изъ міра теорій и мечтаній и сталкиваться лицомъ къ лицу съ жестокой или дикой дѣйствительностью. Печать этого идеализма лежитъ на всѣхъ произведеніяхъ К. Аксакова и сглаживаетъ въ значительной степени впечатлѣніе тѣхъ противорѣчій, которыми отличается все ученіе, и которыя къ нашему времени достигли до такихъ рѣзкихъ и антипатичныхъ проявленій.

Мы не имѣемъ въ виду ни біографіи, ни полнаго разбора сочиненій Аксакова [1]). Мы хотѣли указать только главныя черты его историческихъ взглядовъ, которые играли немалую роль въ развитіи

---

[1]) Подробная біографія К. Аксакова, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не написана. Отдѣльныя біографическія свѣдѣнія и некрологи находятся въ слѣдующихъ изданіяхъ:

— „Русская Бесѣда“, 1860, кн. II, прил., ст. Погодина (нѣсколько словъ некролога).

— „Русская Рѣчь“, 1861, № 3.

— „Соврем. Лѣтопись“ Русскаго Вѣстника, 1861, № 1, стр. 23.

— „Спб. Вѣдом.“, 1861, № 19, ст. Гильфердинга.

— „Литературныя Воспоминанія“, Панаева (первоначально въ „Современникѣ“ 1860—61). Спб. 1876, стр. 197 и далѣе.

— „О значеніи критическихъ трудовъ К. Аксакова по русской исторіи“, Н. Костомарова, Спб. 1861. (Изъ „Русскаго Слова“).

— Энциклопедическій Словарь, составленный русскими учеными и литераторами. Спб. 1861, т. II, стр. 392—393 (статья М. Михайлова и К. Бестужева-Рюмина).

— „Университетскія воспоминанія“ Г. Г. „День“, 1863, № 42.

— „Портретная Галлерея“, Мюнстера, т. 2. Спб. 1869.

— „Русскій Архивъ“, 1870, ст. 675, 678 („Воспоминанія о Герценѣ“, Свербѣева). 1875, вып. 1, стр. 69; вып. 11, стр. 373.

— „Былое и Думы“, т. 2, и „Дневникъ“ того-же автора (изд. 1875).

— „Иллюстрированная Недѣля“, 1875, № 50.

— „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, Спб. 1876. II, гл. VII—IX.

— „Русскій Архивъ“, 1878, вып. 2, стр. 131; вып. 5, стр. 61—64 (въ письмахъ Бодянскаго къ Шевыреву); вып. 6, стр. 206—210, 215, 269.

— „Русскій Архивъ“, 1880, т. II. стр. 241—330.

— Письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову. „Русь“, 1881, № 8.

— По поводу записки К. Аксакова, „Отголоски“, 1881, № 13.

— „Сборникъ русск. отдѣленія Акад. Наукъ“, 1883, т. XXXI (упоминанія объ Аксаковыхъ въ письмахъ Погодина къ Максимовичу), и друг.

— Наиболѣе обстоятельная біографія въ „Критико-біографическомъ Словарѣ“, Венгерова, т. I, стр, 201—318. Тамъ же подробный списокъ сочиненій.

славянофильскаго ученія и частію вошли въ новѣйшую „народническую“ школу.

К. Аксаковъ (1817—1860) родился въ довольно богатой помѣщичьей семьѣ и съ дѣтства, въ деревенской жизни, встрѣчался съ тѣми впечатлѣніями народности, какія давала въ то время подобная обстановка. Наперекоръ тому, что̀ такъ упорно повторяла впослѣдствіи школа объ окончательной и роковой оторванности высшихъ классовъ отъ народа и отъ источниковъ русскаго духа, оказывалось, что самъ К. Аксаковъ, родившійся въ средѣ высшаго класса, не былъ оторванъ отъ этихъ источниковъ народнаго духа и впослѣдствіи могъ ссылаться на живыя народныя преданія, запечатлѣвшіяся въ его памяти съ дѣтства, и которыя были прямымъ свидѣтельствомъ, что „оторванность“ имѣла по крайней мѣрѣ прекрасныя исключенія. Отецъ Аксакова, впослѣдствіи патріархъ славянофильской семьи и замѣчательный писатель, самъ былъ другимъ живымъ доказательствомъ противъ этого. Послѣ появленія его охотницкихъ разсказовъ и „Семейной Хроники“ онъ былъ, какъ извѣстно, прославленъ какъ великій знатокъ русской жизни; между тѣмъ вся прежняя его дѣятельность шла въ полномъ разгарѣ старыхъ направленій, которыя обыкновенно сурово осуждались славянофильствомъ какъ фальшивыя и рабскія копіи европейскихъ образцовъ. С. Т. Аксаковъ былъ романтикъ въ старомъ вкусѣ, впослѣдствіи, между прочимъ, великій поклонникъ Пушкина, что̀ иногда не совсѣмъ совпадало съ тенденціями юнаго славянофильскаго поколѣнія, которое не всегда жаловало Пушкина. Его старинный романтизмъ не помѣшалъ ему позднѣе нарисовать прекрасныя картины русскаго быта, какъ только онъ взглянулъ на дѣло безъ притязаній, но съ тѣмъ реализмомъ наблюденія, къ какому именно и стремилась русская литература, проходя различные опыты въ свои „учебные годы“.

Въ тридцатыхъ годахъ К. Аксаковъ поступилъ въ московскій университетъ по „словесному отдѣленію“ и тогда же примкнулъ, какъ младшій сочленъ, къ кружку Станкевича. Аксаковъ былъ въ это время въ тѣсной дружбѣ съ Бѣлинскимъ; и какъ цѣлый кружокъ, такъ и К. Аксаковъ, былъ тогда весь погруженъ въ Гегелевскую философію. Къ ней присоединялся уже съ тѣхъ поръ особый московскій патріотизмъ, который въ ту пору не составлялъ, однако, его исключительной особенности: но когда у другихъ этотъ мѣстный патріотизмъ былъ дѣломъ юношеской восторженности и позднѣе заслоненъ болѣе разнообразными теченіями мысли; у Аксакова, оставшагося въ условіяхъ нѣсколько односторонней обстановки, онъ все болѣе развивался, былъ возведенъ въ квадратъ и сталъ непререкаемымъ принципомъ. Весьма естественно, что этотъ исключительный московскій патріо-

тизмъ получилъ и философскую подкладку: Москва являлась олицетвореніемъ народнаго духа, и вѣровать въ ея провиденціальную роль значило именно уразумѣть самую сущность національнаго начала. Отношенія съ Бѣлинскимъ удержались недолго; начавшіяся столкновенія привели наконецъ къ полному разрыву, и Аксаковъ окончательно и страстно отдался направленію, гдѣ всего больше пищи находилъ его народническій идеализмъ. Славянофильство въ началѣ сороковыхъ годовъ еще только складывалось. Такъ въ это время оно еще не достаточно выдѣлило себя отъ сосѣдней точки зрѣнія, именно оффиціальной народности, которую тогда представлялъ между прочимъ „Москвитянинъ". Въ первыхъ отношеніяхъ съ противной партіей, это обстоятельство имѣло немалую роль, такъ какъ „Москвитянинъ" могъ представлять гораздо болѣе основаній для антипатіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ первыхъ поръ развивалась въ славянофильствѣ крайняя нетерпимость: оба кружка, „западный" и славянофильскій, были оазисами въ тогдашней пустынѣ общественной мысли; они чувствовали себя носителями будущаго развитія, и славянофильство, въ самой основѣ котораго была доля мистицизма, тѣмъ болѣе пріобрѣтало сектаторскій фанатизмъ.

Любопытныя подробности объ этой первой порѣ славянофильства доставляетъ изданный въ 1875 и мало у насъ извѣстный дневникъ Герцена (за 1842—45 годы), въ то время еще близкаго съ этимъ кругомъ. Именно въ это время отношенія двухъ лагерей, сначала мирныя, все болѣе обостряются, и полный разрывъ можно было предвидѣть. Въ концѣ 1842 г., авторъ „Дневника" жалуется уже, что людямъ его круга приходится защищать возможность существованія своихъ мнѣній не только отъ внѣшняго притѣсненія, но и отъ самой литературы, а именно, отъ славянофильства. „Славянофильство,—пишетъ онъ въ ноябрѣ 1842,—приноситъ ежедневно пышные плоды; открытая ненависть къ Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развитія рода человѣческаго, ибо Западъ, какъ преемникъ древняго міра, какъ результатъ всего движенія и всѣхъ движеній,—все прошлое и настоящее человѣчество (ибо не ариѳметическая цифра, счетъ племенъ или людей — человѣчество). Вмѣстѣ съ ненавистью и пренебреженіемъ къ Западу—ненависть и пренебреженіе къ свободѣ мысли, къ праву, ко всѣмъ гарантіямъ, ко всей цивилизаціи. Такимъ образомъ, славянофилы само собою становятся со стороны внѣшняго давленія... Нѣтъ настолько образованныхъ шпіоновъ, чтобъ указывать всякую мысль, сказанную изъ свободной души, чтобъ понимать въ ученой статьѣ направленіе и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляли, потому что отъ Булгарина нечего ждать другого, но доносы „Москвитянина" повергаютъ въ тоску. Булгаринъ работаетъ изъ одного гроша, а эти господа? Изъ убѣжденія! Каково же убѣжденіе, дозволяющее прямо дѣлать доносы на лица, подвергая ихъ всѣмъ бѣдствіямъ"... „То, что въ „Отеч. Зап." печатается,—замѣчаетъ онъ дальше,—то здѣсь страшно говорить при многихъ. Слава Петру, отрекшемуся отъ Москвы! Онъ видѣлъ въ ней зимующіе корни узкой народности, которая будетъ противодѣйствовать европеизму и ста-

раться снова отторгнуть Русь отъ человѣчества". Какъ видимъ, авторъ причисляетъ здѣсь „Москвитянина" къ славянофиламъ.

Источникъ этого броженія авторъ „Дневника" видѣлъ въ начинавшемся сознаніи тяжелой дѣйствительности, и въ стремленіи лучшихъ людей къ выходу, къ примиренію въ какомъ-нибудь высшемъ началѣ, хотя бы наконецъ въ самообольщеніи. „Когда народъ ощущаетъ одинъ темный трепетъ призванія, одно броженіе чего-то неяснаго, но влекущаго его въ сферу шири, тогда мыслящіе, не имѣя общей связи, начинаютъ метаться во всѣ стороны. Страшное сознаніе гнусной дѣйствительности, борьбы, заставляетъ искать примиренія во что бы ни стало, примиренія во всякой нелѣпости, себя-обольщенія—лишь бы была дѣйствительность мысли, лишь бы оторваться отъ дѣйствительности и найти причину, почему она такъ гадка. Вотъ причина этого множества партій, самыхъ непонятныхъ, въ Москвѣ".

Авторъ „Дневника" особенно высоко ставилъ въ этомъ кружкѣ Петра Кирѣевскаго, роль котораго въ выработкѣ ученія до сихъ поръ недостаточно опредѣлена и была, повидимому, значительнѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Авторъ „Дневника" уже въ первыхъ сороковыхъ годахъ любопытнымъ образомъ предвидѣлъ крайніе выводы славянофильства. Петръ Кирѣевскій также, конечно, дѣлилъ тѣсную вѣроисповѣдную точку зрѣнія, отвергалъ совершенно западное христіанство, не признавалъ движенія исторіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, наконецъ, въ виду фактовъ считалъ ненормальнымъ состояніе самой восточной церковности—положеніе, впослѣдствіи развитое (больше, впрочемъ, въ заграничной печати) Хомяковымъ и Самаринымъ. По словамъ автора „Дневника", „исторія, какъ движеніе человѣчества къ освобожденію и себяпознанію, къ сознательному дѣянію, для нихъ не существуетъ; ихъ взглядъ на исторію приближается ко взгляду скептицизма и матеріализма съ противоположной стороны. Вся жизнь человѣчества—болѣзненное, абнормальное явленіе".

Упомянувъ объ этомъ критическомъ отношеніи Петра Кирѣевскаго къ современной восточной церкви, авторъ „Дневника" замѣчаетъ: „Неужели христіанство, вначалѣ имѣвшее 12 апостоловъ, черезъ 1800 лѣтъ оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую-то подъ спудомъ хранящуюся истину въ церкви, живущей по ихъ сознанію во лжи? Дѣятельность и стремительное движеніе европейское они называютъ мелочной хлопотливостью и находятъ единымъ идеаломъ квіэтическое спокойствіе какой-то созерцательной жизни на индійскій манеръ... Внутренній страхъ, что ихъ мысль не признана, дѣлаетъ ихъ фанатически нетерпимыми; въ нихъ, какъ во всѣхъ фанатикахъ, недостаетъ любви. Они на Западъ смотрятъ съ ненавистью. Это также пошло и нелѣпо, какъ воображать, что все наше національное грустно и отвратительно. Оттого, что Руси обще-человѣческое начало прививать неестественно, насильственно, они ополчились противъ общечеловѣческой цивилизаціи Европы, считая ее однимъ блескомъ пустымъ и ложнымъ. Присутствуя при прививкѣ формъ, они проглядѣли, что долго на родной почвѣ въ этихъ формахъ обитала прекрасная сущность".

К. Аксаковъ въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ еще остается „полу-гегеліанцемъ, полу-православнымъ", у котораго есть общая почва съ западниками въ пріемахъ разсужденія и въ общихъ положеніяхъ; но со второй половины сороковыхъ годовъ онъ уже ничѣмъ не отдѣляется отъ остальныхъ членовъ славянофильскаго кружка.

Характеристическимъ выраженіемъ этой переходной эпохи служитъ диссертація К. Аксакова о Ломоносовѣ (1846). Въ тогдашнемъ ученомъ вкусѣ, изслѣдованіе предмета литературнаго и филологическаго поставлено здѣсь на гегеліанскую подкладку. Вопросъ о Ломоносовѣ, поставленный въ параллель съ вопросомъ о Петрѣ, понимается въ философско-историческомъ смыслѣ; то и другое лицо является олицетвореніемъ „историческаго момента". Зная позднѣйшіе труды К. Аксакова, почти съ недоумѣніемъ встрѣчаешь въ этой книгѣ его сужденія о московскомъ царствѣ и о Петровской реформѣ: Петръ не только не является, какъ впослѣдствіи, человѣкомъ, который съ деспотическимъ произволомъ попираетъ святыню русской народности, но, напротивъ, является необходимою силою въ дѣлѣ ея развитія; онъ есть необходимое отрицаніе той національной исключительности, въ которой старое московское царство дошло до послѣдняго предѣла и гдѣ предстояла или гибель, или выходъ изъ нея путемъ отрицанія. Въ книгѣ Аксакова явилось уже, правда, то высокое полу-мистическое представленіе о значеніи Москвы, которое впослѣдствіи стало у него исключительнымъ, но оно все еще остается въ историческихъ предѣлахъ, и московская старина считается односторонностью [1]).

Въ томъ же 1846 году появился первый „Московскій Сборникъ", начало славянофильскихъ изданій, и Аксаковъ принялъ въ нихъ самое дѣятельное участіе. Съ тѣхъ поръ онъ работалъ въ особенности надъ развитіемъ историческихъ воззрѣній школы. Труды его были довольно разнообразны: онъ дѣлалъ беллетристическія попытки, въ трехъ драматическихъ пьесахъ; много работалъ надъ русской грамматикой; написалъ рядъ критическихъ статей и публицистическихъ трактатовъ и, наконецъ, рядъ историческихъ изслѣдованій. Мы коснемся только тѣхъ его трудовъ, гдѣ особенно рельефно выразились его взгляды на русскую народность, исторію и современную общественность.

Основныя историческія положенія Аксакова извѣстны. Довольно напомнить—отрицаніе теоріи родового быта, выставленной Соловьевымъ; утвержденіе объ общинномъ бытѣ древней Руси; совмѣстное

---

[1]) Съ диссертаціей К. Аксакова случилась какая-то цензурная исторія. Книга вышла въ свѣтъ съ перепечатанными стр. 57—60, гдѣ вмѣсто первоначальнаго текста (возстановленнаго теперь въ новомъ изданіи диссертаціи въ „Сочиненіяхъ", т. II, стр. 66—70), помѣщено не совсѣмъ кстати изложеніе преданій объ Ильѣ Муромцѣ, тогда какъ въ первоначальномъ текстѣ продолжалось разсужденіе о значеніи Петровской реформы и о необходимости новаго поворота къ національному направленію; это разсужденіе видимо и было поводомъ къ цензурной строгости. Сюда относится письмо Бодянскаго къ Шевыреву, напечатанное въ „Русскомъ Архивѣ", 1878.

существованіе, право и дѣятельность земли и государства и любовное ихъ отношеніе; указаніе на земскіе соборы, какъ основную черту участія земли въ государственномъ дѣлѣ; нежеланіе русскаго народа „государствовать"; искаженіе русской жизни реформой Петра; осужденіе „петербургскаго періода", какъ противонароднаго порабощенія русской жизни европейскимъ идеямъ и порядкамъ; необходимость возвращенія къ старымъ русскимъ началамъ; великое народное значеніе Москвы.

Въ извѣстной статьѣ о значеніи историческихъ трудовъ К. Аксакова, Костомаровъ указывалъ его основную и великую заслугу въ томъ, что онъ былъ въ нашей исторической наукѣ представителемъ „русскаго воззрѣнія", и въ объясненіе проводилъ антитезъ двухъ русскихъ народностей—одной, подлинной и первобытной народности огромной массы русскаго народа, долго забытой и пренебрегаемой, и другой — названной у него „народностью Евгенія Онѣгина", народности высшаго общества, послѣ Петровской реформы забывшаго о русскомъ народѣ. Подъ вліяніемъ послѣдней, и именно въ рабскомъ подчиненіи нѣмецкой наукѣ шла, по словамъ Костомарова, и разработка русской исторіи, вслѣдствіе чего въ ней оставалась непонятой самая сущность русскаго историческаго развитія; и заслуга К. Аксакова состояла именно въ отверженіи чужой точки зрѣнія и въ примѣненіи того „русскаго воззрѣнія", которое смотрѣло на исторію въ смыслѣ русской жизни и народности. Но дальше оказывалось по мнѣнію самого Костомарова, что „русское воззрѣніе" этихъ цѣлей не достигало: историческія объясненія К. Аксакова не вполнѣ удовлетворяли критика, казались ему слишкомъ общими и поспѣшными. Какъ же быть съ этимъ „русскимъ воззрѣніемъ"?

Дѣло въ томъ, что все это противоположеніе Константина Аксакова съ другими нашими историками покоится на недоразумѣніи. Что славянофилы выставляли „русскія начала" на своемъ знамени, изъ этого еще не слѣдовало, чтобы ихъ предшественники или противники въ самомъ дѣлѣ были не русскіе. Ихъ предшественники, говорятъ намъ, были подъ вліяніемъ не-русской — нѣмецкой науки; но изъ исторіи самого славянофильства достаточно видно, что славянофилы самый складъ своей мысли черпали изъ той же не-русской науки. Было бы исторической ошибкой и неблагодарностью къ прежнимъ дѣятелямъ русскаго просвѣщенія забыть, что тѣ же стремленія уразумѣть русскую жизнь высказывались ими, въ понятіяхъ своего вѣка, задолго до тѣхъ, кто хотѣлъ присвоивать себѣ исключительную привилегію на „русское чувство" и на любовь къ народу. Если что-нибудь значатъ имена Ломоносова, Новикова, Радищева, Грибоѣдова,

Пушкина, Гоголя,—они означаютъ исторію этой мысли о русскомъ народѣ и о защитѣ его достоинства.

Обращаясь собственно къ толкованію русской исторіи, гдѣ же, какъ не у европейской науки, мы научились самымъ пріемамъ историческаго изслѣдованія? Можно ли выбросить изъ прошлаго нашей исторіографіи имена Шлёцера, Стриттера, Миллера, Круга, Лерберга, Френа, Эверса? Были случаи, что у иныхъ изъ этихъ нѣмцевъ высказались кое-гдѣ нѣмецкое самодовольство и задоръ, некстати внесенный въ науку; это было нелѣпо, но столь же нелѣпо изъ-за этого отвергать сущность сдѣланнаго ими дѣла. Если они не видѣли многихъ сторонъ русской исторіи, и именно народной стороны, то въ тѣ времена вообще не видѣли этой стороны не у насъ однихъ: французы—во французской исторіи и нѣмцы—въ нѣмецкой. Вниманіе къ народной стихіи въ исторіи было результатомъ развитія самóй науки; и у насъ роль народной стихіи, безъ сомнѣнія, была бы объяснена раньше, если бы этому не мѣшали слишкомъ повелительныя внѣшнія препятствія: мысль о народѣ бродила давно въ русской литературѣ; она занимала еще Болтина. Въ пятидесятыхъ годахъ, послѣ Карамзина, Погодина, послѣ первыхъ трудовъ Соловьева, послѣ изданій Археографической коммиссіи, не трудно было вновь вчитываться въ лѣтописи и другіе памятники русской старины,—но справедливо ли бросать камень въ старыхъ тружениковъ, впервые расчищавшихъ почву науки, за то, что они еще не затронули вопросовъ, къ которымъ могла придти только послѣдующая эпоха нашей исторіографіи, бросать въ нихъ кличкой „рабскаго подчиненія не-русской наукѣ“ и т. п.? К. Аксакову ставятъ въ особую заслугу болѣе вѣрное объясненіе древнихъ формъ нашего быта; но кто первый поднялъ вопросъ объ этихъ формахъ? Нѣмецкій ученый Эверсъ. Откуда понята была важность самаго изученія бытовыхъ формъ, налагающихъ печать на развитіе народной исторіи? Изъ европейской, а у насъ особенно изъ нѣмецкой, науки.

Указавъ, сколько въ мнѣніяхъ К. Аксакова сдѣлано дѣйствительныхъ пріобрѣтеній для нашей исторіи и чтó въ нихъ есть ошибочнаго и преувеличеннаго, Костомаровъ объяснялъ ошибки Аксакова его крайнимъ идеализмомъ. Мысль объ элементѣ „Земли“, противоположномъ элементу „Государства“, такъ имъ овладѣла, чтó онъ сталъ притягивать къ ней факты, забывая обо всемъ, чтó къ ней не совсѣмъ подходило, а впослѣдствіи построилъ на томъ же и свое представленіе о современномъ положеніи Россіи. Костомаровъ указывалъ, какъ непрочна эта теорія относительно среднихъ вѣковъ нашей исторіи, какъ ошибочно было считать добровольнымъ и любовнымъ присоединеніе русскихъ земель къ Москвѣ, какъ преувеличено было

мнѣніе К. Аксакова о значеніи земскихъ соборовъ и т. д. Факты были гораздо болѣе сложны, чѣмъ желала теорія, и чѣмъ дальше идетъ ихъ изученіе теперь, тѣмъ все меньше становится возможнымъ признавать эту теорію.

Петровская реформа, которую Аксаковъ все еще признавалъ нѣкогда какъ исторически необходимую реакцію противъ національной исключительности, теперь отвергается имъ безусловно, и его идеалистической теоріи ничего не стоитъ считать двѣсти лѣтъ исторіи огромнаго народа ошибкой, которую слѣдуетъ, и будто бы возможно, просто вычеркнуть изъ его судьбы. По его простодушному мнѣнію, Петербургу слѣдовало бы провалиться сквозь землю со всѣми его дѣлами, т.-е. со всѣми пріобрѣтеніями русской жизни со времени Петровской реформы,—хотя въ то же время и онъ не отказывался гордиться громаднымъ развитіемъ русскаго народа, которое могло совершиться въ большой степени только благодаря средствамъ, даннымъ этою реформой. Костомаровъ отмѣтилъ еще одну черту историческихъ взглядовъ К. Аксакова, составляющую, впрочемъ, общую отличительную черту московскаго славянофильства, именно особый московскій патріотизмъ. Источниками его служатъ двѣ вещи: во-первыхъ, фальшивое историческое понятіе о прошломъ значеніи Москвы, и затѣмъ новѣйшій провинціализмъ, раздражаемый воспоминаніями о старомъ значеніи Москвы, какъ столицы. Нечего говорить, какъ странно вообще отождествленіе громаднаго народа съ судьбой и характеромъ какого-нибудь одного города; еще страннѣе это отождествленіе, когда исторія этого народа въ теченіе уже двухъ сотъ лѣтъ идетъ внѣ тѣхъ мѣстныхъ вліяній, какія представляла старая столица. Эта московская исключительность существенно повредила историческимъ взглядамъ Аксакова: вмѣсто русскихъ дѣйствительныхъ началъ онъ являлся проповѣдникомъ началъ старо-московскихъ.

Костомаровъ не принадлежалъ вовсе къ тому лагерю, гдѣ могло быть унаслѣдовано враждебное отношеніе къ теоріямъ К. Аксакова; напротивъ, Костомаровъ являлся его апологетомъ и однако разошелся съ Аксаковымъ по самымъ основнымъ положеніямъ. Приведемъ еще отзывы, опять изъ совсѣмъ иного круга, по поводу записки Аксакова „о внутреннемъ состояніи Россіи“, представленной имп. Александру II въ 1855, черезъ Блудова, и изданной въ „Руси“ Ив. Аксакова въ 1881. Замѣчанія появились въ „Отголоскахъ“, издававшихся Е. Карновичемъ въ направленіи, которое можно назвать скорѣе консервативно, чѣмъ либерально-бюрократическимъ. „Отголоски“ отнеслись къ самому факту представленія записки съ бюрократической точки зрѣнія, наставительно объясняя, что „нести слово правды“ къ царямъ—подвигъ вовсе не столь легкій, какъ нѣкоторымъ представ-

ляется; но затѣмъ въ статьѣ „Отголосковъ" находились весьма дѣльныя возраженія противъ исторической теоріи, которая повторена была въ этой запискѣ К. Аксакова.

Остановившись на мнѣніи Аксакова, что русскій народъ есть народъ не-государственный, не желающій для себя политическихъ правъ и т. д., авторъ „Отголосковъ" находитъ, что можно было бы не оспаривать этого мнѣнія, еслибы оно относилось къ настоящему, но совершенно отвергаетъ историческія ссылки К. Аксакова. Первые вѣка нашей исторіи именно опровергаютъ мнимую не-государственность русскаго народа; въ теченіе всего періода удѣловъ народъ принималъ самое дѣятельное участіе въ государственныхъ дѣлахъ, сажалъ и удалялъ князей, создавалъ чисто республиканскія формы, какъ въ Новгородѣ и на всемъ сѣверѣ Россіи до Перми, а позднѣе произвелъ козачество, стремившееся къ настоящей политической независимости. Русскій народъ принадлежитъ къ племени, которое вообще создало много различныхъ формъ государственнаго устройства: поляки создали республику аристократическую; новгородцы—торговую; малоруссы — военную; черногорцы имѣли еще недавно теократическую; у сербовъ и болгаръ сложились въ наше время конституціонныя монархіи. Москва, уже въ серединѣ нашей исторіи, создала новую форму, самодержавіе, и только съ тѣхъ поръ наша государственность развивалась безъ всякаго участія народа въ политическихъ дѣлахъ. Аксаковъ и славянофилы мечтали о присоединеніи къ Россіи славянства или главенствѣ ея надъ славянскимъ міромъ, мечтали въ то же время объ отнятіи у турокъ Константинополя и ослабленіи Австріи, какъ противницы славянства; спрашивается, согласуются ли эти мечты съ собственными стремленіями „не-государственнаго" народа? Если согласуются, то русскій народъ никакъ не чуждъ политическаго властолюбія и славолюбія и притомъ даже въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; если, напротивъ, подобныя мечты ему вовсе не свойственны, то славянофилы-народники думаютъ въ совершенную противоположность тому, чтó они говорятъ, и тому, чтó думаетъ самъ русскій народъ, не вмѣшивающійся, по ихъ мнѣнію, ни въ какія политическія затѣи.

По поводу дѣленія старой русской жизни на двѣ стороны: государственную и земскую, критикъ замѣчаетъ, что это дѣленіе было совершенно произвольно и не отвѣчаетъ исторической дѣйствительности.

Петръ унаслѣдовалъ у Москвы готовую приказно-воеводскую систему, и если говорить о разрывѣ между властью и народомъ, то онъ произведенъ гораздо раньше закрѣпощеніемъ крестьянъ въ XVII столѣтіи, когда крестьяне величали своихъ господъ „государями"

и относились къ нимъ въ такихъ же униженныхъ выраженіяхъ, какъ къ самому царю. При всѣхъ этихъ условіяхъ едва ли могло существовать въ пользу народа то благодушіе, которое старается изобразить К. Аксаковъ. Дѣйствительно, уже тогда, *задолго до Петра*, народъ бѣжалъ изъ Россіи на вольныя окраины, на Уралъ и даже въ чуждую ему Литву. Вторженіе правительственной власти во всѣ условія и подробности народной жизни началось задолго до Петра Великаго; такъ, всѣ отрасли торговли были и прежде въ непосредственномъ вѣдѣніи правительства; у казны были на откупѣ: деготь, уголья, рогожи, проруби, бани, шлеи и хомуты; казна брала извѣстныя отрасли торговли въ свою исключительную монополію. Казна самовластно распоряжалась трудомъ рабочихъ людей: въ 1630, правительство потребовало на свою работу всѣхъ каменщиковъ, кирпичниковъ и гончаровъ; въ 1658—по двое изъ десяти портныхъ и скорняковъ; въ 1670—каменщиковъ, съ тѣмъ, что если они будутъ укрываться, то „женъ ихъ метать въ тюрьму". Памятники XVII вѣка, до Петра В., даютъ обильный рядъ свидѣтельствъ о притѣсненіяхъ отъ воеводъ, отъ неправедныхъ судовъ и отъ „московской волокиты". Критикъ приводитъ убѣдительные образчики, напримѣръ, о сборѣ податей: въ 1628 году, Андрей Образцовъ, собиравшій подати на Бѣлоозерѣ, доносилъ царю: „я правилъ твои государевы доходы нещадно—побивалъ на смерть". Вообще весь образъ дѣйствій старо-московской управы стремился къ тому, чтобъ закрѣпостить человѣка, привязать его къ безъисходному мѣстожительству и обратить его въ государственное „тягло". Петра укоряютъ за приказъ брить бороды, и считаютъ это недозволительнымъ нарушеніемъ народной свободы; но въ старой Россіи по тому же принципу за нюханіе табаку рѣзали носы, а за продажу табаку установлена была смертная казнь.

Аксаковъ утверждаетъ, что со времени Петровской реформы въ высшихъ классахъ, оторвавшихся отъ народа, подъ вліяніемъ западныхъ идей развивается стремленіе къ власти, начинаются революціонныя попытки и „престолъ россійскій дѣлается беззаконнымъ игралищемъ партій". Критикъ основательно замѣчаетъ, что дворцовые перевороты XVIII вѣка никакъ не могутъ быть приписаны вліянію запада и, напротивъ, носятъ на себѣ характеръ восточный; что К. Аксаковъ забылъ происки бояръ и служилыхъ людей въ смутное время, въ отношеніи къ польскому королю Сигизмунду и къ такъ-называемому „тушинскому вору"; что онъ забываетъ устраненіе отъ престола царя Ивана, власть царевны Софьи, злоумышленія противъ самого Петра; „историческія поученія въ такомъ смыслѣ были уже у насъ дома, а не заимствовались съ запада". Аксаковъ называетъ пугачевщину событіемъ петербургскаго періода; критикъ на-

поминаетъ о безпрестанныхъ народныхъ волненіяхъ въ до-Петровское время въ Москвѣ, во Псковѣ и въ Новгородѣ, куда воевода князь Хованскій ходилъ „вѣшать и пластать безъ сыска и очныхъ ставокъ"; напоминаетъ о бунтѣ Стеньки Разина, имѣвшемъ чисто-революціонный характеръ; о возстаніи противъ государевой власти Соловецкаго монастыря; о знаменитомъ бунтѣ коломенскомъ. Какъ дорого до-Петровскому правительству обходилось поддержаніе народнаго спокойствія, можно судить изъ того примѣра, что во время бунта Разина въ одномъ Арзамасѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ было казнено 11.000 человѣкъ, и правительство тѣхъ временъ вообще мало разсчитывало на „нравственный союзъ" съ управляемыми. Критикъ заключаетъ, что такое положеніе вещей вполнѣ могло наводить Петра на мысль о другомъ устройствѣ государственнаго порядка.

Приведенныя возраженія очень просты, но и очень вѣски. Подобные аргументы были приводимы и раньше противъ славянофильской теоріи, и вообще не были ею опровергнуты. Немудрено, что натянутая историческая теорія давала и натянутые практическіе выводы. Аксаковъ говорилъ, что вся неурядица нашей жизни будетъ примирена только возвращеніемъ къ старинѣ, и именно если не земскими соборами (въ „Запискѣ" онъ считаетъ созваніе ихъ невозможнымъ и требуетъ только въ „дополненіи"), то свободой общественнаго мнѣнія или печати (и относительно этого послѣдняго, его желанія въ „Запискѣ" очень умѣренны, а въ „дополненіи" уже настойчивы).

Но въ московской Руси довольно трудно отыскать ту „свободу духа" и „свободу мнѣнія", которую создавала фантазія К. Аксакова, потому что сами земскіе соборы были дѣломъ доброй воли правительства и случая, или простой административной формальностью; во-вторыхъ, московская Русь не имѣла ни малѣйшаго понятія о свободѣ печати. К. Аксаковъ, какъ и вся школа, рѣшительно возставалъ противъ всякой мысли объ измѣненіи общественно-политическихъ формъ, какъ противъ западной выдумки, смѣялся надъ „гарантіями" и т. п., и утверждалъ, что намъ нужно полное политическое status quo (т.-е. отсутствіе всякихъ политическихъ правъ) и —свобода печати, какъ будто свобода печати возможна безъ политической свободы лица, безъ свободы совѣсти и безъ извѣстной общественной автономіи.

Съ такимъ же отсутствіемъ исторической оцѣнки новѣйшаго времени составлялись литературныя сужденія К. Аксакова. Онъ относился къ новѣйшей литературѣ крайне несочувственно. Это было вообще рабское подчиненіе иноземному, служившее не народу, а только оторвавшемуся отъ него верхнему классу, пустая мода, безсодержа-

тельное препровожденіе времени. Какъ это началось въ XVIII вѣкѣ, такъ продолжалось въ XIX: направленія смѣнялись безъ всякаго внутренняго основанія, только потому, что мѣнялась мода на западѣ, внутри оставалось тоже отчужденіе отъ народа и таже безполезность. Такимъ образомъ, вся исторія усилій русскаго общества въ стремленіи къ просвѣщенію, въ концѣ которыхъ все-таки стояло благо русскаго народа и на которыя потрачено много искренняго чувства, умственнаго труда и настоящаго самоотверженія,—эта исторія превратилась въ глазахъ наблюдателя въ безразличную полосу безсодержательной суеты, для которой онъ нашелъ только квалификацію „лжи". Напрасны были всѣ изысканія историковъ общества и литературы, объяснявшія послѣдовательность явленій этого полуторавѣкового періода, отмѣчавшія, среди подражательности, постоянное усиленіе русскихъ элементовъ, какъ въ формѣ, такъ и въ содержаніи литературы, въ результатѣ котораго являлись, наконецъ, созданія высокаго художественнаго и вмѣстѣ уже національнаго значенія. Славянофильскій историкъ не хочетъ знать ничего этого. Но, какъ ни фальшива была эта литература, она создала одно явленіе, передъ которымъ самъ К. Аксаковъ преклонялся. Это былъ Гоголь. Увлеченіе имъ вѣроятно вынесено было Аксаковымъ еще изъ кружка Станкевича: но вполнѣ понятное тамъ, оно было у Аксакова страннымъ противорѣчіемъ. Для Бѣлинскаго Гоголь былъ именно послѣдовательно созрѣвшимъ результатомъ всѣхъ предшествовавшихъ стремленій литературы, чѣмъ и объясняется его высокая оцѣнка Гоголя; у Аксакова, которому прошедшее литературы представлялось рядомъ безразличныхъ фактовъ подражанія, не было этого объясненія. При появленіи „Мертвыхъ Душъ" онъ, какъ извѣстно, превзошелъ своимъ энтузіазмомъ самого Бѣлинскаго: онъ проводилъ серьезно параллель между Гоголемъ и Гомеромъ и видѣлъ въ поэмѣ Гоголя настоящую эпопею [1]). Это поклоненіе онъ сохранилъ навсегда, но появленіе и дѣятельность Гоголя остаются не мотивированными: Гоголь, при всемъ великомъ значеніи его дѣятельности, остается внѣ связи съ историческимъ ходомъ литературы. Въ изложеніи Аксакова, остается непонятно также и возникновеніе въ литературѣ тѣхъ стремленій къ народу, въ которыхъ самъ онъ замѣчалъ поворотъ къ лучшему. Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ этомъ безнадежномъ источникѣ

[1]) Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: „Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души". Сочиненіе Константина Аксакова. М. 1842. (Отзывъ Бѣлинскаго, въ „Отеч. Зап." 1842, кн. 8, или Сочин. Бѣл., т. VI, изд. 2, стр. 433—444. Отвѣтъ Аксакова въ „Москвитянинѣ", 1842, кн. 9; и вторая статья Бѣлинскаго, въ „Отеч. Зап.", кн. 11, или Сочин. VI, стр. 523—557. Отзывъ „Библіотеки для чтенія", 1842, сентябрь, Литер. Лѣтопись, стр. 12).

рабскаго подражанія западной „модѣ“ могли зародиться тѣ произведенія (Тургенева, Григоровича), которымъ самъ Аксаковъ не могъ не отдать своего сочувствія? Одно изъ двухъ: или въ этихъ писателяхъ совершился переворотъ, или же К. Аксаковъ не видѣлъ настоящаго характера ихъ дѣятельности. Но переворота не было: Тургеневъ и прежде и теперь былъ упорнымъ „западникомъ“; ему не нужно было мѣнять направленія, чтобы вслѣдъ за первыми юношескими опытами явиться авторомъ „Записокъ Охотника“: это произведеніе было новой ступенью не въ его, вообще „западническомъ“, міровоззрѣніи, а только ступенью въ развитіи его дарованія, и самъ онъ никогда особенно не сочувствовалъ славянофиламъ.

Свои мнѣнія о новой русской литературѣ К. Аксаковъ высказалъ въ извѣстныхъ статьяхъ во второмъ „Московскомъ Сборникѣ“ (1847 г.) подъ псевдонимомъ „Имрекъ“. Въ замѣткѣ къ этимъ статьямъ и въ самомъ изложеніи Москва уже противополагается Петербургу, точно другое государство: Петербургъ дѣлаетъ то-то, а Москва то-то; Петербургъ дѣлаетъ хуже, а Москва гораздо лучше; Петербургъ легкомысленъ, Москва серьезна; Петербургъ не русскій, Москва русская. Соотвѣтственно тому и литература дѣлится на два лагеря, и лагерь московскій изображается какъ представитель истинно-русскихъ началъ въ опроверженіе легкомысленной петербургской цивилизаціи и литературы. К. Аксаковъ довольно остроумно подсмѣивается надъ повѣстью кн. Одоевскаго: „Сиротинка“, героиня которой, взятая изъ деревни, воспитывается въ петербургскомъ дѣтскомъ пріютѣ и, вернувшись опять на родину, цивилизуетъ свою деревню—учитъ ребятишекъ грамотѣ, умываетъ ихъ и чешетъ, учитъ молиться и т. п., словомъ, преобразовываетъ ребятишекъ на удивленіе. Онъ зло подсмѣивается надъ вышедшей тогда книжкой Никитенка: „Опытъ исторіи русской литературы. Введеніе“; разбираетъ весьма справедливо первыя повѣсти Достоевскаго и т. д. Личныя антипатіи заострили его критику, которая нерѣдко удачно нападаетъ на слабыя стороны противниковъ; постоянное требованіе народной стихіи и изученія народной жизни прежде всего, очень симпатичны, но все-таки оставался невыясненнымъ существенный вопросъ — откуда же въ проклинаемой и осмѣиваемой имъ петербургской литературѣ взялось то настроеніе, которое продиктовало „Записки Охотника“ и другія произведенія, внушавшія сочувствіе самому славянофильскому критику, пробившія броню его явной вражды и недовѣрія? Онъ говоритъ „о прикосновеніи къ народу“, но откуда почувствовалась необходимость этого прикосновенія? Если бы критикъ нашелъ въ себѣ достаточно безпристрастія, онъ нашелъ бы путь къ болѣе вѣрному представленію всего положенія вещей. Къ сожалѣнію, безпристрастія

не нашлось, и съ сороковыхъ годовъ въ этомъ кружкѣ еще долго повторялись фразы о глубинахъ народнаго духа, открытыхъ славянофилами, о народной истинѣ, засѣвшей въ Москвѣ и т. п.

Московскій провинціализмъ, какъ мы замѣтили, высказался столько же и въ литературныхъ, сколько въ историческихъ понятіяхъ К. Аксакова. Разница Москвы и Петербурга во многихъ отношеніяхъ не подлежитъ сомнѣнію: въ тѣ самые годы она послужила темой для извѣстной остроумной параллели,—но это разница бытовая и разница мѣстныхъ преданій, а вовсе не національнаго существа. Въ Петербургѣ нѣтъ до-Петровскихъ преданій и памятниковъ и т. п., потому что онъ выстроенъ позднѣе; съ другой стороны, въ Москвѣ нѣтъ тѣхъ бытовыхъ особенностей, которыя необходимо возникали въ Петербургѣ вслѣдствіе присутствія двора, высшихъ правительственныхъ учрежденій, и т. д.; отъ этого присутствія правительства въ новой столицѣ (а также вслѣдствіе торговаго положенія ея на окраинѣ) въ ней всегда былъ сильнѣе притокъ иностранцевъ,—точно такъ же, какъ во времена до-Петровскія они собирались въ Москвѣ, гдѣ населили цѣлую „нѣмецкую слободу". Все это не могло не придать Петербургу иной физіономіи; но смѣшно было бы распространять эту разницу на сущность умственной политической жизни общества, совершающейся въ Петербургѣ или въ Москвѣ: и тамъ, и здѣсь шла одна русская жизнь, съ общими чертами вѣка и общественными стремленіями.

Какъ русская исторія, идеалистически построенная К. Аксаковымъ, не сходилась съ исторіей дѣйствительной, такъ въ общихъ опредѣленіяхъ, какія даетъ Аксаковъ русской народности, и въ практическихъ примѣненіяхъ его теорій мы постоянно встрѣчаемся съ противорѣчіями. Человѣкъ кабинетный, не выходившій изъ ближайшаго домашняго круга, не знавшій опытовъ жизни, отвыкшій встрѣчать противорѣчіе, онъ виталъ въ области теоретическихъ и поэтическихъ построеній, гдѣ, внѣ столкновеній съ дѣйствительностію, такъ легко создаются отрѣшенные отъ жизни идеалы. К. Аксаковъ дѣйствительно создалъ себѣ такіе идеалы въ русскомъ народѣ, въ его свойствахъ, въ его прошломъ, въ его будущемъ предназначеніи: на эти идеалы онъ положилъ все свое чувство, весь запасъ своихъ общественныхъ влеченій и инстинктовъ. Эти влеченія и инстинкты были глубоко благородны; ихъ цѣль была—достоинство народной жизни, свобода мысли и убѣжденія, нравственныя основы общественнаго быта. Этимъ идеаламъ К. Аксаковъ отдался со всей односторонностью теоретика и со всѣмъ фанатизмомъ аскета, удаленнаго отъ мірской суеты, а вмѣстѣ и мало знакомаго съ содержаніемъ этой суеты, составляющимъ, однако, человѣческую жизнь. Такіе люди

обыкновенно и не хотятъ знать жизни: оберегая какъ святыню свои идеалы, они сами удаляютъ факты и соображенія, которыя не сходятся съ любимыми мечтами,—но устраняемые факты, однако, продолжаютъ существовать.

Остановимся на нѣсколькихъ подробностяхъ. Что касается до тѣхъ практическихъ выводовъ изъ теоріи, у К. Аксакова и другихъ славянофиловъ, которыя ставились ихъ партизанами въ особую заслугу школы,—то нельзя не видѣть, что въ самыхъ существенныхъ пунктахъ этихъ примѣненій требованія школы не были чѣмъ-нибудь спеціально славянофильскимъ. Такова была вообще защита народнаго интереса. Въ крестьянскомъ вопросѣ, въ вопросѣ объ общинѣ, одинаково съ славянофилами говорили и люди совершенно иного направленія. Очевидно, что взгляды, благопріятные для народа, вовсе не были выработаны спеціально славянофилами, а были результатомъ развитія общественной мысли, а также и экономической науки, и частью высказывались просвѣщенными людьми стараго времени,—и утверждать, что славянофилы имѣли монополію этихъ понятій, значило забывать исторію. Подобнымъ образомъ не была спеціальной идеей школы защита бо́льшей свободы слова и печати—давняя мечта просвѣщеннѣйшихъ людей русскаго общества. Далѣе, то реальное, что̀ могло заключаться въ желаніи самодѣятельности „земли" рядомъ съ дѣятельностью „государства" (какъ сопоставлялъ ихъ К. Аксаковъ въ древней Руси, желая того же и въ новой), это опять была давняя мысль о мѣстной самодѣятельности, о какой-либо мѣрѣ общественной автономіи, и т. д.

Подобнымъ образомъ не могло быть спора по поводу другихъ общихъ положеній, какія высказывались К. Аксаковымъ и другими славянофилами—когда они, въ лучшія минуты, отрицали національную исключительность, говорили о благахъ просвѣщенія, о народномъ достоинствѣ. Но такъ какъ этихъ положеній нельзя было выставлять, безъ опасности впасть въ противорѣчіе, рядомъ съ возвеличеніемъ московской Россіи, то противорѣчіе и оказывалось. Самъ К. Аксаковъ (въ диссертаціи о Ломоносовѣ, и позднѣе) высказывается противъ національной исключительности, но на дѣлѣ рѣдко можно найти болѣе категорическую исключительность этого рода, чѣмъ та, съ какой онъ говоритъ о русскомъ народѣ (дальше укажемъ примѣры). Говоря о свободѣ научнаго изслѣдованія, стали, однако, прибавлять, что наука не должна выходить за предѣлы „народнаго духа", что она должна быть „національна" (т.-е. уже не свободна, такъ какъ дѣйствительная наука простирается на все, что̀ можетъ стать предметомъ анализа, не исключая самого народнаго духа). Далѣе, славянофилы провозглашали историческое и нравственное право народности,—но въ ихъ же

лагерѣ народное начало смѣнено было вѣроисповѣднымъ, и въ томъ же лагерѣ велась потомъ вражда противъ украинофильства, какъ она велась съ точки зрѣнія бюрократическаго консерватизма...

Въ одной изъ первыхъ статей, уже въ ясно славянофильскомъ направленіи („о современномъ литературномъ спорѣ", 1847), написанной по поводу начавшейся тогда полемики съ „западниками",—въ свое время запрещенной и напечатанной уже въ „Руси", К. Аксаковъ по поводу „возвращенія къ прошлому" объясняетъ, что это прошлое не прошло: „прошедшая Русь и теперь живетъ въ народѣ и хранится въ немъ",—такъ что славянофилы хотятъ возвращенія не къ тому, что̀ потеряло жизнь, а къ тому, что̀ еще продолжаетъ жить и теперь, и есть *настоящее*, только лишенное мѣста въ нашей общественной жизни. Это и есть настоящая Русь, „хранящая, спасительно для всей земли, тайну русской жизни и прямо примыкающая къ Руси прошедшей". К. Аксаковъ утверждаетъ, что „русскій крестьянинъ есть лучшій человѣкъ въ русской землѣ", и что присутствіе простого народа въ современности указываетъ, что наше прошедшее еще не прошло и возвращеніе къ нему возможно. Черезъ десять лѣтъ онъ повторяетъ тѣми же словами: „крестьянинъ въ настоящую минуту одинъ, по нашему мнѣнію, можетъ назваться вполнѣ русскимъ человѣкомъ" [1]).

Но въ какомъ именно отношеніи крестьянинъ представляется „лучшимъ русскимъ человѣкомъ?" Въ этомъ положеніи есть два смысла: во-первыхъ, предположеніе о первобытной патріархальной неиспорченности простого человѣка, въ родѣ взгляда Руссо, и во-вторыхъ, представленіе о храненіи старыхъ преданій. Что касается перваго, то нѣтъ сомнѣнія, что простота, несложность быта способствуетъ простотѣ нравовъ, какъ у насъ такъ и вездѣ (и у нѣмцевъ есть свои народники въ этомъ же родѣ, какъ напр., Риль); но возможно ли сохраненіе ея тамъ, гдѣ простая обстановка сельскаго труда смѣняется чрезвычайно осложненными жизненными условіями, и можетъ ли уцѣлѣть деревенское простодушіе въ условіяхъ другого болѣе мудренаго быта? Можетъ ли это быть тамъ, гдѣ образованіе вноситъ въ первобытную среду множество новыхъ понятій научныхъ, общественныхъ, поэтическихъ, которыя неодолимо врываются въ жизнь и не могутъ быть устранены изъ нея безъ устраненія самого образованія, и гдѣ глубокія, несознаваемыя крестьяниномъ, общественныя начала открыты множеству различныхъ воздѣйствій и вступаютъ

---

[1]) „Р. Бесѣда" 1858, IV, смѣсь, стр. 144 (въ ст. о повѣсти г-жи Кохановской).

между собой въ столкновеніе и борьбу? Славянофилы (и позднѣйшіе народники) обыкновенно избѣгаютъ этого вопроса, такъ что остается и по сію минуту невыясненнымъ съ ихъ точки зрѣнія — можетъ ли „русскій человѣкъ", получивъ образованіе, ведущее къ критикѣ, остаться такимъ „русскимъ", или, какъ думалъ бы и дѣйствовалъ „лучшій русскій человѣкъ" въ этихъ сложныхъ условіяхъ общественной и государственной жизни, въ этихъ волнующихъ насъ теоретическихъ и практическихъ спорахъ, которые въ данную минуту часто будутъ, къ сожалѣнію, даже непонятны ему? Противоположность существующаго общественнаго быта и образованности съ понятіями „лучшаго русскаго человѣка" намъ изображаютъ въ такихъ рѣзкихъ чертахъ, что по настоящему исходъ изъ этой противоположности возможенъ только—или путемъ переворота, разрушеніемъ „ложнаго" порядка вещей, или возрожденіемъ первой христіанской общины. Первое, конечно, не приходитъ въ голову нашимъ мечтателямъ, хотя представляется естественно изъ ихъ противоположеній. Второе сомнительно по самому положенію дѣла: „лучшій человѣкъ" не могъ пока уладить отношеній и въ своей собственной средѣ,—по всѣмъ отзывамъ сельскій „міръ" очень далекъ отъ совершенства... Въ литературѣ выработалось, въ этомъ направленіи, въ сущности только одно представленіе объ отношеніи простого русскаго человѣка къ сложной жизни общества и народа—тотъ безучастно-филантропическій и аскетическій типъ, который всего сильнѣе олицетворенъ у гр. Л. Толстого въ знаменитомъ Платонѣ Каратаевѣ, — и это представленіе подтверждено недавно лучшимъ беллетристомъ-народникомъ, Глѣбомъ Успенскимъ. Но народъ не можетъ состоять изъ однихъ Каратаевыхъ, и этотъ типъ отвѣчаетъ только на одну часть упомянутаго вопроса и, такъ сказать, отрицательно.

Относительно храненія преданій, то „прошедшее-настоящее" продолжаетъ оставаться загадкой. Въ образчикъ идей „лучшаго русскаго человѣка" приводились, однако, нѣкоторыя реальныя положенія: онъ создалъ русское государство и его формы,—но эти формы существуютъ и теперь, и если въ нихъ есть несовершенства, то они указывались не только западниками, но и славянофилами; онъ—хранитель православнаго преданія и обычая,—но въ Россіи не прекращалось господство православной церкви, и если въ нашей церковности есть недостатки, то опять они указывались людьми обоихъ направленій, хотя съ разныхъ сторонъ, но иногда и единогласно; наконецъ, народъ есть хранитель стараго общиннаго обычая,—но сочувствіе этому обычаю было самымъ несомнѣннымъ образомъ высказано и съ западнической стороны.

Но и эти образчики идей русскаго человѣка не могутъ быть вы-

ставлены безъ ограниченій. Русскій человѣкъ создалъ формы московскаго государства, но часто тяготился ими и бѣжалъ отъ нихъ за рубежъ, въ толпы Стеньки Разина, въ простой разбой, который бывалъ такъ популяренъ, что создалъ цѣлый разбойничій эпосъ, сливающійся съ древнимъ богатырскимъ эпосомъ; кромѣ того русскій человѣкъ вовсе не отвергъ Петровской реформы—народная поэзія славитъ имя Петра. Русскій человѣкъ создалъ старыя формы церковности, но онъ же создалъ расколъ и множество сектъ, которыя заявляютъ несомнѣнный протестъ противъ нѣкоторыхъ существующихъ формъ церковнаго быта. Русскій народъ создалъ общину, но вина ли новѣйшаго общества, что это начало не могло быть примѣнено въ чрезвычайно усложнившихся формахъ жизни и кромѣ того очень легко покидается людьми самого „народа", когда представляется въ этомъ личная выгода [1]).

Въ 1857, въ первую пору оживленія нашей общественности, Аксаковъ принялъ дѣятельное участіе въ газетѣ „Молва"; ему принадлежалъ здѣсь рядъ передовыхъ статей, гдѣ онъ излагалъ свои задушевныя идеи, сосредоточенныя на русскомъ народѣ. Возьмемъ нѣсколько выдержекъ:

„Народность, это—народная личность, живая цѣльная сила, нѣчто неуловимое какъ жизнь: въ этой силѣ принимаютъ участіе и духъ, и творчество художественное, и природа человѣческая, и природа мѣстная. Народность можетъ быть исключительна—но это злоупотребленіе: „для того, чтобы избавиться отъ народной исключительности — не нужно уничтожать свою народность, а нужно признать всякую народность". Каждый народъ пусть сохраняетъ свой народный обликъ; тогда только онъ будетъ имѣть человѣческое выраженіе. Если отнять у человѣчества его личныя и народныя краски, это будетъ какое-то оффиціальное, форменное, казенное человѣчество,—но къ счастью оно невозможно. „Нѣтъ, пусть свободно и ярко цвѣтутъ всѣ народности въ человѣческомъ мірѣ; только онѣ даютъ дѣйствительность и энергію общему труду народовъ".—„Да здравствуетъ каждая народность!"

О провиденціальномъ назначеніи Россіи: „Имя Россіи возбуждаетъ въ нихъ (т.-е. въ славянахъ и грекахъ) ничѣмъ непобѣдимое сочувствіе единовѣрія и единоплеменности и надежду на ея могущественную помощь, на то, что, въ Россіи или чрезъ Россію, рано или поздно прославитъ Богъ, предъ лицомъ всего свѣта, истину вѣры православной, и утвердитъ права племенъ славянскихъ на жизнь общечеловѣческую".

Истинный путь принадлежалъ древней Руси; верхніе классы съ Петровской реформы потеряли его, но возвратъ возможенъ: верхняя часть Россіи, оторвавшись отъ жизни, попала на путь отвлеченной мысли, такъ путемъ

---

[1]) Подобная мысль объ отсутствіи народнаго общиннаго начала въ жизни образованнаго общества повторяется у новѣйшихъ народниковъ, какъ новое доказательство розни общества съ народомъ (напр., у г. Златовратскаго); но очень легко сдѣлать такое наблюденіе, и гораздо труднѣе объяснить, какимъ бы образомъ могло бы быть достигнуто противное.

отвлеченной мысли она можетъ и вернуться къ настоящей народной жизни. „Великое дѣло жизни и мысли должно быть общимъ дѣломъ не однихъ верхнихъ слоевъ, а всей Россіи.—Тогда лишь будетъ возможно въ Россіи истинное, то-есть самостоятельное просвѣщеніе".

О Москвѣ: Москва освободила Россію отъ татаръ, соединила ее въ единое царство; Москва имѣла 1612 и 1812 годы; „въ Москвѣ преимущественно идетъ умственная работа" и въ ней совершаются „попытки освободиться отъ умственнаго плѣна и возвратиться къ духовной самостоятельности" (?). Заключеніе: Москва есть истинная русская столица.

Объясненіе понятія о народѣ. Простой народъ есть основаніе и матеріальнаго благосостоянія, и внѣшняго могущества, есть источникъ внутренней силы и жизни. Народъ вовсе не есть безсознательная масса; онъ имѣетъ свои глубокія убѣжденія, онъ хранитель преданія и обычая, но не врагъ новизны и просвѣщенія, но онъ принимаетъ ихъ осторожно и что приметъ, то усвоитъ прочно и самостоятельно. Народъ есть по преимуществу простой народъ; въ старину о немъ говорили „люди", „крестьяне", т.-е. христіане. „Итакъ у простого народа нѣтъ никакихъ отличій или титуловъ, кромѣ званія человѣческаго или христіанскаго. О, какъ богата эта бѣдность! и стоя на низшей степени, какъ высоко стоитъ онъ! Нося званіе только человѣка, только христіанина, онъ съ этой стороны есть идеалъ для всего человѣческаго и христіанскаго общества".

Приведемъ еще небольшую статью безъ подписи; по тогдашнимъ слухамъ, и по самому складу она должна принадлежать К. Аксакову. Статья называется: „Опытъ синонимовъ: публика — народъ".

„Было время, когда у насъ не было публики.. Возможно ли это? скажутъ мнѣ. Очень возможно и совершенно вѣрно: у насъ не было *публики*, а былъ народъ. Это было еще до построенія Петербурга. Публика—явленіе чисто западное, и была заведена у насъ вмѣстѣ съ разными нововведеніями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась отъ русской жизни, языка и одежды, и составила публику, которая и всплыла надъ поверхностью. Она-то, публика, и составляетъ нашу постоянную связь съ Западомъ; выписываетъ оттуда всякіе, и матеріальные, и духовные наряды, преклоняется предъ нимъ, какъ предъ учителемъ, занимаетъ у него мысли и чувства, платя за это огромною цѣною: временемъ, связью съ народомъ и самою истиною мысли. Публика является надъ народомъ, какъ будто его привилегированное выраженіе, въ самомъ же дѣлѣ публика есть искаженіе идеи народа.

„Разница между публикою и народомъ у насъ очевидна (мы говоримъ вообще, исключенія сюда нейдутъ).

„Публика подражаетъ и не имѣетъ самостоятельности; все, что̀ принимаетъ она чужое, — принимаетъ она наружно, становясь всякій разъ сама чужою. Народъ не подражаетъ и совершенно самостоятеленъ; а если что̀ приметъ чужое, то сдѣлаетъ это своимъ, *усвоитъ*. У публики—свое обращается въ чужое. У народа чужое обращается въ свое. Часто, когда публика ѣдетъ на балъ, народъ идетъ ко всенощной; когда публика танцуетъ, народъ молится. Средоточіе публики въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ. Средоточіе народа—Кремль.

„Публика выписываетъ изъ-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народъ черпаетъ жизнь изъ родного источника. Публика говоритъ по-французски, народъ—по-русски. Публика ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ, народъ въ русскомъ. У публики—парижскія моды. У народа свои русскіе обычаи. Пуб-

лика (большею частію по крайней мѣрѣ) ѣстъ скоромное, народъ ѣстъ постное. Публика спитъ, народъ давно уже уже всталъ и работаетъ. Публика работаетъ (большею частью ногами по паркету), народъ спитъ или уже встаетъ опять работать. Публика презираетъ народъ, народъ прощаетъ публикѣ. Публикѣ всего полтораста лѣтъ, а народу годовъ не сочтешь. Публика преходяща, народъ вѣченъ. И въ публикѣ есть золото и грязь, и въ народѣ есть золото и грязь; но въ публикѣ грязь въ золотѣ; въ народѣ—золото въ грязи. У публики—свѣтъ (monde, балы и пр.); у народа—міръ (сходка). Публика и народъ имѣютъ эпитеты; публика у насъ почтеннѣйшая, а народъ—православный.

„Публика, впередъ! Народъ, назадъ!—такъ воскликнулъ многозначительно одинъ хожалый“ („Молва“, 1857, № 36, стр. 410—411).

Къ западному человѣчеству К. Аксаковъ относится вообще съ крайней антипатіей и не ждетъ отъ него, и для него, ничего добраго. Онъ изложилъ свои взгляды на Русь и Западъ въ статьѣ „о современномъ человѣкѣ“, надъ которой долго работалъ и которая была издана только послѣ его смерти [1]). Русскій народъ есть исключительный представитель идеи общины, которую народъ имѣлъ еще во времена язычества и которая была въ немъ окончательно развита и укрѣплена христіанствомъ; съ идеей общинности связана идея истинной человѣчности. Западъ, напротивъ, есть представитель начала личнаго, которое есть источникъ зла и лжи; поэтому все, создаваемое Западомъ, ложно и заключаетъ въ себѣ зародышъ зла. Этимъ зломъ заразился и верхній классъ нашего общества... „Современная жизнь западнаго человѣчества есть картина страшной болѣзни, полной нравственнаго запустѣнія“. Какое же заключеніе? Такъ ли же точно, какъ на просвѣщенный Римъ, возстанутъ на просвѣщенное человѣческое общество нашихъ временъ новые дикіе какіе-нибудь народы, истребятъ растлѣнное племя, и дикою, грубою правдою жизни смѣнятъ блестящую, просвѣщенную ложь? Или само это общество можетъ воскреснуть нравственно и ожить для новой жизни? Но опять: что́ же ему поможетъ?—„Богъ можетъ помочь, но къ Нему прибѣгаютъ всего рѣже“.

Гдѣ же искать здоровыхъ членовъ человѣчества, которые могли бы остановить и излечить заразу лжи? К. Аксаковъ напоминаетъ, какъ прежде въ „Молвѣ“, что есть человѣчество внѣ Европы—тѣ народы, которыхъ еще не коснулась западная цивилизація, народы Азіи и Африки; но его пугаетъ мысль, что европейская цивилизація начинаетъ проникать и къ нимъ, и при первомъ появленіи прививаетъ имъ свою заразу, сообщая имъ свое ложное просвѣщеніе и свои общественныя формы, которыя уже тѣмъ ложны, что чужды этимъ народамъ. Европейцы своими нравственными качествами не

---

[1]) Въ сборникѣ „Братская помочь“, 1876, и потомъ въ „Руси“.

превзошли язычниковъ; они являлись среди послѣднихъ „просвѣщенными звѣрями, употреблявшими преимущества своего просвѣщенія на страшныя дѣла"; онъ указываетъ на такихъ „героевъ", какъ Кортецъ, на американскихъ рабовладѣльцевъ и т. д. Но справедливость требовала бы припомнить, что среди эксплуатаціи дикихъ народовъ съ давнихъ поръ европейцы вносили и христіанскую проповѣдь; что въ американскомъ обществѣ рабовладѣльчество (и тогда уже, когда писалъ Аксаковъ) вызывало протесты, кончившіеся освобожденіемъ негровъ—цѣною кровопролитной междоусобной войны; наконецъ, что, къ сожалѣнію, не иначе поступалъ и русскій народъ съ инородцами, подпадавшими его власти—еще въ то время, когда онъ не былъ зараженъ Западомъ...

Не менѣе матеріальной эксплуатаціи было зло нравственнаго вліянія европейцевъ. „Дикіе и не дикіе туземные народы потеряли свой самобытный путь; подвигаясь впередъ, они перенимаютъ европейскія формы, имъ чуждыя... Они не отдѣлили въ Европѣ достоянія человѣческаго,—чѣмъ всякій можетъ воспользоваться,—отъ достоянія національнаго, чѣмъ другому народу пользоваться смѣшно и даже вредно... И что за грустно-комическое явленіе представляетъ подражательность". (Приводятся примѣры негровъ, которые, освобождаясь, устроиваютъ у себя республиканскую конституцію на европейскій ладъ, „лучшаго, какъ видно, не бывъ въ состояніи выдумать"; полудикихъ грековъ, устроившихъ у себя конституцію монархическую и пр.). „Удѣлъ такого пути цивилизаціи не завиденъ. Внутреннія силы народовъ, которыя облекались въ *свой* образъ, поддерживали *свою* жизнь, вдругъ разрознены съ своею цѣлью и должны служить цѣлямъ чуждымъ, употребляясь на поддержку чуждыхъ формъ. Свои родныя народныя силы опредѣлены на питаніе чуждой земли... Всякая европейская форма, какъ бы ложна она ни была, имѣетъ для Европы ту истину, что тамъ она своя, что тамъ она результатъ предъидущихъ причинъ: тутъ есть истина историческая. Но даже и этой истины не имѣютъ народы-прихвостни. Употреблять вѣчно свои жизненныя силы на служеніе заемной жизни, всегда идти подражательнымъ, безплоднымъ путемъ, ничего не сказать своего и быть безполезнымъ повтореніемъ, пародіею или каррикатурою Европы—удѣлъ тяжкій и обидный, жалкій и презрѣнный".

Ясно, кажется, что мораль относится не къ однимъ дикимъ народамъ и что „тяжкій и презрѣнный удѣлъ" грозилъ и кому-то другому. Но если говорить о дикихъ народахъ, то во-первыхъ, какъ они, пока еще мало развитые, въ состояніи будутъ отдѣлять въ своихъ образцахъ „человѣческое" отъ „національнаго"; во-вторыхъ, какъ сохранить свою самобытность рядомъ съ цивилизаціею, когда ихъ

самобытность была каннибальство? „Самобытное“ не всегда непремѣнно хорошо, и подражательность, какъ у отдѣльныхъ людей, такъ и у народовъ, имѣетъ свою психологическую основу—въ подражаніи ищутъ для себя чего-нибудь лучшаго и въ немъ является работа сознанія. Вся исторія человѣческой цивилизаціи есть нескончаемый рядъ взаимодѣйствій, фактовъ международнаго вліянія и заимствованія элементовъ, перерождающихся потомъ въ новыя черты національности. Безпристрастному историку нельзя не видѣть несомнѣннаго давняго стремленія русскаго народа войти въ общее высшее теченіе человѣческой цивилизаціи; съ другой стороны боязливыя опасенія „тяжкаго и презрѣннаго удѣла“ давали бы, противъ ожиданій самого Аксакова, невысокое понятіе о внутренней силѣ народа, требующаго китайскихъ стѣнъ и охранительныхъ попеченій вмѣсто простора и широкаго просвѣщенія.

Приведемъ еще нѣсколько замѣтокъ К. Аксакова [1]):

„Русская исторія имѣетъ значеніе *Всемірной Исповѣди. Она можетъ читаться какъ житія святыхъ.*

„Государство не есть проповѣдникъ истины. Западъ поэтому и развилъ законность, что чувствовалъ въ себѣ недостатокъ внутренней правды...

„Москва вырабатываетъ русскую мысль.

„Хоровое чувство земли. Личность какъ фальшивая нота въ хорѣ.

„Петербургъ забавенъ съ своимъ патріотизмомъ. Видно, что это дѣло для него вновь, и какъ всегда бываетъ съ иностранцемъ, желающимъ показать, что онъ русской, Петербургъ пересаливаетъ... О Sanctpetersbürger'цы! вспомните ваше имя, добровольно вамъ данное, и посмотрите, не утверждаетъ ли вашъ патріотизмъ за вами значеніе не русскаго города?..

„Въ западныхъ народахъ, на всѣхъ проявленіяхъ общественности, лежитъ печать государственности; нѣтъ простоты жизни, нѣтъ свободы. Вездѣ внѣшнее, условное, искусственное...

„*Русскій народъ не есть народъ; это—человѣчество*; народомъ является онъ отъ того, что обставленъ народами съ исключительно народнымъ смысломъ, и человѣчество является въ немъ потому народностью. Русскій народъ свободенъ, не имѣетъ въ себѣ государственнаго внѣшняго элемента, не имѣетъ въ себѣ ничего условнаго...

„Все значеніе Москвы—это единство, совокупленіе, цѣлость Руси,—значеніе Москвы есть значеніе всея Руси. Отсюда многое и все существенное объясняется“.

Очевидно, мы видимъ передъ собой энтузіаста, который рѣшаетъ вопросы не доводами критики, а восторженнымъ чувствомъ. Ему хочется, чтобы было такъ, а не иначе; истолкованіе готово раньше, чѣмъ изслѣдованъ предметъ. Русскій народъ, очевидно, есть народъ избранный; онъ самъ—человѣчество.

Дальше мы скажемъ о нѣкоторыхъ трудахъ Аксакова, имѣющихъ

---

[1]) Полное собраніе сочиненій, т. I, стр. 625 (225) и д.

ближайшее отношеніе къ этнографіи; но главнымъ образомъ мы хотѣли указать общій характеръ его трудовъ, цѣлое воззрѣніе на русскую старину и народность, выражавшее взглядъ старой славянофильской школы и потомъ не разъ повторявшееся въ позднѣйшемъ народничествѣ въ разныхъ направленіяхъ. Это воззрѣніе диктовалось самыми благородными побужденіями; въ подкладкѣ его лежало крайнее идеалистическое представленіе объ исторической судьбѣ и современныхъ особенностяхъ русской народности; оно имѣло значеніе въ свое время какъ рѣшительное отрицаніе того поверхностнаго и грубаго взгляда на народъ, который создавался бюрократическимъ пренебреженіемъ къ народу (Аксаковъ непременно хотѣлъ называть бюрократическое петербургскимъ). Если припомнить, что воззрѣніе Аксакова формировалось въ первыхъ сороковыхъ годахъ, въ очень трудныхъ условіяхъ русской общественности и литературы, то можно понять, почему оно сформировалось именно въ этомъ видѣ, съ крайнимъ идеализмомъ и съ крайнею нетерпимостью къ тому русскому обществу, которое смотрѣло на народъ съ высока, съ точки зрѣнія канцеляріи и крѣпостничества. Къ сожалѣнію, взглядъ Аксакова былъ съ самаго начала исполненъ преувеличеній, отъ которыхъ не избавился и до конца. Поднявши вопросъ въ чисто мистическую область, онъ говорилъ наконецъ о такихъ отвлеченностяхъ, гдѣ исчезала реальная народность, какъ напримѣръ тамъ, гдѣ онъ говоритъ о „рабствѣ“ запада и „свободѣ“ русскаго народа, двадцать милліоновъ которaго было тогда крѣпостнымъ, а остальные не имѣли понятія о какой-либо общественной самодѣятельности, а въ духовномъ и умственнымъ смыслѣ состояли подъ суровой и подавляющей ферулой; „жизнь духа“ и „духъ жизни“, о которыхъ говорили славянофилы, казались странной, почти недостойной игрой словъ. Въ историческихъ изслѣдованіяхъ К. Аксаковъ имѣлъ заслугу указанія на народные элементы старой исторіи, но цѣлое построеніе нашли невыдерживающимъ критики даже его апологеты, какъ напр. Костомаровъ: теорія не подтверждалась даже основными господствующими фактами русской исторіи. Аксаковъ не хотѣлъ ихъ знать, отклонялъ ихъ, потому что они мѣшали стройности его идеалистическаго зданія. Мало-по-малу его мысль, развивавшаяся все въ одномъ направленіи, естественно кончалась убѣжденіемъ или точнѣе вѣрой въ настоящее избранничество русскаго народа: русскій народъ, это было само человѣчество, это былъ народъ по преимуществу, даже единственный христіанскій. Вѣра кончалась крайней нетерпимостью, доходившею до фанатизма.

Немудрено, что въ работахъ этнографическихъ сказалось тоже настроеніе. Это не былъ изслѣдователь, приступающій къ анализу

съ готовностью безпристрастнаго наблюденія фактовъ; напротивъ, когда, общими силами кружка, выработана была теорія, которая возвеличивала русскую народность до провиденціальнаго назначенія, рѣшенія даны были впередъ, и затѣмъ труды историческіе и этнографическіе должны были стать только подтвержденіемъ напередъ составленнаго идеала. Изъ предметовъ, относящихся къ этнографическимъ изученіямъ, Аксаковъ положилъ много труда на изслѣдованія о языкѣ. Послѣ первыхъ работъ, вошедшихъ въ его книгу о Ломоносовѣ, онъ издалъ въ 1855 изслѣдованіе „О русскихъ глаголахъ"; въ 1860 за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти онъ издалъ „Опытъ русской грамматики"—первый выпускъ, продолженіе котораго появилось уже въ полномъ собраніи его сочиненій (т. III, 1880). Самъ Аксаковъ въ предисловіи къ первому выпуску своей грамматики высказывалъ свой взглядъ на языкъ, какъ на явленіе мистическое [1]), и русскій языкъ есть совершеннѣйшій языкъ.

Въ своихъ изслѣдованіяхъ Аксаковъ дѣйствительно старается уловлять это мистическое и таинственное; изслѣдованіе „анатомическое", подъ которымъ подразумѣвается обыкновенная филологія, представляется ему чѣмъ-то мелкимъ и ограниченнымъ (какъ послѣ подтвердилъ г. Безсоновъ, редактировавшій изданіе его филологическихъ сочиненій). Но если бы въ самомъ дѣлѣ истинная грамматика должна была объяснить мистическое значеніе всѣхъ подробностей языка, очевидно, что достигнуть этого она могла бы только послѣ строгаго изученія внѣшнихъ формъ слова. Аксаковъ хотя самъ вдается въ „анатомію", но какъ бы только изъ снисхожденія къ современнымъ заботамъ науки даетъ мѣсто соображеніямъ сравнительно-филологическимъ (цитируя и иногда оспаривая Боппа) или историческимъ (указывая формы старыхъ памятниковъ). Центромъ своихъ изслѣдованій онъ ставитъ русскій языкъ въ немъ самомъ, почти устраняя историческія условія его происхожденія и родства

[1]) „Всякая живая наука, то есть: наука, имѣющая дѣло съ жизнію, имѣетъ дѣло съ таинствомъ; такова и филологія, предметъ которой—слово, этотъ сознательный снимокъ видимаго міра, эта воплощенная мысль. Преслѣдуя жизнь въ той или другой области ея проявленія, наука доходитъ до предѣловъ таинственнаго, до тѣхъ предѣловъ, откуда внутреннее становится внѣшнимъ, духъ—осязательнымъ, безконечное—конечнымъ. Наука думаетъ иногда выйдти изъ затрудненія, принявъ анатомическое воззрѣніе, сдѣлаться матеріальною, сказать, что нѣтъ духа и души, и недостойно успокоиться такимъ воззрѣніемъ, отрицательнымъ и тупымъ, при которомъ вовсе непонятна и жизнь, и смыслъ ея, и то, что даже просто угадываетъ вѣщая душа наша. Но, слава свѣту сознательной мысли! Разумъ самъ обличаетъ ложь всѣхъ матеріальныхъ теорій, на немъ повидимому основанныхъ, прогоняетъ ихъ тяжелую тьму, самъ низвергаетъ всякое себѣ богослуженіе, самъ знаетъ свои предѣлы и признаетъ непостижимое, открывающееся откровеніемъ духу человѣческому".

съ нарѣчіями славянскими; г. Безсоновъ опять указываетъ, что только послѣ начала своихъ работъ, когда основная точка зрѣнія была уже опредѣлена, онъ въ видѣ уступки далъ мѣсто во второмъ выпускѣ славянскимъ нарѣчіямъ. Изслѣдованія Аксакова не показались однако убѣдительными филологамъ-спеціалистамъ: книжка о русскихъ глаголахъ вызвала довольно суровые отзывы Срезневскаго и Буслаева [1]): въ изслѣдованіяхъ указано было недостаточное знакомство съ точными пріемами филологической критики, ошибочные и произвольные выводы. Впослѣдствіи, г. Безсоновъ, издававшій филологическія сочиненія Аксакова, говоря о себѣ, какъ о сотоварищѣ и соучастникѣ, хотя тогда и недоросшемъ въ сверстники, отнесся очень высокомѣрно къ критикамъ Аксакова, требовавшимъ какого-то метода, какихъ-то фактическихъ доказательствъ, отнесся высокомѣрно даже къ цѣлому состоянію славянской филологіи, гораздо выше котораго стоялъ К. Аксаковъ. По поводу книжки о русскихъ глаголахъ, которая должна была дать новую, русскую, не на иностранный ладъ построенную филологическую теорію (потому что „особенно нѣмцамъ трудно постигнуть языкъ русскій"), Срезневскій хвалилъ книжку какъ „философскую" и сожалѣлъ, что она не „филологическая" [2]). Подобнымъ образомъ вѣжливо, но по существу язвительно Срезневскій говорилъ и объ „Опытѣ русской грамматики": онъ давалъ понять, что выводы Аксакова не основываются на настоящемъ научномъ изслѣдованіи и отличаются произволомъ, котораго никакъ не можетъ оправдать такъ называемое чутье языка [3]). Г. Безсоновъ въ своемъ продолжительномъ предисловіи къ „Опыту" не только защищаетъ Аксакова отъ этихъ обвиненій, но, какъ мы замѣтили, ставитъ Аксакова образцомъ, до котораго далеко мелкой наукѣ „посѣдѣлыхъ школьниковъ", способной ходить только ощупью, цѣпляясь за факты и примѣры, и неспособной постигать самый „духъ" языка. Трудъ Аксакова былъ дѣломъ творчества; Аксаковъ зналъ этотъ языкъ сполна, потому что зналъ сполна русскій народъ; онъ чувствовалъ себя въ вопросахъ языка, какъ Илья Муромецъ. „Лелѣя русскій языкъ, Аксаковъ зналъ, изучалъ и воспроизводилъ его твор-

---

[1]) Въ „Извѣстіяхъ" Второго отдѣленія Академіи Наукъ, 1855, и въ „Отечеств. Запискахъ", 1855, № 8.

[2]) Онъ писалъ: „Разсужденіе г. Аксакова не филологическое, а философское; если оно пробуждаетъ мысль, то и достигаетъ своей цѣли; а едва-ли можно сказать, что оно не пробуждаетъ мысли. Нельзя впрочемъ не пожалѣть, зачѣмъ оно не филологическое, зачѣмъ авторъ не далъ мѣста разбору употребленія глаголовъ въ древнемъ славянскомъ языкѣ по нѣсколькимъ нарѣчіямъ, и между прочимъ въ памятникахъ переводныхъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ переводчики отступали отъ дословности перевода".

[3]) Ср. „Критико-біографическій Словарь", Венгерова, т. I, стр. 265—267.

ческій образъ съ одинаковой увѣренностью—и въ историческомъ старшинствѣ его, и въ задаткахъ на грядущее богатырство... Не налагая на себя въ сихъ отношеніяхъ ни подвига, ни аскетизма, ни усилій жертвы, онъ жилъ, говорилъ и дѣйствовалъ *какъ самъ народъ*— въ его теперешнемъ положеніи... Если въ какомъ лицѣ русскій народъ сознавалъ себя, вѣдалъ законы, потребности и надежды своего бытія, росъ знаніемъ и зналъ всю творческую мѣру своего возраста,—это въ Аксаковѣ... Исчерпать разъясненіемъ всѣ отношенія Аксакова къ русскому языку и народу нѣтъ никакой возможности; тутъ даже не было отношеній, какъ будто между двумя сторонами, тутъ была *общая жизнь*, какъ будто въ одномъ существѣ; а разъяснить вполнѣ жизнь цѣльнаго существа—значило бы *прожить ею*" [1]). Очевидно, что это мистическое постиженіе не есть путь научнаго изслѣдованія.

Нѣсколько статей посвящено было Аксаковымъ народной поэзіи и миѳологіи [2]). Эти статьи носятъ на себѣ тотъ характеръ, какимъ отличались этнографическія разсужденія сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, когда въ изслѣдованія этого рода не вошли еще критическіе пріемы новой науки, и выводы строились на общемъ историческомъ и литературномъ впечатлѣніи. Понятно, что при общемъ складѣ народно-историческихъ взглядовъ Аксакова, старый бытъ, миѳологія и поэзія были уже впередъ окрашены для него въ картину патріархальной идилліи. Вотъ напримѣръ его взглядъ на древнее русское язычество:

„Вѣра русскаго народа до христіанства была неопредѣленна и не ясна, какъ и должна быть у того, кто еще не озаренъ истиной, но кому недоступна, для кого невозможна ложь, по крайней мѣрѣ ложь утвержденная, опредѣленная, давшая себѣ образъ и самостоятельность.—Русскій народъ, конечно, признавалъ невидимаго высшаго Бога, не опредѣляя его и не зная; съ другой стороны, лицомъ къ лицу съ жизнію земною, съ ея таинствами природы и человѣческой судьбы, онъ слышалъ эти таинства, и вѣра его была постоянное признаніе этихъ таинствъ, постоянное освященіе жизни въ ея разныхъ великихъ проявленіяхъ, постоянное возведеніе случайной преходящей минуты къ чему-то высшему. Отсюда эти игрища, на которыхъ торжествовался бракъ, отсюда тризны, отсюда и гаданья. Ни жрецовъ, ни богослуженія не было, но

---

[1]) Полное собраніе сочиненій, т. III, предисловіе, стр. XXI, XXXII.

[2]) О древнемъ бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности, на основаніи обычаевъ, преданій и пѣсенъ.

— Замѣчанія на статью г. Шеппинга: Купала и Коляда.

— О богатыряхъ временъ Владиміра по русскимъ пѣснямъ.

— О различіи между сказками и пѣснями русскими.

— Замѣтка о значеніи Ильи Муромца. (Полное собраніе сочиненій, т. I, стр. 311—415).

были таинственные обряды, и дѣва въ глазахъ русскаго славянина было чистое и высшее существо... Вѣря въ таинства природы, во всемъ видя высшій смыслъ, славянинъ вѣрилъ въ духовъ; но еще сильнѣе и общѣе, еще чище вѣрилъ онъ въ освященіе всякаго событія. Такъ масляницу, семикъ и другія праздества онъ возводилъ въ существа фантастическія, выражая тѣмъ общій смыслъ ихъ; это не былъ опредѣленный антропоморфизмъ, это было скорѣе поэтическое олицетвореніе смысла вещи; существа эти не жили гдѣ-то постоянно, не были; это были скорѣе видѣнія, подымавшіяся и изчезавшія... И такъ, язычество русскаго славянина было *самое чистое язычество*, было при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событій. Слѣдовательно вѣрованіе темное, не ясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины... При своихъ вѣрованіяхъ, славяне русскіе образовали жизнь свою; они поняли значеніе общины, они ощущали чувство братства, чувство мира и кротости, и (имѣли) многія общественныя и личныя добродѣтели.—Ихъ игра: хороводъ, кругъ—образъ братской общины. Такъ жили они въ чаяніи христіанства... Наконецъ явился безсмертный свѣтъ Вѣры Христовой,—и язычникъ, удерживавшійся отъ идолопоклонства, не загромоздившій понятіе свое опредѣленіями лжи, въ награду легко и свободно принялъ христіанство, и крестился, какъ младенецъ. Въ его душѣ не было ни кумировъ, ни боговъ или языческихъ воспоминаній, не было опредѣленной, огрубѣлой лжи. Но отнынѣ, узнавъ истиннаго Бога, онъ глубоко и навсегда наполнился истиной ученія Спасителя“.

Говоря о древнемъ богатырскомъ эпосѣ, Аксаковъ дѣлаетъ только самыя общія замѣчанія о его древности, о тѣхъ новыхъ чертахъ, которыя являлись въ немъ подъ вліяніемъ времени, не измѣняя его древней сущности, и опять даетъ картину патріархально величаваго быта, который изображается въ былинѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это—картина символическая. „Передъ нами эпопея особаго рода, согласная съ самимъ существомъ русской земли. Мы не видимъ въ ней могущественно движущагося впередъ событія, не видимъ увлекающаго хода времени: нѣтъ,—передъ нами другой образъ, образъ жизни, волнующейся сама въ себѣ и не стремящейся въ какую-нибудь одну сторону; это хороводъ, движущійся согласно и стройно,—праздничный, полный веселья, образъ русской общины.—Этимъ духомъ проникнуто, этимъ образомъ запечатлѣно все, что идетъ отъ русской земли; такова сама наша пѣсня, таковъ напѣвъ ея, таковъ строй земли нашей. Если говорить о сравненіяхъ, то не рѣка, текущая куда-нибудь въ своихъ берегахъ, можетъ служить намъ эмблемою, а волнующійся со всѣхъ сторонъ открытый, безбрежный океанъ-море. Таковъ въ особенности міръ Владиміровыхъ пѣсенъ; въ этомъ мірѣ играетъ и тѣшитъ себя молодая, еще никуда событіями не направленная сила. Пиры Владиміровы давно прошли; грознымъ испытаніямъ подверглась богатырская русская сила, но она не сокрушилась; она просторно раздвинула себѣ границы и пугаетъ нехотя своихъ сосѣдей. Широко раздолье по всей землѣ, нѣкогда сказала она, и недаромъ,—по тремъ частямъ свѣта раскинулась Россія. Но далеко еще не кончились подвиги русской силы; не только матеріальные, но и нравственные подвиги предлежатъ ей“...

„Праздникъ, пиръ—составляетъ колоритъ Владиміровыхъ пѣсенъ; но этотъ пиръ, какъ и вся жизнь, имѣетъ христіанскую основу. Христіанство есть главная основа всего Владимірова міра. На этой-то христіанской основѣ является богатырская сила и удаль молодаго, могучаго народа.—Эти пиры, эта жизнь имѣетъ и Всерусское значеніе; видимъ здѣсь собранную всю Рус-

скую землю, собранную въ единое цѣлое христіанскою Вѣрою, около Великаго князя Владиміра, просвѣтителя земли Русской".

Не совсѣмъ подходитъ къ цѣлой картинѣ княгиня Апраксѣевна: она „влюбчива и сластолюбива", но по Аксакову—„лицо совершенно вымышленное".

Не совсѣмъ подходитъ къ христіанству, какъ „главной основѣ всего Владимірова міра", извѣстное обращеніе Добрыни съ его женой Мариной. „Самое названіе: Добрыня, уже обрисовываетъ нравъ этого богатыря;—и точно, прямота и добродушіе его отличительныя свойства". Когда Добрыня принялся учить свою жену, отрубая ей сначала руку, потомъ ногу, наконецъ голову, съ соотвѣтственными приговорками, Аксаковъ замѣчаетъ: „Такая строгая казнь, совершенная съ полнымъ спокойствіемъ Добрынею, не можетъ служить опредѣленіемъ его нравственнаго образа и кидать на него тѣнь обвиненія въ жестокости, это обычай всѣхъ богатырей того времени; будучи не личнымъ дѣломъ, а обычаемъ, подобный поступокъ лишенъ злобы и свирѣпости, вытекающихъ уже изъ личнаго ощущенія".

Эти собственно этнографическіе труды К. Аксакова состоятъ, какъ мы замѣтили, только такъ сказать въ литературномъ разборѣ былинъ, въ изложеніи ихъ содержанія съ замѣтками о характерѣ богатырей и т. п.; но онъ оказалъ тѣмъ не менѣе не малое вліяніе на извѣстный кружокъ изслѣдователей, которые потомъ прилагали къ объясненію русской старины и особливо народной поэзіи то же возвеличеніе и тоже символическое толкованіе: древній эпосъ былъ не только поэтическимъ фактомъ далекихъ вѣковъ, но и своего рода прообразованіемъ; казался важнымъ не вопросъ объ его историческомъ складѣ, его составныхъ элементахъ, его развитіи и видоизмѣненіяхъ, а объ его національно-символическомъ смыслѣ; богатыри Владимірова цикла были не столько предметомъ историко-этнографическаго объясненія, сколько представителями общественно-нравственныхъ теорій въ томъ духѣ, какъ древняя народная старина была понята и объясняема К. Аксаковымъ. Изслѣдователи этого направленія опять съ пренебреженіемъ относились къ тѣмъ критическимъ розысканіямъ, которыя называли они „анатомическими"; не удостоивая обращать на нихъ вниманіе, они рѣшали вопросы прямо: они постигали самый духъ народнаго эпоса, имъ открыта была глубочайшая сущность народнаго творчества: они рисовали по своему картину древней русской жизни и поэзіи, и картина была чисто фантастическая. Въ полной мѣрѣ этотъ пріемъ мы увидимъ далѣе въ трудахъ г. Безсонова; отчасти эта символическая точка зрѣнія повторяется у Ореста Миллера, какъ мысль о томъ, что русскій народъ есть человѣчество, отразилась потомъ у Достоевскаго.

Собственные труды К. Аксакова по русской старинѣ и народности, кромѣ того, чтó указано выше относительно старой бытовой исторіи, не имѣли значенія въ наукѣ; но за ними во всякомъ случаѣ остается высокое достоинство горячей любви къ народу, защиты его достоин-

ства въ такія времена, когда въ общественной и особливо бюрократической массѣ господствовало глубокое пренебреженіе къ народной личности и къ народному интересу. Правда, Аксаковъ часто терялъ мѣру, съ одной стороны преувеличивая свои изображенія и теряя историческую перспективу, съ другой становясь во враждебныя отношенія къ литературному движенію, защищавшему во сущности тѣ же интересы, но самая его нетерпимость (питавшаяся между прочимъ „замкнутостью одиночества", о которой говоритъ его панегиристъ) свидѣтельствовала объ энтузіазмѣ, и если не достигалось вліяніе научное, то дѣйствовало возбужденіе нравственное и поэтическое. Это нравственное дѣйствіе его энтузіазма къ русскому народу составляетъ главную долю въ историческомъ вліяніи дѣятельности К. Аксакова.

ГЛАВА VIII.

Новыя изслѣдованія.—Спорные вопросы о русскомъ народномъ эпосѣ.

Изданія памятниковъ народной поэзіи.—Пѣсни, П. В. Кирѣевскаго.—„Онежскія былины“, Гильфердинга.—Е. В. Барсовъ.—Новыя изслѣдованія о старой письменности.—Труды Л. Н. Майкова.—О. Ѳ. Миллеръ.—П. А. Безсоновъ.—„О происхожденіи русскихъ былинъ“, В. В. Стасова.

Мы подробно останавливались на трудахъ г. Буслаева и Аѳанасьева,—такъ какъ эти труды были исходной точкой новаго научнаго объясненія предмета и долго сохраняли свое вліяніе на популярныя и учебныя представленія о русской старинѣ, хотя самая наука уже вскорѣ пошла иными, болѣе сложными путями. Мы указывали затѣмъ, что уже вскорѣ послѣ первыхъ трудовъ Буслаева и Аѳанасьева, и особливо съ конца 1850-хъ годовъ стали расширяться сосѣднія области историко-литературныхъ изысканій, которыя оказали потомъ сильное вліяніе на объясненіе развитія древней поэзіи. Новыя пріобрѣтенія науки состояли, во-первыхъ, въ отысканіи и опубликованіи дотолѣ неизвѣстныхъ остатковъ народной поэзіи; во-вторыхъ, въ отысканіи и изданіи также почти неизвѣстныхъ ранѣе памятниковъ старой народно-поэтической письменности: книгъ апокрифическихъ, повѣстей, легендарныхъ сказаній и т. п., которыя тогда же стали вызывать историко-литературныя изслѣдованія. На первыхъ порахъ новый матеріалъ устнаго эпоса и книжныхъ сказаній не измѣнилъ направленія миѳологической школы: Аѳанасьевъ остался ей вѣренъ до конца и она пріобрѣтала новыхъ послѣдователей, — но мало-по-малу размноженіе матеріала повело, вмѣстѣ съ новыми вліяніями нѣмецкой науки, къ измѣненію самаго метода изслѣдованія. Впослѣдствіи г. Буслаевъ, глава миѳологической школы, во

многомъ призналъ результаты, выработанные при помощи этого новаго метода.

Выше мы говорили, какое необычайное богатство народной поэзіи, преимущественно эпоса, открылось при первыхъ поискахъ Рыбникова въ Олонецкомъ краѣ. Мы упоминали, что это необычайное богатство было такъ поразительно [1]), что возбуждало даже сомнѣніе въ старыхъ этнографахъ, которые не помышляли уже о возможности такого обилія живого эпическаго преданія, а затѣмъ вызвало новыя изслѣдованія въ суровыхъ захолустьяхъ Олонецкой губерніи: результатомъ былъ монументальный трудъ Гильфердинга [2]). Короткость времени и масса собраннаго матеріала дѣлаютъ сборникъ Гильфердинга истинно необычайнымъ явленіемъ въ области этнографическихъ изслѣдованій: освѣщенный любопытною картиной мѣстнаго быта, записанный съ гораздо большею точностію, сборникъ Гильфердинга производилъ, быть можетъ, еще болѣе сильное впечатлѣніе, нежели книга Рыбникова.

Съ 1860 года сталъ выходить въ свѣтъ знаменитый сборникъ Петра Васильевича Кирѣевскаго (1808—1856). Выше мы говорили объ этомъ замѣчательномъ лицѣ, біографія котораго, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не была изложена сколько-нибудь обстоятельно. Это былъ, по отзывамъ лицъ, его знавшихъ, замѣчательный умъ и характеръ, которому принадлежала весьма крупная доля въ установленіи народно-историческихъ положеній славянофильской школы. Это былъ нашъ первый народникъ. Кирѣевскій началъ собираніе пѣсенъ еще съ 1830-хъ годовъ: но положеніе вещей было таково, что въ эпоху оффиціальной народности Кирѣевскій не могъ издать своего сборника. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ [3]), какъ тогда хлопотали объ этомъ друзья Кирѣевскаго, въ какомъ унизительномъ положеніи оказывалась русская народная поэзія, для которой надо было добиваться права появленія въ печати, ссылаясь на примѣры Европы. Не знаемъ въ точности почему, но сборникъ остался тогда не изданнымъ, за исключеніемъ „духовныхъ стиховъ“, напечатанныхъ въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, которымъ руководилъ тогда трудолюбивый и энергическій Бодянскій [4]), и двухъ-трехъ пѣ-

[1]) Ср. рецензію первыхъ томовъ Рыбникова у Срезневскаго, въ 33 присужденіи Демидовскихъ наградъ (1864). Спб. 1865.

[2]) Онежскія былины, записанныя А. Ѳ. Гильфердингомъ, лѣтомъ 1871 года. Съ двумя портретами онежскихъ рапсодовъ и напѣвами былинъ. Спб. 1873. LIV стр. и 1336 компактныхъ столбцовъ, больш. 8°.

[3]) Ср. Характеристики литер. мнѣній отъ 1820-хъ до 1850-хъ годовъ, изд. 2-е, стр. 263.

[4]) Русскія народныя пѣсни, собранныя Петромъ Кирѣевскимъ, ч. I. Русскіе народ. стихи,—въ „Чтеніяхъ“ 1848, № 9, стр. 145—226.

сенъ въ одномъ изъ „московскихъ сборниковъ". По смерти Кирѣевскаго забота объ изданіи его сборника выпала на долю московскаго Общества любителей россійской словесности, которое поручило его г. Безсонову. Отношеніе г. Безсонова къ этому дѣлу было двоякое: съ одной стороны онъ повидимому положилъ не мало труда на приведеніе въ порядокъ сборника и дополненіе его варіантами; съ другой онъ снабдилъ сборникъ множествомъ своихъ объясненій. Тѣ изъ этихъ объясненій, которыя посвящены предметамъ чисто историческимъ, напримѣръ разъясненію сюжетовъ историческихъ пѣсенъ, разбору прежнихъ собраній и т. п., весьма любопытны и полезны; но другія, гдѣ г. Безсоновъ хотѣлъ быть истолкователемъ древняго русскаго эпоса, быта, миѳологіи и народнаго міросозерцанія, представляютъ нѣчто крайне странное и совсѣмъ не принадлежатъ наукѣ, какъ скажемъ далѣе.

Сборникъ Кирѣевскаго составляетъ одинъ изъ основныхъ, богатѣйшихъ памятниковъ русской этнографіи. Содержаніе его слѣдующее:

„Пѣсни, собранныя П. В. Кирѣевскимъ. Изданы Обществомъ Любителей Россійской Словесности". М. 1860—1874. 10 выпусковъ.

I. Пѣсни былевыя. Время Владимірово. Выпускъ 1. Илья Муромецъ, богатырь-крестьянинъ. Вып. 2: а) Добрыня Никитичъ, богатырь-бояринъ; б) Богатырь Алеша Поповичъ; в) Василій Казиміровичъ, богатырь-дьякъ. Вып. 3. Богатыри: Иванъ Гостиный Сынъ; Иванъ Годиновичъ; Данило Ловчанинъ; Дунай Ивановичъ; Дюкъ Степановичъ и др. Вып. 4, дополнительный. Богатыри: Илья Муромецъ, Никита Ивановичъ, богатырь Потокъ, Ставръ Годиновичъ, Соловей Будиміровичъ и др.

II. Пѣсни былевыя. Вып. 5: Новгородскія и княжескія. Вып. 6: Пѣсни былевыя, историческія. Москва. Грозный царь Иванъ Васильевичъ. Вып. 7: Москва. Отъ Грознаго до царя Петра I-го.

III. Пѣсни былевыя и историческія. Вып. 8: Русь Петровская. Государь царь Петръ Алексѣевичъ. Вып. 9: Восемнадцатый вѣкъ въ русскихъ историческихъ пѣсняхъ послѣ Петра I-го. Вып. 10: Нашъ вѣкъ въ русскихъ историческихъ пѣсняхъ.

(Рецензія Ор. Миллера въ отчетѣ о 18-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, 1876).

Далѣе, важные труды по собиранію произведеній народной поэзіи и старой поэтической литературы принадлежатъ Елпидифору Васил. Барсову. Онъ началъ ихъ въ первыхъ 1860-хъ годахъ въ Петрозаводскѣ, гдѣ онъ былъ учителемъ (окончивъ курсъ, кажется, въ петербургской духовной академіи) и гдѣ онъ познакомился съ П. Н. Рыбниковымъ. Повидимому подъ вліяніемъ этого послѣдняго образовались тѣ вкусы къ изученію этнографіи, которые съ тѣхъ поръ не покидали г. Барсова. Съ начала 1860-хъ годовъ и до послѣдняго времени онъ издалъ массу отдѣльныхъ изслѣдованій и особливо матеріаловъ по русской исторіи и этнографіи: въ Олонецкомъ краѣ,

гдѣ онъ провелъ нѣсколько лѣтъ, послѣ трудовъ Рыбникова оставались еще богатые запасы народнаго творчества и г. Барсовъ, какъ послѣ Гильфердингъ, извлекли отсюда новыя изобильныя пріобрѣтенія въ памятникахъ народной поэзіи; здѣсь открывалась и другая область изученій—исторія и литература раскола. Въ 1870, г. Барсовъ приглашенъ былъ на службу въ Москву при Румянцовскомъ музеѣ: здѣсь онъ принялъ дѣятельное участіе въ работахъ московскихъ ученыхъ обществъ, былъ одно время секретаремъ Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, принималъ дѣятельное участіе въ работахъ по устройству антропологической выставки (по этнографическому отдѣлу), а впослѣдствіи избранъ былъ секретаремъ Общества исторіи и древностей, каковымъ состоялъ до послѣдняго времени. Еще въ Петрозаводскѣ онъ началъ собираніе рукописей (сначала по исторіи Олонецкаго края), которое продолжалъ и въ Москвѣ, и у него собралась, наконецъ, обширная и, какъ говорятъ, замѣчательная библіотека, гдѣ между прочимъ находится едва-ли не единственная въ своемъ родѣ коллекція раскольничьей литературы и матеріаловъ для исторіи раскола. Отсюда издано было имъ большое количество историческихъ матеріаловъ (въ особенности въ „Чтеніяхъ" московскаго Общества исторіи и древностей). Къ сожалѣнію, рукописное собраніе, въ которомъ повидимому представлены всѣ обычные отдѣлы старой письменности, остается до сихъ поръ не описаннымъ. Не останавливаясь на чисто историческихъ и археологическихъ работахъ г. Барсова и матеріалахъ этого рода, имъ изданныхъ, укажемъ лишь то, что́ въ его трудахъ относится ближайшимъ образомъ къ этнографіи. Главный трудъ его въ этомъ отношеніи составляютъ „Причитанія сѣвернаго края" (два тома, 1872—82)—первое и единственное по богатству собраніе этого рода произведеній, которое, дополняя съ новой стороны сборники Рыбникова и Гильфердинга, было опять свидѣтельствомъ свѣжаго, уцѣлѣвшаго до сихъ поръ народнаго творчества въ сѣверномъ краѣ и чрезвычайно любопытнымъ матеріаломъ для изученія природы этого творчества [1]).

[1]) Первые труды г. Барсова, состоявшіе въ этнографическихъ описаніяхъ и матеріалахъ, помѣщались въ олонецкихъ мѣстныхъ изданіяхъ:—Петрозаводскія свадебныя пѣсни (Олонецкія губ. Вѣдомости, 1867, № 1—4); Загадки Обонежскаго народа (тамъ же, № 1); Свадебныя причитанія Каргопольскаго уѣзда (№ 3, 4, 25, 26); Свадебныя причитанія Пудожскаго уѣзда (№ 6, 9); Отдача сына въ рекруты (№ 10); Заплачка о семинаристахъ, утонувшихъ въ Онегѣ озерѣ (№ 30); Заговоры и пословицы обонежскаго народа (№ 1—32); Черты изъ жизни олончанъ (№ 1); Славленіе и святочныя увеселенія (№ 2); Изъ обычаевъ обонежскаго народа. Увеселенія на масляницѣ (№ 8); Изъ обычаевъ Обонежскаго народа: 1) Празднованіе Ильина дня въ Канакшанскомъ приходѣ; 2) Празднованіе Рождества Богородицы на Лепшѣ; 3) Празднованіе св. Модеста и Власія и Троицына дня въ Нименскомъ приходѣ

Собираніе произведеній народной поэзіи ревностно совершалось въ разныхъ направленіяхъ и въ разныхъ концахъ Россіи. Назовемъ извѣстные сборники: Варенцова (сборникъ духовныхъ стиховъ и пѣ-

4) Празднованіе Ивана Купалы въ деревнѣ Остречьѣ (Памятная книжка Олонецкой губерніи, 1867).

— Олонецкія былины и духовные стихи (въ „Олонецк. Губ. Вѣд." 1867): Чурилушко Пленковичъ, Казань-городъ (№ 16); Софья, Георгій Храбрый (№ 14); Аника воинъ, Алексѣй Божій человѣкъ, Лазарь праведный (№ 12); Пустыня (№ 14); Сонъ Богородицы и Страшный судъ (№ 11); О двѣнадцати пятницахъ, (1868 г., № 31).

— Преданія о панахъ: 1) Крестовый и Пелій мысы въ Онежскомъ озерѣ; 2) Преданія о чуди и язычникахъ; 3) Паны, Литва (Памятная книжка Олон. губерніи, 1867 г.).

— Сказка объ Алешѣ Голопузомъ, легенда объ Иванѣ купецкомъ сынѣ („Пѣсни", Рыбникова, т. IV, стр. 209, 234).

— Олонецкія бытовыя пѣсни (Олонецкія губ. Вѣд. 1868, № 24—27, 33). Песьянцы-слѣпцы (тамъ же, № 51). Погребальный плачъ на могилѣ отца (№ 45). Народныя суевѣрія и заговоры (№ 93—94). Знаменитая олонецкая вытница (тамъ же, 1870, № 62).

— Причитанія сѣвернаго края. Два тома, 1872—82. Томъ I: плачи погребальные, надгробные и надмогильные. Т. II: плачи завоенные, рекрутскіе и солдатскіе. Остается еще неизданнымъ третій томъ, заключающій плачи свадебные, рукобитные, разлучные, баенные и предвѣнечные. Первые томы были удостоены академической преміи и золотой медали отъ Геогр. Общества.

„Причитанія" вызвали спеціальное изслѣдованіе А. Веселовскаго: Die russische Todtenklagen, въ „Russische Revue", 1873, и рецензію Л. Майкова въ Журн. мин. просв. 1872, декабрь; 1882, октябрь.

— Петръ Великій въ народныхъ преданіяхъ сѣвернаго края („Бесѣда", 1872, кн. V).

— Петръ Великій въ сказкахъ сѣвернаго края (Труды Этногр. Отдѣла моск. Общества ест., антр. и этнографіи, кн. IV).

(Объ этомъ статья: La légende de Pierre le Grand dans les chants populaires et les contes de la Russie, par Alfred Rambaud, въ Revue d. d. Mondes, 1873).

— О свадебныхъ обычаяхъ въ Олонецкой губерніи („Бесѣда", 1872, кн. VI).

— Статьи о русской народной пѣснѣ въ музыкальномъ отношеніи, по поводу первыхъ концертовъ Славянскаго въ Москвѣ („Соврем. Извѣстія", 1872).

— Въ Трудахъ Общества естеств., антр. и этнографіи, по этнографическому отдѣлу: Сѣверныя сказанія о Лембояхъ и Удѣльницахъ; Замѣтки изъ этнографіи сѣвернаго края и пѣсня о Литовскомъ погромѣ; Юрьевъ день; Обзоръ этнографическихъ данныхъ, помѣщенныхъ въ разныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1873 годъ (кн. III, вып. I). Обряды, наблюдаемые при рожденіи и крещеніи дѣтей на рѣкѣ Орели (кн. IV).

— Памятники народнаго творчества въ Олонецкой губерніи (Записки Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи, т. III, 1873).

— Очерки народнаго міровоззрѣнія и быта (Древняя и Новая Россія, 1876, кн. 2).

— Сѣверныя преданія о древне-русскихъ князьяхъ и царяхъ (Др. и Нов. Рос., 1877, № 9).

— Критическія замѣтки объ историческомъ и художественномъ значеніи Слова о полку Игоревѣ (Вѣстн. Евр., 1878, октябрь и ноябрь).

сенъ самарскаго края), сборники г. Безсонова, небольшіе, но цѣнные сборники Худякова [1]), сборники загадокъ, заговоровъ—Саловникова, Л. Майкова; множество сборниковъ мѣстныхъ, выходившихъ отдѣльными книгами или помѣщенныхъ въ мѣстныхъ изданіяхъ: памятныхъ книжкахъ, сборникахъ статистическихъ комитетовъ и т. д., которые будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ.

Въ то же время размножаются труды по изученію книжной ста-

— Въ „Трудахъ“ комитета по устройству московской антропологической выставки г. Барсовымъ составлены были: Программа собиранія этнографическихъ предметовъ для этнографическаго отдѣла моск. антроп. выставки, 1878, и Описаніе этногр. коллекцій, входившихъ въ составъ этого отдѣла выставки, 1879.

— Народная молитва архангеламъ и ангеламъ XVII вѣка („Чтенія“ моск. Общ. исторіи и древн. 1883, кн. I).

— Собственныя имена Архангельской Самояди XVII вѣка („Чтенія“, 1883, кн. II).

— Акты съ этнографическими указаніями (тамъ же, 1883, кн. I; 1884 г., кн. III –IV).

— Сказаніе XVII вѣка о кладахъ въ (нынѣшнихъ) московской и смоленской губерніяхъ („Чтенія“, 1886, кн. II).

— Сонъ Богородицы въ живомъ народномъ пересказѣ; народныя молитвы, утренняя и вечерняя (тамъ же, кн. III).

— Народныя преданія о міротвореніи (тамъ же, кн. IV).

— Слово о полку Игоревѣ, какъ художественный памятникъ Кіевской дружинной Руси. Три тома, 1887—90.

— Изъ рукописей извлечены слѣдующіе памятники старинной книжной повѣсти, апокрифической легенды и народнаго эпоса:—„Акиръ премудрый во вновь открытомъ сербскомъ спискѣ XVI вѣка, съ предисловіемъ („Чтенія“, 1886, кн. III).—О Тиверіадскомъ морѣ (тамъ же, кн. I).—Богатырское слово въ спискѣ начала XVII в. (Записки Академіи Наукъ, т. XL).

— Упомянемъ еще статью: О воздѣйствіи апокрифовъ на церковный обрядъ и иконопись, въ „Журн. мин. просв.“, т. CCXLII, и изданія старой ученой переписки, доставляющей матеріалы для исторіи нашей этнографіи, какъ переписка канцлера гр. Румянцова, проф. И. Д. Бѣляева съ разными учеными, достопримѣчательная переписка Бодянскаго и Максимовича (въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ. Истор. и древностей).

Обзоръ дѣятельности г. Б. и списокъ его сочиненій см. въ „Запискѣ объ ученыхъ трудахъ Е. В. Барсова. Составилъ Дм. Цвѣтаевъ, приватъ-доцентъ Имп. моск. университета“: М. 1887.

[1]) Иванъ Ал. Худяковъ былъ сыномъ смотрителя уѣзднаго училища въ Тобольскѣ, учился сначала въ тобольской гимназіи, потомъ въ 1860-хъ годахъ въ казанскомъ и московскомъ университетахъ и тогда же сталъ издавать сборники народной поэзіи—пѣсни, сказки и т. п., а также книжки для народнаго чтенія. Въ тѣ же годы онъ привлеченъ былъ къ процессу по политическому преступленію и сосланъ въ Сибирь, гдѣ и умеръ въ Иркутскѣ въ больницѣ умалишенныхъ въ 1877. Послѣднимъ трудомъ его былъ „Верхоянскій сборникъ“, изданный Восточно-сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества (Иркутскъ, 1890), гдѣ въ предисловіи приведены біографическія указанія.

рины въ тѣхъ ея произведеніяхъ, которыя имѣли ближайшее отношеніе къ живому донынѣ народному преданію и вообще къ образованію народнаго міровоззрѣнія. Мы видѣли, что изученія этого рода были начаты еще г. Буслаевымъ, который въ своихъ трудахъ далъ множество указаній на тѣснѣйшую связь старой письменности съ различными областями народной поэзіи, впервые разработывалъ въ этомъ смыслѣ старыя житія (Петра и Февроніи Муромскихъ, Петра царевича ордынскаго, Меркурія Смоленскаго, житія новгородскія, владимірскія, московскія), литературу иныхъ легендарныхъ сказаній, азбуковниковъ, травниковъ и пр. Мы указывали, какое множество подобныхъ памятниковъ было издано и получало первое истолкованіе въ замѣчательныхъ изданіяхъ г. Тихонравова. Съ тѣхъ поръ сдѣлано было еще нѣсколько собраній и изданій этой литературы. Такъ нѣсколько произведеній ея было издано Срезневскимъ въ его пересмотрѣ малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятниковъ старо-славянской и русской письменности, Костомаровымъ въ его „Памятникахъ старинной русской литературы"; цѣлый рядъ ихъ явился въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности, основаннаго княземъ П. П. Вяземскимъ, московскаго Общества исторіи и древностей. Извѣстный, рано умершій, археографъ, Андрей Никол. Поповъ, напечаталъ нѣсколько замѣчательныхъ древнихъ текстовъ подобнаго рода въ „Описаніи" рукописной библіотеки московскаго купца Хлудова, куда между прочимъ поступили многія важныя южнославянскія рукописи изъ собранія Гильфердинга. Къ изданію текстовъ присоединяются изслѣдованія. Таковы были въ 1860-хъ годахъ изысканія Аѳанасія Прок. Щапова (1830—1876): сибирякъ родомъ, сынъ бѣднаго деревенскаго дьячка въ восточной Сибири, воспитанникъ, а потомъ профессоръ казанской духовной академіи, а также университета, онъ началъ упомянутымъ выше изслѣдованіемъ о происхожденіи и значеніи русскаго старообрядства и, продолжая послѣ заниматься его исторіей, Щаповъ обращалъ въ особенности вниманіе на мало замѣчаемую прежде бытовую сторону въ русскомъ расколѣ. Хотя вслѣдствіе особеннымъ образомъ сложившихся условій его жизни, онъ не могъ дать своимъ изслѣдованіямъ достаточно выработанной формы, въ нихъ разбросано много весьма цѣнныхъ указаній, которыя и донынѣ не получили еще надлежащаго историческаго развитія въ литературѣ о расколѣ, и народномъ бытѣ вообще. Между прочимъ, въ казанской духовной академіи Щаповъ имѣлъ подъ руками перенесенную туда богатую библіотеку Соловецкаго монастыря, нѣкогда какъ и донынѣ полу-народнаго, а въ XVII вѣкѣ кромѣ того и полу-старообрядческаго, и въ рукописяхъ этой библіотеки Щаповъ между прочимъ вычиталъ массу характерныхъ произведеній полународной апокрифической ле-

генды, которыя внесъ въ свои „Очерки народнаго міросозерцанія, православнаго и старообрядческаго“, гдѣ сдѣлана попытка цѣльной реставраціи этого міросозерцанія, остающаяся понынѣ одинокою [1]). Соловецкія рукописи [2]) послужили основаніемъ для трудовъ другого казанскаго ученаго, г. Порфирьева, автора извѣстной книги по исторіи русской литературы [3]). Назовемъ еще изслѣдованія П. А. Лавровскаго [4]), В. Сахарова, М. Альбова, Мансветова [5]). Памятники этого рода обратили на себя вниманіе и въ южной и западно-славянской литературѣ: важные матеріалы, находящіеся въ связи съ древне-русскими памятниками апокрифической легенды, изданы были Новаковичемъ, Ягичемъ (хорватскія „Starine“, „Archiv für slavische Philologie“), Калужняцкимъ и др. Дальше мы встрѣтимся съ изслѣдованіями, которыя получили богатую пищу въ этомъ матеріалѣ.

Въ 1860-хъ годахъ еще продолжаетъ господствовать миѳологическій пріемъ въ объясненіи древняго русскаго эпоса, но рядомъ съ нимъ высказываются и другія точки зрѣнія, иногда совершенно неожиданныя,—между прочимъ заявлены были сомнѣнія, которыя какъ бы указывали необходимость новаго пересмотра прежнихъ положеній.

Отмѣтимъ прежде всего точку зрѣнія, которую можно назвать исторической. Она беретъ былины въ ихъ прямомъ смыслѣ, не сомнѣ-

---

[1]) См. біографію, составленную Н. Я. Аристовымъ: „Аѳанасій Прок. Щаповъ. Жизнь и сочиненія“. Спб. 1883 (здѣсь и подробный списокъ его сочиненій). Некрологъ, въ Вѣстн. Евр., 1876.

[2]) Теперь выходитъ подробное „Описаніе рукописей Соловецкой библіотеки, находящейся въ библіотекѣ казанской духовной академіи“. Два тома. Казань 1881—85.

[3]) Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Казань, 1873.

— Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой библіотеки,—въ „Сборникѣ“ II Отдѣленія Акад. т. XVII, 1877.

— „Апокрифическія молитвы по рукописямъ Соловецкой библіотеки“, и „О Соловецкой библіотекѣ, находящейся нынѣ въ Казанской духовной академіи“, въ Трудахъ IV Археологическаго съѣзда въ Казани, 1878.

[4]) Обозрѣніе ветхозавѣтныхъ апокрифовъ, въ „Духовн. Вѣстникѣ“, 1864, т. IX.

[5]) Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древне-русской письменности и вліяніе ихъ на народные духовные стихи. Изслѣдованіе В. Сахарова, Тула, 1879.

— Апокрифическія и легендарныя сказанія о Пресв. Дѣвѣ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси. Сочиненіе Владиміра Сахарова, s. l. et a. (Изъ „Христ. Чтенія“, 1888, № 11—12. Спб. и Тула).

— Объ апокрифическихъ евангеліяхъ. Свящ. М. Альбова, въ Христ. Чтеніи, 1872.

— Происхожденіе міра и человѣка и послѣдующая ихъ судьба по изображенію древнихъ римскихъ поэтовъ: Сивиллины книги,—Глоріантова, въ Христ. Чтеніи, 1878.

— И. Мансветовъ, Византійскій матеріалъ для сказанія о двѣнадцати трясавицахъ. Москва, 1881.

ваясь въ принадлежности ихъ перваго созданія той исторической порѣ, къ которой относятся ея герои, и старается объяснить, какъ историческая основа отразилась въ поэтическомъ изображеніи. Это непосредственное толкованіе представлялось вполнѣ естественнымъ для произведеній, привязанныхъ къ историческому центру, какъ Кіевъ или Новгородъ, съ героями, группированными вокругъ историческаго князя и частію носящими имена, извѣстныя лѣтописи. Такъ смотрѣлъ на былины издатель „Древнихъ стихотвореній" Кирши Данилова и за нимъ всѣ историки литературы до появленія миѳологической школы (Бѣлинскій, Катковъ). Объясненіе вопроса было, однако, необходимо, и изъ новыхъ изслѣдователей его поставилъ снова г. Майковъ.

Леонидъ Никол. Майковъ (род. 1839), питомецъ петербургскаго университета, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ 1860, одно время работалъ въ центральномъ статистическомъ комитетѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, съ конца 1860-хъ годовъ вступилъ въ редакцію журнала министерства просвѣщенія, котораго послѣ былъ редакторомъ, а съ 1882 состоитъ помощникомъ директора Публичной Библіотеки. Послѣ магистерской диссертаціи о древнемъ русскомъ эпосѣ, 1863, онъ издалъ много изслѣдованій по этнографіи, а особливо по исторіи литературы, старой и новѣйшей (здѣсь наиболѣе важнымъ было критическое изданіе Батюшкова). Издавна онъ работалъ въ Географическомъ Обществѣ, гдѣ съ 1872 до 1886 былъ предсѣдателемъ этнографическаго отдѣленія: подъ его редакціей вышли нѣсколько томовъ „Записокъ по отдѣленію этнографіи" (т. II, III, VI), и онъ принималъ участіе въ изданіи „Географическаго Словаря". Въ ряду трудовъ этнографическихъ особливо цѣннымъ было собраніе великорусскихъ заклинаній, частію по матеріаламъ Общества, частію по множеству небольшихъ сборниковъ, разсѣянныхъ по изданіямъ провинціальнымъ. Важны также его изслѣдованія о значеніи народной поэзіи въ средѣ самаго быта, о характерѣ народныхъ пѣвцовъ, о старыхъ записяхъ народной поэзіи (въ XVII столѣтіи), объ отношеніи старыхъ книжниковъ къ народной поэзіи и тѣхъ измѣненіяхъ, какимъ подвергались ея произведенія въ народной памяти. Работы историко-литературныя также имѣли иногда отношеніе къ этнографіи, какъ напр. его работы о старой полу-народной повѣсти [1]).

---

[1]) Записка объ ученыхъ трудахъ его, г. Веселовскаго, въ „Сборникѣ" 2 отдѣленія Академіи, т. XLVI, 1890, стр. VII—XII; біографическія свѣдѣнія въ „Нивѣ", 1889, № 11.

Слѣдующіе труды г. Майкова имѣютъ отношеніе къ этнографіи:

— О былинахъ Владимірова цикла. Изслѣдованіе на степень магистра русской словесности. Спб. 1863.

Русскій народный эпосъ,—по выводамъ г. Майкова, — отвѣчаетъ нѣсколькимъ періодамъ исторической жизни русскаго народа и можетъ быть раздѣленъ на нѣсколько цикловъ, которые болѣе или менѣе полно отражаютъ въ себѣ бытъ и понятія даннаго періода. Былины Владимірова цикла изображаютъ кіевскій удѣльный періодъ. Содержаніе ихъ выработывалось въ продолженіе X, XI и XII вѣковъ, а установилось не позднѣе XIV вѣка, когда въ народѣ была еще свѣжа память о первенствующемъ значеніи Кіева. Авторъ разсматриваетъ содержаніе былинъ по ихъ даннымъ историческимъ и бытовымъ, и опредѣляетъ ихъ какъ эпосъ дружинный. Кіевское происхожденіе былинъ и время составленія ихъ опредѣляются ближайшими реальными фактами: дѣйствіе былинъ происходитъ главнымъ образомъ въ Кіевѣ и около него; дѣйствующія лица иногда названы въ лѣтописи на пространствѣ X—XIII вѣковъ; въ былинахъ Владимірова цикла не видно какого-либо преобладанія Москвы.

Тѣ же заключенія о кіевской землѣ, какъ родинѣ древнѣйшаго эпоса, повторены были въ изслѣдованіи Ор. Миллера объ Ильѣ Муромцѣ, повторены были Погодинымъ, который, признавая, что былины дошли до насъ въ самомъ поврежденномъ видѣ, не сомнѣвался, что онѣ относятся къ глубокой древности и въ томъ, что мѣстомъ ихъ созданія былъ югъ, кіевская земля [1]). Къ тому же вопросу о мѣстной принадлежности былинъ возвратился потомъ Н. Квашнинъ-

— Разборъ IV тома „Пѣсенъ“ Рыбникова, въ Журн. мин. просв. 1868, № 5.

— Разборъ „Причитаній Сѣвернаго края“ Барсова, тамъ же, 1872 и 1882, и въ Отчетѣ о 28 присужденіи Уваровскихъ наградъ.

— Разборъ „Онежскихъ былинъ“, Гильфердинга, въ Журн. мин. просв. 1873, № 8.

— Замѣтка о географіи древней Руси (разборъ книги Н. Барсова: Географія начальной лѣтописи), въ Журн. мин. просв. 1874, № 7.

— Пѣвецъ былинъ въ окрестностяхъ Барнаула, въ „Извѣстіяхъ“ Геогр. Общества, 1874, № 6.

— Новыя данныя русскаго эпоса въ Заонежьи, „Др. и Новая Россія“, 1876, № 6.

— Сборникъ великорусскихъ заклинаній, въ „Запискахъ Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи“, т. II.

— Неизвѣстная русская повѣсть Петровскаго времени, въ Журн. мин. просв 1878, № 11, и отдѣльно, Спб. 1880 (повторено съ новыми объясненіями въ собраніи его историко-литературныхъ изслѣдованій).

— Предпринято имъ обозрѣніе старинныхъ рукописныхъ сборниковъ народныхъ пѣсенъ; отсюда изданъ обзоръ пѣсенъ, записанныхъ въ XVII столѣтіи, Журн. мин. просв. 1880, № 11.

— Краткое извѣстіе о народѣ Остяцкомъ, Григорія Новицкаго. Спб. 1884.

— Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 г., П. И. Челищева. Спб. 1886. (Въ изданіи Общества любителей древней письменности. Объ этомъ—„Вѣстн. Евр.“, 1886).

[1]) Журналъ мин. просв. 1870, кн. 12, стр. 155.

Самаринъ [1]). Онъ подробнѣе, нежели Майковъ, останавливается на историко-географическихъ данныхъ былины и прибавляетъ новыя соображенія объ ея герояхъ; непосредственная связь былины съ временами Владиміра и вообще до-татарской эпохой и для него не составляетъ никакого вопроса. Въ изслѣдованіяхъ г. Квашнина-Самарина есть любопытныя замѣчанія,—но нерѣдко онъ рѣшаетъ свои вопросы слишкомъ поспѣшно и произвольно [2]); укажемъ для примѣра его объясненія имени Добрыни, отождествленіе Рогдая съ Ильей Муромцемъ, обыкновенно излишнее довѣріе къ данному тексту былины, пользоваться которымъ слѣдуетъ только послѣ внимательной критической провѣрки, и т. д.

Но, хотя бы эпическія сказанія и говорили по преимуществу или исключительно о Кіевѣ и сосѣднихъ ему областяхъ, тотъ фактъ, что теперь былины сохранились только на великорусскомъ сѣверѣ и что съ теченіемъ времени несомнѣнно стерлись многія черты русскаго юга и замѣнились чертами русскаго сѣвера, приводилъ нѣкоторыхъ изслѣдователей къ заключенію, что былины, усвоивъ нѣкоторыя преданія какъ тему, собственно говоря, были созданы на сѣверѣ. По мнѣнію Костомарова, былины—„произведеніе чисто русскаго сѣвера, исключительно велико-русской вѣтви, всему малорусскому племени онѣ совершенно чужды и не знакомы... Въ нашихъ былинахъ, которыя несомнѣнно образовались въ ихъ настоящемъ видѣ только на сѣверѣ, исключительно въ великорусскомъ племени, и притомъ подъ вліяніемъ (?) иноплеменныхъ населеній, воздѣйствовавшихъ на великорусское племя, одно только относится къ кіевской древности—это собственныя имена Кіева и князя Владиміра и нѣкоторыхъ его богатырей, но затѣмъ въ былинахъ собственно кіевскаго чрезвычайно мало“ [3]). Но это не мѣшало самому Костомарову указывать въ былинномъ эпосѣ преданія самой далекой, именно кіевской старины: такъ онъ сравниваетъ лѣтописныя преданія объ Олегѣ съ чертами былиннаго Вольги или сказанія о Владимірѣ съ его изображеніемъ въ великорусской былинѣ [4]). Дальше мы еще встрѣтимся съ этимъ вопросомъ о сѣверномъ или южномъ происхожденіи былинъ.

---

[1]) Русскія былины въ историко-географическомъ отношеніи,—въ „Бесѣдѣ“ 1871, апрѣль, стр. 78—115; май, стр. 224—244.

— Его же: Новые источники для изученія русскаго эпоса. Онежскія былины, записанныя А. Ѳ. Гильфердингомъ,—въ „Р. Вѣстникѣ“, 1874, сентябрь, стр. 5—44; октябрь, стр. 768—803.

— И его же: Очеркъ славянской миѳологіи, въ „Бесѣдѣ“, 1872, апрѣль.

[2]) Это замѣчали уже гг. Буслаевъ („Сравнит. изученіе нар. быта и поэзіи“, „Р. Вѣстн.“ 1872, № 10, стр. 698—699; ср. стр. 670) и Ягичъ.

[3]) „Р. Старина“, 1877, январь, стр. 174—175.

[4]) Преданія начальной лѣтописи: „Монографіи“, т. XIII, стр. 84—166. Ср. Жданова, „Пѣсни о князѣ Романѣ“, Спб. 1890, стр. 4.

Прямымъ и усерднѣйшимъ послѣдователемъ миѳологической теоріи былъ Орестъ Ѳ. Миллеръ (1833—1889). Уроженецъ остзейскаго края, онъ кончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ въ 1855, и въ 1858 году напечаталъ магистерскую диссертацію: „О нравственной стихіи въ поэзіи на основаніи историческихъ данныхъ“, которая вызвала тогда суровыя осужденія по крайне односторонней постановкѣ вопроса: вызвала большія недоумѣнія точка зрѣнія, гдѣ нравственность поэзіи была смѣшана съ нравоучительностью и гдѣ именно недоставало исторической оцѣнки явленій. Миллеръ впослѣдствіи самъ увидѣлъ теоретическую ошибку, но у него навсегда осталась манера отыскивать и разъяснять нравоучительный смыслъ поэзіи, и такъ какъ съ этимъ соединялись, въ духѣ тогдашняго общественнаго настроенія и его личнаго религіозно-идеалистическаго характера, увлеченія народныя, стремленіе служить защитѣ достоинства и интересовъ народа, то изъ тогдашнихъ литературныхъ направленій онъ примкнулъ къ славянофильству. Ему казалось, что именно въ этомъ ученіи находится кодексъ тѣхъ нравственныхъ и народолюбивыхъ стремленій, которымъ онъ самъ былъ преданъ съ глубокой искренностью; кажется, однако, что уже въ то время его мысли не вполнѣ сходились съ этимъ ученіемъ, а впослѣдствіи ему пришлось весьма категорически расходиться съ новѣйшими послѣдователями этой школы (его столкновенія въ петербургскомъ славянскомъ комитетѣ), съ которыми онъ не соглашался по нѣкоторымъ весьма существеннымъ пунктамъ, напримѣръ не раздѣляя ихъ національной исключительности. Въ 1862—1863, Миллеръ жилъ за границей, слушалъ лекціи въ берлинскомъ университетѣ и посѣтилъ славянскія земли. По возвращеніи, онъ началъ читать лекціи въ петербургскомъ университетѣ по исторіи русской литературы. Эта профессура заняла всю его жизнь, и увольненіе отъ каѳедры было для него тяжелымъ нравственнымъ ударомъ. Его учено-литературные труды были направлены на изслѣдованія о народной поэзіи и исторіи литературы, древней и новой, и при томъ складѣ его понятій, который мы указывали, естественно, что его работы принимали нерѣдко характеръ публицистическій. По выходѣ въ свѣтъ первыхъ томовъ собраній Рыбникова и Кирѣевскаго, Миллеръ прочелъ въ 1862-мъ году нѣсколько публичныхъ лекцій о русскихъ народныхъ пѣсняхъ, и въ эти годы предался спеціальному изученію древней русской литературы и народной поэзіи. Основнымъ результатомъ этихъ изученій былъ, во-первыхъ, опытъ по исторіи древней русской литературы (доведенный до татаръ) и, во-вторыхъ, его докторская диссертація объ Ильѣ Муромцѣ, составившая огромную книгу. Впослѣдствіи Ор. Миллеръ возвращался только изрѣдка къ вопросамъ народной поэзіи, особливо

эпоса, въ небольшихъ статьяхъ и рецензіяхъ, и работы его 1870-хъ годовъ направлены были на изученіе новѣйшей литературы и публицистику, гдѣ онъ старался развивать нравственныя начала общественности на основаніи того, чтó считалъ истиннымъ духомъ русскаго народа. Изученія древности (въ его диссертаціи объ Ильѣ Муромцѣ) съ одной стороны были развитіемъ миѳологической теоріи, особливо въ духѣ Аѳанасьева, а съ другой нравоучительно символическимъ толкованіемъ древняго эпоса, изъ котораго онъ хотѣлъ извлекать поученія и для настоящаго времени [1]).

Книга объ Ильѣ Муромцѣ представляетъ обширную разработку преданій объ этомъ былинномъ богатырѣ, гдѣ въ первый разъ собранъ большой сравнительный матеріалъ, особливо изъ нѣмецкой средневѣковой поэзіи и изъ славянскихъ эпическихъ сказаній, снабженный множествомъ миѳологическихъ объясненій. Свой комментарій авторъ желалъ представить въ особенности развитіемъ славянофильскаго взгляда на русскую древность, — это послѣднее должно относиться именно къ его нравоучительно-символическимъ толкованіямъ. Въ своей миѳологической теоріи Ор. Миллеръ, какъ мы сказали, всего ближе продолжаетъ Аѳанасьева, какъ въ объясненіяхъ нравственно-національныхъ желаетъ доставить аргументы для взглядовъ славянофильскихъ. Правда, главный трудъ Аѳанасьева началъ выходить въ одно время съ первой книгой Миллера, но послѣдній могъ уже воспользоваться 1-мъ томомъ „Поэтическихъ Воззрѣній" и ранѣе явившимися отдѣльными статьями Аѳанасьева. Вмѣстѣ съ нимъ, онъ беретъ своими миѳологическими авторитетами Куна и Шварца, Маннгардта (перваго направленія) и Макса Мюллера, и не менѣе самого Аѳанасьева находитъ удивительныхъ объясненій миѳа солнцемъ, тучами и громами. Миѳологическая точка зрѣнія доведена здѣсь до послѣдней крайности: это—послѣдняя степень преувеличенія, до какой можно было довести солнечно-небесно-грозовую теорію. Въ „Обозрѣніи" древней-русской словесности авторъ не знаетъ сомнѣній относительно миѳическаго содержанія сказокъ и эпоса: ему извѣстна теорія Бенфея, которая объясняла значительную долю въ сходствѣ сказокъ у различнѣйшихъ народовъ путемъ внѣшняго заимствованія и могла

---

[1]) Для біографическихъ свѣдѣній см. „Очеркъ научной дѣятельности профессора О. Ѳ. Миллера. Съ приложеніемъ его портрета, факсимиле и описанія празднованія 25-лѣтняго юбилея". Составилъ И. Ш. Спб. 1889.

— Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ. Біографическій очеркъ, составленный Б. Б. Глинскимъ, съ приложеніемъ портрета. Спб. 1890. (Ср. по поводу этой книжки ст. г. Скабичевскаго, „Новости", 1890, № 203).

— Списокъ сочиненій въ „Русской Мысли", 1889, сентябрь, и въ „Очеркѣ" И. Ш.

— Некрологъ, въ „Вѣстникѣ Европы", 1889, іюль.

бы умѣрить миѳологическія пристрастія, но онъ не становится оттого осторожнѣе. Авторъ безстрашно проникаетъ въ отдаленнѣйшую древность, раскрывая самыя неисповѣдимыя глубины ея миѳологическихъ представленій. Все изображеніе древности есть хитросплетенное построеніе изъ олицетвореній, метафоръ, символовъ,—въ которомъ весьма нелегко оріентироваться: объясненія такъ отважны, что читателю думается наконецъ, что построеніе можетъ рухнуть при неосторожномъ прикосновеніи критики. Въ самомъ дѣлѣ, рѣчь идетъ о такой отдаленной старинѣ, что для миѳологической науки было бы великимъ пріобрѣтеніемъ и то, если бы она смогла опредѣлить самыя общія черты, такъ сказать круглыя цифры содержанія и образованія миѳа, какъ геологія круглыми цифрами опредѣляетъ наслоенія земной коры и продолжительность геологическихъ періодовъ: вмѣсто того, какъ и у Аѳанасьева, мы получаемъ напр. объясненіе самыхъ мелкихъ подробностей сказки — какъ будто черезъ тысячелѣтія сказка пришла къ намъ въ нетронутомъ видѣ, и какъ будто для этихъ объясненій довольно было изворотливости фантазіи. Примѣровъ сказаннаго множество—на стр. 21—196 „Историческаго Обозрѣнія“ [1]).

Относительно былины принимается за несомнѣнное и развивается до крайняго предѣла то представленіе дѣла, какое мы видѣли у г. Буслаева и Аѳанасьева. Считается безспорнымъ, что „старшіе богатыри“ это—„антропоморфическіе исполинскіе (?) миѳы *тучъ*“ (Обозр., стр. 204), что бой Ильи-Муромца съ сыномъ означаетъ то, что „богъ громовникъ, производя, т.-е. порождая тучи, съ другой стороны ихъ же и истребляетъ“ (стр. 219); Соловей-разбойникъ—„не что иное какъ олицетворенная *буря* съ ея вѣтвистымъ деревомъ *тучъ* и ея грознымъ свистаньемъ“ (стр. 221); Владиміръ—подлинное „Красное солнышко“; въ Добрынѣ—„скрывается божество, въ основѣ своей соотвѣтственное германскому Одину“, и такъ далѣе. Хотя въ самомъ заглавіи книги объ Ильѣ-Муромцѣ авторъ говоритъ о „слоевомъ составѣ“ былины, но въ изслѣдованіи это не мѣшаетъ ему брать *новѣйшіе* тексты былины какъ основаніе для миѳологическихъ толкованій: полагается, что примѣрно съ X-го вѣка въ былинѣ сохранились одни и тѣ же — не только темы и сюжеты, но самые обороты рѣчи, слова и выраженія; полагается, что примѣрно въ продолженіе тысячи лѣтъ многочисленныя поколѣнія хранителей и передатчиковъ

---

[1]) Напр. баба яга=зимняя туча, зима (почему, неизвѣстно); жаръ-птица=„чрезмѣрность въ явленіяхъ свѣта и теплоты, которая становится уже пагубною“; норка звѣрь—живетъ въ пещерѣ, заваленной камнемъ, который „обыкновенно миѳически объясняется *окаменѣлостію* (?) природы въ холодное зимнее время“ и т. д. Объясненіе острова Буяна и камня-алатыря въ извѣстной формулѣ заговора (стр. 78—81) есть настоящій tour de force миѳологическаго ухищренія.

былины не внесли никакого оборота и сравненія, никакого понятія своего времени,—потому что, какъ же иначе сдѣлать выводы о „тучахъ“ и „молніяхъ“? Правда, авторъ дѣлаетъ различія: онъ считаетъ однѣ подробности миѳическими, другія—бытовыми, однѣ древними, другія новыми; но выборъ между ними часто совершенно произволенъ. Напр., въ описаніи богатырской игры оружіемъ (Илья-Мур., стр. 16—17), богатырь „наговариваетъ“ на копье, — авторъ заключаетъ, что это „отзывается отдаленнѣйшею стариною“, но почему же? Заговариванье оружія извѣстно солдатамъ и охотникамъ и по сію минуту: эта черта могла, пожалуй, быть и новымъ варіантомъ. Наговаривая такимъ образомъ, враждебный богатырь собирается „вертѣть Ильей-Муромцемъ“, какъ вертитъ своимъ копьемъ. По мнѣнію автора, въ этихъ словахъ „слышно уже воинское поддразниванье врага, т.-е. тутъ надобно видѣть черту уже *бытовую,* позднѣйшую“. Почему—совершенно неизвѣстно; очевидно, напротивъ, что эта подробность именно принадлежитъ къ заговору, какъ ожиданіе его исполненія; и затѣмъ, когда наговаривали на копья, могли *въ то же время* дѣлать и воинское поддразниваніе. Боевая потѣха, киданье вверхъ палицы, которую богатырь потомъ ловитъ—есть потѣха столь обыкновенная вездѣ и всегда, гдѣ употреблялись палицы, что припоминать Тора нѣтъ надобности. Простое сравненіе былины, что не двѣ тучи собирались, не двѣ горы сдвигались, а съѣзжались въ чистомъ полѣ два богатыря—не проходитъ у автора даромъ: оно оказывается „едва ли не прямымъ указаніемъ на миѳическое значеніе борющихся существъ“; но когда вслѣдъ затѣмъ объ Ильѣ-Муромцѣ говорится другимъ сравненіемъ, что упавши на землю онъ ворочался какъ „сѣрая утица“, авторъ не пріискалъ для утицы миѳологическаго толкованія и рѣшилъ, что „сравненіе относится къ совершенно другому и, конечно, позднѣйшему кругу“. Камень-алатырь, который въ „Обозрѣніи“ былъ уже объясненъ какъ „солнечный камень“ (?), здѣсь объясняется вновь. Въ одномъ варіантѣ былины о боѣ Ильи-Муромца съ сыномъ, послѣдній говоритъ о своемъ происхожденіи: „отъ моря я отъ студенаго, отъ камени я отъ Латыря, отъ той отъ бабы отъ Латыгорки“, и изъ этого случайнаго сопоставленія и созвучія двухъ перепорченныхъ именъ авторъ не замедлилъ вывести, что „самое имя этой бабы указываетъ на связь ея съ Латыремъ“, и оба они вмѣстѣ толкуются такъ (стр. 19): „камень латырь посреди студенаго моря, это—солнце посреди зимняго неба, солнце въ его зимнемъ, невозженномъ состояніи; баба Латыгорка, это — баба-гора (горынинка), зимняя туча, залегшая камень латырь (латыгорка), пока, наконецъ, чрезъ союзъ съ миѳическимъ существомъ, скрывающимся въ Ильѣ, она не становится снова плодоносною, лѣтнею бабою“ (!)...

Такого рода объясненіями исполнена у г. Миллера вся миѳологія былинъ [1]).

Другую сторону изслѣдованія составляютъ объясненія психологическія и моральныя. Авторъ старается опредѣлить нравственный характеръ Ильи-Муромца и другихъ героевъ былины, какъ повидимому ни затруднительно было бы опредѣлять нравственныя свойства тучи, грозы, солнца и дождя. Въ заключеніе объясняется народно-бытовое значеніе нашего эпоса, и миѳологія переходитъ въ публицистику, въ томъ нравоучительно-символическомъ направленіи, какое мы указывали. Авторъ желаетъ установить настоящую русскую точку зрѣнія, которая должна имѣть мѣсто въ нашей наукѣ и современной общественности, и изобличаетъ въ томъ и другомъ не русскія, нѣмецкія (въ дурномъ смыслѣ) поползновенія: не мудрено, что при этомъ г. Стасовъ, съ его теоріей происхожденія былинъ, оказался нѣмцемъ (стр. 674); удивительнѣе, что не вполнѣ русскимъ является даже Стоюнинъ (стр. 813).

Въ разборахъ книги Ор. Миллера [2]) г. Буслаевъ, отмѣтивъ большія заслуги автора въ сложномъ изслѣдованіи—внимательномъ изученіи текстовъ, подборѣ сравнительнаго матеріала, въ стараніи установить различные элементы древняго эпоса, указалъ вмѣстѣ и недостатки, которые сводятся особливо къ недостаткамъ метода. Г. Буслаевъ не былъ особенно пораженъ упомянутыми выше миѳологическими преувеличеніями; онъ признавалъ, что миѳологія природы и сказочныя или эпическія формулы должны служить средствомъ объясненія, и находилъ, что въ книгѣ Миллера онѣ приводили къ „самымъ удовлетворительнымъ результатамъ", тѣмъ не менѣе критикъ замѣтилъ, что въ изслѣдованіи элементы объясненія миѳологическаго и историческаго обозначены такъ неясно, что производятъ путаницу: герои былины являются то небесными явленіями, то историческими лицами, и именно слои эпическаго творчества остаются не раздѣленными [3]). Указывая далѣе, что дѣйствующія лица въ ми-

[1]) Укажемъ еще лишній примѣръ, на стр. 275—277, гдѣ идетъ рѣчь о „взаимныхъ миѳическихъ отношеніяхъ Ильи, Соловья и Владиміра".

[2]) Въ Журн. мин. прос. 1871, апрѣль, и въ отчетѣ о 14-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ. Спб. 1872.

[3]) „Въ интересахъ автора,—говоритъ г. Буслаевъ,—мнѣ казалось необходимымъ прочнѣе и тверже установить тотъ древнѣйшій, собственно русскій слой, который наши былины наложили на эту неустановившуюся, колеблющуюся подъ ногами изслѣдователя миѳологическую массу, сложенную изъ хаотической смѣси свѣта и тьмы, тепла и холода, тучъ и дождей, и прочихъ элементовъ, по рубрикамъ которыхъ миѳологія природы распредѣляетъ свой матеріалъ. Каково бы ни было первоначальное миѳическое значеніе горъ и рѣкъ, но онѣ уже перестали быть тучами и дождями, какъ только русскій народъ сталъ слагать свои древнѣйшія сказанія, лѣтописныя и мѣстныя".

ѳахъ природы являются существами безсознательными, стоящими внѣ человѣческихъ нравственныхъ понятій, между тѣмъ они руководятся этими понятіями въ качествѣ лицъ бытовыхъ, историческихъ, и самъ Илья-Муромецъ чествуется въ книгѣ Миллера какъ образецъ высокой нравственности, г. Буслаевъ замѣчаетъ, что „авторъ недостаточно анализировалъ эту смѣсь, и именно по той причинѣ, что не провелъ болѣе замѣтной, болѣе точной черты между ранними, миѳологическими слоями и позднѣйшими, бытовыми и историческими, и между данными общесравнительными и мѣстными, національно-русскими". Отсюда выходило нерѣдко, что авторъ находилъ миѳологію тамъ, гдѣ ея совсѣмъ не было. Когда въ былинѣ Илья-Муромецъ мостилъ мосты, Ор. Миллеръ толковалъ, что эти мосты означаютъ радугу; г. Буслаевъ объясняетъ, что это просто мостовая изъ бревенъ, положенныхъ на трясину для проведенія прямоѣзжей дороги, о чемъ самая былина говоритъ совершенно отчетливо: это была существенная потребность быта, когда еще не устроены были дороги, и „мостить мосты" стало давно эпическою формулою, например даже въ Словѣ о полку Игоревѣ. Выше мы указывали другіе примѣры подобнаго рода.

Миллеру никакъ не хотѣлось, чтобы слово „богатырь" было монгольскаго происхожденія, и онъ считаетъ такую этимологію какъ бы дѣломъ нѣмецкаго недоброжелательства; г. Буслаевъ подтверждаетъ, что слово взято именно у татаръ, и указываетъ притомъ, что употребленіе его въ былинѣ должно быть сопоставлено съ употребленіемъ его въ лѣтописи, гдѣ оно вошло именно въ монгольскомъ періодѣ. Г. Буслаевъ объясняетъ далѣе, что многія миѳологическія толкованія гораздо проще могли быть замѣнены ближайшимъ сличеніемъ съ памятниками письменными.

Относительно общихъ выводовъ Ор. Миллера, критикъ замѣчаетъ, что указаніе „цѣльности" нашего эпоса могло быть достигнуто только пониманіемъ его „во всей его первоначальной, органической цѣлости, какъ онъ является въ лѣтописныхъ сказкахъ, житіяхъ святыхъ, мѣстныхъ преданіяхъ, въ названіяхъ урочищъ и проч.; былины составляютъ только часть этого *цѣлаго*, которое и должно быть собственно названо русскимъ народнымъ эпосомъ". Критикъ отвергаетъ характеристику нашего древняго эпоса какъ „простонароднаго"; г. Буслаевъ справедливо указываетъ, что если усмотрѣть тѣсную связь нашей былинной поэзіи съ лѣтописью, легендами и другими памятниками старой письменности, то и всѣ послѣдніе пришлось бы называть простонародными: „только въ послѣднія полтора столѣтія онѣ могли внести въ свое содержаніе нѣкоторую простонародную рознь, первоначальные же онѣ были столько же *народны*,

а не простонародны"—какъ старыя лѣтописи и легендарныя сказанія. Наконецъ Ор. Миллеръ говорилъ о результатахъ своихъ розысканій: „мнѣ удалось убѣдиться въ томъ, что основныя заключенія о нашемъ эпосѣ нашихъ писателей народнаго направленія—вполнѣ справедливы. Я радостно признаю себя ихъ *ученикомъ* и желалъ бы остаться ихъ вѣрнымъ послѣдователемъ и, по мѣрѣ силъ моихъ, однимъ изъ подражателей ихъ великаго дѣла". Г. Буслаевъ замѣчаетъ: „авторъ, съ изумительною скромностію, называетъ себя ученикомъ и вѣрнымъ послѣдователемъ славянофиловъ; между тѣмъ какъ все достоинство его книги составляетъ такое дѣло, которымъ славянофилы меньше всего занимались, именно сравнительное изученіе нашего эпоса, самое обстоятельное и самое добросовѣстное".

Ор. Миллеру тогда и впослѣдствіи казалось, что славянофильство есть лучшее представительство и защита достоинства русскаго народа, что въ немъ заключается наилучшее пониманіе народной личности. По мнѣнію К. Аксакова, лучшій русскій человѣкъ былъ крестьянинъ, и Ор. Миллеръ находилъ образъ этого лучшаго человѣка именно въ крестьянинѣ Ильѣ-Муромцѣ; крестьянство у славянофиловъ противополагалось испорченному обществу, наилучшее народное есть крестьянское, и Ор. Миллеръ также указывалъ лишнюю похвальную черту древняго эпоса въ томъ, что это—эпосъ простонародный. Нѣтъ сомнѣнія, что для него не менѣе если не болѣе научнаго изслѣдованія важенъ былъ нравоучительный выводъ, который изъ него долженъ былъ слѣдовать,—и притомъ выводъ былъ уже готовъ заранѣе [1]).

[1]) Укажемъ работы Ор. Миллера, имѣющія отношеніе къ этнографіи и къ вопросу народности:

— Статьи въ журналѣ „Учитель", по исторіи древней русской литературы (до татаръ), которые дополнены были впослѣдствіи нѣсколькими главами о народной поэзіи и составили книгу:

— Опытъ историческаго обозрѣнія русской словесности, ч. I, вып. 1 (отъ древнѣйшихъ временъ до татарщины). Изданіе второе, передѣланное и дополненное тремя новыми главами (съ принадлежащей сюда христоматіей). Спб. 1865 (на обложкѣ 1866).

— Народное направленіе въ преподаваніи и изученіи отечественнаго языка, въ газетѣ „День", 1864 (по поводу книги Ушинскаго: „Родное Слово").

— Русскій народный эпосъ передъ судомъ г. Соловьева, въ „Библ. для чтенія" 1864, кн. 3-я (по поводу XIII-го тома „Исторіи Россіи").

— Разборъ „Нар. сказокъ" Аѳанасьева, въ 34-мъ присужденіи Демидовскихъ наградъ, 1865.

— Сборники по народной русской словесности за 1866 годъ, въ „Журн. мин. просв." 1867, кн. 1—3.

— Олонецкія губ. Вѣдомости за 1867 годъ, въ „Журн. мин. просв." 1868, кн. 3-я.

Какъ мы видѣли выше, главный писатель славянофильской школы, который бралъ на себя объясненіе историческихъ, гражданскихъ и нравственныхъ достоинствъ древней Руси, К. Аксаковъ, только мимоходомъ касался собственно этнографическаго объясненія народной поэзіи и въ частности эпоса. Настоящимъ истолкователемъ идей

— Ссора Ильи-Муромца съ княземъ Владиміромъ, въ „Зарѣ", 1869, кн. 2-я.

— Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья-Муромецъ и богатырство кіевское. Спб. 1869 (на обложкѣ 1870). Больш. 8°; XXVII, 830, XXII (указатели) стр.

— Вступительная рѣчь передъ защитой диссертаціи, въ „Зарѣ", 1870, февраль.

— Объ изслѣдованіи Вейнберга: Русскія народныя пѣсни объ И. В. Грозномъ (въ „Голосѣ", 1872, № 97).

— Нѣчто о русскихъ свадебныхъ пѣсняхъ, въ „Филолог. Запискахъ", Воронежъ, 1872, кн. IV, по поводу статьи Костомарова.

— О сборникѣ пѣсенъ Гильфердинга („Рус. Старина", 1873, кн. 7-я).

— Двѣ лекціи по народной словесности, въ „Филологич. Запискахъ", 1874, кн. 1-я.

— Къ вопросу о былинахъ и думахъ, въ „Спб. Вѣдомостяхъ" 1874, № 265, по поводу чтенія о нихъ на Кіевскомъ археологическомъ съѣздѣ; а самый рефератъ „о великорусскихъ былинахъ и малорусскихъ думахъ" изданъ въ „Трудахъ 3-го археолог. съѣзда въ Россіи", Кіевъ, 1878, ч. II.

— Письмо редактору „Голоса" („Спб. Вѣдом." 1874, № 272; „Голосъ" № 270) о томъ же; Послѣдняя отповѣдь „Голосу" („Спб. Вѣд." № 274); Отвѣтъ „Кіевлянину" („Кіевскій Телеграфъ" № 125).

— Малорусскія народныя думы и кобзарь Вересай („Др. и Новая Россія", 1875, № 4).

— Предисловіе и примѣчаніе къ письму М. П. Драгоманова о слѣдахъ великорусскаго эпоса въ Малороссіи (тамъ же, № 9).

— О древне-русской литературѣ по отношенію къ татарскому игу (тамъ же, 1876, № 5).

— О воспитательномъ значеніи отечественнаго слова („Педагогическій Музей", 1876, № 7).

— О сборникѣ пѣсенъ Кирѣевскаго, въ XVIII-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, 1876.

— О сборникѣ пѣсенъ Шейна (тамъ же).

— О воспитательномъ значеніи народной словесности („Педагог. Музей", 1877, ноябрь).

— Былины; историческія пѣсни (главы во 2-мъ изданіи „Исторія р. словесности", Галахова).

— Новые домыслы ученія о заимствованіяхъ, въ „Филол. Вѣстникѣ", Колосова, 1879, кн. 4-я).

— О былинахъ и ихъ сказителяхъ, въ „Сборникѣ Археологич. Института", 1880, ч. 3-я.

— Славянофилы и западники въ ихъ отношеніяхъ къ малорусской народности („Извѣстія" Слав. Общества, 1884, октябрь).

— Оцѣнка этнографическихъ трудовъ П. В. Шейна (въ Отчетѣ Геогр. Общества за 1884 годъ).

— О книгѣ Фаминцына: „Миѳологія славянъ" (въ Извѣстіяхъ Геогр. Общ., 1884).

школы по этимъ вопросамъ явился П. А. Безсоновъ. Трудно представить себѣ, чтобы Ор. Миллеръ могъ его считать въ числѣ тѣхъ „писателей народнаго направленія", основныя заключенія которыхъ онъ желалъ подтвердить.

Литературная дѣятельность г. Безсонова (въ настоящее время профессора Харьковскаго университета, ранѣе библіотекаря въ университетѣ Московскомъ, еще ранѣе служившаго одно время въ западномъ краѣ, послѣ усмиренія польскаго возстанія) восходитъ своимъ началомъ къ 1850-мъ годамъ; уже тогда онъ примыкалъ къ славянофильскому кругу и принималъ участіе въ „Русской Бесѣдѣ". Труды его направлялись на изученіе русской старины, народной поэзіи, русской и славянской біографіи. Однимъ изъ первыхъ его трудовъ была біографія Калайдовича; затѣмъ имъ были отысканы и по частямъ издаваемы (въ „Русской Бесѣдѣ" и потомъ отдѣльно) сочиненія знаменитаго нынѣ, а тогда еще совсѣмъ неизвѣстнаго Крижанича, (котораго въ первое время не умѣлъ назвать самъ г. Безсоновъ); далѣе, былъ изданъ имъ сборникъ болгарскихъ пѣсенъ, по рукописямъ болгаръ, учившихся тогда въ московскомъ университетѣ; по смерти Кирѣевскаго московское Общество любителей россійской словесности поручило г. Безсонову редакцію сборника его пѣсенъ; въ то же время онъ самъ издалъ большой сборникъ духовныхъ стиховъ [1]); далѣе, небольшой сборникъ „дѣтскихъ пѣсенъ" (М. 1868) и сборникъ пѣсенъ бѣлорусскихъ, о которомъ будемъ говорить впослѣдствіи, и пр. Труды г. Безсонова чрезвычайно характерны, въ особенности если считать ихъ образчикомъ того „народнаго направленія", какое разумѣлъ Ор. Миллеръ и которому они несомнѣнно принадлежатъ.

— И. С. Аксаковъ („Рус. Старина", 1886, мартъ, и тоже, полнѣе, въ „Извѣстіяхъ" Слав. Общества, 1886, февраль, также въ Сборникѣ рѣчей и статей въ память Аксакова, М. 1886).

— И. С. Аксаковъ и 19 февраля (въ „Извѣстіяхъ" Слав. Общ. 1886, апрѣль, май).

— Мессіанизмъ и славянофильство („Новости, 1887, 29 октября, по поводу книги Урсина).

— Еще къ вопросу о былинахъ, въ „Журн. мин. просв.", 1888, іюль, по поводу диссертаціи г. Халанскаго.

— Ѳ. И. Буслаевъ, по поводу 50-лѣтняго юбилея, въ „Пантеонѣ литературы", 1888, сентябрь.

— „Замѣчательный трудъ о народничествѣ", въ „Рус. Курьерѣ", 1888, № 303—304, по поводу книги г. Юзова.

[1]) Калѣки перехожіе. Сборникъ русскихъ народныхъ стиховъ. Съ рисунками и нотами. Составилъ и издалъ П. Безсоновъ. Москва, 1861—1864. 6 выпусковъ. Рецензіи: Срезневскаго и Билярскаго, въ „Извѣстіяхъ" Акад. т. IX, X; Тихонравова, въ 33-мъ присужденіи Демидовскихъ наградъ; статья г. Буслаева, въ „Русской Рѣчи", 1861.

Труды г. Буслаева и Аѳанасьева — какъ бы мы ни смотрѣли на многіе ихъ выводы—дали сильный толчекъ изученію нашей народной поэзіи, и они были однимъ изъ яркихъ фактовъ воздѣйствія европейской, особливо нѣмецкой, науки, въ лицѣ Гримма и его школы: Славянофильство (хотя само имѣло одинъ изъ основныхъ источниковъ своихъ идей въ нѣмецкомъ философствованіи) открещивалось отъ гнилой Европы и желало, какъ вообще, такъ и въ частномъ вопросѣ о народной поэзіи, проводить самобытную русскую мысль. Носителемъ ея являлся теперь г. Безсоновъ. Бывши уже съ пятидесятыхъ годовъ участникомъ славянофильскихъ изданій, онъ послѣ съ гордостью ссылался на свою близость къ главамъ славянофильства [1]) и сталъ въ нѣкоторомъ родѣ довѣреннымъ ученымъ школы въ вопросахъ филологіи и народной старины: ему поручено было изданіе и комментированіе пѣсенъ Кирѣевскаго; онъ писалъ замѣчанія къ пѣснямъ Рыбникова; ему, какъ „спеціалисту", поручена была редакція грамматическихъ трудовъ К. Аксакова. Работая надъ сборникомъ Кирѣевскаго, г. Безсоновъ положилъ много труда на распредѣленіе матеріала, собираніе варіантовъ [2]), въ своихъ примѣчаніяхъ сообщалъ не мало полезныхъ фактическихъ указаній; въ пѣсняхъ онъ сталъ большимъ начетчикомъ и умѣлъ вѣрно отличать фальшь и поддѣлку—какъ мы уже указывали по поводу изданій Сахарова (были и другіе примѣры): во всякомъ случаѣ онъ былъ горячо преданъ своему дѣлу, зналъ его, какъ издатель [3]), и во всемъ этомъ имѣетъ безспорную заслугу;—но какъ филологъ и теоретическій истолкователь народнаго поэтическаго преданія и миѳологіи, онъ съ самаго начала выступилъ съ чрезвычайно странными пріемами, и хотя упрекалъ своихъ противниковъ повтореніемъ „нѣмецкихъ книжекъ", самъ безъ нихъ тоже не обошелся, а тамъ, гдѣ хотѣлъ проводить самобытное „народное" направленіе, тамъ, въ научномъ смыслѣ, становился совершенно невозможнымъ.

Свои ученые источники г. Безсоновъ указывалъ въ философіи Шеллинга [4]) и въ сравнительной филологіи,—но примѣненія того и другого такъ необычайны, находятся въ такомъ полномъ подчиненіи смѣлой и плодовитой фантазіи автора, что критики рѣдко даже находили нужнымъ вступать съ нимъ въ споръ на этомъ поприщѣ.

---

[1]) См. Пѣсни Кирѣевскаго, вып. 8, стр. LVII, CXII; предисловіе къ филологическимъ сочиненіямъ К. Аксакова.

[2]) Хотя иной разъ терялъ въ этомъ мѣру, безъ надобности растягивая ихъ въ печати, какъ не безъ основанія упрекали его критики, напр. Билярскій (по поводу „Калѣкъ перехожихъ").

[3]) Впрочемъ, г. Тихонравовъ въ разборѣ „Калѣкъ" указывалъ неаккуратности въ передачѣ текстовъ.

[4]) Пѣсни Кир., вып. 8, стр. LVI, XCVIII и др.

Къ своимъ предшественникамъ въ истолкованіи былины,—въ началѣ 60-хъ годовъ это были въ особенности Буслаевъ и Аѳанасьевъ,—г. Безсоновъ относится очень строго. Какъ послѣдователь „Шеллинговой" миѳологіи, г. Безсоновъ считаетъ миѳологію по Гриммову методу чистымъ ребячествомъ. Упоминая, что, по его первымъ замѣткамъ къ пѣснямъ Рыбникова и Кирѣевскаго, его заподозрили въ невниманіи къ миѳологіи, г. Безсоновъ возражаетъ, что онъ не находилъ миѳологіи лишь тамъ, гдѣ ея нѣтъ:

„А гдѣ есть ея слѣды,—продолжаетъ онъ,—тамъ мы предпочитаемъ итти съ осторожностію [1]) и намѣренно стараемся, чтобы наши выводы не походили на разсужденія современныхъ русскихъ миѳологовъ. Для нихъ безъ различія все равно въ язычествѣ, что вѣросознаніе и что народный бытъ, народное творчество, что ѳеологія и что отвлеченное воззрѣніе или исторически сложившееся понятіе, что миѳологія и что демонологія, что космогонія и что явленія внѣшней природы. Для нихъ свѣтъ, огонь, тепло, холодъ, лѣто, зима, весна, заря, ночь, солнце, мѣсяцъ, звѣзды, вѣтеръ, молнія, дымъ, конь, быкъ, и тому подобныя рѣдкія явленія природы, съ прибавкою изъ третьей руки долетѣвшихъ фразъ объ язычествѣ, о первобытномъ воззрѣніи, о непосредственности бытія, о близости человѣка къ природѣ и т. п., все это дало для плодовитыхъ изслѣдователей неизсякающую и незыблемую почву для построенія самой богатой русской миѳологіи... Стоитъ только чихнуть отъ насморка или промолвиться любой старушкѣ, чтобы этимъ изслѣдователямъ создать уже новое русское божество отдаленной миѳической эпохи, со всѣми аттрибутами грознаго явленія, ввести его въ антагонизмъ съ христіанствомъ и съ любопытствомъ слѣдить за перипетіями отчаянной борьбы: игра, составляющая для ученыхъ такое же привлекательное занятіе, какъ ералашъ для остального нашего общества...» (Пѣсни Кир., вып. 4, стр. XCVII и д.) [2]).

Замѣчанія о преувеличеніяхъ миѳологическихъ имѣютъ свою долю правды: къ сожалѣнію, собственныя толкованія автора не подкрѣпляютъ его полемики и еще гораздо меньше могли удовлетворить научному требованію.

Свою исходную точку и путь изслѣдованія г. Безсоновъ опредѣляетъ такимъ образомъ. Разыскивая до-историческую старину не только русскаго народа, но и славянства, мы встрѣчаемся съ огром-

---

[1]) Дальше увидимъ ея образчики.

[2]) По поводу былинъ о борьбѣ Ильи-Муромца съ поганымъ Идолищемъ, г. Безсоновъ замѣчаетъ (тамъ же, стр. X):.. „Въ столкновеніи съ Ильею, представителемъ не одной внѣшней дѣйствительности, а вмѣстѣ и проникнувшихъ къ народу христіанскихъ началъ и воззрѣній, Идолище является врагомъ христіанства, образцомъ язычества, въ сферѣ миѳологической. Поразительное доказательство не однажды повтореннаго нами мнѣнія объ отсутствіи въ Ильѣ-Муромцѣ началъ языческихъ и миѳическихъ, объ его *христіанскомъ* характерѣ: кто же изъ страстныхъ искателей русской миѳологіи и русскаго язычества можетъ допустить, чтобы представитель язычества боролся съ язычествомъ, представитель миѳологіи съ миѳологіей — въ лицѣ врага Идолища?"

нымъ пробѣломъ, — именно пробѣломъ между древнѣйшими свѣдѣніями о славянскихъ и русскихъ божествахъ (Сварогъ, Дажьбогъ и пр., которыхъ онъ сближаетъ съ индѣйскими) и послѣдующимъ, уже прямо *историческимъ* бытомъ.

„Затѣмъ разломъ, пропасть, и вдругъ передъ глазами готовый уже народъ, на опредѣленныхъ, историческихъ мѣстахъ жительства, сложившійся изъ родовъ въ бытъ міра, земли, общины, верви, съ началомъ положительный исторіи, съ лѣтописями и прочими памятниками, гдѣ на первый взглядъ — никакой почти повѣсти *до-исторической*, гдѣ отъ старыхъ божествъ кое-какія лишь имена, и то съ признаками старости и ветхости, десятокъ размельчавшихъ божествъ безъ энергической силы, куча существъ демоническихъ и потомъ длинный рядъ героевъ, богатырей, юнаковъ, въ образахъ творческихъ, поэтическихъ, но уже принадлежащихъ *исторіи положительной*... За исключеніемъ крайнихъ отпрысковъ западнаго славянства, болѣе опредѣлившихся, вѣроятно отъ столкновеній съ западными народами и поглощенныхъ ими... нѣтъ почти никакихъ у славянъ идоловъ, языческихъ храмовъ, жрецовъ; нѣтъ даже и борьбы съ христіанствомъ, и славяне переходятъ къ нему совсѣмъ готовые, будто къ ступени самой ближайшей, и вносятъ съ собою въ жизнь христіанскую такіе мирные слѣды язычества, которые уживаются съ христіанствомъ просто какъ народность, какъ образъ и сосудъ для воплощенія новыхъ явленій бытія духовнаго, какъ слово для выраженія христіанскихъ идей; борьба, которую проницательно усматриваютъ здѣсь наши новѣйшіе русскіе ученые, есть въ сущности не что иное, какъ борьба нѣмецкой книги, послужившей источникомъ, съ дѣйствительною русскою жизнію и здравымъ разсудкомъ. За этой интересной борьбою они не видали доселѣ той огромной пропасти, которая помянута нами выше, которая дѣйствительно существуетъ, какъ пробѣлъ для науки между первыми началами до-исторической жизни славяно-руссовъ и позднѣйшимъ проявленіемъ жизни исторической, появляющейся, какъ Паллада, прямо изъ головы, безъ всякихъ замѣтныхъ переходовъ и ступеней.

„Пробѣлъ для науки: не было ли его и въ самой жизни, въ самой до-исторической дѣйствительности? Трудно повѣрить, на самый первый взглядъ. Между столпотвореніемъ, отъ котораго раздѣлились и пошли народы, а вмѣстѣ пошелъ и народъ славянскій со своимъ Дажбогомъ, до первыхъ вѣковъ по Р. X., когда славяне упоминаются, и до IX-го вѣка, когда начинаютъ говорить о себѣ сами, на поприщѣ положительной исторіи лежало времени не мало и не могли славяне наполнить его одной праздностью и бездѣйствіемъ... Въ этомъ промежуткѣ лежалъ цѣлый міръ стихій, что-нибудь творившихъ же въ сознаніи, и у стихійныхъ божествъ, до насъ уцѣлѣвшихъ лишь по имени, было, конечно, не одно имя, а подъ именемъ цѣлая исторія, полная событій, выражавшихся и въ богопоклоненіи, во внѣшнихъ обрядахъ; а послѣ стихій еще выработанныя представленія объ организмѣ, организмъ животный и человѣческій, зооморфизмъ и антропоморфизмъ... Гдѣ все это,—не въ томъ жалкомъ безобразіи, какъ открываютъ наши ученые, а въ значеніи вѣросознанія, творившаго духъ славяно-русскаго человѣка?.. А самый духъ? Послѣ того, какъ онъ былъ задавленъ космическою силой, царствовавшей въ вѣросознаніи... до той минуты, когда славяно-русскій народъ явился какъ бы вдругъ совершенно готовымъ къ христіанству и какъ бы сразу удостоился сдѣлаться лучшимъ сосудомъ высшаго изъ христіанскихъ вѣросознаній, православія, въ этомъ

опять промежуткѣ какая длинная и долгая должна была совершаться исторія! Съ разу такъ шагнуть не могъ ни одинъ народъ...

„Итакъ, наука должна искать этого искомаго. Нужно сознаться лишь, что это не такъ легко... Нашъ народъ спѣшилъ въ исторію, и въ исторіи все еще доселѣ живетъ надеждою на будущее, предвидя тамъ себѣ высшую задачу, а потому оставилъ насъ въ скудости данныхъ для уразумѣнія длинной эпохи до-исторической. Лишь языкъ даетъ здѣсь такое богатство средствъ, какое не у всѣхъ народовъ; съ него и должны всегда начинать мы. Гдѣ же добытое нами не совсѣмъ полно и ясно, такъ мы должны обращаться къ народамъ, у которыхъ всѣ пройденныя поприща развитія болѣе ясны, и хотя не всегда одинаково глубоки, но по крайности выражены нагляднѣе въ творчествѣ.

„Лучшая помощь въ этомъ дѣлѣ греки... Грекъ прошелъ всѣ пути языческаго вѣросознанія, отъ верхняго края до нижняго, отъ предѣла до предѣла; ни одинъ языческій народъ не сравняется съ нимъ въ этой полнотѣ...

„Въ настоящемъ случаѣ, для пополненія нашего пробѣла, греческая миѳологія важна тѣмъ, что послѣ кроническаго и стихійнаго періода, гдѣ у насъ ощутительный обрывъ, у грековъ вступаютъ по порядку зооморфическія представленія, переходятъ въ антропоморфическія, углубившійся въ себя духъ человѣческій выноситъ на сцену и свой образъ, настаетъ лучшее время сочетанію идеи и образа, всѣ прежнія божества въ вѣросознаніи перерождаются, открывается Олимпъ съ божествами преображенными, съ царемъ Зевсомъ, и весь періодъ Зевса является новымъ, полнѣйшимъ и обильнѣйшимъ періодомъ миѳологіи, творчества, искусства. Этотъ-то періодъ и долженъ для славянъ уяснить многое, пополняя черты ихнихъ образовъ, подсказывая недосказанное, тѣмъ болѣе, что онъ долженъ былъ имѣть вліяніе на славянъ и по сосѣдству...

„Повторяемъ, возстановить образность и опредѣленность неясныхъ обликовъ и одинокихъ именъ славянскихъ божествъ изъ этого періода можно только посредствомъ сближеній съ миѳологіей греческой. Мы думаемъ, напримѣръ, что отчасти уже достигли этого, сравнивая *Велеса* или *Волоса* съ греческимъ *Геліосомъ*—по смыслу съ Ѳебомъ [1],—*Купалу* съ *Кувелою*, *Соботки* съ *Сабаціями* и т. д. Еще больше должны мы ждать отъ періода Зевесова или Олимпійскаго“ (Пѣсни Кир., 4, стр. LXVIII—LXXV).

Такова исходная точка г. Безсонова. Онъ выставляетъ мысль, въ сущности справедливую—о необходимости изслѣдованія самаго хода миѳологическаго процесса, разчлененія миѳологіи по ея постепенному развитію, различеніе ея на отдѣльныя формы и ступени содержанія. Онъ справедливо указываетъ недостатки миѳологическаго изслѣдованія, которое не задумывалось объяснять существо древней русской миѳологіи, не имѣя для этого другихъ основаній, кромѣ предвзятой теоріи, смѣло расточая миѳологическія черты на каждое слово народнаго повѣрья и поэзіи, такъ что миѳъ терялъ, наконецъ, всякіе предѣлы. Далѣе, въ нашей миѳологіи есть, дѣйствительно, перерывы: трудно связать напр. даже первыя историческія свѣдѣнія о русскомъ бытѣ съ миѳическими чертами былины. Въ общемъ, справедлива мысль, что при разъясненіи хода нашей миѳологіи — столь бѣдной

[1]) Зачѣмъ только авторъ неправильно пишетъ это имя?

опредѣленными фактами—можетъ съ пользой служить аналогія. Но этимъ и кончается. Если есть въ до-историческихъ судьбахъ нашего народа и его „вѣросознанія“ *пропасть*, которую наши миѳологи иногда дѣйствительно одолѣвали слишкомъ смѣлыми скачками, то самъ авторъ дѣлаетъ этотъ скачекъ совсѣмъ очертя голову, какъ настоящій salto mortale.

По своей собственной теоріи, авторъ дѣлалъ ошибку въ томъ, что „періоды вѣросознанія“ не одинаковы у всѣхъ народовъ: по различнымъ историческимъ условіямъ жизни народовъ, оно развивается сильнѣе или слабѣе, въ ту или другую сторону, и въ данномъ случаѣ славяно-русская и греческая миѳологія несоизмѣримы. Греческій Олимпъ образовывался рядомъ съ успѣхами цивилизаціи, съ роскошнымъ развитіемъ поэзіи, искусства, философіи; у насъ были лишь зачаточныя формы, которыя невозможно сравнивать съ формами, блестяще развитыми, сколько бы ни было общаго въ первоначальныхъ исходныхъ точкахъ обѣихъ миѳологій. Что аналогіи г. Безсонова противорѣчатъ самому взгляду Шеллинга, указывалъ уже Котляревскій [1]).

Точно такъ же какъ осуждаемые имъ миѳологи, г. Безсоновъ беретъ матеріалъ въ сыромъ видѣ, безъ всякаго предварительнаго критическаго осмотра. Такъ, напр., онъ разыскиваетъ „духъ славяно-русскаго человѣка въ эпоху общеславянскую“ (ни болѣе, не менѣе) по сказкамъ объ Иванѣ богатырѣ—не сдѣлавши никакихъ справокъ о содержаніи этихъ сказокъ, о томъ, нѣтъ ли у нихъ параллелей или двойниковъ между сказками другихъ народовъ, т.-е. даже безъ опредѣленія того, что̀ въ этихъ сказкахъ можетъ быть признано за собственно славянское и русское; при всемъ этомъ — произволъ толкованій, доходящій до научной невмѣняемости [2]). Разсужденія о камнѣ-алатырѣ [3]); филологическія и миѳологическія разысканія о богатыряхъ Потокѣ и Чурилѣ, и отцѣ послѣдняго Плѣнѣ [4]), и друг., столь необычайны и странны, что останавливаться на ихъ разборѣ безполезно. Забвеніе критической азбуки доходило до того, что авторъ подвергалъ своему филолого-мистическому истолкованію даже героевъ сказокъ, завѣдомо чужихъ, новѣйшихъ и книжныхъ, какъ, напр., богатырь Бова и Полканъ [5]).

---

[1]) Старина и народность, Москва, 1862, стр. 34.

[2]) Пѣсни Кир., вып. 3, стр. 3, XXXV и д.

[3]) Тамъ же, вып. 4, стр. II и слѣд.

[4]) Тамъ же, вып. 4, стр. XXXI—L; стр. LVIII—XCVI.

[5]) Тамъ же, вып. 3, стр. XVIII; вып. 4, стр. CLXXXIV. На это невозможное обращеніе съ чужими богатырями указывалъ въ свое время Котляревскій: Старина и народность, стр. 32 — 33. Въ то же время г. Безсоновъ страннымъ образомъ не

Но разыскивая миѳическіе остатки, г. Безсоновъ, опять не въ примѣръ другимъ изслѣдователямъ, не признаетъ миѳическими лицами героевъ былины, какъ Илья-Муромецъ, Чурила и другіе. „Сохрани Богъ", — восклицаетъ онъ по поводу Чурилы, въ которомъ онъ только-что передъ тѣмъ открылъ славяно-русскаго Гермеса: — „это самое живое существо, богатырь самый образный, весь плоть, безъ рефлексіи, лишь въ очертаніяхъ народнаго творчества. Сквозь образа *сквозитъ* миѳъ; но самый образъ не есть миѳъ, а образъ творческій, поэтическій, съ жизнью тогдашней поры, въ обстановкѣ всего тогдашняго порядка вещей" [1]). Эту сторону эпическихъ богатырей былины г. Безсоновъ представляетъ какъ олицетвореніе или символъ судьбы самой русской земли и народа. Изъ „камня-алатыря" авторъ вывелъ особый „алатырскій періодъ" русской первобытной древности; сказочный Иванъ-богатырь есть представитель слагавшагося народа; Кощей—представитель быта кочевого; такъ-называемые „старшіе богатыри" вообще олицетворяютъ элементъ стихійный, титаническій,—въ сознаніи народа они отодвигаются въ даль, и когда русскій міръ вышелъ изъ эпохи стихійнаго вѣросознанія и кочевья и упрочилъ формы своей жизни христіанствомъ и политическимъ бытомъ, они являются какъ противоположность ему: богатырь Святогоръ не допущенъ новою жизнью и обреченъ на смерть. Илья-Муромецъ есть именно представитель этой новой жизни, земли и земщины; и такъ какъ новая жизнь занята прежде всего укрѣпленіемъ добытаго, упроченіемъ выработанныхъ началъ, то она не можетъ оставаться неподвижною и переходитъ въ дружину, которая есть „та же земля, только въ движеніи" и т. д. [2]). Это символическое толкованіе г. Безсоновъ примѣняетъ потомъ и къ разнымъ другимъ героямъ былины.

Пріемъ г. Безсонова—въ объясненіи былинъ — былъ уже достаточно опредѣленъ при самомъ появленіи его „замѣтокъ" къ пѣснямъ Кирѣевскаго и Рыбникова. Котляревскій и г. Буслаевъ указывали на странность его системы филологической, опиравшейся на столпотвореніе вавилонское и на сравнительное языкознаніе; указывали на удивительныя приложенія философіи миѳологіи Шеллинга, сравненія Геркулеса съ русскимъ „Тараканомъ", финикійскаго божества Мель-

---

зналъ, что происхожденіе сказки давно объяснено изъ итальянскаго романа Buovo d'Antona, и утверждалъ, по Хомякову, что Бова взятъ изъ англійскаго Bewis, и проч.

[1]) Тамъ же, 4, стр. XCV.

[2]) Отношеніе двухъ періодовъ, авторъ, по фактамъ былины, объясняетъ очень своеобразнымъ указаніемъ на отношенія Ильи-Муромца къ бабѣ-горынчанкѣ (Пѣсни Кир. 4, стр. VII—VIII).

карта съ Морольфомъ и сказочнымъ „Маркомъ богатымъ гостемъ“, Гермеса съ Чурилой Пленковичемъ и т. д. [1]).

Они указывали, далѣе, на невозможность объясненія былины аллегоріей, которая вообще неприложима къ эпосу, — особливо, когда г. Безсоновъ, въ одно и то же время, толкуетъ былину и ея героевъ какъ миѳъ, какъ аллегорію, и какъ реальное историческое изображеніе. Котляревскій приходилъ къ увѣренности, что въ изслѣдованіяхъ г. Безсонова нѣтъ „никакого проку для науки“; г. Буслаевъ недоумѣвалъ, какъ Общество любителей россійской словесности (издававшее пѣсни Кирѣевскаго), понимая высокую цѣну матеріаловъ Кирѣевскаго, согласилось на такую постановку „обще-національнаго дѣла“.

Едва открытая историческая область древняго русскаго эпоса представляла на дѣлѣ такое сложное явленіе, что послѣ перечисленныхъ работъ допускала еще цѣлый рядъ новыхъ толкованій. Ученые, присматриваясь ближе къ предмету, приступая къ нему по разнымъ путямъ, находили въ немъ все новыя стороны, и вопросъ опять какъ будто долженъ былъ ставиться сначала.—Выставленныя теоріи представляли еще много несовершеннаго; иныя грубыя ошибки бросались въ глаза; сантиментальность или мистическая философія видимо не шли къ существу дѣла...

Въ такихъ условіяхъ являлась новая теорія объясненія былины, представленная г. Стасовымъ, и которая въ свое время произвела цѣлый переполохъ въ ученомъ филологическомъ мірѣ [2]). Г. Стасовъ, съ одной стороны недовѣрчиво смотрѣлъ на тѣ рѣшительные выводы, которые открывали всю подноготную древней былины, въ ея герояхъ отыскивали стихіи или таинственный символъ и аллегорію; съ другой, его вниманіе остановили различные совпаденія былины съ восточной поэзіей. Недовѣріе было не лишено основаній, и изслѣдо-

---

[1]) Котляревскаго, Старина и народность, стр. 31 и слѣд.; Буслаева, Р. богат. эпосъ, Р. Вѣстникъ, 1862, № 9, стр. 18—19; № 10, стр. 565—571.

[2]) „Происхожденіе русскихъ былинъ“, Вѣстн. Евр. 1868, январь, февраль, мартъ, апр., іюнь, іюль; „Критика моихъ критиковъ“, Вѣстн. Евр. 1870, февр., мартъ.

Статьи г. Стасова вызвали слѣдующій рядъ обличеній:

— Буслаевъ, въ отчетѣ о 12-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, Спб. 1870; тамъ же краткая рецензія акад. Шифнера.

— Ор. Миллеръ, въ книгѣ объ Ильѣ-Муромцѣ и въ газетныхъ статьяхъ.

— Безсоновъ, въ „Пѣсняхъ Кирѣевскаго“, вып. 6.

— Гильфердингъ, въ газетѣ „Москва“.

— Ив. Некрасовъ, въ „Актѣ Новоросс. университета“, 1869.

— Всев. Миллеръ, въ „Бесѣдахъ Общества любителей росс. словесности“, вып. 3. Москва, 1871.

— А. Веселовскій, въ Журн. мин. просв., 1868, ноябрь,—и друг.

ваніе г. Стасова являлось какъ будто примѣненіемъ стариннаго совѣта—similia similibus curare, т.-е. вышибать клинъ клиномъ. Этимъ вторымъ клиномъ должна была послужить теорія происхожденія нашихъ былинъ съ востока.

Взглядъ г. Стасова былъ таковъ, что онъ исключалъ уже всякую возможность миѳологическаго или аллегорическаго, и даже историческаго толкованія былины, и свои новые выводы онъ именно противопоставляетъ тѣмъ, какіе дѣлали прежде г. Буслаевъ, Аѳанасьевъ, Ор. Миллеръ, К. Аксаковъ, Безсоновъ. Въ противность всѣмъ мнѣніямъ, что въ былинѣ мы имѣемъ самобытное національное произведеніе, хранилище древнѣйшихъ поэтическихъ преданій, г. Стасовъ заявляетъ, что ничего этого нѣтъ, что наша былина происхожденія даже вовсе не русскаго, а заимствована цѣликомъ съ востока; что содержаніе нашихъ былинъ есть только пересказъ эпическихъ произведеній, поэмъ и сказокъ востока, притомъ неполный, отрывочный, какъ бываетъ неточная копія, подробности которой могутъ быть поняты лишь по сравненіи съ оригиналомъ; что сюжеты, хотя и арійскіе (индѣйскіе) по существу, пришли къ намъ всего чаще изъ вторыхъ рукъ, отъ тюркскихъ народовъ и въ буддійской обработкѣ; что время заимствованія—скорѣе позднее, около временъ татарщины, чѣмъ раннее, въ первые вѣка нашей исторіи, въ эпоху давнихъ торговыхъ сношеній съ востокомъ.

Чтобы доказать свой тезисъ, г. Стасовъ дѣлаетъ множество сличеній нашихъ былинъ и сказокъ съ восточными. Въ началѣ, онъ беретъ сюжетъ болѣе позднїй—сказку объ Еруславѣ Лазаревичѣ, восточное происхожденіе которой не подлежитъ сомнѣнію, и указываетъ, какъ русская редакція передѣлала персидскій оригиналъ; затѣмъ подобнымъ образомъ онъ разбираетъ старыя былины объ Ильѣ Муромцѣ, Добрынѣ, Потокѣ, Садкѣ и пр., и пр., и вездѣ находитъ первообразы былины въ индѣйскихъ поэмахъ и ихъ разныхъ тюркскихъ повтореніяхъ,—причемъ обнаруживается, что русскій разсказъ иногда непонятенъ въ своихъ отрывочныхъ подробностяхъ безъ дополненія ихъ по подлиннику. Пересмотрѣвъ содержаніе цѣлаго ряда былинъ и сличая ихъ съ восточными „оригиналами“, г. Стасовъ пришелъ къ заключенію, что основа и „скелетъ“ былинныхъ сюжетовъ взяты изъ восточныхъ источниковъ,—не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ могъ именно указать тотъ или другой индѣйскій, тибетскій или киргизскій подлинникъ данной былины, а въ общемъ смыслѣ, что сходство заставляетъ предполагать оригиналъ въ этомъ *кругѣ* сказаній.

Убѣдившись въ сходствѣ или тождествѣ сюжетовъ, авторъ переходитъ къ частностямъ содержанія и прежде всего, сличивъ былину со сказкой, убѣждается, что между ними вовсе нѣтъ той разницы,

какую въ нихъ вообще указываютъ, видя въ сказкѣ или игру вымысла, фантазіи, или, по крайней мѣрѣ, отголосокъ отдаленнѣйшей миѳической старины, а въ былинѣ—отраженіе исторической судьбы народа. Г. Стасовъ, наоборотъ, видитъ въ обѣихъ одинъ господствующій тонъ и характеръ, одинаковыхъ богатырей, одинаковыя чудеса и приключенія и т. д., и ни въ той, ни въ другой не находитъ „былей", т.-е. фактовъ. Авторъ, впрочемъ, предоставляетъ былинамъ называться былинами, потому что „въ общемъ употребленіи есть столько невѣрныхъ техническихъ названій, именъ и терминовъ, по всѣмъ отраслямъ знанія, что измѣнять ихъ всѣ—былъ бы трудъ слишкомъ громадный и наврядъ ли исполнимый".—Быть можетъ, однако, чужая основа была облечена самостоятельными чертами содержанія?—но въ такомъ случаѣ это надо доказать. „Еще слишкомъ мало, съ патріотическимъ, впрочемъ очень похвальнымъ, чувствомъ благоговѣть передъ *духомъ, характеромъ* и *оригинальными самостоятельно-національными личностями* нашихъ былинъ. Надо подробнымъ разборомъ подтвердить, что этотъ духъ, этотъ характеръ, эти личности — дѣйствительно наши, что они выражаютъ духъ, характеръ и личности именно нашего, а не какого-нибудь другого народа". Приступивъ самъ къ разбору этихъ подробностей—личнаго характера богатырей, обстановки событій, природы, быта и т. д., авторъ приходилъ вездѣ къ отрицательному выводу, а именно:

Со стороны характеровъ и изображенія личностей, былины ничего не прибавили своего и новаго къ иноземной основѣ своей. Въ князѣ Владимірѣ нашихъ былинъ нечего искать дѣйствительнаго князя Владиміра, а есть въ немъ нѣчто другое, именно черты, приписываемыя царю Кейкаусу въ „Шахъ-наме", брахману Вишнусвами у Сомадевы, мудрецу Сандимани въ „Гариванзѣ", князю Богдо Джангару въ „Джангаріадѣ" и т. д.; въ княгинѣ Апраксіи повторяются персидская царица Судабэ, брахманка Каларатри; въ Добрынѣ живутъ вмѣстѣ Кришна, Рама, Арджуна, разные сибирскіе и киргизскіе богатыри; въ Садкѣ—брахманъ Джинпа-Ченпо, купецъ Пурна и т. д. Точно также, по мнѣнію автора, слѣдуетъ оставить вѣру въ значеніе географическихъ названій, встрѣчаемыхъ въ нашихъ былинахъ: эти названія имѣютъ значеніе только чего-то переводнаго или подставочнаго. На дѣлѣ, напр., „Кіевъ" былинъ былъ въ древнихъ восточныхъ оригиналахъ то столицей такшасильскаго царства въ Индіи, то Шарра-Алтаемъ Джангара, то резиденціей царя Кейкауса; нашъ Днѣпръ, Волга, Донъ, Израй, Сафатъ-рѣки оказываются то Ямуной, или иной поименованной рѣкой, то Синими, Желтыми, Бѣлыми, Черными рѣками тѣхъ же восточныхъ поэмъ; Іордань-рѣка нашихъ былинъ есть не что иное какъ рѣка Гангъ и разные

пруды, мѣста священныхъ омовеній, и т. д. Гдѣ нашъ богатырь переѣзжаетъ черезъ горы и рѣки, тамъ навѣрное и въ восточныхъ первообразахъ говорится о томъ же; и какія горы въ русской землѣ? Такимъ образомъ, мѣстныя названія составляютъ только переводъ, и въ былинѣ нечего искать и отличать богатырей *областныхъ* или *заѣзжихъ*: „у всѣхъ у нихъ нѣтъ на самомъ дѣлѣ ничего общаго съ Россіей; они всѣ одинаково *заѣзжіе* въ нашемъ отечествѣ, и существенной разницы между ними никакой нѣтъ“.—Далѣе, изъ нашей былины нельзя заключать о дѣйствительномъ состояніи нашихъ сословій въ тѣ эпохи, къ которымъ, судя по собственнымъ именамъ, относятся былины. „Если, какъ до сихъ поръ это дѣлалось, выводить изъ нашихъ былинъ заключенія о томъ, чѣмъ именно были, въ описываемый тутъ періодъ, самъ русскій князь, его дружина, княжеская и земская, русскіе богатыри, купцы, калики, то мы никогда не выйдемъ изъ безконечной цѣпи заблужденій и самыхъ призрачныхъ фактовъ“. Далѣе, въ былинахъ вовсе нѣтъ описаній татарскаго нашествія на древнюю Русь и изображеній татарской эпохи: пѣсня о Батыѣ или Калинѣ-царѣ—не картина какого-нибудь историческаго нашествія, а только вообще картина нападенія одного азіатскаго племени на другое,—„въ этомъ нашествіи на Кіевъ столько же исторической дѣйствительности, сколько въ нашествіи князя Даніила Бѣлаго на столицу царя Киркоуса, въ сказкѣ о Еруславѣ Лазаревичѣ“. Далѣе, изъ былинъ нельзя даже сдѣлать вывода о христіанскомъ элементѣ на Руси во времена Владиміра: „всѣ формы, на видъ какъ будто бы христіанскія, въ былинахъ не что иное какъ переложеніе на русскіе нравы и русскую терминологію, разсказовъ и подробностей вовсе не-христіанскихъ и не-русскихъ“. Наконецъ, вообще въ чертахъ быта, богатырскихъ обычаевъ, въ характерѣ построекъ, одежды, вооруженія и т. д., наша былина, за нѣкоторыми исключеніями, повторяетъ свои восточные оригиналы. Въ формѣ былинъ, въ ихъ изложеніи, автору бросается въ глаза отрывочность, недостатокъ связи, свойственныя копіи передъ подлинникомъ; отсутствіе побудительныхъ причинахъ въ дѣйствіяхъ героевъ, и т. д. Вообще, авторъ думаетъ, что „былины наши представляютъ наиболѣе сходства съ тѣми восточными разсказами, которые менѣе древни, и притомъ съ такими, которые мы находимъ у народовъ, по географическому положенію своему ближе придвинутыхъ къ Россіи и скорѣе могшихъ имѣть непосредственное съ нею соприкосновеніе“.

Ограничимся этими указаніями.

Не было, конечно, возможности выступить болѣе рѣшительно съ отрицаніемъ прежнихъ взглядовъ на былину, какъ на самобытное русское произведеніе, съ отрицаніемъ миѳологическихъ, символиче-

скихъ и историческихъ ея толкованій. Понятно, что противъ г. Стасова былъ открытъ цѣлый походъ, въ которомъ приняли участіе почти всѣ ученые, въ то время занимавшіеся вопросомъ о былинѣ. Авторъ упорно защищалъ свое мнѣніе, и удачно находилъ слабыя стороны своихъ противниковъ. Споръ кончился, но г. Стасовъ надолго еще оставался цѣлью нападеній, между прочимъ подвергшихъ сомнѣнію его любовь къ родному, русскому,—какъ это впрочемъ случается у насъ со всѣми, кто не хочетъ вторить ходячимъ псевдопатріотическимъ фразамъ и ученымъ взглядамъ [1]).

Въ концѣ концовъ, взгляды г. Стасова не были приняты наукой,—это, кажется, можно сказать положительно. Но они далеко не остались безъ результатовъ—отрицательныхъ и положительныхъ. Во-первыхъ, они несомнѣнно заставили строже оглянуться на прежнія толкованія нашего древняго эпоса, умѣрили жаръ миѳологовъ и способствовали устраненію сантиментальныхъ и аллегорическихъ теорій [2]). Во-вторыхъ, они указали сторону дѣла, которая хотя и не была самимъ авторомъ рѣшена, но во всякомъ случаѣ требуетъ вниманія. Со времени труда г. Стасова сдѣланы были, какъ увидимъ, многія важныя научныя пріобрѣтенія по этому вопросу, но въ былинѣ все еще остается много неяснаго, и именно въ ея общемъ складѣ. Настолько ли, напр., такъ-называемый „былевой эпосъ“ отличенъ отъ сказки, какъ думаютъ обыкновенно; состоитъ ли ихъ различіе (по извѣстнымъ героическимъ сюжетамъ) въ томъ, что сказка есть разрушенная былина, и, напротивъ, не входили ли, въ свою очередь, болѣе свободные сказочные мотивы въ самую былину—мнимый чисто *былевой* эпосъ? А если такъ, то не бывала ли иногда былина открыта и тѣмъ восточнымъ вліяніямъ, на которыхъ настаивалъ авторъ, а, можетъ быть, какимъ-либо инымъ? Безъ сомнѣнія, авторъ преувеличилъ свой тезисъ до крайности,—но вопросъ все-таки не рѣшался однимъ отрицаніемъ его мнѣнія. Критика указывала ошибку въ самомъ пріемѣ, гдѣ брались для сравненія не цѣльные сюжеты въ ихъ послѣдовательности и въ ихъ основномъ характерѣ, а отдѣльные эпизоды и подробности. Съ другой стороны, послѣдую-

---

[1]) Даже противъ „В. Европы“, гдѣ печатались въ 1868 г. статьи г. Стасова о происхожденіи русскихъ былинъ, дѣланы были язвительные намеки, дававшіе понять, что только западническій недостатокъ „русскаго чувства“ могъ побудить его напечатать статьи г. Стасова,—хотя, впрочемъ, „В. Евр.“, давая мѣсто этимъ статьямъ, не выражалъ своего мнѣнія ни за, ни противъ: рѣшеніе подлежало суду спеціальной критики, и смѣшно было бы дѣлать изъ этого вопроса profession de foi журнала.

[2]) Замѣчаніе объ этомъ мы встрѣтили и въ статьѣ г. Дашкевича „Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ“ (Кіевъ, 1883, стр. 3); онъ также находитъ, что изслѣдованія г. Стасова, хотя сами впавшія въ крайность, „нѣсколько умѣрили крайности“ его предшественниковъ, защищавшихъ миѳологическую теорію.

щая критика подтверждала нѣкоторыя наблюденія и впечатлѣнія г. Стасова, напр., объ отрывочности изложенія, недостаткѣ мотивировки въ нѣкоторыхъ былинахъ, заимствованныхъ изъ чужого источника (хотя не восточнаго); или о невозможности считать исторически точными сословныя характеристики разныхъ богатырей былины, и т. п. Вскорѣ предприняты были новыя, гораздо болѣе обширныя сличенія, поставившія истолкованіе древняго эпоса на совершенно новую почву.

Дальше упомянемъ, что и вопросъ о восточномъ источникѣ нѣкоторыхъ темъ нашей былины былъ опять поднятъ въ одной новой работѣ г. Потанина.

ГЛАВА IX.

А. Н. Веселовскій.—И. В. Ягичъ.—Новѣйшая школа.

Приступая къ изложенію современнаго состоянія изслѣдованій древняго быта и народнаго преданія, не безполезно оглянуться назадъ на пройденный наукою путь развитія и способы работы. Этотъ путь еще не великъ: если еще съ первыхъ годовъ XVIII-го столѣтія мы могли наблюдать постоянно усиливавшееся стремленіе къ изученію Россіи и русскаго народа, могли наблюдать, какъ это стремленіе становилось наконецъ живѣйшимъ интересомъ общества и уже скоро сливалось съ гуманно-общественнымъ стремленіемъ къ улучшенію гражданскаго положенія народныхъ массъ, — то научная постановка этнографическихъ изученій восходитъ едва только къ сороковымъ годамъ, когда выросшая на домашней почвѣ любознательность примкнула къ тогдашнему движенію западной науки. Лучшія пріобрѣтенія въ нашихъ изученіяхъ были плодомъ этой западной школы. Вся наша наука еще слишкомъ молода, чтобы создать самостоятельное преданіе; — такъ было и въ этнографіи. Это преданіе едва создается теперь, на нашихъ глазахъ.

Первое пробужденіе болѣе или менѣе опредѣленнаго интереса къ *народности* восходитъ у насъ ко второй половинѣ XVIII-го столѣтія, когда онъ былъ въ сущности еще непосредственнымъ продолженіемъ бытового преданія: первые сборники народныхъ пѣсенъ, которые были, напримѣръ, въ Германіи (у Гердера и его современниковъ) результатомъ сознательнаго плана, внушеннаго общественно-философскимъ развитіемъ по стопамъ Руссо,—у насъ были сначала просто изданіемъ ходячихъ рукописныхъ сборниковъ, служившихъ любителямъ народной пѣсни въ практическомъ обычаѣ. Народная поэзія еще не нуждалась въ томъ, чтобы ее разыскивали и возстановляли ея права, и хотя одинъ разрядъ образованнаго общества дѣй-

ствительно удалялся отъ стародавнихъ обычаевъ, въ другомъ они были на-лицо. Уже только позднѣе, къ началу нашего столѣтія, народная поэзія стала здѣсь забываться, и новѣйшіе собиратели должны были искать пѣсенъ, браться за дѣло уже, такъ сказать, съ ученой точки зрѣнія. На первое время ученость была очень плохая. Первые этнографы были чистыми самоучками и не имѣли понятія о научномъ обращеніи съ предметомъ: подъ вліяніемъ времени въ обществѣ пробуждались неясные инстинкты, догадки о значеніи народности, о необходимости изучать ее и результатъ изученія прилагать къ жизни; но какъ изучать, какіе извлечь результаты, какъ примѣнить ихъ, оставалось неизвѣстно. Напр., у Сахарова эти разысканія были просто темнымъ блужданіемъ, а результатомъ,— ни мало, впрочемъ, не мотивированнымъ,—была только глухая, безсознательная ненависть ко всему иноземному, которое, на манеръ XVII-го столѣтія, отождествлялось съ „нѣмецкимъ“.

Когда это стремленіе къ изученію народнаго все больше однако укрѣплялось въ литературѣ, домашнія средства изслѣдованія были крайне скудны. Чѣмъ отвѣчала на этотъ запросъ тогдашняя наука университетская? Въ то время, когда въ нѣмецкой литературѣ появились уже и оказывали свое могущественное дѣйствіе труды Гримма и новая система сравнительнаго языкознанія, у насъ едва подозрѣвали о ихъ существованіи, едва знали имена знаменитыхъ нѣмецкихъ ученыхъ. Первые опыты научной этнографіи появляются въ университетахъ только по возвращеніи изъ путешествій („командировокъ“) первыхъ нашихъ славистовъ: рѣчь о народномъ преданіи, обычаѣ, интересѣ и способахъ ихъ изученія, ведется съ каѳедры славянскихъ нарѣчій, но объ этомъ пока еще ничего или очень мало знаетъ каѳедра русской словесности. Когда г. Буслаевъ въ половинѣ сороковыхъ годовъ заговорилъ о необходимости новыхъ изученій русскаго языка и въ первый разъ назвалъ Гримма, это обращеніе къ руководству нѣмецкой науки было его собственнымъ личнымъ дѣломъ: онъ самъ прямо черпалъ изъ нѣмецкаго источника. Когда Катковъ въ 1845 издавалъ свой опытъ по изученію языка на почвѣ сравнительной филологіи, онъ опять не имѣлъ руководства въ русской университетской наукѣ и черпалъ методъ изъ нѣмецкаго источника. Такимъ образомъ, когда изученіе нашей народности ставилось впервые на научную основу, это дѣлалось личными усиліями людей новаго ученаго поколѣнія, безъ помощи университетскаго руководства. Это руководство возникаетъ, въ московскомъ университетѣ, лишь съ тѣхъ поръ, когда каѳедра русской словесности была занята г. Буслаевымъ; въ другихъ университетахъ этого руководства не было и долго послѣ,

кромѣ тѣхъ косвенныхъ указаній, какія давались преподаваніемъ славянскихъ нарѣчій.

Съ дѣятельностью г. Буслаева этнографическія изученія, собственно говоря, въ первый разъ получали мѣсто въ университетскомъ курсѣ; онъ первый имѣлъ учениковъ, продолжавшихъ его дѣло. Другіе ученые, работавшіе въ томъ же кругѣ изслѣдованій, или бывали славистами по своей спеціальности или работали собственными средствами, какъ напр. Аѳанасьевъ и др. Новый рядъ изслѣдователей набирается въ молодомъ ученомъ поколѣніи шестидесятыхъ годовъ, когда совершены были новыя многочисленныя ученыя странствія за границу, и наши молодые спеціалисты опять получили возможность обращаться къ источникамъ западной, особливо нѣмецкой науки. Здѣсь образовалось, послѣ предварительной подготовки дома, то новое ученое поколѣніе, нѣкоторые представители котораго пріобрѣли теперь руководящее значеніе въ изслѣдованіи народнаго преданія, литературы и языка. Назовемъ гг. Веселовскаго и Потебню. Къ счастію, въ нашей университетской жизни установился, кажется, прочно обычай посылки молодыхъ ученыхъ за границу для довершенія ихъ занятій, обычай, отвѣчающій настоятельному требованію современнаго положенія науки: дѣло въ томъ, что русскіе университеты (какъ и естественно по ихъ давнему и нынѣшнему положенію) не обладаютъ настолько научными силами, чтобы удовлетворить той спеціализаціи, какая распространяется теперь въ наукѣ; необходимо знакомиться съ положеніемъ науки не только въ Германіи, но и во Франціи, иногда и въ Англіи. Университетскій уставъ 1863 г. (насколько благотворное дѣйствіе его не устранено позднѣйшей реформой) установлялъ нѣсколько новыхъ каѳедръ (географія, антропологія, исторія искусства, сравнительное языкознаніе, романо-германская филологія), которыя должны были въ разныхъ отношеніяхъ способствовать изученіямъ этнографическимъ, но дѣйствіе этихъ каѳедръ еще слишкомъ ново, чтобы положить прочное основаніе новымъ отраслямъ науки на русской почвѣ.

Такимъ образомъ самыя изученія русской народности, требующія нынѣ цѣлаго ряда спеціальныхъ познаній, могли быть установлены лишь на основѣ европейской науки, и донынѣ еще находятся въ тѣсной отъ нея зависимости. Наука европейская владѣетъ такими обширными силами, что, очевидно, эта зависимость будетъ продолжаться еще долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока у насъ самихъ не наберется достаточный контингентъ этихъ силъ и не образуется своя научная традиція.

Александръ Никол. Веселовскій также только отчасти воспользовался домашней университетской школой и, послѣ первыхъ возбужденій

въ трудахъ и лекціяхъ г. Буслаева, съ самаго начала принялъ направленіе, не совсѣмъ совпадшее съ направленіемъ учителя, а вскорѣ какъ бы совсѣмъ отъ него отдалившееся. Это совершилось подъ вліяніемъ новаго успѣха изслѣдованій въ самой западной, особливо нѣмецкой наукѣ. Г. Буслаевъ былъ по преимуществу, почти исключительно, послѣдователемъ Гримма; г. Веселовскій началъ свои самостоятельныя работы въ ту пору, когда ученіе Гримма, на его родинѣ, повело съ одной стороны къ утрированному развитію его миѳологическихъ идей, а съ другой — подверглось сильному ограниченію, почти отрицанію въ новыхъ теоріяхъ. Въ первомъ направленіи дѣйствовали ученые, которые оказали вліяніе и у насъ, какъ напримѣръ Кунъ, Шварцъ, Вольфъ, Маннгардтъ (у Аѳанасьева и другихъ); въ другомъ направленіи особенно сильное впечатлѣніе произвели труды Бенфея. Въ то время какъ школа Гримма и его послѣдователей исходила изъ предположенія (которое считала аксіомой), что видимое и безконечно повторяющееся сходство преданій у разныхъ народовъ проистекаетъ изъ ихъ до-историческаго родства, Бенфей собралъ массу указаній, что, напротивъ, сходство преданій объясняется очень часто внѣ условій племенного родства и до-историческаго единства путемъ чисто внѣшняго, устнаго или письменнаго заимствованія. Для доказательства этого положенія требовалось обширное сличеніе преданій и разысканіе тѣхъ литературныхъ путей и международныхъ сношеній, при помощи которыхъ могла произойти передача и заимствованіе; и дѣйствительно, въ послѣдніе лѣтъ тридцать совершены были въ этомъ направленіи громадныя работы, которыя приводятъ уже теперь къ любопытнѣйшимъ результатамъ. Эти работы дѣлались опять въ особенности нѣмецкими учеными, и это весьма естественно. Едва ли какая-нибудь изъ европейскихъ литературъ была въ этомъ отношеніи вооружена столько, сколько нѣмецкая, гдѣ уже болѣе ста лѣтъ тому назадъ Гердеръ въ „Stimmen der Völker“ собиралъ образцы всемірной поэзіи и ставилъ нѣмецкой литературѣ задачу усвоенія величайшихъ произведеній литературы и народной поэзіи всѣхъ человѣческихъ племенъ, находя, что нѣмецкая литература уже сдѣлала, а потому и впредь способна сдѣлать въ этомъ отношеніи больше, чѣмъ какая-нибудь другая литература.

Вскорѣ уже накопился громадный запасъ изданій старыхъ памятниковъ средневѣковой литературы, западной и восточной, и запасъ изслѣдованій объ ихъ происхожденіи и связяхъ. Одновременно съ этимъ, въ два-три послѣднія десятилѣтія развился во всѣхъ европейскихъ литературахъ въ невиданныхъ прежде размѣрахъ интересъ къ народной поэтической старинѣ, преданіямъ, поэзіи, за которыми теперь все больше утверждается взятый съ англійскаго терминъ „фольк-

лора“ (folklore). Въ настоящее время издается множество небольшихъ журналовъ въ Германіи, Франціи, Италіи, Испаніи, посвященныхъ фольклору, и отдѣльныхъ, часто весьма обширныхъ сборниковъ народныхъ преданій: то и другое еще чрезвычайно умножаетъ массу матеріала народныхъ сказаній, подлежащихъ изученію и сравненію. Это движеніе направило прежнія изслѣдованія на совершенно новую дорогу. Въ прежнее время, предположеніе исконной старины того или другого народнаго сказанія, суевѣрія и т. п. вело прямо къ заключеніямъ о древней (общей) миѳологіи: на днѣ каждаго преданія видѣлся первобытный миѳъ; по указаніямъ болѣе или менѣе выработанныхъ миѳологій принималось какое-либо натуралистическое толкованіе миѳа (напр., почитаніе солнца, олицетвореніе тучи и грозы и т. п.), и такъ какъ можно было предполагать для древнѣйшихъ стадій развитія народовъ одного племенного корня одни психологическія основанія миѳологическаго творчества, то казалось естественнымъ объяснять содержаніе миѳа по тѣмъ же основамъ, какія считались доказанными для другой, чужой миѳологіи. Такъ древняя русская миѳологія объяснялась на основаніи германской. Теперь оказывалось нѣчто иное. Изслѣдованіе средневѣковыхъ книжныхъ памятниковъ, въ сравненіи ихъ между собою и съ живымъ современнымъ фольклоромъ, указало внѣ всякаго сомнѣнія, во-первыхъ, обильные факты книжнаго заимствованія въ средніе вѣка, факты международной передачи сказаній, и во-вторыхъ, продолжающееся существованіе этихъ сказаній въ современной народной памяти, и при послѣднемъ обнаруживалось, что очень многое, что́ могло бы показаться чисто народнымъ миѳомъ, бывало не болѣе какъ развитіемъ и видоизмѣненіемъ вычитаннаго въ книгѣ. Естественно было ожидать, что тѣ же самые потоки народныхъ сказаній, которые въ разныхъ направленіяхъ шли съ востока на западъ и обратно въ средневѣковой Европѣ, захватывали и древнюю Русь; мало того, что старая русская письменность, и современное народное преданіе могутъ разъяснять тѣ или другіе темные пункты въ исторіи средневѣковыхъ сказаній. Древняя Русь стояла въ этомъ отношеніи въ особыхъ условіяхъ. По старой исторической традиціи мы привыкли думать, что она держалась особнякомъ, мало сносилась съ другими народами, имѣла небогатую, почти только церковную письменность, рано отдѣлилась отъ католическаго запада и его литературнаго содержанія и такимъ образомъ создала себѣ свою исключительную область поэтическихъ сказаній; между тѣмъ, изслѣдованіе раскрывало слѣды неподозрѣваемаго ранѣе общенія, путемъ котораго приходила масса чужихъ преданій и воздѣйствій культурныхъ. Оказывалось вмѣстѣ съ тѣмъ, что прежнее построеніе миѳологіи и „поэтическихъ воззрѣній“ русскаго народа было

только, или въ очень большой мѣрѣ, созданіемъ ученой фантазіи. То, въ чемъ видѣлся миѳъ, являлось книжнымъ сказаніемъ, отъ долгаго обращенія въ народѣ получившимъ внѣшнюю народную складку; что̀ представлялось древнимъ, исключительно русскимъ, было сравнительно новымъ, весьма распространеннымъ, почти всеобщимъ достояніемъ европейскихъ среднихъ вѣковъ. Понятно, что, когда разъ найдены были такія недоразумѣнія, необходимъ былъ новый пересмотръ всего состава народнаго преданія, новое указаніе своего и чужого, распредѣленіе дѣйствительно миѳологическихъ и чисто поэтическихъ элементовъ, расположеніе ихъ (насколько возможно) по хронологіи народной жизни и письменности, опредѣленіе ихъ источниковъ — для того, чтобы зданіе могло быть построено вновь по болѣе правильному плану и болѣе устойчиво.

Этотъ трудъ предпринятъ былъ въ особенности г. Веселовскимъ. Онъ былъ питомцемъ московскаго университета. Въ началѣ 1860-хъ годовъ посланный отъ московскаго университета за границу для продолженія своихъ занятій, онъ пробылъ тамъ сверхъ своего срока еще нѣсколько лѣтъ, особенно въ Италіи, увлеченный тѣми богатыми интересами изученія, которые передъ нимъ открывались въ средневѣковой старинѣ и которые, въ этомъ новомъ направленіи, онъ первый вносилъ въ нашу научную литературу съ такою широтою наблюденій [1]). Его оффиціальные отчеты, небольшія корреспонденціи и статьи въ журналахъ объ итальянской жизни и литературѣ обращали на себя вниманіе обширной начитанностью и живымъ взглядомъ; въ то же время г. Веселовскій пріобрѣталъ извѣстность въ ученой итальянской литературѣ своими изслѣдованіями по итальянской книжной старинѣ съ той новой критической точки зрѣнія, которая на мѣстѣ была еще нова. Оригинальнымъ для русскаго ученаго образомъ, это были его первыя крупныя изслѣдованія [2]). Одно изъ этихъ итальянскихъ разысканій въ русской обработкѣ послужило магистерской диссертаціей по романо-германской филологіи [3]). Освоившись на спеціальной работѣ по первымъ источникамъ съ западнымъ средневѣковымъ міромъ и съ пріемами изслѣдованія, какъ оно ставилось

[1]) Отчеты объ его занятіяхъ за границей напечатаны въ Журн. мин. просв. 1862—1864, и въ отдѣльномъ изданіи: „Извлеченія изъ отчетовъ лицъ, отправленныхъ министерствомъ нар. просвѣщенія за границу, для приготовленія къ профессорскому званію. Семь частей. Спб. 1863—1867. I, 397—405; II, 22—29, 333—341; III, 131—134, 458—464.

[2]) Novella della figlia del re di Dacia. Testo inedito del buon secolo della lingua. Pisa, 1866; Il Paradiso degli Alberti e gli ultimi trecentisti. Saggio di storia letteraria italiana. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare. Bologna, 1867—1869.

[3]) Вилла Альберти. Новые матеріалы для характеристики литературнаго и общественнаго перелома въ итальянской жизни XIV—XV в. Москва, 1870.

тогда въ западной наукѣ, г. Веселовскій перешелъ къ изслѣдованіямъ въ мірѣ славяно-русскомъ и съ тѣхъ поръ издалъ многочисленныя изслѣдованія, которыя именно ставили сказанія славяно-русскія въ цѣлую связь средневѣковой поэзіи [1]). Съ начала семидесятыхъ годовъ онъ сталъ профессоромъ исторіи всеобщей литературы въ петербургскомъ университетѣ; съ конца тѣхъ же годовъ — членомъ Второго отдѣленія Академіи.

Предстояла обширная задача, прежде всего особливо аналитическая, и г. Веселовскій положилъ на нее столько труда, сколько не было еще положено на это кѣмъ-либо изъ нашихъ изслѣдователей. Если при первыхъ сличеніяхъ можно было легко разубѣдиться въ вѣрности прежнихъ миѳологическихъ теорій, то предстоялъ вопросъ о новомъ созиданіи. Но сравнительно-историческому анализу предлежалъ такой обширный и запутанный лабиринтъ преданій, что нашъ изслѣдователь, послѣ множества частныхъ изслѣдованій, имъ исполненныхъ, все еще не рѣшается на это предпріятіе. Кромѣ того, что открывалось слишкомъ много частныхъ подробностей, которыя требуютъ истолкованія прежде, чѣмъ можетъ быть построенъ планъ цѣлаго, нашъ изслѣдователь повидимому увлекается самымъ процессомъ анализа, который доставляетъ столько любопытныхъ рѣшеній на трудные вопросы и ученыя загадки. Во всякомъ случаѣ уже и въ настоящемъ положеніи изслѣдованій, сдѣланныхъ г. Веселовскимъ и другими учеными этого направленія, частію его послѣдователями, множество подробностей старой народной поэзіи, современнаго преданія и самаго быта находятъ чрезвычайно интересныя разъясненія.

Приступая къ изслѣдованію русскаго содержанія, нашъ критикъ встрѣчался съ удивительнымъ совпаденіемъ многихъ мотивовъ нашего преданія съ мотивами западными и византійскими. Въ результатѣ многое изъ старыхъ выводовъ устранялось, и получались новыя данныя. Какъ мы сказали, изъ миѳологіи, какъ она понималась прежде, многое окончательно отпадало; не исчезало, конечно, миѳологическое содержаніе, но оно представлялось уже далеко не въ томъ, столь часто произвольномъ видѣ, гдѣ отъ какой-либо формы поэтическаго выраженія или подробности обряда и суевѣрія полагалось

---

[1]) Труды его за 1866– 1877 годъ перечислены были въ „Запискѣ“ объ его ученыхъ трудахъ, Срезневскаго, въ „Сборникѣ“ второго отдѣленія Академіи, т. XVIII, 1878, стр. LXVII—LXXIII; были перечисляемы въ моихъ статьяхъ, „Вѣстн. Евр.“ 1877, 1883; наконецъ, подробно исчислены въ книжкѣ: „Указатель къ научнымъ трудамъ Александра Николаевича Веселовскаго, проф. Имп. Спб. Унив. и академика Имп. Акад. Наукъ. 1859—1885“. Спб. 1888. Въ послѣднее время труды его находили мѣсто почти исключительно въ „Сборникахъ“ второго отдѣленія, въ „Журналѣ мин. просвѣщенія“, и въ „Archiv für slavische Philologie“, Ягича.

возможнымъ прямо заключать о солнцѣ, явленіяхъ природы, зооморфическихъ божествахъ и т. п.; а напротивъ, являлось чрезвычайно осложненнымъ разнородными наслоеніями, которыя новому изслѣдованію нерѣдко удавалось выдѣлить съ полною точностью. Старая лѣтопись и поученіе говорятъ уже о „двоевѣріи“, господствовавшемъ въ народѣ, принявшемъ христіанство, и это былъ дѣйствительно фактъ, характеристическій для тогдашняго состоянія умовъ. Миѳологи прежней школы понимали двоевѣріе довольно механически, думали, что язычество сохранялось подъ христіанской внѣшностью и именами, и въ народномъ преданіи, не носившемъ явно христіанскаго характера, склонны были видѣть непосредственную первобытную старину. Очевидно между тѣмъ, что если въ первое время двоевѣріе могло быть такимъ внѣшнимъ сопоставленіемъ двухъ порядковъ мыслей, какое изобличали древніе книжники, то уже вскорѣ народное вѣрованіе должно было испытать настоящее перерожденіе: два элемента должны были подвергнуться взаимодѣйствію и была вѣроятность, что возобладаетъ тотъ, который получалъ все новые запасы преданія и бытового значенія, т.-е. христіанскій. Дѣло въ томъ, что когда съ одной стороны несомнѣнно должна была истощаться память стараго язычества и подорванъ былъ самый источникъ его развитія, то съ другой стороны все болѣе расширялся притокъ понятій, преданій, повѣрій и суевѣрій склада христіанскаго. Если будетъ когда-нибудь написана послѣдовательная исторія народныхъ вѣрованій, она несомнѣнно должна будетъ указать постепенное возрастаніе этихъ христіанскихъ вліяній и именно въ ихъ популярной, полу-поэтической, полу-суевѣрной формѣ. Въ народъ очевидно не проходили философско-догматическія положенія, ему недоступныя; ему понятны были и имъ усвоены только простѣйшія положенія нравственныя (спасеніе души, молитва, мылостыня и проч.) вмѣстѣ съ преувеличенной наклонностью къ обрядовой сторонѣ вѣры, и особливо также тотъ поэтическій матеріалъ, который въ изобиліи представляла церковно-популярная письменность. Историки прежняго времени, а послѣ писатели славянофильскіе настаивали на быстромъ распространеніи христіанства въ древней Руси, видѣли въ русскомъ народѣ народъ единственно христіанскій, глубоко проникнутый высокими началами христіанскаго ученія. На это весьма не были похожи упомянутыя утвержденія миѳологовъ, которые полагали, что русскій народъ крѣпко держался языческихъ преданій и весьма успѣшно сберегъ ихъ до настоящаго времени. Истина находится приблизительно на серединѣ. Христіанство, хотя воспринятое не вдругъ, тѣмъ не менѣе уже скоро становится народнымъ вѣрованіемъ; масса невѣжественная, какою она была и въ значительной долѣ остается

донынѣ, не могла уразумѣть новаго ученія во всей его возвышенности, но, сохраняя по умственной и бытовой инерціи старое преданіе, вмѣстѣ съ тѣмъ жадно ловила легендарныя сказанія всякаго рода, какія въ изобиліи сообщала церковная литература и устные разсказы. Мы не имѣемъ достаточно свѣдѣній о томъ, какъ это совершалось въ первые вѣка нашего христіанства; по тѣмъ церковнымъ и лѣтописнымъ памятникамъ, какіе сохранились, очевидно, что вліянія этого рода дѣйствовали съ самыхъ первыхъ вѣковъ: въ этихъ памятникахъ уже проглядываютъ элементы апокрифическихъ сказаній, и рано начинаются увѣщанія противъ „ложныхъ книгъ", въ число которыхъ помѣщаются также бытовыя суевѣрія и языческія (какъ сопъ и чохъ и т. п.), и христіанскія (какъ „лживыя молитвы", „худые номоканунцы" и т. п.). Съ первой поры нашего христіанства возникаетъ монашество съ монастырской легендой и паломничество съ тою массой чудесныхъ повѣствованій, какими оно обыкновенно сопровождается. Едва ли сомнительно, наконецъ, что церковь у насъ, какъ то бывало и въ другихъ мѣстахъ, старалась замѣнять языческія празднества христіанскими, пріурочивать церковный обрядъ къ языческимъ обыкновеніямъ и т. п., такъ что старое преданіе, не исчезая, получало новое освѣщеніе. Однимъ словомъ, съ самаго начала различными путями въ популярное міровоззрѣніе входитъ все больше христіанскихъ элементовъ, которые питаютъ народную фантазію и направляютъ на новый путь народно-поэтическое творчество. Извѣстно, какую оригинальную смѣсь христіанскаго и языческаго представляетъ памятникъ, близкій къ XII вѣку—„Слово о полку Игоревѣ", гдѣ рядомъ съ воспоминаніями о Дажьбогѣ и Велесѣ стоитъ Богородица Пирогощая. Если уже вскорѣ русскій народъ начинаетъ противополагать себя „поганымъ" и невѣрнымъ, онъ очевидно дорожитъ своимъ христіанскимъ достоинствомъ, и естественно предположить, что его поэтическое творчество не останется чуждымъ этому сознанію и проявитъ свою дѣятельность въ этомъ смыслѣ. Дѣйствительно, періодъ „двоевѣрія", а тѣмъ болѣе послѣдующее время представляютъ именно богатое развитіе христіанскихъ элементовъ въ поэзіи и бытовомъ суевѣріи, такъ что многое, что было относимо прежде въ древнюю языческую миѳологію, должно быть съ бо̀льшимъ основаніемъ разыскиваемо въ миѳологіи христіанской, и дѣйствительно разыскивается.

Отсюда должно слѣдовать, что судьба народной поэзіи была не совсѣмъ такова, какъ ее представляли прежніе изслѣдователи. Они полагали, что, напримѣръ, мы имѣемъ возможность непосредственно возводить нашъ богатырскій эпосъ къ его предшествовавшей ступени—эпосу миѳологическому; что въ немъ какъ будто произошло

только переименованіе его героевъ, что напримѣръ, за Ильей Муромцемъ можно углядѣть божество грома, или за княземъ Владиміромъ— красное солнышко. На дѣлѣ, переходъ отъ временъ языческихъ, когда можно было бы предполагать миѳологическій эпосъ, ко временамъ христіанскимъ составлялъ такой переворотъ, что въ сущности трудно даже представить пока, что могло при этомъ произойти: невозможно представить, чтобы на этомъ пространствѣ народное творчество осталось безучастно и нечувствительно къ тѣмъ новымъ стихіямъ, какія входили въ народное міровоззрѣніе изъ христіанской легенды или вообще изъ той новой массы поэтическаго содержанія, которое проникало къ народу въ теченіе вѣковъ. Въ самомъ дѣлѣ, новѣйшія изслѣдованія ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія, что былина рядомъ съ своими традиціонными народными сюжетами разработывала и сюжеты, по своему происхожденію книжные, и разработывала въ томъ же самомъ стилѣ пріемовъ, стиха и языка. Такимъ образомъ о прямой преемственности, о неизмѣнномъ самостоятельномъ развитіи исконнаго содержанія не можетъ быть рѣчи; напротивъ, эпосъ свободно воспринималъ то книжное или инымъ путемъ приходившее новое содержаніе, которое отвѣчало интересамъ народной фантазіи, и включалъ это содержаніе въ свой героическій кругъ. Подобнымъ образомъ новое входило въ самую область обрядовой пѣсни, въ которой можно именно искать отголосковъ древнѣйшей поэзіи и быта.

Такимъ образомъ, когда прежніе изслѣдователи искали, и думали находить, въ народномъ преданіи и поэзіи слѣды первобытной эпохи народной жизни, новѣйшіе изыскатели, напротивъ, останавливаясь на точномъ анализѣ данныхъ фактовъ народнаго творчества, раскрываютъ передъ нами сложное и пестрое зрѣлище той болѣе поздней двоевѣрной поры, гдѣ разнообразно перекрещиваются элементы стараго и новаго, подлинно народнаго и чужого, устнаго и письменнаго, суевѣрно-языческаго или суевѣрно-христіанскаго. Здравый критическій пріемъ состоялъ именно во всестороннемъ осмотрѣ наличныхъ данныхъ, и первое общее впечатлѣніе или первый научный результатъ заключались въ томъ наблюденіи, что наша старина и народная поэзія тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ къ цѣлому составу средневѣковаго христіанскаго народнаго мышленія и легендарной поэзіи: многочисленныя сличенія подробностей приводили постоянно къ этому общему міру европейскаго средневѣковаго преданія, нерѣдко удивительнымъ образомъ совпадавшаго у самыхъ далекихъ одинъ отъ другого народовъ, въ самыя различныя эпохи, въ самыхъ различныхъ сюжетахъ. Это было впрочемъ весьма естественно: европейскіе христіанскіе народы имѣли одинъ общій источникъ легенды, суевѣрія и обычая; прежде чѣмъ совершилось раздѣленіе

церквей, успѣла уже создаться и распространиться одинаково на востокѣ и западѣ масса легендарно-поэтическаго матеріала, который одинаково на западѣ и на востокѣ переходилъ въ народную среду и возбуждалъ въ ней самостоятельную дѣятельность въ томъ же направленіи. Естественно, что одна основная тема разбивалась, смотря по множеству мѣстныхъ условій, на разнообразные варіанты: они и застыли какъ въ литературѣ, такъ и въ народномъ преданіи у разныхъ племенъ и, встрѣчаясь съ ними, изслѣдователь имѣетъ возможность возвести ихъ къ общему источнику.

Таково было поприще, которое открывалось передъ научнымъ анализомъ съ тѣхъ поръ, какъ понята была односторонность Гриммова метода, и съ тѣхъ поръ, какъ Бенфей выставилъ свою теорію международныхъ заимствованій. Къ тѣмъ трудамъ, которые совершены были въ европейской наукѣ для изслѣдованія новаго возникшаго вопроса, достойнымъ образомъ примыкаютъ труды нашего ученаго. Въ этой области новѣйшей науки найдется немного людей, которые овладѣли бы ея матеріаломъ въ такой степени: останавливаясь на томъ или другомъ вопросѣ, онъ привлекаетъ къ сравненію огромную литературу, восточную и западную, древнихъ и среднихъ вѣковъ и современнаго фольклора, отличаясь тѣмъ отъ своихъ западныхъ собратій, что въ его распоряженіи находится также мало или совсѣмъ неизвѣстный на западѣ матеріалъ старо-славянскій, ново-славянскій и русскій, и наконецъ византійскій—въ тѣхъ рукописяхъ нашихъ библіотекъ, которыя оставались неизданы и неизвѣстны западнымъ ученымъ. Сдѣланныя имъ сличенія поражаютъ своимъ разнообразіемъ, обширностью обозрѣваемаго горизонта и часто неожиданностью. Останавливаясь на русскомъ легендарномъ преданіи, на той или другой подробности эпоса, г. Веселовскій обставляетъ ихъ множествомъ сравненій и аналогій, заимствованныхъ отовсюду: ему послужатъ древнее византійское житіе или церковные каноны, западная латинская легенда, скандинавская сага, нѣмецкая и французская средневѣковая поэма, западно-славянское преданіе, румынская или ново-греческая пѣсня, сказанія восточныхъ народовъ, преданія русскихъ полудикихъ инородцевъ, словомъ, громадный матеріалъ, раскиданный на огромномъ пространствѣ географіи и хронологіи и гдѣ однако отыскиваются общія нити народнаго миѳа и поэзіи. Русская тема, которая служитъ ему исходнымъ пунктомъ и предметомъ разысканія, окружена разъясняющими ее чертами чужихъ преданій и письменности, между прочимъ, такими чертами, которыя невозможно было бы объяснять какимъ-либо до-историческимъ родствомъ и наслѣдственностью отъ одного первобытнаго источника, такъ что прежде всего эта русская тема теряетъ ту исключительность, какая за ней предполага-

лась, и напротивъ, является только отдѣльнымъ звѣномъ въ международной цѣпи миѳа и поэтическаго сказанія. Понятно, что только послѣ этого признанія ея однородности съ другими подобными можетъ быть съ успѣхомъ опредѣлена ея дѣйствительная національная особенность. Во-вторыхъ, изъ этихъ многочисленныхъ сравненій открывается единство иного рода, именно—единство цѣлаго обширнаго міра христіанско-миѳологическихъ сказаній и повѣрій, господствовавшаго въ различныхъ варіантахъ во всемъ средневѣковомъ христіанствѣ и очевидно повліявшаго на міровоззрѣніе русскаго народа гораздо сильнѣе, и гораздо болѣе замѣстившаго языческое наслѣдіе, чѣмъ предполагала прежняя миѳологическая школа.

Было бы долго перечислять разнообразныя темы, на которыя направлялись изысканія г. Веселовскаго. Онѣ останавливались на древней повѣсти и сектаторской легендѣ, и на житіяхъ, и на русскомъ эпосѣ, и на обрядовой поэзіи, и на старомъ языческомъ или двоевѣрномъ обычаѣ и т. д. Привлекая къ ихъ объясненію тотъ различный матеріалъ средневѣковыхъ сказаній, который мы сейчасъ упоминали, нашъ изслѣдователь нерѣдко достигалъ двоякой цѣли: давая комментарій къ русскимъ сказаніямъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ указывалъ для сказаній западныхъ такія параллели, которыя не были принимаемы въ соображеніе западными комментаторами или вовсе не были имъ извѣстны. Былъ и третій результатъ: въ приложеніяхъ къ своимъ изслѣдованіямъ онъ издалъ не мало неизвѣстныхъ ранѣе текстовъ, напр., старыхъ русскихъ и византійскихъ. Въ послѣднее время длинная серія изслѣдованій была имъ посвящена нашимъ южно-русскимъ былинамъ и духовнымъ стихамъ. Поэтическія темы древнѣйшей русской былины никогда еще не были представлены въ такой обстановкѣ, какую давалъ имъ г. Веселовскій. Нѣкогда, и еще весьма недавно, онѣ получали толкованіе миѳологическое или символико-мистическое—въ обоихъ случаяхъ переносились въ далекую фантастическую область, куда не могло, наконецъ, слѣдовать за ними осязательное изысканіе; теперь мы видѣли ихъ въ наглядныхъ параллеляхъ изъ средневѣковой поэзіи, гдѣ ихъ подробности становились понятны въ сопровожденіи такихъ же примѣровъ поэтическаго творчества у другихъ народовъ. Вмѣстѣ съ этимъ документальнымъ истолкованіемъ древней поэзіи, реставрировалась по тѣмъ же былинамъ и другимъ смежнымъ памятникамъ сама бытовая старина.

Остановимся на нѣсколькихъ примѣрахъ этихъ изслѣдованій. Послѣ диссертаціи по итальянской литературѣ и нѣсколькихъ частныхъ работъ, г. Веселовскій обратился къ вопросамъ русской письменной и народно-поэтической старины, въ изслѣдованіи, которое

сразу поставило его въ ряду наиболѣе компетентныхъ знатоковъ предмета [1]). Книга уже обращала на себя вниманіе обширными литературными средствами автора. Предметъ былъ взятъ изъ той старой полународной письменности, которая уже въ школѣ г. Буслаева стала привлекаться къ свидѣтельству о народной поэзіи и миѳологическомъ преданіи. Но авторъ остался далекъ отъ прежняго пути: господствовавшій пріемъ въ объясненіи эпоса готовыми миѳологическими формулами казался ему слишкомъ податливымъ личному произволу и, напротивъ, пріобрѣтенная практика въ реальномъ изслѣдованіи литературныхъ фактовъ—притомъ въ чужой литературѣ, слѣд., внѣ національно-археологическихъ пристрастій—побуждала его къ тому же и въ области древней русской литературы. Обширная начитанность въ средневѣковыхъ памятникахъ,—какою едва ли кто другой изъ русскихъ ученыхъ могъ похвалиться,—открывала ему столько характерныхъ совпаденій и наглядныхъ образчиковъ движенія народно-поэтическихъ представленій, что все это само по себѣ привлекало къ изслѣдованію. Первый трудъ уже наводилъ на любопытныя заключенія о судьбахъ народнаго преданія и поэзіи. Правда, отъ нѣкоторыхъ выводовъ перваго труда онъ послѣ отчасти отказался или видоизмѣнилъ ихъ, но это объяснялось только тѣмъ, что въ дальнѣйшихъ изысканіяхъ авторъ овладѣвалъ все бо́льшей массой литературныхъ фактовъ, которые доставляли и новыя объясненія [2]); но самый путь, методъ изслѣдованія оставался неизмѣннымъ. Писатели миѳологической школы причислили г. Веселовскаго къ послѣдователямъ Бенфея (противополагавшаго ученію о до-историческомъ сродствѣ миѳовъ, по единству племенного происхожденія, теорію позднѣйшаго заимствованія путемъ международныхъ сношеній); но и безъ теоріи Бенфея, къ которому, прибавимъ, нашъ изслѣдователь относится весьма независимо, достаточно было широкаго и критически обставленнаго сличенія фактовъ, чтобы принять между народами „литературное общеніе" и найти въ немъ источникъ многихъ эпическихъ преданій и сказаній, которыя прежде приписывались самобытному творчеству даннаго народа или сходство которыхъ у разныхъ племенъ относимо было въ отдаленныя эпохи до-историческаго единства. Теперь оказывалось, что къ этимъ ссылкамъ на до-историческія времена во многихъ случаяхъ не было никакого основанія, и

[1]) Изъ исторіи литературнаго общенія Востока и Запада. Славянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ и западныя легенды о Морольфѣ и Мерлинѣ. Спб. 1872. Это была докторская диссертація. Разборъ книги, сдѣланный г. Буслаевымъ — въ 16-мъ присужденіи Уваровскихъ премій.

[2]) См., напр., „Наблюденія надъ исторіей нѣкоторыхъ романтическихъ сюжетовъ средневѣковой литературы" въ Журн. мин. просв., 1873, февр., и друг.

что вопросъ ближе и проще рѣшался реальными фактами литературныхъ воздѣйствій и устной передачи въ христіанскія времена.

Открывъ рядъ своихъ изслѣдованій, г. Веселовскій не однажды обращался къ объясненію самаго метода. Это было необходимо, потому что неясность вопроса о методѣ была одной изъ главныхъ причинъ того произвола, какимъ исполнены были прежнія истолкованія миѳологіи и за нею эпоса. Этому вопросу посвящена была въ особенности статья о „Зоологической миѳологіи“ Анджело де-Губернатиса [1]). Веселовскій относится очень недовѣрчиво къ той системѣ объясненія миѳа, которую представлялъ Ад. Кунъ, Максъ Мюллеръ и ихъ многочисленные послѣдователи и подражатели. Эта система, по словамъ его, сдѣлалась модой, польза которой очень сомнительна. „Какъ прежде наивно вѣровали въ историческую подкладку всякаго миѳа, такъ теперь, увлекшись сравнительнымъ пріемомъ, всякую обыденную исторію норовили обратить въ миѳъ. Стоило только отыскать, что въ той или другой лѣтописи, былинѣ, сказаніи есть общія мѣста, встрѣчающіяся въ другихъ лѣтописяхъ, сказаніяхъ, чтобы тотчасъ же заподозрить ихъ достовѣрность и выдвинуть ихъ изъ исторіи. Ихъ думали объяснить иначе—либо заимствованіемъ, перенесеніемъ нѣкоторыхъ безразличныхъ подробностей изъ одного памятника въ другой, либо миѳомъ. Но заимствованіе приходилось бы доказать для каждаго даннаго случая, а гипотеза миѳа такъ удобна!.. Стóитъ только однажды стать на эту точку зрѣнія, а возсозданіе этого миѳа и объясненіе его—дѣло легкое, при податливости матеріала, съ которымъ обращается миѳологическая экзегеза. Такимъ образомъ и Роланда, сподвижника Карла Великаго и героя очень реальной chanson de geste, хотѣли не такъ давно обратить въ германскаго бога, потому что у того и у другого нашлись сходныя черты“.

При изученіи народныхъ вѣрованій представляются прежде всего слѣдующіе вопросы: какіе отдѣлы народно-поэтическихъ произведеній подлежатъ миѳологическому толкованію, и на чемъ основана исходная точка толкованія? Веселовскій отвѣчаетъ, что миѳологъ долженъ прежде всего обратиться къ тому, чтó самъ народъ принимаетъ еще какъ вѣрованіе—къ обрядной пѣснѣ, къ заговору: здѣсь скорѣе всего мы найдемъ отголоски того непосредственнаго отношенія къ природѣ, какое лежало въ основѣ древнихъ народныхъ религій. Только придя къ извѣстнымъ цѣльнымъ выводамъ на основаніи такого матеріала, изслѣдователь можетъ перейти къ другимъ отдѣламъ народной поэзіи, напр., сказкамъ, отыскивая въ нихъ слѣды той же миѳологической системы. Но надо помнить, что самъ народъ не видитъ въ сказкахъ

[1]) Вѣстн. Евр. 1873, октябрь.

даже были, не только вѣрованія, и считаетъ ее „складкой“, даже иногда не имъ сложенной, а откуда-то занесенной.

Объясненія миѳологіи посредствомъ извѣстной облачной и солнечной теоріи кажутся автору односторонними. Дѣло въ томъ, что такіе миѳы были только однимъ изъ выраженій того психическаго акта, который всю природу сознавалъ живою, дѣйствующею по законамъ личной жизни; рядомъ съ миѳами небесными были миѳы растеній и животныхъ. Это разные циклы миѳа возникали самостоятельно, и существовали совмѣстно, хотя развивались неровно. Животныя сказки не могутъ быть вовсе привязаны къ облачному миѳу (какъ это дѣлали и наши изслѣдователи), и авторъ никакъ не соглашается вѣрить, чтобы продѣлки нашей Лисы Патрикѣевны когда-либо имѣли мѣсто въ облакахъ, а не въ курятникѣ. Относительно сказокъ и эпическихъ сказаній вообще нужна также великая осторожность миѳическихъ объясненій, даже въ томъ случаѣ, когда бы въ сказкѣ и собственно религіозномъ миѳѣ (не только разныхъ, но *одного* народа) повторились одинаковые мотивы. Дѣло въ томъ, что если небесные миѳы образовались по отношеніямъ земной жизни, то первоначально усмотрѣны были эти земныя отношенія, и раньше небесной коровы или другого миѳическаго животнаго, раньше борьбы небесной, человѣкъ зналъ простыхъ земныхъ животныхъ и видѣлъ борьбу враговъ земныхъ. Миѳъ, правда, закрѣплялъ обыденныя отношенія въ болѣе широкіе образы, но эти отношенія могли спастись отъ забвенія и другимъ путемъ кромѣ миѳа. Народная память сохраняла разсказъ о набѣгѣ одного племени на другое, о единоборствѣ двухъ витязей, о кровавой драмѣ въ семьѣ старшины, и готовъ былъ эпическій разсказъ—зародышъ народнаго эпоса. Этотъ разсказъ могъ имѣть сходныя черты съ мотивами облачнаго миѳа, но это сходство могло состояться *безъ* всякой *генетической связи* между ними. И если миѳъ религіозный съ теченіемъ времени обезцвѣчивался и дѣлался сказкой, то могло то же самое случиться и съ реальнымъ эпическимъ разсказомъ: историческія имена забывались, мѣстныя черты отпадали, и точно также являлась сказка. Такимъ образомъ не все въ сказкѣ принадлежитъ миѳу, и многое возникло изъ реальныхъ житейскихъ отношеній. Иначе придется отрицать возможность зарожденія пѣсни и эпическаго разсказа по поводу факта, случившагося на землѣ, а не на небѣ.

Въ настоящее время мы, по большей части, имѣемъ дѣло съ миѳами, прошедшими цѣлую длинную исторію разъединенія, смѣшенія и осложненія подъ вліяніемъ слиянія родовъ и племенъ, измѣненія понятій и бытовыхъ отношеній. Подобныя явленія совершались и въ области эпическихъ сказаній, которыя также имѣли свою исторію и

которыя мы имѣемъ теперь передъ собою въ этомъ смѣшанномъ и осложненномъ видѣ. Какъ происходитъ это осложненіе эпическихъ мотивовъ, мы можемъ наблюдать даже и теперь. Заставьте любого сказочника или пѣвца повторить вамъ въ разное время сказку или былину: каждый разъ, незамѣтно для себя самого, онъ прибавитъ или выпуститъ что-нибудь, измѣнитъ какую-нибудь подробность; онъ не сочиняетъ, а только путаетъ. Но и тѣ сказки, которыя намъ кажутся хорошо сохранившимися, прошли, конечно, тотъ же самый процессъ. Такимъ образомъ, и въ миѳѣ, и въ эпическомъ сказаніи, двойственность мотивовъ, противорѣчивыя черты и т. п. объясняются какъ послѣдовательность превращеній и наростовъ, какихъ не миновало ни одно произведеніе народнаго слова, переходившее изъ устъ въ уста. И вопросъ толкованія состоитъ въ томъ, чтобы отличить эти позднія приставки отъ того, что̀ можно считать кореннымъ и не случайнымъ. Для этого нужно предварительно изучить содержаніе народныхъ сказокъ относительно ихъ *главныхъ мотивовъ*. „Чѣмъ въ бо̀льшемъ количествѣ сказокъ повторенъ будетъ одинъ и тотъ же мотивъ, тѣмъ ближе мы къ цѣли критики: изъ сличенія различныхъ редакцій одного и того же разсказа легко будетъ вывести заключеніе о его общихъ неизмѣняемыхъ чертахъ, и съ другой стороны о тѣхъ, которыми онъ видоизмѣнялся тамъ или здѣсь. Первыя должны быть признаны принадлежащими къ основнымъ сказочнымъ типамъ, и здѣсь можетъ явиться идея сблизить ихъ съ народными миѳами и даже объяснить изъ нихъ происхожденіе всей сказочной литературы. Что до вторыхъ, то подобное объясненіе касаться ихъ не должно; они принадлежатъ собственной исторіи сказки, ея стилистикѣ. Только когда это раздѣленіе будетъ сдѣлано, миѳологическая экзегеза ощутитъ впервые твердую почву подъ ногами“.

Ближайшимъ образомъ, Веселовскій такъ опредѣлялъ отношенія миѳологіи къ христіанскому міровоззрѣнію и легендѣ. „Мнѣ кажется,— говоритъ онъ,—что теоретики средневѣковой миѳологіи должны будутъ поступиться частью своей программы: не всегда старые боги сохранились въ полуязыческой памяти средневѣковаго христіанина, прикрываясь только именами новыхъ святыхъ, удерживая за собою свою власть и аттрибуты. Образы и вѣрованія средневѣковаго Олимпа могли слагаться еще другимъ путемъ: ученія христіанства принимались неприготовленными къ нему умами внѣшнимъ образомъ; евангельскіе разсказы и легенды, чѣмъ далѣе шли въ народъ, тѣмъ болѣе прилаживались къ такому пониманію, искажались; обряды, мелочи церковнаго обихода производили формальное впечатлѣніе, слово принималось за дѣло, всякому движенію приписывалась особая сила, и по мѣрѣ того, какъ исчезалъ внутренній смыслъ, внѣшность да-

вала богатый матеріалъ для суевѣрія, заговоровъ, гаданій и т. п. Повѣсть о подвижничествѣ христіанскихъ просвѣтителей обращалась, въ фантазіи европейскихъ дикарей, въ героическую сагу, святые становились героями и полубогами. Такимъ образомъ, долженъ былъ создаться цѣлый новый міръ фантастическихъ образовъ, въ которомъ христіанство участвовало лишь матеріалами, именами, а содержаніе и самая постройка выходили языческія. Такого рода созданіе нисколько не предполагаетъ, что на почвѣ, гдѣ оно произошло, было предварительное сильное развитіе миѳологіи. Ничего такого могло и не быть, т. е. миѳологіи, развившейся до олицетворенія божествъ, до признанія между ними человѣческихъ отношеній, типовъ и т. д.; достаточно было особаго склада мысли, никогда не отвлекавшейся отъ конкретныхъ формъ жизни и всякую абстракцію низводившей до ихъ уровня. Если въ такую умственную среду попадетъ остовъ какого-нибудь нравоучительнаго аполога, легенда, полная самыхъ аскетическихъ порывовъ, они выйдутъ изъ нея сагой, сказкой, миѳомъ; не разглядѣвъ ихъ генезиса, мы легко можемъ признать ихъ за таковые" [1]).

Такимъ образомъ г. Веселовскій относился недовѣрчиво къ миѳологической школѣ; его мнѣнія объ этомъ высказаны раньше тѣхъ отзывовъ Маннгардта, на которыхъ мы останавливались въ одной изъ предъидущихъ главъ. Начавши свои изученія въ то время, когда уже возникла реакція противъ преувеличеній Гриммовой школы, и направивъ свои изысканія на памятники средневѣковаго эпоса и легенды, онъ долженъ былъ увѣриться, что реакція имѣла свои основанія. Многое изъ того, что́ относилось миѳологами прежней школы въ до-историческій миѳъ, въ арійскую древность, оказывалось вовсе не столь глубоко миѳическимъ и не столь древнимъ: мнимо до-историческое оказывалось средневѣковымъ, арійское—не арійскимъ (напр. еврейскимъ), древне-языческое —христіанскимъ. Чѣмъ дальше шли изслѣдованія, тѣмъ обильнѣе были открытія, и тѣмъ ярче выступало значеніе, во-первыхъ, того запаса восточно-эпическаго матеріала, который переходилъ черезъ Византію въ міръ южно-славянскій и русскій, съ другой въ западную Европу, и во-вторыхъ, христіанской легенды и апокрифическихъ сказаній. Въ европейской ученой литературѣ еще задолго до Бенфея началось изученіе странствующаго эпоса; теперь съ усилившимся собираніемъ живой народной поэзіи и бытового обряда, съ разработкой восточныхъ литературъ, съ изданіемъ и истолкованіемъ множества памятниковъ средневѣковой письменности, возросъ до громадныхъ размѣровъ запасъ матеріала и сравненій.

---

[1]) Слав. сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ, стр. XII—XIV.

Нашъ ученый, широко пользуясь этимъ запасомъ, размножилъ его русско-славянскимъ и византійскимъ матеріаломъ. Передъ изслѣдователями, можно сказать, раскрылся новый литературный міръ, у насъ никогда прежде не наблюдаемый въ такомъ широкомъ объемѣ: это былъ міръ не только созданный старымъ національнымъ преданіемъ разныхъ европейскихъ народовъ, но и тѣмъ ихъ общеніемъ съ востокомъ, которое установлялось историческими отношеніями культуры (политическими, бытовыми, образовательными) и въ особенности христіанствомъ.

Это особенное вниманіе къ средневѣковому христіанскому преданію было дѣйствительно необходимо. Какъ бы ни былъ живучъ древній миѳъ, его господство было смѣнено многовѣковымъ господствомъ другого, столь могущественнаго круга идей, что послѣдній неизбѣжно долженъ былъ многое старое окончательно уничтожить и внести совершенно новыя представленія; новая религія смѣнила старый миѳъ легендой, новой космогоніей и эсхатологіей, новымъ апокрифическимъ суевѣріемъ, особымъ направленіемъ въ работѣ фантазіи [1]). Этотъ новый порядокъ идей укрѣплялся всѣмъ ходомъ жизни, церковью, учрежденіями, образованіемъ, нравами; онъ самъ создавалъ свою миѳологію, и вѣками своего существованія дѣйствительно создалъ ее. Странно было бы ожидать, чтобы въ новыхъ формахъ своего быта народъ внезапно лишился творчества и игры фантазіи, и только повторялъ одни старые мотивы, — чтобы онъ все еще отчетливо помнилъ только одни „тучи“ и „молніи“, на которыхъ останавливалось его первобытное младенческое воображеніе. Остатки старины, конечно, хранились въ иныхъ отрывкахъ и традиціонныхъ выраженіяхъ; но несомнѣнно были и новыя, самостоятельныя формы и содержаніе. Вопросъ былъ въ томъ, насколько въ дошедшемъ до насъ матеріалѣ миѳическаго преданія: насколько въ народной поэзіи надо видѣть одну перелицовку старины или же новыя образованія. Прежняя миѳологическая школа предпочитала первое, новыя изслѣдованія приводили скорѣе къ послѣднему.

Изъ множества изслѣдованій г. Веселовскаго остановимся на нѣкоторыхъ примѣрахъ.

Однимъ изъ тѣхъ памятниковъ, гдѣ наши миѳологи видѣли непреложный слѣдъ до-историческаго язычества, былъ извѣстный стихъ о „Голубиной книгѣ“,—хотя имъ очень извѣстны были ея литера-

[1]) На этотъ вопросъ уже наводила прежняя школа, затронувъ запасы христіанской средневѣковой легенды и суевѣрія. Изъ многихъ указаній у г. Буслаева на вліянія христіанской грамотности, см. напр. „Р. богатырскій эпосъ“, Р. Вѣстн. 1862, № 10, стр. 564; въ разборѣ сочиненія Стасова, стр. 80 и друг.

турныя параллели [1]). Г. Веселовскій изъ разбора этихъ параллелей пришелъ къ противоположному заключенію, что вмѣсто языческаго, „арійскаго“ миѳа, будто бы только подновленнаго христіанскимъ апокрифомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло именно съ позднѣйшимъ литературнымъ явленіемъ, источники котораго заключаются въ преданіяхъ христіанской миѳологіи, много разъ переработанныхъ въ средневѣковой книжно-народной словесности [2]). Выше было упомянуто, какія удивительныя толкованія получалъ знаменитый „камень алатырь“ въ прежней школѣ, у Аѳанасьева и Ор. Миллера, и съ другой стороны, еще замысловатѣе, у Безсонова: это—„солнечный камень“, принадлежность первобытнѣйшаго миѳа; островъ Буянъ, на которомъ онъ лежитъ, это—„туча“ и т. п. Веселовскій выходитъ прямо изъ того, что былина (о Василіи Буслаевѣ) и стихъ о Голубиной книгѣ пріурочиваютъ камень алатырь къ „Сіонъ-горѣ“ и „соборной церкви на Ѳаворѣ“; и первое объясненіе таинственнаго камня даютъ мѣстныя палестинскія легенды, записанныя въ средневѣковыхъ путешествіяхъ въ Святую землю и ея описаніяхъ, между прочимъ и въ русскихъ путешествіяхъ, начиная съ Даніила Паломника. Камень алатырь относится именно къ легендамъ объ іерусалимской святынѣ. „Преданіе о чудесномъ камнѣ, положенномъ Спасителемъ въ основаніе сіонской церкви; о камнѣ, снесенномъ (ангелами) съ Синая и положенномъ на мѣсто алтаря въ той же церкви, матери всѣхъ церквей; память о трапезѣ Христа въ сіонскомъ coenaculum, за которымъ Спаситель возлежалъ съ апостолами, установилъ таинство евхаристіи и, наставивъ тому учениковъ, послалъ ихъ въ міръ возвѣстить новое откровеніе: таковы были матеріалы мѣстной легенды“. Принесенная на Русь первыми паломниками, легенда должна была произвести большое впечатлѣніе на полу-языческое воображеніе новообращенныхъ христіанъ: чудесный камень связанъ былъ съ дѣяніями самого Христа, съ первой церковью на землѣ, и очень естественно могъ сдѣлаться источникомъ народно-христіанскаго миѳа. Легенды собраны были въ символическій центръ, алтарный камень (въ церк.-славянскомъ: олътарь), изъ котораго и получился священный и волшебный камень алатырь. Можно еще быть неувѣреннымъ въ словопроизводствѣ самаго имени [3]), но объясненіе его значенія совершенно отвѣчаетъ тому представленію камня, какое находимъ въ стихѣ и въ былинѣ. Подобнымъ образомъ изъ палестинской легенды выросло миѳическое представленіе о св. Гралѣ,

[1]) Ср. Буслаева, Очерки, I, стр. 143, 455, 614; II, стр. 17 и друг.; Аѳанасьева, Поэтич. Воззрѣнія Славянъ, I, стр. 50—52.

[2]) См. Славянскія сказанія о Соломонѣ, стр. 163, 180 и слѣд.

[3]) Иное объясненіе слова даетъ г. Ягичъ.

развитое въ средневѣковыхъ западныхъ поэмахъ. „Образъ Граля (символической чаши),—говоритъ Веселовскій,—нашелъ условія развитія, которыя довели его до поэтической и мистической апоѳеозы; алатырю не посчастливилось, и отъ христіанскаго представленія онъ по немногу спускается къ фетишу. Современные русскіе заговоры разскажутъ намъ его исторію: въ началѣ онъ еще близокъ къ алатырю-алтарю, еще лежитъ *на Сіонской горѣ*, а на немъ соборная *апостольская церковь*; далѣе, онъ очутился на островѣ,—но это островъ божій, и на алатырѣ стоитъ золотая *апостольская церковь* съ золотымъ престоломъ, а на томъ златѣ престолѣ сидитъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, Михаилъ-архангелъ, Иванъ Богословъ и т. п. Позднѣе остается болѣе или менѣе обстановка (поле, болото, окіанъ и т. п.), но лица являются другія: Матерь Божія съ двумя сестрицами, бабушка Соломонія, царица Ирода царя—Соломія, три брата родимые, либо два орла орловича, два брата родные; невѣдомый стрѣлецъ и красная дѣвица; мужъ желѣзенъ царь; наконецъ—самъ Сатана; алатырь попадаетъ въ заговоръ отъ змѣинаго укуса и въ повѣрье, что змѣи лижутъ его и отъ того бываютъ и сыты и сильны и т. д.“ [1]).

Въ числѣ памятниковъ, которые доставляли миѳологической школѣ желанный матеріалъ для выводовъ о древнемъ язычествѣ и особливо его космогоническихъ преданіяхъ, находятся такъ-называемыя колядки, колядскія пѣсни. Веселовскій посвятилъ имъ цѣлое обширное изслѣдованіе [2]), гдѣ собрано по обыкновенію множество историческаго и народно-поэтическаго матеріала со всѣхъ концовъ европейской литературы для объясненія различныхъ сторонъ предмета, у насъ никогда еще не разработаннаго до такой глубины. Вопросъ чрезвычайно сложенъ: такъ какъ пѣсня соединялась съ обрядомъ, авторъ не отвергалъ въ ней возможности миѳа, но съ другой стороны видѣлъ въ ней черты иного порядка, христіанско-легендарныя и бытовыя, подлежавшія не миѳологіи, а исторіи и этнографіи. „Обличенія древней церкви, направленныя противъ Календъ (первообразъ коляды),—говоритъ авторъ,—имѣли въ виду греко-римскій фондъ вѣрованій, нашедшихъ въ нихъ выраженіе; но они оставались въ силѣ всюду, гдѣ существованіе аналогической обрядности вызывало подобный же протестъ. Оттого обличенія такъ часто повторяютъ другъ друга. Но откуда эта аналогичность обряда, замѣчательное

[1]) Разысканія въ области рус. духовныхъ стиховъ, III: Алатырь въ мѣстныхъ преданіяхъ Палестины и легенды о Гралѣ.

[2]) Разысканія, VII: румынскія, славянскія и греческія коляды (1. языческій элементъ колядъ; 2. святочныя маски и скоморохи; 3. христіанскіе мотивы колядокъ; 4. бытовые мотивы; 5. балладные, эпическіе мотивы колядокъ), стр. 97—291.

сходство, представляемое святочными обычаями современныхъ европейскихъ народовъ? Многое можно объяснить единствомъ натуралистическихъ представленій, легшихъ въ ихъ основу; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ общемъ есть частности и совпаденія, невольно вызывающія вопросъ—о возможности *одного древняго культурнаго вліянія*, распространившагося разновременно и оставившаго слѣды въ очертаніяхъ новаго обряда. Классическій орнаментъ на скандинавскихъ подѣлкахъ древняго желѣзнаго періода указываетъ на воздѣйствіе греческихъ колоній въ Скиѳіи; римляне заходили въ Скандинавію, что засвидѣтельствовано недавно открытыми могилами, и т. п. Я ставлю только возможность вопроса"...

Такой осторожностью не отличалась миѳологическая школа; но въ подтвержденіе своей гипотезы авторъ собралъ множество весьма убѣдительныхъ доказательствъ. Его изслѣдованіе есть чрезвычайно любопытный опытъ проникнуть въ древнѣйшія отношенія европейской, и въ томъ числѣ славянской и русской, культуры,—проникнуть не путемъ поэтической идеализаціи, а съ реальными историческими фактами въ рукахъ. И здѣсь опять приходится жалѣть, что исключительно гелертерская форма [1]) дѣлаетъ эти труды мало доступными для обыкновенныхъ читателей,—вслѣдствіе чего они до сихъ поръ не оказали почти никакого вліянія на популярныя и учебныя изложенія русской поэтической старины.

Далѣе, много работъ Веселовскаго было посвящено изученію собственно христіанской легенды, апокрифическаго сказанія и иноземной переводной повѣсти, гдѣ источники русскихъ книжныхъ памятниковъ были болѣе или менѣе видны и гдѣ требовалось только выяснить въ точности ихъ генеалогію и связь съ родственными явленіями другихъ литературъ. При этомъ получался и другой чрезвычайно важный результатъ: открывались близкія соотношенія между этими, чужими по происхожденію (особенно византійскими) произведеніями и нашимъ былиннымъ эпосомъ. Изслѣдованія, направленныя въ эту сторону, убѣждали, что какъ народно-христіанская легенда отразилась въ нашей средневѣковой (и донынѣ живущей) миѳологіи, такъ и въ созданіи русскаго эпоса обильно участвовали книжные эпическіе элементы, которыхъ дотолѣ не подозрѣвали. Это былъ выводъ первостепенной важности. Прежняя идеалистическая или сантиментальная апоѳеоза русскаго былиннаго эпоса, какъ вполнѣ самобытнаго созданія народной поэзіи, продолжавшаго языческую эпопею миѳической космогоніи и небеснаго богатырства, эта апоѳеоза блѣднѣла, но

[1]) Напр. слишкомъ лаконическія указанія источниковъ, не переведенныя цитаты (иногда въ двѣ-три страницы) греческія, румынскія, средне-нѣмецкія и старо-французскія и т. п.

взамѣнъ выростала болѣе научная постановка вопроса. Былинный эпосъ являлся въ новыхъ, болѣе реальныхъ историческихъ отношеніяхъ, чѣмъ „тучи“ и „молніи“.

Таковы любопытныя сближенія былинъ о Святогорѣ, пѣсенъ объ Аникѣ-воинѣ, Иванѣ гостиномъ, или Вдовкинѣ сынѣ и пр. съ содержаніемъ византійскаго эпоса [1]), какъ богатырскаго, такъ и легендарнаго. Многое, что полагалось чисто русскимъ, находитъ свои параллели и источники въ средне-греческихъ сказаніяхъ. Авторъ говоритъ объ этихъ послѣднихъ: „Это былъ міръ чудесныхъ подвиговъ, героевъ и чудовищъ, воинственныхъ дѣвъ-паленицъ, которыя связывались для грека съ его древними преданіями объ амазонкахъ. Въ пересказахъ русскихъ людей всѣ эти образы должны были отразиться съ чертами болѣе грубаго реализма, въ соотвѣтстіи съ умственнымъ развитіемъ новой среды. Когда впослѣдствіи, въ *по-татарскую эпоху*, развился нашъ собственный земскій эпосъ съ Ильей-Муромцемъ и другими мѣстными богатырями, онъ долженъ былъ сосчитаться съ элементами *болѣе древняго*, пришлаго эпоса. Онъ или устранилъ его отъ себя, удаливъ Анику-Дигениса въ небольшой циклъ пѣсенъ объ его борьбѣ со смертью, или пріурочилъ его къ себѣ частями, но такъ, что слѣды спая остаются замѣтны и теперь. Наши „старшіе богатыри“ собственно не наши, это „сила нездѣшняя“. Въ своей нечеловѣческой мощи они смотрятъ на земскихъ богатырей какъ на новое, имъ чуждое поколѣніе, проходятъ передъ нами какъ-то таинственно-безучастно и также таинственно исчезаютъ. Другая метаморфоза постигла другой рядъ образовъ, опредѣливъ ихъ особое пріуроченіе въ средѣ новаго русскаго эпоса: змѣи и змѣевичи-воители [2]) приняли въ нашихъ пересказахъ черты змѣевъ обрядоваго повѣрья, сдѣлались силой нечистою, отождествились съ татарщиной, когда татарщина явилась общимъ выраженіемъ всего вражьяго, съ чѣмъ приходилось биться русскимъ богатырямъ. Тугаринъ дѣйствительно пріѣзжалъ изъ-за горъ, оттого его эпитетъ „загорскій“; впослѣдствіи его заставили пріѣзжать изъ „улусовъ“ загорскихъ. Но

---

[1]) См. „Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ“, „Вѣстн. Евр.“ 1875, апрѣль, и въ Слав. Сборникѣ, т. III; Beiträge zur Erklärung des russischen Heldenepos въ „Архивѣ“ Ягича, т. III; Разысканія, I: Греческій апокрифъ о св. Ѳеодорѣ; II. Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ, и друг.

[2]) Указывая на странную двойственную натуру нашихъ былинныхъ змѣевичей, которые являются то чудовищами, дышущими пламенемъ, то только могучими богатырями, авторъ вспоминаетъ, что въ Византіи „драки“ (змѣи, драконы) и „драконтопулы“ (змѣеныши, змѣевичи) были съ VII-го вѣка обычнымъ названіемъ вольницы, гнѣздившейся въ *горахъ* Тавра. Въ византійскомъ эпосѣ являются и воинственныя дѣвы—тѣ удалыя „паленицы“, о которыхъ, внѣ былинъ, ничего не знаетъ наша историческая древность.

другая пѣсня осталась о немъ, гдѣ онъ является цареградскимъ богатыремъ..; его мать живетъ въ Царьградѣ; онъ сбирается на Кіевъ, но взятъ русскими богатырями и отвезенъ къ Владиміру"... [1]).

Авторъ возвращается къ этому сближенію по поводу легендъ и пѣсенъ о св. Георгіи—какъ извѣстно, одномъ изъ любимѣйшихъ героевъ нашего народнаго преданія. „Плодотворность изученія этой легенды,—говоритъ авторъ,—стоитъ въ прямой связи съ широкой постановкой вопроса, имѣющаго обнять, вмѣстѣ съ Георгіемъ, и житія родственныхъ ему по типу святыхъ. Такимъ путемъ могутъ получиться не только обобщенія теоретическаго характера, обѣщающія внести новый свѣтъ въ „физіологію" и исторію народнаго міросозерцанія, но и фактическія данныя для развитія народнаго эпоса. Я разумѣю, главнымъ образомъ, русскій *былинный эпосъ*, къ разработкѣ котораго (предложенныя авторомъ въ его трудѣ) разысканія въ области духовнаго стиха являются естественнымъ введеніемъ". Авторъ сближаетъ св. Георгія и Ѳеодора, какъ змѣеборцевъ, съ русскимъ спеціалистомъ въ змѣеборствѣ, Добрыней, отчество послѣдняго съ эпитетомъ „аникитовъ", какой носятъ греческіе святые герои, и т. д.; въ народномъ обрядѣ въ день св. Георгія указываетъ взаимодѣйствіе своего и чужого преданія [2]). Въ другомъ случаѣ, авторъ указываетъ еще одного змѣеборца, св. Михаила изъ Потуки, и обращаетъ вниманіе на совпаденіе именъ и общихъ очертаній въ легендѣ и въ русской былинѣ о богатырѣ Потокѣ [3]), которому прежніе комментаторы этой былины посвятили столько сложныхъ филологическихъ и миѳологическихъ попеченій.

Далѣе, въ изслѣдованіи о южно-русскихъ былинахъ, Веселовскій останавливается на южно-русской легендѣ о юномъ богатырѣ Михайлѣ и кіевскихъ Золотыхъ воротахъ (или Михайликѣ, Михайлѣ Семилѣткѣ) и сближаетъ ее съ былиной о Михайлѣ Даниловичѣ. Въ легендѣ онъ находитъ народный, пріуроченный къ Кіеву, пересказъ эпизода, находящагося въ позднихъ текстахъ апокрифическихъ „Откровеній" Меѳодія. Южная легенда и сѣверная былина въ главномъ совершенно совпадаютъ, но бытовыя черты южной жизни были непонятны на сѣверѣ и потому извращены. „Отрѣзанныя отъ почвы, на которой создались былины, отдѣленныя цѣлыми вѣками отъ историческихъ отношеній, которыя воплотились въ нихъ впервые, онѣ по неволѣ должны были исказить эти отношенія въ уровень съ новой исторической средой и той общественной и природной обстановкой, въ которой имъ суждено было доживать свою вѣковую жизнь.

---

[1]) „Вѣстн. Евр.", 1875, апрѣль.

[2]) Разысканія, II, стр. 150, 158—159.

[3]) Разысканія, IX: Праведный Михаилъ изъ Потуки.

Пріуроченіе вышло неполное. Образы южно-русской природы обратились въ общія мѣста, не разцвѣтясь новыми сѣверными красками; преувеличенію открылось широкое поле, потому что перепѣвалась не своя пѣсня, прямо вынесенная изъ жизни, изъ своего непосредственнаго прошлаго, однимъ словомъ изъ тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ пѣвецъ могъ бы постоянно почерпать чувство мѣры и норму вѣроятія: перепѣвалась пѣсня привнесенная, которую слѣдовало истолковать и переложить на-ново, иначе она была бы полупонятна... Вѣроятно, этому процессу принадлежатъ сословныя характеристики богатырей, сдѣлавшія Алешу сыномъ попа, Добрыню—бояриномъ и т. д. Надо полагать, что въ древнихъ пѣсняхъ объ этихъ богатыряхъ были данныя, изъ которыхъ, при извѣстныхъ средствахъ примѣненія, могли выработаться позднѣйшіе сословные типы. Тоже можно замѣтить и объ Ильѣ-Муромцѣ. Представленіе его крестьяниномъ принадлежитъ, быть можетъ, сѣверно-русской порѣ эпоса: въ старыхъ пѣсняхъ о немъ открывались сѣвернымъ сказателямъ черты, которыя были *такъ* поняты или *такъ* истолкованы; въ богатырѣ, подвиги котораго были имъ особенно симпатичны, они увидѣли своего героя, крестьянина-богатыря. Въ XIII вѣкѣ его знали еще ярломъ-дружинникомъ" [1]).

Далѣе, сближая былины объ Иванѣ Гостиномъ сынѣ и Чурилѣ,—котораго считаетъ франкскимъ уроженцемъ Сурожа или древней Сугдаи въ Тавридѣ (нынѣ Судакъ), а имя его отца: Пленко—испорченнымъ „франкъ",—съ византійскими эпическими сюжетами, авторъ указываетъ и здѣсь подобное видоизмѣненіе и порчу первоначальной пѣсни... „Съ одной стороны, византійская пѣсня, внесенная въ кругъ богатырскихъ былинъ кіевскаго цикла (въ видѣ былины объ Иванѣ Вдовкиномъ сынѣ) должна была приладиться къ болѣе грубымъ понятіямъ и стереть религіозно-мистическій оттѣнокъ своего вступительнаго эпизода, который уже не шелъ въ богатырскую былину. Грубо нарисованная ловкость и щегольство Чурилы очень далеки отъ своего изящнаго византійскаго типа, описаніе его дворца преувеличено до уродливости, его любовныя похожденія, впечатлѣніе, производимое имъ на женщинъ, изложены грубо: говорится о чувственныхъ порывахъ, о разрываньѣ одеждъ и т. д. Мать Ивана (въ былинѣ) продаетъ своего сына не для Бога (какъ въ византійскомъ оригиналѣ), а потому, что онъ сдѣлался пьяницей; но и этотъ столь извращенный эпизодъ былъ почти забытъ и долженъ былъ уступить мѣсто пѣснямъ о закладѣ. Внутренняя мотивировка вездѣ

[1]) Южно-русскія былины, стр. 9, 38—40. Здѣсь и объяснено, въ чемъ произошло въ данномъ случаѣ видоизмѣненіе южнаго сюжета въ сѣверной былинѣ. О богатырѣ Васильѣ-Пьяницѣ, тамъ же, стр. 50.

потеряна, чтó находится въ связи съ другой перемѣной, которой должно было подвергнуться византійское сказаніе, какъ скоро оно примкнуло къ богатырскому эпосу Владиміра: оно утратило свое единство, должно было разбиться на куски, чтобы послужить высшему единству. Это высшее единство, символически представленное въ образѣ Владиміра, есть именно русскій богатырскій эпосъ: какъ византійская сказка о чудесномъ мальчикѣ, такъ и много другихъ иноземныхъ разсказовъ доставили свой матеріалъ для его построенія. Народное заключается именно въ цѣломъ, въ композиціи, а не въ составляющихъ ее элементахъ" [1]).

Значеніе византійскихъ сказаній, только теперь—и всего болѣе трудами г. Веселовскаго — вполнѣ вводимое въ науку, представляетъ именно естественный историческій фактъ, совершенно отвѣчающій той культурной роли, какую Византія занимала къ началу и въ первые вѣка нашей исторіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что отношенія русскихъ племенъ къ Византіи начались гораздо ранѣе историческаго основанія государства, и если потомъ Византія дала намъ церковь, ея литературу и учрежденія, если на югъ стремились военная предпріимчивость князей, политическія и торговыя связи [2]), то совершенно естественно ожидать и присутствія византійскихъ эпическихъ сказаній на русской почвѣ. Ближайшій районъ, какъ можно теперь думать, былъ особенно доступенъ этимъ вліяніямъ. „Ничего не мѣшаетъ принять,—говоритъ Веселовскій,—что греческія пѣсни проникали въ южные края нынѣшней Россіи. Греческія пѣсни противъ сыновей Романа Лакапина (945), по Ліутпранду, пѣлись не только въ Европѣ, но и въ Африкѣ и Азіи,—какъ съ другой стороны, по свидѣтельству безъименнаго автора Слова о полку Игоревѣ, славные подвиги кіевскаго князя Святослава воспѣвались у нѣмцевъ и венеціанцевъ, грековъ и моравамъ. Отрывки византійскихъ повѣстей находятъ у нѣмецкихъ шпильмановъ въ X столѣтіи византійскіе отголоски въ поэмахъ о Дитрихѣ. Поэтому греческія пѣсни въ русскомъ изложеніи не составляли бы никакого ненормальнаго явленія и должны найти мѣсто въ исторіи византійскихъ вліяній на литературы Запада".

Въ новой серіи разысканій (гл. XI—XVII, 1889) г. Веселовскій

[1]) Beiträge zur Erklärung des russ. Heldeneрos, стр. 567, 571, 585—587, 593. О Чурилѣ, см. также Разысканія, VI—X, стр. 289. Напомнимъ подобныя замѣчанія г. Стасова (хотя изъ совсѣмъ другого основанія) объ этой отрывочности и недостаткѣ мотивировки въ эпическомъ изложеніи нашихъ былинъ.

[2]) Напомнимъ здѣсь, напримѣръ, тѣ новыя историческія данныя, какія пріобрѣтаются болѣе пристальнымъ изученіемъ византійцевъ въ новѣйшихъ трудахъ г. Васильевскаго, А. Павлова, Андрея Попова, Голубинскаго и друг.

останавливается еще на цѣломъ рядѣ вопросовъ, выходящихъ собствено изъ круга духовныхъ стиховъ и относящихся къ цѣлому составу средневѣкового народнаго міровоззрѣнія. Таковы, напримѣръ, дуалистическія повѣрья о сотвореніи міра, которыхъ онъ касался въ своей первой большой книгѣ о народныхъ книжныхъ сказаніяхъ. Нѣкогда, и еще недавно преданія о твореніи міра двумя силами, доброй и злой, считались ископными славянскими; Аѳанасьевъ, а за нимъ и другіе, давали имъ надлежащее миѳологическое истолкованіе; самъ г. Веселовскій приписывалъ имъ богомильское происхожденіе; теперь онъ, параллельно съ Юліемъ Крономъ (изслѣдовавшимъ этотъ вопросъ по поводу космогоническаго миѳа Калевалы) приходилъ къ мысли объ участіи въ славянскомъ дуалистическомъ миѳѣ восточно-финскаго или урало-алтайскаго преданія. Онъ пересматриваетъ теперь массу преданій, повторяющихся у нашихъ сѣверныхъ финно-тюркскихъ инородцевъ и даже азіатскихъ тюрковъ на Алтаѣ: всѣ онѣ сосредоточиваются на одной общей темѣ о твореніи міра двумя разными силами, Богомъ и дьяволомъ, добрымъ и злымъ духомъ, и очевидно находятся въ какой-то не легко опредѣлимой, но несомнѣнной связи съ древними богомильскими сказаніями у южныхъ славянъ, съ галицкой колядкой о міротвореніи и съ иными обломками этого миѳа, иногда потерявшими даже первоначальную дуалистическую подкладку. Если припомнить, что славянское богомильство имѣло свое продолженіе въ дуалистическихъ сектахъ сѣверной Италіи и южной Франціи, у катаровъ и альбигойцевъ, то миѳъ раскидывается на громадную область, отъ Алтая и до южной Франціи. Относительно связи сказаній богомильскихъ съ преданіями нашихъ сѣверо-восточныхъ инородцевъ, г. Веселовскій дѣлаетъ такое предположеніе: „Всѣ эти преданія, записанныя среди инородческихъ элементовъ русскаго населенія, оказываются сходными, нерѣдко буквально, съ разсказами русскими и болгарскими и съ старой повѣстью о мірозданіи, распространенной въ рукописяхъ и популярной среди нашихъ раскольниковъ. Раскольничья колонизація могла занести ее на окраины русской земли, гдѣ она могла быть перенята и усвоена инородцами; но возможно и другое предположеніе, уже ранѣе намѣченное нами: что, напр., черемисская, мордовская и т. д. и южно-славянская легенды принадлежали первично одной и той же полосѣ развитія и религіознаго міросозерцанія; богомилы лишь внесли въ кругъ своихъ дуалистическихъ миѳовъ, можетъ быть, не славянское преданіе, отвѣчавшее ихъ цѣлямъ, а черемисы и алтайцы получили обратно свой старый космогоническій миѳъ въ освѣщеніи христіанской ереси и апокрифовъ“ (стр. 32). — Въ другомъ изслѣдованіи авторъ говоритъ о „Безразличныхъ и обоюдныхъ въ житіи Василія

Новаго и народной эсхатологіи“: это—обитатели того свѣта, которые по средневѣковому легендарному преданію не попадали ни въ рай, ни въ адъ, не получали вѣчнаго блаженства, но и не были предаваемы на вѣчную муку. Г. Веселовскій возстановляетъ это средневѣковое повѣрье по памятникамъ западнымъ, въ ряду которыхъ первое мѣсто занимаетъ поэма Данта, и восточнымъ, гдѣ тема загробнаго міра излагается въ житіяхъ, видѣніяхъ и иныхъ каноническихъ и апокрифическихъ легендахъ: однимъ изъ знаменитѣйшихъ житій этого рода было житіе Василія Новаго (десятаго вѣка), въ которомъ разсказано хожденіе Ѳеодоры по мытарствамъ, и которое на нѣсколько вѣковъ предварило поэму Данта. Авторъ дѣлаетъ при этомъ любопытныя замѣчанія о томъ, въ какой степени распространялись въ народныхъ массахъ на западѣ и у насъ эсхатологическія повѣрья, т. е. представленія о конечныхъ судьбахъ міра и человѣчества, а также о загробной долѣ отдѣльнаго человѣка до послѣдняго разсчета на страшномъ судѣ.

„Всѣ эти вопросы, — говоритъ онъ,—волновавшіе средневѣковое общество, отражались въ его легендѣ и поэзіи, въ которыхъ интересно подѣлить долю своего и чужого, представленія христіанства и—условія народнаго вѣрованія, сдѣлавшія возможнымъ ихъ усвоеніе. Усвоеніе это было неравномѣрное, и не трудно въ частностяхъ разгадать его причины. Вопросъ о конечныхъ судьбахъ міра могъ сложиться въ средѣ съ богатымъ историческимъ и культурнымъ прошлымъ; чѣмъ оно сложнѣе, чѣмъ больше оно поставило вопросовъ, тѣмъ страстнѣе желаніе усмотрѣть ихъ разрѣшеніе въ будущемъ. Христіанство воспринято было и окрѣпло въ такой именно средѣ, полной разочарованій и гоненій, которыхъ не вѣдали полудикіе народы сѣвера. Ихъ эсхатологія могла отвѣчать вообще на вопросъ о катастрофѣ, имѣющей постигнуть видимый міръ, но не могла имѣть исторической подкладки Апокалипсиса. Его толковали и надъ нимъ задумывались немногіе избранные; его данныя разработывали по еретическимъ и политическимъ тенденціямъ; собственно въ народѣ онъ интереса не возбуждалъ. Такъ объясняется и оправдывается мнѣніе Сахарова [1]), что несмотря на распространенность въ древней Руси сочиненій и сказаній объ Антихристѣ и о кончинѣ міра и видимое вліяніе ихъ на воззрѣнія русскаго народа, народныхъ стиховъ, возникшихъ подъ ихъ насиліемъ, почти нѣтъ... Къ образамъ эсхатологической борьбы фантазія не была, очевидно, приготовлена и не внесла въ нихъ ничего новаго, своего...

„То же слѣдуетъ сказать и о представленіяхъ, связанныхъ съ

[1]) Автора книги: „Эсхатологическія сказанія въ древне-русской письменности“.

идеей страшнаго суда, конечной участи праведныхъ и грѣшниковъ—въ раю или аду. И здѣсь фантазія европейскихъ народовъ представила, если не tabula rasa, то едва загрунтованное полотно, образы и краски дали христіанскія картины страшнаго суда и соотвѣтствующія легендарныя и апокрифическія статьи, въ родѣ Хожденія Богородицы по мукамъ, Видѣнія ап. Павла и популярныхъ на Руси откровеній Меѳодія, Слова Палладія мниха и Житія Василія Новаго. Зависимость русскихъ духовныхъ стиховъ отъ этихъ и тому подобныхъ памятниковъ не указываетъ на встрѣчную дѣятельность народнаго воображенія. Воспринявъ ихъ содержаніе, оно почти ихъ не переработало: описаніе райскихъ блаженствъ блѣдно, потому что оно блѣдно и полно общихъ декоративныхъ мѣстъ и въ ихъ христіанскихъ изображеніяхъ, напр. въ житіи Андрея Юродиваго; муки народнаго ада также однообразны... Иначе ставится вопросъ объ отношеніи своего и чужого въ народныхъ представленіяхъ о временной участи каждаго за гробомъ до наступленія послѣдняго суда. Въ этой области эсхатологическихъ интересовъ народное вѣрованіе сложилось въ опредѣленныя формы быта и обряда: усопшіе, „родители", т.-е. старшіе въ родѣ, продолжали и на томъ свѣтѣ жить прежней матеріальной жизнью; у нихъ „домовина", ихъ кормятъ на поминкахъ, ждутъ ихъ посѣщенія и ходятъ къ нимъ на погостъ, „на гостебище" и т. п. Это представленіе, свойственное не однимъ только индо-европейскимъ народамъ на извѣстной степени развитія, не разрывало связи между живыми и мертвыми: одинъ и тотъ же *родъ* жилъ на землѣ и подъ нею, отжившіе не покидали живущихъ, пеклись объ нихъ, опредѣляли ихъ судьбу, то, что́ имъ на роду написано; они—старшіе предки, окружены въ свою очередь суевѣрнымъ культомъ потомковъ.

„Въ эту цѣльность живыхъ и мертвыхъ христіанство внесло элементъ раздвоенія—разграниченіемъ души и тѣла, идеей грѣха и воздаянія, грознымъ образомъ смерти, побѣждающей жизнь, ангеловъ, препирающихся изъ-за души съ духами тьмы. Оба круга идей сошлись въ синкретическомъ двоевѣріи, въ которомъ трудно бываетъ разглядѣть составныя части и поводы смѣшенія" (стр. 117—120).

Такимъ образомъ, если въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣрій о загробной жизни можно предполагать какую-нибудь основу древняго языческаго вѣрованія, къ которой могло примкнуть представленіе христіанское, то въ другихъ случаяхъ мы имѣемъ передъ собой представленія, христіанское происхожденіе которыхъ можетъ быть доказано документально по памятникамъ. Эти послѣднія представленія несомнѣнно были гораздо изобильнѣе, такъ что въ данномъ

вопросѣ мы имѣемъ дѣло съ „двоевѣріемъ“, въ которомъ гораздо большій процентъ принадлежитъ христіанству.

Слѣдующая статья говоритъ о „Судьбѣ-Долѣ въ народныхъ представленіяхъ славянъ“. Это—предметъ, на которомъ давно уже останавливались изслѣдователи народныхъ вѣрованій, съ тѣхъ поръ, какъ были открыты древнія свидѣтельства о „родѣ“ и „рожаницахъ“; сопоставленныя съ подобными западно-славянскими и южно-славянскими преданіями еще Срезневскимъ, эти вѣрованія были потомъ предметомъ изысканій Аѳанасьева, Потебни, Крауса, и теперь снова подвергнуты новому обстоятельному толкованію, при помощи разнообразнаго сравнительнаго матеріала славянскаго, античнаго и западноевропейскаго. Понятіе судьбы и доли г. Веселовскій ставитъ именно въ прямую связь съ родомъ и рожаницами и объясняетъ ихъ, какъ представленіе о прирожденности, выработанное въ первобытныхъ отношеніяхъ общинно-родоваго брака, въ связи съ культомъ предковъ, блюстителей домашняго очага и наростающаго поколѣнія. Авторъ собираетъ по обыкновенію цѣлую массу свидѣтельствъ старыхъ памятниковъ и современныхъ народныхъ повѣрій русско-славянскихъ, западныхъ, инородческихъ. Онъ не отождествляетъ прямо явленій сходныхъ, но принимаетъ ихъ лишь для аналогіи и сравненія, предполагая возможность чрезвычайно разнообразнаго *послѣдующаго* развитія и дополненія первоначальнаго понятія, причемъ первобытно-грубое пріобрѣтаетъ со временемъ болѣе широкую обработку и осмысливается по новымъ опытамъ и соображеніямъ народа. Варіанты одного первоначальнаго представленія доходятъ до противоположности. Такъ, авторъ находитъ подобную противоположность въ русской „долѣ“ и сербской „сречѣ“. „Это судьба прирожденная, сужденная, и судьба случайно навѣянная, встрѣченная. Второе представленіе свободнѣе перваго, первое архаистичнѣе“... (стр. 259—260).

Сравнительно съ прежними изслѣдованіями по этому вопросу, въ разысканіяхъ г. Веселовскаго важно привлеченіе новаго сравнительнаго матеріала, далеко не столь обширнаго прежде, а въ особенности введеніе соображеній объ историческомъ развитіи вѣрованія. Въ прежнихъ изысканіяхъ предполагалось всего чаще, что оно оставалось съ древнѣйшихъ временъ какъ бы неизмѣннымъ, и только затемнялось въ послѣдующее время и получало только механическія примѣси; гораздо вѣроятнѣе исторически принять, какъ дѣлаетъ г. Веселовскій, что здѣсь напротивъ совершалось настоящее развитіе старой темы въ новыхъ условіяхъ народной жизни. „Услѣдить дальнѣйшія измѣненія понятія и соотвѣтствующаго ему образа,—говоритъ онъ,—можно только путемъ логическихъ и психологическихъ

наведеній, ибо мы имѣемъ дѣло съ народно-бытовымъ матеріаломъ, наслоившимся во времени, въ которомъ логика развитія подчинялась случайности постороннихъ вліяній, захожая, христіанская легенда даетъ формы для выраженія древнѣйшаго бытового содержанія и каждый образъ, при анализѣ, разлагается на части, принадлежащія разнымъ періодамъ мысли и вѣрованія" (стр. 185).

Подобнымъ оригинальнымъ образомъ поставленъ далѣе вопросъ о „генварскихъ Русаліяхъ и готскихъ играхъ въ Византіи". Изслѣдованіе касается здѣсь предмета, опять издавна занимавшаго нашихъ миѳологовъ и этнографовъ и объяснявшагося почти только въ предѣлахъ русскаго народнаго преданія. Когда Миклошичъ въ первый разъ объяснялъ русаліи какъ средневѣковые dies rosae, rosalia (перешедшіе съ латинскаго въ греческія rusalia), его мысль возвести славянскій, а затѣмъ и русскій народный праздникъ къ какому-то греко-римскому языческому обычаю, запрещаемому древними церковными постановленіями, была сочтена за ученую ересь. Между тѣмъ, связь того и другого не подлежала сомнѣнію. Теперь г. Веселовскій, уже прежде останавливавшійся на этомъ вопросѣ, собралъ новыя историческія свидѣтельства, новыя аналогіи и этнографическія указанія о современныхъ обрядахъ и повѣрьяхъ, относящихся сюда у балканскаго славянства, и передъ нами реставрируется древній обычай, въ очень странныхъ формахъ существующій и понынѣ въ Македоніи по новѣйшимъ этнографическимъ описаніямъ. Очевидно, что этотъ самый обычай въ какомъ-либо варіантѣ надо подразумѣвать въ тѣхъ старыхъ церковныхъ обличеньяхъ, которыя указываютъ его существованіе въ древней Руси.

Остановимся только на этихъ примѣрахъ. Изъ приведеннаго до сихъ поръ можно видѣть, какое обширное и разнообразное поле обнимали изслѣдованія г. Веселовскаго и къ какимъ любопытнымъ и нерѣдко неожиданнымъ результатамъ приводили они въ объясненіи старой письменности, вѣрованія, поэзіи и самаго быта. Цѣлый рядъ старыхъ рѣшеній подвергся радикальной переработкѣ: фактъ русскаго преданія выведенъ былъ изъ одиночества, въ какомъ онъ всего чаще объясняемъ былъ прежде, и поставленъ въ цѣлую обширную международную область однородныхъ явленій и разсматривался въ самой средѣ его возникновенія и развитія. Чрезвычайно цѣннымъ качествомъ изслѣдованій г. Веселовскаго является вообще стараніе разъяснять историческій генезисъ преданія съ тѣхъ его формъ, какія только возможно услѣдить или предположить въ древнѣйшую пору, и съ тѣхъ сложныхъ и запутанныхъ развитій, какія испытало оно на пространствѣ стольких вѣковъ, подъ вліяніемъ стольких новыхъ условій народной жизни и народной мысли. Оче-

видно, что только въ этомъ видѣ и можетъ быть понято соотношеніе древняго преданія и его новѣйшихъ отголосковъ. Объ этомъ догадывались прежніе изслѣдователи, но рѣдко проводили мысль историческаго развитія въ самомъ анализѣ преданія: всего чаще, увлекаемые примѣромъ Гримма, а также не владѣвшіе на первое время достаточнымъ запасомъ сравнительнаго матеріала, они слишкомъ легко переходили отъ очень древняго къ очень новому и, вообще говоря, увидали въ современномъ народномъ міровоззрѣніи гораздо больше остатковъ первобытнаго язычества, чѣмъ было ихъ на самомъ дѣлѣ. Въ разысканіяхъ г. Веселовскаго, напротивъ, едва ли не гораздо сильнѣе и вліятельнѣе въ этомъ смыслѣ является эпоха „двоевѣрія", когда въ старое народное преданіе влился цѣлый потокъ новаго христіанскаго, и особливо популярно-христіанскаго и „отреченнаго" миѳа, который чѣмъ дальше, тѣмъ больше овладѣвалъ и народной вѣрой и фантазіей. Трудамъ г. Веселовскаго въ особенности принадлежитъ заслуга разъясненія этой критической поры въ развитіи народнаго преданія: не только указано было въ нихъ обширное вліяніе популярныхъ христіанскихъ элементовъ на народное міровоззрѣніе; не только раскрыта была тѣсная связь послѣдняго съ средневѣковымъ двоевѣріемъ вообще, но, что̀ было въ особенности любопытно и исторически важно, сдѣланы намеки на такіе примѣры международнаго культурнаго взаимодѣйствія, о которыхъ не знаетъ писанная исторія, и которые заставляютъ угадывать цѣлую давнюю эпоху народной культурной жизни во времена почти до-историческія.

Одновременно съ г. Веселовскимъ на вопросѣ объ источникахъ русскаго эпоса остановился извѣстный славистъ, филологъ и историкъ литературы, г. Ягичъ. Подробнѣе мы говоримъ о его дѣятельности въ другомъ мѣстѣ [1]), и здѣсь остановимся въ особенности на его статьѣ, посвященной объясненію христіанско-миѳологическаго слоя въ русскомъ народномъ эпосѣ [2]). Въ точкѣ зрѣнія изслѣдованіе идетъ параллельно съ критикой Веселовскаго: славянскій ученый одинаково не довѣряетъ слишкомъ смѣлымъ миѳологическимъ объясненіямъ прежней школы и считаетъ необходимымъ изслѣдовать ближайшіе факты; точно также онъ видитъ въ русскомъ эпосѣ болѣе тѣсныя связи съ памятниками книжными. Названное изслѣдованіе не касается обширнаго сравнительнаго матеріала чужой поэзіи; это— чисто историко-литературный анализъ, произведенный въ границахъ

---

[1]) „Исторія русскаго славяновѣдѣнія".

[2]) „Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik",—въ „Архивѣ", имъ издаваемомъ, 1875, I, стр. 82—133. См. „Вѣстн. Евр." 1877, апрѣль, стр. 726--741.

русской поэзіи и письменности и дающій однако замѣчательные результаты.

Давно извѣстно,—говорилъ здѣсь г. Ягичъ,—что русскій народный эпосъ вообще (былина, духовные стихи, легенда) сильно проникнутъ мотивами и сюжетами, взятыми изъ христіанско-миѳологическихъ сказаній; вопросъ въ томъ, чтобы отдѣлить этотъ христіанско-миѳологическій слой отъ первобытной основы. „Опредѣленіе этого вопроса принадлежитъ къ труднѣйшимъ научнымъ анализамъ, и окончательное рѣшеніе этой задачи, если только вообще достижимо, лежитъ еще далеко впереди. Но мы много выиграли уже тѣмъ, что относительно иныхъ вещей, которыя до сихъ поръ зачислялись въ рубрику національно-миѳологическаго, заключавшую такъ много посторонняго, мы признаемъ, что онѣ произошли, были вызваны или развиты только подъ вліяніемъ христіанско-миѳологическихъ, библейско-легендарныхъ сказаній, и также относительно другихъ вещей, которыя еще недавно восхвалялись какъ самостоятельное изобрѣтеніе національнаго духа, принимаемъ ихъ за подражаніе чужимъ образцамъ, причемъ однако намъ очень часто случается еще больше удивляться творческой силѣ народнаго духа“.

Русскій эпосъ по содержанію можно, уже теперь, раздѣлить на три ступени. Къ первой г. Ягичъ относитъ пѣсни чисто библейско-легендарнаго содержанія, гдѣ заимствованіе очевидно и не отступаетъ далеко отъ подлинника. Ко второй—тѣ смѣшанныя произведенія, гдѣ заимствованный сюжетъ обработанъ уже болѣе или менѣе самостоятельно, а внѣшняя форма вполнѣ равняется эпической формѣ былины. Наконецъ третью ступень составляютъ „собственно національныя богатырскія пѣсни, которыя, *насколько* достигаетъ наше теперешнее знаніе, по основному содержанію считаются за подлинную національную собственность, хотя въ отдѣльныхъ эпизодахъ, выраженіяхъ, названіяхъ и т. д. ни мало не исключаютъ упомянутаго христіанскаго или какого другого вліянія“.

Памятники перваго рода вполнѣ понятны: это такъ-называемые духовные стихи, источникъ которыхъ повидимому не требуетъ особыхъ объясненій, когда рѣчь идетъ о Лазарѣ, о прекрасномъ Іосифѣ, Алексѣѣ божіемъ человѣкѣ, Георгіѣ Храбромъ и т. д. Въ научномъ изслѣдованіи русскаго эпоса они важны именно какъ промежуточная ступень, доставляющая удобный случай проникнуть въ процессъ народнаго творчества: въ этихъ произведеніяхъ намъ впередъ, a priori, извѣстенъ основной сюжетъ, и точный анализъ его обработки въ стихѣ даетъ возможность уловить и понять пріемы народной поэзіи. Авторъ приводитъ особенно въ примѣръ знаменитый стихъ о Георгіѣ Храбромъ, который пользуется большой популярностью и

въ народѣ, и между учеными. „Этотъ герой такъ идеализированъ и націонализированъ, что г. Буслаевъ въ статьѣ, писанной въ 1859 г. (и повторенной во 2-мъ томѣ его „Очерковъ“), нашелъ возможнымъ высказать слѣдующее мнѣніе:—тотъ вовсе не понялъ бы всего обаянія народной поэзіи въ этомъ стихѣ, кто рѣшился бы въ храбромъ героѣ видѣть святочтимато Георгія Побѣдоносца. И однакоже,—замѣчаетъ г. Ягичъ,—герой пѣсни есть не кто иной какъ св. Георгій“.

Подробно останавливается авторъ на „перлѣ“ русскихъ библейско-миѳологическихъ былинъ, на стихѣ о Голубиной книгѣ. Подтверждая сличеніе этого стиха съ апокрифами, сдѣланное гг. Тихонравовымъ и Веселовскимъ, авторъ прибавляетъ новыя сравненія, которыя еще болѣе сближаютъ „Голубиную книгу“ съ „Вопросами Іоанна Богослова“, и между прочимъ останавливается на нѣкоторыхъ подробностяхъ, которыя были камнемъ преткновенія для всѣхъ нашихъ толкователей или объяснялись по обычаю произвольно миѳологическимъ образомъ.

Выше было отмѣчено [1]), какъ изъ русской миѳологіи былъ устраненъ Волотъ, имя котораго поставлено въ одномъ пересказѣ „Голубиной книги“ вмѣсто князя Владиміра, бесѣдующаго съ царемъ Давидомъ о міровыхъ тайнахъ. Одно имя Волота (въ старомъ языкѣ это слово означало великана) соблазняло прежнихъ ученыхъ своимъ архаизмомъ и побуждало видѣть въ немъ „существо необычайное, первенствующее“, а въ самомъ духовномъ стихѣ, не смотря на его явно книжное происхожденіе, предположить „древнѣйшее, чисто русское эпическое произведеніе о царѣ Волотѣ и его великой премудрости“. Г. Ягичъ съ самаго начала отвергалъ это на томъ основаніи, что если самое содержаніе стиха состоитъ въ средневѣковой христіанской миѳологіи, то и подъ Волотомъ должна скрываться книжно-легендарная личность.

Другой примѣръ произвольной миѳологіи г. Ягичъ указывалъ въ толкованіи таинственнаго камня „алатыря“, который занимаетъ какое-то важное мѣсто въ народной космогоніи, и безъ котораго не обходится волшебное заклятіе и заговоръ. Г. Ягичъ въ своемъ объясненіи выходитъ опять изъ общаго положенія. „Если разъ мы знаемъ, что всѣ вопросы „Голубиной книги“ вращаются въ средѣ христіанской миѳологіи, то ничто не даетъ намъ права дѣлать исключеніе для этого вопроса (какой камень всѣмъ камнямъ мать? и отвѣтъ: бѣлъ горючъ камень-алатырь), особенно, если для такого исключенія не представляется надобности. Поэтому, всѣ соображенія г. Безсонова [2]) я отношу въ область произвольныхъ фантазій, кото-

[1]) Глава IV, стр. 127—129.

[2]) Пѣсни Кирѣевскаго, вып. 4, приложеніе, стр. I—VIII.

рыми вообще необыкновенно богатъ почтенный издатель русской народной литературы [1]). Камень-алатырь упоминается два раза въ стихѣ о „Голубиной книгѣ“: разъ, для ближайшаго обозначенія мѣстности, гдѣ упала на землю сама Голубиная книга, а въ другой разъ въ вопросѣ: какой камень всѣмъ камнямъ мать? Въ первомъ случаѣ мы должны помѣстить камень-алатырь на горѣ Ѳаворѣ, гдѣ находится также черепъ Адама и крестъ Христа: сюда упала съ неба „Голубиная книга“. Дѣло въ томъ, что, по апокрифическимъ сказаніямъ, чрезвычайно распространеннымъ во всемъ православномъ славянствѣ, а также и по вѣрованію всей христіанской церкви, могила Адама обыкновенно соединяется съ мѣстомъ крестной смерти Христа, такъ что подъ крестомъ предполагается и изображается глава Адамова. Въ стихѣ смѣшана только Голгоѳа съ горою Ѳаворомъ, которая играетъ роль въ „Вопросахъ I. Богослова“, послужившихъ основаніемъ „Голубиной книги“. Такимъ образомъ камень-алатырь есть прежде всего тотъ камень, lithostroton, который еще въ „Хожденіи“ игумена Даніила, XII вѣка, изображается какъ основаніе креста Спасителя и мѣсто погребенія Адама. Затѣмъ, по стиху, камень-алатырь есть мать всѣмъ камнямъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, „на бѣломъ латырѣ на камени бесѣдовалъ да опочивъ держалъ самъ Исусъ Христосъ, царь небесный, съ двунадесяти со апостоламъ“; во-вторыхъ, „сподъ камешка сподъ бѣлаго латыря протекли рѣки, рѣки быстрыя по всей землѣ, по всей вселенной, всему міру на исцѣленіе, всему міру на пропитаніе“.

Все это принадлежитъ къ области средневѣковой христіанской миѳологіи, въ частности къ палестинской легендѣ; очевидно, что здѣсь и должно искать разъясненія нашего преданія. „Къ сожалѣнію,—говоритъ г. Ягичъ,—многіе русскіе археологи до сихъ поръ показывали гораздо больше предпочтенія тому, что̀ лежитъ далеко въ сторонѣ, чѣмъ тому, что́ прежде всего представляется научному наблюденію. Такъ случилось и съ камнемъ-алатыремъ. Не обращая вниманія на обильныя христіанско-миѳологическія подробности, какими окруженъ камень-алатырь русской народной поэзіи, русскіе ученые искали въ своихъ изслѣдованіяхъ только лишеннаго всякой реальной формы „свѣта“ и „солнца“, какъ будто этимъ что-нибудь пріобрѣталось! Но пусть постараются сначала объяснить себѣ то, что́ стоитъ ближе; потому что̀ лишь тогда, когда будутъ должнымъ образомъ сняты верхніе, новѣйшіе слои, яснѣе выступитъ то національно-миѳологическое, что́, быть можетъ, и дѣйствительно окажется гдѣ-либо

[1]) Въ такомъ же родѣ и толкованія Аѳанасьева, Поэт. воззрѣнія Славянъ на природу, II, 142—149, 548; III, 800—801; Гильфердинга, въ „Вѣстн. Евр.“ 1868, кн. 9, стр. 212, и друг.

въ основаніи. А если такъ, то слѣдуетъ съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ было до сихъ поръ, разработать уже изданные источники славяно-русскихъ среднихъ вѣковъ, столь богатыхъ произведеніями церковной литературы, а также сдѣлать доступными и новые источники". Затѣмъ, подобное вліяніе книжной легенды нашъ авторъ указываетъ въ другихъ произведеніяхъ нашей эпической поэзіи. Такъ, въ былинѣ о „сорока каликахъ" очевидно повторены два эпизода изъ исторіи библейскаго Іосифа, какъ это уже давно было замѣчено, хотя до сихъ поръ факту заимствованія не дано было настоящаго значенія. Женѣ кн. Владимира безъ церемоніи придана роль жены Пентефрія; съ другой стороны, наоборотъ, имя развратной египтянки Амемфіи, упоминаемой въ апокрифическомъ „завѣтѣ Іосифа", вошло обильно въ нашъ эпосъ какъ имя „честной вдовы" Амелфы Тимоѳеевны, матери Добрыни, или Василья Буслаевича, или Соловья Будимировича, и проч. Библейско-легендарный мотивъ повторяется въ былинѣ о Васькѣ Буслаевѣ, гдѣ въ эпизодѣ смерти героя является рѣка Іорданъ, голова Адамова и литостротонъ (камень алатырь), хотя въ нѣсколько неясной и закрытой формѣ.

Въ стихѣ объ Аникѣ и его спорѣ со смертью, авторъ, вполнѣ принимая выводы г. Веселовскаго, видитъ опять любопытный примѣръ того, какъ сюжетъ, первоначально совсѣмъ чужой и мало-помалу дошедшій изъ книги къ народу, становится предметомъ народной пѣсни. Сюжетъ такъ понравился, что Аника сталъ народнымъ героемъ и, наконецъ, даже пріуроченъ къ извѣстной мѣстности.

Смѣшеніе библейско-миѳологическихъ сказаній съ народнымъ эпосомъ въ особенности интересно въ пѣсняхъ, которыя воспользовались сказаніями о Соломонѣ. По мнѣнію г. Ягича, распространеніе Соломоновскихъ сказаній въ народномъ эпосѣ было вообше несравненно шире, чѣмъ обыкновенно принимаютъ, и онъ узнаѐтъ, во-первыхъ, въ былинѣ о царѣ Васильѣ Окуловичѣ и разныхъ ея варіантахъ чистую передѣлку извѣстныхъ сказаній о Соломонѣ — о похищеніи его жены его противникомъ, о похожденіяхъ Соломона, желающаго возвратить ее, и его мщеніи противнику. Заимствованіе не подлежитъ здѣсь никакому сомнѣнію, и авторъ, не входя въ дальнѣйшія подробности, замѣчаетъ по этому поводу: — „Я хочу только указать фактъ, важный для дальнѣйшихъ изслѣдованій этого рода, что въ приведенныхъ примѣрахъ мы имѣемъ передъ собой три народныя пѣсни (былины), исполненныя по всѣмъ правиламъ русскаго народнаго эпоса, и однако содержаніе ихъ не имѣетъ ровно ничего общаго съ національной жизнію, съ національными преданіями русскаго народа; это содержаніе очевидно пришло изъ-чужа, понравилось народу или, собственно говоря, носителямъ народнаго

эпоса, пріобрѣло популярность и мало-по-малу получило поэтическую обработку, заимствованную изъ подлинной народной поэзіи или въ подражаніе ей. Если бы не было именъ „Соломанъ“ и „Саломанія“ (взятыхъ изъ книжнаго разсказа), то издатели не усумнились бы ни на минуту поставить упомянутыя пѣсни въ число настоящихъ былинъ, и кто знаетъ, не открыли ли бы здѣсь ученые толкователи миѳолюбиваго направленія слѣдовъ до-историческаго миѳа, который принесенъ былъ русскими славянами въ Европу,—пожалуй, изъ самой Индіи. Теперь этого не случилось, и мы обязаны этимъ развѣ только очень большой прозрачности содержанія. При всемъ томъ эти пѣсни остаются блестящимъ свидѣтельствомъ большой способности воспроизведенія въ русской народности относительно сюжета, первоначально совершенно чужого, и должны бы послужить краеугольнымъ камнемъ для дальнѣйшихъ научныхъ анализовъ, которые должны быть предприняты въ подобномъ направленіи“.

Предположивъ большое вліяніе Соломоновскаго цикла въ нашей старой поэзіи, г. Ягичъ находитъ его въ цѣломъ рядѣ пѣсенъ, гдѣ еще никому не приходило въ голову отыскивать этотъ книжный источникъ. Такъ, онъ сближаетъ съ Соломоновскими легендами извѣстную былину о Соловьѣ Будимировичѣ, томъ богатомъ заморскомъ купцѣ, который пріѣзжаетъ въ Кіевъ, чтобы жениться на Запавѣ, племянницѣ князя Владиміра, и удивляетъ всѣхъ не только своимъ богатствомъ, но и затѣйливостью, когда, напр., онъ въ одну ночь строитъ въ саду Запавы три чудесные терема. Сравненіе нѣкоторыхъ подробностей сближаетъ эту былину съ упомянутой былиной о Васильѣ Окуловичѣ, такъ что обѣ вѣроятно зависѣли отъ одного общаго источника. Родины Соловья Будимировича нельзя опредѣлить по былинѣ, т. е. народъ не могъ указать для него никакой исторической подкладки; но это видимо былъ не простой купецъ и за нимъ скрывается нѣчто болѣе значительное: онъ не заботится о томъ, чтобы устроивать торговлю, а прямо имѣетъ виды на княжескую племянницу. Соловей и его спутники—чудесные строители, когда въ одну ночь успѣли выстроить три удивительные терема. Перенести мѣсто дѣйствія къ князю Владиміру въ Кіевъ, средоточіе эпической былины, было также возможно, какъ въ рукописныхъ сказаніяхъ на обстановку Соломона перенесены русскія бытовыя черты. Въ повѣстяхъ о Соломонѣ нѣтъ рѣчи о постройкѣ теремовъ, но г. Ягичъ думаетъ, что терема Соловья Будимировича составляютъ вообще позднѣйшее украшеніе, передѣланное однако изъ мотивовъ повѣсти. Для объясненія онъ приводитъ слѣдующую параллель изъ сказанія о Соломонѣ и изъ былины о Соловьѣ Будимировичѣ:

И снаряди бояринъ корабль всякою красотою и сотвори бояринъ въ кормѣ *чердакъ зѣло красенъ*, а въ немъ написа образъ царя своего краснаго и наличнаго; въ корабли же написа всякимъ умысломъ, сотвори *небо* подъ верхомъ корабля и сотвори *мѣсяцъ* и *звѣзды* и противу ихъ постави стекла хрустальныя.

(Лѣтоп. русск. лит. и др. IV, 148, изъ рукописи XVII в.).

На томъ соколѣ караблѣ
сдѣланъ *муравленъ чердакъ*,
въ чердакѣ была бесѣда...
на бесѣдѣ-то сидѣлъ...
молодой Соловей...
Въ ея хорошемъ зеленомъ саду стоятъ
три терема златоверховаты...
на небѣ *солнце*, въ теремѣ солнце,
на небѣ *мѣсяцъ*, въ теремѣ мѣсяцъ,
на небѣ *звѣзды*, въ теремѣ звѣзды.
(Кирша Даниловъ, № 1).

„Кромѣ Соловья Будимировича, — продолжаетъ г. Ягичъ, — въ русской народной эпопеѣ есть еще другой, гораздо болѣе знаменитый Соловей, страшный разбойникъ, покореніе котораго главнымъ героемъ русской эпической саги, Ильей Муромцемъ, составляетъ самый блистательный и безспорно самый популярный его эпизодъ. Всякій разъ, когда мнѣ встрѣчался этотъ Соловей-Разбойникъ, всегда меня приводило въ недоумѣніе такое странное, негармоническое совмѣщеніе нѣжнаго птичьяго имени „соловей" съ тѣмъ порядочно отвратительнымъ чудовищемъ, которое русскій народный эпосъ очевидно надѣлилъ этимъ именемъ. Напрасно искалъ я въ относящейся сюда литературѣ удовлетворительнаго разрѣшенія загадки этого имени"... Понятно, что нашего изслѣдователя не удовлетворило миѳологическое толкованіе, какъ слишкомъ произвольное и притомъ не объясняющее странныхъ свойствъ этого существа. А свойства эти дѣйствительно странныя: это—полу-звѣрь или полу-птица и полу-человѣкъ; онъ живетъ на семи дубахъ, какъ птица, но у него человѣческая семья, онъ приводится въ ряду богатырей старшаго поколѣнія и въ этомъ качествѣ является противникомъ Ильи; вмѣстѣ съ тѣмъ однако самъ Илья-Муромецъ не усумнился воспользоваться помощью Соловья, чтобы освободить обложенный вражьею силою городъ Кряковъ, и пѣсня называетъ ихъ обоихъ при этомъ „добрыми молодцами" (Кир., IV, № 1). Самъ князь Владиміръ готовъ былъ, еслибы Соловей захотѣлъ пойти къ нему въ службу, сдѣлать его кіевскимъ воеводой или „строителемъ монастыря" (Гильферд., Онеж. был., 303). Эти черты не имѣютъ вида позднѣйшихъ прибавокъ,—такія прибавки не имѣли бы смысла, еслибы птичій и человѣческо-разбойничій характеръ Соловья былъ первоначальный; но какъ черты первобытныя, онѣ очень важны. Далѣе, Соловей, какъ богатырь, не все сидѣлъ на деревьяхъ; напротивъ, у него „дворянское подворье"—съ высокими теремами, гдѣ онъ живетъ съ женой и дѣтьми; домъ его наполненъ богатствами; Ильѣ предлагаютъ за Соловья богатый выкупъ. Даже когда плѣнный Соловей привезенъ былъ въ Кіевъ, ему оказывается

почтеніе и самъ князь Владиміръ подноситъ ему чашу вина, чтобы освѣжить горло.

По всѣмъ этимъ подробностямъ Соловей очевидно также богатырь, но отличный отъ богатырей домашнихъ, чужой имъ—вѣроятно и по происхожденію. Сближая его съ Соловьевъ Будимировичемъ, г. Ягичъ думаетъ, что въ немъ также скрывается одно изъ видоизмѣненій Соломоновскихъ сказаній, именно, какъ Соловей Будимировичъ соотвѣтствуетъ тому моменту легенды, который относится къ похищенію Соломоновой жены, такъ въ Соловьѣ-Разбойникѣ исходнымъ пунктомъ взято знанье тайнъ природы и волшебство Соломона. Въ Соловьѣ-Разбойникѣ бросается въ глаза его такъ сказать сверхъ-человѣческая природа, которая потомъ развита въ былинѣ уже подъ вліяніемъ его имени: сначала же онъ, вѣроятно, имѣлъ то самое свойство, какое въ легендѣ приписывается Соломону—свойство превращаться въ яснаго сокола, въ лютаго звѣря и въ щуку; Соловей, сохраняя человѣческія черты, свищетъ по соловьиному, „зрявкаетъ по звѣриному“ и т. п.; его птичьи свойства развились подъ вліяніемъ его имени.

Свое разысканіе г. Ягичъ кончаетъ слѣдующими замѣчаніями о методѣ своего изслѣдованія.

„Въ тѣсной рамкѣ тѣхъ пѣсенъ, гдѣ слѣдовало принимать вліяніе христіанско-миѳологическихъ сюжетовъ, главное доказательство я старался основать на параллельности между уцѣлѣвшими еще рукописными разсказами и соотвѣтствующими имъ пѣснями. При этомъ, естественно, я долженъ былъ предполагать, что содержаніе этихъ рукописныхъ разсказовъ было извѣстно первымъ слагателямъ народныхъ пѣсенъ. Этимъ обусловливалось далѣе другое предположеніе, что первыми начинателями этихъ народныхъ пѣсенъ былъ не народъ въ обширномъ смыслѣ слова, но опредѣленная и ограниченная часть его, именно люди, хорошо знакомые съ содержаніемъ священнаго писанія, безчисленныхъ легендъ и многихъ благочестивыхъ, но апокрифическихъ сказаній, и которые пріобрѣли это значеніе отчасти странствованіями и посѣщеніемъ знаменитыхъ святынь, отчасти прилежнымъ чтеніемъ благочестивыхъ книгъ. Этимъ великорусская эпика отличается отъ эпической поэзіи всѣхъ другихъ славянъ. Нигдѣ христіанское не соединилось съ національнымъ такъ тѣсно, какъ здѣсь. Это должно принять въ соображеніе и научное изслѣдованіе. Надо ожидать, что новыя открытія и новыя изданія средневѣковыхъ русско-славянскихъ текстовъ, въ чемъ русская славистика уже и теперь совершила замѣчательные труды, пополнятъ иные пробѣлы, обнаружатъ еще новыя параллельныя данныя...

„Какъ у великихъ поэтовъ ни мало не уменьшаетъ ихъ достоин-

ства открытіе источниковъ ихъ сюжетовъ, такъ и пѣсни о Соловьѣ Будимировичѣ и о побѣдѣ Ильи Муромца надъ Соловьемъ-Разбойникомъ останутся весьма удачными, блестящими произведеніями великорусскаго народнаго эпоса, безъ всякаго ущерба ихъ достоинству, и тогда, когда было бы выяснено, что своимъ первымъ мотивомъ они обязаны не какому-нибудь первобытно-славянскому или даже первобытно-арійскому миѳу, но уже христіанско-миѳологическому запасу сказаній, принесенному въ страну только съ христіанствомъ и мало-по-малу проникшему въ народъ, весьма воспріимчивый къ поэтической передачѣ".

Въ болѣе или менѣе близкомъ отношеніи къ русской этнографіи находятся многіе другіе труды славянскаго ученаго, какъ напр., его труды по церковно-славянскому и русскому языку, изданія памятниковъ и комментаріи къ нимъ. Изъ послѣднихъ укажемъ, напр., чрезвычайно любопытныя объясненія къ статьѣ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, въ которой находятся между прочимъ указанія о предполагаемомъ главномъ распространителѣ ложныхъ книгъ, болгарскомъ попѣ Іереміи, въ то же время родоначальникѣ богомильства, указанія, приводившія въ недоумѣніе всѣхъ прежнихъ изслѣдователей. Говорилось между прочимъ, что попъ Іеремія „былъ въ навѣхъ на Верзіуловѣ колу": г. Ягичъ, на основаніи южно-славянскихъ преданій объяснилъ эти загадочныя слова такимъ образомъ, что подъ Верзіуломъ скрывается никто иной, какъ самъ Виргилій, римскій поэтъ, получившій, какъ извѣстно, въ средніе вѣка репутацію сверхъестественнаго мудреца и волшебника, репутацію, которая между прочимъ сдѣлала его руководителемъ Данта въ его странствованіяхъ въ загробномъ мірѣ; извѣстіе о попѣ Іереміи указывало, что онъ прошелъ волшебную школу у знаменитаго учителя волшебства. Богатый запасъ матеріаловъ и изслѣдованій по славянской и съ нею русской филологіи, а также этнографіи, представляетъ извѣстное ученое изданіе г. Ягича „Archiv für slavische Philologie" (основанный въ 1875 году; нынѣ идетъ тринадцатый годъ изданія), гдѣ между прочимъ находится не мало трудовъ русскихъ ученыхъ (А. Н. Веселовскій, П. И. Житецкій, А. И. Шахматовъ, П. А. Сырку и др.) и гдѣ между прочимъ самому издателю принадлежитъ весьма обстоятельный библіографическій и критическій обзоръ новѣйшихъ явленій въ области славянской и въ томъ числѣ русской филологіи и этнографіи.

Съ новыми изслѣдованіями, главная заслуга которыхъ принадлежитъ гг. Веселовскому и Ягичу, открывался новый путь для объясненія нашей древней народной поэзіи, существенно важный тѣмъ, что въ немъ совершенно устраняется всякій произволъ и изслѣдо-

ваніе ведется на реальной почвѣ критическаго анализа текстовъ и широко примѣненнаго сравнительнаго метода. Съ развитіемъ этихъ изслѣдованій откроется, вѣроятно, возможность рѣшенія и другихъ вопросовъ нашей народной поэзіи кромѣ опредѣленія ея содержанія. Таковъ, напр., вопросъ о хронологіи ея историческаго развитія. Кромѣ отдѣльныхъ фактовъ, напримѣръ, доказанной по памятникамъ хронологіи нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ, мы до сихъ поръ остаемся при самыхъ туманныхъ представленіяхъ о томъ, когда могли появиться тѣ или другія произведенія нашей былины, или, если для главнѣйшихъ изъ нихъ предположить дѣйствительно до-историческое происхожденіе, когда могла сложиться ихъ новѣйшая „охристіанствованная" форма. При настоящемъ положеніи дѣла эта эпоха опредѣляется длиннымъ періодомъ нѣсколькихъ вѣковъ, гдѣ мы напрасно искали бы болѣе опредѣленныхъ точекъ опоры. Тѣ реальныя изысканія, какія предпринимаются въ послѣднее время, начинаютъ раскрывать и этотъ хронологическій вопросъ (конечно, пока только приблизительно): если сюжетъ заимствованъ, то время чужого книжнаго источника можетъ дать исходную точку, но и хронологія самыхъ письменныхъ источниковъ (напр., Соломоновскихъ сказаній) остается еще далеко не опредѣлена. Г. Ягичъ говоритъ о „славянскихъ среднихъ вѣкахъ", не опредѣляя ихъ ближе; г. Веселовскій говоритъ объ „эпохѣ по-татарской", относя въ нее образованіе былинъ о земскихъ богатыряхъ.

Цѣлая, хотя приблизительно точная картина развитія нашей народной поэзіи еще ожидаетъ своего созидателя; что касается въ частности нашего народнаго эпоса, онъ въ развитіи своего содержанія представляетъ нѣсколько слоевъ, лежащихъ въ разныхъ направленіяхъ. Въ его основахъ есть, безъ сомнѣнія, слой древнѣйшихъ арійскихъ преданій, далѣе преданій европейскихъ, затѣмъ слой общеславянскій, наконецъ, слой русскій; въ предѣлахъ русской племенной особности былъ слой языческихъ представленій и слой христіанскій; былъ слой, налегшій съ теченіемъ исторіи отъ вліянія иныхъ національностей, устныхъ преданій и связей книжно-литературныхъ. Наконецъ, внутреннее развитіе самаго эпоса, мѣшавшее вѣка́, подновлявшее старину новыми бытовыми чертами. Критика должна имѣть въ виду всѣ эти пересѣкающіеся слои, чтобы не впасть въ недоразумѣнія, которыхъ бывало множество съ тѣхъ поръ, какъ началось ученое изслѣдованіе нашей эпопеи. Всѣ отдѣльныя стороны историческаго развитія, сейчасъ указанныя, были болѣе или менѣе замѣчены комментаторами, но до сихъ поръ еще не было попытки обозрѣть вполнѣ и уравновѣсить эти историческія отношенія.

Общее направленіе литературно-археологическихъ изслѣдованій западной науки и въ частности ближайшее вліяніе двухъ названныхъ ученыхъ создали новое направленіе въ изслѣдованіяхъ русской поэтической и народно-бытовой старины. Можно сказать, что съ разными оттѣнками образовалась новая школа. Со второй половины 70-хъ годовъ и донынѣ она успѣла произвести цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ изысканій, правда, почти исключительно направленныхъ только на частные вопросы, но доставляющихъ важныя данныя для будущаго объясненія нашей поэзіи, которое будетъ совершенно не похоже на прежнія. Изслѣдованія идутъ по тѣмъ пріемамъ, какіе замѣчательнымъ образомъ примѣнены были у г. Веселовскаго и Ягича и направлены были на ближайшее изученіе русскихъ книжныхъ текстовъ и живого народнаго преданія съ постояннымъ вниманіемъ къ общему содержанію средневѣковой народно-христіанской миѳологіи и къ разысканію народно-книжныхъ вліяній византійскихъ, южно-славянскихъ и западныхъ. Труды новаго поколѣнія ученыхъ составили уже цѣлую небольшую литературу въ этомъ направленіи.

Таковы изслѣдованія А. И. Кирпичникова, питомца московскаго университета, затѣмъ профессора въ Харьковѣ и въ Одессѣ, которому принадлежитъ въ особенности важное изслѣдованіе о легендарномъ св. Георгіи. Въ послѣдніе годы г. Кирпичниковъ взялъ на себя продолженіе „Всеобщей исторіи литературы“, начатой подъ редакціею В. Ѳ. Корша [1]).

Таковы труды Н. П. Дашкевича. Уроженецъ волынской губерніи (род. въ 1852 г.), онъ былъ воспитанникомъ кіевскаго университета, съ 1877 года доцентъ и затѣмъ профессоръ этого университета по исторіи всеобщей литературы (средневѣковой и новой); въ настоящее время предсѣдатель историческаго Общества Нестора лѣтописца. Его магистерской диссертаціей была книга: „Изъ исторіи средневѣкового романтизма. Сказаніе о св. Гралѣ“ [2]). Къ русской этнографіи имѣютъ отношеніе нѣкоторыя историческія работы г. Дашкевича,

[1]) Греческіе романы въ новой литературѣ. Повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ. Харьковъ, 1876.

— Источники нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ, въ Журн. мин. нар. просв. 1877, октябрь.

— Св. Георгій и Егорій Храбрый. Изслѣдованіе литературной исторіи христіанской легенды. Спб. 1879. Эта книга дала поводъ къ обширному трактату Веселовскаго, въ „Разысканіяхъ въ области русскихъ духовныхъ стиховъ“ (II: Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ. 1880).

— Изслѣдованія легендарныхъ сказаній о пр. Богородицѣ въ Трудахъ одесскаго археологическаго съѣзда.

[2]) Въ кіевскихъ Унив. Изв. и отдѣльно, 1876.

гдѣ затрогивается исторія русскаго племени [1]), и любопытное спеціальное изслѣдованіе о русской былинѣ: „Былины объ Алешѣ Поповичѣ и о томъ, какъ не осталось на Руси богатырей" [2]), гдѣ авторъ указываетъ историческія отношенія былины и между прочимъ сказаніе о погибели богатырей пріурочиваетъ къ битвѣ при Калкѣ. Изслѣдованія г. Дашкевича отличаются при большой начитанности оригинальною и остроумною критикой [3]).

Нѣсколько весьма обстоятельныхъ работъ въ той же области древней русской поэзіи и письменности принадлежатъ г. Жданову. Воспитанникъ петербургской духовной академіи, а потомъ петербургскаго университета, Иванъ Ник. Ждановъ (род. 1846) въ 1879—1882 былъ приватъ-доцентомъ по каѳедрѣ исторіи русской словесности въ кіевскомъ университетѣ, а съ 1883 профессоромъ историко-филологическаго института въ Петербургѣ. Ему принадлежатъ нѣсколько работъ по исторіи русской литературы древней и новой, и первыя имѣютъ отношеніе къ этнографіи, касаясь различныхъ вопросовъ старой народной письменности и эпоса [4]).

Многочисленные труды по русской старинѣ, народной поэзіи, исторіи старой и новой литературы, наконецъ, по мѣстной (харьковской) исторіи, принадлежатъ г. Сумцову. Петербургскій уроженецъ (род. 1854), Ник. Ѳед. Сумцовъ учился въ Харьковѣ и по окончаніи курса въ университетѣ, въ 1876 сдѣлалъ путешествіе за границу и въ Гейдельбергскомъ университетѣ слушалъ Куно Фишера и Барча и, выдержавъ экзаменъ на магистра, назначенъ былъ приватъ-доцен-

---

1) Болоховская земля и ея значеніе въ русской исторіи, въ Трудахъ 3-го Археологическаго съѣзда и отдѣльно.

— Литовско-русское государство, условія его возникновенія и причины упадка. Унив. Изв. 1882 и 1883.

2) Въ кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ и отдѣльно, 1883. Отмѣтимъ еще: Происхожденіе и развитіе эпоса о животныхъ, тамъ же, 1883. О другихъ трудахъ его, имѣющихъ отношеніе къ малорусской этнографіи, скажемъ въ своемъ мѣстѣ.

3) Біографическія свѣдѣнія см. „Біографическій Словарь профессоровъ и преподавателей Имп. Университета Св. Владиміра". Кіевъ. 1884, стр. 174—175.

4) Русская поэзія въ до-монгольскую эпоху, въ кіевскихъ „Университетскихъ Извѣстіяхъ", 1879.

— Литература Слова о полку Игоревѣ; тамъ же, 1880.

— Разборъ книги В. Успенскаго: Толковая Палея; тамъ же, 1881.

— Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи (магистерская диссертація) въ Унив. Изв. и отдѣльно, 1881, гдѣ разбираются сказанія о „Прѣніи живота и смерти", объ Аникѣ-воинѣ, былины о Самсонѣ и Святогорѣ. (Разборъ этой книги, г. Веселовскаго, въ Журн. мин. просв., ч. CCXXXI, февраль).

— Пѣсни о князѣ Романѣ, въ Журн. мин. просв. и отдѣльно, Спб. 1890,—историческое пріуроченіе извѣстныхъ былинъ.

Біографическія свѣдѣнія въ „Біограф. Словарѣ" Кіевскаго университета, стр. 202.

томъ въ харьковскомъ университетѣ по исторіи русской литературы; съ 1889 года ординарный профессоръ. Этнографическіе труды его относятся частью къ общимъ вопросамъ древняго быта и частью къ собственной этнографіи, преимущественно малорусской. Еще въ университетѣ составленъ былъ имъ „Очеркъ исторіи христіанской демонологіи", часть котораго напечатана была потомъ подъ заглавіемъ „Очеркъ исторіи колдовства въ западной Европѣ" (1878); далѣе изслѣдованіе „О повѣрьяхъ и обрядахъ, сопровождающихъ рожденіе ребенка" (1880); магистерской диссертаціей была книга „О свадебныхъ обрядахъ, преимущественно русскихъ" (Харьковъ, 1881); докторское изслѣдованіе: „Хлѣбъ въ обрядахъ и пѣсняхъ" (Харьковъ, 1885). Отмѣтимъ еще незаконченный рядъ статей общаго культурно-этнографическаго содержанія: „Культурныя переживанія". Труды г. Сумцова помѣщались въ „Журналѣ министерства просвѣщенія", „Русской Старинѣ", „Кіевской Старинѣ", „Этнографическомъ Обозрѣніи", „Харьковскомъ сборникѣ" и польскомъ журналѣ „Wisła". Работы, относящіяся спеціально къ малорусской этнографіи, укажемъ въ своемъ мѣстѣ.

Весьма цѣнная работа о животномъ эпосѣ принадлежитъ рано умершему ученому Леонарду Зенон. Колмачевскому (1850—1889). Онъ учился въ казанскомъ университетѣ и, кончивъ тамъ курсъ въ 1874 году, назначенъ былъ сначала лекторомъ нѣмецкаго языка, въ 1877 посланъ былъ отъ университета за границу и затѣмъ, послѣ защиты магистерской диссертаціи въ 1882, назначенъ былъ въ 1883 на каѳедру исторіи всеобщей литературы въ Казани, а потомъ въ Харьковѣ, гдѣ онъ надѣялся на дѣйствіе климата противъ одолѣвавшей его болѣзни. Къ сожалѣнію, климатъ ему не помогъ и онъ умеръ въ чахоткѣ. Единственнымъ его большимъ трудомъ осталась книга: „Животный эпосъ на западѣ и у Славянъ" (Казань, 1882), гдѣ критика отдавала справедливость обстоятельному сопоставленію матеріала и попыткѣ самостоятельнаго рѣшенія нѣкоторыхъ основныхъ вопросовъ народной поэзіи въ связи съ нашими формами животнаго эпоса [1]).

Укажемъ еще болѣе или менѣе успѣшныя примѣненія сравни-

---

[1]) Разборъ книги у Дашкевича: „Происхожденіе и развитіе эпоса о животныхъ", въ кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ, 1883, и въ статьѣ Веселовскаго, „Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie", 1883, № 8.

До своей диссертаціи Колмаческій напечаталъ еще: „Замѣтки о Гильфагиннингѣ (Gylfaginning). Отчетъ о занятіяхъ по исторіи всеобщей литературы за время заграничной командировки ($18^{78}/_{79}$ академическій годъ)". Казань, 1881.

Некрологическая замѣтка г. Сумцова, въ „Сборникѣ харьковскаго историко-филологическаго Общества", т. II. Харьковъ, 1890, стр. XV—XVI.

тельно-историческаго метода въ трудахъ гг. Мочульскаго, Халанскаго, Янчука, Каллаша, Созоновича и др. [1]). Упомянемъ наконецъ возобновленіе вопроса о восточныхъ элементахъ русскихъ былинъ. Къ этому предмету возвратился извѣстный путешественникъ и этнографъ Г. Н. Потанинъ въ статьѣ: „Монгольское сказаніе о Гэсэръханѣ" [2]), гдѣ онъ въ особенности указываетъ замѣчательныя совпаденія этого сказанія съ былинами о Добрынѣ и дѣлаетъ любопытныя общія замѣчанія о возможныхъ путяхъ сближенія русскихъ преданій съ восточными.

Благодаря начавшимся у насъ изслѣдованіямъ нашей народной поэзіи, свѣдѣнія о ней стали проникать и въ европейскую литературу. Отмѣтимъ, во-первыхъ, внимательно составленныя книги консерватора Британскаго музея Рольстона [3]), главнымъ теоретическимъ руководствомъ котораго были сочиненія Буслаева и Аѳанасьева. Болѣе самостоятеленъ былъ трудъ Рамбо [4]): французскій ученый далъ въ своей книгѣ цѣльное изложеніе русскаго эпоса отъ древнѣйшихъ былинъ до завершенія ихъ въ историческихъ пѣсняхъ, и комментарій, составленный на основаніи всѣхъ главныхъ трудовъ, какіе представляла тогда наша литература; ему близко знакомы всѣ главные сборники и изслѣдованія Буслаева, Аѳанасьева, Майкова, Стасова, Шифнера, Ореста Миллера и пр. Довольно самостоятельнымъ трудомъ является небольшая книга Волльнера [5]). Любопытный

---

[1]) Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгѣ. Изслѣдованіе В. Мочульскаго, Варшава, 1887 (изъ „Рус. Филологическаго Вѣстника").

— Великорусскія былины Кіевскаго цикла. М. Халанскаго, Варшава, 1885 (также изъ „Р. Ф. Вѣстника"). Разборъ этой книги, г. Веселовскаго, въ „Вѣстникѣ Европы", 1888, іюль.

Рядъ изслѣдованій принадлежитъ г. И. Созоновичу:

— Пѣсни о дѣвушкѣ-воинѣ и былина о Ставрѣ Годиновичѣ. Изслѣдованіе по исторіи развитія славяно-русскаго эпоса. Варшава, 1886.

— Очеркъ средневѣковой нѣмецкой эпической поэзіи и литературная судьба пѣсни о Нибелунгахъ. Варшава, 1889.

— Пѣсни и сказки о женихѣ-мертвецѣ. Этюдъ по сравнительному изученію народной поэзіи. Варшава, 1890 (Отзывъ о первомъ трудѣ г. Веселовскаго въ „Архивѣ", Ягича).

О трудахъ гг. Янчука и Каллаша упомянемъ при другомъ случаѣ.

[2]) Вѣстн. Евр. 1890, сентябрь.

[3]) W. R. S. Ralston: „the Songs of the Russian people". London, 1872, и „Russian folk-tales". London, 1873.

[4]) La Russie épique, étude, sur les chansons heroïques de la Russie, traduites ou analysées pour la première fois par Alfred Rambaud, professeur à la faculté des lettres de Nancy, membre de plusieurs societés savantes de Russie. Paris, 1876.

[5]) Wilhelm Wollner, Untersuchungen uber die Volksepik der Grossrussen mit einem Anhange. Analyse einiger der wichtigeren grossrussischen Volksepen. A. Die älteren Helden. B. Die Helden von Kiev. Leipzig, 1879.

опытъ обобщеній вопроса о старыхъ русскихъ народно-письменныхъ сказаніяхъ представляетъ книга румынскаго ученаго Гастера [1]), основанная въ особенности на изслѣдованіяхъ г. Веселовскаго.

Ученые славянскіе мало обращались къ изслѣдованіямъ по русской этнографіи. Кромѣ г. Ягича, который на половину принадлежитъ русской ученой литературѣ, назовемъ здѣсь еще замѣчательный трудъ профессора грацскаго университета, Григорія Крека: „Einleitung in die slavische Literaturgeschichte“: эта книга, появившаяся въ 1874 году, вышла затѣмъ въ новомъ, болѣе чѣмъ вдвое расширенномъ изданіи, представляющемъ чрезвычайно внимательно составленный и снабженный богатыми библіографическими данными обзоръ, во-первыхъ, свѣдѣній о древнѣйшей судьбѣ славянскихъ племенъ ихъ языкѣ и культурномъ состояніи, и во-вторыхъ, обзоръ народной поэзіи, преданій и миѳологіи, гдѣ между прочимъ объединено и то, что̀ сдѣлано до сихъ поръ въ этихъ отношеніяхъ относительно славянства русскаго [2]).

Въ молодомъ поколѣніи славянскихъ ученыхъ начинается, однако, болѣе серьезное знакомство какъ съ древней русской письменностью и этнографіей, такъ и съ трудами нашихъ изслѣдователей. Вѣроятно, это—начало, которому предстоитъ развиваться [3]).

Книжка Дамберга (Damberg, Versuch einer Geschichte der russischen Ilja-Sage, Helsingfors, 1887) можетъ быть упомянута только по ея странности. См. о ней въ статьѣ г. Веселовскаго, „Вѣстн. Евр.“ 1888, іюль.

[1]) Greeko-Slavonic. Ilchester lectures on greeko-slavonic literature and its relation to the folk-lore of Europe during the middle ages. With tivo Appendices and plates by M. Gaster, Ph. D. London, 1887.

[2]) Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge von Dr. Gregor Krek. Zweite völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Graz, 1887, большой томъ, XI и 887 стр.

[3]) Назовемъ для примѣра труды польскаго молодого ученаго А. Брикнера, чешскаго доцента пражскаго университета, Поливки; словинскаго, г. Мурка (изслѣдованіе повѣсти о Семи Мудрецахъ) и др.

ГЛАВА X.

Общій обзоръ изученій народной жизни за послѣднія десятилѣтія.

Новое царствованіе. — Общее обозрѣніе движенія этнографической литературы: статистическія цифры.—Ученыя экспедиціи.—Статистическія и описательныя работы.— Мѣстныя изысканія.—Ученыя учрежденія и общества.— Археографія.—Общество любителей древней письменности.—Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. — Расширеніе изслѣдованій въ области исторіи, исторіи литературы, народно-поэтическаго творчества, быта, обычнаго права, раскола.—Результаты.

Прошлое царствованіе начиналось при особенныхъ обстоятельствахъ, отчасти напоминавшихъ воцареніе императора Александра I, когда общество точно также было исполнено радости и надеждъ на болѣе свѣтлое будущее. Шла тяжелая война, которая, однако, не только не уменьшала розовыхъ ожиданій, но еще усиливала ихъ: война рѣзкимъ, нагляднымъ образомъ убѣждала всѣхъ, отъ государственныхъ людей до скромныхъ обывателей, никогда не разсуждавшихъ прежде о государственныхъ вопросахъ, что старая система терпитъ явное банкротство, что милитаризмъ и бюрократія, презирающіе общественную самодѣятельность и науку, способны довести государство до самыхъ тяжкихъ испытаній, до серьезной опасности. Послѣ первыхъ неудачъ, указавшихъ явно упомянутое банкротство, патріотическое чувство, котораго не могла не возбуждать война, направилось—не совсѣмъ обычнымъ образомъ—не столько на ожиданіе военныхъ подвиговъ и побѣдъ, сколько на ожиданіе внутренней реформы. Старые порядки общественнаго быта въ первое время новаго царствованія еще нимало не измѣнились, печать оставалась подъ тѣми же самыми цензурными стѣсненіями, но безъ всякаго особеннаго воздѣйствія литературы въ обществѣ выростало то стремленіе къ реформѣ, которое на нѣсколько лѣтъ потомъ послужило

источникомъ нравственнаго возбужденія и стало исторической чертой тогдашняго времени.

Литература отразила тогда это новое настроеніе общества. Нѣсколько позднѣе, со второй половины шестидесятыхъ годовъ, и въ наше время противники реформъ и партизаны застоя всѣми средствами старались и стараются оклеветать и унизить значеніе тогдашняго настроенія; и въ то самое время были люди, которые относились къ этому настроенію недовѣрчиво съ другой, противоположной стороны, чувствуя уже тогда его слабыя стороны, мало надѣясь на его глубину и прочность въ массѣ общества и въ самой администраціи, чего и трудно было ждать, вспоминая вчерашнее прошлое этого общества и недостатокъ реальной почвы для овладѣвавшихъ имъ теперь идеалистическихъ ожиданій. Но если разсматривать это время съ нѣкотораго историческаго отдаленія, которое теперь уже наступаетъ, если принять въ разсчетъ всѣ условія и обстоятельства русской общественности и сравнить то время съ предыдущимъ и послѣдующимъ, нельзя не признать въ немъ знаменательной, характеристической эпохи, выразившей, хотя частію, давно назрѣвавшія потребности и исканія лучшей части нашего общества. Это можно наглядно видѣть на литературѣ пятидесятыхъ и первыхъ шестидесятыхъ годовъ (хотя все-таки она говорила, по исконному обычаю, съ большими умолчаніями): поднялось, почти вдругъ, множество вопросовъ, о которыхъ она не могла помыслить наканунѣ, вопросовъ о различныхъ сторонахъ нашего государственнаго и общественнаго существованія — о расширеніи просвѣщенія, о самодѣятельности общества, о гласности и самоуправленіи, о преобразованіи суда и администраціи, объ интересахъ провинціи, о народной школѣ, о женскомъ образованіи, о положеніи печати и т. д. Правительственныя заявленія о предположенныхъ реформахъ чрезвычайно оживили общественные толки и литературу.

Но главнѣйшимъ и основнымъ интересомъ времени сталъ народъ; всего обильнѣе была литература о народѣ. Никогда еще этотъ интересъ не бывалъ столь всеобщимъ, столь одушевляющимъ и волнующимъ, какъ теперь, когда могли, наконецъ, хоть въ извѣстной степени высказаться давнишнія ожиданія образованнѣйшихъ людей и когда правительство заявило свое намѣреніе рѣшить капитальнѣйшій вопросъ народной жизни. „Народъ“ съ его потребностями свободы и просвѣщенія, съ его гражданскими правами, въ которыхъ доселѣ ему отказывалось, его внутренними силами, которыя должны были найти просторъ для болѣе дѣятельнаго, не только пассивнаго, участія въ національной жизни,—только теперь переставалъ быть запретнымъ предметомъ для общественной мысли и литературы;

потому что прежняя теорія „народности“, какъ мы видѣли, давала ей только одно канцелярское опредѣленіе и не допускала другого. Оговоримся впередъ, что въ этихъ первыхъ попыткахъ общественнаго сознанія и литературы выяснить значеніе народнаго начала было не мало разнаго рода неровностей—недостаточнаго пониманія, простодушныхъ или самонадѣянныхъ преувеличеній, но въ основѣ было много самаго искренняго убѣжденія, глубокаго и преданнаго желанія служить народному дѣлу. Дѣйствительно, для общественнаго сознанія не было интереса болѣе высокаго, болѣе необходимаго и нравственно значительнаго, и общественное настроеніе отразилось самыми благотворными вліяніями на изученіи народности: это изученіе еще никогда не распространялось въ столь разнообразныхъ направленіяхъ, не вызвало такой массы работъ, не искало въ такой степени научныхъ основаній, не связывалось такъ тѣсно съ нравственными и политическими идеями общества. Чрезвычайное различіе прошлаго царствованія съ предшествовавшимъ ему періодомъ бросается въ глаза, и если бы мы хотѣли опредѣлить преобладающую тему общественнаго интереса этого времени, мы найдемъ, что этой темой былъ народъ. О народѣ говорила литература публицистическая, гдѣ предметомъ нескончаемыхъ разсужденій, споровъ, наконецъ, озлобленной полемики послужила крестьянская реформа и множество связанныхъ съ ней вопросовъ; литература историческая пріобрѣла новые стимулы, направила свои изслѣдованія, какъ никогда ранѣе, на бытовые, народные элементы историческаго развитія; этнографія пріобрѣла новый, громадный и драгоцѣнный матеріалъ, какого и не предполагалось въ прежнее время; литература поэтическая обратилась, опять съ небывалой прежде ревностью, на изображеніе народной жизни,—развилась цѣлая новеллистическая область, въ которой то разыскивалось и возводилось въ идеалъ внутреннее содержаніе народнаго характера, то рисовались мрачныя картины тягостей народнаго быта, и во всякомъ случаѣ призывалось новое участіе общества къ нуждамъ и заботамъ народной массы.

Переходя къ изложенію успѣховъ изученія народности за послѣднее время, отмѣтимъ прежде всего общій фактъ—чрезвычайное, сравнительно съ прежнимъ, размноженіе литературы, посвященной вообще изученію Россіи и русскаго народа. Нѣкоторое понятіе о внѣшнемъ объемѣ этой литературы можно составить по многоразличнымъ указателямъ г. Межова, гдѣ онъ старательно собралъ крупные и мелкіе факты литературы по географіи, статистикѣ, этнографіи, исторіи, археологіи, по спеціальнымъ вопросамъ, какъ крестьянское

дѣло, земство, артель и т. д. Возьмемъ, напримѣръ, два труда г. Межова: „Литература русской географіи, статистики и этнографіи“, указатель, составлявшійся имъ каждогодно для „Извѣстій Географ. Общества“ и обнимающій теперь 1859—1880 годы, и „Литература русской исторіи за 1859—1864 г. вкл.“ (Спб. 1866), и продолженіе этого указателя—„Русская историческая библіографія за 1865—1876 включительно“ (Спб. 1882—83, три большихъ тома; 36,810 названій), которая въ полномъ составѣ должна заключать семь томовъ, и до 70—75,000 названій. Любопытно было бы вывести статистическое распредѣленіе этой богатой массы литературнаго труда, но историческая библіографія не даетъ возможности для статистическихъ выводовъ, такъ какъ данныя за нѣсколько лѣтъ слиты вмѣстѣ. Но эту возможность даетъ указатель географическій, такъ какъ составлялся по отдѣльнымъ годамъ, и мы соберемъ изъ него нѣсколько цифръ.

Въ десятомъ выпускѣ „Литературы русской географіи, статистики и этнографіи“ (за 1868 г., изд. 1870) г. Межовъ самъ собралъ десятилѣтніе итоги за 1859—1868 годы. Въ предисловіи къ этому выпуску онъ справедливо указываетъ, какъ важно и поучительно было бы имѣть статистическія таблицы литературнаго движенія за болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени: въ нихъ наглядно отражался бы ходъ образованія. Статистическое возростаніе и паденіе разныхъ отдѣловъ литературы, въ связи съ внѣшними обстоятельствами литературной жизни (съ положеніемъ общества, условіями школы и печати), весьма ясно указывали бы движеніе внутренней, умственной жизни общества. „Представить въ возможно вѣрныхъ статистическихъ таблицахъ какъ мѣрное движеніе науки и литературы, такъ и лихорадочное ея движеніе, будь это во время болѣе или менѣе продолжительныхъ потрясеній народной жизни, или въ мирное время, посредствомъ цензурныхъ стѣсненій, — представить подобное движеніе было бы весьма желательно и поучительно. На основаніи подобныхъ статистическихъ таблицъ историкъ цивилизаціи не дѣлалъ бы голословныхъ и гадательныхъ заключеній о прогрессивномъ ходѣ науки и литературы въ данной странѣ, объ упадкѣ одной отрасли ихъ и увеличеніи другой, а закрѣплялъ бы свои слова неопровержимыми фактами“. Нашъ библіографъ хорошо видѣлъ трудность составленія подобныхъ таблицъ, и замѣчаетъ, что въ приводимыхъ имъ цифрахъ очень большая доля есть чистый баластъ, или весьма относительно цѣнный матеріалъ,—но статистическое изслѣдованіе тѣмъ не менѣе возможно.

Главная трудность его состоитъ въ чрезвычайной неравномѣрности значенія исчисляемыхъ литературныхъ фактовъ: въ обыкно-

венномъ библіографическомъ каталогѣ одинаково являются одной цифрой и книга, представляющая богатое собраніе матеріала, или результатъ многолѣтнихъ трудовъ первостепеннаго ученаго, или новую плодотворную для науки теорію,—и съ другой стороны ничтожная компиляція, фальшивая и ненаучная статья и т. п.; но остается статистически важная общая масса литературнаго труда, полагаемаго на извѣстный предметъ, счетъ фактовъ по рубрикамъ, наконецъ, возможна извѣстная классификація литературныхъ явленій.

Періодъ времени съ 1859 по 1868, по которому г. Межовъ свелъ итоги, при всей краткости представляетъ любопытное повышеніе въ цифрѣ сочиненій—книгъ и статей—по русской географіи, статистикѣ и этнографіи. Число всѣхъ заглавій, вошедшихъ въ указатель за десять лѣтъ, составляетъ — 22,538, и въ томъ числѣ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ—1,665. По отдѣльнымъ годамъ, число книгъ и брошюръ возросло съ 65—въ 1859 г., до 156—въ 1868, а въ 1866 и 1867 доходило до 220 и 233; число статей въ повременныхъ изданіяхъ повысилось отъ 1,034—въ 1859 г., до 2,858—въ 1868; а всего, книгъ и статей, съ 1,099—въ 1859 г., до 3,014—въ 1868. По предметамъ изслѣдованій, общія цифры сочиненія въ тѣ же годы выросли слѣдующимъ образомъ: по географіи топографической — съ 520 на 1,122; по статистикѣ—съ 335 на 1,262; по этнографіи — съ 214 на 526.

Такимъ образомъ цифры возросли очень сильно, увеличиваясь изъ года въ годъ. Исключеніемъ въ этомъ случаѣ были годы 1862 и 1868—вслѣдствіе прекращенія въ эти годы бо́льшаго числа періодическихъ изданій, чѣмъ бывало въ другое время. Другая неравномѣрность въ движеніи цифръ объясняется еще тѣмъ, что въ нѣкоторые годы больше выходило мѣстныхъ „памятныхъ книжекъ“ и „сборниковъ“ съ этнографическими и статистическими свѣдѣніями.—Указывая это размноженіе трудовъ по изученію Россіи и русскаго народа, нашъ библіографъ справедливо замѣчалъ, что вся эта литература еще далеко не выполняла потребности научной и общественной, что это была только „капля въ морѣ того, что́ остается еще сдѣлать“. „Много сторонъ народной жизни едва только затронуто, и то въ ограниченномъ количествѣ случаевъ. Множество мѣстностей остается безъ всякаго описанія. Несмѣтныя богатства, заключающіяся въ произведеніяхъ промышленности и торговли, ждутъ еще статистическихъ изслѣдованій. Работы много, но рукъ и средствъ, которыя бы заставили эти руки работать, сравнительно мало“. Авторъ указывалъ, между прочимъ, слабое развитіе мѣстной литературы, которая, въ нашихъ условіяхъ, должна бы именно служить для собиранія свѣдѣній по громадному пространству нашего отечества, — и находилъ

необходимымъ бо́льшій просторъ для мѣстной иниціативы. Къ сожалѣнію, выводы и пожеланія, очень вѣрныя, къ которымъ авторъ приходилъ такъ давно, остаются и донынѣ пожеланіями — внѣшнія условія продолжаютъ мало благопріятствовать и основному теченію, и мѣстному развитію народныхъ изученій.

Изъ этихъ фактовъ статистическаго возростанія г. Межовъ выводилъ, однако, предположеніе, что въ будущемъ возростаніе должно еще увеличиться. Такъ заставлялъ думать общій ростъ литературы,— снаряженіе экспедицій учеными обществами и казенными учрежденіями,—устройство статистическихъ съѣздовъ. Экспедиціи и съѣзды уже тогда начали образовываться и должны были еще развиться и дать изученіямъ народной жизни бо́льшую правильность и систему, связывая разрозненныя умственныя силы. Авторъ справедливо находилъ, что изслѣдователямъ народнаго быта собственно также не мѣшало бы устроивать періодическіе съѣзды, чтобы мѣстные собиратели яснѣе понимали и точнѣе выполняли свою задачу. Пересмотрѣвъ въ своихъ книжныхъ поискахъ массу подобныхъ статей, г. Межовъ встрѣтилъ множество такихъ, которымъ вредила именно безсистемность этнографическаго собиранія. Онъ рекомендовалъ собирателямъ, во-первыхъ, „обращать больше вниманія на тѣ особенности народнаго быта, которыя при нивеллирующемъ характерѣ современной цивилизаціи грозятъ скоро *исчезнуть*", и во-вторыхъ, на „тѣ проявленія народной жизни, которыя свойственны *одной только* описываемой *мѣстности*", и вообще совѣтуетъ запастись систематической *программой*,—каковы, напр., программы, изданныя Географическимъ Обществомъ по обычному праву и собиранію предметовъ для этнографическаго музея, какъ программа г. Ефименка для собиранія народныхъ повѣрій и суевѣрій [1]) и программа для собиранія этнографическихъ свѣдѣній объ украинскомъ народѣ (Кіевъ, 1863)...

Послѣдующіе годы за 1868-мъ, по внѣшнимъ условіямъ, были опять очень мало благопріятны для литературы и народныхъ изученій, но ожиданія нашего статистика тѣмъ не менѣе совершенно оправдались. Продолживъ на слѣдующее десятилѣтіе, 1869 — 78, сличеніе цифръ по указателямъ г. Межова [2]), находимъ, что цифры еще выросли по всѣмъ описываемымъ отдѣламъ, а именно:

Число *общихъ* сочиненій: періодическихъ изданій, „памятныхъ книжекъ" и справочныхъ книгъ, библіографическихъ указателей,

---

[1]) Въ „Извѣстіяхъ" Географ. Общества, 1866.

[2]) Они печатались обыкновенно въ „Извѣстіяхъ" Географическаго Общества, являясь обыкновенно черезъ два года по истеченіи описываемаго года. Послѣдній указатель вышелъ теперь за 1880 г.

изданій Географ. Общества, учебниковъ, біографій и некрологовъ,—возросло съ 90—въ 1869 г., до 497—въ 1878.

Число сочиненій по географіи топографической выросло, за то же десятилѣтіе, съ 1,216 до 1,611; по географіи математической и физической, съ 142 до 284.

Число сочиненій по статистикѣ поднялось съ 1,498—въ 1869, до 2,500—въ 1878.

По этнографіи, оно выросло, за то же десятилѣтіе, съ 467 до 920 [1]).

Общій итогъ, съ 3,413 книгъ и статей — въ 1869, возросъ до 5,812—въ 1878.

Эти цифры представляютъ, конечно, только одну долю литературы, посвященной въ тѣ годы народнымъ изученіямъ, но онѣ даютъ понятіе о цѣломъ: въ отдѣлахъ исторіи, публицистики, литературы поэтической шло не менѣе оживленное движеніе, и подробное статистическое изслѣдованіе поставитъ внѣ всякаго сомнѣнія чрезвычайный ростъ литературы о народѣ. Это явленіе исполнено историческаго смысла. Одинъ этотъ фактъ постояннаго, слѣдовательно органическаго возростанія интереса къ изученію Россіи и русской народной жизни, фактъ, возникновеніе котораго совпадаетъ съ началомъ прошлаго царствованія и съ возбужденіемъ вопроса о реформахъ, особенно крестьянской,—могъ бы указать, какимъ великимъ національнымъ дѣломъ были эти реформы, отразившіяся въ обществѣ столь живымъ обращеніемъ къ изученію своего отечества и народа, и къ какому широкому развитію общественнаго и народнаго самосознанія, т.-е. къ какому внутреннему усиленію національной жизни, они должны бы были повести, еслибъ начатое дѣло продолжалось въ томъ же широкомъ смыслѣ, въ какомъ было предположено и ожидалось. Люди извѣстной партіи, охотно прикрывающіеся знаменемъ народности, бросаютъ теперь камнями въ это реформаторское движеніе прошлаго царствованія; но для всякаго добросовѣстнаго наблюдателя нашей новѣйшей исторіи будетъ ясно, что это движеніе было истинно *національнымъ*, когда оно освобождало порабощенные классы народа, открывало имъ возможность самодѣятельности и просвѣщенія, и когда въ умственной жизни общества оно отразилось такимъ благодатнымъ стремленіемъ къ изученію народной жизни, въ которомъ и заключался самый вѣрный путь къ народному самосознанію.

---

[1]) Въ этой цифрѣ, какъ и въ общемъ итогѣ, мы выключали рубрику этнографическихъ свѣдѣній о древнихъ народахъ и новѣйшихъ, находящихся внѣ Россіи.

Обратимся къ краткому пересмотру самаго содержанія этой литературы. Мы видѣли, какъ быстро въ послѣднія два десятилѣтія разростались статистическія цифры литературы, въ которой особенно выражалось изученіе государства и народа. Изученіе перваго десятилѣтія убѣдило нашего статистика, что впредь эта литература должна была рости не только по внѣшнему объему, но и по внутреннему достоинству произведеній. И дѣйствительно, при всѣхъ тяжелыхъ условіяхъ умственной жизни и печати содержаніе этой литературы захватываетъ все болѣе глубокіе вопросы, и въ цѣломъ историко-этнографическая дѣятельность послѣднихъ десятилѣтій составляетъ самый богатый и наиболѣе замѣчательный періодъ народныхъ изученій, какого еще не было въ нашей литературѣ.

Подробный, всесторонній, критически-свободный обзоръ этой литературы могъ бы послужить предметомъ труда, чрезвычайно интереснаго и поучительнаго; но для него еще не наступило время. Въ короткомъ очеркѣ трудно, конечно, обозрѣть все движеніе этой литературы, и мы ограничимся лишь общими указаніями на ея объемъ и предметы, и укажемъ сначала оффиціальныя работы и изданія правительственныхъ вѣдомствъ, земствъ, ученыхъ учрежденій и обществъ, затѣмъ развитіе литературы по разнымъ предметамъ народной жизни. Читатель обратитъ вниманіе на то, какъ настоятельныя требованія жизни возбуждали дѣятельность оффиціальныхъ вѣдомствъ, которыя съ своей стороны предпринимали обширныя изученія народнаго быта и, покидая старое преданіе административно-канцелярской и архивной тайны, вводили свои труды въ литературу, гдѣ они доставляли поводъ для новыхъ изысканій и критической провѣрки; читатель обратитъ вниманіе на то, съ какой ревностью литература, при первой открывавшейся возможности, обращалась къ изученію народной жизни, сколько положила на это сочувствія и труда; вѣроятно замѣтитъ, насколько дѣятельность литературы могла бы быть еще шире и плодотворнѣе, еслибы встрѣчала болѣе разумнаго довѣрія...

Не будемъ останавливаться на подробностяхъ топографической географіи Россіи, для которой предпринято было въ этомъ періодѣ множество работъ, или мѣрами правительства, или иниціативой ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ. Укажемъ ихъ только вкратцѣ. Таковы были подробныя научныя изслѣдованія поверхности, занимаемой имперіею, г. Стрѣльбицкаго: таковы многочисленныя экспедиціи, снаряженныя правительствомъ или, при пособіи правительства, Географическимъ Обществомъ въ различные ближніе, но особенно дальніе края Россіи и даже за ея предѣлы, — причемъ съ задачами

собственной географіи соединялись обыкновенно различныя изслѣдованія естественно-историческія. Изъ внутреннихъ экспедицій самою замѣчательною была статистико-этнографическая экспедиція въ юго-западный край, исполненная въ началѣ семидесятыхъ годовъ П. П. Чубинскимъ и о которой скажемъ далѣе. Изъ экспедицій дальнихъ, географическихъ и естественно-научныхъ, извѣстны научныя путешествія Миддендорфа (сѣверъ и востокъ Сибири), Маака (Амуръ, долина Усури), Радде (Кавказъ), Шмидта (Сибирь), Пржевальскаго (Монголія, Тибетъ), Сѣверцова, Ѳедченко (Туркестанская область), Щапова (Туруханскій край), Ядринцева, Потанина (Монголія), Мушкетова (Туркестанъ) и многихъ другихъ. Новѣйшія экспедиціи Географическаго Общества простирались на отдаленнѣйшіе края Россіи и ея сосѣдства—на Новую Землю, Сахалинъ, въ Памиръ, Мервъ, на Кавказъ, Уралъ, Тибетъ и пр.; учреждено нѣсколькихъ метеорологическихъ полярныхъ станцій на сѣверѣ Россіи и Сибири, въ соучастіи въ обширномъ международномъ предпріятіи съ этой цѣлью, и т. д. [1]). Труды русскихъ ученыхъ не одинъ разъ бывали здѣсь настоящими открытіями, которыя расширяли область науки и между прочимъ высоко оцѣнивались въ европейской литературѣ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти предпріятія имѣютъ и для русскаго общества отрадное нравственное значеніе, давая въ наше смутное и испорченное время примѣры самоотверженнаго, достойнаго глубокихъ сочувствій, служенія дѣлу науки (назовемъ имя безвременно погибшаго Ѳедченко).

Въ первые годы прошлаго царствованія, параллельно съ трудами Геогр. Общества и Академіи, предпринято было обширное описаніе Россіи, исполнявшееся офицерами генеральнаго штаба. — На ходѣ этого дѣла наглядно отразилась та нравственно-общественная перемѣна, которая наступила съ прошлымъ царствованіемъ. Первое начало этого предпріятія относится къ тридцатымъ годамъ, когда военное министерство, встрѣчая надобность въ статистическихъ описаніяхъ губерній и областей въ военномъ отношеніи, по высочайшему повелѣнію начало составлять подобныя описанія, которыя должны были заключать, во-первыхъ, общія географическо-статистическія свѣдѣнія, „изложенныя въ военномъ отношеніи“, и во-вторыхъ, свѣдѣнія спеціальныя по предметамъ вѣдомствъ генеральнаго штаба, провіантскаго и коммисаріатскаго (и черезъ каждые три года должны были быть исправляемы и пополняемы). На этихъ основаніяхъ въ 1837—54 годахъ офицерами генеральнаго штаба составлены были, по свѣдѣніямъ, собраннымъ на мѣстѣ, *три изданія* военно-статисти-

[1]) Успѣхамъ русской географической науки въ прошлое царствованіе была посвящена рѣчь въ засѣданіи Геогр. Общества 21 февраля 1880, по случаю 25-лѣтія царствованія имп. Александра II (Правит. Вѣстникъ, 1880).

ческихъ обозрѣній 69 губерній и областей Россіи. Но этотъ трудъ, даже въ *общихъ* своихъ сторонахъ, разсматривался—какъ канцелярская тайна. Два изъ этихъ изданій существовали въ литографированномъ видѣ; только третье было напечатано, — но всѣ одинаково для публики были недоступны. Въ первые годы прошлаго царствованія эти работы генеральнаго штаба были возобновлены уже на новыхъ основаніяхъ. Военное министерство нашло, что „хотя эти работы и производятся собственно въ видахъ военныхъ, но тѣмъ не менѣе заключаютъ въ себѣ много свѣдѣній, любопытныхъ и полезныхъ для каждаго русскаго, и могутъ послужить хорошимъ матеріаломъ для статистики Россіи", и въ 1857 распорядилось, чтобы на будущее время эти работы были производимы въ болѣе обширныхъ размѣрахъ и раздѣляемы были, по каждому краю, на два изданія: одна часть, общая, подъ названіемъ статистическаго описанія, назначалась для публики; другая, спеціальная, подъ названіемъ военнаго обозрѣнія, оставалась исключительно для употребленія военнаго министерства.

Въ 1858, эти работы производились уже въ большей части губерній и областей; въ этомъ и слѣдующемъ году были уже изданы два первыя описанія; затѣмъ, съ 1860, описанія стали выходить по нѣскольку томовъ въ годъ, подъ общимъ заглавіемъ „Матеріаловъ для географіи и статистики Россіи, собранныхъ офицерами генеральнаго штаба". Къ половинѣ 1860-хъ годовъ вышло больше двадцати описаній разныхъ губерній и областей, по общему плану. Планъ заключалъ вообще: историческое введеніе; географическое и топографическое описаніе края (географическое положеніе, границы, пространство, орографія и гидрографія, пути сообщенія, климатъ, естественныя произведенія); число жителей и движеніе народонаселенія; обозрѣніе сословій и классовъ населенія; промышленность; состояніе образованности; внѣшній и внутренній бытъ (свѣдѣнія этнографическія); управленіе; свѣдѣнія о городахъ, важнѣйшихъ селеніяхъ и замѣчательныхъ мѣстностяхъ края; наконецъ карты и планы губернскаго и уѣздныхъ городовъ [1]). Наконецъ, обширнѣйшимъ и замѣчательнѣйшимъ трудомъ нашихъ статистиковъ генеральнаго штаба была извѣстная книга „Россія", изданная въ 1871, въ ряду выпусковъ „Военно-статистическаго сборника", подъ редакціею г. Обручева [2]).

---

[1]) Надъ этими описаніями работали: Альфтанъ, М. Барановичъ, Д. Аѳанасьевъ, Я. Крживоблоцкій, М. Лаптевъ, А. Орановскій, В. Михайловъ, А. Защукъ, Н. Вильсонъ, В. Павловичъ, М. Цебриковъ, А. Корево, П. Бобровскій, А. Шмидтъ, Н. Красновъ и мн. др. Нѣкоторыя изъ описаній составляютъ цѣлые большіе томы.

[2]) „Военно-статистическій сборникъ. Выпускъ IV. Россія. Составлено офицерами

Другой рядъ подобныхъ описательныхъ работъ сталъ въ то же время издаваться трудами основаннаго тогда Центральнаго статистическаго комитета при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и губернскихъ статистическихъ комитетовъ.

Оффиціальныя статистическія работы впервые начали устанавляться съ тридцатыхъ годовъ, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ [1]). Съ конца тридцатыхъ годовъ появляются первыя немногія изданія („Статистическія таблицы о состояніи городовъ Росс. имперіи"; два тома „Матеріаловъ для статистики Росс. имперіи", 1839—41, и др.). Съ новаго царствованія начались дѣятельныя работы Центральнаго комитета въ Петербургѣ и мѣстныхъ комитетовъ въ провинціи: „Статистическія таблицы Росс. имперіи", далѣе „Статистическій Временникъ" (съ 1866 г.), на которые полагали свои труды П. П. Семеновъ, А. И. Артемьевъ, А. Бушенъ, Вильсонъ, Л. Н. Майковъ, И. Кауфманъ и др.; наконецъ, „Списки населенныхъ мѣстъ имперіи".

Описаніе земель и населенныхъ мѣстъ было, конечно, издавна необходимо для правительственныхъ и административныхъ цѣлей. Начиная съ писцовыхъ книгъ, издавна предпринимались вновь описи, иногда превращавшіяся въ географію, какъ въ „Книгѣ Большому Чертежу". Дѣлались отдѣльныя описи и въ XVIII столѣтіи, но всегда служили только для административныхъ цѣлей, потомъ забывались въ архивахъ и иногда пропадали; такова была, напр., Румянцовская опись Малороссіи, только часть которой теперь спасена отъ погибели и приведена въ извѣстность. Составленіе полныхъ списковъ населенныхъ мѣстъ въ имперіи предпринималось, наконецъ, и въ новѣйшее время. Первыя мѣры къ этой цѣли приняты были министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 1836, по учрежденіи статистическаго отдѣленія при совѣтѣ министерства: собираніе свѣдѣній поручено было губернскимъ статист. комитетамъ и просто исправникамъ, но собранныя свѣдѣнія остались и не разработаны, и не изданы, тѣмъ больше, что по взглядамъ самой власти не были и особенно удовлетворительны. Въ 1852 г., при Л. А. Перовскомъ, рѣшено было отправить особую экспедицію для собранія свѣдѣній по административной статистикѣ и составленію списковъ населенныхъ мѣстъ; но

генеральнаго штаба: В. Ф. де-Ливрономъ, барономъ А. Б. Вревскимъ, Н. Н. Мосоловымъ, Ѳ. А. Фельдманомъ, Л. Л. Лобко, П. А. Гельмерсеномъ, С. А. Быховцемъ, Г. И. Бобриковымъ и А. А. Боголюбовымъ, подъ редакціею генералъ-маіора Н. Н. Обручева, управляющаго дѣлами военно-ученаго комитета и профессора военной статистики". Спб. 1871.

[1]) О началѣ русской статистики см. статью А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго: „Взглядъ на исторію развитія статистики въ Россіи" (въ Записк. Геогр. Общ., т. II, стр. 116—134).

исполненіе ограничилось только *двумя* губерніями (нижегородской и ярославской). Въ 1854, при И. Г. Бибиковѣ, статистическое отдѣленіе при совѣтѣ министерства было преобразовано въ статистическій комитетъ и снова предписано губернскимъ комитетамъ составить описанія городовъ и уѣздовъ, и опять описано было только *двѣ* губерніи (саратовская и подольская).

Кромѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, и другія вѣдомства предпринимали въ прежнее время подобныя описанія. Мы говорили о военно-статистическихъ описаніяхъ губерній, начатыхъ съ 1837 департаментомъ генеральнаго штаба военнаго министерства. Извѣстный академикъ П. И. Кёппенъ еще съ двадцатыхъ годовъ обращалъ вниманіе на отсутствіе списковъ населенныхъ мѣстъ, и, наконецъ, въ 1855 г. Академія Наукъ рѣшила собрать такіе списки по приходамъ, при содѣйствіи св. синода и департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій;—результатомъ было описаніе *одной* губерніи, составленное Кёппеномъ въ 1858 году: „Города и селенія тульской губ. въ 1857 году". Хозяйственный департаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ издалъ весьма обстоятельное описаніе „Городскихъ поселеній въ Россійской имперіи". Были, наконецъ, отдѣльные труды этого рода, иногда составляемые частными лицами.

Послѣдовательное и въ обширныхъ размѣрахъ выполненіе этого давнишняго плана произведено было только въ прошлое царствованіе. Въ 1858 году, вскорѣ по учрежденіи Центральнаго статистическаго комитета, тогдашній министръ внутреннихъ дѣлъ, С. С. Ланской, призналъ необходимымъ составить одновременно полный списокъ всѣхъ населенныхъ мѣстъ имперіи, „въ виду предстоявшихъ преобразованій въ гражданскомъ и хозяйственномъ устройствѣ всего сельскаго населенія",—составить ихъ, не прибѣгая къ новымъ изслѣдованіямъ, по тѣмъ свѣдѣніямъ, какія постоянно должны находиться въ распоряженіи губернскихъ и уѣздныхъ вѣдомствъ. Опредѣлена была программа свѣдѣній, какія должны были войти въ описанія, менѣе сложная чѣмъ прежнія программы, но болѣе отчетливая: описанія должны были заключать — обозначеніе всѣхъ разнородныхъ населенныхъ мѣстъ; ихъ топографическаго положенія; разстояній отъ Петербурга или отъ мѣстныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городовъ; числа церквей, домовъ, дворовъ, жителей; статистическое распредѣленіе населенныхъ мѣстъ по ихъ различнымъ отношеніямъ; азбучный указатель всѣхъ мѣстностей, и наконецъ, общія вводныя свѣдѣнія о губерніи и карту. Общія свѣдѣнія должны были заключать: краткій топографическій очеркъ губерніи или области, съ указаніемъ пространствъ, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ; свѣдѣнія объ историческомъ заселеніи описываемой мѣстности, и настоящемъ численномъ и этно-

графическомъ составѣ населенія, — эти данныя могли дополняться свѣдѣніями торгово-промышленными, сельско-хозяйственными и другими; наконецъ, прибавлялось объясненіе топографическихъ терминовъ, преимущественно употребляемыхъ въ описываемомъ краѣ. — Въ 1859 — 60 начали сходиться въ министерство провѣрочныя свѣдѣнія изъ провинціи къ прежнему матеріалу, и въ 1861 уже вышли въ свѣтъ первые выпуски „Списковъ населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи" (губерніи Архангельская и Астраханская, и Бессарабская область). Работа шла быстро и въ непродолжительное время было приготовлено и издано описаніе нѣсколькихъ десятковъ губерній и областей.

Очевидно, что въ этой успѣшности статистическаго труда оказалось тоже вліяніе „духа времени". Въ прежнее время бюрократія такъ привыкла считать свои свѣдѣнія канцелярской собственностью и тайной, что изданія для публики дѣлались только въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ. Теперь это бюрократическое преданіе уступило передъ практическими потребностями дѣла и общественнымъ интересомъ. „Списки населенныхъ мѣстъ" имѣютъ не одно административное примѣненіе; въ нихъ заключается и важный научный матеріалъ: кромѣ свѣдѣній статистическихъ, важные факты для географіи (между прочимъ, исторической), для исторіи (напр., по вопросамъ о русской колонизаціи между инородцами), для этнографіи, для народнаго топографическаго словаря, и пр. [1]).

Къ этимъ общимъ трудамъ присоединяются многочисленныя „Памятныя книжки" по губерніямъ, со множествомъ данныхъ статистическихъ, этнографическихъ, хозяйственныхъ, историческихъ, и такіе же „Сборники", изданные отчасти Центральнымъ, отчасти мѣстными губернскими комитетами; наконецъ, періодически выходящіе „Труды" и „Записки" мѣстныхъ комитетовъ: все это составило цѣлую литературу, съ обильными свѣдѣніями о народномъ бытѣ [2]).

---

[1]) „Списки" редактировались всего болѣе членами Центральнаго статистическаго комитета (Е. Огородниковъ, Артемьевъ, И. Вильсонъ, Н. Штиглицъ, М. Раевскій и др.); потомъ издавались также мѣстными статистическими комитетами и земствами

[2]) Библіографическій обзоръ этой статистической литературы до 1873 г. сдѣланъ въ особой книжкѣ г. Межова: „Библіографическія монографіи. Труды Центральнаго и губернскихъ статистическихъ комитетовъ. Библіографическій указатель книгъ и заключающихся въ нихъ статей, обнимающій дѣятельность статистическихъ комитетовъ съ самаго начала ихъ учрежденій вплоть до 1873 г." Спб. 1873 (8°. 128 стр.), —гдѣ описано сверхъ 500 книгъ и брошюръ, изъ которыхъ лишь очень немногія вышли еще въ царствованіе императора Николая. См. въ особенности очеркъ успѣховъ русской статистической науки за послѣднія 25 лѣтъ, въ рѣчи предсѣдателя статистическаго отдѣленія Географическаго Общества, И. И. Вильсона, читанной 21 февр.

Наконецъ съ основанія земскихъ учрежденій возникаетъ длинный рядъ изданій земскихъ. Приступивъ къ дѣятельности, назначенной ему учрежденіями, земство встрѣтилось съ необходимостью оглядѣться въ своихъ условіяхъ, въ положеніи вещей, и въ результатѣ явились новыя мѣстныя изученія, предметомъ которыхъ были въ особенности отношенія экономическія: земельныя, податныя, сельско-хозяйственныя, промысловыя, цифры населенія, школьное дѣло и т. д. Труды земскихъ собраній и коммиссій по множеству подобныхъ вопросовъ мѣстнаго народнаго хозяйственнаго быта уже теперь собрали громадный матеріалъ, о какомъ не имѣла представленія прежняя литература [1]).

Подъ вліяніемъ того общаго оживленія, какимъ было отмѣчено начало прошлаго царствованія, небывалымъ прежде образомъ расширилась литература провинціальная. Крестьянскій вопросъ, учрежденіе земства, напряженное вниманіе къ народныхъ изученіямъ въ главномъ теченіи литературы отразились и въ трудахъ мѣстныхъ любителей и изслѣдователей. Они приняли участіе въ земскихъ дѣлахъ и изданіяхъ, оживили изданія мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ, подняли многія изъ „губернскихъ вѣдомостей", въ прежнее время влачившихъ обыкновенно самое жалкое существованіе, наконецъ, предпринимали свои личныя работы. Многіе изъ нихъ съ большимъ успѣхомъ занимались собираніемъ этнографическихъ данныхъ, изученіемъ мѣстныхъ экономическихъ отношеній, разработкой архивныхъ матеріаловъ, и пріобрѣли себѣ почетную извѣстность въ литературѣ о народномъ бытѣ и старинѣ. Такъ работали во Владимірѣ К. Н. Тихонравовъ (авторъ нѣсколькихъ цѣнныхъ монографій о владимірской старинѣ), Голышевъ, Я. П. Гарелинъ; въ Нижнемъ-Новгородѣ—А. С. Гацискій; для Перми—Н. Чупинъ, Д. Смышляевъ; въ Вяткѣ—Н. Романовъ, свящ. Блиновъ, Бехтеревъ; въ Ярославлѣ—Е. И. Якушкинъ, Посниковъ, Деруновъ, Трефолевъ; въ Новгородѣ—

1880 въ засѣданіи Общества, посвященномъ чествованію 25-лѣтія царствованія императора Александра II (Правит. Вѣстникъ, 1880).

[1]) Дѣятельность земства не была еще изложена вполнѣ съ этой спеціальной стороны; но вообще, какъ извѣстно, вызвала обширную публицистическую литературу. Г. Межовъ, библіографически, собралъ эту литературу до 1871 г. въ книжкѣ: „Земскій и крестьянскій вопросъ" (Спб. 1873). Укажемъ еще: „Земскіе итоги", Вѣстн. Евр. 1870, № 3—4, 7—8; Ив. Андреевскаго, „О значеніи работъ русскаго земства для администраціи и экономической науки", въ Трудахъ В. Экон. Общества, 1876, т. III, № 12; Мордовцева, „Десятилѣтіе русскаго земства", Спб. 1877; газету г. Скалона, „Земство", заключавшую много важнаго матеріала и соображеній о дѣятельности земскихъ учрежденій; вообще о положеніи нашихъ земскихъ учрежденій ср. Градовскаго, „Начала русскаго государственнаго права", т. III, часть 1-я, Спб. 1883, введеніе.

Н. Богословскій; въ Твери — В. И. Покровскій; въ Казани — С. М. Шпилевскій; въ Тамбовѣ— Дубасовъ; для Смоленской губерніи — И. Красноперовъ; для Олонецкаго края — Рыбниковъ, Е. В. Барсовъ, И. С. Поляковъ; въ Оренбургѣ—Н. Середа, В. Витевскій; въ Архангельскѣ — П. и А. Ефименко, Чубинскій; въ Витебскѣ — А. Сементовскій; въ Черниговѣ—Ефименко, Червинскій; въ Новороссійскомъ краѣ—А. Скальковскій; въ Сибири—цѣлый рядъ дѣятелей, о которыхъ подробно скажемъ въ своемъ мѣстѣ, и др. Дѣятельность этихъ лицъ часто совпадаетъ съ трудами земствъ, съ изслѣдованіемъ важнѣйшихъ вопросовъ народнаго экономическаго быта, — о которыхъ скажемъ далѣе. Труды нѣкоторыхъ земствъ въ этомъ отношеніи были серьёзной заслугой въ дѣлѣ народныхъ изученій. Назовемъ труды земствъ тамбовскаго, новгородскаго, тверского, пермскаго, черниговскаго и другихъ, и въ особенности московскаго, въ обширныхъ изданіяхъ котораго явились образцовые труды В. Орлова, д-ра Эрисмана, д-ра Погожева, Каблукова и другихъ.

Въ цѣломъ получается масса статистическихъ свѣдѣній, собранныхъ и обработанныхъ правительственными, земскими и частными средствами, какъ по мѣстнымъ явленіямъ, такъ и по различнымъ отраслямъ общей государственной жизни,— свѣдѣній, которыми вмѣстѣ освѣщаются и условія собственно народнаго быта. Мы возвратимся далѣе къ нѣкоторымъ сторонамъ этой описательной дѣятельности, и укажемъ здѣсь общіе труды, напримѣръ, по статистическимъ вопросамъ о народонаселеніи (В. Буняковскаго, П. Семенова), о климатѣ (К. Веселовскаго), по статистикѣ сельскаго хозяйства (Чаславскаго, А. Ермолова), финансовъ (Заблоцкаго, Безобразова, Бушена, Тимирязева), путей сообщенія (Гагемейстера, Гельмерсена, Бліоха, Чупрова), хлѣбной промышленности (труды коммиссіи подъ предсѣдательствомъ Г. П. Неболсина, изъ представителей нѣсколькихъ министерствъ и обществъ Вольно-Экономическаго и Географическаго, гдѣ работали Бушенъ, Тернеръ, Янсонъ, Чаславскій, Чубинскій и другіе).

Дѣятельность Географическаго Общества за этотъ періодъ также чрезвычайно расширилась: открылось нѣсколько мѣстныхъ отдѣловъ Общества, — кавказскій, западно-сибирскій (въ Омскѣ), восточно-сибирскій (въ Иркутскѣ), оренбургскій, юго-западный (въ Кіевѣ), которые предприняли работы на мѣстахъ и свои особыя изданія. Къ сожалѣнію, юго-западный отдѣлъ, только-что начавшій свои работы (два тома „Записокъ“, 1874 — 75) уже вскорѣ былъ закрытъ административнымъ путемъ, одновременно съ запретительными мѣрами противъ малорусской литературы... Дѣятельность Географическаго Общества простиралась на всѣ отрасли географіи, статистики

и этнографіи [1]). Раньше мы упоминали, что отдѣленіе этнографіи уже вскорѣ по основаніи Общества предприняло изданіе отдѣльнаго „Этнографическаго Сборника“ (6 томовъ, 1853—64); затѣмъ важнѣйшій и болѣе крупный матеріалъ и изслѣдованія этого рода издавались въ особыхъ „Запискахъ И. Р. Геогр. Общества по отдѣленію этнографіи“ (14 томовъ, 1867—1890). Изъ работъ географическихъ назовемъ обширные труды г. Семенова—переводъ Риттеровой „Азіи“ съ обширными дополненіями, и въ особенности замѣчательный „Географическо-статистическій Словарь Россійской имперіи“, изданіе котораго, начавшееся съ 1862 г., приведено къ концу въ 1885, въ 5 большихъ компактныхъ томахъ.

Далѣе, обильный матеріалъ для изученій народности представляли изданія другихъ ученыхъ учрежденій и обществъ. Во-первыхъ — Академіи Наукъ, въ особенности Второго ея отдѣленія, посвященнаго русскому языку и словесности. Еще съ самаго начала пятидесятыхъ годовъ, Русское отдѣленіе предприняло изданіе „Извѣстій“, которыя за десять лѣтъ своего существованія были богатымъ складомъ матеріала по народной словесности и старой письменности, и также филологическихъ и историко-литературныхъ изслѣдованій, особливо Срезневскаго. Тогда же начато было изданіе „Ученыхъ Записокъ“, впервые на русскомъ языкѣ; а затѣмъ Отдѣленіе соединяло труды своихъ членовъ и постороннихъ ученыхъ въ „Сборникѣ“ (1867—90, за пятьдесятъ томовъ), гдѣ собрано множество важныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій. Изъ собственно академическихъ работъ, первостепенное значеніе имѣли труды Востокова (церковно-славянскій словарь), Срезневскаго (особенно труды палеографическіе и многочисленныя изслѣдованія памятниковъ), Пекарскаго („Наука и литература при Петрѣ В.)“, Я. К. Грота („Филологическія розысканія“; изданіе Державина), А. Н. Веселовскаго (изслѣдованія по средневѣковой легендарной литературѣ и народной поэзіи русской и западно-европейской), и др., М. И. Сухомлинова и Майкова (по исторіи литературы древней, новой и народной).

Московское Общество исторіи и древностей открыло усиленную дѣятельность съ 1846 года подъ вліяніемъ Бодянскаго („Чтенія“). Въ 1848, надъ Бодянскимъ стряслась исторія, на нѣсколько лѣтъ удалившая его изъ Общества. Вмѣсто „Чтеній“ сталъ издаваться „Временникъ“, подъ редакціей И. Д. Бѣляева; но къ концу пятидесятыхъ годовъ опала съ Бодянскаго была снята, и опять возобно-

[1]) Очеркъ его трудовъ за прежніе годы см. въ книгахъ: „Двадцатипятилѣтіе Импер. Рус. Географ. Общества“, 13 января 1871 г. Спб. 1872; „Обозрѣніе трудовъ Импер. Рус. Географ. Общества по исторической географіи“. Составилъ А. И. Артемьевъ. Спб. 1873.

вилось изданіе „Чтеній“ (съ 1858). Посвященныя всего болѣе археологіи, русской и славянской литературѣ, и исторіи, старой и новой, „Чтенія“ вмѣстѣ съ тѣмъ давали мѣсто матеріалу этнографическому; черезъ нихъ прошли напр. столь цѣнныя собранія, какъ „Пѣсни“ (великорусскія) Шейна, „Пѣсни галицкой и угорской Руси“ Головацкаго, огромный сборникъ „Пословицъ“ Даля и проч.

Изученіе старины, представляющей различныя стороны и ступени историческаго развитія народности, сосредоточивалось въ особенности въ трудахъ Археологическихъ Обществъ, одного въ Петербургѣ, другого въ Москвѣ, основаннаго гр. А. С. Уваровымъ, Общества древняго русскаго искусства, и въ трудахъ археологическихъ съѣздовъ, которые собирались нѣсколько разъ—въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Казани, Тифлисѣ, Одессѣ, Ярославлѣ. Отдаленнѣйшей старинѣ русской земли, быть можетъ связанной и съ древними судьбами племени, посвящались труды Археологической Коммиссіи,—раскапывавшей и описывавшей курганныя древности, особливо въ Крыму и южной Россіи.

Собиранію и изслѣдованію собственно историческаго матеріала посвящаются труды нѣсколькихъ ученыхъ обществъ, оффиціальныхъ и частныхъ. Мы говорили о московскомъ Обществѣ исторіи и древностей. Археографическая Коммиссія, основанная въ царствованіе Николая I, продолжала изданіе лѣтописей (между прочимъ фотографированныя изданія лѣтописей Лаврентьевской и Ипатьевской) и актовъ [1]); Виленская археографическая коммиссія, Кіевская коммиссія для разбора древнихъ актовъ собирали мѣстный историческій матеріалъ. Общество лѣтописца Нестора, основанное въ Кіевѣ въ 1870 годахъ, посвящало свои труды древней русской исторіи и письменности. Описаніе рукописныхъ собраній, начатое нѣкогда Востоковымъ, Калайдовичемъ, Строевымъ, продолжалось и теперь: въ послѣднія десятилѣтія явились въ этой области замѣчательные труды опытныхъ библіографовъ: Горскаго и Невоструева (описаніе рукописей московской синодальной библіотеки), Викторова (рукописи Григоровича, Ундольскаго), Бычкова (рукописи Публичной Библіотеки), А. Попова (рукописи Хлудова), Добрянскаго (рукописи Виленскія), Петрова (рукописи Кіевской духовной академіи), описаніе рукописей Соловецкой библіотеки, и др. Далѣе, продолжаются описанія книгъ старо-печатныхъ—Каратаева, Ундольскаго, Викторова, Бычкова и др. Старой литературѣ и народной поэзіи посвящались „Лѣтописи русской литературы и древности“ Н. С. Тихонравова; „Филологическія

[1]) Кромѣ того, Археограф. Коммиссія издавала писцовыя книги, „Историческую Библіотеку“, „Лѣтопись занятій“, описаніе ея рукописей, и начала изданіе Макарьевскихъ Четь-Миней.

Записки“ Хованскаго, въ Воронежѣ; „Филологическій Вѣстникъ“ Колосова, потомъ Смирнова, въ Варшавѣ. Императорское русское Историческое Общество, открывшее свою дѣятельность съ 1869 г., посвящало свои изданія новой, въ особенности дипломатической исторіи XVIII—XIX вѣка (до 70 большихъ томовъ, 1869—1890). Наконецъ, много историческаго матеріала и изслѣдованій находило себѣ мѣсто въ ученыхъ „Запискахъ“, „Трудахъ“, „Извѣстіяхъ“ университетовъ—петербургскаго, кіевскаго, новороссійскаго, казанскаго; въ изданіяхъ духовныхъ академій, кіевской и казанской, нѣжинскаго Историко-филологическаго института, и друг. Наконецъ, частныя изданія, вызванныя сильно возбужденнымъ въ обществѣ историческимъ интересомъ и сами питавшія этотъ интересъ, внесли въ литературу огромный запасъ историческихъ свѣдѣній — изслѣдованій и особенно подлинныхъ матеріаловъ: записокъ, воспоминаній, дневниковъ, переписки и т. п. Таковы „Русскій Архивъ“ Бартенева (съ 1863 г.) и имъ же изданный „Архивъ князя Воронцова“ (1870—1883, 27 книгъ); „Русская Старина“ (съ 1870 г.), М. Семевскаго; „Древняя и Новая Россія“ (прекратившаяся); „Историческій Вѣстникъ“ (съ 1880); „Кіевская Старина“ (съ 1882), посвященная южно-русской старой и новой исторіи.

Изъ вновь основавшихся обществъ особенную дѣятельность обнаружили два, одно въ Петербургѣ, другое въ Москвѣ.

Общество (впослѣдствіи императорское) любителей древней письменности, основанное въ 1877 г. извѣстнымъ любителемъ русской археологіи и археографіи, кн. Павломъ Петр. Вяземскимъ (ум. 1889) на основаніяхъ нѣсколько исключительныхъ, возбуждавшихъ нѣкоторыя недоумѣнія [1]), тѣмъ не менѣе развило обширную дѣятельность, выразившуюся массою изданій. Общество предприняло изданіе памятниковъ древней письменности, самаго разнообразнаго содержанія, относящихся къ старой исторіи, литературѣ, языку, быту, искусству; иногда оно печатало только тексты, остававшіеся дотолѣ неизданными, иногда присоединялись къ нимъ историко-литературные комментаріи. При изданіяхъ памятниковъ оно не разъ отступало отъ ученаго обычая выбирать для этого старѣйшіе списки и снабжать ихъ варіантами; Общество, или точнѣе кн. П. П. Вяземскій смотрѣлъ на дѣло иначе: съ точки зрѣнія любителя старины онъ считалъ каждый старый рукописный памятникъ за unicum, который уже тѣмъ самымъ заслуживаетъ изданія—за нимъ могутъ быть изданы и другіе тексты. Въ настоящемъ положеніи нашей науки это

[1]) Ср. современный отзывъ А. А. Котляревскаго, въ „Чтеніяхъ“ историческаго Общества Нестора-лѣтописца, т. II, Кіевъ, 1889.

была иногда роскошь, тѣмъ болѣе, что извѣстный разрядъ изданій совсѣмъ не поступалъ въ обращеніе, такъ какъ предоставлялся только дѣйствительнымъ членамъ Общества, вносившимъ высокую годовую плату. Было также роскошью, — на этотъ разъ отвѣчавшею научному интересу,—что большая масса изданій Общества представляла литографически исполненныя fac-simile рукописей. Этнографическая цѣнность трудовъ Общества заключалась въ томъ, что въ числѣ его изданій былъ цѣлый рядъ старыхъ текстовъ, имѣвшихъ значеніе для объясненія народныхъ знаній и понятій, старинныхъ повѣстей, легендъ и т. п. Въ числѣ ученыхъ сочиненій, изданныхъ Обществомъ, было также нѣсколько трудовъ, имѣющихъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ вопросамъ исторіи быта и этнографіи.

Укажемъ рядъ изданій Общества любителей древней письменности, имѣющихъ упомянутое отношеніе къ предметамъ этнографіи:

— Собраніе гравированныхъ изображеній иконъ Божіей Матери и сказанія о нихъ, 1878, 4°, частью современнымъ шрифтомъ, частью воспроизведены древній печатный экземпляръ и рукопись.

— Римскія дѣянія (Gesta Romanorum). Обширное изданіе, въ двухъ выпускахъ, крупнымъ славянскимъ шрифтомъ. 1877—1878.

— Азбука гражданская съ нравоученіями, правлена рукою Петра Великаго, 1877, воспроизведеніе древняго печатнаго экземпляра.

— Отрывокъ изъ сборника XVIII вѣка, съ лицевыми изображеніями и съ крюковыми помѣтами „На рѣкахъ вавилонскихъ“, 1877. Здѣсь помѣщены: 1) Слово о премудрости царя Соломона и о Южской царицѣ; 2) Сказаніе о Египетскомъ царствѣ; 3) Пророчество Исаіи о послѣднихъ днехъ; 4) Вопросъ, на колико сребренникъ прода Іюда Христа; 5) О снахъ царя Шигайши; 6) Сказаніе о муромскомъ чудотворномъ крестѣ; 7) О написаніи иконы Богородицы еванг. Лукою; 8) О введеніи въ церковь Богородицы; 9) О царѣ Соломонѣ и о Китоврасѣ; 10) О царѣ Влатазарѣ Вавилонскомъ. Повѣсть о винѣ и како отъ чего сперва сотворися винное сидѣніе.—Нѣсколько лицевыхъ изображеній.

— Стефанитъ и Ихнилатъ, въ двухъ выпускахъ, 1877 — 1878, 4°, съ предисловіемъ и примѣчаніями Ѳ. Булгакова. Текстъ славянскимъ шрифтомъ.

— Книга глаголемая Козмографія сирѣчь описаніе сего свѣта земель и государствъ великихъ 1670 г. Въ трехъ выпускахъ, съ предисловіемъ Чарыкова, 1878—1881, слав. шрифтомъ.

— Житіе и хожденіе Іоанна Богослова, 1878, 4°,—воспроизведеніе рукописи князя Вяземскаго.

— Исторія Семи Мудрецовъ, въ двухъ выпускахъ, съ предисловіемъ Ѳ. Булгакова, текстъ и варіанты, 1878—1880.

— Сказаніе о чудесахъ Владимірской иконы Божіей Матери. 1878, 43 страницы. Предисловіе В. О. Ключевскаго; текстъ славянскимъ шрифтомъ.

— Повѣсть о судѣ Шемяки, съ предисловіемъ Ѳ. Булгакова, 1879, 4°: факсимиле текста по рукописи XVII вѣка, факсимиле лубочныхъ иллюстрацій съ текстомъ, транскрипція текста XVII вѣка, талмудическія сказанія о праведныхъ судахъ Соломона (числомъ 4) и талмудическія сказанія о неправедныхъ судахъ Содомскихъ.

— Исторія о Мелюзинѣ, въ двухъ выпускахъ, 1879—1880, крупнымъ славянскимъ шрифтомъ.

— Сказка о Силѣ-царевицѣ и о Ивашкѣ-Бѣлой Рубашкѣ, 1880, стр. 9. Воспроизведеніе лубочнаго съ рисунками изданія.

— Русскій лицевой Апокалипсисъ. Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ съ XVI вѣка по XIX, составилъ Ѳедоръ Буслаевъ. М. и Спб. 1884. (Выпусками начало выходить съ 1880 г.).

— Житіе преподобнаго Нифонта, въ трехъ выпускахъ, 1879—1885,—воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображеніями, изъ собранія П. П. Вяземскаго.

— Александрія, въ двухъ выпускахъ, 1880—87. Воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображеніями, изъ собранія кн. Вяземскаго.

— Стефанитъ и Ихнилатъ, М. 1880 — 81. Съ предисловіемъ А. Е. Викторова. Текстъ напечатанъ славянскимъ шрифтомъ по двумъ спискамъ en regard, Севастьяновскому и Синодальному XV вѣка.

— Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 году. Дневникъ П. И. Челищева, изд. подъ наблюденіемъ Л. Н. Майкова. Спб. 1886.

— „Книга глаголемая Козмы Индикоплова“, изъ рукописи моск. Главнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ, Минея-Четія митр. Макарія (новгор. списокъ), XVI вѣка, мѣсяцъ августъ, дни 23—31, изъ собранія кн. Оболенскаго. Спб. 1886. Точное воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображеніями; къ изданію присоединено два листа изображеній изъ собранія кн. Вяземскаго.

— Житіе Варлаама и Іоасафа, 1887, большой томъ, f°. Воспроизведеніе рукописи изъ собранія кн. Вяземскаго, съ лицевыми изображеніями.

Обществомъ изданы были также книги, составленныя Н. П. Барсуковымъ: „Жизнь и труды П. М. Строева“, Спб. 1878, и „Источники русской агіографіи“, Спб. 1882, f°, обозрѣніе русскихъ святыхъ, съ показаніемъ ихъ иконнаго изображенія, списками ихъ житій, службъ и пр.

Въ другомъ разрядѣ изданій Общества, который названъ „Памятниками древней письменности и искусства“, помѣщались протоколы о дѣятельности Общества, краткія сообщенія, а наконецъ и цѣлые старые тексты и изслѣдованія. Отмѣтимъ здѣсь:

— Сказанія о Бовѣ. „Памятники“ за 1879 (II).

— Преніе Панагіота съ Азимитомъ, ст. кн. Вяземскаго и текстъ XVII в., тамъ же (V).

— Бесѣда трехъ святителей, ст. кн. Вяземскаго и текстъ, 1880 (VII).

— Повѣсть о нѣкоемъ рыцарѣ и о женѣ его (VII).

— Повѣсть о Саввѣ Грутцынѣ, сообщ. С. Писарева (VIII).

— Рукописный сборникъ пословицъ XVI—XVIII в., сообщ. Л. Н. Майкова, тамъ же (IX).

— Русское поученіе XI вѣка: О перенесеніи мощей Николая Чудотворца, и его отношеніе къ западнымъ источникамъ, съ факсимиле рукописи XIII—XIV вѣка. И. А. Шляпкина. 1881. (XIX). Текстъ поученія по двумъ рукописямъ en regard, славянскимъ шрифтомъ.

— Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, ихъ литературные труды и идеи въ древней Руси, историко-литературный трудъ А. С. Архангельскаго. Часть первая: преподобный Нилъ Сорскій. Спб. 1881—1882 (XXV).

— Повѣсть о Василіи Златовласомъ, королевичѣ чешской земли. Сообщеніе И. А. Шляпкина. 1882 (XXXI).

— Житіе и чудеса св. Николая Мурликійскаго и похвала ему. Изслѣдо-

ваніе двухъ памятниковъ древней русской письменности XI вѣка. Архимандрита Леонида. 1881 (1882). Текстъ житія славянскимъ штрифтомъ (XXXIV).

— Хожденіе въ Іерусалимъ и Царьградъ чернаго дьякона Троице-Сергіева монастыря Іоны, по прозвищу маленькаго, 1648—1652. Сообщ. арх. Леонидъ. 1882 (XXXV).

— Сводный старообряческій Синодикъ. Второе изданіе Синодика по четыремъ рукописямъ XVIII—XIX в. А. П. Пыпина. 1883 (XLIV).

— Законы стиха русскаго народнаго и нашего литературнаго. Опытъ изученій П. Д. Голохвастова. 1885 (XLV).

— Любопытный памятникъ русской письменности XV вѣка. Сообщеніе А. С. Архангельскаго, 1884. Молитва І. Христу, архангеламъ и пресв. Богородицѣ (L).

— Ростовскіе колокола и звоны. Свящ. Аристарха Израилева, 1884, между прочимъ 4 стр. нотныхъ знаковъ и таблица расположенія колоколовъ (LI).

— Краткое описаніе о народѣ Остяцкомъ, сочиненное Григоріемъ Новицкимъ въ 1715 году. Издано подъ редакціею Л. Н. Майкова. 1884 (LIII).

— Повѣсть о Царьградѣ (его основаніи и взятіи турками въ 1453 году) Нестора-Искандера, XV вѣка. Сообщ. арх. Леонидъ. 1886. Со снимкомъ съ рукописи (LXII).

— Изъ исторіи народной повѣсти. Исторія о гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ... Текстъ по рукописямъ XVIII вѣка и введеніе А. Н. Пыпина. 1887 (LXIV).

— Докторъ Францискъ Скорина. Изслѣдованіе П. В. Владимірова. 1888.

— Гусли, русскій народный музыкальный инструментъ. Историческій очеркъ Ал. С. Фаминцына. 1790 (LXXXII).

Новымъ, въ послѣднее время весьма дѣятельнымъ научнымъ центромъ, гдѣ важное мѣсто заняли и работы по этнографіи, является Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи при московскомъ университетѣ, основанное въ 1864 году. Оно распадается на три отдѣла по тѣмъ научнымъ отраслямъ, которымъ посвящена его дѣятельность. Этнографія поставлена здѣсь въ связь съ антропологіей и въ „Трудахъ" Общества по отдѣламъ антропологіи и этнографіи собрано много важныхъ изученій съ точки зрѣнія, которая до сихъ поръ находила еще мало мѣста въ нашей наукѣ. Упомянемъ здѣсь въ особенности труды А. П. Богданова и Д. Н. Анучина. Въ настоящее время во главѣ Общества стоитъ г. Миллеръ, много работавшій по разнымъ отраслямъ этнографіи русской и инородческой.

Всеволодъ Өедор. Миллеръ, сынъ извѣстнаго поэта-переводчика (род. въ Москвѣ, 1848), воспитывался сначала въ иностранномъ пансіонѣ Эннеса, послѣднемъ пансіонѣ этого типа, существовавшемъ въ Москвѣ, и по окончаніи тамъ курса и затѣмъ послѣ домашней подготовки поступилъ въ московскій университетъ въ 1865. Въ университетѣ онъ занялся санскритомъ и на направленіе его научныхъ интересовъ имѣли также вліяніе лекціи Ө. И. Буслаева; при введеніи

дѣленія историко-филологическаго факультета на три отдѣла Миллеръ избралъ славяно-русскій и занялся сравнительнымъ языкознаніемъ и у Бодянскаго славянскими нарѣчіями. По окончаніи курса въ 1870, онъ оставленъ былъ при университетѣ на два года и между прочимъ на вакаціяхъ 1871 года предпринялъ вмѣстѣ съ Ф. Ѳ. Фортунатовымъ поѣздку въ Литву (кальварійскій уѣздъ, Сувалкской губерніи), гдѣ составилъ сборникъ пѣсенъ и сказокъ на мѣстномъ нарѣчіи; пѣсни были изданы при „Извѣстіяхъ" московскаго университетѣ въ 1873. Выдержавши экзаменъ на магистра, г. Миллеръ былъ посланъ за границу, гдѣ продолжалъ свои изученія сравнительнаго языкознанія, между прочимъ подъ руководствомъ Вебера въ Берлинѣ, Людвига въ Прагѣ и Рота въ Тюбингенѣ. По защитѣ магистерской диссертаціи въ 1876, г. Миллеръ съ осени 1877 началъ лекціи въ университетѣ о санскритѣ; въ 1879—1880 онъ издавалъ вмѣстѣ съ М. М. Ковалевскимъ извѣстный журналъ „Критическое Обозрѣніе". Послѣ первой поѣздки на Кавказъ въ 1879 г. Миллеръ обратился къ сравнительно-грамматическому изученію иранскихъ языковъ Кавказа и къ кавказской этнографіи. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлалъ нѣсколько путешествій въ разныя области Кавказа и результатомъ его занятій былъ цѣлый рядъ сочиненій по этнографіи этого края. Съ половины 1870-хъ годовъ г. Миллеръ принялъ участіе въ трудахъ этнографическаго отдѣла Общества любителей ест., антр. и этнографіи, и въ концѣ 1881, за выходомъ предсѣдателя этого отдѣла, Н. А. Попова, избранъ былъ его предсѣдателемъ, а съ 1889 состоитъ президентомъ всего Общества. Въ то же время принявъ, съ 1884, должность хранителя Дашковскаго этнографическаго Музея, г. Миллеръ ввелъ въ немъ этнографическое распредѣленіе коллекцій вмѣсто прежняго географическаго и началъ его систематическое описаніе. Лѣтомъ 1886, по порученію московскаго Археологическаго Общества г. Миллеръ производилъ раскопки и археологическія изслѣдованія въ Крыму и на Кавказѣ (въ Чечнѣ, Осетіи и Кабардѣ) и записывалъ тексты на татскомъ нарѣчіи горскихъ евреевъ. Съ 1888 г. Миллеръ состоитъ ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія [1]).

[1]) Изъ многочисленныхъ трудовъ В. Ѳ. Миллера укажемъ особливо имѣющіе отношеніе къ этнографіи русской и инородческой:

— О сравнительномъ методѣ автора „Происхожденія русскихъ былинъ", въ „Бесѣдахъ" Общ. любителей рос. словесности. Вып. III. М. 1871.

— Статьи и замѣтки о санскритской литературѣ и сравнительному языкознанію,—въ „Отчетѣ" моск. унив. за 1875; въ Beiträge zur vergl. Sprachforschung, VIII; Журн. мин. просв., ч. CLXXXV.

— Названія Днѣпровскихъ пороговъ у Константина Багрянороднаго. „Древности" Московскаго Археол. Общества, 1875, т. V.

Дѣятельность Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи была до сихъ поръ весьма разнообразная и плодотворная. Къ прежнимъ этнографическимъ интересамъ присоединились здѣсь изученія антропологическія, которыя должны бы составлять первую основу этнографіи. Антропологическій отдѣлъ ставилъ вопросы о рус-

— Очерки арійской миѳологіи. I. Асвины-Діоскуры. М. 1876, — магистерская диссертація.

— О лютомъ звѣрѣ народныхъ пѣсенъ. „Древности", т. VII.

— Восточные и западные родичи одной русской сказки. „Труды Этногр. Отдѣла" Общ. люб. ест., антр. и этнографіи. Книга IV. 1877.

— Значеніе собаки въ миѳическихъ вѣрованіяхъ. „Древности", т. VI. (Le rôle du chien dans les croyances mythologiques,— въ Atti del IV congresso degli orientalisti. Firenze, II).

— Взглядъ на Слово о полку Игоревѣ. М. 1877.

— Замѣтки по поводу сборника Верковича. 1, Къ вопросу о національности Бояна. 2, Отголоски Александріи въ болгаро-русскихъ былинахъ. Журн. мин. просв. 1877, октябрь. О болгарскихъ нар. пѣсняхъ Верковича, — Вѣстн. Евр., 1877 (что сборникъ Верковича, которому г. Миллеръ довѣрялъ, былъ систематической подделкой, это предполагалось съ самаго его появленія; новѣйшія документальныя доказательства даетъ Константинъ Иречекъ, Cesty po Bulharsku, Прага, 1888).

— По поводу Траяна и Бояна Слова о полку Игоревѣ, — Журн. мин. просв. 1878, декабрь.

— Разборы сочиненій Воеводскаго, Этологическія и миѳологическія замѣтки; Томсена, Der Ursprung des russ. Staates; къ вопросу о Словѣ о Полку Игоревѣ, по поводу статей Е. Барсова,—въ „Критическомъ Обозрѣніи", 1879.

— Отголоски финскаго эпоса въ русскомъ, —Журн. мин. просв., ч. CCVI.

— По поводу одного литовскаго преданія, „Древности", т. VIII, 1880.

— Въ горахъ Осетіи. Р. Мысль, 1881, сентябрь.

— Осетинскіе этюды. Три части. М. 1881—87.

— Черты старины въ сказаніяхъ и бытѣ осетинъ. Журн. мин. просв., 1882, августъ.

— Кавказскія преданія о великанахъ, прикованныхъ къ горамъ,—тамъ же, 1883, январь.

— Рецензіи I—IX выпусковъ „Матеріаловъ для изслѣдованія мѣстностей и племенъ Кавказа, въ Журн. мин. просв. 1883—90.

— Русская масляница и западно-европейскій карнавалъ. М. 1884.

— Къ вопросу о славянской азбукѣ,—Журн. мин. просв., 1884, мартъ.

— Въ горскихъ обществахъ Кабарды. (Изъ путешествія Вс. Миллера и М. Ковалевскаго). Вѣстн. Евр. 1884, апрѣль.

— Замѣчанія по вопросу о народности гунновъ, въ „Трудахъ Этногр. Отдѣла" Общ. ест. и пр., кн. VI. 1885.

— Кавказскія легенды,— тамъ же.

— Разборъ книги Фаминцына: „Божества древнихъ славянъ", — въ Журн. мин. просв., 1885, іюнь.

— Сборникъ матеріаловъ по этнографіи, издав. при Дашковскомъ Этногр. Музеѣ (вып. I: Осетинскія сказки). М. 1885.

— Эпиграфическіе слѣды иранства на югѣ Россіи. Журн. мин. просв. 1886, октябрь.

скомъ племени и инородцахъ, о бытѣ до-историческомъ и т. д. Начало этихъ изысканій, новыхъ въ нашей литературѣ, полагалось здѣсь трудами А. П. Богданова, Д. Н. Анучина, Н. Л. Гондатти, Е. А. Покровскаго, А. Н. Харузина, Н. Г. Керцелли [1]) и др.

Обширное собраніе изслѣдованій представляютъ труды этнографическаго отдѣла Общества, какъ напр.: „Сборникъ антропологическихъ и этнографическихъ статей о Россіи и странахъ ей прилежащихъ", 1868; „Народныя пѣсни латышей", Ѳ. Я. Трейланда (Бривземніаксъ), 1873, и его же: „Матеріалы по этнографіи латышскаго племени. Пословицы, загадки, заговоры, врачеваніе и колдовство"; „Сборникъ свѣдѣній для изученія быта крестьянскаго населенія Россіи", 1888; „Русскіе Лопари, очерки прошлаго и современнаго быта", Николая Харузина, 1890, гдѣ собраны существующія въ литературѣ свѣдѣнія о лопаряхъ и результаты личныхъ наблюденій въ теченіе сдѣланной по порученію Общества поѣздки, къ которой относится и книжка В. Х.: „На Сѣверѣ", 1890; и трудъ П. Е. Ефименка

— Систематическое описаніе коллекцій Дашковскаго Этнографическаго Музея. Два выпуска. М. 1887—89.

— Разборъ книги Соколова: „Старорусскіе боги и богини", Журн. мин. просв. 1887, декабрь.

— Археологическія экскурсіи въ Терской области (или 1-й выпускъ „Матеріаловъ по археологіи Кавказа"). М. 1888.

— Археологическія развѣдки въ Алуштѣ и ея окрестностяхъ. „Древности", т. XII, 1889.

— Иранскіе отголоски въ народныхъ сказаніяхъ Кавказа, въ „Этнографическомъ Обозрѣніи", 1889.

— О гр. Уваровѣ и Костомаровѣ,—въ „Трудахъ Этнограф. Отдѣла", кн. VIII.

— Кавказскія сказанія о циклопахъ,— въ „Этнограф. Обозрѣніи", 1890.

— Матеріалы для исторіи былинныхъ сюжетовъ, тамъ же, 1890.

— Рецензія сочиненія г. Анучина: „Сани, ладья и кони, какъ принадлежность похороннаго обряда",—тамъ же, 1890.

— О сарматскомъ богѣ Уатафарнѣ, — въ Трудахъ восточной коммиссіи Моск. Археологич. Общества, т. I, 1890.

[1]) А. П. Богдановъ издалъ: Общія инструкціи для антропологическихъ изслѣдованій и наблюденій Брока́, переводъ и дополненія; Матеріалы для антропологіи курганнаго періода въ Московской губерніи, 1867; Антропологическія таблицы Брока́ съ объяснительною статьею.

— Е. А. Покровскому принадлежатъ книги: „Физическое воспитаніе дѣтей у разныхъ народовъ, преимущественно Россіи", М. 1884, и „Дѣтскія игры, преимущественно русскія, въ связи съ исторіей, этнографіей, педагогіей, и гигіеной". М. 1887.

— А. Н. Харузину принадлежатъ изслѣдованія: Киргизы Букеевской орды (вып. I), 1889; Курганы Букеевской степи, 1890; Древнія могилы Гурзуфа и Гугуша (на южномъ берегу Крыма), 1890.

— Д. Н. Анучину кромѣ многихъ антропологическихъ изслѣдованій принадлежитъ любопытная книга: „Сани, ладья и кони" и пр. въ „Древностяхъ" моск. Арх. Общ. и отдѣльно, 1890 (Ср. „Вѣстн. Евр.", авг. 1890).

о русскомъ населеніи Архангельской губерніи, который упомянемъ далѣе. Наконецъ въ протоколахъ этнографическаго отдѣла и въ приложеніяхъ къ нимъ издано много небольшихъ изслѣдованій по различнымъ сторонамъ народнаго быта и поэзіи, гдѣ находимъ труды А. Л. Дювернуа, Н. А. Попова, Ф. Д. Нефедова, М. М. Ковалевскаго, А. Кельсіева, Н. Л. Гондатти и пр.; о трудахъ В. Ѳ. Миллера, Е. В. Барсова выше упомянуто.

Съ 1889 года этнографическій отдѣлъ предпринялъ изданіе „Этнографическаго Обозрѣнія", подъ редакціею секретаря отдѣла Н. А. Янчука, гдѣ кромѣ множества частныхъ матеріаловъ и изслѣдованій дается весьма обстоятельный библіографическій перечень новѣйшей этнографической литературы.

Обработка исторіи сдѣлала въ новѣйшее время большіе успѣхи въ разносторонности изслѣдованій, въ расширеніи самой ихъ области. Содержаніе исторіографіи выросло и фактически, и теоретически. Новые успѣхи европейской науки, антропологіи и археологіи поставили и у насъ вопросъ о до-историческихъ временахъ, о происхожденіи племени. Труды гр. А. С. Уварова, Иностранцева, Ивановскаго, Самоквасова, Ешевскаго, А. Богданова, И. Е. Забѣлина, Анучина, В. Б. Антоновича, труды Археологическихъ Обществъ и съѣздовъ и Имп. Археологической Коммиссіи, раскопки могилъ, кургановъ и пр., открывали для изслѣдованія множество новаго, прежде очень мало извѣстнаго, или даже не подозрѣваемаго матеріала. Изслѣдованія археологовъ, въ союзѣ съ геологами, находили въ разныхъ мѣстахъ Россіи слѣды каменнаго вѣка, открывали замѣчательные остатки древняго греческаго искусства (раскопки въ Крыму, на Таманскомъ полуостровѣ, въ южной Россіи), находили скиѳскія царскія могилы въ южнорусскихъ курганахъ (какъ Чертомлыцкій, изслѣдованный Забѣлинымъ), слѣды финскихъ древнихъ племенъ, предшествовавшихъ русскому населенію въ средней Россіи (раскопки сѣверныхъ кургановъ, напр. извѣстнаго Ананьинскаго могильника, близъ Елабуги и др.), и т. д.,—однимъ словомъ, полагали начало первому правильному изученію древнѣйшей поры русской земли и народности [1]). Замѣчательный опытъ изъ исторіи древней европейской и также славянской культуры представляетъ извѣстное сочиненіе Гена [2]). Въ послѣднее время обширный трудъ, предпринятый Н. П. Кондаковымъ и гр. И. И. Толстымъ, „Русскія древности", обѣщаетъ дать первый

[1]) Свѣдѣнія объ этихъ изслѣдованіяхъ и главные ихъ результаты см. въ книгѣ П. Полевого: „Очерки русской исторіи въ памятникахъ быта". Спб. 1879—1880.

[2]) „Культурныя растенія и домашнія животныя на ихъ переходѣ изъ Азіи въ Европу". Спб. 1872. Нѣмецкій подлинникъ имѣлъ уже 4-е размноженное изданіе.

общій обзоръ древностей русской территоріи, которыя должны стать первой исторической почвой развитія русскаго племени и народности.

Изученіе собственно историческое представляетъ, какъ мы выше видѣли, огромное размноженіе матеріала, и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжающееся исканіе основныхъ началъ, налагавшихъ печать на историческое развитіе русскаго народа. Прошлому царствованію принадлежитъ главная пора дѣятельности Соловьева; но въ то же время развиваются другія направленія, дополнявшія или исправлявшія его теорію. Исторически чрезвычайно любопытно, что въ то же Николаевское время, когда при всѣхъ стѣсненіяхъ общественной мысли выросталъ живѣйшій интересъ къ народу и ждалось его освобожденіе,—готовилась, съ разныхъ сторонъ, историческая точка зрѣнія, стремившаяся открыть значеніе народной стихіи въ складѣ древней политической жизни и государства, значеніе народнаго бытового преданія, доходящаго до нашихъ дней. Таковы были историческіе труды Константина Аксакова, таковъ былъ и основной смыслъ историческаго взгляда Костомарова: въ дополненіе теоріи Соловьева, К. Аксаковъ настаивалъ на значеніи „земли" рядомъ съ государствомъ,—Костомаровъ выставлялъ участіе областного (федеративнаго) и вѣчевого элемента въ нашей древней исторіи, и много поработавъ въ особенности для исторіи Южной Руси, уравновѣшивалъ московскую исключительность славянофиловъ и чисто государственную точку зрѣнія Соловьева. Далѣе, труды Щапова были отчасти подготовлены тѣми же старыми стремленіями писателей сороковыхъ годовъ, Аксакова и Костомарова, отчасти вдохновлены уже той постановкой народнаго начала, какая выразилась крестьянской реформой. Щаповъ указывалъ роль именно народа въ самомъ распространеніи территоріи, на которой утвердились русская народность и государство, и слѣдилъ въ исторіи многообразныя проявленія того общиннаго, союзнаго, артельнаго духа, въ которомъ видѣлъ коренную отличительную черту русскаго народнаго характера. Параллельно съ этимъ, къ древней исторіи примѣняется мѣстное изученіе (исторія Рязанскаго княжества—Иловайскаго; Новгорода и Пскова—Костомарова. Ив. Бѣляева, Никитскаго; Мери и Ростовскаго княжества — Д. Корсакова; Твери—Борзаковскаго; Поволжья—Перетятковича; Болоховской земли —Дашкевича; земли Сѣверской—Багалѣя; сѣверо-восточныхъ инородцевъ—Ѳирсова, и друг.), и въ особенности изученіе исторіи Малороссіи—въ трудахъ Костомарова, Кулиша, Иванишева, В. Антоновича, Лазаревскаго, И. Новицкаго, Н. Петрова, Дашкевича и мн. др. Бытовая сторона исторической жизни еще съ конца сороковыхъ годовъ была предметомъ изученій г. Забѣлина, который изъ сухого архивнаго матеріала, старыхъ описей и счетныхъ книгъ, извлекалъ

характерныя черты стараго московскаго быта, а въ послѣднее время предпринялъ цѣльный обширный трудъ („Исторія русской жизни", донынѣ два тома), съ цѣлью органическаго объясненія русской исторіи изъ свойствъ природы русской земли и коренныхъ свойствъ народа.

Въ новой исторіографіи всплылъ и старинный вопросъ о норманскомъ началѣ русской исторіи, и вызвалъ сначала своеобразный взглядъ Костомарова (о литовскомъ происхожденіи варяговъ), далѣе тенденціозныя „Разысканія" Иловайскаго (главная мысль которыхъ поддерживается и Забѣлинымъ), опроверженія Погодина и Куника, и въ особенности изслѣдованія Гедеонова, собравшаго множество объяснительнаго матеріала. Вопросъ, однако, остается нерѣшеннымъ. Важнѣе были труды, направленные на объясненіе древнихъ политическихъ и бытовыхъ формъ,—гдѣ должно назвать имена Лешкова, Ив. Бѣляева, Чичерина, Хлѣбникова, Леонтовича, Никитскаго, В. Антоновича, Романовича-Славатинскаго, Владимірскаго-Буданова, Ключевскаго (Боярская дума, 1882), особливо Сергѣевича („Вѣче и князь", 1867; „Лекціи и изслѣдованія", 1883; „Русскія юридическія древности", I, 1890), Загоскина, Е. А. Бѣлова и др.

Размноженіе источниковъ, болѣе глубокія изслѣдованія бытовыя, значительно видоизмѣнили положеніе вопросовъ о характерѣ московскаго періода, о значеніи Петровской реформы и XVIII вѣка—вопросовъ, которые еще до Карамзина и послѣ волновали ученыхъ историковъ и дѣлили ихъ на два враждебные лагеря. Для добросовѣстныхъ изслѣдователей Петровская реформа утратила окончательно тотъ характеръ внезапности, въ какомъ ее обыкновенно изображали прежде и который приводилъ за собою столько безплодныхъ споровъ объ ея народности или ненародности. Восемнадцатый вѣкъ, можно сказать, впервые открылся для изученія въ послѣднія двадцать пять лѣтъ; потребность знать свою исторію была такъ сильна, что устранила, наконецъ, значительную долю цензурныхъ препятствій, которыя до тѣхъ поръ дѣлали изъ собственной исторіи народа и общества канцелярскую тайну. Въ началѣ прошлаго царствованія, одно время, открыта была для ученыхъ и любителей возможность работать въ государственномъ архивѣ, и въ литерарурѣ проглянула исполненная интереса старина. Затѣмъ открылись частные архивы, и въ историческихъ журналахъ полился потокъ старыхъ и новыхъ мемуаровъ, переписки, документовъ, анекдотовъ и т. п.; что́ еще недавно передавалось только изустными преданіями, на средневѣковой манеръ, начинало входить въ исторію. Правда, обществу все еще приходилось узнавать свою исторію слишкомъ далекимъ заднимъ числомъ,— но недавно и того не было, и проникавшее теперь въ литературу

нерѣдко бывало исполнено величайшаго интереса и поучительности. Передъ обществомъ раскрывались впервые подробности великихъ и малыхъ событій, разъяснялись историческіе характеры и пройденный путь внутренняго развитія. Вмѣстѣ съ тѣмъ открывалась во-очію обратная сторона медали: исторія бросила свой свѣтъ на „добрыя старыя времена“ и указала осязательными фактами, сколько было въ нихъ прискорбнаго, зловреднаго для государства и народа, и иногда истинно ужаснаго и оскорбительнаго — каковы были напр. страшныя проявленія крѣпостного права или административнаго произвола, какъ исторія военныхъ поселеній, какъ старые порядки канцеляріи, суда, бурсы, консисторіи и т. д. Въ ряду историческихъ источниковъ впервые сталъ замѣчательный рядъ мемуаровъ, только въ послѣднія десятилѣтія явившихся въ печати,—отъ удивительной автобіографіи ересіарха протопопа Аввакума, или курьезныхъ записокъ священника Петровскихъ временъ Лукьянова, до записокъ архимандрита Фотія, разсказовъ о гр. Аракчеевѣ, собственныхъ записокъ усмирителя польскаго возстанія, гр. Муравьева. Вмѣстѣ съ исторіей двора и верхнихъ классовъ, разъяснилось многое въ судьбѣ народа и народности,—въ исторіи крѣпостного права, духовенства, раскола и т. д.

Чрезвычайное оживленіе изученій произошло и въ исторіи литературы. Опять довольно напомнить главные факты. Никогда прежде не было издано такой массы произведеній и изслѣдованій древней литературы, какъ въ послѣднія десятилѣтія. Въ этомъ періодѣ продолжали дѣйствовать ученые тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ Срезневскій, Бодянскій, Григоровичъ, Горскій, Буслаевъ, митрополитъ Макарій и др., и новые дѣятели, какъ Тихонравовъ, Порфирьевъ, Сухомлиновъ, Костомаровъ, Щаповъ, Е. Барсовъ, Ключевскій (замѣчательное изслѣдованіе русскихъ житій), Барсуковъ, Жмакинъ, Архангельскій, Иконниковъ, Петровъ (кіевскій), и т. д. Въ то же время чрезвычайно развилось изученіе новѣйшей литературы. Передъ тѣмъ завершился трудъ Бѣлинскаго, великая заслуга котораго состояла въ установленіи художественно-историческаго значенія новой литературы, въ критическомъ доказательствѣ и укрѣпленіи литературныхъ идей, внесенныхъ Пушкинымъ и Гоголемъ. Но оставалось еще множество исторической работы надъ другими сторонами литературы, надъ опредѣленіемъ самыхъ ея фактовъ, въ ихъ связи съ многоразличными явленіями общественности и просвѣщенія. Съ конца сороковыхъ годовъ, подъ крайнимъ цензурнымъ гнетомъ того времени, изученія направились, отчасти по неволѣ, на такую разработку фактовъ литературы XVIII и XIX вѣка. Это изученіе, прозванное тогда „библіографическимъ“, иногда слишкомъ тѣсное, обратило однако вниманіе

на массу явленій, которыя оставляла въ сторонѣ эстетическая критика, но которыя были исполнены интереса для внутренней исторіи общества и тѣхъ сложныхъ путей, какими шло его самосознаніе (работы Тихонравова, Галахова, Грота, Ефремова, Сухомлинова, Лонгинова—сжегшаго потомъ изданіе сочиненій Радищева,—Аѳанасьева, Ешевскаго, Пекарскаго, Морозова, Незеленова, библіографовъ—Геннади, Пономарева, Неустроева, Межова и др.). Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилось значеніе и недавняго прошлаго литературы: критикъ „Современника" въ пятидесятыхъ годахъ далъ рядъ замѣчательныхъ статей о Гоголевскомъ періодѣ и дѣятельности Бѣлинскаго, далѣе рядъ статей о Пушкинѣ по поводу выходившаго въ тѣ годы Анненковскаго изданія; позднѣе множество свѣдѣній и матеріала по литературной исторіи приносили историческіе журналы. Литературная старина впервые возстановилась въ живыхъ обильныхъ подробностяхъ; многія произведенія являлись впервые въ печати (сочиненія историка прошлаго столѣтія, кн. Щербатова; записка о древней и новой Россіи, Карамзина; многое изъ произведеній даже первостепенныхъ писателей, не находившее прежде мѣста въ печати по причинамъ цензурнымъ); впервые являются обстоятельныя біографіи (напр. Ѳеофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова, Новикова, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина) и изданія сочиненій; наконецъ воспоминанія писателей, чрезвычайно интересныя для исторіи общества и литературы,—какъ напр., замѣчательныя записки и дневникъ А. В. Никитенка.

Изученія этнографическія приняли въ послѣднія десятилѣтія столь широкое развитіе, что равнаго обилія собраннаго матеріала не можетъ представить ни одна изъ европейскихъ литературъ, кромѣ развѣ нѣмецкой.

Прежде всего бросается въ глаза замѣчательное богатство новаго матеріала по изученію народнаго творчества, старины, современнаго и народнаго быта. Произведенія народной поэзіи, былины, пѣсни, сказки, духовные стихи, народныя картинки, обычаи, преданья, легенды, пословицы, загадки, заговоры; черты бытовыя—обряды, юридическіе обычаи, факты объ общинѣ, артели и т. д. собраны въ такой массѣ, о какой не имѣлъ понятія прежній литературный періодъ. Старшему поколѣнію любителей этнографіи еще памятно теперь то время, когда въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятыхъ годовъ были авторитетными сборники Сахарова, сочиненія Снегирева и т. д. На глазахъ этого поколѣнія совершился громадный ростъ этнографическаго собиранія и изслѣдованія. До пятидесятыхъ годовъ древній эпосъ былъ извѣстенъ только по старому сборнику Кирши Данилова. Въ академическихъ „Извѣстіяхъ" тѣхъ годовъ вмѣстѣ

съ замѣчательными пѣснями Ричарда Джемса, записанными въ Москвѣ въ 1619—20 г., явились первые образчики современной живой былины въ записяхъ свящ. Фаворскаго, С. Гуляева, Цѣвницкаго, Д. Соловьева; затѣмъ новые образчики въ Олонецкихъ губ. Вѣдомостяхъ, а вслѣдъ затѣмъ въ монументальныхъ собраніяхъ Рыбникова, Кирѣевскаго, Гильфердинга. Затѣмъ этнографическіе сборники разрослись до обширной массы, гдѣ въ особенности размножаются сборники мѣстные. Укажемъ изъ этой массы: пѣсни бытовыя, лирическія и пр., собранныя въ книгахъ Шейна (1859), П. Якушкина (1865); въ сборникахъ Варенцова (пѣсни самарскаго края, 1862), А. Савельева (донскія, 1866), Лаговскаго (костромскія, вологодскія, нижегородскія и ярославскія, положенныя на ноты, 1877), Студитскаго (новгородскія, 1874), А. Можаровскаго (казанскія, 1873), В. Магнитскаго (чебоксарскія, 1877), Попова (чердынскія пѣсни) и т. д. Пѣсни сѣверо-западнаго края были собраны въ „Сборникѣ памятниковъ народнаго творчества въ сѣверно-западномъ краѣ“ (1866), въ сборникахъ Безсонова (1871), Шейна (1874), Носовича (1874), Е. Р. Романова (1800), Зинаиды Радченко (1800) и пр. Дѣтскія пѣсни собраны Безсоновымъ (1868). Духовные стихи, послѣ Кирѣевскаго (1848), были собираемы Варенцовымъ (1860) и Безсоновымъ (1861—64). Замѣчательное собраніе „Причитаній“ сѣвернаго края сдѣлано Е. Барсовымъ (1872—82). Собранія сказокъ—Аѳанасьева и Худякова (1861); загадокъ—Садовникова (1876); заговоровъ и заклинаній—Л. Майкова (1869)...

Изученіе Малороссіи, малорусскаго быта и народной поэзіи вызывало столь же ревностные труды. Не вдаваясь въ подробности, отмѣтимъ здѣсь главное: труды кіевскаго отдѣла Географическаго Общества (два тома), сборникъ „Историческихъ пѣсенъ“ В. Антоновича и Драгоманова (1874—1875), „Малороссійскія преданія“ Драгоманова (1876), сборники И. Рудченка (Сказки, 1869—1870; Чумацкія пѣсни, 1874) и въ особенности, монументальные „Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край“, П. П. Чубинскаго (семь большихъ томовъ, 1872—78).

Наряду съ памятниками живого народно-поэтическаго творчества, вниманіе изслѣдователей направилось, особливо съ конца пятидесятыхъ годовъ, на изученіе народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности. Впервые открыта была для изслѣдованія обширная литература старыхъ повѣстей, сказокъ, легендъ, апокрифическихъ сказаній и повѣрій, составлявшихъ поэтическое содержаніе старой литературы. При этомъ нашлись и замѣчательныя произведенія подлинной народной поэзіи, какъ упомянутыя пѣсни Ричарда Джемса, какъ „Повѣсть о Горѣ-злочастіи“, какъ старинныя записи

былинъ; обширная литература старинныхъ повѣстей, приходившихъ изъ западныхъ, южныхъ и отчасти восточныхъ источниковъ, раскрывала неизвѣстныя до того литературныя связи древней русской письменности, доставляла важныя указанія вообще о средневѣковой поэзіи Византіи и европейскаго запада, наконецъ впервые выясняла соотношенія письменной повѣсти и апокрифическаго преданія съ самимъ народнымъ эпосомъ, для котораго здѣсь находились не подозрѣваемыя прежде параллели и источники.

Эта вновь открытая область народно-поэтическаго творчества чрезвычайно оживила изслѣдованія миѳологическія, этнографическія и народно-литературныя. Мы указывали усиленное изученіе народнаго эпоса, съ различныхъ точекъ зрѣнія, въ трудахъ гг. Буслаева, Безсонова, Ор. Миллера, Стасова, Всев. Миллера, Н. Лавровскаго, Квашнина-Самарина, Жданова, Кирпичникова, Потебни, Тихонравова, Александра Веселовскаго, Ягича.

Эти открытія въ области народной поэзіи и старины привлекли на себя вниманіе и въ европейской литературѣ. Нѣмецкіе, англійскіе, французскіе, наконецъ итальянскіе ученые посвятили болѣе или менѣе самостоятельные труды нашимъ народнымъ памятникамъ и нашимъ изслѣдованіямъ. Таковы сочиненія Рольстона, Рамбо, Волльнера, Р. Г. Вестфаля (о русской народной поэзіи) Л. Леже (о миѳологіи, старой русской литературѣ) и друг.

Изслѣдованія собственно народнаго быта тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ крестьянской реформой, въ которой коренится ихъ широкое развитіе.

Освобожденіе крестьянъ составило предметъ цѣлой обширной литературы. Работы оффиціальныя собраны были въ обширныхъ матеріалахъ редакціонныхъ коммиссій и въ изданіяхъ губернскихъ комитетовъ; съ другой стороны, оживленная дѣятельность поднялась въ обществѣ и литературѣ тотчасъ, какъ только вопросъ былъ поставленъ властью и разрѣшено было его литературное обсужденіе. Журналы наполнились статьями о разныхъ сторонахъ крестьянскаго вопроса: о землѣ, общинѣ, хозяйствѣ, школѣ и т. д.; основалось нѣсколько новыхъ изданій, посвященныхъ жгучему вопросу (Журналъ землевладѣльцевъ, Сельское благоустройство, Экономическія записки, Политико-экономическій указатель, Вѣстникъ мировыхъ учрежденій, Мировой посредникъ и др.). Среди споровъ, иногда ожесточенной полемики, гдѣ противъ стремленій къ народному и государственному благу боролось раздраженное своекорыстіе, выяснялась все больше самая сущность дѣла, впервые ставшаго тогда предметомъ литературнаго изученія и объясненія. Вопросъ о „народѣ“ становился реальнымъ, осязательнымъ, необходимымъ.

Впервые возникло историческое изученіе крестьянскаго вопроса: начала крѣпостного права, его утвержденія и распространенія, его экономическихъ и общественныхъ проявленій, наконецъ, первыхъ правительственныхъ плановъ къ его ограниченію и т. д. Кромѣ множества частныхъ изслѣдованій, являлись общіе обзоры—въ трудахъ Б. Н. Чичерина („Несвободныя состоянія въ древней Россіи", 1856); К. П. Побѣдоносцева (статьи по исторіи крѣпостного права, 1858, 1861); Ив. Д. Бѣляева („Крестьяне на Руси", въ Р. Бесѣдѣ 1859, и отдѣльно, 1860); Погодина и Костомарова (полемика о томъ, должно ли считать Бориса Годунова основателемъ крѣпостного права, 1858—59); Вешнякова (о разныхъ видахъ крестьянства, 1857—59); Романовича-Славатинскаго (Дворянство въ Россіи, 1870); В. Семевскаго (Крестьяне въ царствованіе имп. Екатерины II, 1881; Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка, 2 т., Спб. 1888); кн. Черкасскаго (въ Р. Архивѣ, 1882). По исторіи малорусскаго и юго-западнаго крестьянства—въ трудахъ А. М. Лазаревскаго (Малороссійскіе посполитые крестьяне, въ Зап. черниг. стат. комитета, 1866; обозрѣніе Румянцовской описи Малороссіи, 2 вып. 1866—67; 3-й вып. изданъ Константиновичемъ), Леонтовича (Крестьяне юго-зап. Россіи по литовскому праву XV и XVI столѣтія, 1863), В. Б. Антоновича (въ Архивѣ юго-зап. Россіи, ч. VI, II, 1870, введеніе), Ив. Новицкаго (Очеркъ исторіи крестьянскаго сословія юго-зап. Россіи въ XV—XVIII в., 1876, въ томъ же Архивѣ, ч. VI, I). По новѣйшей исторіи вопроса—въ „Матеріалахъ для исторіи крѣп. права въ Россіи. Извлеченія изъ секретныхъ отчетовъ министерства внутреннихъ дѣлъ за 1836—56 г." (изд. въ Берлинѣ), и т. д. Наканунѣ освобожденія Тройницкій издалъ любопытныя статистическія изслѣдованія „о числѣ крѣпостныхъ людей въ Россіи" (Ж. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1858), и затѣмъ новое изслѣдованіе: „Крѣпостное населеніе въ Россіи по 10-й народной переписи" (Спб. 1861).

Исторія самаго освобожденія изложена была, во всей подробности оффиціальнаго хода работъ, въ извѣстномъ трудѣ А. И. Скребицкаго („Крестьянское дѣло въ царствованіе имп. Александра II". Пять компактныхъ томовъ. Боннъ, 1862—68), въ „Матеріалахъ для исторіи упраздненія крѣпостного состоянія помѣщичьихъ крестьянъ въ Россіи въ царствованіе имп. Александра II" (три томика. Берлинъ, 1860—61), въ книгѣ г. Иванюкова (Роль правительства, дворянства и литературы въ крестьянской реформѣ, 1882), Энгельмана (1880—81) и др. Въ послѣднее время стали являться біографическіе матеріалы и воспоминанія объ этой эпохѣ, какъ напр., записки сенатора Я. Соловьева, и друг. [1]).

[1]) При самомъ началѣ дѣла вышелъ любопытный библіографическій трудъ: Sy-

Разрѣшеніе крестьянскаго вопроса Положеніями 19 февраля 1861 года такъ близко захватывало не только интересы двухъ сословій,—изъ которыхъ одно составляло десятки милліоновъ народа, другое было вліятельнѣйшимъ и образованнѣйшимъ классомъ, — но черезъ нихъ и всей массы государства и общества, что вліяніе этого факта чувствовалось на каждомъ шагу. Послѣдовавшія реформы, судебная и земская, наконецъ, реформа въ области военной, еще разъ подняли вопросъ о народѣ въ общественномъ сознаніи, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ раздвигались и рамки печати, понятно, что литература была надолго поглощена разъясненіемъ историческихъ фактовъ и современныхъ отношеній, и безконечной полемикой, гдѣ уже вскорѣ пришлось защищать реформы отъ реакціонеровъ, которые стали брать верхъ уже вскорѣ послѣ 19 февраля. Бывали времена, когда самая защита реформъ, составившихъ славу царствованія, становилась дѣломъ не безопаснымъ. Въ концѣ концовъ, реформы остались недовершенными, ихъ первоначальный объемъ стѣсненъ [1],—но начатыя изученія продолжались, и литература, спеціально посвященная народному быту, его формамъ и современному состоянію, продолжала рости до послѣдняго времени. Эта литература касалась всѣхъ общественныхъ и экономическихъ сторонъ крестьянскаго быта и представила огромную массу свѣдѣній, въ которой изслѣдователи едва начинаютъ оріентироваться, сводить итоги и общія заключенія.

Таковъ былъ прежде всего вопросъ о поземельной собственности, съ которымъ связаны и сплетены множество отношеній народнаго

---

stematisches Verzeichniss von Bücher, Zeitschriften, zerstreuten Abhandlungen und einzelnen Aufsätzen, betreffend die Literatur und Geschichte der Privatunterthansverhältnisse von der ältesten bis auf die neueste Zeit, so wie ihrer Aufhebung in den verschiedenen Ländern Europa's, von Dr. F. L. Boesigk. Als Manuscript gedruckt. Dresden, 1857.—Позднѣе, г. Межовъ составилъ библіографическую книгу: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи. Полное собраніе (т.-е. вѣрнѣе, указаніе) матеріаловъ для исторіи крестьянскаго вопроса на языкахъ русскомъ и иностранныхъ, напечатанныхъ въ Россіи и за границею 1764—1864". Спб. 1865; больш. 8°. 421 стр., 2800 нумеровъ русскихъ и 505 иностранныхъ, — и впослѣдствіи продолженіе этого труда: „Земскій и крестьянскій вопросы. Библіографическій указатель книгъ и статей, вышедшихъ: по первому вопросу, съ самаго начала введенія въ дѣйствіе земскихъ учрежденій и ранѣе, по второму—съ 1865 вплоть до 1871". Спб. 1873.—Академія наукъ поставила въ концѣ пятидесятыхъ годовъ задачу: „Историческія и статистическія изслѣдованія объ освобожденіи крестьянъ въ государствахъ западной Европы". Премированнымъ, въ 1860 г., сочиненіемъ была изданная потомъ книга: Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des XIX Jahrh. Von Samuel Sugenheim. Спб. 1861.

[1]) Это много разъ указывалось въ публицистикѣ; такова, между прочимъ, книга А. А. Головачова: „Десять лѣтъ реформъ. 1861—1871". Спб. 1872.

быта, экономическаго, гражданскаго, нравственнаго. При самомъ началѣ реформы, еще шли споры, должно ли освобождать крестьянъ съ землей или безъ земли; реформа упразднила эти споры, крестьянство было снабжено землей, но уже вскорѣ возникли другіе вопросы: достаточны ли крестьянскіе надѣлы, какъ пользуются крестьяне землей, гдѣ источникъ упадка крестьянскаго хозяйства, который началъ обнаруживаться несомнѣнно, какъ помочь этому хозяйству, какъ организовать переселенія и т. д. По этимъ вопросамъ доставляла много указаній упомянутая прежде статистическая литература, правительственная и земская. Въ послѣдніе годы предприняты были по этому предмету новыя работы, оффиціальныя и частныя, старавшіяся опредѣлить вопросъ въ цѣломъ его объемѣ. Таковы были: „Докладъ высочайше утвержденной коммиссіи для изслѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства и сельской производительности въ Россіи“ (Спб. 1873, и четыре тома приложеній, f⁰), и позднѣе „Матеріалы для изученія современнаго положенія землевладѣнія и сельско-хозяйственной промышленности въ Россіи“, собранные по распоряженію министра государств. имуществъ (Спб. 1880). Труды коммиссіи, дѣйствовавшей подъ предсѣдательствомъ министра государственныхъ имуществъ, по подробной программѣ, дали новый поводъ къ изученію вопроса, который въ то же время (и до сихъ поръ) разработывался, обыкновенно съ замѣчательнымъ вниманіемъ и точностью, въ земской статистикѣ. Другой важной оффиціальной работой послѣдняго времени была „Статистика поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ Европейской Россіи“, изданная Центральнымъ статистическихъ комитетомъ и составленная по даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями министерства внутреннихъ дѣлъ (вып. 1-й: губерніи центральной земледѣльческой области; вып. 2-й: губерніи московской промышленной области; вып. 3-й: губерніи литовской и бѣлорусской группъ. Спб. 1880—82. 4⁰). Въ то же время шла усиленная ученая и публицистическая разработка различныхъ сторонъ предмета, въ трудахъ земскихъ и частныхъ. Назовемъ изъ послѣднихъ въ особенности сочиненія кн. Васильчикова (Землевладѣніе и земледѣліе, 1876; 2-е изд. 1882; Сельскій бытъ и сельское хозяйство въ Россіи, 1881), Э. Янсона (Опытъ статистическаго изслѣдованія о крестьянскихъ надѣлахъ и платежахъ, 2-е изд. 1881, и Сравнительная статистика Россіи и зап. европ. государствъ, 1878 — 80). Обширная масса трудовъ появилась по множеству частныхъ сторонъ экономическаго народнаго вопроса — о землѣ, о крестьянскихъ платежахъ, поземельномъ кредитѣ, объ оцѣнкѣ земельныхъ угодій, объ отхожихъ промыслахъ, о кустарной промышленности, о переселеніяхъ и т. д.

Отмѣтимъ, напр., книгу г. Энгельгардта („Изъ деревни", 1883), А. Яковлева (Очеркъ народнаго кредита въ зап. Европѣ и Россіи, 1869), Колюпанова и Лугинина (Практическое руководство къ учрежденію сельскихъ ремесленныхъ банковъ, 1869), кн. Васильчикова (Мелкій земельный кредитъ въ Россіи, 1876), Н. Ерошевскаго (Къ вопросу о позем. кредитѣ, 1881), Ходскаго (Поземельный кредитъ въ Россіи, 1882), литературу по учрежденному недавно поземельному крестьянскому банку, и т. д.

Съ освобожденіемъ крестьянъ должны были установиться новыя формы внутренняго сельскаго распорядка, управленія и суда. Въ замѣну прежней помѣщичьей власти, судебная реформа установила новый судъ; земская реформа ввела новыя отношенія по управленію и сборамъ. Передъ самой властью и обществомъ сталъ первостепенный вопросъ о томъ, какъ вообще сложатся эти новыя формы быта, и въ сознаніи явилась необходимость, практическая, историческая и нравственно-общественная, сообразоваться съ воззрѣніями, желаніями и пользами самой народной массы. На первомъ планѣ сталъ вопросъ объ общинѣ. Онъ сдѣлался предметомъ оживленной литературной разработки еще въ то время, когда рѣзко стояли одна противъ другой „партіи" западная и славянофильская; но вопросъ объ общинѣ первый спуталъ эти клички. „Община", которая, по славянофильскому понятію, представляла одно изъ главнѣйшихъ отличій русской народной жизни, непримиримыхъ съ жизнью западной, нашла въ такъ-называемомъ западномъ лагерѣ сторонниковъ, въ сущности болѣе ревностныхъ и (какъ позднѣе оказалось) болѣе искреннихъ, чѣмъ въ лагерѣ восточномъ. Герценъ, еще въ пятидесятыхъ годахъ, въ „Письмѣ къ Мишле", указывалъ великое превосходство русскаго общиннаго начала и даже предсказывалъ ему великую роль въ будущемъ, гдѣ оно послужитъ культурнымъ вкладомъ русскаго народа въ цивилизацію самой западной Европы... Теперь мнѣнія объ этомъ предметѣ распредѣлились иначе, по другимъ общественнымъ группамъ и на основаніи практическихъ соображеній, получившихъ, однако, и теоретическую подкладку.

Первое вниманіе, правительственное и литературное, направилось на общину еще съ Екатерининскаго вѣка, когда въ общественномъ мнѣніи возникало вообще не мало важныхъ внутреннихъ вопросовъ (таковы, напр., замѣчанія Болтина, 1788, и др.), — къ сожалѣнію, заглушенныхъ наступившими еще при Екатеринѣ и надолго утвердившимися потомъ реакціонными нравами. Къ нашему времени, вопросъ объ общинѣ былъ напомянутъ въ извѣстной книгѣ Гакстгаузена, и какъ только, въ началѣ прошлаго царствованія, литература получила нѣкоторую свободу дѣйствія, она посвятила тотчасъ и по-

свящаетъ донынѣ усиленные труды разъясненію этого первостепенной важности предмета. Для тѣхъ, кто хотѣлъ бы обозрѣть весь объемъ этой литературы за прошлое царствованіе, укажемъ библіографическій трудъ П. Соколовскаго [1]), и здѣсь назовемъ лишь нѣсколько главныхъ фактовъ.

Какъ замѣчено, въ вопросѣ объ общинѣ смѣшалось прежнее различіе литературныхъ лагерей: главнѣйшіе представители ихъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, „Русская Бесѣда" и „Современникъ", были одинаковыми партизанами общиннаго начала, съ тою разницею, что первая продолжала примѣшивать къ вопросу мотивы національно-мистическіе, второй ставилъ вопросъ съ болѣе простой, реально-экономической и общественно-нравственной точки зрѣнія [2]). Несогласія относительно значенія общины возникли съ другой стороны, а именно, защитниками ея явились люди, ставившіе на первомъ планѣ интересы крестьянскаго быта, желавшіе сохраненія и развитія формъ, не только выработанныхъ народомъ и ему близкихъ, но и представляющихъ лучшее обезпеченіе противъ обезземеленія, батрачества и пролетаріата, наконецъ, желавшіе развитія начала самоуправленія и самодѣятельности; противниками общины выступили скрытые, а потомъ и явные противники самаго освобожденія, заботившіеся гораздо больше объ интересахъ крупнаго землевладѣнія, защищавшіе личную крестьянскую собственность—въ лучшемъ случаѣ, въ интересахъ сельскаго хозяйства, успѣхи котораго полагались невозможными при общинномъ владѣніи землей, а въ худшемъ случаѣ, защищавшіе личную крестьянскую собственность въ ожиданіи ея упадка, появленія батрачества и удешевленія рабочей силы; приверженцы административной регламентаціи, мечтавшіе о нѣкоторомъ возстановленіи старыхъ порядковъ посредствомъ патримоніальной полиціи. Этотъ послѣдній лагерь (представителемъ котораго была особенно газета „Вѣсть") пользовался весьма разнообразными аргументами въ защиту своего взгляда — и лестью старымъ консервативнымъ наклонностямъ извѣстныхъ сферъ, и клеветами на „сенъ-симонистовъ" (такъ, между прочимъ, эта партія трактовала славянофиловъ) и рядомъ ссылками на „либеральное" ученіе старой поли-

---

[1]) Указатель книгъ и статей о сельской поземельной общинѣ, въ „Сборникѣ матеріаловъ для изученія сельской позем. общины". Изданіе Имп. Вольнаго Экономическаго и Р. Географическаго Общества, подъ редакціей Ѳ. Л. Барыкова, А. В. Половцова и П. А. Соколовскаго. Т. I. Спб. 1880. Прилож., стр. 1—48, и отдѣльно.

[2]) Статьи Ю. Самарина—въ Р. Бесѣдѣ 1857, и Сельскомъ Благоустройствѣ, 1858; Хомякова, 1857; Кошелева, въ Сел. Благ. 1858. Статьи въ „Современникѣ": О поземельной собственности, 1857, № 9, 11; Отвѣтъ на замѣчанія провинціала, 1858, № 3; Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія, 1858, № 12; Суевѣріе и правила логики, 1859, № 10, и др.

тической экономіи о laisser-faire, и даже на патріархальныя добродѣтели народа, жаждущаго всюду начальственной опеки, и т. д. Теоретическія основанія въ пользу общиннаго землевладѣнія были съ самаго начала даны и защищаемы въ особенности въ „Р. Бесѣдѣ“ и „Современникѣ“; съ тѣхъ поръ вопросъ вызвалъ множество историческихъ и мѣстныхъ изысканій, развивающихся особенно съ 1870-хъ годовъ. Изъ большого ряда сочиненій обоего рода, историческихъ и описательныхъ, укажемъ только главные труды, напр. Чичерина, и по его поводу, Бѣляева и Соловьева (съ 1856, и „Историческія письма“, 1859); Лешкова (Общинный бытъ древней Россіи, 1856; ст. въ Юридич. Вѣстникѣ, 1867); Иванишева (О древнихъ сельскихъ общинахъ въ юго-западной Россіи, въ „Р. Бесѣдѣ“, 1857); Кавелина (въ „Атенеѣ“, 1859; „Общинное владѣніе“, въ „Недѣлѣ“, 1876; въ „Вѣстн. Европы“, 1877); Ѳ. Уманца (Сельская община въ Россіи, „Отеч. Зап.“, 1863, № 10); Гильфердинга (въ „Днѣ“, 1865); Клауса („Вѣстн. Евр.“, 1870); А. Градовскаго (Русская община, въ книгѣ: „Политика, Исторія, Администрація“, 1871); Леонтовича (Задружно-общинный характеръ политическаго быта древней Россіи, въ „Журн. мин. просв.“, 1874); Лалоша (О сельской общинѣ въ олонецкой губ., въ „Отеч. Зап.“, 1874); А. Кошелева (Объ общинномъ землевладѣніи, Берлинъ, 1875,—разборъ мнѣнія объ общинѣ оффиціальной коммиссіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства); А. Посникова (Общинное землевладѣніе, два выпуска, Ярославль и Одесса, 1875—77); П. А. Соколовскаго (Очеркъ исторіи сельской общины на сѣверѣ Россіи, 1877; Экономическій бытъ сельскаго населенія Россіи и колонизація юго-восточныхъ степей предъ крѣпостнымъ правомъ, 1878); Куплеваскаго (Состояніе сельской общины въ XVII в., 1877); А. Головачова (1877, въ „Отеч. Зап.“); В. Трирогова (1878, Экономическіе опыты, и собраніе статей, подъ заглавіемъ: „Община и подать“, 1882); В. Чаславскаго (1878, въ „Отеч. Зап.“); В. Орлова (Формы крест. землевладѣнія въ моск. губерніи, 1879); Кейслера (Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland, 1876—83); С. Капустина (Формы землевладѣнія у русскаго народа въ зависимости отъ природы, климата и этнографическихъ особенностей, въ „Трудахъ В. Экономич. Общ.“ и отдѣльно, Спб., 1877; Что такое поземельная община, 1882).

Кромѣ исчисленнаго, появилось множество небольшихъ, болѣе или менѣе авторитетныхъ, критическихъ и фактическихъ статей по поводу литературы предмета и о различныхъ мѣстныхъ формахъ и условіяхъ общиннаго землевладѣнія, напр., статьи Чубинскаго, П. и А. Ефименко, Аристова, Щапова, Воропонова, Гордѣенка, Флеровскаго, Деммерта, Каблукова, Щербины, Котелянскаго и проч.

Наконецъ, предпринимаются систематическія работы для изслѣдованія предмета. Въ 1877—78 г., одновременно и независимо одинъ отъ другого сдѣланы были два доклада—С. Я. Капустина въ Геогр. Обществѣ, и А. В. Половцова въ Вольномъ Экономическомъ: оба указывали на то, что, несмотря на обиліе написаннаго объ общинѣ, собственно фактическая сторона вопроса изслѣдована далеко недостаточно. Въ обоихъ Обществахъ поднятый вопросъ былъ встрѣченъ съ большимъ интересомъ; въ обоихъ коммиссіи изъ спеціалистовъ составили программы для собиранія свѣдѣній (1878), и когда вскорѣ потребовалось новое изданіе программы В. Экономическаго Общества, оно сдѣлало изданіе вмѣстѣ съ Географическимъ, и полученные отвѣты начало издавать, опять совмѣстно съ послѣднимъ, въ „Сборникѣ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины", первый томъ котораго вышелъ въ 1880 [1]).

Немногіе предметы въ изученіяхъ народности привлекали такое усиленное вліяніе какъ именно община,—какъ того и слѣдовало ожидать по важности вопроса. И въ разработкѣ его, которую мы ука-

[1]) Мысль о необходимости систематическаго собиранія и изслѣдованія фактовъ о поземельной общинѣ была, наконецъ, такъ естественна и настоятельна, что къ ней одновременно пришли нѣсколько изслѣдователей — какъ гг. Барыковъ, Ефименко, Е. Якушкинъ, Посниковъ (см. Капустина, Формы землевладѣнія, стр. 91—92). Были выработаны и изданы нѣсколько программъ, обозрѣніе которыхъ интересно тѣмъ, что по нимъ, какъ по конспектамъ, можно слѣдить за установленіемъ въ наукѣ самаго вопроса: онѣ дѣлаются все точнѣе и специфичнѣе по мѣрѣ того, какъ изслѣдованія опредѣляютъ матеріалъ предмета и ставятъ вопросъ о новыхъ его сторонахъ и подробностяхъ. Напримѣръ:

— Программа Ярославскаго статистическаго комитета, или программа Посникова (см. Общинное землевладѣніе. Одесса, 1877, вып. 2).

— Программа для собиранія свѣдѣній объ общинномъ землевладѣніи. Составилъ П. Ефименко. Спб. 1878 (см. журналъ „Слово" 1878, № 6).

— Опытъ программы для изслѣдованія поземельной общины, составленный коммиссіей при Имп. Русск. Геогр. Обществѣ (въ Извѣстіяхъ Геогр. Общ. 1878, въ „Отеч. Зап." и „Вѣстникѣ Евр." 1878).

— Программа для собиранія свѣдѣній о сельской поземельной общинѣ. Выработана III отдѣленіемъ Имп. В. Экон. Общества,—въ „Трудахъ" Общества, и отдѣльно, Спб. 1878, и 2-е изданіе:

— Программа..., выраб. III отдѣленіемъ Имп. В. Экон. Общ. и принятая Имп. Р. Геогр. Обществомъ. Второе, исправленное и дополненное изданіе. Спб. 1879.

(По поводу программъ Геогр. и Экон. Общества и Ефименко, см. ст. Половцова: Первые шаги на пути фактическаго изслѣдованія сельской общины,—въ „Трудахъ" В. Экон. Общ. Спб. 1879).

— Проектъ программы изслѣдованія русской земельной общины, В. Трирогова, въ „Отеч. Зап." 1879, № 8, стр. 235—254.

— Программа изслѣдованія сельской общины въ Сибири. Составлена при западно-сибирскомъ отдѣлѣ Имп. Р. Геогр. Общества (Н. М. Ядринцевымъ). Омскъ, 1879.—Здѣсь во введеніи указана предыдущая литература о сибирской общинѣ.

зали сейчасъ рядомъ именъ и сочиненій, достигнутъ былъ несомнѣнный успѣхъ. Съ первыхъ слуховъ объ освобожденіи крестьянъ, съ первой возможности говорить о дѣлѣ, на немъ сосредоточились и часто совершенно сходились труды людей самыхъ несходныхъ направленій. Началось съ разъясненія главной основы общиннаго землевладѣнія, съ теоретической защиты самаго принципа, когда еще устанавливались общія основанія самой крестьянской реформы, и съ отдѣльныхъ историческихъ трудовъ, которые на первыхъ порахъ хотѣли служить (съ разныхъ точекъ зрѣнія) и этой теоретической цѣли. Далѣе, когда при освобожденіи существованіе общины было утверждено, сторонникамъ ея пришлось защищать ее отъ нападеній тѣхъ противниковъ, о которыхъ мы выше упоминали. Наконецъ, историческое изученіе стремится выяснить источники общиннаго начала и его проявленія въ прошедшей исторической жизни народа, а на практикѣ, въ виду его реальныхъ примѣненій въ современномъ быту, явилась потребность въ точномъ опредѣленіи тѣхъ формъ, въ которыхъ община существуетъ въ дѣйствительности. Оказалось необходимымъ подробное мѣстное изученіе, на которое и обратились ревностные труды частныхъ изслѣдователей, земствъ и статистическихъ комитетовъ. Дѣйствительность указала чрезвычайную сложность общиннаго владѣнія, въ связи съ многоразличными мѣстными условіями климата, почвы, народности, промысловъ, обычая, и проч. И конечно, только преодолѣвъ это разнообразіе формъ, наука и за нею практика (если захочетъ пользоваться выводами науки) могутъ дойти до сознательнаго пониманія вопроса и разумнаго опредѣленія его въ современномъ бытѣ народа.

Среди разработки крестьянскаго дѣла, въ связи съ общиной и новымъ судомъ, возникъ вообще вопросъ о бытовомъ и юридическомъ обычаѣ.

Народный обычай въ обширномъ смыслѣ издавна привлекалъ вниманіе ученыхъ наблюдателей народной жизни и историковъ. Литературный матеріалъ, сюда относящійся, обиленъ уже въ XVIII столѣтіи. При возникновеніи научной этнографіи, большое вниманіе привлекъ и народный обычай, на первый разъ для цѣлей археологіи и исторіи быта. Нынѣшнія изученія имѣли другой исходный пунктъ, а именно практически-бытовой, юридическій: какъ при началѣ реформы возникъ вопросъ о сохраненіи общины, такъ заговорили и о сохраненіи народнаго юридическаго обычая,—это была бытовая форма, привычная народу, которая могла заключать въ себѣ здравые результаты долгаго практическаго опыта народной жизни, и при ближайшемъ изслѣдованіи дѣйствительно оказала не мало замѣчательныхъ особенностей, способныхъ къ развитію и полезному примѣненію.

Изслѣдованіе народнаго юридическаго обычая составило уже теперь значительную литературу. Обзоръ ея слѣланъ въ замѣчательномъ трудѣ г. Якушкина („Обычное право. Вып. 1. Матеріалы для библіографіи обычнаго права". Ярославль, 1875), гдѣ она указана по систематическому плану. Первые критическіе труды по объясненію обычнаго права принадлежатъ школѣ сороковыхъ годовъ; съ точки зрѣнія древностей и символики права, коснулся его Калмыковъ въ своей книгѣ 1839 (О символизмѣ права вообще и русскаго въ особенности), съ историческо-бытовой — Кавелинъ (въ разборѣ книги Терещенка, 1848, какъ и вообще его историческій взглядъ на развитіе государства утверждался на народныхъ юридическихъ идеяхъ и развитіи родовыхъ формъ быта), впослѣдствіи, съ практическо-бытовой—Калачовъ и другіе. Изученіе предмета было въ особенности подвинуто Географическимъ Обществомъ: этнографическое отдѣленіе его еще въ первой общей программѣ своей, 1847 года, обратило вниманіе на юридическій бытъ народа, особенно въ этнографическихъ цѣляхъ; въ 1864 году имъ издана была спеціальная программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ. Съ конца пятидесятыхъ годовъ, это изученіе стало жизненнымъ интересомъ народовѣдѣнія: народный обычай представлялся какъ фактъ, который долженъ былъ быть принятъ во вниманіе при новомъ устройствѣ народнаго быта, затѣмъ какъ важный предметъ культурно-историческаго изученія, и, наконецъ — для многихъ, какъ выраженіе народнаго духа, которое мы вообще должны изучать, чтобы найти истинныя основы русской національной жизни. Эта послѣдняя точка зрѣнія, съ большой долей національнаго мистицизма, проповѣдовалась особливо въ той новѣйшей варіаціи славянофильства, которую стали называть „народничествомъ". Такъ какъ прежде всего, и для цѣлей научныхъ и практическихъ, требуется привести въ извѣстность самые факты, то главная масса нынѣшнихъ работъ по обычному праву есть описательная. Въ этнографическомъ отдѣленіи Геогр. Общества въ 1876 образовалась коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Н. В. Калачова, которая, съ цѣлью дать изученіямъ цѣльность и систему, выработала и напечатала программу собиранія юридическихъ обычаевъ и въ 1878 издала цѣлый „Сборникъ нар. юридическихъ обычаевъ" (т. I, подъ редакціей Матвѣева, Спб. 1878, или 8-й томъ „Записокъ по отдѣленію этнографіи"). Не исчисляя фактовъ этой литературы, упомянемъ въ особенности статьи и книги Кавелина, Аѳанасьева, Калачова (статьи въ „Архивѣ", 1859; „Объ отношеніи юридическихъ обычаевъ къ законодательству", рѣчь на московскомъ съѣздѣ русскихъ юристовъ, 1875, въ „Запискахъ по отд. этнографіи", т. VIII, 1878), Муллова, Чубинскаго (статьи о нар. юридическихъ обычаяхъ

въ Малороссіи, въ Запискахъ по отд. этнографіи, т. II, 1869; въ Трудахъ Экспедиціи въ юго-западный край, т. VI, 1872), Кривошапкина (Енисейскій округъ и его жизнь, 1865), П. Мельникова, П. Небольсина, С. Максимова (Годъ на сѣверѣ, 3-е изд. 1871), П. Матвѣева, И. Фойницкаго, Гр. Потанина („Никольскій уѣздъ и его жители", въ Древней и Новой Россіи, 1876, № 10), многочисленные труды А. и П. С. Ефименко („Народные юридическіе обычаи Архангельской губерніи", 1869; „Приданое по обычному праву крестьянъ Архангельской губерніи", 1873; „Юридическіе знаки" въ Журн. минист. просв. 1874; „Договоръ найма пастуховъ", 1878, и т. д.), кн. Кострова („Юридическіе обычаи крестьянъ-старожиловъ Томской губ.", 1879), А. Смирнова („Очерки семейныхъ отношеній по обычному праву русскаго народа", вып. 1, 1878), Оршанскаго („Изслѣдованія по русскому праву, обычному и брачному", 1879), С. Пахмана („Обычное гражданское право въ Россіи", 2 тома, 1878—79) В. Сергѣевича (Опыты изслѣдованія обычнаго права, въ „Наблюдателѣ", 1882, № 1—2) и др. Изслѣдованія по обычному праву нашихъ инородцевъ—въ сочиненіяхъ Кривошапкина, Ефименко, Самоквасова (Сборникъ обычнаго права сибирскихъ инородцевъ, 1876), кн. Кострова и проч. Относительно Сибири много важныхъ свѣдѣній —въ книгѣ Ядринцева: „Сибирь какъ колонія", 1882 [1]).

---

[1]) Какъ мы упомянули, программа по обычному праву издана была Географическимъ Обществомъ еще въ 1864 г. Вообще, въ послѣдніе годы были напечатаны слѣдующія программы:

— Проектъ программы обычнаго права. П. Муллова. Вѣкъ, 1862, № 15—16.

— Программа по обычному праву южно-русскаго народа (Стоянова). Кіевскія губ. Вѣд. 1863.

— Программа обычнаго права. Арханг. губ. Вѣд. 1864, 1866.

— Программа для собиранія нар. юридическихъ обычаевъ (Геогр. Общ.). Этнографическій Сборникъ, Спб. 1864. (Была перепечатана во многихъ губ. вѣдомостяхъ 1867—68 г.).

— Программа, касающаяся бурятъ и „степныхъ законовъ". Иркутск. губ. Вѣд. 1864.

— (Программа Ефименко, въ описаніи народныхъ юридич. обычаевъ Арханг. губ. 1869).

— (У Якушкина, подъ № 1430, указана программа П. А. Матвѣева, 1872; но это—таже старая программа Геогр. Общества, 1864 г. См. Спб. Вѣд. 1873, № 199).

— Программа для собиранія и изученія юридич. обычаевъ и народныхъ воззрѣній по уголовному праву, съ предисловіемъ о методѣ собиранія матеріаловъ по обычному праву. А. Ѳ. Кистяковскаго. 1874.

— Тоже, новое изданіе съ краткимъ обзоромъ новѣйшей литературы предмета. Кіевъ, 1878.

Относительно общихъ вопросовъ обычнаго права см. въ учебникахъ: Владимірскій-Будановъ, Обзоръ исторіи русскаго права, изданіе 2-е съ дополненіями, Кіевъ,

Особый рядъ изысканій посвященъ былъ русской артели. Значительный матеріалъ собранъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ спеціальномъ „Сборникѣ“ 1873 г. [1]), въ недавнихъ трудахъ А. Исаева: „Артели въ Россіи“ (Ярославль, 1881), Ѳ. Щербины: „Сольвычегодская земельная община“ (въ Отеч. Зап. 1879, № 7—8) и „Очерки южно-русскихъ артелей и общинно-артельныхъ формъ“ (Одесса, 1880).

Еще однимъ изъ предметовъ обычнаго права, важность котораго выступила настоятельно при переустройствѣ крестьянскаго быта, былъ судъ. Съ уничтоженіемъ помѣщичьей власти, судъ надо было организовать вновь, и практическій смыслъ указывалъ необходимость въ первоначальной инстанціи этого суда сохранить привычныя формы стараго сельскаго быта. Отсюда учрежденіе волостного суда, и начало изученія этого вопроса въ литературѣ. Въ изслѣдованіяхъ по обычному праву, сейчасъ указанныхъ, много мѣста занимаютъ судебные обычаи и понятія народа. Уже вскорѣ для новаго учрежденія наступила провѣрка опыта. Правительственная власть нашла нужнымъ произвести изслѣдованіе дѣйствій волостныхъ судовъ,—результатомъ котораго были извѣстные „Труды коммиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ“ (семь томовъ, 1873—74). Въ „Трудахъ“

1888; Н. Коркуновъ, Лекціи по общей теоріи права. Изд. 2-е. Спб. 1890, стр. 266—272; В. Сергѣевичъ, Исторія русскаго права. Лекціи. Спб. 1888, стр. 6—21, и др.

— Программа для собиранія нар. юридическихъ обычаевъ, В. Майнова. Знаніе, 1875, № 4.

(Кистяковскій и Майновъ руководились вышедшей передъ тѣмъ программой по южно-славянскому народному праву, проф. Богишича).

— Программа для собиранія свѣдѣній о народныхъ юрид. обычаяхъ въ Орловской губ. 1876 (Составл. П. А. Соколовскимъ — по программѣ этнограф. отдѣленія. См. Извѣстія Геогр. Общ. 1880, т. XVI, отд. I, стр. 38—39).

— Программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ. (Составлена П. Матвѣевымъ, по гражданскому праву, и И. Фойницкимъ, по уголовному). Въ Запискахъ по отдѣленію этнографіи, т. VIII, стр. 1—76, и отдѣльно. Спб. 1878.

Новѣйшая программа этого рода составлена при моск. Обществѣ любителей ест., антроп. и этнографіи М. Н. Харузинымъ.

[1]) Сборникъ матеріаловъ объ артеляхъ въ Россіи. Изданіе Спб. отдѣленія (сост. при Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства) комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ. Вып. I. Спб. 1873 (статьи А. Ефименко, С. Огородникова, Н. Эдемона и др.). Для обзора этой литературы можетъ служить „Обычное Право“ Якушкина и „Библіогр. указатель книгъ и статей, относящихся до обществъ, основанныхъ на началахъ взаимности, артелей, положенія рабочаго сословія и мелкой кустарной промышленности въ Россіи“, В. Межова. Изд. того же Спб. отдѣленія. 1872; 1-е прибавленіе къ указателю, 1873 (при „Сборникѣ“); 2-е, 1876. Изъ прежнихъ трудовъ, возбудившихъ вопросъ, извѣстна въ особенности книжка Калачова: „Артели въ древней Россіи“. Спб. 1864 (изъ Этногр. Сборника); объ исторіи артели см. еще въ книгѣ Дитятина: „Устройство и управленіе городовъ Россіи“. Спб. 1875, стр. 268—287.

собраны рѣшенія волостныхъ судовъ изъ пятнадцати губерній, центральныхъ, южныхъ и сѣверныхъ, опросы крестьянъ по каждой волости, выписки изъ дѣлъ губернскихъ присутствій и мировыхъ съѣздовъ, наконецъ, отзывы различныхъ мѣстъ и лицъ. Какъ мы замѣтили, большая литература объ этомъ предметѣ возникла гораздо ранѣе изслѣдованій правительственной коммиссіи. Рядъ крупныхъ и мелкихъ сочиненій о волостномъ судѣ—Лугинина, Воропонова, Якушкина, Тиханова, Кроткова, Матвѣева и мн. др. идетъ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Изъ новѣйшихъ сочиненій, въ особенности на основаніи „Трудовъ“ коммиссіи, укажемъ книгу М. Заруднаго (Законы и жизнь, итоги изслѣдованій крестьянскихъ судовъ, 1874), статьи Е. Якушкина (въ Вѣстникѣ яросл. земства, № 2, 9), В. Кроткова (въ Отеч. Зап. 1873, № 5, 7, 8), А. С. Ефименко (Знаніе, 1874, № 1), К. Чепурнаго (въ Кіев. Унив. Извѣстіяхъ, 1874), Оршанскаго („Народный судъ“, въ Журн. гражд. и угол. права, 1875), В. Денскаго (въ „Р. Мысли“, 1882), Е. Карцева (въ „Вѣстн. Евр.“ 1882). Наконецъ матеріалы коммиссіи по отношенію къ гражданскому праву получили систематическую обработку въ названной выше книгѣ Пахмана, гдѣ, по отзывамъ спеціалистовъ, удачно выдѣлены и анализированы тѣ юридическія начала, которыя заключаются въ рѣшеніяхъ волостныхъ судовъ.

Предпринято было, далѣе, много другихъ спеціальныхъ изученій, предметомъ которыхъ были различныя стороны экономической жизни народа (состояніе сельскаго хозяйства, бытъ фабричный, отхожіе промыслы, кустарная промышленность и т. д.), санитарное состояніе народа и т. д. Потребности административныя и земскія, промышленныя выставки, экспедиціи, ревностная любознательность отдѣльныхъ лицъ, проникнутыхъ интересомъ къ народному дѣлу, сильно содѣйствовали расширенію свѣдѣній; то, что прежде, лѣтъ тридцать назадъ, бывало или только канцелярскимъ дѣломъ, или знакомо было отдѣльнымъ любителямъ и появлялось анекдотически, становилось теперь общимъ достояніемъ и задачей литературы, и притомъ съ гораздо большею массою и разносторонностью свѣдѣній.—Отмѣтимъ здѣсь еще одинъ существенный народный интересъ, который опять только съ крестьянской реформы всталъ передъ властью и обществомъ во всей своей настоятельности; это—народная школа. Консерваторы стариннаго стиля, отвергая впередъ надобность крестьянской реформы, говорили обыкновенно, что народъ нужно „сперва образовать“, и только потомъ дать ему свободу,—потому что иначе онъ будетъ недостоинъ свободы, не пойметъ ея, злоупотребитъ ею, и она станетъ лишь грубымъ своеволіемъ. Съ этимъ взглядомъ вопросъ попадалъ въ безъисходный кругъ, такъ какъ подъ крѣпостнымъ пра-

вомъ школа для крестьянъ была невозможна (вопіющее противорѣчіе между образованіемъ и крѣпостнымъ рабствомъ рѣзко было указано еще въ прошломъ столѣтіи), — и школы для крѣпостныхъ дѣйствительно не было. Обѣ задачи пришлось ставить одновременно, и какъ въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ съ землей и объ общинѣ, такъ и здѣсь, оба лагеря, славянофильскій и „западническій“, были одного мнѣнія и (за нѣкоторыми только исключеніями въ средѣ славянофиловъ) горячо настаивали на необходимости народной школы; врагами этой школы являлись теперь именно тѣ же „охранители“, которые прежде требовали образованія народа раньше его освобожденія. Расширеніе средствъ образованія становилось и для самого общества дѣломъ живѣйшаго интереса; чувствовалось впередъ, и совершенно вѣрно, что для самого дворянства, мелкаго и средняго, наступало новое и нелегкое экономическое положеніе, что съ паденіемъ помѣщичьяго быта и для него явится необходимость труда, и слѣдовательно болѣе серьезнаго образованія: возникла новая педагогическая литература, пробы новыхъ формъ школы (особливо женской—откуда возникли женскія гимназіи, высшіе и медицинскіе курсы), и въ этомъ движеніи одно изъ важныхъ мѣстъ заняла также народная школа. До сихъ поръ не оцѣнено по справедливости то, что̀ сдѣлано было въ тѣ годы иниціативой частныхъ лицъ и литературы для дѣла просвѣщенія. Напомнимъ, кромѣ воскресныхъ и другихъ частныхъ безплатныхъ школъ для народа въ Петербургѣ и иныхъ городахъ, дѣятельность комитета грамотности, раздавшаго сотни тысячъ книгъ въ бѣднѣйшія народныя школы; массу популярныхъ сочиненій для народнаго чтенія и школы; выработку упрощенныхъ пріемовъ обученія,—наконецъ общее разъясненіе настоятельной необходимости народной школы, что̀ оказало свое вліяніе на сильное распространеніе народныхъ школъ въ нѣкоторыхъ земствахъ и школъ народныхъ городскихъ, напр., особенно въ Петербургѣ. — Въ послѣдніе годы предприняты были полезныя работы по разбору накопившейся донынѣ педагогической и народной литературы, какъ напр. обзоръ ея, составленный при комитетѣ грамотности подъ редакціей г. Я. Михайловскаго; извѣстная книга „Что читать народу?“ составленная кружкомъ просвѣщенныхъ женщинъ, преданныхъ дѣлу народнаго образованія, и др.

Передъ обществомъ начинаетъ, наконецъ, выясняться сложный вопросъ крестьянскаго быта и общаго экономическаго положенія. Изъ подобныхъ трудовъ общаго свойства укажемъ еще, кромѣ многихъ названныхъ прежде, въ особенности книгу Кавелина: „Крестьянскій вопросъ“ (1882) и В. В.: „Судьбы капитализма въ Россіи“ (1882).

Наконецъ, еще одна важная сторона народной жизни, которой

изученіе, въ томъ же періодѣ, въ первый разъ стало достояніемъ общества и поставлено было съ извѣстной широтой и безпристрастіемъ. Это—расколъ. Выше мы указывали положеніе раскола въ администраціи и въ литературѣ. Съ новымъ царствованіемъ положеніе значительно измѣнилось; какъ многія другія явленія народной жизни, расколъ пересталъ быть предметомъ, закрытымъ для литературы, и въ ней высказалось совсѣмъ новое къ нему отношеніе — терпимость и болѣе свободное изученіе. Во-первыхъ, онъ вошелъ въ общее историческое изученіе, и въ его судьбахъ открыты были стороны, не замѣченныя прежними его слѣдователями, и церковными и административными. Для безпристрастныхъ историковъ выяснилась съ очевидностью тѣснѣйшая связь раскола съ общимъ состояніемъ народныхъ понятій и религіозности XVI—XVII вѣка, — такъ что расколъ несъ на себѣ незаслуженно суровую кару за преданность дѣйствительно старому религіозному и бытовому обычаю, „старой вѣрѣ", къ которой онъ и не могъ тогда стать въ иное отношеніе по крайней скудости просвѣщенія въ массѣ: надо было признать, что при всей ошибочности понятій раскола, онъ имѣлъ въ своихъ рядахъ именно тѣхъ людей пародной массы, которые искренно дорожили своимъ религіознымъ убѣжденіемъ, олицетворявшимся для нихъ въ—старомъ обрядѣ. Это *историческое объясненіе* удаляло изъ обсужденія вопроса ту крайнюю нетерпимость, которая отличала всѣхъ прежнихъ историковъ-обличителей раскола. Во-вторыхъ, въ новомъ отношеніи къ расколу сказалось давно созрѣвавшее чувство терпимости, внушаемое общими успѣхами просвѣщенія. Спорадически, болѣе мягкое, снисходительное отношеніе къ расколу встрѣчалось издавна со стороны самого правительства; такъ мѣры „кротости" принимались во времена Петра III, въ первые годы и въ концѣ царствованія Екатерины II, при Александрѣ I. Это настроеніе издавна проникало и въ общество. Литература о расколѣ выросла въ послѣднее время до чрезвычайности сравнительно съ прежнимъ, доставила множество новыхъ историческихъ свѣдѣній, привела въ извѣстность литературу самаго раскола (причемъ издано было немало раскольничьихъ сочиненій стараго и новаго времени), ввела значительную (хотя часто только съ обличительными цѣлями) долю публичности въ современный бытъ раскола... Правда, въ гражданскомъ положеніи раскола измѣнилось къ лучшему только немногое, отъ времени до времени повторяются по старой памяти прискорбные факты притѣсненій низшей администраціи,—но духъ терпимости дѣлаетъ успѣхи, и въ области самой полемической литературы поднимается вопросъ, касающійся самаго существа раскола—вопросъ о снятіи клятвъ, наложенныхъ соборами XVII вѣка. Не знаемъ, когда,

въ какой формѣ разрѣшится „расколъ", уже третье столѣтіе раздѣляющій религіозную жизнь народа, но повидимому близится измѣненіе тягостнаго положенія, на которое осуждены милліоны народной массы: въ той области, о которой мы говоримъ, въ изученіяхъ и общественномъ пониманіи вопроса, достигнуты уже теперь чрезвычайно важные успѣхи. Масса старообрядства перестаетъ быть въ понятіяхъ общества лишь толпой отщепенцевъ, достойныхъ одной кары; ближайшія изслѣдованія показали, что численность раскола далеко превышаетъ оффиціально принимавшуюся цифру и доходитъ до 11—12 милліоновъ—самаго подлиннаго русскаго народа, нерѣдко отличающагося своими нравственными качествами, трудолюбіемъ и честностью; общественное чувство тяготится преслѣдованіемъ людей за религіозное убѣжденіе, желаетъ введенія ихъ въ общій строй гражданской жизни, и лучшее средство къ примиренію раскола видитъ въ религіозной терпимости и образованіи. Терпимость невозможна только для тѣхъ немногихъ и малочисленныхъ уголовныхъ сектъ, которыя сохраняются еще какъ худшее послѣдствіе ненормальнаго хода народной жизни [1]).

Это развитіе русской литературы о народѣ отразилось и на литературѣ иностранной о Россіи. Въ прежнее время была великой рѣдкостью иностранная книга о Россіи, не переполненная болѣе или менѣе безобразными нелѣпостями о русской жизни, и народъ трактовался какъ полудикая земледѣльческая орда,—на что и наводило отношеніе къ нему въ крѣпостныя времена. Рѣдкій иностранный наблюдатель имѣлъ понятіе о русской литературѣ, русскомъ языкѣ, русской исторіи, способенъ былъ всмотрѣться въ народный бытъ и характеръ. Теперь, въ европейской литературѣ есть уже не мало писателей, которые въ состояніи были наблюдать русскую жизнь на мѣстѣ, вращаться въ народной средѣ, писателей, прекрасно знакомыхъ съ русскимъ языкомъ, литературой, общественными интересами; есть нѣсколько трудовъ, весьма поучительныхъ для самой русской литературы и общества. Назовемъ „Russia", Мэкензи Уоллеса; „L'empire des Tsars" Леруа-Больё (2 тома, 1881—83) и его же біографію Н. А. Милютина (Revue d. d. Mondes, 1881), труды Альфреда

---

[1]) Изслѣдователи раскола также пришли къ мысли о необходимости систематическаго собиранія свѣдѣній по одному плану, и въ послѣднее время явилось и по этому предмету двѣ программы:

— О необходимости и способахъ всесторонняго изученія русскаго сектантства, А. Пругавина, — въ Извѣстіяхъ Географич. Общества, 1880, т. XVI (изд. 1881), стр. 275—319.

— Программа вопросовъ для собиранія свѣдѣній о русскомъ сектантствѣ, Өедосѣевца,—въ „Отеч. Запискахъ", 1881, № 4, стр. 255—280; № 5, стр. 123—162.

Рамбо; книга о русскомъ романѣ, Мельхіора Вогюэ. Изложенная нами литература о народномъ бытѣ находитъ признаніе у иностранныхъ спеціалистовъ [1]).

Сравнительно мало изслѣдованій сдѣлано по исторіи быта и „нравовъ". Въ этомъ отношеніи предпринимаемыя и совершаемыя работы состоятъ почти исключительно въ собираніи матеріала и въ изслѣдованіи частныхъ вопросовъ. Въ основѣ должна конечно стать археологія въ связи съ изслѣдованіями культурно-историческими и антропологическими. Выше мы указали многочисленныя работы, предпринятыя археологическими обществами и отдѣльными спеціалистами археологіи. Опытъ изложенія русской археологіи въ связи съ исторіей быта начатъ былъ П. Н. Полевымъ и Е. Замысловскимъ въ „Очеркахъ русской исторіи въ памятникахъ быта" (Спб. 1779—1880); выше мы назвали предпріятіе гр. И. И. Толстого и Н. П. Кондакова [2]). Любопытный опытъ возсозданія древнихъ бытовыхъ формъ и понятій, между прочимъ примѣненный къ русской бытовой древности, представляютъ труды М. И. Кулишера въ книгѣ: „Очерки сравнительной этнографіи и культуры", Спб. 1887. Л. Ф. Воеводскій, авторъ извѣстной книги: „О каннибализмѣ въ греческихъ миѳахъ" (1874), пытался дать объясненіе нѣкоторыхъ сказочныхъ (русскихъ) мотивовъ на основаніи древнѣйшихъ ступеней дикаго быта [3]). Къ подобнымъ изслѣдованіямъ древнихъ ступеней быта принадлежитъ любопытная работа г. Сумцова: „Культурныя переживанія" („Кіевская Старина" послѣднихъ годовъ) и статьи г. Каллаша (въ „Этнографическомъ Обозрѣніи", 1889—90). Относительно древнѣйшаго періода русской жизни, кромѣ исторической литературы, отмѣтимъ въ особенности упомянутую выше „Исторію русской жизни Забѣлина", какъ опытъ возсозданія этой исторіи изъ основныхъ особенностей самой народности; далѣе, изслѣдованія древностей бытовыхъ у Срезневскаго,

---

[1]) Въ нѣмецкой литературѣ были высоко оцѣнены названные выше статистическіе труды московскаго земства, какъ труды, не имѣющіе ничего себѣ подобнаго въ западной литературѣ по способамъ собиранія свѣдѣній и богатству матеріала. Ср. статью г. Каблукова: „Русскіе изслѣдователи, какъ источники нѣмецкой учености" (Р. Мысль, 1881, № 9). Съ другой стороны Мэкензи Уоллесъ былъ приглашенъ въ спеціальную коммиссію Геогр. Общества, въ ряду знатоковъ русской сельской общины, для составленія программы ея систематическаго изученія.

[2]) Для древнѣйшаго періода нашихъ ученыхъ предупредили нѣмецкіе: Albin Kohn und Dr. C. Mehlis, Materialien etc. Iena, 1879—83.

[3]) Этологическія и миѳологическія замѣтки. Чаши изъ человѣчьихъ череповъ и тому подобные примѣры утилизаціи трупа,—въ XXV томѣ Записокъ Новоросс. Унив. и отдѣльно. Одесса, 1877. См. объ этомъ указанную выше замѣтку В. Ѳ. Миллера.

Стасова, Котляревскаго; по церковной археологіи—Солнцева, Прохорова, Филимонова (церковная архитектура, иконопись), Буслаева (древняя живопись), Н. В. Покровскаго, Н. Султанова, В. Суслова, Н. П. Кондакова. По археологіи ближайшаго времени, по изученію быта и нравовъ до-Петровской Россіи капитальнымъ трудомъ была и остается книга Забѣлина о домашнемъ бытѣ русскихъ царей и царицъ; далѣе, Костомарова „Очеркъ быта и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII столѣтіи" (1861; 3-е изд. 1889); главы о внутреннемъ бытѣ въ „Исторіи Россіи" Соловьева; А. Г. Брикнера: „Europäisierung Russlands" (Gotha, 1888); о помѣщичьемъ бытѣ стараго времени въ исторіи Пугачевскаго бунта г. Дубровина [1]), въ книгѣ г-жи Щепкиной „Старинные помѣщики на службѣ и дома", 1890, и пр. Главнѣйшимъ матеріаломъ для изображенія этого быта остается масса вновь изданныхъ мемуаровъ изъ XVIII и XIX вѣка, къ числу которыхъ можетъ быть причислена и знаменитая „Семейная Хроника" С. Т. Аксакова. Изображеніе собственно народнаго современнаго быта и нравовъ представляетъ громадную литературу отдѣльныхъ очерковъ и весьма небольшое число общихъ изложеній, начиная съ книги Терещенка „Бытъ русскаго народа"; напомнимъ въ особенности труды С. В. Максимова, П. Небольсина, Прыжова [2]), Селиванова (Годъ русскаго земледѣльца) и проч.

Наконецъ съ пятидесятыхъ годовъ чрезвычайно развилось изученіе языка. Первыя научныя изслѣдованія древняго языка сдѣланы были Востоковымъ. Началомъ этой научной въ новѣйшемъ смыслѣ разработки языка было небольшое, но знаменитое въ исторіи нашей филологіи изслѣдованіе Востокова, 1820 г., замѣчательное тѣмъ, что здѣсь, въ одно время съ „Нѣмецкой Грамматикой" Як. Гримма, выставленъ былъ историческій принципъ объясненія формъ языка. Дальнѣйшія работы Востокова заключались въ спеціальномъ описаніи и филологической критикѣ памятниковъ, въ разработкѣ грамматики и особенно въ собираніи церковно-славянскаго словаря, изданнаго уже впослѣдствіи. Но указанный Востоковымъ путь изслѣдованія, высоко оцѣненный западно-славянскими учеными, у насъ долго оставался безъ послѣдователей,—именно до новаго поколѣнія славистовъ (Прейсъ, Бодянскій, Срезневскій, Григоровичъ); съ нихъ собственно

---

[1]) Ср. разборъ этой книги въ „Вѣстн. Евр.", 1886, мартъ.

[2]) Нищіе на Святой Руси. Матеріалы для исторіи общественнаго и народнаго быта въ Россіи. М. 1862.

— Исторія кабаковъ въ Россіи, въ связи съ исторіей русскаго народа. Спб. 1868.

— Житіе Ивана Яковлевича, извѣстнаго пророка въ Москвѣ. Съ портретомъ. Спб. 1860.

и начинается послѣдовательное и разностороннее изученіе предмета, который понимался съ тѣхъ поръ уже въ исторической связи русскаго языка съ семьей языковъ и нарѣчій славянскихъ. До этого въ литературномъ обиходѣ пользовались не малымъ авторитетомъ грамматическія писанія Греча, основанныя на узкомъ, школьномъ эмпиризмѣ и предназначавшіяся для учебныхъ цѣлей. Труды протоіерея Павскаго, которые произвели впечатлѣніе въ свое время, при всѣхъ свѣдѣніяхъ и наблюдательности автора, грѣшили недостатковъ настоящаго историко-филологическаго пріема. Къ сороковымъ годамъ относятся наблюденія надъ народнымъ языкомъ Надеждина, оставшіяся впрочемъ неразвитыми далѣе... Вмѣстѣ съ изученіемъ русскаго языка въ общей семьѣ славянскихъ нарѣчій начинается изученіе сравнительное: славянскіе языки введены были въ общее изслѣдованіе индо-европейскихъ языковъ. Первыя сравненія сдѣланы были уже основателемъ этой отрасли науки, знаменитымъ Боппомъ, употреблены въ дѣло Гриммомъ и, вмѣстѣ съ изученіемъ историческимъ, поведены дальше новымъ поколѣніемъ филологовъ—Шлейхеромъ, Миклошичемъ, Ягичемъ и другими; въ настоящее время этотъ предметъ привлекаетъ и русскія научныя силы. Для исторіи русскаго языка важны въ особенности труды Срезневскаго, послѣ котораго остался между прочимъ замѣчательный словарь древняго русскаго языка, нынѣ приготовляемый къ изданію; изслѣдованія г. Грота; труды г. Буслаева, который, какъ мы видѣли, въ сущности первый въ нашей литературѣ указалъ на новую науку и далъ образчики примѣненія сравнительной филологіи къ русскому матеріалу—для исторіи самаго языка и народныхъ вѣрованій. Въ послѣднія десятилѣтія выступилъ рядъ ученыхъ филологовъ новаго поколѣнія; между ними должны быть названы въ особенности А. А. Потебня, о трудахъ котораго говорено выше; рано умершій профессоръ варшавскаго университета Колосовъ, основатель „Русскаго Филологическаго Вѣстника", продолжаемаго нынѣ А. И. Смирновымъ; А. Будиловичъ, П. Житецкій (по малорусскому нарѣчію), Р. Брандтъ; А. И. Соболевскій, профессоръ кіевскаго, нынѣ петербургскаго, университета; Е. Карскій (по бѣлорусскому нарѣчію); А. Шахматовъ и др. Имѣетъ своихъ послѣдователей ново-грамматическая школа въ лицѣ И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, рано умершаго профессора казанскаго университета Крушевскаго и др. Выше было говорено объ изученіяхъ областного языка („Областной Словарь" второго отдѣленія Академіи) и о трудахъ Даля; цѣлый большой словарь архангельскаго нарѣчія былъ составленъ Подвысоцкимъ [1]).

[1]) Историко-библіографическій обзоръ изученій старо-славянскаго и русскаго языка сдѣланъ былъ Котляревскимъ въ „Библіологическомъ опытѣ о древней русской

Рядомъ съ тѣмъ, какъ возникали научныя изслѣдованія языка, его богатство и особенности раскрывались въ другой области — въ развитіи и совершенствованіи поэтической рѣчи и языка литературнаго. Геніальная поэтическая отгадка Пушкина разбивали оковы, лежавшія на языкѣ со времени Ломоносова и поддерживаемыя школьною рутиною: стихіи живой народной рѣчи проникли въ литературное выраженіе, и съ тѣхъ поръ эта новая сторона литературнаго языка пріобрѣтала все новую силу въ дальнѣйшемъ ходѣ литературы, въ произведеніяхъ Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Тургенева, Некрасова. Поэтическая литература живымъ примѣромъ узаконяла достоинство народной рѣчи, въ то время какъ сравнительное и историческое изученіе раскрывало историческую жизнь языка и впервые сознательно указывало и объясняло цѣнность народной рѣчи. Тургеневъ по опыту поэтическому приходилъ къ той восторженной оцѣнкѣ русскаго языка, которою онъ завершалъ „Стихотворенія въ прозѣ".

Въ результатѣ всего этого движенія отмѣтимъ наконецъ, какъ черту времени, особый типъ изслѣдователей народной жизни, какихъ не знала прежняя литература. Это—этнографы-народники въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Ихъ создала эпоха освобожденія крестьянъ и другихъ реформъ; они вдохновились идеей служенія народу, которое осуществлялось для нихъ ревностнымъ изученіемъ его быта. Многимъ изъ нихъ досталась на долю тревожная личная жизнь, причина которой лежала въ юношескихъ увлеченіяхъ этой идеей, въ порывахъ, не соразмѣренныхъ съ условіями дѣйствительной жизни; столкновеніе съ этими условіями не умешьало ихъ ревности и въ концѣ концовъ изъ среды ихъ выработывались знатоки народнаго быта по разнымъ его отраслямъ. Ихъ отношеніе къ народу не имѣло въ себѣ ничего натянутаго и искусственнаго: это былъ ихъ сознательный, жизненный интересъ; о бытѣ народа говорили они какъ о близкомъ ихъ сердцу дѣлѣ. Какъ мы сказали, этотъ типъ принадлежитъ періоду реформъ и освобожденія крестьянъ, но онъ народился не вдругъ и мы указывали, что первымъ народникомъ въ этомъ смыслѣ могъ бы быть названъ еще П. В. Кирѣевскій; но теперь этотъ типъ становился весьма нерѣдкимъ. Изъ людей старшаго поколѣнія подходилъ къ нему, исключая личныя угловатости, П. И. Якушкинъ; позднѣе этотъ типъ олицетворился въ первой народнической дѣятельности Рыбникова; около того же времени съ этими чертами сложилась этнографическая дѣятельность С. В. Максимова; далѣе, какъ молодая неосторожность завела москвича Рыбникова

письменности". Подробности нашей литературы по изученію языка будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ.

съ его странствій на югѣ Россіи въ Олонецкій край, такъ подобнымъ образомъ она же завела южанина Чубинскаго въ Архангельскъ.

Недавно разсказана была біографія одного изъ достойнѣйшихъ представителей этого новѣйшаго народовѣдѣнія, Петра Сав. Ефименка. Уроженецъ бердянскаго уѣзда таврической губерніи (род. 1835), онъ по волѣ судьбы видалъ самые различные края Россіи и вездѣ находилъ себѣ интересы въ изученіи народной жизни. „Съ самой ранней юности начались его странствія. Рѣдко на чью долю выпало столько перемѣнъ мѣстъ. Воспитывался онъ въ екатеринославской гимназіи, а потомъ въ харьковскомъ и московскомъ университетахъ. Началъ службу въ красноуфимскомъ [1]) уѣздномъ судѣ, затѣмъ перешелъ въ онежскій [2]) земскій судъ, затѣмъ въ холмогорское полицейское управленіе. Пробывши дворянскимъ засѣдателемъ въ холмогорскомъ уѣздномъ судѣ, онъ получилъ мѣсто секретаря архангельск. губ. статистическаго комитета“. „Какъ ни были скромны занимаемыя имъ должности,—продолжаетъ біографъ,—какъ ни неудобны эти постоянные переѣзды и пребыванія въ маленькихъ городахъ, лишенныхъ библіотекъ, интеллигентнаго общества, тѣмъ не менѣе природный сильный и глубокій умъ, экстраординарная пытливость и страстное желаніе понять народную жизнь сдѣлали изъ скромнаго засѣдателя сѣвернаго суда выдающагося изслѣдователя по обычному праву и этнографіи сѣверной Россіи. Съ изумленіемъ приходится останавливаться предъ этимъ неисчерпаемымъ запасомъ энергіи“. Біографъ замѣчаетъ, что за шесть лѣтъ, съ 1865 по 1871, онъ напечаталъ въ „Архангельскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ“ 115 статей, касающихся исторіи, этнографіи, обычнаго права и экономическаго быта сѣвера, кромѣ статей въ другихъ мѣстныхъ архангельскихъ изданіяхъ; въ особенности важенъ былъ „Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ Архангельской губерніи“. Московское Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи издало два большихъ тома собранныхъ имъ „Матеріаловъ по этнографіи русскаго населенія Архангельской губ.“. Длинный рядъ статей г. Ефименка напечатанъ былъ въ изданіяхъ Географическаго Общества, московскаго Археологическаго Общества, въ Журналѣ министерства просвѣщенія, Юридическаго Общества и пр., и онѣ очень цѣнятся спеціалистами этнографіи и обычнаго права; работы его по этому послѣднему предмету заслуживаютъ тѣмъ большее вниманіе, что предметъ былъ вообще новъ въ научной литературѣ. „Но и по происхожденію, и по характеру, и по вкусамъ Петръ Саввичъ—южанинъ, и только попавши снова на югъ, въ Воронежъ, Самару, Чер-

[1]) Пермской губерніи.
[2]) Архангельской губерніи.

ниговъ и наконецъ, Харьковъ, онъ почувствовалъ себя въ своей тарелкѣ". Онъ продолжалъ работать и здѣсь по обычному праву и этнографіи, издалъ въ 1874 „Сборникъ малороссійскихъ заклинаній", но въ особенности труды его были посвящены статистикѣ: въ Самарѣ и Харьковѣ онъ былъ секретаремъ статистическаго комитета; въ Черниговѣ участвовалъ въ работахъ по земской статистикѣ; въ Харьковѣ завѣдывалъ статистическимъ отдѣленіемъ уѣздной земской управы и нѣсколько лѣтъ издавалъ „Харьковскій Календарь", которому придалъ цѣну, введя въ него отдѣлъ научныхъ статей, особливо по изученію края [1]). Не менѣе цѣнны труды г-жи А. Я. Ефименко: предметъ ихъ также этнографія и обычное право, и исполненіе дѣлаетъ ихъ серьезнымъ вкладомъ въ науку. Статьи, разсѣянныя по разнымъ изданіямъ, были собраны въ отдѣльную книгу [2]).

Назовемъ еще труды А. С. Пругавина, изслѣдовавшаго въ особенности религіозную жизнь народа; г. Абрамова, Ф. Д. Нефедова; Ѳ. М. Истомина, секретаря этнографическаго отдѣленія Географическаго Общества и неутомимаго путешественника на сѣверо-востокѣ; рано умершихъ Харламова, Приклонскаго и мног. др. Многіе ревностные дѣятели народовѣдѣнія примѣнили свой трудъ въ работахъ губернскихъ и земскихъ статистическихъ комитетовъ и имъ мы обязаны многосложными изданіями по земской статистикѣ, представляющими чрезвычайно важный матеріалъ для изученія народнаго быта.

Сравнивъ результаты указанныхъ здѣсь изученій съ тѣмъ состояніемъ понятій о народѣ, какое имъ предшествовало въ Николаевскія времена, нельзя не видѣть чрезвычайнаго успѣха литературнаго и общественнаго. Требованія исторической жизни привели освобожденіе крестьянъ, и этотъ знаменательный фактъ оказалъ прямо и косвенно многообразное вліяніе: раскрылось, какъ никогда прежде, реальное состояніе народныхъ массъ; расширилось историческое, экономическое, этнографическое изученіе, причемъ цѣлыя эпохи, цѣлыя стороны народной жизни впервые дѣлались „достояніемъ исторіи" и предметомъ критики. Горизонтъ наблюденій увеличился, очистившись (если не вполнѣ, то значительно) отъ многихъ предразсудковъ стараго незнанія, самохвальства и сантиментальности; вопросы народной, и съ нею общественной, жизни встаютъ предъ обществомъ въ ихъ реальной наглядности; вмѣстѣ съ тѣмъ и общественно-по-

---

1) Харьковскій Сборникъ. Подъ редакціей члена секретаря В. И. Касперова. Литературно-научное приложеніе къ „Харьковскому Календарю" на 1888 г. Выпускъ 2-й. Харьковъ, 1888. Предисловіе, стр. II—V.

2) Александры Ефименко. Изслѣдованія народной жизни. Выпускъ первый. Обычное право (Бракъ. — Крестьянская женщина. — Семейные раздѣлы. — Трудовое начало.—Субъективизмъ въ обычномъ правѣ.—Землевладѣніе на сѣверѣ). М. 1884.

литическіе идеалы все болѣе покидаютъ область поэтическихъ фантазій и получаютъ нѣкоторую опредѣленность.

Въ жизни народа и общества произошелъ цѣлый переворотъ. Неудивительно, что онъ сопровождался давно невиданнымъ броженіемъ умовъ, которымъ ясна была необходимость новыхъ формъ жизни взамѣнъ прежнихъ, истекавшихъ изъ крѣпостного права, но покрыты были мракомъ пути, которыми должны выработаться новыя формы. Основнымъ, или наиболѣе распространеннымъ, мотивомъ этого броженія,—при всемъ разнообразіи его проявленій, отъ революціоннаго радикализма до мистическаго квіетизма,—остается общее стремленіе идти въ союзѣ съ народомъ, работать для его блага: отсюда—у всѣхъ ссылки на народъ, толки о „сближеніи", „хожденіе въ народъ", „народничество" разнаго рода. Какъ во всѣхъ общественныхъ движеніяхъ, и здѣсь была своя доля непониманія, наивности, вкрадывалось и лицемѣріе, но несомнѣнно большая доля труда была внушена искреннимъ убѣжденіемъ, безкорыстнымъ служеніемъ народному интересу, и это послѣднее есть важное историческое пріобрѣтеніе общества за послѣдніе годы.

Наконецъ, все это движеніе отразилось на литературѣ поэтической. Кажется, что мы не ошибемся, сказавши, что за послѣднія двадцать-пять лѣтъ народъ, прямо или косвенно, былъ героемъ въ большинствѣ произведеній русской поэзіи и беллетристики. Разсказъ изъ народнаго быта составляетъ такую частую форму нашей беллетристики, какъ ни въ одной изъ европейскихъ литературъ; съ конца пятидесятыхъ годовъ онъ занималъ и занимаетъ всю дѣятельность у многихъ изъ нашихъ беллетристовъ. Тотъ реализмъ, основанія котораго были положены Пушкинымъ и утверждены Гоголемъ, нашелъ здѣсь новую пищу, и писатели достигли большого совершенства въ изображеніяхъ народной жизни, по крайней мѣрѣ по ихъ точности, если не всегда по достоинству художественному.

Оглянувшись на эту массу фактовъ, трудно не увидѣть, сколько замѣчательныхъ трудовъ уже было совершено здѣсь въ интересахъ изученія народа; сколько прекрасныхъ задатковъ было здѣсь для будущаго, если бы эти изученія встрѣтили должное признаніе; сколько возмутительной лжи заключается въ вопляхъ скрытнаго крѣпостничества объ оторванности „интеллигенціи" (подъ которую подводятся и лучшія научно-литературныя силы) отъ народа, и. т. п. Кѣмъ же совершены эти труды, проникнутые въ большинствѣ глубочайшей любовью къ народу, стремленіемъ изучить и понять его прошлое и настоящее, и работать для его блага?—Какъ осуществятся эти задатки, что станется дальше съ этими изученіями,—рѣшитъ будущее.

ГЛАВА XI.

Изображенія народа въ литературѣ.

Отношеніе новѣйшихъ изученій къ жизни.—Народные интересы у писателей сороковыхъ годовъ.—Канунъ реформы.—Взгляды старой эстетической критики на возможность художественнаго изображенія народнаго быта (Анненковъ).—Противоположный взглядъ Добролюбова. — Новѣйшій реализмъ, доходящій до отрицанія требованій искусства, у Рѣшетникова, у гр. Л. Н. Толстого.—Замѣчательные успѣхи въ самомъ изученіи быта и въ техникѣ стиля.

Масса труда положена была въ послѣднія десятилѣтія на изслѣдованія самыхъ разнообразныхъ сторонъ нашей народной жизни— ея отдаленнѣйшихъ началъ, ея исторіи древней и новой, ея современнаго состоянія экономическаго, бытового, ея этнографическаго характера и т. д. Эти изслѣдованія сами по себѣ составляютъ въ высокой степени поучительный фактъ нашей новѣйшей общественной исторіи и, — если только дальнѣйшее ихъ развитіе не нарушится условіями, какія не одинъ разъ подрывали теченіе нашей литературы и образованія,—обѣщаютъ свои благотворные результаты въ будущемъ. Какъ бы мы ни судили о безотносительномъ значеніи этихъ результатовъ, — оно иногда еще не велико, — не подлежитъ сомнѣнію, что многія стороны и явленія народной жизни въ первый разъ были указаны теперь въ литературѣ и въ первый разъ находили мѣсто въ общественномъ сознаніи: изслѣдованія не оставались только въ спеціальныхъ книгахъ, но проникали и въ широкое литературное обращеніе, въ популярную книгу и школу.

Таковы были разнообразныя изысканія въ области народнаго обычая, старины, поэзіи. Съ великимъ трудомъ наши изслѣдователи, при помощи европейской науки, добирались до истиннаго смысла народной старины, и въ результатѣ все болѣе выяснялось ея нравственное значеніе и укрѣплялись сочувствія къ идеальному народ-

ному міровоззрѣнію. Какъ, повидимому, ни далека археологія отъ интересовъ настоящей минуты, ея изслѣдованія имѣли свое дѣйствіе. Изученіе народной старины, по замѣчанію одного нѣмецкаго ученаго, удлинняетъ на цѣлые вѣка національную жизнь, обогащаетъ народную память и дѣлаетъ болѣе сознательнымъ пониманіе исторіи,—и прибавимъ,—настоящаго. Наша археологія и филологія вводили русскій народъ исторически въ европейскую семью, изъ которой иные, не по разуму усердные, патріоты желали его устранить, и чѣмъ далѣе шли изученія, тѣмъ больше указывали между ними культурныхъ точекъ соприкосновенія. Міръ славяно-русскій уже въ до-историческія времена начатками своей цивилизаціи примыкаетъ къ античному наслѣдству, къ которому (хотя тѣснѣе) примыкаетъ міръ романо-германскій; эта связь продолжалась принятіемъ христіанства и византійской литературы, а въ новѣйшей исторіи — стремленіемъ, послѣ реформы, къ усвоенію западно-европейскаго или обще-человѣческаго просвѣщенія. Въ научномъ объясненіи, народная поэзія являлась обществу въ новомъ свѣтѣ: это не были только произведенія безграмотнаго люда, съ грубой фантазіей и бѣднымъ содержаніемъ, произведенія, которыя способны представить одинъ интересъ элементарнаго зачатка, давно отмѣненнаго развитіемъ просвѣщенія и литературы; напротивъ, это былъ отголосокъ юности націи, плодъ всенароднаго творчества, гдѣ велось и обновлялось исконное преданіе, гдѣ нужно только съумѣть подойти къ дѣлу съ научнымъ пріемомъ и съ человѣчнымъ вниманіемъ, — чтобы открыть высокія красоты содержанія и выраженія. Пониманіе этой поэзіи становилось фактомъ общественнаго значенія: когда масса крѣпостного крестьянства возстановлялась въ своихъ человѣческихъ и гражданскихъ правахъ, это пониманіе являлось съ другой стороны уразумѣніемъ внутренней природы народа, его поэтическихъ и нравственныхъ преданій и идеаловъ. Остававшійся внѣ историческаго движенія народъ жилъ въ своемъ традиціонномъ поэтическомъ мірѣ: надо было съумѣть войти въ этотъ міръ, чтобы въ нравственной сферѣ возстановить ту связь, которая въ жизни гражданской возстановлялась отмѣной грубаго, несправедливаго учрежденія... Народная поэзія заняла съ тѣхъ поръ большое мѣсто въ исторіяхъ литературы, въ школьномъ преподаваніи и наконецъ въ воспроизведеніяхъ современной поэзіи.

Подобный смыслъ имѣли новыя изслѣдованія языка. Понятіе о языкѣ какъ органическомъ явленіи, тѣмъ самымъ установляло равноправность различныхъ его формъ и образованій въ историческомъ отношеніи. Языкъ народный требовалъ такого же вниманія, какъ языкъ книжный, и даже болѣе: какъ произведеніе творчества всенароднаго, онъ былъ лучшимъ выраженіемъ такъ-называемаго

„духа“ народной рѣчи, когда языкъ книжный слишкомъ подлежалъ личному произволу и, какъ дѣло меньшинства, не провѣрялся массою народа. Равноправность, доказанная въ научномъ отношеніи, была признана въ литературномъ смыслѣ: народная рѣчь — и матеріалъ, и складъ ея—встрѣчали теперь гораздо менѣе препятствій, чтобы проникнуть въ книгу и общественное употребленіе, что̀ прежде только изрѣдка дозволялось авторитетному писателю. Грамматика языка являлась уже не сборникомъ школьныхъ педантическихъ правилъ, а исторіей и физіологіей живого народнаго творчества, не потерявшаго силы и по настоящую минуту. Нѣкогда Гоголь сдѣлался предметомъ ожесточенныхъ нападеній со стороны блюстителей чистоты русскаго языка за нѣкоторые обороты рѣчи, не прописанные въ грамматикѣ Греча; съ тѣхъ поръ мы видѣли несравненно болѣе сильныя заимствованія изъ разговорнаго и народнаго языка, и онѣ уже не возбуждаютъ сомнѣній. Были и есть, конечно, преувеличенія,— грубое книжное примѣненіе народной рѣчи, безвкусная поддѣлка,— но въ цѣломъ литературный языкъ несомнѣнно обогатился.

Изученіе обычнаго права было съ одной стороны реставраціей историческаго быта, а съ другой объясненіемъ настоящаго, именно истолкованіемъ современныхъ юридическихъ представленій, которымъ начинаетъ давать мѣсто самый законъ.

Но какъ ни были велики пріобрѣтенія, сдѣланныя наукой, всего могущественнѣе дѣйствовала на развитіе интереса къ народному сама жизнь; возбужденія, исходившія отъ науки и успѣховъ образованія, только примыкали къ общему настроенію, какое диктовалось несознательнымъ инстинктомъ національной потребности, а затѣмъ и сознательнымъ ея уразумѣніемъ. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, основная мысль лучшихъ людей общества и литературы сводилась именно къ народу: таковъ былъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ и о какой-нибудь свободѣ общественной самодѣятельности. При всей невозможности въ литературѣ правдиваго изслѣдованія и изображенія существующихъ порядковъ, жизнь дѣлала свое; впечатлѣнія ея, хотя разрозненныя и умалчиваемыя, производили свое дѣйствіе, внутренній процессъ продолжалъ совершаться. Литература, несмотря на все ея стѣсненіе, являлась отголоскомъ этой внутренней жизни.

Выше мы говорили о томъ, какъ складывалось понятіе о народности въ литературѣ художественной во времена Пушкина и послѣ, до „Записокъ Охотника“ [1]). Послѣ Пушкинской и Лермонтовской народности особенное движеніе этой идеи относится къ послѣднимъ

---

[1]) См. т. I, глава XI.

сороковымъ годамъ—въ обоихъ тогдашнихъ литературныхъ лагеряхъ, славянофильскомъ и западническомъ. Появляются первые „Московскіе Сборники“ съ одной стороны; послѣднія статьи Бѣлинскаго, первыя произведенія Тургенева, Григоровича, Некрасова—съ другой, и возникаетъ извѣстная полемика. Славянофильскою исходною точкою зрѣнія былъ туманный національный идеализмъ, построенный при большой помощи нѣмецкой философіи, по ея пріемамъ и даже съ ея терминологіей. Западническое народное направленіе, продолжая литературную традицію Пушкина и Лермонтова, было вмѣстѣ подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя (художественный реализмъ и общественная сатира), и наконецъ подъ вліяніемъ доходившихъ къ намъ отголосковъ политическаго и соціальнаго возбужденія европейскихъ обществъ передъ 1848 годомъ (и послѣ). Оба теченія отразились въ литературѣ художественной. У славянофиловъ, дѣятельность которыхъ продолжалась въ 1850-хъ годахъ, уже при новомъ царствованіи, изданіемъ „Русской Бесѣды“, эти художественныя произведенія были весьма немногочисленны: стихотворенія Хомякова, Ив. Аксакова, потомъ сочиненія С. Т. Аксакова (они были предметомъ гордости славянофиловъ, хотя принадлежатъ сюда весьма условно), повѣсти Кохановской, имя которой появлялось въ „Р. Бесѣдѣ“ и въ газетѣ „День“, и пр. [1]). Въ другой литературной школѣ начинается дѣятельность писателей, болѣе или менѣе тѣсно связанныхъ съ Бѣлинскимъ: повѣсти изъ крестьянскаго быта, Григоровича („Деревня“, „Антонъ Горемыка“, позднѣе „Рыбаки“, и проч.), „Записки Охотника“, въ 1850-хъ годахъ первыя стихотворенія Некрасова, и проч. Намъ не разъ случалось упоминать о томъ, какой общественный смыслъ заключался въ отношеніи этихъ произведеній къ народной жизни: это было глубокое гуманитарное движеніе, канунъ крестьянской реформы, выраженіе настроенія той части общества, которая радостно привѣтствовала освобожденіе. Довольно сказать, что „Записки Охотника“ приравнивались тогда къ извѣстной книгѣ г-жи Бичеръ-Стоу (о крестьянскомъ вопросѣ говорилось какъ объ американскомъ вопросѣ освобожденія негровъ). Къ крестьянскому дѣлу одинаково относились и въ славянофильскомъ кружкѣ, и вообще во взглядѣ на тогдашній бюрократическій режимъ (говоримъ о концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятыхъ годовъ) обѣ литературныя партіи сходились, одинаково чувствуя на самихъ себѣ его тяготу и одинаково понимая элементарный вопросъ народной жизни. Поэтому, несмотря на раздоръ теоретическій, художественныя произведенія

[1]) Въ „Русской Бесѣдѣ“ являлись и сочиненія г. Кулиша (напр., историческій романъ „Черная Рада“), но присутствіе ихъ здѣсь было теоретическимъ недоразумѣніемъ, какъ послѣ оказалось.

различныхъ школъ или партій находили взаимно болѣе или менѣе справедливую оцѣнку. Въ западномъ лагерѣ принимали (нѣсколько позднѣе) съ сочувствіемъ произведенія С. Т. Аксакова, считавшіяся дѣломъ славянофильскаго воззрѣнія; отдавали справедливость повѣстямъ г-жи Кохановской, стихотвореніямъ Ив. Аксакова. Противная партія, не весьма сочувствовавшая Тургеневу, признавала достоинства „Записокъ Охотника".

Современное „народничество" считаетъ себя именно новѣйшимъ общественнымъ принципомъ, гордится собою какъ новоизобрѣтенной панацеей, между тѣмъ первые источники новѣйшаго народолюбія мы несомнѣнно найдемъ въ движеніи сороковыхъ годовъ—одну сторону, либерально-освободительную, въ идеяхъ школы Гоголя и Бѣлинскаго; другую, мистическо-сантиментальную,—въ славянофильствѣ, до „хожденія въ народъ" и переодѣванья въ народный костюмъ. Мысль окунуться въ народъ, подслушать тайны его внутренней жизни, собрать и освѣтить плоды его поэтическаго творчества,—мысль, какъ мы видѣли, вообще распространявшаяся тогда въ инстинктивномъ чаяніи освобожденія крестьянъ,—возникала опять въ обѣихъ сторонахъ литературы, въ кругу ученыхъ изслѣдователей и въ кругу славянофиловъ, и у первыхъ съ такими же цѣнными результатами для научнаго объясненія, какъ у вторыхъ были цѣнны труды собирательскіе. Тотъ же интересъ внушилъ Тургеневу одинъ изъ самыхъ изящныхъ разсказовъ въ „Запискахъ Охотника" („Пѣвцы"). Въ дѣлѣ собиранія народныхъ пѣсенъ уже съ тридцатыхъ годовъ явился энергическій дѣятель въ лицѣ Петра Кирѣевскаго: онъ и началъ, пожалуй, хожденіе въ народъ, не въ томъ фатальномъ смыслѣ, какой получило это слово впослѣдствіи, но онъ дѣйствительно ходилъ въ народъ, самъ принялъ, какъ говорятъ, народную складку, и результатомъ его исканій въ средѣ народа было знаменитое собраніе пѣсенъ, которое г. Буслаевъ называлъ обще-національнымъ достояніемъ. Не менѣе Кирѣевскаго былъ „народникомъ" Константинъ Аксаковъ. Искренній энтузіастъ, онъ не могъ оставаться простымъ теоретикомъ или резонеромъ на мистическо-консервативныя темы, какъ нѣкоторые изъ его собратій; онъ поэтизировалъ свои принципы, искалъ примѣнить ихъ къ исторіи прошедшаго, а также и къ настоящему. Самымъ характернымъ образчикомъ его народничества была приведенная выше знаменитая въ свое время статья: „Публика и народъ", гдѣ „публика" (нынче сказали бы: „интеллигенція") изображалась какъ противоположность народа, какъ чуждый всему существу его и паразитный элементъ. Подразумѣвалось, что „публика", если хочетъ исправиться, должна слиться съ народомъ, — пока оставалось только неизвѣстно, какъ это сдѣлать. Можно было предполагать, что

для удаленія противорѣчія могло послужить какое-либо освобожденіе народа, его извѣстная самодѣятельность; но это положеніе такъ и осталось неразвитымъ, а эпигоны славянофильства потеряли смыслъ его ученія. Борьбой въ (мнимую) защиту народа была и полемика славянофиловъ противъ писателей круга Бѣлинскаго, но самое движеніе литературы указало, что противники славянофильства вовсе не были противниками народа и дѣятельность ихъ шла на ту же защиту его интереса. Народничество славянофильской школы высказалось и внѣшними символами: Хомяковъ отпустилъ себѣ бороду, но ему велѣно было ее сбрить; К. Аксаковъ одѣвался въ костюмъ мужицкаго фасона...

Такъ стояли къ концу сороковыхъ годовъ двѣ главныя литературныя партіи, обѣ одинаково преданныя народному дѣлу, хотя рѣзко различавшіяся въ исходномъ пунктѣ его пониманія и обѣ одинаково ограниченныя тогда лишь теоріями и надеждами. Въ началѣ 50-хъ годовъ къ нимъ присоединился еще одинъ оттѣнокъ, довольно замѣтный, но и не довольно яркій, чтобы занять самостоятельное положеніе. Это былъ рядъ писателей-народолюбцевъ, соединившихся одно время около „Москвитянина", или собственно говоря, около „молодой редакціи" (Ап. Григорьевъ, Эдельсонъ, Б. Алмазовъ), которой Погодинъ предоставлялъ дѣйствовать въ своемъ журналѣ, въ тоже время забавно отрекаясь отъ ея грѣховъ. Въ этомъ журналѣ стали тогда появляться новыя имена, которыя тотчасъ обратили на себя вниманіе въ литературныхъ кругахъ: Островскій, Писемскій, А. Потѣхинъ, Андрей Печерскій (Мельниковъ), Кокоревъ. Эти писатели не составляли солидарнаго кружка, сошлись случайно въ московскомъ журналѣ, но были извѣстныя черты, отдѣлявшія ихъ одно время въ особую группу. Они не принадлежали къ западному кружку, не проходили того развитія понятій, которое шло здѣсь отъ философскихъ возбужденій тридцатыхъ годовъ, отъ слѣдовавшихъ за ними вліяній западно-европейской литературы, и сложилось въ извѣстное общественное воззрѣніе; но, больше предоставленные самимъ себѣ, они воспитались однако въ традиціяхъ Пушкина и Гоголя, а затѣмъ вѣроятно не обошлось и безъ вліянія новой послѣ-Гоголевской литературы. Они были москвичи или прошли университетъ въ Москвѣ, близко знали московскую или провинціальную жизнь. Знаніемъ быта они иногда превосходили своихъ петербургскихъ собратій и, какъ, напр., Мельниковъ, были иногда настоящіе „бывалые" люди, видавшіе всякихъ людей и всякіе закоулки жизни. Были въ этихъ условіяхъ ихъ личнаго положенія свои выгоды и невыгоды: отсутствіе тѣхъ привычныхъ взглядовъ и пріемовъ, какіе даются кружкомъ; могло (не говоря о собственной силѣ дарованій) сохранять писателю

его оригинальность, расширять условныя рамки литературнаго рода; но съ другой стороны, быть можетъ, вслѣдствіе тѣхъ же условій, являлась и неровность, даже грубость работы, иной разъ и неполнота самаго пониманія наблюдаемой жизни. Тѣ или другія указанныя черты не трудно найти не только у второстепенныхъ талантовъ, но даже у такихъ крупныхъ писателей, какъ Островскій или Писемскій. Островскій послѣ перваго главнаго своего произведенія: „Свои люди сочтемся“ [1],—комедіи первостепеннаго достоинства, исполненной глубокаго пониманія изображаемой жизни, позднѣе впадалъ иногда въ сантиментальность, вслѣдствіе которой славянофилы одно время сочли его своимъ человѣкомъ; Аполлонъ Григорьевъ видѣлъ въ его произведеніяхъ „новое слово“—въ смыслѣ той особой полуславянофильской школы, которую представлялъ собою Григорьевъ (а впослѣдствіи съ нимъ вмѣстѣ Ѳ. Достоевскій, г. Страховъ, и вообще журналъ „Время-Эпоха“). Писемскій прекрасно зналъ практическій бытъ, далъ нѣсколько замѣчательныхъ произведеній, но былъ очень неровенъ. Мельниковъ по преимуществу былъ знатокъ провинціальнаго народнаго быта. Человѣкъ, много видѣвшій, юркій, съ такъ называемой сметкой — хотя безъ особенныхъ правильно сложенныхъ свѣдѣній—онъ имѣлъ значительный беллетристическій талантъ: его разсказы обратили на себя вниманіе именно этимъ рѣдко встрѣчающимся знаніемъ народнаго быта въ его мельчайшихъ подробностяхъ, простой и вѣрной ихъ передачей, но ему не удалось возвыситься ни до настоящаго поэтическаго творчества, ни до твердо установившагося взгляда на условія народной жизни. „Москвитянинъ“, какъ мы замѣтили, былъ случайно пріютомъ этихъ писателей на первое время: ихъ могла привлечь сюда наклонность „молодой редакціи“ къ чему-то народному, хотя самъ издатель былъ именно одинъ изъ самыхъ усердныхъ служителей народности оффиціальной. Вскорѣ уже эти писатели покинули первое гнѣздо, и почти всѣ перешли въ петербургскія изданія, совсѣмъ не похожія на „Москвитянинъ“. Они примкнули къ тому движенію, главнымъ представителемъ котораго былъ тогда Тургеневъ, какъ авторъ „Записокъ Охотника“.

Вкладъ, сдѣланный новой повѣстью изъ народнаго быта (о ней собственно мы говоримъ), былъ довольно значителенъ. Новые повѣствователи затрогивали много новыхъ сторонъ быта, какія до тѣхъ поръ или совсѣмъ не находили мѣста въ литературѣ, или не находили такого точнаго изображенія: старинная жизнь — до воспоминаній о прошломъ вѣкѣ; купеческіе нравы; бытъ крестьянскій, рас-

---

[1]) Ему предшествовали въ послѣднихъ сороковыхъ годахъ небольшіе бытовые очерки, составлявшіе пробу пера.

кольничій и т. п.; матеріалъ литературнаго языка размножался массой новыхъ оборотовъ народной рѣчи. Но эта новая повѣсть изъ народнаго быта имѣла и свои крупные недостатки. Дѣло въ томъ, что народъ не такъ легко поддавался изображенію. Повѣствователи такъ привыкли къ обычному складу тогдашней повѣсти и романа, что не усумнились по тому же шаблону располагать и свои новые народные разсказы. Форма этихъ произведеній выработалась на изображеніяхъ совсѣмъ изъ другого міра — изъ круга общественныхъ отношеній и личной жизни образованнаго класса; она требовала извѣстной завязки, обрисовки характеровъ, нравственныхъ столкновеній, психологическаго анализа, наконецъ, ландшафта, какъ фона для картины, и т. п.; въ романѣ эти требованія были еще сложнѣе, нежели въ повѣсти. Новые повѣствователи все это по привычкѣ сохраняли и въ своихъ повѣстяхъ на народные сюжеты. Здѣсь было все—и характеры, и внутреннія столкновенія, и тонкій психологическій анализъ, но часто не было одного—естественности. Критика встрѣтила ихъ вообще съ большими похвалами; новые беллетристы прослыли знатоками и прекрасными разсказчиками изъ народнаго быта; каждое новое произведеніе ихъ встрѣчалось съ великимъ интересомъ, разбиралось и комментировалось. Но иные усумнились: имъ бросилось въ глаза, что въ новой повѣсти къ народному быту приложены въ сущности тѣ же самыя пружины, которыя примѣнялись совсѣмъ къ иному порядку жизни и здѣсь видимо не имѣли мѣста. Приведены были и вопіющіе примѣры [1]). Они отысканы были у Григоровича и у Писемскаго, Потѣхина, Авдѣева и т. д. Впослѣдствіи, какъ увидимъ далѣе, Добролюбовъ относился къ этому періоду нашей народной повѣсти еще строже [2]).

Ложная манера, указанная этими критиками, еще рѣзче выступала у писателей второстепенныхъ и третьестепенныхъ. Сочувствіе, съ которымъ приняты были народныя повѣсти по ихъ благому намѣренію и отдѣльнымъ интереснымъ эпизодамъ (недостатки, по новости дѣла, не всѣми замѣчались), повело къ тому, что литература была наводнена разсказами изъ народнаго быта. Кромѣ названныхъ писателей, этимъ родомъ повѣсти занялись Данковскій (псевдонимъ очень извѣстнаго нынѣ дипломата), Лазаревскій, Михайловъ, Мартыновъ; Авдѣевъ написалъ своего „Огненнаго Змія"; на эту дорогу вступали извѣстные поэты — Мей, Фетъ; даже г. Майковъ, покинувъ антологическую поэзію, написалъ „Дурочку-Дуню" и т. д. Погоня за вѣрностью крестьянскаго колорита доходила до того, что

[1]) Современникъ, 1854, № 2 и 3; Воспоминанія и критич. очерки, Анненкова. Спб. 1879, II, стр. 46—84.

[2]) Сочин. Добролюбова, Спб. 1862, т. 3, стр. 229 и д.

герои повѣстей говорили „мужицкимъ“ языкомъ, изломаннымъ до непонятности; нѣкоторыхъ повѣствователей (напр., Мартынова, Даньковскаго) нельзя было читать безъ „Областного Словаря“ въ рукахъ— кстати онъ былъ тогда изданъ Академіей.

Зрѣлище подобной повѣсти изъ народнаго быта подѣйствовало удручающимъ образомъ на критику, воспитанную въ прежнихъ эстетическихъ понятіяхъ. Отдавая справедливость талантамъ нѣкоторыхъ изъ авторовъ, прекраснымъ отдѣльныхъ частностямъ и описаніямъ *внѣшнихъ* сторонъ быта и характеровъ, Анненковъ указывалъ въ повѣсти рядъ неестественностей и именно „литературную выдумку“, неприложимую и неидущую къ описываемому быту, и приходилъ къ заключенію о невозможности самаго предпріятія. „Многіе, и въ томъ числѣ, вѣроятно, нѣкоторые изъ писателей этого рода, думаютъ, что простонародная жизнь можетъ быть введена собственно въ литературу во всей своей подробности, безъ малѣйшаго ущерба для истины, цвѣта и значенія своего... Это — весьма важная ошибка, способная породить (и порождающая) безплодныя стремленія къ такой цѣли, которая врядъ ли можетъ быть достигнута. Литературная передача всякаго явленія имѣетъ свои незыблемые правила, пріемы, манеру... Что̀ бы ни дѣлалъ авторъ для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ *принужденъ* наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе. Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія искусства съ настоящимъ, жосткимъ ходомъ жизни, произвесть эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту, — желаніе это кажется намъ неисполнимымъ“, и пр. [1]) Этотъ приговоръ, какъ увидимъ, не былъ принятъ критикой слѣдующаго поколѣнія. Она еще сильнѣе почувствовала „литературную выдумку“, но тѣмъ не менѣе отвергла мысль о несоединимости изображеній простонароднаго быта съ требованіями искусства.

Съ началомъ прошлаго царствованія, давняя мечта просвѣщеннѣйшихъ людей русскаго общества стала опредѣленнымъ ожиданіемъ, наконецъ,—оффиціальнымъ вопросомъ. Среди общественнаго броженія, надеждъ, одушевленія, вопросъ „народности“ впервые становится осязательнымъ. Съ первымъ, хотя еще скромнымъ, началомъ публицистики, предметъ началъ выказывать свои реальныя, жизненныя черты, мнѣнія складывались иначе, опредѣленнѣе, и становилась замѣтна историческая разница литературныхъ понятій. Упомянемъ здѣсь лишь о томъ, что̀ имѣетъ отношеніе къ нашему предмету.

---

[1]) Воспом. и критич. очерки, II, стр. 47.

Въ ряду многихъ поднятыхъ вопросовъ возникъ снова вопросъ объ искусствѣ. Въ данную минуту господствовалъ идеалистическій взглядъ на искусство, какъ на отвлеченное поэтическое творчество, служащее само себѣ цѣлью, свободное отъ „тенденціи“, т.-е. въ сущности отъ всякой кровной связи съ глубочайшими запросами непосредственной, владѣющей нами жизни. Этому взгляду была теперь противопоставлена точка зрѣнія, которая, исходя изъ положенія, что искусство есть именно воспроизведеніе жизни и не можетъ оставаться чуждымъ ея стремленіямъ, что абсолютное искусство, само служащее себѣ цѣлью, невозможно такъ же, какъ невозможны абсолютные, отвлеченные люди. Эту точку зрѣнія тогда, и особенно послѣ, обвиняли въ томъ, что она пренебрегаетъ законами изящнаго, требуетъ грубаго реализма и тенденціозности, хочетъ превратить поэзію въ дѣловой трактатъ, въ концѣ концовъ отрицаетъ искусство. Но—оставивъ въ сторонѣ крайности въ родѣ Писарева, которыя вовсе не выражаютъ этой точки зрѣнія — не трудно видѣть, что упомянутыя обвиненія были совершенно несправедливы. Только въ раздраженной полемикѣ можно было говорить, что эта точка зрѣнія „отрицаетъ искусство“; по примѣненіямъ новой критики къ фактамъ литературы было очевидно, что дѣло шло совсѣмъ о другомъ. У людей школы Бѣлинскаго, — нѣсколько ими позабытой, — не было уже особенно чуткаго отношенія къ жизни (назовемъ Дружинина, В. Боткина, Дудышкина и др.), не было стремленія, которое теперь нарождалось,—видѣть, наконецъ, въ искусствѣ ту подлинную, не закрытую „литературными выдумками“ дѣйствительность, гдѣ мы сами живемъ и движемся. Привычка, — между прочимъ воспитанная тѣмъ внѣшнимъ угнетеніемъ литературы, вліяніе котораго они переставали сознавать,—представляла имъ поэтическое произведеніе какъ нѣчто такое, что̀ стоитъ превыше этой дѣйствительности и, если касается ея и рѣшаетъ ея вопросы, то только въ неосязаемой, эѳирной области идеала. Это была привычка къ своего рода художественному иносказанію и загадкѣ; вмѣстѣ съ этимъ, очень естественно развилось усиленное вниманіе къ внѣшней формѣ, къ художественному выполненію. Теперь желали, напротивъ, чтобы загадка по возможности кончилась, чтобы искусство оставило условныя темы, —которыя становились, наконецъ, безразличными, — и не было только внѣшнимъ мастерствомъ; чтобы возобладалъ наконецъ тотъ здоровый реализмъ, который съ такимъ энтузіазмомъ привѣтствовали у Гоголя. Пусть лучше произведеніе будетъ менѣе совершенно по формѣ, но не лишено правдиваго содержанія; пусть оно перестанетъ быть ювелирной работой, очень иногда красивой, пріятной тому богачу, который можетъ ею владѣть и любоваться,—но станетъ и жизненно необхо-

димымъ дѣломъ, нужнымъ для общества. Новая критика бывала довольно равнодушна къ произведеніямъ, достоинство которыхъ заключалось во внѣшней виртуозности исполненія, и отдавала свое сочувствіе особенно тѣмъ, гдѣ пробивалась жизненная правда. Всего больше она, конечно, пробивалась у сильныхъ талантовъ. Добролюбовъ съ величайшимъ увлеченіемъ изучалъ выходившія тогда произведенія Тургенева, Островскаго, Гончарова, Достоевскаго, Марка Вовчка. Имъ посвящалъ онъ цѣлые трактаты, въ которые вкладывалъ свою душу, объясняя ихъ достоинства и тѣ общественныя явленія, какія писатель провидѣлъ въ своемъ художественномъ откровеніи. Но Добролюбовъ былъ равнодушенъ или даже относился враждебно къ той литературѣ, которая, въ первые годы послѣ Бѣлинскаго, наполнялась безсодержательными повтореніями старыхъ сюжетовъ, притязаніями на художественность по мелкимъ поводамъ, сантиментально подкрашенными разсказами изъ народнаго быта и т. п.

Съ того перелома, который обозначался съ началомъ прошлаго царствованія, и въ самой художественной беллетристикѣ началось нѣчто новое. Возможность исторической и публицистической критики сопровождалась распространеніемъ такъ-называемой „обличительной литературы", въ томъ числѣ повѣсти и романа. Она была весьма различнаго качества: отъ произведеній крупнаго художественнаго и общественнаго достоинства она доходила до массы заурядныхъ повѣстушекъ, которыя обличали исправниковъ и становыхъ и уже скоро набили оскомину. Но въ ряду этой литературы явились произведенія, которыя оставили сильное впечатлѣніе: вспомнимъ „Губернскіе Очерки" Салтыкова, „Записки изъ Мертваго Дома" Достоевскаго, „Бурсу" Помяловскаго, „Откупное дѣло" Елагина", „Медвѣжій уголъ" Мельникова и пр. Въ цѣломъ это былъ большой шагъ впередъ—и не въ смыслѣ „искусства для искусства": сила новой беллетристики была въ томъ, что картины ея носили на себѣ свѣжую, несомнѣнную печать дѣйствительности и возбуждали мысль о характерѣ жизни, порождавшей такой складъ событій и явленій. Предшествующая литература намѣчала вопросы, теперь появлялось все больше и больше матеріала для ихъ критики.

Поворотъ къ новому очевиденъ былъ и въ изображеніяхъ народнаго быта. Къ тому времени, подъ вліяніемъ гуманныхъ сторонъ произведеній Гоголя, возраставшаго ожиданія освобожденія крестьянъ, наконецъ, соціалистическаго участія къ бѣдствующимъ классамъ, сложилось—въ литературѣ „западнической" — то теплое отношеніе къ народу, изящнѣйшимъ выраженіемъ котораго были „Записки Охотника". Выростало чувство общественной справедливости къ безправному классу. Высказать это чувство въ прямой формѣ было

невозможно, и повѣсть изъ народнаго быта часто служила иносказательнымъ его выраженіемъ. Писатель былъ доволенъ, когда успѣвалъ возбудить „добрыя чувства“; читатель былъ удовлетворенъ, когда находилъ ихъ высказанными, или поддавался имъ, если онѣ были ему новы. Писатель отыскивалъ и рисовалъ въ народномъ бытѣ его сочувственныя стороны, какія естественно отыскивать у несправедливо бѣдствующаго: рисовались человѣчные, выдержанные характеры, простота быта и нравовъ, природная мягкость и великодушіе и т. п. Григоровичъ дошелъ до настоящей идилліи; Потѣхинъ — до чувствительной повѣсти; Писемскій—до сенсаціонной драмы.

Теперь положеніе дѣла нѣсколько измѣнилось. Во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ уже не было сомнѣнія въ близости реформы. Не было надобности настаивать на прежнемъ тонѣ и внушать участіе, которое переходило уже въ дѣло. Публицистика занялась самымъ вопросомъ о способахъ освобожденія, о хозяйственныхъ, юридическихъ, общественныхъ сторонахъ дѣла. Не сегодня-завтра крестьянинъ становился полноправнымъ (т.-е. болѣе или менѣе) гражданиномъ. Задача повѣствовательной литературы становилась глубже и серьезнѣе — надо было, наконецъ, познакомиться съ внутреннимъ міромъ крестьянскаго народа, съ содержаніемъ его понятій, съ его умственными и нравственными нуждами. Здѣсь уже не было мѣста для идилліи; требовалось точное наблюденіе и изображеніе нравственныхъ явленій народной жизни, въ параллель къ тому, что̀ въ тоже время разъяснялось публицистикой и этнографіей. Трудъ художественнаго творчества въ этой области усложнился и затруднился до чрезвычайности; прежде оно могло довольствоваться для своихъ цѣлей указаніемъ лишь немногихъ мотивовъ, теперь раскрывался передъ нимъ цѣлый бытъ, который несравненно труднѣе было свести въ художественную картину. Тургеневъ, послѣ „Записокъ Охотника“, въ новомъ наступившемъ тогда періодѣ нашей жизни уже не коснулся больше этой области. Недостатки другихъ упомянутыхъ повѣствователей были уже почувствованы, и ихъ манера уже не удовлетворяла.—Можно было предугадывать, что народной повѣсти предстояла новая пора. Повѣсть должна была ближе подойти къ народу, отбросить „литературныя выдумки“, начать болѣе серьезныя изученія— какова бы ни выработалась ихъ форма, и каково бы ни было художественное достоинство новыхъ произведеній.

Цѣлый рядъ вліяній, исходившихъ изъ всего склада того времени, измѣнялъ характеръ и стремленія литературы и дѣйствовалъ на ту область ея, о которой мы теперь говоримъ. Счастливая случайность, которая была, однако, въ духѣ времени и дѣйствительно была его порожденіемъ, указывала русскимъ писателямъ путь разумнаго слу-

женія народному интересу. Мы разумѣемъ упомянутую выше оригинальную экспедицію, которую задумало морское министерство въ самомъ началѣ прошлаго царствованія и въ которой приняли участіе Островскій, Писемскій, Потѣхинъ, Максимовъ, Аѳанасьевъ-Чужбинскій и др. Экспедиція какъ бы указывала необходимость ближайшаго реальнаго изученія народнаго быта. Для г. Максимова этимъ опредѣлилась потомъ вся его литературная дѣятельность—этнографа-странствователя... Журналы измѣнили свою физіономію: эстетическая критика, нѣкогда совмѣщавшая въ себѣ основной интересъ литературнаго міра, еще занимала свое мѣсто, но рядомъ съ ней шли экономическіе и юридическіе трактаты. Педагогическая статья Бема, знаменитые „Вопросы жизни“ Пирогова, способны были надолго занять умы и стать предметомъ оживленныхъ толковъ. Въ литературныхъ кругахъ шли рѣчи о необходимости широкой народной школы, — и въ результатѣ явилось вскорѣ основаніе комитета грамотности, возникли воскресныя школы; журналы были заинтересованы начавшимся въ тѣ же годы сильнымъ распространеніемъ обществъ трезвости (вскорѣ впрочемъ, подавленныхъ откупными управленіями); В. И. Ламанскій, уже тогда ревностный славянофилъ, печаталъ въ „Современникѣ“ (1857) прекрасный трактатъ — „О распространеніи знаній въ Россіи“, который теперь впору было бы повторить.

Мы привели эти немногіе факты, чтобы напомнить то одушевленіе, какимъ исполнялось общество во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и довольно сравнить это время съ первыми 50-ми годами, чтобы увидать всю громадную перемѣну въ настроеніи, совершившуюся въ какіе-нибудь два-три года. Понятно, почему народная повѣсть также измѣнилась въ эти годы: она переходила отъ идеалистической отвлеченности въ простую реальную жизнь и не стала скрывать отъ себя мрачныхъ, некрасивыхъ сторонъ народнаго быта—и тѣхъ, какія приносимы были тяжкимъ положеніемъ народа, и тѣхъ, какія выростали въ его собственной средѣ; съ другой стороны симпатичныя стороны этого быта рисовались уже не въ видѣ придуманной идилліи, а съ дѣйствительными чертами характеровъ и обстановки. Одно обстоятельство дѣлало большую разницу въ наблюденіи, и въ самомъ исполненіи сюжета. Прежніе писатели знали народъ большею частію только издали и потому, между прочимъ, не шли дальше общей гуманной постановки соціальнаго вопроса. Разработка частностей быта и самой внутренней жизни народа лежала внѣ ихъ задачи. Теперь писатели о народѣ стали появляться изъ такихъ слоевъ общества, гдѣ изученіе было близко, гдѣ писатель иногда самъ дѣлилъ этотъ бытъ и могъ говорить о вещахъ знакомыхъ по опыту. Напомнимъ Кокорева, позднѣе Рѣшетникова. — Новая бел-

летристика на народныя темы уже съ этого времени начала подвергаться упреку въ недостаткѣ художественности, а иногда и упреку въ недостаткѣ деликатнаго отношенія къ народу. Дѣйствительно, за немногими исключеніями, она не могла похвалиться изяществомъ обработки. Причины этому были разныя: главною было—что poetae nascuntur; но другая причина лежала въ самыхъ условіяхъ новой повѣсти. Происходилъ извѣстный переворотъ въ самомъ складѣ этого литературнаго рода. Онъ видимо перерождался: онъ захватывалъ все новый матеріалъ; сама народная жизнь, которая была его предметомъ, потеряла устойчивость и мѣнялась на глазахъ наблюдателя такъ, какъ передъ тѣмъ не мѣнялась цѣлую сотню лѣтъ. Не явилось первостепеннаго таланта, который схватилъ бы характеръ эпохи, и пришлось медленно, разрозненными усиліями создавать новую форму. Цѣлую художественную картину, — какія затѣвали прежніе повѣствователи (при помощи „литературной выдумки“), — смѣняетъ часто миніатюра, очеркъ, наконецъ, просто фотографія, а иногда и легкая каррикатура; художественный замыселъ чередуется съ этнографіей или публицистикой.

Не останавливаясь на всѣхъ перекрестныхъ столкновеніяхъ взглядовъ, какими исполнена была литература конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, для характеристики положенія литературы о народѣ исторически важно указать въ особенности взгляды Добролюбова. Немного было писателей, болѣе страстно преданныхъ дѣлу преобразованія—одному изъ величайшихъ дѣлъ во внутренней исторіи русскаго народа, дѣлу, обѣщавшему впервые установить его гражданское бытіе. Въ этомъ вопросѣ у Добролюбова не было колебаній: всякимъ недоумѣніямъ о томъ, какъ можетъ сложиться въ будущемъ судьба народа, слишкомъ подавленнаго старой исторіей, не приготовленнаго къ гражданской жизни, невѣжественнаго и т. д., онъ противополагалъ глубокую увѣренность, что въ народѣ найдется достаточный запасъ ума и нравственной силы, чтобы съ достоинствомъ занять свое новое положеніе,—лишь бы данъ былъ просторъ этимъ силамъ. Его упрекали, даже безповоротно обвиняли за рѣзкость его мнѣній и приговоровъ, неуваженіе къ авторитетамъ; но теперь, на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, всякому безпристрастному человѣку не трудно видѣть, что источникомъ его желчной страстности было именно и только то, что въ обществѣ и литературѣ онъ видѣлъ мало силъ и явленій, которыя отвѣчали бы положенію. Здѣсь и овладѣвало имъ то „отрицательное направленіе“, которое считали его единственной чертой; его мнѣнія и сочувствія были совершенно положительны вездѣ, гдѣ шла рѣчь о защитѣ нравственнаго права и достоинства народа.

Критика новаго направленія хорошо понимала измѣнившіяся условія литературы о народѣ и на первомъ планѣ ставила правдивость изображенія, относясь весьма равнодушно къ приговорамъ прежней критики, настаивавшей на исключительно эстетическихъ требованіяхъ. Приведемъ два-три примѣра.

Говоря о сочиненіяхъ И. Т. Кокорева, — молодого даровитаго писателя, автора извѣстной тогда повѣсти „Саввушка" и рано умершаго подъ гнетомъ нужды, — Добролюбовъ такъ защищалъ его отъ упрековъ въ недостаточности художественной отдѣлки. „Люди, находившіе въ Кокоревѣ зародыши сильнаго дарованія, цѣнившіе его горячую любовь къ работящимъ бѣднякамъ нашимъ, большею частію и не предполагали тѣхъ обстоятельствъ, которыя служили у него источникомъ этой любви, но вмѣстѣ съ тѣмъ и препятствовали свободному развитію его дарованія. Строгіе эстетическіе цѣнители хотѣли, чтобы онъ дальше *вынашивалъ* [1]) въ душѣ свои произведенія, давалъ своимъ очеркамъ больше стройности, больше *объективировалъ* [2]) ихъ, лучше отдѣлывалъ со стороны внѣшняго изложенія... Но цѣнители не знали, въ какомъ отношеніи находились произведенія Кокорева къ его собственной жизни. Немногимъ было извѣстно, что эти очерки, изображающіе горькую бѣдность съ честнымъ трудомъ, а подъ-часъ и грязь, и забвеніе горя за чаркой, и невольное виляньe изъ стороны въ сторону, что все это — воспроизведеніе того, что́ со всѣхъ сторонъ обхватывало и сжимало жизнь самого автора. Онъ не издали, не въ качествѣ дилеттанта народности, не въ часы досуга, не для художественнаго наслажденія наблюдалъ и изображалъ жизнь бѣдняковъ, съ горемъ, а часто и съ грѣхомъ пополамъ добывающихъ кусокъ хлѣба. Онъ самъ жилъ среди нихъ, страдалъ съ ними, былъ съ ними связанъ кровно и неразрывно. Онъ недурно изображалъ мастеровыхъ, кухарокъ и извощиковъ; не мудрено: его трудами поддерживалось существованіе стараго, больного отца — ремесленника, изъ вольноотпущенныхъ, давалась помощь его матери — кухаркѣ, его брату — извощику!.. Ему ли было отдѣляться отъ героевъ своихъ произведеній и стараться объективировать ихъ! Ему ли было заботиться о *вынашиваніи* въ душѣ своихъ образовъ, объ изящности ихъ отдѣлки! Будь какая угодно артистическая натура, но трудно усадить въ живописное положеніе больного отца, чтобы съ него нарисовать изящный портретъ нищаго старика; трудно томить его голодомъ, чтобы, смотря на его страданія, *выносить* въ душѣ образъ голодной бѣдности и потомъ съ эпическимъ спокой-

---

[1]) Одно изъ любимыхъ выраженій въ терминологіи тогдашнихъ эстетиковъ.

[2]) Также.

ствіемъ выставить его на показъ міру. Нищета семейная, безотрадное, насущное, сосущее горе, въ какомъ проходила жизнь Кокорева, мало благопріятствуетъ ровному и спокойному теченію мыслей“ [1])...

Въ другой разъ Добролюбовъ обратился къ вопросу о литературныхъ изображеніяхъ народной жизни по поводу „Повѣстей и разсказовъ“ Славутинскаго [2]). Оспаривая упомянутыя мнѣнія прежней критики о невозможности достигать эстетическаго эффекта въ изображеніяхъ быта, мало подчиняющагося эффекту, онъ излагалъ тогдашнее положеніе этой отрасли литературы слѣдующимъ образомъ.

Въ первыхъ пятидесятыхъ годахъ, наша литература была наводнена разсказами изъ народнаго быта. Кромѣ той московской группы, о которой мы говорили, явился цѣлый рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ разсказчиковъ. Въ тоже время высказалась и та точка зрѣнія, что истина простонароднаго быта непримирима съ „незыблемыми“ законами искусства. Добролюбовъ одинаково несочувственно относился и къ той литературѣ, еще слишкомъ поверхностно относившейся къ народу, и къ тому эстетическому взгляду. Размноженіе народныхъ разсказовъ онъ объяснялъ просто тѣмъ, что въ тѣ годы усиленнаго стѣсненія литературы это была безвредная тема. Въ тѣ годы (начало 50-хъ),—говорилъ онъ (въ 1860),—„о крестьянскомъ вопросѣ не было и помину, слѣдовательно разсказы о жизни крестьянъ (разумѣется, безъ всякаго отношенія къ ихъ юридическимъ правамъ или, правильнѣе сказать, обязанностямъ) никого не могли задѣвать за живое, никому не досаждали. А все другое въ то время казалось очень сомнительнымъ и встрѣчалось съ большимъ недоброжелательствомъ извѣстною частью публики, отъ которой преимущественно зависитъ процвѣтаніе русской литературы“ (т.-е цензурою). Тогда обратились къ мужику. „За нѣсколькими писателями, дѣйствительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись цѣлыя толпы такихъ сочинителей, которымъ до народа и дѣла-то никогда не было“. Но по всему тогдашнему положенію литературы, „къ мужикамъ приступали тогда съ тою же манерою, какъ и ко всѣмъ другимъ членамъ общества, т.-е. заставляли ихъ постоянно прикидываться непомнящими родства. Какъ мужикъ съ своей деревней связанъ, кѣмъ управляется, какія повинности несетъ, чей онъ и какъ съ бариномъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ или исправникомъ вѣдается —это вы могли открыть весьма въ рѣдкихъ случаяхъ, — именно, когда попадался вамъ идеальный управляющій, какъ въ

[1]) Сочиненія Добролюбова, т. 2, стр. 504.
[2]) Тамъ же, т. 3, стр. 229 и слѣд.

„Крестьянкѣ“ [1]), или какъ въ „Лѣшемъ“ [2]), напримѣръ... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повѣствователями, а бралось, безъ дальнихъ справокъ, сердце человѣческое, а такъ какъ для него ни чиновъ, ни богатствъ не существуетъ, то и изображалась его чувствительность у крестьянъ и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини простонародныхъ разсказовъ сгорали отъ пламенной любви, мучились сомнѣніями, разочаровывались—совершенно такъ же, какъ „Тамаринъ“ г. Авдѣева или „Русскій Черкесъ“ г. Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что вмѣсто: „я тебя страстно люблю; въ это мгновеніе я радъ отдать за тебя жизнь мою“, они говорили: „я тея страхъ какъ люблю; я таперича за тея жисть готовъ отдать“. А впрочемъ, все обстояло, какъ слѣдуетъ быть въ благовоспитанномъ обществѣ: у г. Писемскаго одна Маѳуша даже въ монастырь ушла отъ любви, не хуже Лизы „Дворянскаго Гнѣзда“.

Въ виду этого Добролюбовъ иронически соглашался съ мнѣніемъ эстетической критики о несоединимости истины простонароднаго быта съ требованіями искусства. „И дѣйствительно: законы искусства требуютъ, чтобы въ повѣсти или драмѣ строго и естественно развивалось содержаніе само изъ себя и представляло внутреннюю борьбу въ человѣкѣ какихъ-нибудь двухъ началъ; а жизнь нашихъ мужиковъ совершенно зависитъ отъ случайностей разнаго рода—отъ наѣзда станового, отъ расположенія духа управляющаго, отъ болѣзни барской собаки или лошади, отъ нетрезвости земскаго и т. п., и кромѣ того—внутренней борьбы въ нихъ никакой нѣтъ, потому что они, видите ли, находятся еще въ первобытной непосредственности“. Что прикажете дѣлать искусству въ такомъ затруднительномъ случаѣ?

Но дѣло совершенно измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ крестьяскій вопросъ былъ поставленъ правительствомъ и сталъ предметомъ серьезнаго вниманія общества.

„Крестьянскій вопросъ заставилъ всѣхъ обратить вниманіе на отношенія помѣщиковъ и крестьянъ. Литература хотѣла тотчасъ принять посильное участіе въ разрѣшеніи вопроса и, между прочимъ, принялась-было за путь беллетристической обработки существующихъ фактовъ. Но вскорѣ было соображено, что въ минуту серьезнаго и мирнаго разсужденія о дѣлѣ, неделикатно болтать о фактахъ, выставляющихъ одну сторону въ нехорошемъ видѣ и могущихъ раздражать ее напоминаніями прошлаго, которое довольно скоро уже кончится. Итакъ, этотъ предметъ былъ беллетристикою оставленъ въ

[1]) Потѣхина.
[2]) Писемскаго.

покоѣ: но не могла быть оставлена безъ вниманія жизнь крестьянъ и существующія условія ихъ быта. Разъясненіе этого дѣла стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени. Безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взглядъ общества на народъ сталъ серьезнѣе и осмыслился нѣсколько просто отъ предчувствія той дѣятельной роли, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появились и разсказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родѣ, нежели какіе являлись прежде".

Эти разсказы другого рода характеризуются книгой Славутинскаго. Въ этомъ авторѣ Добролюбовъ не видѣлъ особенной силы художественнаго таланта: многимъ изъ прежнихъ писателей онъ очень уступаетъ въ этомъ, но имѣетъ передъ ними другое преимущество. „Онъ имѣетъ ту особенность, что говоритъ постоянно такъ, какъ взрослый человѣкъ долженъ говорить съ взрослыми людьми о серьезномъ дѣлѣ. Онъ не подлаживается ни къ читателямъ, ни къ народу, не старается, примѣняясь къ нашимъ понятіямъ, смягчить передъ нами грубый колоритъ крестьянской жизни, не усиливается непремѣнно создавать идеальныя лица изъ простого быта. Онъ не считаетъ нужнымъ и щегольнуть сочувствіемъ къ простому классу, которое съ такимъ самодовольствомъ старались выставить на показъ нѣкоторые изъ прежнихъ, даже талантливыхъ писателей"... Напротивъ, новый авторъ обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаетъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но не смотря на то признаемся, эти разсказы гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилліи прежнихъ разсказчиковъ. Тѣ, бывало, смотря на народъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они разсчитывали возбудить въ читателяхъ сожалѣніе, благосклонность къ низшему сословію, и трактовали его съ той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходитъ отъ увѣренности въ неизмѣримомъ превосходствѣ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими дѣтьми, больными, сумасшедшими... Такое обращеніе бываетъ, впрочемъ, ужасно обидно для дѣтей, начинающихъ приходить въ сознаніе, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными... Не особенно пріятно было и подобное отношеніе писателей къ народу для людей, дѣйствительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого-то и пріятно видѣть то мужественное, прямое и строгое воззрѣніе

на простой народъ, какое выражается въ этихъ разсказахъ. Авторъ говоритъ о мужикѣ просто какъ о своемъ братѣ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нѣтъ, и вотъ чтó съ нимъ случается, и почему. Читая такой разсказъ, и дѣйствительно становишься въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимать естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, разсказываемыхъ авторомъ. И не смотря на то, что многое признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣнить этихъ людей, нежели по прежнимъ сахарнымъ разсказамъ: тамъ было высокомѣрное снисхожденіе, а здѣсь *вѣра въ народъ*".

Эта „вѣра въ народъ" и была именно тѣмъ господствующимъ началомъ, которое лежало въ основѣ общественныхъ и литературныхъ взглядовъ новой критики. Относительно прежней литературы о народѣ, Добролюбовъ прибавляетъ еще одно замѣчаніе: „Впрочемъ, —говоритъ онъ вслѣдъ за этимъ,—приторное любезничанье съ народомъ и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не отъ пренебреженія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія его. Внѣшняя обстановка быта, формальныя, обрядовыя проявленія нравовъ, обороты языка доступны были этимъ писателямъ, и многимъ давались довольно легко. Но внутренній смыслъ и строй всей крестьянской жизни, особый складъ мысли простолюдина, особенности его міросозерцанія—оставались для нихъ по большей части закрытыми. Вотъ отчего нерѣдко писатели, даже хорошо изучившіе народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, зародившуюся въ ихъ головѣ и обязанную своимъ началомъ вовсе не народному быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели".

Слѣдуютъ примѣры. Выходила „народность"—въ томъ родѣ, какъ нѣкогда у Нелединскаго-Мелецкаго и Дельвига; въ тогдашнихъ пѣсенкахъ разсказывалось, какъ дѣвица по цѣлымъ днямъ сидитъ въ грусти на бережку, поджидаючи милаго, а добрый молодецъ, котораго „погубили злые толки", хочетъ отъ нихъ въ лѣсъ бѣжать. „Авторы,—говоритъ Добролюбовъ,—очевидно, не предполагали, что у красной дѣвицы есть работа дома, либо на полѣ, и что если молодецъ убѣжитъ въ лѣсъ, то его поймаютъ, и съ нимъ поступлено будетъ, какъ съ бродягою". Подобнымъ образомъ въ эпоху простонародныхъ повѣстей (въ первыхъ 50-хъ годахъ) было въ ходу „постановленіе собственнаго *я* въ разрѣзъ съ окружающей дѣйствительностью", и подобная тема переносилась цѣликомъ въ крестьянскіе нравы—въ видѣ любви къ неровнѣ и т. п., и готова была романтическая исторія изъ народнаго быта. Талантливый разсказъ и вѣрно скопированныя бытовыя черты часто скрывали отъ читателя натянутость

самой темы,—но не могли все-таки дать этимъ произведеніямъ прочнаго значенія. Эта натянутость тогдашнихъ повѣстей и романовъ изъ народнаго быта, по словамъ Добролюбова, происходила отъ двухъ причинъ—„частію отъ робости авторовъ, боявшихся выставлять цѣликомъ всю жизнь простонародья, какъ она есть, частію же прямо отъ непониманія внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ другимъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому, только съ обращеніемъ бо́льшаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ уясненіемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно было ожидать болѣе полнаго и жизненнаго, естественнаго воспроизведенія народнаго быта въ литературѣ“. Возвращаясь въ заключеніи статьи къ эстетическому вопросу, Добролюбовъ находилъ, что „требованія искусства“ могутъ не сходиться съ „правдой народной жизни“ только по недостатку или фальшивому употребленію таланта или по недостатку чутья къ народной жизни, а вовсе не по существу самаго дѣла, и что, „если ужъ выбирать между искусствомъ и дѣйствительностью, то пусть лучше будутъ неудовлетворяющіе эстетическимъ теоріямъ, но вѣрные смыслу дѣйствительности разсказы, нежели безукоризненные для отвлеченнаго искусства, но искажающіе жизнь и ея истинное значеніе“.

Итакъ, *вѣра въ народъ*, но и *свободное критическое изученіе* его—былъ выводъ Добролюбова [1]). Онъ замѣчателенъ исторически тѣмъ, что отмѣчаетъ дѣйствительный переломъ, который долженъ былъ начаться, и въ самомъ дѣлѣ начался, какъ въ художественномъ изображеніи народа, такъ и вообще въ отношеніи къ нему литературы. Новый взглядъ развился потомъ въ цѣлое литературное явленіе.

Въ тѣхъ мысляхъ, которыя особенно рельефно были высказаны Добролюбовымъ, заключались всѣ лучшія стороны позднѣйшаго народничества, какъ горячаго желанія узнать народъ и служить его дѣлу, и не заключались его худшія стороны, какъ напримѣръ то неразумное самомнѣніе, которое приводило многихъ „народниковъ“ къ отрицанію европейскаго просвѣщенія и гражданственности во имя мнимаго народнаго принципа.

Мы скажемъ далѣе, какъ сложилась впослѣдствіи эта послѣдняя странная точка зрѣнія, и отмѣтимъ здѣсь только дальнѣйшее развитіе собственно литературныхъ изображеній народа, развитіе литературнаго стиля. Тотъ поворотъ въ этомъ стилѣ, который наступалъ съ эпохи освобожденія и который отличался первымъ дѣйствительно-реальнымъ отношеніемъ къ народному быту, не нуждавшимся ни

[1]) Его понятія о народѣ изложены подробно также въ статьѣ „Черты изъ жизни русскаго простонародья“ — по поводу Марка Вовчка (Сочин., т. 3, стр. 370—441), въ статьяхъ объ Островскомъ и др.

въ прикрасахъ, ни въ умолчаніяхъ, очевидно долженъ былъ съ теченіемъ времени все усиливаться. Дѣйствительно, чѣмъ дальше развивался разсказъ изъ народнаго быта, тѣмъ болѣе сказывалось въ немъ этнографическаго знанія и вмѣстѣ стремленія точнѣе передать общественныя стороны народнаго быта. У первыхъ разсказчиковъ, которые выступили въ литературѣ наканунѣ реформы (какъ Григоровичъ, Потѣхинъ, Писемскій), и новаго ряда ихъ, который началъ дѣйствовать одновременно съ нею (Слѣпцовъ, Николай Успенскій, Славутинскій и пр.), было несравненно меньше того знанія народной жизни, какое мы видимъ теперь не только у такихъ спеціалистовъ народной повѣсти какъ Глѣбъ Успенскій, Златовратскій, Эртель, Наумовъ и др., но даже у второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей этой категоріи. Вопросы о народѣ разбирались въ литературѣ такъ настойчиво, наиболѣе талантливые и наблюдательные писатели такъ раздвинули рамки и подробности картинъ, что для новыхъ дѣятелей въ этой области становилось обязательнымъ гораздо болѣе внимательное изученіе, чѣмъ дѣлалось когда-нибудь прежде. Къ движенію чисто литературному присоединилось движеніе общественнаго характера, отразившееся съ своей стороны на литературномъ изображеніи народа. Мы говоримъ о такъ называемомъ „хожденіи въ народъ". Это явленіе, до сихъ поръ вполнѣ невыясненное, было во всякомъ случаѣ чрезвычайно любопытнымъ симптомомъ нашей общественной жизни шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Замѣтимъ прежде всего, что оно имѣло нѣсколько различныхъ формъ и исходило изъ различныхъ побужденій. Всего чаще полагаютъ (и это не однажды изображалось въ литературѣ, какъ напр. въ „Нови" Тургенева), что оно имѣло политическую подкладку и имѣло въ виду цѣли революціонныя и бунтовскія. Примѣры тому дѣйствительно бывали и оказывались безплодны и только фатальны для самихъ дѣятелей; но движеніе далеко не исчерпывается этими примѣрами и напротивъ гораздо многочисленнѣе были случаи, гдѣ „хожденіе въ народъ" имѣло характеръ мирнаго движенія съ задачами общественными и экономическими.

Рѣшеніе крестьянскаго вопроса было столь великимъ переворотомъ, что современники не могли угадать всего объема его послѣдствій,— послѣдствій общественныхъ, когда съуживалось значеніе привилегированнаго, нѣкогда вполнѣ господствовавшаго надъ другими, сословія и получала извѣстную полноправность громадная народная масса; послѣдствій экономическихъ, когда огромное большинство мелкихъ землевладѣльцевъ, теряя даровой крестьянскій трудъ, было совершенно выбито изъ традиціонной колеи и должно было искать себѣ новаго экономическаго поприща, какъ средства существованія; нако-

нецъ послѣдствій нравственныхъ. Тѣ прославленія, которыми сопровождалась реформа, вовсе не были только привычнымъ оффиціальнымъ панегирикомъ, какой ведется у насъ изстари, иногда вовсе не высказывая дѣйствительнаго настроенія; напротивъ, здѣсь несомнѣнно въ большой долѣ участвовало глубокое чувство нравственнаго удовлетворенія. Понятно, что прямымъ выводомъ изъ этого настроенія для тѣхъ, у кого оно было искренно, должна была стать перемѣна въ отношеніи къ народу: мѣсто прежняго высокомѣрнаго отчужденія должно было заступить сближеніе и примиреніе, и когда притомъ положеніе значительной, даже наибольшей части прежняго землевладѣльческаго класса совершенно измѣнилось въ отношеніи общественномъ и экономическомъ, очевидно должна была наступить для нея новая форма труда, общественныхъ стремленій и самыхъ идеаловъ. Отсюда шли тѣ различныя движенія, которыми наполняются первые шестидесятые года; въ свое время большею частью не понятыя и даже оклеветанныя, онѣ однако были вполнѣ естественнымъ результатомъ даннаго положенія и заключали въ себѣ здоровые элементы, которые имѣли все право на поддержку и обѣщали благотворные результаты въ будущемъ. Таково было основаніе воскресныхъ и безплатныхъ школъ, которыми образованный классъ стремился помочь темнотѣ народной массы; таковы были усилія основать высшее женское образованіе: въ практическомъ смыслѣ оно должно было доставить средства къ заработку для тѣхъ женщинъ, которыя не нуждались или гораздо меньше нуждались въ немъ прежде въ среднемъ и мелкомъ дворянскомъ быту [1]). Къ разряду тѣхъ же явленій принадлежало „хожденіе въ народъ“, которое съ одной стороны было выраженіемъ идеалистическаго стремленія сблизиться съ народомъ, впервые равноправнымъ, а съ другой—и желаніемъ найти и для себя достойный трудъ въ его средѣ.

Въ послѣдніе годы одинъ изъ нашихъ критиковъ, опредѣляя источники народолюбія въ нашей литературѣ и обществѣ, приписывалъ его „раскаявшемуся дворянину“. Другой критикъ, опредѣляя народолюбивыя стремленія славянофильства въ лицѣ Константина Аксакова, противополагалъ его народолюбію западниковъ, такимъ образомъ, что у послѣднихъ источникъ его „кроется въ чувствѣ *жалости* нравственно чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и въ чувствѣ *раскаянія*, которое испытывали „сыны народнаго бича“ при мысли о своей причастности грѣху вѣкового угнетенія крѣпостного раба“, что когда

[1]) Статистическія цифры различныхъ высшихъ женскихъ курсовъ постоянно указывали, что огромное большинство слушательницъ бывало изъ дворянскаго сословія.

въ началѣ сороковыхъ годовъ стали приходить въ намъ „филантропическія“ идеи, т. е. идеи соціальныя, пробуждавшія сильное общественное чувство, оно направилось прежде всего на низшіе угнетенные классы и народолюбіе стало „желаніемъ выяснить, что крѣпостной рабъ есть тоже человѣкъ и что, слѣдовательно, его страданія должны быть облегчены“; между тѣмъ источникъ народолюбія славянофильскаго былъ діаметрально противоположный. Константину Аксакову мужикъ былъ дорогъ главнымъ образомъ, какъ хранитель истинно русскихъ преданій; не потому онъ любилъ мужика, что это былъ нашъ меньшій братъ, а потому, что видѣлъ въ немъ живой обломокъ дорогого ему древне-русскаго быта. Поэтому-то Аксаковъ, „совершенно закрывая глаза на реальную дѣйствительность и на тѣ печальныя условія, среди которыхъ протекала жизнь крѣпостного мужика, изображалъ ее въ такихъ оптимистическихъ краскахъ“, въ какихъ напр. онъ изображаетъ даже положеніе крѣпостного мужика въ своей пьесѣ „Князь Луповицкій“ [1]. Не будемъ выбирать, какая изъ двухъ точекъ зрѣнія предпочтительнѣе; не будемъ разбирать также, дѣйствительно ли только чувство жалости и раскаянія (чувства слишкомъ субъективныя) руководили народолюбіемъ круга Бѣлинскаго сороковыхъ годовъ и позднѣе, и не присоединялось ли къ этимъ чувствамъ и болѣе глубокихъ основаній въ цѣломъ общественномъ пониманіи: едва ли сомнительно, что въ общественномъ смыслѣ была дѣйствительнѣе и вліятельнѣе та точка зрѣнія, которая исходила не изъ поэтизированной археологіи, а изъ оцѣнки настоящихъ отношеній народной жизни. Эта послѣдняя оцѣнка проявлялась теперь и въ томъ взглядѣ на освобождаемую народную массу, какой мы видѣли у Добролюбова и который распространялся тогда въ значительной долѣ общества, а также молодыхъ поколѣній; но, какъ далѣе увидимъ, распространялся съ извѣстными новыми оттѣнками и взглядъ К. Аксакова или слявянофильскій: отношеніе къ народу было не только идеалистическое съ реальной основой, но и съ основой мечтательной, фантастической. Это послѣднее и произвело впослѣдствіи то, что́ въ тѣсномъ смыслѣ было названо „народничествомъ“.

Такъ или иначе, въ разныхъ степеняхъ и оттѣнкахъ указанныхъ здѣсь воззрѣній, интересъ къ пароду въ значительной части, быть можетъ, большинства литературы становился господствующимъ, обязательно подразумѣваемымъ. Когда нашелся писатель съ сильнымъ дарованіемъ, особливо способностью разнообразнаго наблюденія, онъ

[1] Ник. Михайловскій и С. Венгеровъ (Критико-біографическій Словарь, стр. 239—241).

быстро сталъ популярнымъ: это былъ Глѣбъ Успенскій. Не задавали себѣ вопроса, какой собственно выводъ слѣдуетъ изъ приводимыхъ имъ картинъ; но наблюденіе было разнообразно, часто мѣтко, и этого было довольно: постоянно возбуждалось и поддерживалось вниманіе къ вопросу, который являлся основнымъ и капитальнымъ. Господство этого интереса было таково, что изъ-за него забывались самыя требованія художественности. Объ нихъ очень мало думалъ писатель, какъ Рѣшетниковъ, у котораго въ его первой и лучшей повѣсти нашлись поразительныя картины бѣдственнаго быта; объ эстетическихъ требованіяхъ мало думалъ и читатель. Это не было, конечно, правиломъ; но появлялась мысль, что забота о художественной отдѣлкѣ есть роскошь и что нужна одна только реальная правда. Такая мысль была у Рѣшетникова плодомъ нѣсколько грубаго демократизма, перенесеннаго изъ житейскихъ понятій на искусство. Любопытно, что одновременно подобная мысль возникала и въ совершенно иной сферѣ, въ понятіяхъ писателя, знаменитаго высокимъ художественнымъ достоинствомъ его произведеній, у графа Л. Н. Толстого. Какъ извѣстные народолюбивые идеалисты стремились „опроститься", полагая этимъ достигнуть цѣли своихъ безпокойныхъ исканій, такъ тоже самое оказывалось въ литературѣ: одинъ изъ величайшихъ ея писателей отказывался, находя это излишнимъ, писать художественныя произведенія для развлеченія избалованныхъ и испорченныхъ читателей и рѣшался писать только для простыхъ читателей изъ народа на доступныя имъ темы и доступнымъ для нихъ языкомъ, намѣренно избѣгая того, что́ называютъ художествомъ, — потому что самое художество есть роскошь, а, главное, „ложь". Это былъ крайній предѣлъ, до котораго могло дойти стремленіе сдѣлать литературу служеніемъ народу и вмѣстѣ его вѣрнымъ изображеніемъ. Каково бы ни было теоретическое достоинство разсужденія, приводившаго къ такому выводу, во всякомъ случаѣ было оригинально и невиданно пріобрѣтеніе литературнаго стиля. „Власть тьмы", которая изумительнымъ образомъ проникла на сцену любителей въ аристократическомъ кругу, была относительно стиля высшимъ пунктомъ, до какого достигъ народный реализмъ изображенія и языка [1]).

Вслѣдъ за Л. Н. Толстымъ стала складываться группа писателей изъ народнаго быта, которая старалась примѣнить тотъ же самый пріемъ: нѣкоторыя ихъ произведенія любопытны простотой разсказа и замѣчательной точностію въ изображеніяхъ народной жизни; быть можетъ, имъ недостаетъ иногда бездѣлицы—поэтическаго интереса.

---

[1]) Ср. книжку г. Скабичевскаго: „Беллетристы-народники. Критическіе очерки". Спб. 1888.

Но въ цѣломъ и независимо отъ этого стремленія къ фотографіи,— которая можетъ быть удачна только въ рукахъ большого таланта,— въ цѣломъ составѣ нашей литературы, какъ результатъ весьма различныхъ теченій, выработалась замѣчательная степень совершенства въ изображеніи народной жизни и въ мастерствѣ языка. Независимо отъ указанныхъ новѣйшихъ возбужденій, этимъ совершенствомъ обладаютъ и произведенія старыхъ писателей, воспитавшихся въ иную пору, подъ иными вліяніями. Назовемъ Островскаго, у котораго изображенія „Темнаго царства“ были настоящимъ литературнымъ открытіемъ; его историческія драмы были замѣчательными опытами реставраціи народной старины; въ одной изъ послѣднихъ его пьесъ („Снѣгурочка“) съ большимъ искусствомъ приведена въ дѣйствіе даже старая народная миѳологія. Назовемъ наконецъ Салтыкова: эпизодическія картины народной жизни воспроизведены у него съ тѣмъ же неизмѣннымъ совершенствомъ, съ какимъ онъ передаетъ бытъ и нравы всякихъ иныхъ слоевъ общества; онъ не былъ народолюбцемъ въ новѣйшемъ стилѣ, но послѣднее его произведеніе было замѣчательнѣйшей картиной стараго крѣпостного быта, какая только являлась въ нашей литературѣ и гдѣ судьбѣ подневольнаго народа посвящены многія глубокія страницы. Здѣсь, мимо новѣйшихъ народолюбивыхъ движеній, намъ вспомнится снова благородный идеализмъ сороковыхъ годовъ.

ГЛАВА XII.

Народничество.

Реакціонный поворотъ послѣ реформъ. — Разладъ въ общественномъ мнѣніи и отраженіе его на литературѣ о народѣ.—Вопросъ о „деревнѣ".—Теорія народничества.—Новѣйшая народническая беллетристика.

„Народничество", о которомъ говорилось такъ много въ 1870—80-хъ годахъ, есть нѣчто весьма неясное, не легко опредѣлимое, произвольное; „народниками" называютъ себя (и называются другими) люди, очень мало похожіе, даже вовсе непохожіе другъ на друга: люди съ очень опредѣленными прогрессивными мнѣніями, и люди, заявляющіе себя на каждомъ словѣ спеціальными друзьями народа, и, однако, проповѣдующіе нѣчто близкое къ настоящему обскурантизму. Литературная фракція, которая въ особенности приписываетъ себѣ знаніе народа и вѣрнѣйшее истолкованіе его мыслей, отличается едва ли не наибольшей спутанностью понятій. Она считаетъ свои взгляды именно самоновѣйшимъ принципомъ, разрѣшающимъ всѣ вопросы о народѣ; съ замѣчательнымъ самодовольствомъ она изобличаетъ всякія противныя мнѣнія, противополагая себѣ и „бюрократизмъ", и „либерализмъ", смѣшивая ихъ въ одну кучу, иной разъ нападая на славянофиловъ, и рядомъ—совпадая съ „Моск. Вѣдомостями" (Катковскихъ временъ).

Какимъ образомъ могло произойти, что среди ревностно заявляемыхъ привязанностей къ народу могло появиться направленіе, соединяющее такія странныя свойства? Объясненія этого вопроса надобно искать во всемъ ходѣ недавней и современной общественной исторіи, которая, однако, не удобно поддается опредѣленіямъ. Не принимая на себя этой задачи, отмѣтимъ лишь нѣсколько фактовъ изъ ближайшей литературной области.

Тотъ порывъ общественнаго увлеченія, который наполнялъ первые годы прошлаго царствованія, былъ весьма непродолжителенъ. Уже тогда можно было замѣчать, сколько въ немъ непрочнаго и шаткаго. Новое, повидимому, очень либеральное настроеніе тѣхъ годовъ было подготовлено слишкомъ тяжелыми годами разочарованій Крымской войны: всѣмъ, и самой власти, было тогда ясно, что прежній порядокъ вещей несостоятеленъ, что государству, какъ обществу и народу, нуженъ иной путь для того, чтобы ихъ силы стали дѣйствительными, а не предполагаемыми — даже для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ. Затѣмъ, слухи о реформахъ, начало ихъ подготовленія, поддерживали это настроеніе, въ теченіе котораго естественно выдались въ оживившейся литературѣ именно тѣ голоса и мнѣнія, которые сочувствовали обновленію общества и еще гораздо ранѣе видѣли его необходимость. Этому настроенію подчинились — даже болѣе или менѣе искренно—и тѣ, кто, собственно говоря, былъ мало приготовленъ или расположенъ къ либеральному взгляду на вещи... Но долго подобное настроеніе удержаться не могло, особенно, когда— по совершеніи реформъ — наступило въ самой правительственной области извѣстное затишье, а затѣмъ и отступленіе. Какъ только стало оно замѣчаться, отъ новаго взгляда на общественныя дѣла отпали всѣ люди безхарактерные, неубѣжденные или неискренніе,— и напротивъ, „подняли голову", какъ нынче говорятъ, люди, которые съ самаго начала были врагами всякихъ нововведеній, но до времени молчали... Одною изъ характерныхъ особенностей въ дѣятельности Добролюбова было именно его чуткое отношеніе къ подобнымъ проявленіямъ общественности, гдѣ его негодующее остроуміе направлялось противъ фальши, лицемѣрія и недодуманности, которыхъ въ самомъ началѣ было не мало въ либеральныхъ заявленіяхъ, и которыя не обѣщали ихъ прочности...

Не будемъ разсказывать, какъ мало-по-малу измѣнилось направленіе самой правительственной власти, подъ вліяніемъ внутреннихъ волненій, польскаго возстанія, а главное, подъ вліяніемъ того, что въ общей массѣ нашего гражданскаго развитія былъ еще слишкомъ не великъ запасъ просвѣщенныхъ силъ, которыя могли дать прочную основу требованіямъ реформы; донынѣ, почти черезъ тридцать лѣтъ послѣ реформы, она еще не примирила своихъ враговъ. Много ихъ было и въ пору самаго освобожденія, между прочимъ, въ средѣ лицъ съ самымъ значительнымъ положеніемъ. Ихъ вліяніе не замедлило обнаружиться. Мы не станемъ перечислять фактовъ. Съ шестидесятыхъ годовъ общественная жизнь испытала постепенный упадокъ настроенія, создавшаго реформы, и этотъ упадокъ уже вскорѣ отразился на самыхъ учрежденіяхъ. Напомнимъ лишь, какимъ огра-

ничеаніямъ подверглись въ 60-хъ и 70-хъ годахъ не только крестьянская, но и всѣ другія реформы, судебная, земская, законъ о печати и проч., и въ частности, относительно крестьянскаго дѣла приведемъ нѣсколько словъ писателя, который самъ былъ глубоко убѣжденнымъ приверженцемъ и, частію, дѣятелемъ этой реформы, и по самой умѣренности своихъ взглядовъ, можетъ считаться компетентнымъ наблюдателемъ нашего внутренняго быта послѣднихъ десятилѣтій.

„Давно и много жалуются у насъ на недостатокъ свободы печати, который существенно мѣшаетъ правильному и здоровому росту русской мысли, литературы, науки и искусства,—говорилъ Кавелинъ.— Но ни въ чемъ этотъ недостатокъ не принесъ столько зла, какъ по крестьянскому вопросу. Благодаря невольнымъ умолчаніямъ или совершенному молчанію, у насъ до сихъ поръ нѣтъ правильнаго, спокойнаго, безпристрастнаго взгляда на этотъ предметъ. Полезныя, вполнѣ безвредныя и безобидныя мысли не могли высказаться, а явно ошибочныя и пристрастныя, отвергаемыя всѣмъ ходомъ русской исторіи, наукой и опытомъ, чужимъ и нашимъ, напротивъ, пользовались въ печати совершенной свободой и высказывались подъ-часъ такъ откровенно и торжествующе, что невольно думалось, будто они пользуются, со стороны цензурнаго вѣдомства, особеннымъ благоволеніемъ и покровительствомъ. Такое предположеніе, конечно, было неосновательно, ему противорѣчило все наше законодательство, перестроившее съ 1861 года нашъ гражданскій бытъ; но разладъ между законодательною дѣятельностью и цензурными распоряженіями поддерживалъ недоумѣнія относительно истиннаго смысла и значенія крестьянскаго вопроса въ Россіи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ было не спутаться, не сбиться съ толку, когда Положенія 1861 года 19 февраля и цѣлый рядъ послѣдующихъ преобразованій признали крестьянъ граждански свободными, а говорить въ печати съ сочувствіемъ о крестьянахъ считалось неблаговиднымъ, приводить доводы въ пользу общиннаго владѣнія, котораго великорусскіе крестьяне до сихъ поръ цѣпко держатся, было чуть-чуть не равнозначительно съ провозглашеніемъ коммунистическихъ теорій; доказывать, что крестьянскіе земельные надѣлы недостаточны, что лежащія на крестьянахъ подати и повинности обременительны, что необходимо допустить и организовать переселеніе крестьянъ изъ малоземельныхъ губерній — значило заявлять себя политически неблагонадежнымъ!..

„У огромнаго большинства владѣльцевъ, не сочувствовавшихъ отмѣнѣ крѣпостного права въ томъ видѣ, какъ она совершилась, и у весьма значительнаго числа административнаго персонала, все

болѣе и болѣе пополнявшагося недовольными этой реформой, возродилась, благодаря этому обстоятельству, надежда, что если новыя законоположенія и не будутъ совершенно отмѣнены, то, по крайней мѣрѣ, на дѣлѣ будутъ допущены существенныя отступленія отъ ихъ духа и буквы. Горячія желанія и надежды такого рода, казалось, были не совсѣмъ напрасны. Гдѣ только можно было, Положенія 19 февраля и послѣдующія крестьянскія законоположенія примѣнялись не въ пользу крестьянъ, а въ пользу владѣльцевъ; укрѣпленіе за крестьянами земель, купленныхъ въ прежнее время на ихъ деньги, часто отклонялось подъ самыми ничтожными предлогами; надѣлы отводились, вопреки смыслу Положеній, къ невыгодѣ крестьянъ и къ выгодѣ владѣльцевъ; выкупные платежи и оброки взыскивались съ безпощадною и разорительною строгостью, причемъ не обращалось никакого вниманія на обстоятельства, дѣлавшія разсрочку или отсрочку не только справедливой, но и необходимой, въ видахъ сохраненія платежныхъ силъ крестьянъ на будущее время. Всякіе пріемы, съ цѣлью обмануть крестьянъ при отводѣ имъ надѣла, по возможности стѣснить ихъ, установить экономическую ихъ зависимость отъ владѣльцевъ, не только считались позволенными, но владѣльцы и управляющіе ими гордились и хвастали. Незамѣтное, почтенное меньшинство помѣщиковъ и должностныхъ лицъ, не сочувствовавшихъ такому обороту крестьянскаго дѣла, мало-по-малу устранились или были устранены отъ всякаго въ немъ участія...

„Взглядъ на нашъ сельскій людъ какъ на простой народъ, чернь въ европейскомъ смыслѣ, имѣетъ у насъ тоже своихъ энтузіастовъ. Мы слыхали, что въ Европѣ чернь представляетъ безпокойную массу людей, недовольныхъ своимъ положеніемъ, готовыхъ, при малѣйшей искрѣ, обратиться въ огнедышащій волканъ, опасный для государства и существующихъ въ немъ порядковъ; что массы народныя — элементъ вѣчнаго движенія, которому, чтобы удерживать его въ границахъ, необходимо противопоставить оплотъ консервативныхъ силъ, каковыми являются крупное землевладѣніе, капиталъ и высшая интеллигенція. Нашлись люди, которые цѣликомъ перенесли и это воззрѣніе на нашъ деревенскій людъ. На этомъ воззрѣніи построены, напримѣръ, удивительныя политическія комбинаціи генерала Фадѣева, въ книгѣ: „Чѣмъ намъ быть“. По его мнѣнію, наше крестьянство— клокочущій кратеръ, готовый каждую минуту произвести взрывъ и разрушить нашъ политическій и государственный строй. До такихъ поразительныхъ нелѣпостей, сколько намъ извѣстно, никто еще у насъ не договаривался, за исключеніемъ сотрудниковъ и покровителей газеты „Вѣсть“. Генералу Фадѣеву принадлежитъ безспорно честь,

что онъ, изъ ошибочной предпосылки, логически вывелъ ея крайнія послѣдствія" [1]).

Все это отразилось и на литературѣ. Наша литература не поддерживается вліяніемъ общества, другими словами, литература—въ своихъ лучшихъ силахъ и трудахъ — является выраженіемъ столь незначительной доли общества, именно болѣе просвѣщенной, что она находится вполнѣ во власти обстоятельствъ. Она можетъ оживиться, когда обстоятельства сложатся благополучно; можетъ, даже при сохраняющейся наличности своихъ обыкновенныхъ силъ, зачахнуть и упасть, если время стоитъ неблагопріятное... Какъ извѣстно, со времени наступившей реакціи принималось много суровыхъ мѣръ; много изданій совсѣмъ прекратили свое существованіе, каждый разъ прерывая, на время или даже совсѣмъ, дѣятельность многихъ талантливыхъ писателей и во всякомъ случаѣ стѣсняя остальныхъ. Общественная мысль живуча,—потому что остаются неистребимыми ея источники,—но временно она можетъ быть подавлена и устранена: примѣры мы видѣли, въ послѣднія десятилѣтія, даже у народовъ, несравненно болѣе просвѣщенныхъ и граждански развитыхъ,— удивительно ли, что въ нашихъ условіяхъ устраненіе литературы и общественнаго мнѣнія могло быть весьма дѣйствительное. Внѣшнее стѣсненіе литературы отразилось ослабленіемъ именно критическаго элемента, и за его отсутствіемъ или недостаточностью начался тотъ „разбродъ" мнѣній, который замѣтила и самая заурядная публицистика, — не постигая (или дѣлая видъ, что не постигаетъ) его причинъ и взваливая его на самую же литературу.

Но рядомъ съ этимъ происходило другое явленіе въ предѣлахъ самой литературы. Мы видѣли, что уже критика Добролюбова отмѣчала рѣзкій поворотъ въ самомъ пріемѣ наблюденія народной жизни— съ тѣхъ поръ, какъ поставленъ былъ вопросъ о реформѣ. Освобожденіе крестьянъ нарушило и похоронило навсегда прежній порядокъ быта. Общественный инстинктъ вызвалъ совершенно иныя наблюденія и изображенія народной жизни, чѣмъ тѣ, какія были возможны прежде. Это не была уже мистическая или филантропическая точка зрѣнія, а желаніе узнать, какой же новый элементъ внесетъ въ судьбу цѣлой націи эта новая сила, вступающая въ гражданскую жизнь. Послѣдовала масса всевозможныхъ изслѣдованій, правительственныхъ, земскихъ, частныхъ, научныхъ, практическихъ и беллетристическихъ, надъ формами и содержаніемъ крестьянскаго быта— наконецъ, „хожденіе въ народъ" со всякими цѣлями, и этнографическими, и практически-бытовыми, и, наконецъ, революціонными.

[1]) „Крестьянскій вопросъ". К. Д. Кавелина. Спб. 1882, стр. 1—3, 10.

Естественно, что жизнь, которой было посвящено столь пристальное вниманіе, не могла не представить множества оригинальныхъ и не замѣченныхъ ранѣе сторонъ. Наблюдатели оффиціальные отмѣчали ихъ въ извѣстныхъ внѣшнихъ и сухихъ опредѣленіяхъ; отдѣльные писатели, публицисты и повѣствователи имѣли возможность, если не рѣшать, то ставить вопросы шире, вводить въ нихъ свои обобщенія и идеалы, и стремились постичь самую душу народной жизни. Очень многіе убѣдились, что постигли эту душу, находя ее напр. въ общинѣ. Интересъ вопроса былъ столь обширенъ, что писателю естественно было радоваться своимъ пріобрѣтеніямъ и видѣть въ нихъ настоящее открытіе.

Въ первый разъ „открытіе" сдѣлано было однако довольно давно. Съ тѣхъ поръ какъ Гакстгаузенъ, путешествовавшій въ Россіи въ сороковыхъ годахъ, обратилъ вниманіе на нашу сельскую общину, о ней немало уже говорили какъ о своеобразномъ народномъ учрежденіи, которому можетъ предстать великая соціально-экономическая роль въ судьбахъ русскаго народа. Въ пятидесятыхъ годахъ, при первой рѣчи о крестьянской реформѣ, когда предстояло переустройство самыхъ формъ крестьянскаго быта—съ еще неизвѣстнымъ тогда исходомъ, — община стала предметомъ одинаково ревностной защиты со стороны экономистовъ изъ двухъ противоположныхъ литературныхъ лагерей того времени. Герценъ въ письмѣ къ историку Мишле́ представлялъ русскую общину, какъ новый могущественный принципъ соціально-экономическаго быта, которымъ русскій народъ обновитъ европейскую жизнь. Весьма серьезныя вещи объ этомъ предметѣ были сказаны въ теченіе развитія самой реформы. Такимъ образомъ, нельзя сказать, чтобы это начало русскаго сельскаго быта не было извѣстно и достаточно оцѣнено. Тѣмъ не менѣе новѣйшіе наблюдатели, увидѣвши общину въ дѣйствіи, снова были поражены ею. Вопросъ продолжалъ быть животрепещущимъ: въ теченіе новой организаціи быта поднималась рѣчь и въ правительственныхъ кругахъ, и въ публицистикѣ, о томъ, что́ предпочтительнѣе для блага сельскаго населенія—сохраненіе общины или покровительство личному владѣнію. Когда послѣ реформы стали обнаруживаться все новые вопросы народной жизни, они усилили ревность друзей народа: мы говорили, какъ размножились тогда изслѣдованія народнаго быта, но рядомъ съ этимъ у людей впечатлительныхъ стало развиваться самообольщеніе — отысканной истиной, когда она еще не была вполнѣ отыскана или была не тамъ, гдѣ ее находили.

Дѣло въ томъ, что вопросъ былъ чрезвычайно сложенъ. Не говоря

о томъ, что громадное пространство нашего отечества создаетъ весьма различныя условія сельскаго быта, которыя не легко сводятся подъ одну формулу и, напротивъ, представляютъ множество варіантовъ,—чтобы быть достовѣрнымъ экспертомъ сельскихъ отношеній требовалось быть, кажется, гораздо болѣе вооруженнымъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства и политической экономіи, чѣмъ было большинство (если не всѣ) нашихъ наблюдателей народнаго быта, ставшихъ потомъ народниками. Человѣкъ, который не видитъ всего объема многосложнаго вопроса, въ своихъ сужденіяхъ о немъ нерѣдко бываетъ гораздо смѣлѣе тѣхъ, кому эта многосложность видима болѣе. Мы опасаемся, что нѣчто подобное было и здѣсь. Случалось, что наблюдатель, нерѣдко теперь соединявшій въ себѣ повѣствователя и публициста, избравъ себѣ предметомъ разысканія какой-нибудь пунктъ или даже устроивъ тамъ свою резиденцію, не только дѣлалъ изъ этого пункта общую мѣру сельскихъ отношеній (что было невозможно), но забывалъ иногда о существованіи всего остального міра, кромѣ деревенскаго. Этотъ остальной міръ представлялся какъ бы совсѣмъ чуждымъ деревнѣ, всего чаще не понимающимъ ни ея значенія, ни интересовъ, и мѣшающимъ ея благодушному существованію. Понятно, что это забвеніе горизонта и перспективы не помогало правильности очертаній въ картинѣ. Дошло до страннаго злоупотребленія словами: „мужицкое царство", какъ многіе называютъ Россію, или „деревня",—какъ будто бо̀льшій процентъ крестьянскаго населенія освобождалъ Россію отъ тѣхъ необходимостей, какія существуютъ во всякомъ и не-мужицкомъ царствѣ — тѣхъ же тратъ на администрацію и войско, тѣхъ же заботъ о просвѣщеніи, стремленій къ улучшенію гражданскаго строя и нравовъ, тѣхъ же порывовъ ея талантливѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей къ общечеловѣческимъ идеаламъ.

Наконецъ, на вопросѣ о деревнѣ отразилось то броженіе мнѣній, какимъ вообще наполнено было то время. Напомнимъ нѣкоторыя подробности. Если въ прогрессивномъ движеніи литературы и общества въ эпоху освобожденія высказались развившіяся традиціи сороковыхъ годовъ, то сказались тогда же и преданія „Москвитянина", даже „Маяка". Съ такимъ характеромъ явился журналъ Достоевскаго, „Время"-„Эпоха", съ мистической проповѣдью о „почвѣ", съ войной противъ подчиненія европейскому „ложному" просвѣщенію,—идеями, давно извѣстными по старому славянофильству и „Москвитянину". Полемика велась не столько доказательствами, сколько темными теоріями о западномъ и русскомъ человѣкѣ, и язвительными словами: тогда изобрѣтенъ былъ „кнутикъ европейскаго либерализма", „стертый пятиалтынный" (послѣдній долженъ былъ означать без-

личность нашихъ послѣдователей европейской образованности) и т. п. Съ началомъ реакціонныхъ „вѣяній“, ихъ сильнѣйшимъ выраженіемъ стали „Московскія Вѣдомости“ и „Русскій Вѣстникъ“. Повидимому „Время“ представляло нѣсколько иной оттѣнокъ, но разница была только въ тонѣ: „Время“ отличалось мечтательной восторженностью, ихъ сосѣди—характеромъ весьма положительнымъ, въ концѣ концовъ единство ихъ обнаружилось. Крѣпостническими тенденціями чистѣйшей воды отличалась „Вѣсть“, съ ея разными позднѣйшими отпрысками. Славянофильскія изданія—„Парусъ“, „День“, „Москва“, „Москвичъ“ — играли роль, которая по времени казалась оппозиціонной, и наконецъ были запрещены; въ эту пору они оставались, большею частію, вѣрны старымъ правиламъ своего ученія и выказывали замѣчательную стойкость. Но во время „диктатуры сердца“, славянофильство, возродившись въ „Руси“, не только не оцѣнило настроенія, давшаго ему самому возможность общественной дѣятельности, но не выдержало самой программы старой школы. Вмѣсто прежнихъ широкихъ плановъ народной автономіи, оно могло предложить только какія-то бюрократическія преобразованія „уѣзда“, впадало въ оппортунизмъ, т.-е. въ уступчивость настоящей минутѣ, и потерявъ старыя преданія, самымъ недвусмысленнымъ образомъ высказывало вражду къ свободному развитію общественнаго мнѣнія. Эпоха „народной политики“, „свѣдущихъ людей“ и т. д. отозвалась въ литературѣ—славянофильской и принимавшей славянофильскія замашки—толками о „самобытности“, противопоставленіемъ „интеллигенціи“ и народа, и невѣжественными воплями противъ первой, будто бы въ пользу народа,—которому, если бы эти благодѣтели его достигли исполненія своихъ желаній, предстояло бы только настоящее превращеніе въ орду... Прибавимъ, наконецъ, извѣстную долю вліянія Достоевскаго: его сенсаціонные, истерическіе романы сопровождались въ послѣдніе годы публицистикой въ „Дневникѣ Писателя“, чрезвычайно странной, излагавшей иногда изумительныя понятія о государствѣ, обществѣ и народѣ. Достоевскій считалъ себя не только знатокомъ сердца человѣческаго, но напр., и знатокомъ финансовъ, и предлагалъ удивительные совѣты, оставшіеся, къ сожалѣнію, безъ комментарія со стороны его почитателей; но и здѣсь онъ дѣйствовалъ на нервы многихъ читателей, говоря о народѣ и ненавистномъ „либерализмѣ“.

Все это вмѣстѣ производило страшную путаницу понятій и впечатлѣній, которая сбивала съ толку многихъ людей, не умѣвшихъ разобраться въ явленіяхъ современной жизни. Господа „народники“, иногда дѣйствительно видѣвшіе народъ и условія его быта, казалось, могли бы понять причины его благосостоянія и бѣдствій, раз-

личить его друзей и враговъ, —въ нѣкоторыхъ случаяхъ присоединили свои голоса къ воплямъ противъ интеллигенціи, къ безобразному противопоставленію интересовъ народа и „культурныхъ людей“, придавая послѣднимъ, посредствомъ грубыхъ передергиваній, ненавистный характеръ, и не подозрѣвая, какого страннаго будущаго они желаютъ своему народу.

Такимъ образомъ, влеченіе къ народу, въ сущности давнее, а теперь усиленное освобожденіемъ крестьянъ, создавало особое міровоззрѣніе, которое диктовано было сначала самыми лучшими побужденіями и между прочимъ произвело самыя благотворныя научно-практическія изученія народной жизни и замѣчательныя беллетристическія изображенія, — но, съ другой стороны, въ послѣдовавшія смутныя времена нашей общественности, будучи лишено воздѣйствія свободной критики, оно вырождалось нерѣдко въ странныя проявленія, впадало въ „самобытническій“ мистицизмъ, подкупалось мнимымъ демократизмомъ писателей, въ сущности ретроградныхъ, и рядомъ за ними приняло участіе въ безобразномъ походѣ противъ „интеллигенціи“ (т.-е. образованія) и „либерализма“, не догадываясь, что оказываетъ защищаемому имъ народу очень дурную услугу. Всѣ эти оттѣнки иногда такъ тѣсно переплетены между собою, что не легко раздѣлить писателей „народничества“ на рѣзко-опредѣленныя группы: онѣ очень близки одна къ другой и заимствуются другъ у друга.

Перебирать подробно народническія теоріи нѣтъ надобности. Въ послѣднія десятилѣтія о „самобытности“, о несходствѣ нашемъ или даже противоположности съ Европой, о необходимости нашего собственнаго національнаго развитія и устройства, —послѣ славянофиловъ говорили проповѣдники извѣстной „почвы“, въ журналѣ Достоевскаго, говорили генералъ Фадѣевъ, гг. Энгельгардтъ, Кавелинъ, авторъ статей о „Деревнѣ“ въ „Недѣлѣ“; наконецъ, новѣйшіе самобытники, „народные политики“ и, собственно, „народники“ новѣйшаго времени. Вмѣстѣ съ этимъ говорилось о „розни“ между народомъ и высшими классами, о различіи и враждебности народа и „интеллигенціи“, наконецъ о желательности уменьшенія числа послѣдней. Эти „вопросы“ вызывали въ свое время жаркую полемику, но любопытно, что предметы, повидимому, столь капитальные, не вызвали со стороны народниковъ ни одного сколько-нибудь серьезнаго труда [1]), а трактовались небольшими статейками съ

---

[1]) Единственной книгой, заслуживающей подобнаго названія, была книга Н. Данилевскаго: „Россія и Европа“ (1-е отдѣльное изд. 1871), на которую возлагалъ такія надежды Достоевскій. Въ свое времена она не обратила на себя особеннаго вниманія, потомъ была довольно забыта, даже народниками, и снова выдвинута въ по-

отрывочной и неясной мыслью, но съ большой рѣшительностью тона. Мы возьмемъ два-три образчика.

Таковы были статьи, посвященныя „Деревнѣ“ П. Ч. и въ свое время послужившія предметомъ толковъ въ литературѣ [1]). Это было одно изъ самыхъ характерныхъ заявленій народничества. Мысль автора (заслуженнаго земскаго дѣятеля) была, вкратцѣ, такова. Строеніе нашего общества рѣзко отличается отъ европейскаго. Въ большей части западныхъ государствъ исторически обозначались три общественныя группы, имѣвшія подкладкой экономическіе факторы: землю, капиталъ, трудъ. Первыя двѣ группы раньше явились „сознательной“ силой, и каждая отмѣтила своимъ господствомъ историческій періодъ — феодализмъ, господство буржуазіи. Третья группа теперь только готовится къ своей очереди и еще не успѣла наложить свой отпечатокъ на историческій періодъ. Въ Россіи, напротивъ, была лишь одна „серьезная“ общественная группа — крестьянство (въ экономическомъ смыслѣ): оно отлично отъ европейскаго „народа“, — послѣдній есть собственно пролетаріатъ; — притомъ наше крестьянство такъ многочисленно, что является собственно единственной общественной группой... Это вещи извѣстныя, говоритъ авторъ, но изъ нихъ не сдѣланы должные выводы, а именно, что „всякое *самобытное* движеніе, — умственное, политическое, нравственное—непремѣнно пріурочивается къ той общественной группѣ, которая въ данное время обладаетъ наибольшей притягательной силой (?), идетъ въ духѣ и интересахъ этой группы, отъ нея получаетъ свои типическія черты—свою окраску“,—хотя бы сами лица и не принадлежали къ этой группѣ по своему происхожденію: ихъ дѣятельность принадлежитъ этой группѣ по направленію и внутреннему характеру дѣятельности, — принадлежитъ инстинктивно, часто даже наперекоръ личнымъ наклонностямъ. Авторъ заключилъ, что „*какъ только* (?) наше общественное движеніе изъ подражательнаго сдѣлается дѣйствительно самобытнымъ, — оно необходимо пойдетъ въ духѣ и интересахъ крестьянства“. Такое движеніе есть истинно національное; „всякія же домогательства съузить роль и значеніе крестьянства, какими бы мантіями онѣ ни прикрывались (англійскимъ selfgovernment'омъ, покровительственнымъ тарифомъ или чѣмъ инымъ), домогательства, теперь обыкновенно фигурирующія подъ громкимъ именемъ національныхъ интересовъ — я называлъ и на-

слѣднее время. Относительно ея теоріи національныхъ типовъ развитія, долженствующей узаконить наше отпаденіе отъ общечеловѣческой цивилизаціи, см. статьи Вл. Соловьева, „Вѣстн. Евр.“ 1888, февр., апрѣль; Н. Карѣева, „Р. Мысль“, 1889.

[1]) Въ „Недѣлѣ“ конца 1875 и 1876 гг.—Возраженія г. Михайловскаго, въ „Отеч. Зап.“ 1876, и „Вѣстн. Европы“, 1876, № 1 и 8.

зываю наиболѣе анти-національными, какія только можно придумать“. Авторъ отмѣчалъ въ нашемъ обществѣ различные признаки всеобщаго стремленія къ самобытности; тоже онъ видѣлъ и въ отношеніи общества къ славянской войнѣ (1876 г.) — только, по его мнѣнію, „прогрессивная журналистика“ не съумѣла удержать за собой руководство обществомъ „по одному изъ самыхъ важныхъ для насъ вопросовъ“.

Отсюда важность „деревни“. Авторъ утверждалъ, что „деревня“ можетъ помочь и русской литературѣ. Наша литература останется вялой и безсильной до тѣхъ поръ, „пока ея направленія изъ жалкихъ европейскихъ копій (?) не сдѣлаются дѣйствительно *русскими*, истекающими изъ коренныхъ основъ народнаго быта“. Коренныя основы, это—не собственно народныя понятія въ ихъ нынѣшнемъ видѣ (въ нихъ авторъ признаетъ многія несовершенства), а то психологическое зерно, изъ котораго они выросли — нравственные задатки народа. Они выше въ „деревнѣ“, чѣмъ въ цивилизованныхъ людяхъ, и послѣдніе тогда только станутъ въ нормальное отношеніе къ народу, когда „вмѣсто того, чтобы исходить изъ абстрактнаго человѣка, существующаго внѣ времени и пространства, предварительно ассимилируютъ наслѣдство русской деревни, психологически сростутся съ нимъ и уже тогда станутъ пускаться въ обобщеніе“. Это и будутъ „люди деревни“, которые одни способны оживить нашу литературу. Авторъ думаетъ, что при этихъ словахъ онъ можетъ сказать—sapienti sat.

Но вскорѣ затѣмъ онъ нашелъ нужнымъ подробнѣе объяснять свою мысль. Дѣло въ томъ, что наша „дряхлая, бездушная интеллигенція“ находится въ самомъ жалкомъ положеніи. Въ сужденіяхъ о нашей интеллигенціи, — говоритъ авторъ, — нужно различать два элемента: умственный и нравственный. Относительно перваго элемента можно смѣло сказать, что мы „сами себѣ предки“. Дѣйствительно, — спрашиваетъ авторъ, — „какія умственныя богатства завѣщали намъ наши предки? Какой складъ воззрѣній и понятій, какой характеръ мышленія?“ —Вопросъ показываетъ уже, до какого крайняго отрицанія „интеллигенціи“ доходилъ поклонникъ „деревни“. Можно было бы замѣтить, что предки оставили намъ исторію, по крайней мѣрѣ укрѣпившую государство, которое охранило самую народность; оставили кое-какую науку, надъ которой трудились между прочимъ люди „деревни“, какъ Ломоносовъ, и которая вела къ національному самосознанію и оцѣнкѣ самой „деревни“; оставили поэзію, воспитывавшую идеальныя стремленія и между прочимъ научавшую „добрымъ чувствамъ“.—Нѣтъ, отвѣчаетъ рѣшительно авторъ: „ровно никакихъ воззрѣній и никакого мышленія“. Мы по-

лучаемъ только самыя элементарныя представленія и ребяческія суевѣрія [1]), „подъ защитой непроходимаго невѣжества". И когда въ этотъ „хламъ" проникаетъ лучъ знанія, мы, „не стѣсняемые ни традиціей, ни установившимися взглядами, ни давленіемъ авторитетовъ", получаемъ возможность работать по всѣмъ направленіямъ,— но работать только головой. „Этимъ и объясняется характерная особенность первыхъ экскурсій нашей нарождавшейся интеллигенціи въ область мышленія и знанія, съ отчаянными скачками, съ безпощаднымъ отрицаніемъ, съ широкими порывами безъ соотвѣтствующихъ результатовъ".—Авторъ почувствовалъ, затѣмъ, что ему могутъ сдѣлать очень вѣское возраженіе, и устраняетъ его. „Намъ могутъ указать,—говоритъ онъ,—какъ и указываютъ нерѣдко, на освобожденіе крестьянъ, на судебныя и другія реформы, въ которыхъ интеллигенція принимала активное участіе, наконецъ, на то, что она же поставила въ широкой формѣ вопросъ о меньшемъ братѣ, объ его человѣческомъ достоинствѣ и человѣческихъ правахъ, и не мало изломала копій за общее благо и пр. Все это такъ, все это было. Но какіе *мотивы* руководили интеллигенціей въ этихъ случаяхъ? Были отдѣльныя личности, высоко стоявшія надъ современною имъ интеллигентною массою, для которыхъ общее благо, меньшій братъ и т. п. составляли не абстрактное представленіе, а живой, прожигающій душу фактъ. Эти люди дѣйствительно приносили себя на алтарь правды въ силу органической потребности. Но не то двигало *массу* интеллигентную. Она, пожалуй, тоже волновалась; но это волненіе было чисто *головное*". „Авторъ ссылается на то, какъ часто въ интеллигентномъ человѣкѣ замираютъ „головныя" стремленія при встрѣчѣ съ дѣйствительной жизнью, какъ онъ становится равнодушенъ къ несчастному люду, самъ дѣлается эксплуататоромъ. „Спрашивается,—мыслимы ли подобные факты, еслибы подъ громкими фразами, которыми мы бываемъ такъ щедры въ періодъ книжной жизни, скрывалась хоть капля настоящаго чувства, сердечнаго, а не головного?"

Наконецъ, перечисляя общественные классы, изъ которыхъ выходитъ наша интеллигенція,—средніе и мелкіе помѣщики (крупныхъ почему то онъ желаетъ „оставить въ сторонѣ"), средніе чиновники (а крупные?), духовенство, купечество,—авторъ находитъ, что свойства этихъ классовъ—„мѣщанство и крѣпостничество". „Эти продукты болѣзненныхъ (?) процессовъ въ русской исторической жизни" именно и легли въ основу нравственныхъ инстинктовъ нашей интеллигенціи и т. д. Все это можетъ и должна исцѣлить „деревня".

[1]) Которыми однако еще въ бо́льшей степени обладаетъ деревня.

Въ заключеніе, по удивительному собственному признанію автора, столь строго клеймившаго „жалкія европейскія копіи“, его разсужденія о типахъ развитія, слѣдовательно вся мысль его, имѣютъ свой корень—„въ экономическомъ ученіи нѣмецкаго еврея“.

Эти разсужденія о значеніи „деревни“ могутъ дать наглядное понятіе о томъ, какъ мыслило народничество, руководимое безъ сомнѣнія наилучшими намѣреніями, но потерявшее историческую память и чувство дѣйствительности. Читателя поражаетъ удивительная легкость, съ которой рѣшаются здѣсь и вопросы европейской исторіи, и судьба русской интеллигенціи, и провиденціальное значеніе „деревни“,—а въ концѣ концовъ въ подкладкѣ указывается просто „ученіе нѣмецкаго еврея“, — хотя авторъ желаетъ явиться самостоятельнымъ защитникомъ народнѣйшаго русскаго интереса, исходящаго изъ самой „деревни“. Рѣшеніе достигается просто: авторъ беретъ теоретическія, невыясненныя понятія „общественныхъ группъ“, „типовъ развитія“, „нравственныхъ задатковъ“, прибавляетъ два-три анекдотическихъ примѣра (нами пропущенныхъ: ка̀къ дѣвушка-курсистка, чуть не умирающая съ голоду, грубо говорила съ профессоромъ; какъ, напротивъ, была ласкова къ автору какая-то кухарка изъ народа, и т. п.)... Во всей русской исторіи находится одна „серьезная общественная группа“, однимъ небольшимъ недостаткомъ которой была полная политическая безсознательность и безсиліе; группа, которая въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ играла роль чисто физическаго орудія, употребляемаго или самимъ государствомъ, или тѣми, кому оно отдавало ее за разныя себѣ службы; остальныя группы—мѣщанство, духовенство, помѣщичій классъ представляются автору продуктами „болѣзненныхъ процессовъ“ нашей исторіи — какъ будто этимъ эпитетомъ можно устранить их историческую роль. „Общественныя группы“ пріобрѣтаютъ значеніе лишь тогда, когда проникаются общественнымъ и политическимъ сознаніемъ; о группахъ европейскихъ самъ авторъ приводитъ слова Гервинуса (или другого историка), что онѣ дѣйствовали „съ простой послѣдовательностью хорошо понятаго интереса“. Наша „единственная“ группа, какъ мы сказали, не была въ такомъ положеніи. Ея роль была пассивная, или, при нѣкоторомъ сознаніи своего рабскаго положенія, полное безсиліе ея прерывалось только вспышками — не политическаго движенія, а „бунта“... Однимъ изъ лучшихъ правъ русской „интеллигенціи“ на уваженіе была именно забота о помощи этому бѣдствовавшему классу, о поднятіи его положенія — гражданскаго и умственнаго. Поклонникъ „деревни“ не хочетъ этого знать. Государство, въ прошломъ столѣтіи, еще продолжало закрѣпощать свободныхъ людей, когда въ „интеллигенціи“ высказалась несомни-

тельно мысль о несправедливости крѣпостного права. Нашъ авторъ забылъ объ этомъ, и съ легкимъ сердцемъ бросаетъ лучшимъ людямъ общества укоръ, что ихъ интересъ къ народу былъ „головной“, что они „выходили изъ абстрактнаго человѣка“ [1])! Дѣло было совершенно просто: въ обществѣ, гдѣ нельзя было прямо говорить о политическихъ предметахъ, трудно было указывать на политическую несправедливость рабства или указывать на непосредственные жизненные примѣры; надо было говорить съ точки зрѣнія простого человѣколюбія, защищать въ рабѣ человѣка, т. е. „абстрактнаго человѣка“. Почему же эта защита могла быть напремѣнно приписана головѣ, а не чувству, и что̀ было бы дурного даже въ первомъ случаѣ? „Изъ абстрактнаго человѣка“ выходило христіанство. Изъ этого человѣка исходили глубочайшія стремленія науки; къ нему сводятся благороднѣйшія усилія, изъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, къ защитѣ человѣческаго достоинства въ нравственной, а наконецъ и въ политической жизни. Новѣйшія государства основывались даже на провозглашеніи правъ человѣка... Именно образованіе, хотя бы исходившее изъ абстрактнаго источника, внушило лучшимъ людямъ русскаго общества стремленіе помочь „меньшему брату“ — въ то время, когда еще никто не думалъ о „нравственныхъ задаткахъ деревни“ или о „типахъ развитія“ и когда были весьма осязательны матеріальныя выгоды крѣпостного права для помѣщичьяго класса.

Авторъ рѣшаетъ, что *„какъ только* наше общественное движеніе сдѣлается изъ подражательнаго самобытнымъ, оно необходимо пойдетъ въ духѣ и интересахъ крестьянства“. Съ виду фраза — очень хорошая и народолюбивая, но въ сущности безсодержательная и даже фальшивая. Когда начнется это и чѣмъ можетъ быть приведена „самобытность общественнаго движенія“?—авторъ умалчиваетъ, всѣ свои надежды возлагая на „нравственные задатки деревни“. Но до сихъ поръ деревня была безгласна и никакимъ актомъ своей „коллективной мысли“ [2]) себя не заявила; въ дѣйствительности стремленіе общественнаго движенія къ самобытности было дѣломъ именно образованнѣйшей части общества, той самой „интеллигенціи“, въ которой народничество видитъ такъ мало проку. Только этотъ трудъ интеллигенціи, поддержанный европейскимъ знаніемъ [3]), мысль объ „абстрактномъ человѣкѣ“, о смыслѣ общества и государства, о національномъ достоинствѣ, о значеніи низшихъ классовъ, объ обще-

---

[1]) Любопытно, что такимъ варварскимъ языкомъ говорилъ именно партизанъ „деревни“.

[2]) О ней безпрестанно говоритъ новѣйшее народничество.

[3]) Къ которому относятся и труды „нѣмецкаго еврея“.

ственной справедливости и проч., развили въ обществѣ тотъ интересъ къ народу, который теперь перетолковывается вкривь и вкось; къ тому же вела мало-по-малу и практическая дѣйствительность, житейскій опытъ самого государства и частнаго быта. Но „деревня" сама по себѣ въ этомъ ни мало не участвовала и даже до сихъ поръ не понимаетъ, въ громадномъ большинствѣ, сколько труда, знанія, чувства, самопожертвованія принесено на ея пользу людьми иныхъ классовъ. Что касается „подражательности", то обыкновенно не понимаютъ, что первые ея опыты были именно первыми опытами самобытности, т.-е. первыми начатками стремленія выйти изъ состоянія безразличной толпы—къ сознательной гражданской жизни... Несправедливо или не точно, наконецъ, то, что самобытное движеніе общества пойдетъ въ духѣ и интересахъ „крестьянства". Оно пойдетъ въ духѣ и интересахъ цѣлаго народа, націи, а не одного крестьянства. Кромѣ крестьянства и крестьянскаго быта, есть въ государствѣ разныя другія сословія и формы труда, которыя необходимы для его обихода и самаго существованія, и къ которымъ крестьянство не имѣетъ непосредственнаго отношенія. И какое подразумѣвается крестьянство? Если то, какое существуетъ въ данную минуту, то кто опредѣлитъ его „духъ и интересы"? Само оно ихъ формулировать не въ состояніи, не только потому, что не имѣетъ для этого внѣшней возможности, но и потому, что его „коллективная мысль", при нынѣшней степени „народнаго просвѣщенія", не разумѣетъ многихъ предметовъ, стоящихъ внѣ крестьянскаго обихода, и составляющихъ, однако, жизненную необходимость народнаго бытія. Таковы вопросы о высшей школѣ, о свободѣ науки и печатнаго слова: въ „духѣ и интересахъ" *нынѣшняго* крестьянства было бы, пожалуй, совсѣмъ закрыть эти вопросы—только подобное рѣшеніе равнялось бы самоубійству народа. Или этотъ „духъ и интересы" опредѣлитъ кто-нибудь другой?—Дѣйствительно, ихъ берется теперь опредѣлять всякій желающій, и достаточно извѣстно, что многіе изъ спеціальныхъ истолкователей народнаго духа рѣшаютъ дѣло въ откровенномъ обскурантномъ смыслѣ (народники извѣстнаго стиля говорятъ прямо объ излишествѣ у насъ высшаго образованія; другіе говорятъ о ненадобности народной школы).

Наконецъ, „нравственные задатки" составляютъ еще столь неопредѣленный и спорный вопросъ, что иные приверженцы „деревни" находили въ основѣ нынѣшняго деревенскаго міросозерцанія полувосточный фатализмъ, который, конечно, былъ бы весьма неудовлетворительнымъ фундаментомъ для системы общественнаго устройства и нравственности. Оцѣнка народной нравственности—дѣло столь трудное, что мудрено безъ дальнихъ справокъ поставить „деревню"

образцомъ: та же „деревня“ — наперекоръ „общинной“ нравственности, которую ставятъ въ примѣръ—неизмѣнно производитъ кулаковъ и міроѣдовъ. Недавно мы читали о процессѣ цѣлыхъ сорока конокрадовъ (изъ одной мѣстности), систематически и безжалостно разорявшихъ своихъ односельчанъ; наперекоръ мнимой религіозной терпимости народа мы читаемъ объ избіеніяхъ штундистовъ — не говоримъ уже объ избіеніяхъ евреевъ, о „своихъ средствіяхъ“, т.-е. поджогахъ, и т. д. Наконецъ, самая внутренняя жизнь общины имѣетъ свои стороны, также мало поучительныя...

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ толковъ о „деревнѣ“ явилась новая программа народничества, на этотъ разъ болѣе категорическая, хотя не болѣе ясная [1]).

Книги подобнаго рода разбирать очень трудно. Авторъ относится къ своему дѣлу съ преданностью, которой нельзя не отдать справедливости. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ авторъ и теоретически правъ [2]); иногда онъ вѣрно и даже смѣло защищаетъ права народа и требованія здраваго смысла [3]); но рядомъ съ этимъ—поистинѣ поражающая путаница понятій, извращеніе исторіи, нежеланіе видѣть вещи въ ихъ дѣйствительномъ свѣтѣ, упорное повтореніе мнѣній, совершенно фальшивыхъ и давно опровергнутыхъ, и, наконецъ, нѣкоторые взгляды и пріемы, напоминающіе осужденныхъ имъ „ретроградовъ“. „Вмѣсто предисловія“, авторъ разсуждаетъ длинно и путано о какой-то „традиціи пессимизма“, которую побѣдоносно обличаетъ. „Былъ періодъ,—говоритъ онъ,—когда наши пессимисты только въ себѣ видѣли альфу и омегу русскаго прогресса... Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ пессимизмъ направлялъ свои удары по преимуществу на привилегированныя сословія. Безпощадно бичевалъ онъ дворянство, духовенство, бюрократію, купечество; народъ оставлялся въ тѣни какъ сила, не могущая играть никакой исторической роли“. Прочитавши подобную вещь, приходишь совершенно въ тупикъ: кто эти „наши пессимисты“; что такое авторъ описываетъ? гдѣ происходили подобные факты въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ? Рѣчь идетъ, конечно, о литературѣ; но гдѣ же у русской литературы сороковыхъ годовъ была возможность „бичевать“, да еще „безпощадно“, привилегированныя сословія? Смѣшно читать подобныя выраженія о литературѣ сороковыхъ годовъ—такъ могъ бы говорить о ней, съ своей точки зрѣнія, развѣ только знаменитый цензоръ Красовскій или Елагинъ. Правда, тутъ же рядомъ оказы-

---

[1]) Соціологическіе очерки. Основы народничества, г. Юзова. Спб. 1882. Было съ тѣхъ поръ новое, размноженное изданіе.

[2]) Укажемъ, напр., стр. 164 и слѣд., о славянофильствѣ.

[3]) См. главу XII: „Кто подрываетъ религію?“

вается, что этотъ „безпощадный“ пессимизмъ былъ вовсе не пессимизмъ. „Этотъ юный (?) пессимизмъ заключалъ въ себѣ *громадную* долю оптимизма (!),—наука, просвѣщеніе, распространеніе техническихъ знаній, желѣзныя дороги, банки и т. п., служили главной опорой надеждъ для преобразованія русской общественности“. Изъ обмолвки, заключающейся въ послѣднихъ словахъ, ясно, что подъ словомъ „пессимизмъ“ авторъ понимаетъ не что иное какъ тѣ мысли о необходимости преобразованія нашей общественности, какія робко высказывались въ литературѣ сороковыхъ годовъ!.. Можно избавить себя отъ разбора исторіи, которая пишется съ такимъ изложеніемъ фактовъ. Дѣйствительно, дальше исторія „пессимизма“ становится совершенно фантастической: отдѣльный случай, отдѣльная фраза писателя превращаются безъ дальнихъ справокъ въ цѣлыя направленія, путается хронологія, потребность критики изображается какъ посягательство на народъ, и т. д.

Затѣмъ, книжка трактуетъ о множествѣ важныхъ вопросовъ, которые авторъ разрѣшаетъ предварительно для выясненія народнической теоріи: личность и общественныя формы; умъ и чувство, какъ факторы общественнаго прогресса; основы нравственности и ученіе Спенсера; объективная этика русскихъ философовъ (?); свобода воли и т. д. Дарвинъ, Спенсеръ, Марксъ, Мауреръ, Эмиль де-Лавелэ, общинное землевладѣніе, капиталистическая форма производства, борьба за существованіе, интересы науки и т. д., — все это разрѣшено категорически отъ имени „коллективной мысли народа“, которой авторъ считаетъ именно себя спеціальнымъ истолкователемъ... Совершенно также, какъ его предшественникъ П. Ч., авторъ въ своихъ разсужденіяхъ обыкновенно совсѣмъ забываетъ объ условіяхъ, въ какихъ существуютъ наше общество и литература, предъявляетъ къ послѣдней требованія, невыполнимыя не по ея волѣ, мѣшаетъ дѣйствительность съ собственными фантазіями, или же выдаетъ за открытіе азбучныя истины.

Авторъ начинаетъ главу: „Либерализмъ и народничество“, съ заявленія, что у насъ *нѣтъ* партій въ смыслѣ опредѣленныхъ общественныхъ группъ, что есть только зачатки партій, и что очень желательно, чтобы они опредѣлились—для выясненія самихъ вопросовъ (черезъ двѣ-три страницы окажется, что партіи *есть*, и авторъ опрокинется на нихъ съ своими изобличеніями). „Нѣкоторымъ кажется, что такое положеніе (неясность дѣленія партій) особенно удобно; но это доказываетъ только ихъ слабую вѣру въ себя, въ свою правоту, въ свои убѣжденія“ (не знаемъ, кто бы не желалъ имѣть возможность высказать вполнѣ свои взгляды). „Ясное и рѣзкое выдѣленіе своихъ мнѣній и убѣжденій изъ всей остальной массы мнѣній есть

обязанность всякаго, кто вѣритъ въ силу и правоту своихъ мнѣній. Подобное выдѣленіе необходимо для того" и т. д... „Свѣтильникъ долженъ стоять на виду" и т. д... Но авторъ видитъ на этотъ разъ, что есть „внѣшнія условія", которыя мѣшаютъ высказываться мнѣніямъ съ должною полнотой. Вслѣдствіе этого, у насъ существуетъ полный хаосъ въ наименованіи разныхъ категорій мнѣній. „Человѣкъ называетъ себя народникомъ, а по понятіямъ оказывается либераломъ, или наоборотъ; консерваторы очень часто называютъ себя то народниками, то либералами; вообще тутъ господствуетъ полная путаница". Опасаемся, что авторъ не уменьшилъ ея.

По его объясненію, такъ-называемое у насъ „либеральное направленіе" состоитъ главнымъ образомъ изъ двухъ элементовъ: собственно либерализма и изъ народничества. „Они *вполнѣ солидарны* между собой по отношенію къ *бюрократизму*", но въ остальномъ не имѣютъ ничего общаго. Основная идея либерализма состоитъ въ томъ, что „центръ тяжести страны лежитъ въ культурно-интеллигентныхъ классахъ и что эти классы должны оказывать, если не исключительное, то преимущественное вліяніе на ходъ соціальной жизни" (какъ извѣстно, идея либерализма въ этомъ *не* состоитъ); по взгляду народничества, соціальная жизнь, находясь подъ вліяніемъ только культурныхъ классовъ, получаетъ уродливое, одностороннее развитіе и направляется на удовлетвореніе потребностей не всей страны, а только культурныхъ классовъ. Дальше оказывается, что „если оставить въ сторонѣ нѣкоторые *второстепенные* признаки, которыми либерализмъ отличается отъ бюрократизма, то можно сказать, что по своей сущности, и именно въ отношеніи къ массѣ народа, они вполнѣ *однородны* между собою". „И тотъ, и другой одинаково считаютъ необходимымъ мудрить (!) надъ народомъ, устраивать его жизнь по своему образцу (!) и *насильно* навязывать ему свои идеалы; вся разница тутъ только въ томъ, что бюрократизмъ дѣлаетъ это просто въ силу власти, а либерализмъ прикрывается знаменемъ науки и прогресса, понимаемыхъ имъ, разумѣется, на свой ладъ". Авторъ не замѣчаетъ логической прорѣхи: какимъ образомъ либерализмъ можетъ что-нибудь *насильно* навязать народу, когда у него власти никакой нѣтъ? и перешелъ мѣру вѣроятія въ своей антипатіи къ „либерализму"— потому что дѣйствительный либерализмъ насильно навязывать народу ничего не желаетъ.

Чтобы яснѣе изобразить народничество, авторъ продолжаетъ, что народничество есть собственно ученіе объ обществѣ и его формахъ. „Достоинство общественной формы измѣряется не тѣмъ, насколько она приближается къ какому-то научному идеалу (?), а тѣмъ, насколько она приспособлена къ желаніямъ живыхъ личностей, состав-

ляющихъ данное общество. Самая прекрасная форма будетъ гибельна для общества, если она не соотвѣтствуетъ желаніямъ его членовъ, ибо въ этомъ случаѣ она можетъ держаться только насиліемъ, которое представляетъ собою начало развращающее и разрушающее. Многіе ошибочно думаютъ, что уважать мысль народа значитъ подчиняться народу во всемъ, раздѣлять все его міросозерцаніе, вѣрить въ домовыхъ и лѣшихъ и т. д... Это очевидная нелѣпость“. Народничество указываетъ и защищаетъ общественныя понятія народа,— хотя народная мысль не должна считаться несостоятельной и въ другихъ областяхъ, напр. въ агрономіи, и т. д.

Здѣсь опять найдется не мало недоумѣній. Рѣчь объ общественныхъ формахъ, навязываемыхъ народу, ведется опять противъ „либерализма“. Мы не знаемъ, какая наука берется поставлять одинъ общественно-политическій идеалъ для всѣхъ народовъ; обыкновенно она за это вовсе не берется; идеалы создаются различно въ средѣ различныхъ обществъ, потребностями дѣйствительной жизни, которыя яснѣе и раньше усматриваются просвѣщенными людьми, чѣмъ народной массой; идеалы вводятся въ жизнь, какъ скоро окрѣпнутъ въ сознаніи общества, и затѣмъ или падаютъ, если потребность народа не была угадана вѣрно, или, напротивъ, утверждаются вполнѣ, если дѣйствительно отвѣчали этой потребности. Къ сожалѣнію, иногда они вводимы были и не безъ насилій, какъ у насъ Петровская реформа; но исторія зачастую оправдываетъ такія насилія, когда они устраняли бо̀льшее зло, которое могло произойти отъ застоя, когда народная масса не въ состояніи бывала понять сложныхъ и ей часто недоступныхъ потребностей государства.

Далѣе. „Уваженіе къ народной мысли въ области соціологіи отнюдь не обусловливаетъ собою полнаго подчиненія большинству меньшинства. Напротивъ, всякое меньшинство должно имѣть право на самостоятельное устройство своихъ дѣлъ, насколько это не идетъ въ разрѣзъ съ справедливыми (?) требованіями большинства“. Приведемъ слѣдующаго рода примѣръ, на которомъ довольно характерно сказываются странныя практическія идеи такъ-называемаго народничества: „Нашъ народъ мало интересуется высшимъ образованіемъ и наукой; потому и рѣшеніе этихъ вопросовъ должно зависѣть не отъ него, а отъ того меньшинства, которое ими живетъ и которому они до́роги (!),—хотя, *разумѣется* (!), при такой постановкѣ дѣла и матеріальное содержаніе высшихъ учебныхъ заведеній должно падать, главнымъ образомъ, на это же меньшинство. Вообще *не о подчиненіи* культурныхъ классовъ народу хлопочутъ народники, а о предоставленіи простора развитію *всѣхъ* группъ народа, насколько, конечно, это возможно при необходимомъ согласо-

ванiи интересовъ всѣхъ во имя обще-пароднаго благополучiя". Не будемъ говорить о томъ, какъ авторъ распредѣляетъ отношенiя „большинства" и „меньшинства", т.-е., въ данную минуту, малосознательной массы и класса людей, гдѣ—худо ли, хорошо ли — заключены умственныя силы страны, или о томъ, кто и какъ будетъ угадывать „справедливыя" требованiя большинства; остановимся только на приведенномъ примѣрѣ. Прежде всего, онъ поражаетъ простодушнымъ соображенiемъ, что высшее образованiе и наука нужны только „меньшинству", которое-де ими „живетъ", а что для народа они не нужны. Авторъ не имѣетъ представленiя о томъ, что высшее образованiе неразрывно связано съ низшимъ, что послѣднее (его, повидимому, авторъ считаетъ не безполезнымъ для народа) можетъ быть успѣшно только тогда, когда имѣетъ опору въ первомъ: хорошiй учитель низшей школы учится въ средней, а средняя не можетъ существовать безъ высшей. Народъ можетъ этого не разумѣть; но авторъ книжки, который самъ, вѣроятно, все-таки прошелъ хоть среднюю школу, долженъ бы понимать, откуда можетъ выйти порядочный учитель этой школы. Кромѣ этой школьно-педагогической связи высшаго образованiя съ низшимъ, авторъ не подозрѣваетъ связей высшаго знанiя съ цѣлой народной и государственной жизнью: онъ думаетъ, что химiя нужна у насъ только Менделѣеву, который ею „живетъ", ботаника — только Бекетову, высшая математика — только Чебышеву и т. д.—и что они должны были бы добывать свои свѣдѣнiя какъ хотятъ, безъ содѣйствiя „большинства", а только при помощи прiятелей изъ „меньшинства". Если авторъ не понимаетъ *нацiональной* важности науки и литературы вообще для развитiя умственныхъ силъ нацiи, ему должна бы, по крайней мѣрѣ, быть понятна необходимость *для самой народной массы* прикладныхъ сторонъ высшаго образованiя: народъ ѣздитъ по дорогамъ, устроеннымъ людьми, учившимися въ высшей школѣ; обращается за помощью къ врачамъ, учившимся въ высшей школѣ; въ судебныхъ дѣлахъ находитъ справедливость и защиту, благодаря судебному сословiю, учившемуся въ высшей школѣ; получаетъ безопасность своего государственнаго бытiя отъ внѣшнихъ враговъ или расширенiе своей страны при руководствѣ военныхъ людей, учившихся въ высшей школѣ и т. д. Наконецъ, еще одно небольшое обстоятельство. Нашъ народникъ могъ бы еще говорить о томъ, что содержанiе высшихъ учебныхъ заведенiй должно, главнымъ образомъ, падать на „меньшинство"— если бы это послѣднее имѣло въ этомъ вопросѣ право голоса и инициативу, но, какъ извѣстно, этого нѣтъ, и примѣры нѣкоторыхъ высшихъ курсовъ, которые были однажды по счастливому случаю основаны частной инициативой (и служили одинаково цѣлямъ меньшин-

ства и большинства) достаточно указываютъ, какъ сомнительны шансы частной иниціативы. Въ дѣйствительности, государство беретъ у насъ содержаніе высшихъ учебныхъ заведеній на себя (т.-е. на средства „большинства“), и совершенно справедливо, потому что эти заведенія служатъ не одному „меньшинству“, а пользамъ цѣлаго государства и націи, слѣдовательно, и „народу“ въ частномъ смыслѣ.

Авторъ не долженъ удивляться, что „консерваторы (даже чистые ретрограды) очень часто называютъ себя народниками“. Они находятъ у народниковъ свои мысли. Такъ ретрограды часто писали о подобномъ же ограниченіи высшихъ заведеній средствами „меньшинства“; только они видѣли вещи лучше спеціалистовъ „народничества“ и, зная невозможность частной иниціативы, разсчитывали именно на упадокъ высшаго образованія и распространеніе невѣжества.

Не будемъ останавливаться на разборѣ существующихъ нынѣ общественныхъ направленій (авторъ указываетъ направленіе „юридическое“ и „экономическое“), такъ какъ и по его признанію онѣ не вполнѣ высказаны „по независящимъ обстоятельствамъ“, но нельзя обойти вопроса объ „интеллигенціи“, нападки на которую въ послѣдніе годы составили одинъ изъ безобразнѣйшихъ эпизодовъ въ исторіи нашей литературы, напомнившихъ времена Магницкаго, арх. Фотія и Ѳаддея Булгарина, и гдѣ „народничество“, въ лицѣ автора разбираемой книжки, не усомнилось приложить и свою руку.

Трактатъ объ „интеллигенціи“ отличается опять большой развязностью, легко производимымъ искаженіемъ историческихъ и литературныхъ фактовъ, и созиданіемъ небылицъ, причемъ автора вдохновляетъ какое-то странное озлобленіе противъ „интеллигенціи“, въ которомъ опять онъ совершенно сходится съ худшими изъ ретроградовъ.

Подъ словомъ „интеллигенція“ разумѣется обыкновенно образованная часть народа, т.-е. „общество“—тою своей долей, которая отличается бо́льшимъ просвѣщеніемъ; интеллигенція (если ужъ употреблять это слово) это—та часть общества, которой принадлежатъ дѣятели науки и литературы, лучшіе ученые, славнѣйшіе поэты и пр. Интеллигенція страны, въ обыкновенномъ, правильномъ значеніи этого слова, это—цвѣтъ ея умственныхъ силъ; наша интеллигенція, это—Ломоносовъ, Новиковъ, Радищевъ, Карамзинъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Бѣлинскій, Грановскій, Добролюбовъ, Тургеневъ, и т. д.; какъ видимъ изъ этого ряда именъ, сама интеллигенція представляетъ великое разнообразіе содержанія, по различнымъ направленіямъ мысли и общественнаго взгляда ея дѣятелей. Читая нашего автора, приходишь въ положительное недоумѣніе. Та группа

людей, которая оказала русской жизни и русскому народу по-истинѣ безсмертныя услуги, въ глазахъ автора есть какая-то невѣжественная и легкомысленная компанія, которую онъ считаетъ себя въ правѣ трактовать съ нескрываемымъ озлобленіемъ и презрѣніемъ. Вникая ближе, видишь, что подъ видомъ „интеллигенціи" онъ разумѣетъ что-то другое и что-то странное; онъ просто воюетъ иной разъ съ какимъ-нибудь газетнымъ противникомъ, съ какимъ-нибудь частнымъ, не нравящимся ему мнѣніемъ,—и въ роли спеціальнаго представителя яко-бы народной мысли, свой полемическій азартъ переноситъ съ своего противника на цѣлую русскую литературу, на все образованное общество! Сколько здѣсь правды и логики, говорить нечего. Съ другой стороны, если подъ „интеллигенціей" понимать всю массу общества, то въ ней встрѣчается, конечно, множество людей полуобразованныхъ, или мало развитыхъ и съ совсѣмъ дикими понятіями,—но нельзя же добросовѣстно говорить, что понятія подобныхъ людей и есть понятія „интеллигенціи".

Это смѣшеніе части съ цѣлымъ, отребья извѣстнаго класса съ цѣлымъ классомъ, Пушкина съ Тряпичкинымъ,—неприлично въ изслѣдованіи серьезнаго предмета и мало добросовѣстно въ такое время, когда обскуранты стремятся подорвать благотворное вліяніе нашего литературнаго наслѣдія; или это просто глубокое непониманіе авторомъ собственныхъ рѣчей.

По мнѣнію автора (стр. 270), „рознь между интеллигенціей и народомъ служитъ характерной чертой русской жизни вотъ уже *почти три столѣтія*". Сколько можно понять изъ историческаго изложенія автора, эта рознь началась съ патріарха Никона, который изъялъ приходское духовенство изъ-подъ власти „міра", откуда началось постепенное паденіе авторитета духовенства въ народѣ. Если такъ, то по крайней мѣрѣ не слѣдовало сваливать вину „розни" на современное общество... Но далѣе, исторія свѣтской интеллигенціи ведется снова съ Петра Великаго. Интеллигенція стала тогда слугой власти, состоя изъ дворянства и чиновничества; она оторвалась отъ народа, и въ его понятіяхъ отождествилась съ понятіемъ чего-то посторонняго, „нѣмецкаго". Такъ продолжалось до освобожденія крестьянъ, которое „можно считать поворотнымъ пунктомъ къ сближенію двухъ, разрозненныхъ исторіею, силъ русской земли". Измѣнилось и положеніе интеллигенціи: „*она* понадобилась не только государству, которое и теперь осталось ея главнымъ *потребителемъ*, но и вообще русскому обществу" (т.-е. общество понадобилось обществу). Такимъ образомъ, „интеллигенція нѣсколько эманципировалась отъ государства... общество стало быстро развиваться..., вмѣстѣ съ обществомъ развивается интеллигенція"... Интеллигенція, по словамъ

автора, является „самостоятельной силой“, хотя малыхъ размѣровъ, и „сила ея растетъ не по днямъ, а по часамъ“.

Читатель ожидаетъ, что такъ какъ „сближеніе“ уже началось, то интеллигенція что-нибудь сдѣлала. Ничуть не бывало. Такъ какъ у автора видимо напередъ рѣшено, что „интеллигенція“ отъ народа оторвана, а „народничество“ имѣетъ привилегію знать народъ,—то онъ и забылъ уже объ этой уступкѣ. Интеллигенція ничего не знаетъ о народѣ. „*Многимъ* изъ насъ крестьянинъ представляется какимъ-то дикаремъ“; на слѣдующей страницѣ: „*полнѣйшее* незнаніе интеллигенціи (интеллигенціею?) умственныхъ и нравственныхъ качествъ своего народа“. Далѣе: „*состоя на службѣ* у государства, интеллигенція привыкла не обращать вниманія на мнѣнія народа... Эта привычка превратилась въ убѣжденіе, что народъ имѣетъ только предразсудки... Заимствуя свои идеалы отъ европейцевъ... интеллигенція презираетъ народъ“, и т. д., все это сбито въ одну кучу. Затѣмъ слѣдуетъ и поученіе. „Въ качествѣ независимой силы (?!) русской жизни, *не владѣющей* вмѣстѣ съ тѣмъ *средствами принужденія*, интеллигенція, по необходимости, должна бросить прежнія привычки и заняться изученіемъ народа“. Такъ говорится на стр. 276, а на стр. 277 разсказывается примѣръ „насилія“ интеллигенціи надъ народомъ—извѣстная исторія съ мѣрами противъ дифтерита въ полтавской губерніи, гдѣ, право, не знаешь, о чемъ жалѣть: о „насиліи“, или о народной глупости, потому что дифтеритъ, сколько помнится, свирѣпствовалъ тамъ ужасно. Авторъ могъ бы прибавить другіе примѣры такихъ насилій—во время ветлянской эпидеміи, потомъ въ карантинахъ, гдѣ въ нарушающихъ карантинныя правила даже стрѣляютъ, и т. п. Другую обиду народу отъ интеллигенціи авторъ нашелъ въ газетныхъ извѣстіяхъ о безобразныхъ случаяхъ сожженія „колдуновъ“. Авторъ говоритъ, что только благодаря смѣлости о. Белюстина, эта сторона народной жизни была нѣсколько разъяснена, а именно, онъ объяснилъ, что колдуны очень часто похожи просто на отравителей, и, нагоняя страхъ своими „чарами“, они эксплуатируютъ народъ. „Вздумай крестьяне жаловаться,—говоритъ авторъ,—интеллигенція только обхохочетъ (?) ихъ и станетъ доказывать, что никакого колдовства не можетъ быть. Ну, и что же остается дѣлать крестьянамъ?“

Стало быть, съ „народнической“ точки зрѣнія, колдовство можетъ быть, и крестьянамъ надо предоставить жечь колдуновъ. Съ точки зрѣнія здраваго смысла, которой держится „интеллигенція“, надо объяснить народу, что колдовство есть вздоръ, а отравленіе есть отравленіе, и что на такой случай есть законы, и что судъ не похвалитъ отравителя, а также не похвалитъ и тѣхъ, кто берется самъ

сожигать отравителя. Если крестьяне этого еще не знаютъ, это прискорбно, но это—всего меньше вина „интеллигенціи".

Изъ этихъ примѣровъ можно видѣть, какъ изображаетъ вещи точка зрѣнія, называющая себя „народничествомъ", т.-е. присвояющая себѣ исключительную привилегію знать народъ и точно истолковывать его чувства и взгляды. И что же мы видимъ? Произвольно подобранныя рубрики общественныхъ явленій, смѣшеніе вещей совершенно различныхъ, путаницу историческихъ фактовъ, и въ концѣ концовъ, обвиненіе „либерализма" и интеллигенціи, и превознесеніе „народничества" [1]).

Еслибы даже понимать интеллигенцію такъ, какъ хотятъ „народники", отчего же въ розни съ народомъ виновата только она одна? Если брать вещи огуломъ, на подобіе „народниковъ", то основаніе къ розни интеллигенціи съ народомъ дано было самимъ государствомъ, и именно московскимъ, основавшимъ и крѣпостное право, и систему приказнаго, чиновническаго управленія [2]) еще задолго до Петра; а такъ какъ общественныя формы (особенно чистѣйшія національныя, какими считаются до-Петровскія учрежденія) создаются духомъ самого народа, то, слѣдовательно, самъ народъ и изготовилъ всѣ условія для этой розни,—такъ что онъ всего больше и виноватъ въ ней.

И дѣйствительно, разсужденіе такого рода, — хотя въ сущности будетъ натянуто и не вполнѣ вѣрно, потому что народъ еще въ московской Россіи протестовалъ противъ тогдашнихъ формъ управленія,—но и не совсѣмъ лишено основанія въ томъ смыслѣ, что „рознь", если была въ иныхъ случаяхъ производима испорченностью владѣльческаго и бюрократическаго класса, всего больше происходила отъ самыхъ учрежденій. Достаточно было старыхъ московскихъ порядковъ, а потомъ 250-лѣтняго существованія крѣпостного права, чтобы произвести „рознь" въ наилучше организованномъ обществѣ. Но съ другой стороны исторія русскаго общества и литературы

---

[1]) Въ народнической литературѣ вошло въ постоянный обычай злоупотребленіе словами: интеллигенція, культурные люди. Эти люди только и дѣлаютъ, что дѣла своекорыстныя, народу ненужныя или вредныя. „Культурные люди" дали крестьянамъ недостаточные надѣлы, строили желѣзныя дороги, учреждали банки, издавали стѣснительныя для народа постановленія и т. д. Такимъ образомъ, подъ именемъ „культурныхъ людей" смѣшивается и правительство, и разнороднѣйшіе слои общества: чиновникъ, желѣзнодорожникъ, писатель, банковый аферистъ и т. д., и особенно писатель. Читая публицистовъ подобной манеры, не знаешь иногда, къ какой категоріи людей причислять ихъ самихъ — къ ультра-демократамъ, или къ недобросовѣстнымъ писателямъ, или къ невѣдущимъ, что̀ творятъ.

[2]) Любопытно, что въ народномъ языкѣ „чиновникъ" (слово послѣ-Петровское) до новѣйшаго времени называется „приказнымъ".

говоритъ совсѣмъ напротивъ, что именно съ первыхъ нѣсколько самостоятельныхъ шаговъ русской образованности, въ ней возникаетъ первая сознательная мысль объ интересахъ народа, о защитѣ ихъ, о сближеніи съ народомъ, объ его освобожденіи. „Интеллигенція" еще съ прошлаго вѣка имѣла своихъ мучениковъ за народъ и нынѣшніе мнимые представители „коллективной мысли" народа, дурно свидѣтельствуютъ о себѣ, когда забываютъ объ этомъ.

Что касается притязанія „народничества" знать народную мысль, и именно „коллективную" мысль, то это притязаніе только забавно. Узнать коллективную мысль народа есть только два пути: во-первыхъ, когда народъ имѣетъ возможность высказывать ее сознательно самъ, тѣмъ или другимъ узаконеннымъ способомъ, или черезъ посредство литературы, если образованіе достаточно проникло въ его собственную среду; или, во-вторыхъ, путемъ многосложныхъ научныхъ изслѣдованій и публицистическаго объясненія его быта, характера и потребностей. Первый путь у насъ не существуетъ; второй только-что открывается теперь, и результаты изслѣдованій еще далеко не такъ обильны — и не такъ свободны отъ стѣсненій, чтобы можно было почерпнуть изъ нихъ сколько-нибудь полную и подлинную „коллективную" мысль народа; наконецъ, условія нашей литературы не таковы, чтобы можно было вполнѣ высказать и то, что́ уже узнано. Наоборотъ, знаніе народной мысли никакъ не доказывается одною смѣлостью притязаній какъ въ народничествѣ, такъ и въ иныхъ мистическихъ теоріяхъ.

Что же представляетъ „народничество" въ общемъ выводѣ? Несмотря на его хвастливыя притязанія, оно, собственно говоря, не вноситъ въ литературу ничего новаго. Основная мысль, которую оно считаетъ своимъ изобрѣтеніемъ, а именно, что должно изучить особенности народнаго быта и взгляда и что онѣ должны получить свою роль въ установленіи общественныхъ отношеній, — эта мысль извѣстна очень давно, съ тѣхъ поръ, какъ литература пріобрѣла возможность говорить объ общественныхъ вопросахъ, развиваема была, особливо съ сороковыхъ годовъ, одинаково обоими лагерями тогдашней „интеллигенціи", и славянофильствомъ, съ національно-мистической точки зрѣнія, и „либерализмомъ" — съ точки зрѣнія общественной равноправности.

Нова здѣсь лишь фанатическая исключительность, но, къ сожалѣнію, эта ревность не по разуму влечетъ за собой и забвеніе исторіи, и путанное объясненіе современныхъ явленій.

Мы остановились на разборѣ мнѣній этого отдѣла „народничества" не потому, чтобы онъ представлялъ самъ по себѣ вѣское содержаніе,

а потому, что въ господствующемъ разбродѣ понятій находится немало людей, которые полагаютъ въ этомъ хвастовствѣ народничествомъ найти дѣйствительно сильный принципъ, способный отвѣтить на неудовлетворенныя потребности общества.

Въ беллетристическихъ изображеніяхъ народной жизни мы найдемъ также отголоски тѣхъ интересовъ, которые были глубоко возбуждены реформой, и, вмѣстѣ, слѣды того блужданія, какое овладѣвало общественной мыслью при оказавшемся рѣзкомъ противорѣчіи возникавшихъ идеаловъ съ суровой, безпощадной дѣйствительностью. Романъ, повѣсть изъ жизни общества, — наперекоръ требованіямъ „чистаго искусства", — стали несомнѣнно полемической ареной. Чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно сопоставить два крайніе пункта: мистическій фанатизмъ Достоевскаго и, съ другой стороны, желчныя, часто потрясающія картины Щедрина, или болѣе спокойныя повѣствованія Тургенева. Для будущаго историка современной общественности здѣсь откроются два противоположные полюса того броженія, въ которомъ проходили послѣднія десятилѣтія, не видѣвшія, къ сожалѣнію, нормальнаго исхода глубочайшимъ нравственнымъ потребностямъ общества... Повѣсть изъ народнаго быта, повидимому, не давала такой полемической почвы; этотъ бытъ былъ слишкомъ удаленъ отъ треволненій, которыя достигали до него только далекими волнами и въ грубо спутанномъ видѣ. Но опять наперекоръ чистому художеству, сами писатели приступали къ изображеніямъ народной жизни съ весьма различнымъ настроеніемъ, и тенденція нерѣдко проходитъ въ ихъ разсказахъ бѣлою ниткой, — часто вовсе не намѣренно, а просто потому, что въ обществѣ складывались два необходимыя теченія, за старый застой или за исканіе новыхъ началъ общественности.

Было бы весьма любопытнымъ этюдомъ прослѣдить въ художественной беллетристикѣ послѣднихъ десятилѣтій изображенія народа съ точки зрѣнія соціальнаго взгляда, который въ нихъ отражался. Для нашей цѣли достаточно двухъ-трехъ примѣровъ. Возьмемъ сначала двухъ старыхъ писателей.

Въ послѣдніе годы жизни Мельниковъ-Печерскій возвратился къ народной беллетристикѣ своими разсказами: „Въ лѣсахъ" и „На горахъ". Оба произвели довольно большое впечатлѣніе интересомъ предмета, но было мало замѣчено отношеніе автора къ народной жизни. Разсказъ: „На горахъ", есть на половину произведеніе съ художественными намѣреніями, на половину этнографія. Романическая исторія переплетена съ картинами купеческаго быта, нижегородской ярмарки, рыбнаго промысла, раскольничьихъ нравовъ (кромѣ старообрядцевъ изображены „божьи люди" или хлысты), сельскаго быта

и т. д., иногда не имѣющими никакой близкой связи съ главною тэмой. Мельниковъ былъ, что называется, бывалый человѣкъ, и въ своемъ разсказѣ сложилъ запасы своего книжнаго, житейскаго и чиновничьяго опыта; нижегородскій край, гдѣ идетъ главная часть дѣйствія, былъ его родиной; расколъ онъ зналъ по книгамъ и по службѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ; изъ мѣстныхъ преданій онъ почерпнулъ исторію заводчиковъ Поташовыхъ (Баташевыхъ); разсказъ о хлыстахъ Луповицкихъ и Денисовѣ построенъ, большою долею, на извѣстномъ дѣлѣ Татариновой, и т. д. Нѣкоторыя подробности очень курьезны, напр., разсказъ о томъ, какъ нѣкогда нищіе плавали на старую макарьевскую ярмарку цѣлыми лодками и дощаниками, распѣвая духовные стихи (I, стр. 275); картинки кулачнаго боя (II, стр. 300), женскаго старообрядческаго скита, его разрушенія, старыхъ бурлацкихъ нравовъ и обычаевъ и т. д. Удачно нарисованы нѣкоторые характеры, напр., благочестивый выжига Смолокуровъ, раскольничьи старицы и др.; но типы „положительные" обыкновенно натянуты и неестественны. Мельниковъ любилъ показывать свой товаръ лицомъ, т.-е. обставить свой матеріалъ поэффектнѣе, прикрасить археологическими рѣдкостями, выисканными народными выраженіями и т. п., и, дѣйствительно, этнографическая картина очень интересна. Но какое міровоззрѣніе лежитъ въ ея подкладкѣ? Насколько собственныя истолкованія и комбинаціи автора объясняютъ изображаемый бытъ? Въ этомъ смыслѣ результатъ разсказовъ очень невеликъ. Взглядъ Мельникова на народную жизнь есть въ сущности тотъ же взглядъ старой оффиціальной народности.

Во вкусѣ Сахарова и Даля, Мельниковъ выставляетъ превосходства добраго стараго времени, „истинно-русскихъ" обычаевъ, противополагаемыхъ новѣйшей пустой образованности. Въ такомъ духѣ изображается, напр., старообрядческая семья, гдѣ двѣ дѣвицы получаютъ идеальное воспитаніе въ духѣ „коренной русской жизни" (I, стр. 198 и д.); но воспитаніе описано только неопредѣленными чертами, и читатель недоумѣваетъ относительно его тѣмъ болѣе, что передъ тѣмъ (I, стр. 33—35) описаны раскольничьи наставницы и содержаніе ихъ ученія, которое едва ли могло приносить такіе плоды. Дѣйствіе разсказа идетъ по преимуществу въ старообрядческомъ быту; но читатель напрасно ожидалъ бы встрѣтить и въ мнѣніяхъ писателя и въ фактахъ повѣсти какое-нибудь объясненіе смысла и источника этого быта. Въ сущности, онъ объясняется такъ же, какъ нѣкогда — въ секретныхъ оффиціальныхъ запискахъ того же автора. Описавши раскольничій споръ „отъ писанія" о томъ, прокляты или нѣтъ дрожжи, авторъ продолжаетъ: „Таковы у раскольниковъ богословскія пренія. Только и толковъ, только и споровъ, что можно ли

квашню на хмелевыхъ дрожжахъ поставить, съ кожаной аль съ холщевой лѣстовкой слѣдуетъ Богу молиться, нужно ли ради души спасенія гуменцо на макушкѣ выстригать. А чаще и больше всего споровъ ведется про антихриста, народился онъ проклятый, или еще нѣтъ, и каковъ онъ собой (и проч.)... Много такихъ споровъ, много и толковъ съиздавна идетъ на Руси среди простого народа... А сколько иногда въ тѣхъ спорахъ бываетъ ума, начитанности, ловкости въ словопреніяхъ, сколько искусства!.. И весь этотъ народный умъ дрожжами, лѣстовками да антихристомъ занятъ!..“ (II, стр. 276—277). Если прибавить къ этому, что начитанный старообрядецъ Чубаловъ въ интимной бесѣдѣ сознается, что настоящая вѣра находится въ „великороссійской“ церкви; что́ въ разсказѣ выведенъ деревенскій священникъ, говорящій книжно напыщенными проповѣдями (но впрочемъ скрывающій отъ властей хлыстовское гнѣздо въ его селѣ),—то этимъ ограничивается все, что въ четырехъ-томномъ разсказѣ Мельникова относится къ объясненію раскола. Однажды, впрочемъ, признано, что благочестіе возможно и въ расколѣ. Еще одинъ эпизодъ указываетъ отношеніе автора къ общинѣ — составляющей такую святыню въ глазахъ народниковъ и такой залогъ благополучія будущаго русскаго народа. Въ глазахъ Мельникова, это — великое зло. „Бывали на Горахъ крѣпостные съ милліонами,—разсказываетъ онъ.—Теперь на Горахъ не мало крестьянъ, что сотнями десятинъ владѣютъ. За то тутъ же рядомъ и бѣднота непокрытая... Такой бѣдности незамѣтно однакожъ по близости рѣкъ, только въ мѣстахъ отъ нихъ удаленныхъ можно встрѣтить ее. *Общинное владѣніе землей* и частые передѣлы—вотъ гдѣ коренится причина той бѣдности. Чуть не каждый годъ міръ-община передѣляетъ поля, отъ того землю никто не удобряетъ, что-де за прибыль на чужихъ работать. На дворахъ навозу пролѣзть негдѣ, а на полѣ ни во́за, землю выпахали, пошли недороды. Нѣтъ корысти въ передѣлахъ, толкуетъ каждый мужикъ, а община-міръ то-и-дѣло за передѣлъ.. И богатые, и бѣдные въ одинъ голосъ жалобятся на тѣ передѣлы, да подѣлать ничего не могутъ... Община!.. За то кому удастся вибиться изъ этой—*прахъ ее возьми*—общины, да завестись хоть невеликимъ кускомъ земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горахъ родитъ хорошо“ (I, стр. 10). Если свести къ общему выводу отношеніе автора къ народной средѣ, то, кажется, нельзя опредѣлить его иначе, какъ отношеніемъ чиновничьимъ, въ томъ духѣ, въ какомъ относилась къ этой средѣ оффиціальная народность тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Другой тонъ господствуетъ въ произведеніяхъ писательницы, которая въ сильной степени отличается консервативными сочувствіями,

но сглаживаетъ ихъ мягкимъ поэтическимъ чувствомъ. Это—г-жа Кохановская. Свою литературную дѣятельность она начала въ пятидесятыхъ годахъ: повѣсть „Гайка" доставила ей большую извѣстность, и вмѣстѣ указала манеру, которой писательница осталась вѣрна и въ своихъ послѣдующихъ трудахъ, съ примѣтами славянофильства. Это—апоѳеоза добраго стараго времени и того быта, который называется у Мельникова „кореннымъ русскимъ", но котораго онъ не съумѣлъ идеализировать. Предположенія о славянофильствѣ не были лишены основанія, потому что въ сочиненіяхъ г-жи Кохановской съ великимъ сочувствіемъ изображались именно черты русской жизни, идущей по старому преданію въ противоположности съ новыми нравами, перенятыми съ чужихъ образцовъ. Она какъ бы выполняла завѣтъ, оставленный Гоголемъ (послѣдняго періода)—изобразить свѣтлыя явленія простой русской жизни,—и писательница находитъ ихъ въ твердости религіозныхъ вѣрованій, въ любви къ преданіямъ народной поэзіи, въ крѣпкихъ нравственныхъ началахъ стараго быта, сохранившагося преимущественно въ провинціи. „Народъ собственно остается тутъ въ сторонѣ, — замѣчалъ современный критикъ: — отъ него отбираются только самыя видныя черты характера, самыя яркія качества его духовной природы, и вмѣстѣ съ творческой поэзіей, имъ созданной, разлагаются на весь міръ, безъ разбора состояній, воспитаній, привычекъ и направленій. Все становится народомъ... Холеная дочка богатаго помѣщика и бѣдная горожанка, воспитанная подъ тираннической опекой матери—одинаково отличаются у г-жи Кохановской ясностью и веселіемъ духа, одинаково заражены страстію къ русской пѣснѣ, къ русской пляскѣ, къ формамъ русскаго общежитія, которыя вгоняютъ ихъ, такъ сказать, въ ростъ героинь народной фантазіи... Идеалы г-жи Кохановской могутъ даже рости подъ сѣнію присутственныхъ мѣстъ... Вообще надо сказать, что г-жа Кохановская мало заботится о дурной или сомнительной репутаціи, какая лежитъ на нѣкоторыхъ классахъ нашего общества и на нѣкоторыхъ эпохахъ нашей исторіи. Она останавливается только съ ироніей и нескрываемымъ презрѣніемъ предъ подражательной „образованностью" столичныхъ людей, передъ холоднымъ изяществомъ ихъ манеръ, передъ условной моралью и началами ихъ спокойнаго, приличнаго и, въ сущности, не очень честнаго общежитія, которыми они силятся замѣнить крѣпкія основанія народнаго быта, утвержденныя на вѣрѣ, преданіи и поэзіи" [1]).

Но по замѣчанію критика, г-жа Кохановская представляетъ этотъ бытъ только съ праздничной стороны, когда онъ обнаруживаетъ только

---

[1]) Анненковъ, Восп. и крит. очерки, II, 303 и слѣд.

свои показныя черты, и оставляетъ въ туманѣ его будни, гдѣ должны были бы открыться его практическія дѣйствія и взгляды. Въ самомъ дѣлѣ, остается неизвѣстнымъ, что́ дѣлали эти идеальные чиновники въ своихъ канцеляріяхъ, купцы въ своихъ лавкахъ, помѣщики въ своихъ конторахъ и т. д. Если при своемъ появленіи повѣсти г-жи Кохановской внушали это недоумѣніе, то теперь, когда для описываемаго быта наступила провѣрка двадцатилѣтняго опыта трудныхъ общественныхъ столкновеній, это недоумѣніе не уменьшилось: мы не видѣли, чтобы старыя преданья стали на уровнѣ историческаго требованіи и внесли въ обращеніе тѣ крѣпкія свойства, съ какими они были возводимы въ идеалъ. Произведенія г-жи Кохановской имѣли, однако, свою историческую заслугу: въ эпоху ожиданій общественнаго обновленія, онѣ были словомъ въ защиту тѣхъ забытыхъ и пренебреженныхъ классовъ, которые, хотя, быть можетъ, были отсталы въ образованности, хранили, однако, преданія старины и создавали свой особый нравственный типъ, заслуживавшій уваженія. Это былъ новый вкладъ, хотя односторонне-тенденціозный, въ то возроставшее понятіе, что не довольно относиться къ народу съ одной филантропіей или сантиментальностью, но и съ изученіемъ его бытового нравственнаго склада и содержанія. Другою заслугою было замѣчательное знаніе народной рѣчи, ея тонкостей и изящества; но, какъ въ самомъ содержаніи было преувеличеніе и прикраса, такъ и это изящество языка впадаетъ въ сладкоглаголаніе, которое очень часто не совпадаетъ ни съ правдивостью, ни съ простою красотой рѣчи: Салтыковъ однажды заставилъ говорить языкомъ г-жи Кохановской одну изъ своихъ героинь, медоточивыхъ рѣчей которой не выдерживали сами „лейбъ-кампанцы“.

Третій примѣръ, опять особаго рода, мы найдемъ въ сочиненіяхъ писателя нынѣ дѣйствующаго. Въ писаніяхъ г. Лѣскова неоднократно затрогиваются или прямо народные сюжеты или особенно бытъ классовъ, наиболѣе близкихъ къ народу, напр., бытъ духовенства. Онъ беретъ эти сюжеты вообще не спроста. Нѣкогда,—о чемъ онъ любитъ припоминать, чтобы объ этомъ какъ-нибудь не забыли,—онъ написалъ обличительный романъ противъ опасныхъ увлеченій молодого поколѣнія, а впослѣдствіи цѣлый рядъ произведеній, которыя посвящены были „положительнымъ“ явленіямъ народнаго и полу-народнаго быта, и гдѣ обыкновенно болѣе или менѣе ясно высказывалось или подразумѣвалось осужденіе всякаго новѣйшаго либерализма. Однимъ изъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій его были „Соборяне“, картина изъ жизни провинціальнаго, именно уѣзднаго духовенства, гдѣ главное лицо—просвѣщенный протоіерей Туберозовъ, истинный

христіанинъ, типъ чисто „русскій" и вполнѣ „положительный". Онъ пользуется великимъ уваженіемъ сограждaнъ, отличается благочестіемъ и благоразуміемъ, даже независимымъ взглядомъ на вещи, напр., на положеніе духовенства, на раскольничьи дѣла; отъ его вниманія не ускользнуло и новѣйшее броженіе умовъ, и на это у него есть также свой взглядъ (сходный со взглядомъ автора). Дѣйствіе разсказа начинается съ 30-хъ годовъ (протоіерей ведетъ свой дневникъ съ этихъ годовъ); въ эти старыя времена уже случаются факты, которые даютъ возможность автору заявить свои историческіе и политическіе взгляды. Напримѣръ: благочестивый протоіерей не расположенъ къ преслѣдованію раскола, но его усилія въ этомъ направленіи оказываются безплодными. Въ противность всему, что́ извѣстно о судьбѣ раскола, о причинахъ и ходѣ его преслѣдованія, мы узнаёмъ, что здѣсь этою причиною былъ не кто иной, какъ губернаторъ—*нѣмецъ*, и правитель его канцеляріи — *полякъ* (стр. 40 — 41). Когда вслѣдствіе ихъ преслѣдованія предается разрушенію раскольничья часовня, то свалившійся крестъ убиваетъ солдата—*жида* (стр. 39). Картина, какъ видимъ, издѣлія лубочнаго, и авторъ не замѣчаетъ, что тутъ же въ „Дневникѣ" разсказывается, какъ церковный причтъ дѣлаетъ на священника доносъ, что онъ не ходитъ съ крестомъ во дворы раскольниковъ (это нехожденіе причту невыгодно),—такъ что въ фальшивомъ и лицемѣрномъ отношеніи къ расколу виноваты были не одни нѣмцы, поляки и жиды. Наконецъ, сама епархіальная власть мнѣній благочестиваго протоіерея не раздѣляла, какъ не приняла его разсужденій „о положеніи православнаго духовенства и о средствахъ возвысить его для пользы церкви и государства"; консисторія (въ 1837 году) привязывалась къ импровизированной проповѣди съ указаніемъ на живое лицо, что́ вызвало замѣтку въ дневникѣ: „ахъ, сколь у насъ вездѣ всего живого боятся!" (стр. 51). Подъ 1841 годомъ самъ „Дневникъ" жалуется на какую-то повѣсть, въ которой неуважительно было выведено духовное лицо (стр. 69). Сколько извѣстно, въ тѣ времена цензура едва ли могла позволить что-нибудь въ этомъ родѣ, такъ какъ и въ ближайшее къ намъ время изображеніе въ повѣстяхъ духовныхъ лицъ оставалось весьма затруднительнымъ; изображался все больше такъ называемый „батюшкинъ братъ". На стр. 133, дѣлается нескладная инсинуація: намекъ на какой-то петербургскій либеральный журналъ. Въ другомъ мѣстѣ замѣчается, что „у насъ, въ необходимость просвѣщеннаго человѣка вмѣняется безвѣріе, издѣвка надъ родиной" (стр. 253) и т. д. Такими и подобными подробностями авторъ изображаетъ достоинства „коренной" русской жизни, относя къ ней всѣ добродѣтели и сваливая всякіе пороки на

новѣйшій либерализмъ, на нѣмцевъ и поляковъ. Все это, конечно, сшито бѣлыми нитками [1]).

Въ другомъ произведеніи г. Лѣскова: „Мелочи изъ архіерейской жизни", съ одобреніемъ разсказывались продѣлки одного „умнаго" пастыря съ совершеніемъ фальшивыхъ браковъ,—продѣлки, которыя, собственно говоря, должны называться циническимъ обманомъ и кощунствомъ.

Этихъ примѣровъ довольно, чтобы видѣть отношеніе автора къ изображаемому быту. Онъ довольно приглядѣлся къ этому быту, владѣетъ внѣшней манерой занимательнаго разсказа, но поражаетъ непониманіемъ живыхъ привлекательныхъ сторонъ того самаго быта, которому отдаетъ свои сочувствія, и нескладной фальшью тѣхъ обвиненій, какія прямо или косвенно желаетъ набросить на направленія жизни, ему не сочувственныя. Можно не раздѣлять увлеченій и преувеличеній г-жи Кохановской, но нельзя не признать ея искренности, во многихъ случаяхъ дѣйствительной поэзіи, прекраснаго знанія той (хотя только лицевой) стороны быта, который ее вдохновляетъ. Ничего или очень мало подобнаго мы найдемъ у г. Лѣскова. Это дѣланыя картины, едва ли достигающія поставленной въ нихъ цѣли.

Выше мы имѣли уже случай указывать [2]), какая громадная разница дѣлитъ эту беллетристику прежней школы съ новѣйшими изображеніями народнаго быта—разница и въ настроеніи писателей, и въ пріемахъ изображеній. На одной сторонѣ—продолженіе „литературной выдумки", искусственное отношеніе къ предмету, чиновническо-консервативная точка зрѣнія, или благодушный, но самообольщенный идеализмъ (какъ у г-жи Кохановской), или непониманіе, или наконецъ лицемѣріе; на другой сторонѣ—быть можетъ, неровность, недостатокъ художественности (она и на другой сторонѣ не Богъ вѣсть какъ велика), и т. п., иногда свои идеалистическія преувеличенія, но всегда—полная искренность, желаніе узнать настоящую народную жизнь, и нерѣдко замѣчательное изображеніе ея, доселѣ небывалое въ нашей литературѣ. Не разъ говорили о художественныхъ недостаткахъ Гл. Успенскаго, говоря въ то же время о художественныхъ достоинствахъ Мельникова и даже г. Лѣскова; это

---

[1]) Прибавимъ еще, что авторъ, какъ и слѣдуетъ быть, старается передать и мѣстный колоритъ языка. Иногда это ему удается, а иногда несовсѣмъ: напр., онъ безъ надобности заставляетъ почтеннаго протоіерея Туберозова употреблять слова въ такой формѣ: „кокетерія", „Шарлотта Кордай", „пренумеровать" и т. п., и писать: „Аліоша", какъ писали въ XVIII столѣтіи, вмѣсто: Алёша. Онъ заставляетъ его писать: „съ *коллегомъ* своимъ", чего не могъ сдѣлать протоіерей Туберозовъ, вѣроятно, знавшій по-латыни.

[2]) Глава XI.

странно и вообще, а въ особенности когда говорятъ о художественности тамъ, гдѣ изображенiе бываетъ фактически невѣрно, даже намѣренно фальшиво.

Это положительно двѣ разныя школы—до и послѣ-реформенная. Мельниковъ—вполнѣ до-реформенный писатель; таковъ же, съ прибавкой новѣйшаго консерватизма, г. Лѣсковъ, который можетъ назваться въ нѣкоторыхъ отношенiяхъ ученикомъ Мельникова; съ лучшей стороны, но также до-реформенными являются и произведенiя г-жи Кохановской. Поворотъ къ новому направленiю былъ приведенъ смѣною историческихъ поколѣнiй и новыми возникшими требованiями. Въ поколѣнiи, начинавшемъ свою дѣятельность подъ влiянiемъ крестьянской реформы, возобладало настроенiе, которое мы отмѣтили у Добролюбова; исполненный сочувствiя интересъ къ народу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и критическое отношенiе къ его быту. Народъ былъ великая, неизвѣстная, знаменательная загадка; по его освобожденiи, въ немъ ожидали найти новую силу, которая создастъ вскорѣ иныя, болѣе благопрiятныя условiя общественнаго существованiя. Ожиданiе было по необходимости весьма неясное; было извѣстно еще мало данныхъ, на которыхъ можно было бы основать какiя-нибудь опредѣленныя надежды, но многiе питали глубокую вѣру въ народъ, доходившую до энтузiазма, хотя уже вскорѣ явились опыты, въ которыхъ слишкомъ горячiя увлеченiя опровергались фактами. Но тѣ же ожиданiя отъ народа побуждали вникать больше, чѣмъ когда-нибудь прежде, въ свойства народнаго быта, состоянiе понятiй, экономическое положенiе народа. Этимъ настроенiемъ съ самаго начала возбуждены были съ одной стороны рядъ научныхъ изслѣдованiй, съ другой—художественно-публицистическiя изображенiя. Въ тѣхъ и другихъ подняты были многiе существенные вопросы народнаго быта —съ ихъ реальной и вмѣстѣ нравственной стороны. Таковъ былъ вопросъ объ общинѣ, гдѣ, какъ выше говорено, сходились безъ спора двѣ, раньше постоянно враждовавшiя литературныя партiи; но одни видѣли въ нихъ реальную бытовую форму, подлежащую экономическому и политическому разсчету, предъ другими носилось извѣстное мистическое начало. Другой предметъ изученiй являлся въ религiозныхъ движенiяхъ народа: рацiоналистическiе или мистическiе толки раскола вызывали оживленный интересъ—инымъ казалось, что здѣсь именно и скрыто глубочайшее содержанiе народнаго духа и т. д. Наконецъ, для народной беллетристики вообще служила предметомъ наблюденiй настоящая минута народной жизни, какъ она складывалась въ новыхъ условiяхъ. Бытовая беллетристика перемежалась съ чисто-этнографическими очерками, и иногда трудно было положить между ними грань. У новой школы писателей-народниковъ строгiй

реализмъ, вѣрность изображенія стали непремѣннымъ требованіемъ. Такова была народная беллетристика шестидесятыхъ годовъ, разсказы и очерки Николая и Глѣба Успенскихъ, Левитова, Рѣшетникова, Слѣпцова и т. д., съ разными оттѣнками въ тонѣ, отъ юмора и шутки до трагедіи. За первыми беллетристами выступилъ, около начала семидесятыхъ годовъ, новый рядъ писателей-народниковъ—Нефедовъ, Наумовъ, Эртель, Вологдинъ и др., съ новыми варіаціями сюжетовъ, манеры и настроенія. Предметъ былъ неисчерпаемъ (особливо при несвободѣ разсказа), и мало-по-малу народная повѣсть получаетъ новое видоизмѣненіе. Продолжительное наблюденіе, съ одной стороны, и съ другой—разработка вопроса экономическаго въ публицистикѣ направили народниковъ-беллетристовъ въ особенности на изображеніе общественныхъ и экономическихъ отношеній народа. Типы, лица, характеры, обычаи отступаютъ на второй планъ, а на первомъ планѣ становятся общіе вопросы: жизнь крестьянина въ общинѣ, отношенія къ помѣщику и къ властямъ, заработки, школа, разные внутренніе распорядки, вліяющіе на складъ деревенской жизни, міръ и кулачество и т. д. „Деревня“, ставшая предметомъ настоящаго культа у одного разряда народническихъ публицистовъ, поглощала и народниковъ-повѣствователей: одни, чтобы овладѣть вполнѣ ея содержаніемъ и „слиться“ съ народомъ, поселялись въ деревнѣ и изучали сельское хозяйство; другіе изслѣдовали сельско-хозяйственныя отношенія въ земской статистикѣ; третьи ставили своей задачей изучить деревенскую жизнь въ ея обыденныхъ случаяхъ и проявленіяхъ, отношенія крестьянина дома, съ односельчанами, на міру, на промыслахъ и т. д., изслѣдовать мужицкіе типы не по однѣмъ чертамъ личнаго характера, а именно по хозяйственному и общественному положенію.

Понятно, что при этомъ интересѣ именно къ существу „деревни“, при усиленномъ стремленіи рѣшить соціальную загадку, интересъ чисто художественный долженъ былъ отступать на второй планъ. Наблюдаемыя явленія такъ захватывали писателя, что онъ забывалъ о художествѣ; онъ не думалъ о созиданіи образовъ и спѣшилъ дать исходъ своему личному, такъ или иначе возбужденному чувству. Эпическое спокойствіе было невозможно—по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которые принимали дѣло близко къ сердцу. Отсюда то смѣшеніе художественной работы съ публицистикой, какое не разъ встрѣчаемъ у новѣйшихъ писателей изъ народнаго быта: какъ видимъ, это имѣетъ свое простое, жизненное объясненіе.

Съ особенной рельефностью эта ступень народнической беллетристики высказалась въ произведеніяхъ гг. Гл. Успенскаго и Злато-

вратскаго; изъ нихъ мы возьмемъ нѣсколько примѣровъ этого склада народничества.

Когда въ литературѣ возникаетъ новое направленіе, оно обыкновенно на первыхъ порахъ впадаетъ въ преувеличеніе. Это имѣетъ часто свою долю пользы, потому что преувеличеніе рельефнѣе выражаетъ новое настроеніе и требуетъ къ нему вниманія, или ярче выдаетъ мало замѣченную раньше сторону предмета; но заключаетъ въ себѣ и долю ошибки, какъ односторонность. Подобное произошло и здѣсь. Народные повѣствователи, направившись въ „деревню", какъ будто забыли обо всемъ остальномъ мірѣ: внѣшнія условія припоминались только тогда, когда уже слишкомъ прямо вліяли на „деревню"—и вліяли большей частью неблагопріятно. Деревенскій міръ считался какъ будто за нѣчто особое не только отъ общества, но и отъ государства; интересы его разсматривались такъ спеціально, что читатель оставался въ недоумѣніи объ отношеніяхъ деревни къ остальному міру. Возникала новая идеализація, очень не похожая на прежнюю филантропическую идиллію, — основанная теперь на знаніи внутренняго деревенскаго быта, но дѣлавшая ту ошибку, что слишкомъ выдѣляла „деревню" изъ общаго политическаго и общественнаго быта.

Самая характерная въ этомъ отношеніи книга г. Гл. Успенскаго есть—„Власть земли" [1]). Основная идея статей, носящихъ это заглавіе,—великое значеніе земли и земледѣльческаго труда для деревенскаго быта и самаго народнаго характера. „Вообще, къ какой бы группѣ явленій народной жизни мы ни прикоснулись, — говоритъ авторъ,—*первое*, что́ мы замѣчаемъ и что́ уясняетъ намъ эту группу явленій—это земля, земледѣльческій трудъ и т. д. Мы потому такъ пристально выслѣживаемъ одну только эту черту, чтобы показать, какъ велика ломка, какъ много осложненій можетъ произойти отъ того, если эта, одна только эта, сторона народныхъ нуждъ не будетъ удовлетворена въ полной мѣрѣ. Какъ несправедливы тѣ радѣтели о народномъ благѣ, которые рѣшаются сказать, что земельные порядки, существующіе въ настоящее время въ народѣ, удовлетворительны, не требуютъ улучшеній" [2]). Земля нужна народу не только какъ обезпеченіе его хозяйственнаго положенія, она необходима и какъ ручательство его нравственнаго равновѣсія, — потому что всѣ лучшія стороны народнаго характера привязаны къ земледѣльческому труду на глазахъ „міра", къ извѣстной правильности этого труда и и его вознагражденія, управляемыхъ самой природой. Авторъ при-

[1]) Ср. „Вѣстн. Евр." 1883, октябрь: „Лѣсная правда и высшая справедливость", К. К. Арсеньева.

[2]) Власть Земли. Очерки и отрывки изъ памятной книжки. М. 1883, стр. 49—50.

водитъ различные примѣры этого воздѣйствія земледѣльческаго труда на народные нравы и нравственность. „Типическимъ лицомъ, въ которомъ наилучшимъ образомъ сосредоточена одна изъ самыхъ существенныхъ группъ характернѣйшихъ народныхъ свойствъ", представляется автору извѣстный Платонъ Каратаевъ, изображенный гр. Толстымъ въ „Войнѣ и Мирѣ". „Откуда,—спрашиваетъ г. Успенскій,—какъ не изъ самыхъ нѣдръ природы, отъ вѣковѣчнаго, непрестаннаго соприкосновенія съ ней, съ ея вѣчною лаской и вѣчною враждой, могли выработаться такія типичнѣйшія черты духа?.. Мать-природа, воспитывающая милліоны нашего народа, вырабатываетъ милліоны такихъ типовъ, съ одними и тѣми же духовными свойствами. „Онъ—частица"; „онъ самъ по себѣ ничто"; „онъ любовно живетъ со всѣмъ, съ чѣмъ сталкиваетъ жизнь", и „ни на минуту не жалѣетъ, разлучаясь" (какъ Платонъ Каратаевъ)... Такая частица мретъ массами на Шипкѣ, въ снѣгахъ Кавказа, въ пескахъ Средней Азіи... Все можетъ сдѣлать Платонъ: „Возьми и свяжи", „возьми и развяжи", „застрѣли", „освободи", „бей", „бей сильнѣй" или „спасай", „бросайся въ воду, въ огонь для спасенія погибающаго!"—словомъ все, что́ даетъ жизнь, все принимается, потому что ничто не имѣетъ отдѣльнаго смысла, ни я, ни то, что́ дала жизнь... Въ Крымскую войну такихъ Платоновъ умирало безъ слѣда, безъ жалобы—тысячи, десятки тысячъ; 20 тысячъ ихъ легло на Зеленыхъ горахъ въ одинъ день... Сотни тысячъ ихъ умираетъ ежегодно по всей Россіи—безмолвно, безропотно, какъ трава, и сотни тысячъ, также какъ трава родится... Все это черты чисто *наши*, родныя, россійскія—черты той страны, гдѣ десятки милліоновъ ежедневно слушаютъ мать-природу, въ которой, какъ и въ нихъ, нѣтъ исключительной любви, нѣтъ смысла въ отдѣльномъ существованіи камня, дерева, ручья... Это все—наше, но это не все" (стр. 151—152).

Не все потому, что есть противоположный типъ — „хищникъ"... „Развѣ это не нашъ типъ? Развѣ не „ничтожество", сознаваемое Платономъ, воспитало его, развило, раскормило, раздуло его страсть къ произволу, къ „ндраву", до послѣднихъ размѣровъ?"—Наконецъ, авторъ прибавляетъ третій типъ, существовавшій въ старину и котораго онъ теперь не видитъ, „народную интеллигенцію", которая указывала Платону „правду". Это — люди старинной церкви и старинной школы (съ часословомъ и „строгостью").

Не будемъ говорить о прекрасныхъ, по истинѣ художественныхъ изображеніяхъ частностей и о цѣлой картинѣ этой связи съ „землей", владычества природы надъ земледѣльческимъ трудомъ, о тонкихъ объясненіяхъ народной психологіи, — все это давно оцѣнено читателями и критикой и составляетъ привлекательную особенность

дарованія писателя; но если мы станемъ искать цѣлой теоретической постановки вопроса, мы приходимъ въ большое недоумѣніе. Если милліоны Платоновъ составляютъ типическое произведеніе нашей „земли" и „природы", и если она же вскармливаетъ породу „хищниковъ", противъ которой народъ безсиленъ и которая постоянно выростаетъ изъ его же среды, то какое же основаніе имѣютъ эти надежды на народъ, какими народники вооружаются на своихъ противниковъ? „Платоны"—какъ растолковалъ ихъ г. Успенскій—очевидные фаталисты, люди, потерявшіе даже свой европейскій складъ мысли, воспитавшіе въ себѣ чисто пассивную полу-восточную природу.

И когда рядомъ съ этимъ, авторъ, рисуя „власть земли" надъ русскимъ мужикомъ-землодѣльцемъ и сообщаемую ею высокую нравственность, изображаетъ затѣмъ его паденіе, когда онъ выходитъ изъ-подъ этой власти, т.-е. берется за другое дѣло, особливо дающее деньги и „волю", — является новое недоумѣніе: какъ же хрупко то разумное настроеніе, та нравственная сила, которую, по словамъ автора, сообщаетъ власть земли? Эта власть отождествляется съ властью неодолимой нужды, и человѣкъ, безъ этой веревки, оказывается неспособнымъ ни къ элементарному разсчету, ни къ какой-нибудь выдержкѣ. Достаточно получить нѣсколько лишнихъ рублей и досуга, чтобы нравственныя правила, внушенныя „землей", испарились, чтобы человѣкъ сбился съ пути, и когда подобныя явленія самимъ авторомъ выдаются за обычныя и естественныя, то это не можетъ не возбуждать большого недоумѣнія о крѣпости нравственнаго содержанія, доставляемаго „землей". Такія же недоумѣнія возбуждаетъ и то, что̀ говоритъ г. Успенскій о „народной интеллигенціи": она имѣла несомнѣнно свое историческое значеніе въ воспитаніи народнаго характера, но странно противопоставлять ее съ новѣйшей народной школой и не видѣть, что въ новыхъ условіяхъ всей народной жизни новая школа становится все болѣе необходимой. Къ сожалѣнію, и г. Успенскій не воздержался отъ упрековъ „цивилизаціи", какіе раздаются въ ультра-народническомъ лагерѣ и имѣютъ весьма двусмысленный видъ.

„Какъ же обстоятъ дѣла теперь?—спрашиваетъ авторъ.—Теперь мы видимъ только двѣ фигуры—Платона и хищника. Третьей фигуры—человѣка, который бы могъ заикнуться о той правдѣ, которую Богъ видитъ и которую говоритъ устами людей—нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, все на сторонѣ хищника. На сторонѣ его земельное разстройство массъ, разстройство душевнаго удовлетворенія ихъ трудомъ; разстройство это гонитъ ихъ къ хищнику внутренно обезсиленными, сознающими свое ничтожество сильнѣе, чѣмъ сознавалъ

Каратаевъ. Цивилизація приходитъ къ намъ не та, которая бы заступалась за Каратаевыхъ (?), — она не облегчаетъ ихъ труда, не пополняетъ досуга работой мысли и пробужденіемъ духовныхъ силъ, а помогаетъ хищнику, облегчая его хищничество помощью европейскихъ (?) „оборотовъ", съ которыми деревенскій хищникъ начинаетъ знакомиться и къ которымъ получаетъ огромный аппетитъ. Все—для него, и ничего—для Платона. Не удивляйтесь же, что человѣкъ сердца и правды, очутившись между этихъ двухъ типовъ, изъ которыхъ личность одного доведена до ничтожества, а другого—раздута до невозможныхъ размѣровъ, теряетъ голову. Не гоните же (?) изъ народной среды потребность въ божеской правдѣ между людьми,—она нужна народу такъ же, какъ и земля. Не забывайте (?), что хоть и не скоро, но Богъ непремѣнно скажетъ правду" (стр. 153—154).

Эти слова, видимо сказанныя авторомъ съ искреннѣйшимъ доброжелательствомъ къ народу, производятъ прискорбное впечатлѣніе — по неясности самой мысли. Что собственно означаетъ упрекъ „цивилизаціи", помогающей „хищнику"? зачѣмъ надо было характеризовать „европейскими" тѣ обороты, которыми этотъ хищникъ пользуется: куда все это адресуется и въ чьемъ выходитъ вкусѣ? Намъ кажется, что именно только „цивилизація" (*заслуживающая* этого имени) одна и заступалась у насъ за Каратаевыхъ противъ хищника. И *кто* „гонитъ" изъ народной среды потребность въ божеской правдѣ?

Прибавляются другія неясности. Сказать, что типъ Платона созданъ *нашей* землей и природой—это значитъ сказать нѣчто весьма неопредѣленное или даже ошибочное. Кромѣ земли, на образованіе типа дѣйствовали многоразличныя и важныя условія человѣческаго общежитія. Русскій народный характеръ и въ настоящую минуту не таковъ, чтобы „Платоновъ" можно было считать милліонами; а въ прежнее время — тѣмъ болѣе. Едва ли сомнительно, что типъ, о которомъ идетъ рѣчь, составлялся подъ огромнымъ вліяніемъ не земли (какъ земледѣльческаго труда, зависящаго отъ природы), а именно учрежденій и бытовыхъ формъ, — какъ давнее притѣсненіе крестьянина-земледѣльца, какъ полное его закрѣпощеніе, приказное правленіе, безжалостное старое рекрутство и т. д. Отсюда, изъ этого полнаго подавленія личности, шла большая доля неопредѣленнаго добродушія, принадлежащаго Платону, это—безразличное добродушіе, свойственное несчастію, которое уже ничего не ждетъ для себя и, сохранивъ врожденные инстинкты добраго характера, впадаетъ въ полное фаталистическое отсутствіе воли.

И рядомъ съ этими теоретическими неясностями, историческими ошибками — прекрасные разсказы, удивительныя картины дѣйствительности, согрѣтыя искреннимъ чувствомъ скорбной любви къ на-

роду и исполненныя съ истинно-художественной яркостью и простотой. Гл. Успенскаго осуждали за это смѣшеніе публицистики и поэзіи. Но старыя піитическія и реторическія рубрики несомнѣнно перерождаются: въ повѣсть и романъ все больше и больше врывается содержаніе имъ прежде мало знакомое—дѣйствительность, все съ новыми подробностями ея жизненныхъ процессовъ, и разсказы г. Успенскаго несомнѣнно представляютъ одинъ изъ фактовъ этого перерожденія. Народная жизнь, имъ изображаемая, дѣйствительно никогда прежде не проникала въ литературу съ такими сокровенными чертами ея внутренней работы. Писателю нѣтъ времени и возможности такъ удалиться отъ этой жизни своимъ чувствомъ, чтобы стать къ ней въ отношеніе невозмутимаго зрителя, какъ спокойный эпическій пѣвецъ или „дьякъ въ приказахъ посѣдѣлый“. Зрѣлище этой жизни захватывало и потрясало воспріимчивую душу, и нѣтъ ничего удивительнаго, что за художественнымъ разсказомъ слѣдуетъ личное размышленіе автора о явленіяхъ этой жизни. Жаль только, что теоретичеческія размышленія иногда весьма ошибочны.

Неясности, о которыхъ мы упоминали, заключаются въ самòмъ не выработавшемся взглядѣ автора и составляютъ не только его личную особенность, но черту множества людей, искренно привязанныхъ къ народному дѣлу, но смущенныхъ и сбитыхъ съ пути страшно запутаннымъ положеніемъ этого дѣла. Положеніе г. Успенскаго въ литературномъ мнѣніи до сихъ поръ нѣсколько неопредѣленно: несмотря на сильный талантъ, на множество прекрасныхъ, хотя эпизодическихъ, разсказовъ, дышущихъ истиной, на теплое, сочувственное отношеніе къ народу, его значеніе остается неустановленнымъ: новѣйшее славянофильство его почти-что ненавидѣло (потому что онъ говорилъ о настоящемъ, а не воображаемомъ народѣ); требовательные народники чуть не заподозривали въ немъ наклонностей къ старымъ крѣпостнымъ порядкамъ [1])...

Очень оригинальны, въ другомъ родѣ, сочиненія г. Златовратскаго, образчикомъ которыхъ возьмемъ „Деревенскіе Будни“ (Спб. 1882). У него еще труднѣе отличить беллетриста-повѣствователя и публи-

[1]) Новѣйшіе критики (напр. г. Скабичевскій), обозрѣвая дѣятельность Гл. Успенскаго, не причисляютъ его къ народникамъ, считая его только „наблюдателемъ“. Мы упоминали, что народничество имѣло много разныхъ оттѣнковъ и степеней. Гл. Успенскій можетъ быть отнесенъ къ нему какъ по особенному интересу его именно къ народной жизни, понятой имъ своеобразно и исключительно, такъ и по нѣкоторымъ выводамъ, совпадающимъ съ народническими.

Колебаніе его общихъ взглядовъ, диктуемыхъ часто именно впечатлѣніемъ данной минуты, а въ другую минуту исправляемыхъ и дополняемыхъ самимъ писателемъ, очень вѣрно указано въ характеристикѣ М. А. Протопопова, „Р. Мысль“, 1890. августъ, сентябрь.

циста. Особенная цѣль его изслѣдованія есть община, степень ея современной силы и шансы будущаго ея развитія. Онъ исповѣдуетъ глубокую вѣру въ народные „устои", но видитъ обступающую ихъ опасность и посвящаетъ свой трудъ на изученіе существа общины и ея нынѣшнихъ условій. Въ названной книгѣ онъ не ставитъ художественныхъ цѣлей и хочетъ просто прослѣдить жизнь деревни въ ея „будни", войти въ ея обыденные интересы и раскрыть сущность общиннаго быта и различныя проявленія „мірского" порядка. Онъ поселяется сначала въ деревнѣ Ямахъ, потомъ въ Лопухахъ (въ сѣверномъ краѣ средней Россіи), живетъ въ деревенскомъ домикѣ, знакомится съ мужиками, отправляется на сходы, идетъ смотрѣть на дѣлежъ земли (луга для сѣнокоса), зазываетъ мужиковъ къ себѣ въ гости и стенографируетъ ихъ бесѣду и т. д. Деревенская жизнь проходитъ передъ нами во очію. Какое же извлекаетъ авторъ поученіе изъ своихъ наблюденій?

Мы найдемъ у него опять довольно обычную черту народнической литературы. Писатели ея вообще ставятъ дѣло такъ, какъ будто они открываютъ Америку. Авторъ не довольствуется тѣмъ, что отмѣчаетъ извѣстное явленіе крестьянскаго быта, пропущенное или невѣрно объясненное другими наблюдателями; онъ тотчасъ обобщаетъ и предаетъ этихъ наблюдателей суровому осужденію, насмѣхается надъ ними; особенно достается отъ него такъ-называемымъ „свѣжимъ людямъ"—онъ иронизируетъ надъ ними безъ конца, хотя, въ сущности, „свѣжіе люди" сдѣлали не мало полезныхъ наблюденій, и ихъ труды не совсѣмъ лишены смысла и права на вниманіе. Объясненіе каждаго явленія крестьянской жизни авторъ представляетъ чрезвычайно труднымъ, недоступнымъ не только „свѣжему человѣку", но на первый разъ и самому спеціалисту—автору. Онъ идетъ, напримѣръ, на деревенскій „сходъ" и поражается совсѣмъ непонятными рѣчами: только послѣ подробныхъ объясненій своего хозяина и другихъ мужиковъ онъ уразумѣваетъ въ чемъ дѣло; на передѣлѣ луговъ онъ опять слышитъ невразумительные термины, странныя слова, и только по особымъ объясненіямъ узнаетъ обстоятельства и резоны того или другого дѣлежа. Онъ не разъ прибѣгаетъ къ этому пріему озадачиванія читателя, имѣющему цѣлью показать, какъ трудно обыкновенному человѣку постигнуть внутреннія дѣла деревни и именно общины. Но читателю приходитъ въ голову, что это озадачиваніе было совершенно напрасно. Всякому человѣку, попадающему вдругъ во всякую чужую спеціальность, сначала все будетъ дико и непонятно: еслибы авторъ вмѣсто общины земледѣльцевъ попалъ въ артель плотниковъ, къ рыбнымъ промышленникамъ, къ какимъ-нибудь мастеровымъ—или, совершенно также, въ какую-нибудь ученую лабо-

раторію, словомъ, во всякое спеціальное рабочее и техническое дѣло, онъ на первый разъ спутался бы на неизвѣстной ему терминологіи разговоровъ, на неизвѣстныхъ ему личныхъ отношеніяхъ людей между собою и, пожалуй, также сталъ бы озадачивать читателя. Дѣло просто въ томъ, что земледѣльческій трудъ есть спеціальный трудъ, и „сходъ", разсуждающій о хорошо извѣстныхъ всѣмъ его членамъ дѣлахъ какого-нибудь кума Матвѣя или бабы Гусарихи, весьма естественно будетъ непонятенъ для посторонняго, который слышитъ объ этихъ дѣлахъ въ первый разъ, и не только постороннему „интеллигентному" человѣку, но пожалуй даже и незнакомому съ ними *мужику* изъ другой деревни.

Какъ у г. Успенскаго, такъ и здѣсь, повторяется то же недовѣріе къ новой деревенской школѣ: авторъ разсказываетъ о ней двѣ-три подробности, дѣйствительно нелѣпыя, и затѣмъ съ сочувствіемъ говоритъ о самодѣльномъ деревенскомъ „перехожемъ" учителѣ, съ которымъ ребятишки большіе друзья и который хотя, по мнѣнію самого автора, способенъ сообщить имъ не мало вздора, но въ то же время можетъ съ авторитетомъ передать и нѣчто для нихъ существенно важное. Тема очень старая и избитая, и нельзя не пожалѣть, что писатель, поставившій себѣ цѣлью столь внимательное изученіе деревни, поднимая этотъ вопросъ, оставляетъ его въ такомъ неопредѣленномъ и даже двусмысленномъ свѣтѣ. Новая деревенская школа несомнѣнно имѣетъ пока крупные недостатки, но зависятъ ли они отъ самаго ея существа, или гораздо больше отъ внѣшнихъ условій и постороннихъ обстоятельствъ? Полагаемъ, что человѣкъ, желающій здраваго разъясненія дѣла, существенно важнаго для деревни, не можетъ обойти этого вопроса.

Не указывая другихъ случаевъ, гдѣ разсужденія автора ведутся съ такой же односторонностью, упомянемъ еще о главѣ XI, гдѣ авторъ иронизируетъ надъ „учеными людьми", посвящавшими свои труды изученію хозяйственныхъ отношеній нашей деревни. Авторъ не соглашается съ ними, но споръ его противъ нихъ нельзя назвать правильнымъ: спокойному разсужденію съ фактами въ рукахъ должно быть противопоставлено такое же разсужденіе и такіе же факты. Быть можетъ, они въ иномъ не правы; но не думаемъ, чтобы все дѣло было объяснено наблюденіями нашего автора въ Верхнихъ и Нижнихъ Лопухахъ.

Само собою разумѣется, что мы ни мало не отвергаемъ всей великой пользы такого пристальнаго изученія деревенскаго быта, какимъ задался г. Златовратскій. Въ его книгѣ разсѣяно много цѣнныхъ замѣчаній; самый пріемъ изученія, вникающаго во всѣ мелочи деревенскаго обихода, заслуживаетъ всякаго сочувствія. Иногда

авторъ приходитъ къ выводамъ, весьма неожиданнымъ для бюрократической точки зрѣнія. Укажемъ для примѣра эпизодъ, гдѣ авторъ передаетъ разговоръ съ деревенскимъ кабатчикомъ по поводу одной мѣры, придуманной въ извѣстномъ совѣщаніи свѣдущихъ людей объ уменьшеніи народнаго пьянства, а именно замѣны простыхъ кабаковъ безъ закуски бѣлыми харчевнями съ закуской. Кабатчикъ былъ въ восторгѣ отъ этого предположенія и говорилъ слѣдующее:

„Это что-жъ — дѣло весьма похвальное! Придумано хорошо! Конечно, Петербургъ, правительственное помѣщеніе... Нельзя не похвалить!.. Потому, помилуйте, ныньче у насъ въ кабакахъ такое поведеніе, что даже срамно-съ... Ни ты гостю селедочки или сырцу, или чего другого предложить не можешь, не можешь угостить его по-человѣчески!.. Не можешь никакой ему пріятности доставить! Какъ же онъ, спрошу васъ, пить будетъ? Урывкомъ, съ жадностью... Хватитъ косушку—и съ ногъ долой. А ежели я его съ пріятной закусочкой усажу, такъ онъ у меня весь день просидитъ въ пріятной бесѣдѣ, и хоша вдвое выпьетъ, все не въ опьянѣніи будетъ, а болѣе въ благородномъ мечтаніи... Понимаемъ это вполнѣ! умно! А какъ скоро это будетъ, не слышно?“

Книга г. Златовратскаго почти уже не беллетристика, а бытовое экономическое изслѣдованіе, вложенное въ повѣствовательную рамку. Эпизодическія картинки очень интересны, но не дѣлаютъ его труда художественнымъ произведеніемъ, а съ другой стороны не составляютъ и научнаго факта. Прибавимъ, впрочемъ, что по взгляду автора деревенская жизнь представляетъ столь оригинальный міръ, что изображеніе его даже не подъ силу современному искусству.

„Есть громадная разница между отношеніемъ интеллигентнаго читателя къ воспроизведеніямъ жизни общества и къ воспроизведенію жизни народной, въ особенности у насъ“,—говоритъ авторъ.

„Въ то время, какъ интеллигентный человѣкъ смотритъ на общество *изъ среды* самого общества, непосредственно *изъ себя*, на народъ онъ не можетъ смотрѣть иначе, какъ со стороны, такъ, какъ смотритъ на дикихъ людей Америки и Африки. Отсюда вытекаетъ и громадное различіе въ отношеніяхъ читателя къ воспроизведеніямъ жизни того и другого. Критерій для оцѣнки художественнаго воспроизведенія общественной жизни читатель непосредственно находитъ въ себѣ, непосредственно ощущаетъ художественную правду и ложь, непосредственно наслаждается или не удовлетворяется.

„Другое дѣло съ воспроизведеніемъ народной жизни. Наше об-

щество читаетъ романы изъ народнаго быта съ тѣмъ же *внѣшнимъ* любопытствомъ, съ какимъ читаетъ оно романы Купера, имѣя только единственный критерій для провѣрки ихъ художественной правды: общія психологическія основы и имя автора. Но въ послѣднемъ случаѣ, оно имѣетъ то преимущество, что романы Купера или вообще воспроизведеніе жизни дикихъ можетъ быть провѣрено имъ путемъ научныхъ данныхъ, собранныхъ путешественниками. А этого-то важнаго условія русскій читатель лишенъ относительно жизни своихъ „младшихъ братьевъ“.

„Принявъ же во вниманіе еще и то, что наблюденіе народа *со стороны* у насъ сопровождается разными побочными соображеніями— крѣпостническими, опекунскими, сантиментальными, спекуляторскими, патріотическими и проч., и проч., смотря по тому, съ *какой стороны* подходитъ *извнѣ* наблюдатель — у мыслящаго читателя невольно должно зарождаться сомнѣніе въ *правдѣ* воспроизведенія народной жизни этими „сторонними наблюдателями“. И это совершенно естественно, потому что нѣтъ прочнаго критерія, нѣтъ данныхъ для оцѣнки, нѣтъ спеціально научной точки зрѣнія. Этотъ критерій могли бы дать мыслящему читателю или научныя изысканія въ сферѣ народнаго быта, или непосредственный народный художникъ, *мірской общинный* человѣкъ. Къ сожалѣнію, первыхъ у насъ до сего времени очень мало; второго мы не видѣли еще и, Богъ вѣсть, дождемся ли когда-нибудь“ (стр. 128—129; ср. также стр. 151—155).

Такимъ образомъ, дѣло ставится почти сверхъ обыкновеннаго человѣческаго разумѣнія — столь непостижимымъ представляется автору деревенскій міръ и въ частности актъ общаго передѣла. Нѣтъ сомнѣнія, что всякій „художникъ“ долженъ знать тотъ кругъ жизни, который онъ берется изображать, и неужели общинный передѣлъ есть такая многотрудная задача, которой художникъ не можетъ и постичь, если самъ не родился въ средѣ общины? Съ такимъ же правомъ и всякая другая область жизни могла бы потребовать своего спеціальнаго художника: чиновника имѣлъ бы право описывать только чиновникъ, сапожника—сапожникъ, офицера только офицеръ и т. д., и литература въ концѣ концовъ превратилась бы въ рядъ цеховыхъ областей, взаимно недоступныхъ. Но, кажется, въ этомъ не предвидится надобности: бытовыя формы не такъ недоступны изученію, и въ нихъ движется одна и та же человѣческая природа. Требуется только знаніе и талантъ, — какъ требовались и всегда.

Эти нѣсколько примѣровъ народничества публицистическаго и художественнаго можно было бы размножить еще многими варіаціями этого направленія до трактатовъ объ „улицѣ“, для которой также потребовано было право голоса въ литературѣ. Но приведенныхъ образчиковъ довольно, чтобы показать общій характеръ этого направленія, сильно распространившагося въ послѣдніе годы, и упорно заявляющаго притязанія на непогрѣшимость и господство. Мы видѣли, насколько эти притязанія могутъ быть допущены съ точки зрѣнія логики и исторіи.

Народничество, исполненное такого высокаго мнѣнія о себѣ и столь пренебрегаемое, напр., въ лагерѣ славянофильскихъ самобытниковъ, съ которыми въ иныхъ случаяхъ оно дѣйствительно рѣзко сталкивается (хотя въ другихъ имъ вторитъ), — есть во всякомъ случаѣ явленіе характерное и знаменательное. Оно думаетъ о себѣ, какъ о принципѣ совершенно новомъ; въ дѣйствительности не трудно видѣть, что оно происходитъ по прямой линіи отъ народныхъ стремленій 60-хъ годовъ—правда, съ большими измѣненіями или новыми оттѣнками. Послѣдующіе годы внесли въ общественную жизнь столько волненій, столкновеній, трагическихъ событій, разочарованій, что многіе не въ состояніи были ни сохранить вѣры въ прежніе идеалы, ни развить ихъ въ новую прочную точку зрѣнія; получилось нѣчто среднее, неопредѣленное и недодѣланное. Съ одной стороны, стремленія къ изученію народа не ослабѣвали и даже усилились, доходя до такихъ внимательныхъ изслѣдованій, примѣромъ которыхъ могутъ служить въ беллетристикѣ труды гг. Успенскаго и Златовратскаго и ихъ товарищей, а въ литературѣ научной — масса трудовъ экономическихъ, этнографическихъ и т. д. Но съ другой стороны, народническая публицистика до крайности преувеличила значеніе самой „деревни“, затерявъ при этомъ ясныя общественно-политическія понятія той школы, изъ которой сама исходила, впала въ такія неловкости, что иногда говорила въ одинъ тонъ съ злѣйшими врагами не только общественной автономіи, но и самого народа. Таковы двѣ существенныя ошибки, повторяющіяся у большинства народническихъ писателей: во-первыхъ, недостаточное вниманіе къ исторіи общества и народа, откуда происходилъ и происходитъ рядъ самыхъ грубыхъ и вредныхъ недоразумѣній; во-вторыхъ, странное представленіе объ „европейской цивилизаціи“, будто бы намъ не нужной и непригодной, въ чемъ имъ вторятъ, потирая руки отъ удовольствія, настоящіе обскуранты. Они доходятъ до того, что подъ „европейской цивилизаціей“ понимаютъ только какія-нибудь новѣйшія выдумки экономической эксплуатаціи, не ра-

зумѣя, что это названіе принадлежитъ, выше всего, именно тѣмъ величайшимъ созданіямъ общечеловѣческаго ума и поэтическаго творчества, подъ вліяніемъ которыхъ, въ послѣднемъ результатѣ, просвѣтилось и наше собственное общественное самосознаніе; однимъ изъ отпрысковъ его является само народничество, какъ стремленіе оградить права народной личности и привести къ полному признанію ея нравственнаго и гражданскаго достоинства.

ДОПОЛНЕНІЯ.

Глава III.—Съ октябрьской книги „Вѣстника Европы“, 1890, начато печатаніе новаго труда Ѳ. И. Буслаева: „Мои воспоминанія“, которыя представляютъ чрезвычайно любопытныя свѣдѣнія о біографіи нашего заслуженнаго ученаго.

Глава V (стр. 137).—Октября 3, 1890, праздновался 40-лѣтній юбилей ученой дѣятельности Н. С. Тихонравова, съ первой историко-литературной работы его, напечатанной въ 1850 г. Библіографическій очеркъ этой дѣятельности сдѣланъ Д. Д. Языковымъ въ „Р. Мысли“, 1890, октябрь. Извѣстія объ юбилеѣ см. въ статьѣ „Русскихъ Вѣдомостей“, 4 октября, 1890, въ „Новостяхъ“, № 282, и др. Приводимъ изъ этихъ извѣстій нѣсколько указаній о долголѣтней и плодотворной дѣятельности Н. С. Тихонравова, какъ ученаго и профессора.

„Н. С. Тихонравовъ выступилъ на поприще, доставившее ему столь почетную извѣстность, въ октябрѣ 1850 года, напечатавъ въ „Москвитянинѣ“ свой первый трудъ: „Нѣсколько словъ по поводу статьи „Современника“—Кай Валерій Катуллъ и его произведенія“. Н. С. былъ въ это время еще студентомъ-новичкомъ въ Главномъ Педагогическомъ институтѣ, мечтавшимъ перейти на историко-филологическій факультетъ Московскаго университета. Статья способствовала исполненію его мечты, и ко времени появленія ея въ печати пріурочено и юбилейное торжество. Въ то время комплектъ университета ограничивался 300 студентовъ и когда молодой студентъ Педагогическаго института обратился къ М. П. Погодину съ просьбой походатайствовать о переводѣ его въ Московскій университетъ,—комплектъ былъ уже полонъ. М. П. Погодинъ посовѣтовалъ Н. С. пріобрѣсти себѣ право на сверхъ-комплектный пріемъ какой-либо литературной работой. Н. С. такъ и сдѣлалъ: статья обратила на себя вниманіе и открыла молодому человѣку двери университета.

„Университетская наука не мѣшала Н. С. дѣятельно работать надъ составленіямъ историко-литературныхъ статей для „Москвитянина“, „Отечественныхъ Записокъ“ и „Московскихъ Вѣдомостей“; незадолго до окончанія курса онъ получилъ золотую медаль за сочиненіе на заданную Грановскимъ тему: „О нѣмецкихъ народныхъ преданіяхъ въ связи съ исторіей“. Затѣмъ слѣдовала педагогическая служба въ московскихъ гимназіяхъ, избраніе адъюнктомъ для чтенія лекцій по педагогикѣ въ Московскомъ университетѣ и, наконецъ, 4-го сентября 1859 года, полученіе въ этомъ же университетѣ каѳедры русской литературы, на которой Н. С. достойно и плодотворно потрудился въ теченіе тридцати лѣтъ. Новые научно-литературные труды слѣдовали одинъ за другимъ; многочисленныя цѣнныя изслѣдованія Н. С. доставили ему почетный дипломъ доктора русской литературы и высшую для ученаго награду—званіе ординарнаго академика Императорской Академіи наукъ; кромѣ того, Н. С. занималъ въ теченіе шести лѣтъ по 1883 г. постъ ректора Московскаго университета, а въ настоящее время состоитъ предсѣдателемъ Общества любителей россійской словесности.

„Заслуги Н. С. Тихонравова, какъ въ области университетскаго преподаванія, такъ и въ области научно-литературной очень велики. Талантливо-составленные, живые, увлекательные университетскіе курсы, обнимающіе всю исторію нашей литературы, горячее, живое отношеніе къ преподаванію, умѣлая, интересная постановка практическихъ работъ, способность возбуждать въ аудиторіи сильный и сознательный интересъ къ дѣлу,—все это вмѣстѣ оказало сильное вліяніе на научное и литературное развитіе многихъ поколѣній молодыхъ людей. Въ области научно-литературной первое мѣсто занимаетъ глубоко-научная постановка основныхъ вопросовъ русской литературы и метода ихъ разработки, данная въ академическомъ „Отчетѣ“ о 19-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, подъ видомъ рецензіи на „Исторію литературы“ Галахова; затѣмъ, многочисленныя образцовыя изданія литературныхъ памятниковъ, освѣтившія почти неизвѣстную тогда картину умственной жизни народной массы; работы по исторіи русскаго театра, впервые поставившія эту отрасль исторіи на строго-научную почву, и, наконецъ, обработка новаго изданія сочиненій Гоголя, составляющая колоссальный критическій трудъ“.

Юбилей 3-го октября „былъ учено-семейный праздникъ, доказавшій, однако, юбиляру безпредѣльность уваженія, какимъ онъ пользуется въ ученомъ мірѣ и искренность симпатій къ нему, прочно сохраняющихся въ средѣ его слушателей... Юбилейный праздникъ омрачился, однако, сознаніемъ, что юбилей, къ общему сожалѣнію,

совпалъ съ окончательнымъ оставленіемъ Николаемъ Саввичемъ московской каѳедры".

Глава VIII (стр. 237). Впослѣдствіи Ор. Миллеръ не могъ не признать научнаго значенія новыхъ изслѣдованій древняго эпоса, устранявшихъ миѳологическую теорію; но ему жаль было разстаться съ той манерой, гдѣ можно было, не заботясь о самомъ происхожденіи сюжета и подробностей, не заботясь о хронологіи народнаго творчества, прямо идеализировать его продукты, возводить ихъ сполна къ національному существу и духу. Въ послѣднемъ своемъ трудѣ, посвященномъ Глѣбу Успенскому, Ор. Миллеръ говоритъ по поводу былины о Святогорѣ:

„Сущность земледѣльческаго труда воспроизвелъ и самъ народъ въ той былинѣ, которую Успенскій очень мѣтко назвалъ *загадкой.* Это былина о Святогорѣ богатырѣ, способномъ своротить землю и неспособномъ поднять маленькой сумочки переметной, съ которою такъ легко справляется Микулушка Селяниновичъ. Отъ этой чудной былины, какъ и отъ многихъ другихъ, ничего почти не осталось— съ тѣхъ поръ, какъ у насъ *завелась ученая теорія* о заимствованіяхъ, ведущая, въ томъ видѣ, какъ она у насъ практикуется, къ *вывѣтриванію* изъ памятниковъ народной словесности живого смысла, живой души. Успенскій отнесся къ этой былинѣ безъ всякихъ ученостей, онъ отозвался на живую душу народной поэзіи своею живою душою" и пр. („Г. И. Успенскій. Опытъ объяснительнаго изложенія его сочиненій". Спб. 1889, стр. 125).

Это сожалѣніе о разлагающей силѣ анализа очень характерно для идеалиста, какимъ былъ Ор. Миллеръ, но очевидно, что идеализація, желающая обойтись безъ помощи анализа, рискуетъ быть одной фантазіей. Можно желать только, чтобы новѣйшая аналитическая критика получила наконецъ возможность приступить къ обобщенію частныхъ изслѣдованій.

Глава IX (стр. 257). Въ исторіи науки особенный интересъ представляетъ ходъ научнаго развитія ея дѣятелей (вліяній школы или независимыхъ отъ нея стремленій, какъ самостоятельное чтеніе и поиски и т. п.), особливо тѣхъ, чьи труды отмѣчены особою оригинальностью и значительностью научной заслуги; за неимѣніемъ, во многихъ случаяхъ, данныхъ по этому вопросу въ литературѣ, мы обращались за свѣдѣніями къ самымъ лицамъ, труды которыхъ были особенно важнымъ вкладомъ въ развитіе русской этнографіи. Слѣдующія замѣтки А. Н. Веселовскаго вполнѣ совпадаютъ съ тѣмъ, чтó было нами сказано о молодости русской науки, гдѣ еще не создалось традицій,— въ настоящемъ случаѣ между прочимъ потому, что передъ нею сразу вставалъ громадный, мало тронутый или совсѣмъ нетронутый мате-

ріалъ—и гдѣ такимъ образомъ каждой новой крупной силѣ надо было самой прокладывать свою дорогу. Оттого особливо интересны историческія данныя о путяхъ этой науки и тѣмъ выше заслуга дѣятелей, ставившихъ новыя задачи и предпринимавшихъ громадныя работы въ области народовѣдѣнія.

„Родился я—пишетъ А. Н. Веселовскій—въ 1838 году въ Москвѣ на Нѣмецкой улицѣ, на углу Коровьяго брода, гдѣ у дѣда (Лисевича, изъ Кенигсберга) былъ собственный домъ, съ большимъ садомъ и прочими угодьями... Жилось, какъ въ деревнѣ; лѣто я проводилъ либо въ деревнѣ дѣда (с. Нѣмцово, Малоярославецкаго уѣзда; бывшее имѣніе Радищева), либо въ селѣ Коломенскомъ, гдѣ отецъ стоялъ съ своей ротой, впослѣдствіи съ баталіономъ (онъ служилъ въ 1-мъ, потомъ въ 3-мъ кадетскомъ корпусѣ). Первоначальное воспитаніе получилъ дома. И мнѣ, какъ всѣмъ, сказывали сказки, но я не связываю съ этимъ мое позднѣйшее пристрастіе къ folklor'у; нянька у меня была древняя чистенькая старушка, никогда не ѣвшая мяса, набожная, съ раскольничьимъ пошибомъ, всегда готовившая на себя въ своей особой посудѣ. Мать и отецъ окружали ее особымъ уваженіемъ; она и скончалась у насъ, когда я уже кончалъ университетъ. Отецъ занимался со мной самъ ариѳметикой и географіей; у меня еще долго сохранялись тетрадки въ 32 долю листа, имъ лично написанныя и даже иллюстрированныя: родъ географическаго руководства, съ описаніемъ городовъ и т. п. [1]). Библіотека отца плохо охранялась отъ вторженій моихъ и брата Ѳедора, который былъ моложе меня однимъ годомъ. Читалось, что̀ попадало подъ руку: Жуковскій, Марлинскій, Оссіанъ Кострова, Казакъ Луганскій и словарь Плюшара. Еще до поступленія въ гимназію (на 12-мъ году, въ 4-й классъ) я сталъ шалить прозой и стихами: повѣсти романтическаго стиля, съ луной и темнымъ лѣсомъ, гдѣ совершалось убійство, привидѣніями и за̀мками—и непремѣнными иллюстраціями. Стихами я баловался и позже и на первомъ курсѣ подалъ Шевыреву отрывокъ перевода изъ „Орлеанской Дѣвы", за что былъ призванъ и поощренъ.

„Матери я много обязанъ. Нѣмка по рожденію (она родилась въ Землѣ войска Донского, гдѣ ея отецъ былъ медикомъ; онъ состоялъ въ 1812 году при Платовѣ), она съумѣла обрусѣть въ мѣру: отлично говорила по-русски, ходила одинаково въ кирку и русскую церковь, любила постничать съ нянькой и слушать нѣмецкую или англійскую проповѣдь. Она хорошо знала нѣмецкій и французскій языки и занималась выборомъ гувернантокъ и учителей; впослѣдствіи, чтобы идти въ уровень съ нами, она изучила и англійскій языкъ, а со мною

[1]) Некрологъ Н. А. Веселовскаго (1811—1885) см. въ „Р. Вѣдомостяхъ", 1885, № 275. А. П.

долго переписывалась по-французски, чтобы поддержать во мнѣ практику.

„Въ гимназіи (2-й, на Разгуляѣ) я шелъ настолько ровно, что учитель математики (Новицкій) совѣтовалъ моему отцу отдать меня на математическій факультетъ. Не зналъ онъ, что математика доставалась мнѣ Sitzfleisch'емъ; я интересовался русскимъ языкомъ (Носковъ, шевыревецъ) и исторіей (Смирновъ), впрочемъ, больше второй, чѣмъ первой. Въ университетѣ, куда я поступилъ въ годъ юбилея, интересы распредѣлились такъ же: Шевыревъ никогда не увлекалъ меня...; Буслаева я еще не слышалъ, и весь отдался Кудрявцеву. Его лекціи были для меня откровеніемъ; когда вернулся изъ отпуска (кажется, изъ-за границы) Грановскій, я никакъ не могъ пристать къ его поклонникамъ, и отъ его лекцій (онъ читалъ у насъ не долго) мнѣ отдавало фразой. На слѣдующій годъ я увлекся чтеніемъ Леонтьева (философія миѳологіи, Шеллинга), котораго напомнилъ мнѣ впослѣдствіи Штейнталь. Къ Буслаеву я перешелъ уже послѣ этихъ вліяній. Онъ читалъ оригинально, по своему, съ нѣкоторыми скачками, связь которыхъ не легко давалась новичку: заключеніе являлось нерѣдко неожиданнымъ; чтобъ усвоить его, лекцію приходилось передумать; увлекали вѣянія Гриммовъ, откровенія народной поэзіи, главное: работа, творившаяся почти на глазахъ, орудовавшая мелочами, извлекавшая неожиданныя откровенія изъ разныхъ Цвѣтниковъ, Пчелъ и т. п. старья. Почему я тотчасъ же не записался въ школу Буслаева, а попалъ къ Бодянскому—совершенно не помню; вѣроятно, хотѣлось обставить себя понадежнѣе съ славянской стороны, ибо по европейскимъ языкамъ и литературамъ я болѣе былъ обезпеченъ: итальянскимъ языкомъ я сталъ заниматься дома; отецъ досталъ мнѣ какого-то ломбардца—винодѣла не у дѣлъ,—котораго ему рекомендовалъ колбасникъ Монигетти; что онъ былъ почти безграмотенъ—это я уже понималъ и ограничилъ свои занятія тѣмъ, что болталъ съ нимъ ходя по залѣ; испанскому языку я научился по грамматикѣ; въ университетѣ слушалъ санскритъ у Петрова и курсъ сравнительной грамматики у Леонтьева. Я помню, какъ я былъ доволенъ, когда мнѣ удалось пріобрѣсть первое изданіе Боппа. Присоедините къ этому чтенія, которыми тогда увлекались въ университетскихъ кружкахъ: читали кландестинно Фейербаха, Герцена, впослѣдствіи рвались за Боклемъ, за котораго я и впослѣдствіи долго ломалъ копья.

„У Бодянскаго я занимался сонно, не осилилъ даже грамматики Добровскаго, и когда представился случай сбѣжалъ... и перешелъ къ Буслаеву. Занимался я у него мало: помню, читалъ у него рукописный Синодикъ, дѣлалъ выписки изъ Мессіи Правдиваго; но все это

было не важно; важнѣе для меня были лекціи Буслаева и рядомъ съ ними его работы, давшія впослѣдствіи содержаніе его „Очеркамъ".

„Тотчасъ по выходѣ изъ университета я уѣхалъ за границу, на частное мѣсто, прямо въ Испанію, гдѣ пробылъ около года; побывалъ въ теченіе этой же поѣздки въ Италіи, во Франціи и Англіи. Кромѣ внѣшнихъ впечатлѣній и бо́льшаго ознакомленія съ испанскимъ языкомъ я изъ этого путешествія извлекъ мало: слишкомъ былъ юнъ, да и приходилось жить въ мѣстахъ, гдѣ никакого не могло быть ученаго общенія.

„Когда въ 1862 году я былъ командированъ за границу (на два года, по рекомендаціи Московскаго Университета), я былъ полонъ вожделѣній, но бѣденъ программой; въ сущности программы у меня не было никакой, да и дать было некому. Буслаевъ далъ мнѣ интересъ къ Гриммовскому направленію — въ приложеніи къ изученію русско-славянскаго матеріала; но нѣкоторыя стороны дѣла, постановка миѳическихъ гипотезъ и „романтизмъ народности" никогда меня не удовлетворяли и у меня немного найдется статей, въ которыхъ отразилась бы *эта* Буслаевская струя (рецензіи въ Лѣтоп. Тихонравова, Le Tradizioni popolari nei poemi d'Antonio Pucci, Novella della figlia del rè di Dacia, Замѣтки и сомнѣнія о сравнительномъ изученіи средневѣковаго эпоса). Съ другой стороны у меня сложился интересъ къ культурно-историческимъ вопросамъ, къ Kulturgeschichte; было ли тутъ вліяніе Кудрявцева, моихъ чтеній — не знаю и не помню. Il Paradiso degli Alberti вытекъ изъ этого направленія; изученіе историческихъ отношеній ослабило вѣру въ состоятельность миѳологическихъ гипотезъ.

„Въ Берлинѣ я занимался въ теченіе двухъ (слишкомъ, коли не ошибаюсь) семестровъ ощупью: слушалъ Нибелунги и Эдду и нѣм. метрику у Мюлленгофа; посѣщалъ лекціи Штейнталя, Гоше, Jürgen Bona Meyer'а (психологія), и занимался на дому у Мана провансальскимъ и даже баскскимъ языкомъ. Романскихъ каѳедръ въ то время въ Германіи не существовало, только въ Боннѣ читалъ Дицъ; интересъ къ романскимъ литературамъ и приложенію сравнительнаго метода къ изученію литературныхъ явленій, уже возбужденный вылазками Буслаева въ сферу Данте и Сервантеса и средневѣковой легенды, поддержалъ во мнѣ всѣмъ своимъ составомъ извѣстный журналъ Эберта, Jahrbuch für romanische und englische Literatur (съ 1859 года).

„Нагрузившись берлинскою мудростью, я поѣхалъ въ Прагу. Хотѣлось пополнить свои свѣдѣнія по славистикѣ. Толку отъ этого получилось немного; пребываніе въ Прагѣ затянулось почти на годъ; командировка приходила къ концу, а мнѣ мерещилась впереди

Италія: послѣ нѣмцевъ и славянъ (изъ Праги я ѣздилъ недѣли на двѣ въ австрійскую Сербію и на Фрушкую гору) хотѣлось повидать и романцевъ; командировало меня министерство Головнина на два года съ обѣщаніемъ продлить командировку, буде окажется необходимость. Я заговорилъ о томъ слишкомъ поздно, когда смѣты въ министерствѣ были уже составлены, да и Толстой явился на смѣну. Мнѣ отказали. Пришлось ѣхать въ Италію съ 2000 рублей (собственныхъ), надеждой на посильную помощь отца и на собственные литературные заработки. Въ такихъ условіяхъ я прожилъ нѣсколько лѣтъ, главнымъ образомъ во Флоренціи, кое-когда печатался у Корша (съ именемъ и безъ имени, и подъ буквами: Евр.) и принялся за работу. Затѣялъ я обширную исторію итальянскаго Возрожденія — чуть ли не съ паденія имперіи! Чтенія и выписокъ была масса; кое-что сохранилось у меня и теперь, многое унесло вѣтромъ изъ окна квартиры и я на другой день получилъ изъ лавки внизу кусочекъ масла, завернутый—въ мои надежды. Это было своего рода предупрежденіе; я впрочемъ и ранѣе того сообразилъ, что à vol d'oiseau исторіи Renaissance не напишешь, что на серьезный трудъ въ этой области уйдетъ вся жизнь. Въ это время я случайно набрелъ на памятникъ, около котораго и сгруппировалъ свою работу: Il Paradiso degli Alberti. Пока работа шла довольно одиноко и я по природной мнѣ робости ни съ кѣмъ не знакомился, когда мнѣ случилось въ русскомъ кружкѣ встрѣтиться съ De-Gubernatis'омъ. Въ его журнальчикѣ я помѣстилъ свою статейку о Пуччи. Черезъ нѣсколько дней ко мнѣ подошелъ въ библіотекѣ проф. д'Анкона, познакомился со мною; онъ же познакомилъ меня съ Кардуччи и Компаретти. Я почувствовалъ почву подъ ногами и мнѣ стало работать легче.

„Надъ Paradiso я работалъ года три; такъ освоился въ Италіи, что о Россіи пересталъ думать: интересы у меня явились мѣстные, явилась даже идея и возможность совсѣмъ устроиться въ Италіи. Въ это время я получилъ письма отъ Буслаева и Леонтьева: звали на каѳедру въ Москву, обѣщали тотчасъ же допустить меня къ чтенію съ жалованьемъ, такъ чтобы я могъ исподоволь сдать экзаменъ и передѣлать Paradiso въ „Вилла Альберти". Я согласился и, чтобы выѣхать изъ Италіи, принялъ на себя мѣсто у в. кн. Маріи Николаевны обучать ея сына Сергѣя (убитаго въ послѣднюю турецкую войну) въ Карлсруэ, гдѣ онъ долженъ былъ провесть зиму у сестры. Такъ я заработалъ деньги, на которыя съѣздилъ въ Лондонъ и вернулся въ Москву. Здѣсь меня ожидало разочарованіе: о жалованьѣ и лекціяхъ ни помину; требовали напередъ диссертаціи русской и экзамена, а чтобы утѣшить меня, предлагали читать въ университетѣ частнымъ образомъ, при чемъ предоставляли мнѣ ман-

кировать, но деньги получать. Отъ этого я отказался, чтобы не связать себя; прошелъ томительный, безденежный годъ; надо было сдать экзаменъ, войти въ долги для напечатанія диссертаціи, ибо денегъ, отпущенныхъ университетомъ, не хватало. Кстати О. Миллеръ далъ въ это время идею перейти въ Петербургъ на незанятую еще каѳедру. Дѣло устроилось быстро и я ушелъ изъ Москвы, не читавъ лекцій, а только защитивъ диссертаціи (1870 г.). Юркевичъ (тогда деканъ) приходилъ уламывать меня: въ Петербургѣ-де меня увѣсятъ орденами, запрутъ въ администрацію, и работать я перестану; кажется, ничего такого не случилось.

„Въ 1872 году я напечаталъ свою работу о „Соломонѣ и Китоврасѣ“ и съ тѣхъ поръ Вы меня знаете. Направленіе этой книги, опредѣлившее и нѣкоторыя другія изъ послѣдовавшихъ моихъ рабѣтв, нерѣдко называли Бенфеевскимъ, и я не отказываюсь отъ этого вліянія, но въ долѣ, умѣренной другою, болѣе древней зависимостью — отъ книги Дёнлопа-Либрехта и вашей диссертаціи о русскихъ повѣстяхъ. Когда явилась буддійская гипотеза, пути изученія, и не въ одной только области странствующихъ повѣстей, были для меня намѣчены точкой зрѣнія на историческую народность и ея творчество какъ на комплексъ вліяній, вѣяній и скрещиваній, съ которыми изслѣдователь обязанъ сосчитаться, если хочетъ поискать за ними, гдѣ-то въ глуби, народности непочатой и самобытной, и не смутится, открывъ ее не въ точкѣ отправленія, а въ результатѣ историческаго процесса“.

Глава X (стр. 300). „Русская Историческая Библіографія“ г. Межова имѣла потомъ продолженіе: томы IV — VI, Спб. 1884 — 1886.

— (Стр. 346). За послѣднее время, расширеніе этнографическихъ интересовъ вызвало два новыхъ замѣчательныхъ изданія. Съ 1889 г. на̀чало выходить въ Москвѣ „Этнографическое Обозрѣніе, періодическое изданіе Этнографическаго Отдѣла Импер. Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, состоящаго при Московскомъ Университетѣ“ (донынѣ шесть выпусковъ). Изданіе выходитъ подъ редакціею секретаря Отдѣла, Н. А. Янчука, и доставило уже множество интересныхъ работъ какъ по общимъ вопросамъ этнографіи и антропологіи, такъ и по собиранію этнографическихъ данныхъ. Отмѣтимъ въ особенности труды А. Н. Веселовскаго, Э. Вольтера, В. Каллаша, В. Ѳ. Миллера, Н. Ѳ. Сумцова, Н. Янчука и др. Кромѣ того въ „Обозрѣніи“ ведется весьма обстоятельная библіографія этнографической литературы.

Съ 1890 г. предпринято подобное изданіе въ Петербургѣ: „Живая Старина, періодическое изданіе Отдѣленія Этнографіи Импер. Рус-

скаго Географическаго Общества", подъ редакціею предсѣдательствующаго въ Отдѣленіи Этнографіи В. И. Ламанскаго (выпускъ I, 1890). Это изданіе, какъ можно видѣть и по первому его выпуску, обѣщаетъ быть важнымъ органомъ этнографическихъ изслѣдованій. Оно распадается на слѣдующіе отдѣлы (послѣ общихъ свѣдѣній, относящихся къ ходу изданія): 1) Изслѣдованія, наблюденія, разсужденія; 2) Памятники языка и народной словесности; 3) Критика и библіографія; 4) Смѣсь.

Оба изданія служатъ подспорьемъ для работъ двухъ ученыхъ обществъ, и присоединяя къ трудамъ послѣднихъ бо̀льшую быстроту при изданіи особливо сочиненій небольшого объема, могутъ стать вообще драгоцѣннымъ пособіемъ для развитія и научнаго объединенія нашихъ этнографическихъ изученій.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

Пяг. 10 – 12 – днем. 12 – 1
по сред. 11 – 1 днем 1 – 2

668

Вопросы изобр. на Рим

[illegible] [illegible] в [illegible] на р. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Словарь Брокгауза [illegible] и Трубецкой о Логосе

Лекции по др. греч. философ

Задачник по аналит. геометрии Шиффа.

15

Ludi saeculares проф. Берн

